

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Николай Иванович

2

2



Л.Н. ТОЛСТОЙ

Москва. Фотография с дагерротипа
1854 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО



Л. Н. ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СТА ТОМАХ

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

В ВОСЕМНАДЦАТИ ТОМАХ

МОСКВА
«НАУКА»
2002

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ**

Том второй

1852 – 1856

МОСКВА
«НАУКА»
2002

УДК 82
ББК 84
Т 53

Редакционная коллегия:

Г.Я. ГАЛАГАН,
Л.Д. ГРОМОВА-ОПУЛЬСКАЯ (главный редактор),
Ф.Ф. КУЗНЕЦОВ, К.Н. ЛОМУНОВ, П.В. ПАЛИЕВСКИЙ,
А.М. ПАНЧЕНКО, С.М. ТОЛСТАЯ, В.И. ТОЛСТОЙ

Тексты и комментарии подготовила

Н.И. БУРНАШЕВА

Редактор тома

Л.Д. ГРОМОВА-ОПУЛЬСКАЯ

Второй том выпускается при финансовой поддержке
ректора Университета Сёва-Дзёси
(председатель Японского толстовского общества)

КУСУО ХИТОМИ

Подписное

ISBN 5-02-011823-0

ISBN 5-02-022757-9 (т. 2)

- © Российская академия наук,
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького, составление,
подготовка текстов, комментарии,
2002
- © Российская академия наук
и издательство “Наука”, Полное
(академическое) собрание сочинений
Л.Н. Толстого в 100 томах,
оформление, 2002

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1852–1856

НАБЕГ

Рассказ волонтера

I

Двенадцатого июля капитан Хлопов, в эполетах и шашке,— форма, в которой со времени моего приезда на Кавказ я еще не видал его,— вошел в низкую дверь моей землянки.

— Я прямо от полковника,— сказал он, отвечая на вопросительный взгляд, которым я его встретил,— завтра батальон наш выступает.

— Куда? — спросил я. 10

— В NN. Там назначен сбор войскам.

— А оттуда, верно, будет какое-нибудь движение?

— Должно быть.

— Куда же? как вы думаете?

— Что думать? я вам говорю, что знаю. Прискакал вчера ночью татарин от генерала — привез приказ, чтобы батальону выступать и взять с собою на два дня сухарей; а куда, зачем, надолго ли? — этого, батюшка, не спрашивают: велено идти — и довольно.

— Однако если сухарей берут только на два дня, стало, и войска продержат не долее. 20

— Ну, это еще ничего не значит...

— Да как же так? — спросил я с удивлением.

— Да так же! В Дарги ходили, на неделю сухарей взяли, а пробыли чуть не месяц!

— А мне можно будет с вами идти? — спросил я, помолчав немного.

— Можно-то можно, да мой совет лучше не ходить. Из чего вам рисковать?..

— Нет уж, позвольте мне не послушаться вашего совета: я целый месяц жил здесь только затем, чтобы дожидаться случая видеть 30
дело,— и вы хотите, чтобы я пропустил его.

— Пожалуй, идите; только, право, не лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы; а мы бы пошли с Богом. И славно бы! — сказал он таким убедительным тоном, что мне в первую минуту действительно показалось, что это было бы славно; однако я решительно сказал, что ни за что не останусь.

— И чего вы не видали там? — продолжал убеждать меня капитан. — Хочется вам узнать, какие сражения бывают? прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны» — прекрасная книга: там все подробно описано — и где какой корпус стоял, и как сражения происходят.

— Напротив, это-то меня и не занимает, — отвечал я.

— Ну, так что же? вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то... таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь.

Как мне ни совестно было, что капитан так дурно объяснял мое намерение, я и не покушался разуверять его.

— Что, он храбрый был? — спросил я его.

— А Бог его знает: все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он.

— Так, стало быть, храбрый, — сказал я.

— Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают...

— Что же вы называете храбрым?

— Храбрый? храбрый? — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос. — *Храбрый тот, который ведет себя как следует,* — сказал он, подумав немало.

Я вспомнил, что Платон определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться*, и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться*, а не того, *чего не нужно бояться*.

Мне хотелось объяснить свою мысль капитану.

— Да, — сказал я, — мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства, — трусость; поэтому человека, который из тщеславия, или из любопытства, или из алчности рискует жизнью, нельзя назвать храбрым, и, наоборот, человека, который под влиянием честного чувства семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, нельзя назвать трусом.

Капитан с каким-то странным выражением смотрел на меня в то время, как я говорил.

— Ну уж этого не умею вам доказать,— сказал он, накладывая трубку,— а вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет.

Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в России знал его. Мать его, Марья Ивановна Хлопова, мелкопоместная помещица, живет в двух верстах от моего имения. Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее: старушка очень обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку (как она называла старого, седого капитана) ¹⁰ и — живая грамота — могу рассказать ему про ее жите-бытье и передать посылочку. Накормив меня славным пирогом и полотками, Марья Ивановна вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной, довольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же шелковая ленточка.

— Вот это неопалимой купины наша матушка-заступница,— сказала она, с крестом поцеловав изображение Божией Матери и передавая мне в руки,— потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли: как он поехал на *Кавказ*, я отслужила молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим, заказать этот образок Божией Матери. Вот уж восемнадцать лет, как заступница и угодники ²⁰ святые милуют его: ни разу ранен не был, а уж в каких, кажется, сражениях не был!.. Как мне Михайло, что с ним был, порассказал, так, верите ли, волос дыбом становится. Ведь я что и знаю про него, так только от чужих: он мне, мой голубчик, ничего про свои походы не пишет — меня напугать боится.

(Уже на Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был четыре раза тяжело ранен и, само собою разумеется, как о ранах, так и о походах ничего не писал своей матери.)

— Так пусть теперь он это святое изображение на себе носит,— ³⁰ продолжала она,— я его им благословляю. Заступница пресвятая защитит его! Особенно в сражениях чтобы он всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать твоя так тебе велела.

Я обещался в точности исполнить поручение.

— Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку,— продолжала старушка,— он такой славный! Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не присылал, и Аннушке, моей дочери, тоже много помогает; а все из одного жалованья! Истинно век благодарю Бога,— заключила она со слезами на глазах,— что дал он мне такое ⁴⁰ дитя.

— Часто он вам пишет? — спросил я.

— Редко, батюшка: нечто в год раз, и то когда с деньгами, так словечко напишет, а то нет. Ежели, говорит, маменька, я вам не пишу, значит, жив и здоров, а коли что, избави Бог, случится, так и без меня напишут.

Когда я отдал капитану подарок матери (это было на моей квар-

тире), он попросил оберточной бумажки, тщательно завернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях жизни его матери; капитан молчал. Когда я кончил, он отошел в угол и что-то очень долго накладывал трубку.

— Да, славная старуха! — сказал он оттуда несколько глухим голосом, — приведет ли еще Бог свидеться.

В этих простых словах выразалось очень много любви и печали.

— Зачем вы здесь служите? — сказал я.

10 — Надо же служить, — отвечал он с убеждением. — А двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, много значит.

Капитан жил бережливо: в карты не играл, кутил редко и курил простой табак, который он, неизвестно почему, называл не тютюн, а *самброталический табак*. Капитан еще прежде нравился мне: у него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза; но после этого разговора я почувствовал к нему истинное уважение.

II

20 В четыре часа утра на другой день капитан заехал за мной. На нем были старый, истертый сюртук без эполет, лезгинские широкие штаны, белая папашка с опустившимся пожелтевшим курпеем¹ и незавидная азиатская шашка через плечо. Беленький маштачок², на котором он ехал, шел понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким хвостом. Несмотря на то, что в фигуре доброго капитана было не только мало воинственного, но и красивого, в ней выражалось так много равнодушия ко всему окружающему, что она внушала невольное уважение.

Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас сел на лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости.

30 Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался какой-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки и изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении. Дорога шла серединой глубокой и широкой балки³, подле берега небольшой речки, которая в это время *играла*, то есть была в разливе. Стада диких голубей вились около нее: то садились на каменистый берег, то, по-

¹ Курпей на кавказском наречии значит овчина. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Маштак на кавказском наречии значит небольшая лошадь. (Прим. Л. Н. Толстого.)

³ Балка на кавказском наречии значит овраг, ущелье. (Прим. Л. Н. Толстого.)

ворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнца еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, поросший на них, и темно-зеленые, покрытые росой кусты держидерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностью и выпуклостью на прозрачном, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощина, покрытые густым туманом, который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазури 10 горизонта, с поражающей ясностью виднелись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом — одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром. Капитан вырубил огня и закурил трубку; запах *самброталического табаку* и трута показался мне необыкновенно приятным. 20

Мы ехали стороной дороги, чтобы скорее догнать пехоту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом пятками поталкивал свою лошадку, которая, перекачиваясь с боку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеленый след по мокрой высокой траве. Из-под самых ног ее с *тордоканьем*¹ и тем звуком крыльев, который невольно заставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и медленно стал подниматься кверху. Капитан не обратил на него ни малейшего внимания.

Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался 30 топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал мимо очень хорошенский и молодой юноша в офицерском сюртуке и высокой белой папахе. Поравнявшись с нами, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью... Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно сидел на седле и держал поводья и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавшиеся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке можно было заключить, что он еще очень молод.

— И куда скачет? — с недовольным видом пробормотал капи- 40 тан, не выпуская чубука изо рта.

— Кто это такой? — спросил я его.

¹ Тордоканье — крик фазана. (Прим. Л. Н. Толстого.)

— Прапорщик Аланин, субалтер-офицер моей роты... Еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса.

— Верно, он в первый раз идет в дело? — сказал я.

— То-то и радешенек! — отвечал капитан, глубокомысленно покачивая головой.— Молодость!

— Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого офицера это должно быть очень интересно.

Капитан помолчал минуты две.

— То-то я и говорю: молодость! — продолжал он басом.— Чему ¹⁰ радоваться, ничего не видя! Вот как походишь часто, так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь двадцать человек офицеров идет: кому-нибудь да убитым или раненым быть — уж это верно. Нынче мне, завтра ему, а послезавтра третьему: так чему же радоваться-то?

III

Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать долину, по которой мы шли, волнистые облака тумана рассеялись и сделалось жарко. Солдаты с ружьями и мешками на плечах медленно шагали по пыльной дороге; в рядах слышались изредка малороссийский говор и смех. Несколько старых солдат в белых кителях — ²⁰ большею частию унтер-офицеры — шли с трубками стороною дороги и степенно разговаривали. Троечные навьюченные верхом повозки подвигались шаг за шагом и поднимали густую неподвижную пыль. Офицеры верхами ехали впереди; иные, как говорится на Кавказе, джигитовали¹, то есть, ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались песенниками, которые, не смотря на жар и духоту, неумоимо играли одну песню за другою.

Сажень сто впереди пехоты, на большом белом коне, с конными татарами, ехал известный в полку за отчаянного храбреца и такого ³⁰ человека, *который хоть кому правду в глаза отрежет*, высокий и красивый офицер в азиатской одежде. На нем были черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, новые, плотно обтягивающие ногу чуйяки с чиразами², желтая черкеска и высокая, заломленная назад папаха. На груди и спине его лежали серебряные галуны, на которых надеты были натруска и пистолет за спиной; другой пистолет и кинжал в серебряной оправе висели на поясе. Сверх всего этого была опоясана шашка в красных сафьянных ножнах с галунами и надета через плечо винтовка в черном чехле. По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было,

¹ Джигит — по-кумыцки значит храбрый; переделанное же на русский лад *джигитовать* соответствует слову «храбриться». (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Чиразы значит галуны, на кавказском наречии. (Прим. Л. Н. Толстого.)

что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму Героев нашего времени, Мулла-Нуров и т.п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными склонностями, а примером этих образцов.

Поручик, например, любил, может быть, общество порядочных 10 женщин и важных людей — генералов, полковников, адъютантов,— даже я уверен, что он очень любил это общество, потому что он был тщеславен в высшей степени,— но он считал своей непременной обязанностью поворачиваться своей грубой стороной ко всем важным людям, хотя грубил им весьма умеренно, и когда появлялась какая-нибудь барыня в крепости, то считал своей обязанностью ходить мимо ее окон с кунаками¹ в одной красной рубахе и одних чувыках на босую ногу и как можно громче кричать и браниться,— но все это не столько с желанием оскорбить ее, сколько с желанием показать, какие у него прекрасные белые ноги и как 20 можно бы было влюбиться в него, если бы он сам захотел этого. Или, часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороги, чтоб подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он будто разочарован за что-то и которых он будто бы презирал и ненавидел. Он никогда не снимал с себя двух вещей: огромного образа на шее и кинжала сверх рубашки, с которым он даже спать ложился. Он искренно верил, что у него есть враги. Уверить себя, что ему надо отомстить кому-нибудь и кровью смыть 30 обиду, было для него величайшим наслаждением. Он был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие поэтические чувства. Но любовница его, черкешенка, разумеется,— с которой мне после случалось видаться,— говорила, что он был самый добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счета на разграфленной бумаге и на коленях молился Богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось. Раз, в одну из своих ночных экспедиций на дорогу с кунаками, ему случилось ранить пулей в ногу 40 одного немирного чеченца и взять его в плен. Чеченец этот семь недель после этого жил у поручика, и поручик лечил его, ухаживал,

¹ Кунак — приятель, друг, на кавказском наречии. (Прим. Л. Н. Толстого.)

как за ближайшим другом, и, когда тот вылечился, с подарками отпустил его. После этого, во время одной экспедиции, когда поручик отступал с цепью, отстреливаясь от неприятеля, он услышал между врагами, что кто-то его звал по имени, и его раненый кунак выехал вперед и знаками приглашал поручика сделать то же. Поручик подъехал к своему кунаку и пожал ему руку. Горцы стояли поодаль и не стреляли; но, как только поручик повернул лошадь назад, несколько человек выстрелили в него, и одна пуля попала вскользь ему ниже спины. Другой раз я сам видел, как в крепости ночью был 10 пожар и две роты солдат тушили его. Среди толпы, освещенная багровым пламенем пожара, появилась вдруг высокая фигура человека на вороной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала к самому огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил с лошади и побежал в горящий с одного краю дом. Через пять минут поручик вышел оттуда с опаленными волосами и обожженным локтем, неся за пазухой двух голубков, которых он спас от пламени.

Фамилия его была *Розенкранц*; но он часто говорил о своем происхождении, выводил его как-то от варягов и ясно доказывал, что он и предки его были чистые русские.

20

IV

Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскаленный воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо было совершенно чисто; только подошвы снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками. Неподвижный воздух, казалось, был наполнен какою-то прозрачною пылью: становилось нестерпимо жарко. Дойдя до небольшого ручья, который тек на половине дороги, войска сделали привал. Солдаты, составив ружья, бросились к ручью; батальонный командир сел в тени, на барабан, и, выразив на полном лице степень своего чина, с некоторыми офицерами рас- 30 положился закусывать; капитан лег на траве под ротной повозкой; храбрый поручик Розенкранц и еще несколько молодых офицеров, поместясь на разостланных бурках, собрались кутить, как то заметно было по расставленным около них фляжкам и бутылкам и по особенному одушевлению песенников, которые, стоя полукругом перед ними, с присвистом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки:

Шамиль вздумал бунтоваться
В прошедшие годы...
Трай-рай, ра-га-гай...
40 В прошедшие годы.

В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик, который обогнал нас утром. Он был очень забавен: глаза его блестели, язык немного путался; ему хотелось целоваться и изъясняться в любви со

всеми... Бедный мальчик! он еще не знал, что в этом положении можно быть смешным, что его откровенность и нежности, с которыми он ко всем навязывался, расположат других не к любви, которой ему так хотелось, а к насмешке,— не знал и того, что, когда он, разгоревшись, бросился наконец на бурку и, облокотясь на руку, откинул назад свои черные густые волосы, он был необыкновенно мил.

Два офицера сидели под повозкой и на погребце играли в дурачки.

Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но решительно ни в ком я не мог заметить и тени того беспокойства, которое испытывал сам: шуточки, смехи, рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя и предположить, что некоторым уже не суждено вернуться по этой дороге!

V

В седьмом часу вечера, пыльные и усталые, мы вступили в широкие укрепленные ворота крепости NN. Солнце садилось и бросало косые розовые лучи на живописные батареи и сады с высокими раинами, окружавшие крепость, на засеянные желтеющие поля и на белые облака, которые, столпясь около снеговых гор, как будто подражая им, образовывали цепь не менее причудливую и красивую. Молодой полумесяц, как прозрачное облачко, виднелся на горизонте. В ауле, расположенном около ворот, татарин на крыше сакли сзывал правоверных к молитве; песенники заливались с новой удалью и энергией.

Отдохнув и оправясь немного, я отправился к знакомому мне адъютанту, с тем чтобы попросить его доложить о моем намерении генералу. По дороге от форштата, где я остановился, я успел заметить в крепости NN то, чего никак не ожидал. Хорошенькая двухместная каретка, в которой видна была модная шляпка и слышался французский говор, обогнала меня. Из растворенного окна комендантского дома долетали звуки какой-то «Лизанька» или «Катенька-польки», играемой на плохом, расстроенном фортепьяно. В духане, мимо которого я проходил, с папиросами в руках, за стаканами вина сидели несколько писарей, и я слышал, как один говорил другому: «Уж позвольте... что насчет политики, Марья Григорьевна у нас первая дама». Сгорбленный жид, в изношенном сюртуке, с болезненной физиономией, тащил пискливую сломанную шарманку, и по всему форштату разносились звуки финала из «Лючии». Две женщины, в шумящих платьях, повязанные шелковыми платками и с ярко-цветными зонтиками в руках, плавно прошли мимо меня по дощатому тротуару. Две девицы, одна в розовом, другая в голубом платье, с открытыми головами, стояли у завалинки низень-

кого домика и принужденно заливались тоненьким смехом, с видимым желанием обратить на себя внимание проходящих офицеров. Офицеры, в новых сюртуках, белых перчатках и блестящих эполетах, щеголяли по улицам и бульвару.

Я нашел своего знакомого в нижнем этаже генеральского дома. Только что я успел объяснить ему свое желание и он — сказать мне, что оно очень может быть исполнено, как мимо окна, у которого мы сидели, простучала хорошенькая каретка, которую я заметил по дороге, и остановилась у крыльца. Из кареты вышел высокий, стройный мужчина в пехотном мундире с майорскими эполетами и прошел к генералу.

— Ах, извините, пожалуйста,— сказал мне адъютант, вставая с места,— мне непременно нужно доложить генералу.

— Кто это приехал? — спросил я.

— Графиня,— отвечал он и, застегивая мундир, побежал наверх.

Через несколько минут на крыльцо вышел невысокий, но весьма красивый человек, в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке. За ним вышли майор, адъютант и еще каких-то два офицера. В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену.

— Bonsoir, madame la comtesse¹,— сказал он, подавая руку в окно кареты.

Ручка в лайковой перчатке пожала его руку, и хорошенькое, улыбающееся личико в желтой шляпке показалось в окне кареты.

Из всего разговора, продолжавшегося несколько минут, я слышал только, проходя мимо, как генерал, улыбаясь, сказал:

— Vous savez, que j'ai fait voeu de combattre les infidèles; prenez donc garde de le devenir².

В карете засмеялись.

— Adieu donc, cher général³.

— Non, à revoir,— сказал генерал, всходя на ступеньки лестницы,— n'oubliez pas, que je m'invite pour la soirée de demain⁴.

Карета застучала дальше.

«Вот еще человек,— думал я, возвращаясь домой,— имеющий все, чего только добиваются русские люди: чин, богатство, знатность,— и этот человек перед боем, который Бог один знает чем кончится, шутит с хорошенькой женщиной и обещает пить у нее чай на другой день, точно так же, как будто он встретился с нею на бале!»

¹ Добрый вечер, графиня (фр.)

² Вы знаете, что я дал обет сражаться с неверными, так остерегайтесь, чтоб не сделаться неверной. (фр.)

³ Ну, прощайте, дорогой генерал. (фр.)

⁴ Нет, до свиданья,— не забудьте, что я напросился к вам завтра на вечер. (фр.)

Тут же, у этого же адъютанта, я встретил одного человека, который еще больше удивил меня: это — молодой поручик К. полка, отличавшийся своей почти женской кротостью и робостью, который пришел к адъютанту излить свою досаду и негодование на людей, которые будто интриговали против него, чтобы его не назначили в предстоящее дело. Он говорил, что это гадость так поступать, что это не по-товарищески, что он будет это помнить ему и т.д. Сколько я ни вглядывался в выражение его лица, сколько ни вслушивался в звук его голоса, я не мог не убедиться, что он несколько не притворялся, а был глубоко возмущен и огорчен, что ему не позволили идти стрелять в черкесов и находиться под их выстрелами; он был так огорчен, как бывает огорчен ребенок, которого только что несправедливо высекали... Я совершенно ничего не понимал.

VI

В девять часов вечера должны были выступить войска. В половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу; но, предполагая, что он и адъютант его заняты, я остановился на улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку, с тем чтобы, как только выедет генерал, догнать его.

Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи и неярким светом молодого месяца, который, образовывая около себя бледный светящийся полукруг на темной синеве звездного неба, начинал опускаться; в окнах домов и щелях ставен землянок засветились огни. Стройные раины садов, видневшиеся на горизонте из-за выбеленных, освещаемых луною землянок с камышовыми крышами, казались еще выше и чернее.

Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились красиво по светлой пыльной дороге... На реке без умолку звенели лягушки¹; на улицах слышны были то торопливые шаги и говор, то скок лошади; с форштата изредка долетали звуки шарманки: то *виют витры*, то какого-нибудь «*Auroga-Walzer*»².

Я не скажу, о чем я задумался: во-первых, потому, что мне известно было бы признаться в мрачных мыслях, которые неотвязчивой чередой набегали мне в душу, тогда как кругом себя я замечал только веселость и радость, а во-вторых, потому, что это нейдет к моему рассказу. Я задумался так, что даже не заметил, как колокол пробил одиннадцать и генерал со свитою проехал мимо меня.

Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд.

¹ Лягушки на Кавказе производят звук, не имеющий ничего общего с кваканьем русских лягушек. (Прим. Л.Н. Толстого.)

² «Аврора-вальс» (нем.)

Арьергард еще был в воротах крепости. Насилу пробрался я по мосту между столпившимися орудиями, ящиками, ротными повозками и шумно распоряжающимися офицерами. Выехав за ворота, я рысью объехал чуть не на версту растянувшиеся, молчаливо двигающиеся в темноте войска и догнал генерала. Проезжая мимо вытянувшейся в одно орудие артиллерии и ехавших верхом, между орудиями, офицеров, меня, как оскорбительный диссонанс среди тихой и торжественной гармонии, поразил немецкий голос, кричавший: «Агхтингхист, падай паааальник!» — и голос солдата, то-
10 ропливо кричавший: «Шевченко! поручик огня спрашивают».

Большая часть неба покрылась длинными темно-серыми тучами; только кое-где между ними блестели неяркие звезды. Месяц скрылся уже за близким горизонтом черных гор, которые виднелись направо, и бросал на вершущи их слабый и дрожащий полусвет, резко противоположный с непроницаемым мраком, покрывавшим их подошвы. В воздухе было тепло и так тихо, что казалось, ни одна травка, ни одно облачко не шевелились. Было так темно, что на самом близком расстоянии невозможно было определять предметы: по сторонам дороги представлялись мне то скалы, то живот-
20 ные, то какие-то странные люди — и я узнавал, что это были кусты, только тогда, когда слышал их шелест и чувствовал свежесть росы, которую они были покрыты. Перед собой я видел сплошную колеблющуюся черную стену, за которой следовало несколько движущихся пятен: это были авангард конницы и генерал со свитой. Сзади нас подвигалась такая же мрачная масса; но она была ниже первой: это была пехота.

Во всем отряде царствовала такая тишина, что ясно слышались все сливающиеся, исполненные таинственной прелести звуки ночи: далекий заунывный вой чакалок, похожий то на отчаянный плач,
30 то на хохот, звонкие однообразные песни сверчка, лягушки, перепела, какой-то приближающийся гул, причины которого я никак не мог объяснить себе, и все те ночные, чуть слышные движения природы, которые невозможно ни понять, ни определить, сливались в один полный прекрасный звук, который мы называем тишиною ночи. Тишина эта нарушалась или, скорее, сливалась с глухим топотом копыт и шелестом высокой травы, которые производил медленно двигающийся отряд.

Только изредка слышались в рядах звон тяжелого орудия, звук столкнувшихся штыков, сдержанный говор и фырканье лошади.

40 Природа дышала примирительной красотой и силой.

Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой — этим непосредственным выражением красоты и добра.

Мы ехали уже более двух часов. Меня пробирала дрожь и начинало клонить ко сну. Во мраке смутно представлялись те же неясные предметы: в некотором отдалении черная стена, такие же движущиеся пятна; подле самого меня круп белой лошади, которая, помахивая хвостом, широко раздвигала задними ногами; спина в белой черкеске, на которой покачивалась винтовка в черном чехле и виднелась белая головка пистолета в шитом кобуре; огонек папиросы, освещающий русые усы, бобровый воротник и 10 руку в замшевой перчатке. Я нагибался к шее лошади, закрывал глаза и забывался на несколько минут; потом вдруг знакомый топот и шелест поражали меня: я озирался — и мне казалось, что я стою на месте, что черная стена, которая была передо мной, двигается на меня или что стена эта остановилась и я сейчас наеду на нее. В одну из таких минут меня поразил еще сильнее тот приближающийся непрерывный гул, причины которого я не мог отгадать. Это был шум воды. Мы входили в глубокое ущелье и приближались к горной реке, которая была в это время во всем разливе¹. Гул усиливался, сырая трава становилась гуще и выше, кусты попадались чаще, и горизонт постепенно суживался. Изредка на мрачном 20 фоне гор вспыхивали в различных местах яркие огни и тотчас же исчезали.

— Скажите, пожалуйста, что это за огни? — спросил я шепотом у татарина, ехавшего подле меня.

— А ты не знаешь? — отвечал он.

— Не знаю.

— *Это горской солома на таяк² связал и огонь махать будет.*

— Зачем же это?

— *Чтобы всякий человек знал, — русской пришел. Теперь в аулах, — прибавил он, засмеявшись, — ай-ай, томаша³ идет, всякий хурда-мурда⁴ будет в балка тащить.*

— Разве в горах уже знают, что отряд идет? — спросил я.

— *Эй! как можно не знает! всегда знает: наша народ такой!*

— Так и Шамиль теперь сбивается в поход? — сказал я.

— *Йок⁵,* — отвечал он, качая головой в знак отрицания. — *Ша-*

¹ Разлив рек на Кавказе бывает в июле месяце. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Таяк значит шест, на кавказском наречии. (Прим. Л. Н. Толстого.)

³ Томаша значит хлопоты, на особенном наречии, изобретенном русскими и татарами для разговора между собой. Есть много слов на этом странном наречии, корень которых нет возможности отыскать ни в русском, ни в татарском языках. (Прим. Л. Н. Толстого.)

⁴ Хурда-мурда — пожитки, на том же наречии. (Прим. Л. Н. Толстого.)

⁵ Йок по-татарски значит нет. (Прим. Л. Н. Толстого.)

милль на похода ходить не будет: Шамиль наиб¹ пошлет, а сам труба смотреть будет, наверху.

— А далеко он живет?

— Далеко нету. Вот, лева сторона, верста десять будет.

— Почему же ты знаешь? — спросил я. — Разве ты был там?

— Был: наша все в горах был.

— И Шамиля видел?

— Пух! Шамиля наша видно не будет. Сто, триста, тысяча мюрид² кругом. Шамиль середка будет! — прибавил он с выражением подобострастного уважения.

10

Взглянув кверху, можно было заметить, что выяснившееся небо начинало светлеть на востоке и Стожары опускаться к горизонту; но в ущелье, по которому мы шли, было сыро и мрачно.

Вдруг немного впереди нас, в темноте, зажглось несколько огоньков; в то же мгновение с визгом прожужжали пули, и среди окружающей тишины далеко раздались выстрелы и громкий пронзительный крик. Это был неприятельский передовой пикет. Татары, составлявшие его, гикнули, выстрелили наудачу и разбежались.

Все смолкло. Генерал подозвал переводчика. Татарин в белой черкеске подъехал к нему и о чем-то шепотом и с жестами довольно 20 долго говорил с ним.

— Полковник Хасанов, прикажите рассыпать цепь, — сказал генерал тихим, протяжным, но внятным голосом.

Отряд подошел к реке. Черные горы ущелья остались сзади; начинало светать. Небосклон, на котором чуть заметны были бледные, неяркие звезды, казался выше; зарница начинала ярко блестеть на востоке; свежий, прохватывающий ветерок тянул с запада, и светлый туман, как пар, подымался над шумящей рекой.

VIII

Вожак показал брод, и авангард конницы, а вслед за ним и генерал со свитою стали переправляться. Вода была лошадям по груди, с необыкновенной силой рвалась между белых камней, которые в иных местах виднелись на уровне воды, и образовывала около ног лошадей пенящиеся, шумящие струи. Лошади удивлялись шуму воды, подымали головы, настороживали уши, но мерно и осторожно шагали против течения по неровному дну. Седоки подбирали ноги и оружие. Пехотные солдаты, буквально в одних рубахах, под-

¹ Наибами называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управления. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Слово *мюрид* имеет много значений, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значит что-то среднее между адъютантом и телохранителем. (Прим. Л. Н. Толстого.)

нимая над водою ружья, на которые надеты были узлы с одеждой, схватясь человек по двадцати рука с рукою, с заметным, по их напряженным лицам, усилием старались противостоять течению. Артиллерийские ездовые, с громким криком, рысью пускали лошадей в воду. Орудия и зеленые ящики, через которые изредка хлестала вода, звенели о каменное дно; но добрые черноморки дружно натягивали уносы, пенили воду и с мокрым хвостом и гривой выби-
лись на другой берег.

10 Как скоро переправа кончилась, генерал вдруг выразил на своем лице какую-то задумчивость и серьезность, повернул лошадь и с конницей рысью поехал по широкой, окруженной лесом поляне, открывшейся перед нами. Казачьи конные цепи рассыпались вдоль опушек.

В лесу виднеется пеший человек в черкеске и папахе, другой, третий... Кто-то из офицеров говорит: «Это татарь». Вот показался дымок из-за дерева... выстрел, другой... Наши частые выстрелы заглушают неприятельские. Только изредка пуля, с медленным звуком, похожим на полет пчелы, пролетая мимо, доказывает, что не все выстрелы наши. Вот пехота беглым шагом и орудия на рысках
20 прошли в цепь; слышатся гудящие выстрелы из орудий, металлический звук полета картечи, шипение ракет, трескотня ружей. Конница, пехота и артиллерия виднеются со всех сторон по обширной поляне. Дымки орудий, ракет и ружей сливаются с покрытой росой зеленью и туманом. Полковник Хасанов подскакивает к генералу и на всем марш-марше круто останавливает лошадь.

— Ваше превосходительство! — говорит он, приставляя руку к папахе, — прикажите пустить кавалерию: показались значки¹, — и он указывает плетью на конных татар, впереди которых едут два человека на белых лошадях, с красными и синими лоскутами на
30 палках.

— С Богом, Иван Михайлыч! — говорит генерал.

Полковник на месте поворачивает лошадь, выхватывает шашку и кричит: «Ура!»

«Урра! Урра! Урра!» — раздается в рядах, и конница несется за ним.

Все смотрят с участием: вон значок, другой, третий, четвертый...

Неприятель, не дожидаясь атаки, скрывается в лес и открывает оттуда ружейный огонь. Пули летают чаще.

— *Quel charmant coup d'oeil!*² — говорит генерал, слегка при-
40 прыгивая по-английски на своей вороной тонконогой лошадке.

— *Charmant!* — отвечает, грассируя, майор и, ударя плетью

¹ Значки между горцами имеют почти значение знамен, с тою только разницею, что всякий джигит может сделать себе значок и возить его. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Какое прекрасное зрелище! (фр.)

по лошади, подъезжает к генералу.— *C'est un vrrai plaisir, que la guerre dans un aussi beau pays*¹,— говорит он.

— *Et surtout en bonne compagnie*²,— прибавляет генерал с приятной улыбкой.

Майор наклоняется.

В это время с быстрым неприятным шипением пролетает неприятельское ядро и ударяется во что-то: сзади слышен стон раненого. Этот стон так странно поражает меня, что воинственная картина мгновенно теряет для меня всю свою прелесть; но никто, кроме меня, как будто не замечает этого: майор смеется, как кажется, с большим увлечением; другой офицер совершенно спокойно повторяет начатые слова речи; генерал смотрит в противоположную сторону и со спокойнейшей улыбкой говорит что-то по-французски.

— Прикажете отвечать на их выстрелы? — спрашивает, подсакивая, начальник артиллерии.

— Да, попугайте их,— небрежно говорит генерал, закуривая сигару.

Батарея выстраивается, и начинается пальба. Земля стонет от выстрелов, огни беспрестанно вспыхивают, и дым, в котором едва можно различить движущуюся прислугу около орудий, застилает²⁰ глаза.

Аул обстрелян. Снова подъезжает полковник Хасанов и, по приказанию генерала, летит в аул. Крик войны снова раздается, и конница исчезает в поднятом ею облаке пыли.

Зрелище было истинно величественное. Одно только для меня, как человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление, было то, что мне казалось лишним — и это движение, и одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который сплеча топором рубил бы воздух.

IX

30

Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприятельской души не оставалось в нем, когда генерал со свитой, в которую вмешался и я, подъехал к нему.

Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река. С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычевыми³ деревьями; с другой — торчали

¹ Очаровательно! Истинное наслаждение — воевать в такой прекрасной стране (фр.)

² И особенно в хорошей компании (фр.)

³ Лыча — мелкая слива. (Прим. Л. Н. Толстого.)

какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами. (Это были могилы джигитов.)

Войска в порядке стояли за воротами.

Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно ожил. Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву и выламывают дощатую дверь; тут загораются стог сена, забор, сакля и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак 10 тащит куль муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган¹ с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю.

Батальон, с которым я шел из крепости N, тоже был в ауле. Капитан сидел на крыше сакли и пускал из коротенькой трубочки струйки дыма *самброталического табаку* с таким равнодушным видом, что, когда я увидел его, я забыл, что я в немирном ауле, и мне показалось, что я в нем совершенно дома.

20 — А! и вы тут? — сказал он, заметив меня.

Высокая фигура поручика Розенкранца то там, то сям мелькала в ауле; он без умолку распоряжался и имел вид человека, чем-то крайне озабоченного. Я видел, как он с торжествующим видом вышел из одной сакли; вслед за ним двое солдат вели связанного старого татарина. Старик, всю одежду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый бешмет и лоскутные портки, был так хил, что туго стянутые за сгорбленной спиной костлявые руки его, казалось, едва держались в плечах и кривые босые ноги насилу передвигались. Лицо его и даже часть бритой головы были изрыты 30 глубокими морщинами; искривленный беззубый рот, окруженный седыми подстриженными усами и бородой, беспрестанно шевелился, как будто жуя что-то; но в красных, лишенных ресниц глазах еще блистал огонь и ясно выражалось старческое равнодушие к жизни.

Розенкранц через переводчика спросил его, зачем он не ушел с другими.

— Куда мне идти? — сказал он, спокойно глядя в сторону.

— Туда, куда другие ушли, — заметил кто-то.

— Джигиты пошли драться с русскими, а я старик.

40 — Разве ты не боишься русских?

— Что мне русские сделают? Я старик, — сказал он опять, небрежно оглядывая кружок, составившийся около него.

Возвращаясь назад, я видел, как этот старик, без шапки, со свя-

¹ Кумган — горшок. (Прим. Л. Н. Толстого.)

занными руками, трясся за седлом линейного казака и с тем же бесстрастным выражением смотрел вокруг себя. Он был необходим для размена пленных.

Я влез на крышу и расположился подле капитана.

— Неприятеля, кажется, было немного,— сказал я ему, желая узнать его мнение о бывшем деле.

— Неприятеля? — повторил он с удивлением,— да его вовсе не было. Разве это называется неприятель?.. Вот вечерком посмотрите, как мы отступить станем: увидите, как провожать начнут, что их там высыплет! — прибавил он, указывая трубкой на перелесок, который мы проходили утром.

— Что это такое? — спросил я с беспокойством, прерывая капитана и указывая на собравшихся недалеко от нас около чего-то донских казаков.

Между ними слышалось что-то похожее на плач ребенка и слова:

— Э, не руби... стой... увидят... Нож есть, Евстигнееч?.. Давай нож...

— Что-нибудь делают, подлецы,— спокойно сказал капитан.

Но в то же самое время с разгоревшимся, испуганным лицом вдруг выбежал из-за угла хорошенький прапорщик и, махая руками, бросился к казакам.

— Не трогайте, не бейте его! — кричал он детским голосом.

Увидев офицера, казаки расступились и выпустили из рук белого козленка. Молодой прапорщик совершенно растерялся, забормотал что-то и со сконфуженной физиономией остановился перед ним. Увидав на крыше меня и капитана, он покраснел еще больше и, припрыгивая, подбежал к нам.

— Я думал, что это они ребенка хотят убить,— сказал он, робко улыбаясь.

30

Х

Генерал с конницей поехал вперед. Батальон, с которым я шел из крепости N, остался в арьергарде. Роты капитана Хлопова и поручика Розенкранца отступали вместе.

Предсказание капитана вполне оправдалось: как только мы вступили в узкий перелесок, про который он говорил, с обеих сторон стали беспрестанно мелькать конные и пешие горцы, и так близко, что я очень хорошо видел, как некоторые, согнувшись, с винтовкой в руках, перебежали от одного дерева к другому.

Капитан снял шапку и набожно перекрестился; некоторые старые солдаты сделали то же. В лесу послышались гиканье, слова: «Иай гяур! Урус иай!» Сухие, короткие винтовочные выстрелы следовали один за другим, и пули визжали с обеих сторон. Наши молча отвечали беглым огнем; в рядах их только изредка слыша-

лись замечания вроде следующих: «Вон *он*¹ откуда палит, *ему* хорошо из-за леса, *орудию* бы нужно...» и т.д.

Орудия въезжали в цепь, и после нескольких залпов картечью неприятель, казалось, ослабевал, но через минуту и с каждым шагом, который делали войска, снова усиливал огонь, крики и гиканье.

10 Эдва мы отступили сажен на триста от аула, как над нами со свистом стали летать неприятельские ядра. Я видел, как ядром убило солдата... но зачем рассказывать подробности этой страшной картины, когда я сам дорого бы дал, чтобы забыть ее!

Поручик Розенкранц сам стрелял из винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплым голосом кричал на солдат и во весь дух скакал с одного конца цепи на другой. Он был несколько бледен, и это очень шло к его воинственному лицу.

Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался; он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься *на ура*.

— Мы их отобьем,— убедительно говорил он,— право, отобьем.

20 — Не нужно,— кратко отвечал капитан,— надо отступать. Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстреливалась от неприятеля. Капитан, в своем изношенном сюртуке и взъерошенной шапочке, опустив поводья белому маштачку и подкорчив на коротких стременах ноги, молча стоял на одном месте. (Солдаты так хорошо знали и делали свое дело, что нечего было приказывать им.) Только изредка он возвышал голос, прикрикивая на тех, которые подымали головы.

В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр»,— сказалось мне неволью.

30 Он был *точно таким же, каким я всегда видал его*: те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом. Легко сказать: *таким же, как и всегда*; но сколько различных оттенков я замечал в других: один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно; по лицу же капитана заметно, что он и не понимает, зачем казаться.

40 Француз, который при Ватерлоо сказал: «*La garde meurt, mais ne se rend pas*»²,— и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действи-

¹ *Он* — собирательное название, под которым кавказские солдаты разумеют вообще неприятеля. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² «Гвардия умирает, но не сдается» (фр.)

тельно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что, когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости; и как же после этого не болеть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французские пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устарелому французскому рыцарству?..

Вдруг в той стороне, где стоял хорошенький прапорщик со взводом, послышалось недружное и негромкое «ура». Оглянувшись на этот крик, я увидел человек тридцать солдат, которые с ружьями в руках и мешками на плечах насили-насили бежали по вспаханному полю. Они спотыкались, но всё подвигались вперед и кричали. Впереди их, выхватив шашку, скакал молодой прапорщик.

Все скрылось в лесу...

20 Через несколько минут гиканья и трескотни из лесу выбежала испуганная лошадь, и в опушке показались солдаты, выносившие убитых и раненых; в числе последних был молодой прапорщик. Два солдата держали его под мышки. Он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который одушевлял ее за минуту перед этим, как-то страшно углубилась между плеч и спустилась на грудь. На белой рубашке под расстегнутым скюртуком виднелось небольшое кровавое пятнышко.

— Ах, какая жалость! — сказал я невольно, отворачиваясь от 30 этого печального зрелища.

— Известно, жалко, — сказал старый солдат, который с угрюмым видом, облокотясь на ружье, стоял подле меня. — Ничего не боится: как же этак можно! — прибавил он, пристально глядя на раненого. — Глуп еще — вот и поплатился.

— А ты разве боишься? — спросил я.

— А то нет!

XI

Четыре солдата на носилках несли прапорщика; за ними форштатский солдат вел худую, разбитую лошадь, с навьюченными на 40 нее двумя зелеными ящиками, в которых хранилась фельдшерская принадлежность. Дожидались доктора. Офицеры подъезжали к носилкам и старались ободрить и утешить раненого.

— Ну, брат Аланин, не скоро опять можно будет поплясать с ложечками, — сказал с улыбкой подъехавший поручик Розенкранц.

Он, должно быть, полагал, что слова эти поддержат бодрость хорошенького прапорщика; но, сколько можно было заметить по холодно-печальному выражению взгляда последнего, слова эти не произвели желанного действия.

Подъехал и капитан. Он пристально посмотрел на раненого, и на всегда равнодушно-холодном лице его выразилось искреннее сожаление.

— Что, дорогой мой Анатолий Иваныч? — сказал он голосом, звучащим таким нежным участием, какого я не ожидал от него, — видно, так Богу угодно. 10

Раненый оглянулся; бледное лицо его оживилось печальной улыбкой.

— Да, вас не послушался.

— Скажите лучше: так Богу угодно, — повторил капитан.

Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой пошел к раненому.

— Что, видно, и вам сделали дырочку на целом месте, — сказал он шутливо-небрежным тоном, — покажите-ка.

Прапорщик повиновался; но в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, были удивление и упрек, которых не заметил этот последний. Он принялся зондировать рану и осматривать ее со всех сторон; но, выведенный из терпения, раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку... 20

— Оставьте меня, — сказал он чуть слышным голосом, — все равно я умру.

С этими словами он упал на спину, и через пять минут, когда я, подходя к группе, образовавшейся подле него, спросил у солдата: «Что прапорщик?», мне отвечали: «Отходит».

XII

30

Уже было поздно, когда отряд, построившись широкой колонной, с песнями подходил к крепости.

Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи на длинное, тонкое облако, остановившееся на ясном, прозрачном горизонте. Снеговые горы начинали скрываться в лиловом тумане; только верхняя линия их обозначалась с чрезвычайной ясностью на багровом свете заката. Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. Зелень травы и деревьев чернела и покрывалась росой. Темные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех, и, исполненные чувства и силы, звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху. 40

ЗАПИСКИ МАРКЕРА

Рассказ

Так часу в третьем было дело. Играли господа: гость большой (так его наши прозвали), князь был (что с ним все ездит), усатый барин тоже был, гусар маленький, Оливер, что в актерах был, *Пан* были. Народу было порядочно.

Гость большой с князем играли. Только вот я себе с машинкой круг бильярда похаживаю, считаю: девять и сорок восемь, двенадцать и сорок восемь. Известно, наше дело маркерское: у тебя еще во рту куска не было, и не спал-то ты две ночи, а все знай покрикивай да шары вынимай. Считаю себе, смотрю — новый барин какой-то в дверь вошел, посмотрел, посмотрел, да и сел на диванчик. Хорошо.

«Кто, мол, это такой будет? из каких то есть», — думаю про себя.

Одет чисто, уж так чисто, что как с иголки все платье на нем: брюки триковые, клетчатые, сюртучок модный, коротенький, жилет плюшевый и цепь золотая, а на ней всякие штучки висят.

Одет чисто, а уж из себя еще того чище: тонкий, высокий, волоса завиты наперед, по-модному, и с лица белый, румяный — ну, сказать, молодец.

20 Оно известно, наше дело такое, что народу всякого видим: и самого что ни есть важного и дряни-то много бывает, так все хотя и маркёл, а к людям приноровишься, то есть в том разе, что в политике-то кое-что смыслишь.

Посмотрел я на барина — вижу, сидит тихо, ни с кем не знаком, и платье-то на нем новехонько; думаю себе: али из иностранцев, англичан будет, али из графов каких приезжих. И даром что молодой, вид имеет в себе. Подле него Оливер сидел, так посторонился даже.

Кончили партию. Большой проиграл, кричит на меня:

30 — Ты,— говорит,— все врешь, не так считаешь, по сторонам смотришь.

Бранится, кий шваркнул и ушел. Вот поди ты! По вечерам с кня-

зем по 50 целковых партию играют, а тут бутылку *макону* проиграл и сам не в себе. Уж такой характер! Другой раз до двух часов играют с князем, денег в лузу не кладут, и уж знаю, денег нет ни у того, ни у другого, а все форсят:

— Идет,— говорит,— от двадцати пяти угол?

— Идет!

Зевни только али шара не так поставь — ведь не каменный человек! — так еще норовит в морду заехать.

— Не на щепки,— говорит,— играют, а на деньги.

Уж этот пуще всех меня донимает.

10

Ну, хорошо. Только князь и говорит новому барину-то, как большой ушел:

— Не угодно ли,— говорит,— со мной сыграть?

— С удовольствием,— говорит.

Сидел он, так таким *фофаном* смотрит, что ну! Куражный то есть из себя; ну, а как встал, подошел к бильярду, и не то: заробел. Заробел не заробел, а видно, что уж не в своем духе. В платье, что ли, в новом неловко, али боится, что смотрят все на него, только уж форцу того нет. Ходит боком как-то, карманом за лузы цепляет, станет кий мелить — мел уронит. Где бы и сделал шара, так все ²⁰ оглядывается да краснеет. Не то, что князь: тот уж привык — наметит, наметит себе руку, рукава засучит да как пойдет садить, так лузы трещат, даром что маленький.

Сыграли две ли, три партии, уж не помню, князь кий положил, говорит:

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нехлюдов,— говорит.

— Ваш,— говорит,— батюшка корпусом командовал?

— Да,— говорит.

Тут по-французски что-то часто заговорили — уж я не понял. ³⁰ Должно, все родство вспоминали.

— А ревуар¹,— говорит князь,— очень рад с вами познакомиться.

Вымыл руки и ушел кушать; а тот стоит с кием у бильярда, шарики поталкивает.

Наше дело, известно, с новым человеком что грубей быть, то лучше: я взял шары, да и собираю. Он покраснел, говорит:

— Можно еще сыграть?

— Известно,— говорю,— на то бильярд стоит, чтоб играть.

А сам на него не смотрю, кии уставляю.

40

— Хочешь со мной играть?

— Извольте,— говорю,— сударь!

Шары поставил.

¹ До свидания (*от фр. au revoir*).

— На пролаз угодно?

— Что такое значит,— говорит,— на пролаз?

— Да так,— я говорю,— вы мне полтинничек, а я под бильярд пролезу.

Известно, ничего не видавши, чудно ему показалось, смеется.

— Давай,— говорит.

Хорошо. Я говорю:

— Мне вперед сколько пожалуете?

— Разве,— говорит,— ты хуже меня играешь?

10 — Как можно,— я говорю,— у нас против вас игроков мало.

Стали играть. Уж он и точно думает, что мастер: стучит так, что беда; а *Пан* сидит да все приговаривает:

— Вот так шар! вот так удар!

А какой!.. уdariшко точно был, да расчету ничего не знает. Ну, как водится, проиграл я первую партию: полез, крихчу. Тут *Оливер*, *Пан* с местов пососкочили, киями стучат.

— Славно! Еще,— говорят,— еще!

А уж чего «еще»! Особенно *Пан*-то за полтинник рад бы не то под бильярд, под Синий мост пролезть. А то туда же, кричит:

20 — Славно,— говорит,— пыль не всю еще вытер.

Петрушка-маркёл, я чай, всем известен. *Тюрин* был да *Петрушка-маркёл*.

Только игры, известно, не открыл: проиграл другую.

— Мне,— говорю,— с вами, сударь, так и так не сыграть.

Смеется. Потом как выиграл я три партии — у них сорок девять было, у меня никого — я положил кий на бильярд, говорю:

— Угодно, барин, на всю?

— Как на всю? — говорит.

— Либо три рубля за вами, либо ничего,— говорю.

30 — Как,— говорит,— разве я с тобой на деньги играю? Дурак!

Покраснел даже.

Хорошо. Проиграл он партию.

— Довольно,— говорит.

Достал бумажник — новенький такой, в англиском магазине куплен — открыл, уж я вижу, пофорсить хотел. Полнехонек денег, да всё сторублевые.

— Нет,— говорит,— тут мелочи нет.

Достал из кошелька три рубля.

40 — Тебе,— говорит,— два, да за партии, а остальное возьми на водку.

Благодарю, мол, покорно. Вижу, барин славный! Для такого можно полазить. Одно жаль: на деньги не хочет играть; а то, думаю, уж я бы изловчился: глядишь, рублей двадцать, а то и сорок потянул бы.

Как *Пан* увидел деньги у молодого барина-то: «Не угодно ли,— говорит,— со мной партийку? Вы так отлично играете». Такой

лисой подъехал. «Нет,— говорит,— извините: мне некогда»,— и ушел.

И черт его знает, кто он такой был, *Пан* этот. Прозвал его кто-то *Паном*, так и пошло. День-деньской, бывало, сидит в бильярдной, все смотрит. Уж его и били-то, и ругали, и в игру ни в какую не принимали, все сидит себе, принесет трубку и курит. Да уж и играл чисто... bestия!

Хорошо. Пришел Нехлюдов в другой раз, в третий: стал часто ходить. И утром и вечером, бывало, ходит. В три шара, алагер, пирамидку — все узнал. Смелей стал, познакомился со всеми и играть стал порядочно. Известно, человек молодой, большой фамилии, с деньгами, так уважал каждый. Только с одним с гостем с большим раз как-то повздорил.

И из-за пустяков дело вышло.

Играли алагер князь, гость большой, Нехлюдов, Оливер и еще кто-то. Нехлюдов стоит около печки, говорит с кем-то, а большому играть,— он же крепко выпимши был в тот раз. Только шар его и придишь как раз против самой печки: тесненько там, да и любит он размахнуться.

Вот он, не видал, что ли, Нехлюдова, али нарочито, как размахнется в шар да Нехлюдова в грудь турником ка-ак стукнет! Охнул даже сердечный. Так что ж? Нет того, чтоб извиниться — грубый такой! пошел себе дальше, на него и не посмотрел да еще бормочет: «Чего,— говорит,— тут суются? От этого шара не сделал. Разве нет места?»

Тот подошел к нему, побледнел весь, а говорит как ни в чем не был, учтиво так:

— Вы бы прежде, сударь, должны извиниться: вы меня толкнули,— говорит.

— Не до извинений мне теперь: я бы,— говорит,— должен выиграть, а теперь,— говорит,— вот моего шара сделают.

Тот ему опять говорит:

— Вы должны,— говорит,— извиниться.

— Убирайтесь вы,— говорит.— Вот пристал!

А сам все на своего шара смотрит.

Нехлюдов подошел к нему еще ближе да за руку его.

— Вы невежа,— говорит,— милостивый государь!

Даром что тоненький, молоденький, как девушка красная, а какой задорный: глазенки горят — вот так съесть его хочет. Большой-то гость мужчина здоровый, высокий — куда Нехлюдову!

— Что-о? — говорит,— я невежа!

Да как закричит, да как замахнет на него. Тут подскочили, кто был, за руки их поймали обоих, растащили.

Тары да бары. Нехлюдов говорит:

— Пусть он мне удовлетворенье даст: он меня оскорбил, дес-

кать,— то есть дуэль хотел с ним иметь. Известно, господа: уж у них такое заведение... нельзя!.. ну, одно слово, господа!

— Никакого,— говорит,— удовлетворения знать не хочу! Он мальчишка, больше ничего. Я его за уши выдеру.

— Ежели вы,— говорит,— не хотите драться, так вы не благородный человек.

А сам чуть не плачет.

— А ты,— говорит,— мальчишка: я от тебя ничем не обижусь.

Ну, развели их, как водится, по разным комнатам. Нехлюдов с князем дружны были.

— Поди,— говорит,— ради Бога, уговори его, чтобы он, то есть, на дуэль согласие сделал. Он,— говорит,— пьян был; может, он опомнится. Нельзя,— говорит,— этому так кончиться.

Пошел князь. Большой говорит:

— Я,— говорит,— и на дуэли, и на войне дрался. Не стану,— говорит,— с мальчишкой драться. Не хочу, да и шабаш.

Что ж, поговорили, поговорили, да и замолчали; только гость большой перестал к нам ездить.

Насчет этого, то есть конфузу, какой петушок был, амбиционный был... то есть Нехлюдов-то... а уж что касается чего другого прочего, так вовсе не смыслил. Помню раз:

— Кто у тебя здесь есть? — говорит князь Нехлюдову-то.

— Никого,— говорит.

— Как же,— говорит,— никого?

— Зачем? — говорит.

— Как зачем?

— Я,— говорит,— до сих пор так жил, так отчего же нельзя?

— Как так жил? Не может быть!

И заливается-хохочет, и уса́тый барин тоже хохочет. Совсем на смех подняли.

— Так никогда? — говорят.

— Никогда.

Помирают со смеху. Я, известно, сейчас понял, что они так над ним смеются. Смотрю: что, мол, будет из него?

— Поедем,— говорит князь,— сейчас.

— Нет, ни за что! — говорит.

— Ну, полно! Это смешно,— говорит.— Выпей для куражу, да и поедем.

Принес я им бутылку шампанского. Выпили — повезли молодчика.

Приехали часу в первом. Сели ужинать, и собралось их много, что ни есть самые лучшие господа: Атанов, князь Разин, граф Шустах, Мирцов. И все Нехлюдова поздравляют, смеются. Меня позвали. Вижу, веселы порядочно.

— Поздравляй,— говорят,— барина.

— С чем? — говорю.

Как бишь он сказал? с посвящением ли, с просвещением ли, не помню уж хорошенько.

— Честь имею,— говорю,— поздравить.

А он красный сидит; улыбается только. То-то смеху-то было!

Хорошо. Приходят потом в бильярдную, веселы все, а уж Нехлюдов на себя не похож: глаза посоловели, губами водит, икает все и уж слова не может сказать хорошенько. Известно, ничего не видавши, его и сшибло. Подошел он к бильярду, облокотился, да и говорит:

— Вам,— говорит,— смешно, а мне грустно. Зачем,— говорит,— я это сделал; и тебе,— говорит,— князь, и себе в жизнь свою этого не прощу.

Да как зальется-заплачет. Известно, выпил: сам не знает, что говорит. Подошел к нему князь, улыбается сам.

— Полно,— говорит,— пустяки! Поедем домой, Анатолий.

— Никуда,— говорит,— не поеду. Зачем я это сделал?

А сам-то заливается. Нейдет от бильярда, да и шабаш. Что значит человек молодой, непривычный.

Таким-то родом ездal он к нам часто. Приезжают раз с князем и с усатым господином, который все с князем ходил. Из чиновников или из отставных каких он был, Бог его знает, только Федоткой его все господа звали. Скуластый, дурной такой, а ходил чисто и в карете ездal. За что его господа так любили, Бог их ведает. Федотка, Федотка, а глядишь — его и кормят, и поят, и деньги за него платят. Да уж и шельма же был! проиграет — не платит; а выиграет, так небось! Уж его и ругали-то, и бил в глазах моих гость большой, и на дуэль вызывал... все с князем под ручку ходит.

— Ты,— говорит,— пропадешь без меня. Я Федот,— говорит,— да не тот.

Шутник такой! Ну, ладно. Приехали, говорят:

— Давай алагер втроем составим.

— Давай,— говорит.

Стали играть по три рубля ставку. Нехлюдов с князем тары да бары.

— Ты,— говорит,— посмотри, какая у нее ножка. Нет,— говорит,— что ножка! у нее коса,— говорит,— хороша.

Известно, на игру не смотрят, только всё промеж себя разговаривают. А Федотка свое дело помнит: знай с накатцем сыграет, а те промах али вовсе на себя. И зашиб по шести рублей с брата. С князем-то у них Бог знает какие счета были — никогда друг другу денег не платили, а Нехлюдов достал две зелененьких, подает ему.

— Нет,— говорит,— я не хочу с тебя денег брать. Давай простую сыграем: китудубль то есть: либо вдвое, либо ничья.

Поставил я шаров. Федотка вперед взял, и стали играть. Нехлюдов-то бьет, чтоб пофорсить, другой раз на партии стоит: нет, говорит, не хочу, легко, мол, слишком; а Федотка свое дело не забыва-

ет, знай себе подбирает. Известно, игру скрыл, да как будто невзначай и выиграй партию.

— Давай,— говорит,— еще на все.

— Давай.

Опять выиграл.

— С пустяков,— говорит,— началось. Я не хочу у тебя много выигрывать. Идет на все?

— Идет.

Оно как бы ни было, 50-го рублей жалко. Уж Нехлюдов просит: ¹⁰ «Давай на всю». Пошла да пошла, дальше да больше, двести восьмьдесят рублей на него и набил. *Федотка* сноровку знает: простую проиграет, а угол выиграет. А князь сидит, видит, что дело всерьез пошло.

— *Асе*¹,— говорит,— *асе*.

Какой! всё куш прибавляют.

Наконец тому дело вышло, за Нехлюдовым пятьсот с чем-то рублей. *Федотка* кий положил, говорит:

— Не довольно ли? Я устал,— говорит.

²⁰ А сам до зари готов играть, только б денежки были... политика, известно. Тому еще пуще хочется: давай да давай.

— Нет,— говорит,— ей-богу, устал. Пойдем,— говорит,— вверх: там реванш возьмешь.

А наверху у нас в карты играли господа. Сначала преферансик, а там глядишь — *любишь не любишь* пойдет.

Вот с того самого числа так его *Федотка* окрутил, что начал он к нам каждый день ездить. Сыграет партию-другую, да и наверх, да и наверх.

³⁰ Уж что там у них бывало, Бог их знает,— только что совсем другой человек стал, и с *Федоткой* все пошло заодно. Прежде, бывало, модный, чистенький, завитой, а нынче только с утра еще в настоящем виде; а как наверху побывал, придет — взъерошенный, скюртук в пуху, в мелу, руки грязные.

Раз таким манером приходит оттуда с князем, бледный, губы трясутся, и спорит что-то.

— Я, мол, не позволю *ему* говорить мне (как бишь он сказал?) ... что я не *великатын*, что ли, и что *он* моих карт не будет бить. Я,— говорит,— *ему* десять тысяч заплатил, так *он* мог бы при других-то быть осторожнее.

⁴⁰ — Ну, полно,— говорит князь,— стоит ли на *Федотку* сердиться!

— Нет,— говорит,— я этого так не оставлю.

— Перестань,— говорит,— как можно до того унижаться, что с *Федоткой* иметь историю!

¹ Довольно (*от фр. assez*).

— Да ведь тут были посторонние.

— Что ж,— говорит,— посторонние? Ну хочешь, я его сейчас ставлю у тебя прощенья просить?

— Нет,— говорит.

И забормотали что-то по-французски, уж я не понял. Что ж? тот же вечер с *Федоткой* вместе ужинали, и опять дружба пошла.

Хорошо. Придет другой раз один.

— Что,— говорит,— хорошо я играю?

Наше дело, известно, потрафлять каждому надо; скажешь: хорошо,— а какой хорошо! стучит дуром, а расчёту ничего нет. И с того самого время, как с *Федоткой* связался, все на деньги играть стал. Прежде не любил ни на что — ни на кушанье, ни на шампанское. Бывало, князь скажет:

— Давай на бутылку шампанского.

— Нет,— говорит,— я лучше так велю принести... Гей! Дай бутылку.

А нынче все на интерес стал играть. Ходит, бывало, день-деньской у нас: или с кем в бильярд играет, или наверх пойдёт. Я себе и думаю: что же другим, а не мне все будет доставаться?

— Что,— говорю,— сударь, со мной давно не играли?

20

Вот и стали играть.

Как набил я на него полтинников десять: «На квит,— говорю,— хотите, сударь?»

Молчит. Не то что прежде *дурака* сказал. Вот и стали играть: на квит да на квит. Я на него рублей восемьдесят и набил. Так что ж? Каждый день со мной играть стал. Того и ждет, бывало, чтобы не было никого, а то, известно, при других стыдно ему с *маркёлом* играть. Раз как-то погорячился он, а рублей уж за ним с шестьдесят было.

— Хочешь,— говорит,— на все?

30

— Идет,— говорю.

Выиграл я.

— Сто двадцать на сто на двадцать?

— Идет,— говорю.

Опять выиграл.

— Двести сорок на двести на сорок?

— Не много ли будет? — говорю.

Молчит. Стали играть: опять моя партия.

— Четыреста восемьдесят на четыреста на восемьдесят?

Я говорю:

40

— Что ж, сударь, мне вас обижать. Сто-то рубликов пожалуйста; а то пусть так будут.

Так он как крикнет! А ведь какой тихий был.

— Я,— говорит,— тебя исколочу. Играй или не играй.

Ну, вижу, делать нечего.

— Триста восемьдесят,— говорю,— извольте.

Известно, хотел проиграть.

Дал я сорок вперед. У него пятьдесят два было, у меня тридцать шесть. Стал он желтого резать, да и положи на себя восемнадцать очков, а мой — на перекате стоял.

Ударил я так, чтоб выскочил шар. Не тут-то было: он дуплетом и упади. Опять моя партия.

— Послушай,— говорит,— *Петр* (Петрушкой не назвал), я тебе сейчас не могу отдать всех, а через два месяца хоть три тысячи могу заплатить.

10 А сам весь кра-асный стал, дрожит ажно голос у него.

— Хорошо,— говорю,— сударь.

Да и поставил кий. Он походил, походил. Пот так с него и льет.

— Петр,— говорит,— давай на все.

А сам чуть не плачет.

Я говорю:

— Что, сударь, играть!

— Ну, давай, пожалуйста.

И сам кий мне подает. Я взял кий да шары на бильярд так шваркнул, что на пол полетели,— известно, нельзя не пофорсить;
20 говорю:

— *Давай, сударь!*

А уж он так заторопил, что сам шар поднял. Думаю себе: «Не получить мне 700 рублей; все равно, проиграю». Стал нарочно играть. Так что же?

— Зачем,— говорит,— нарочно дурно играешь?

А у самого руки дрожат; а как шар к лузе бежит, так пальцы растарачит, рот скривит да все к лузе и головой-то и руками тянет. Уж я говорю:

— Этим не поможешь, сударь!

30 Хорошо. Как выиграл он эту партию, я говорю:

— Сто восемьдесят рубликов за вами будет да полтора ста партий; а я, мол, ужинать пойду.

Поставил кий и ушел.

Сел я себе за столик против двери, а сам смотрю: что, мол, из него будет? Так что ж? Походит, походит — чай, думает: никто на него не глядит — да за волосы себя как дернет, и опять ходит, бормочет все что-то, да опять как дернет.

После того дней с восемь не видать его было. Пришел в столовую раз, угрюмый такой, и в бильярдную не зашел.

40 Увидал его князь:

— Пойдем,— говорит,— сыграем.

— Нет,— говорит,— я больше играть не буду.

— Да полно! пойдем.

— Нет,— говорит,— не пойду. Тебе,— говорит,— добра не сделает, что я пойду, а мне дурно от этого будет.

Так и не ходил дней с десять еще, а потом на праздниках как-то захал, во фраке — видно, в гостях был — и целый день пробыл: все играл; на другой день приехал, на третий... Пошло по-старому. Хотел я было с ним еще поиграть, так нет, говорит, с тобой играть не стану; а сто восемьдесят рублей, что я тебе должен, приди ко мне через месяц — получишь.

Хорошо. Пришел к нему через месяц.

— Ей-богу,— говорит,— нет, а в четверг приди.

Пришел я в четверг. Славную такую квартиру занимал.

— Что,— говорю,— дома?

— Почивает,— говорят.

Хорошо, подожду.

Камердин у него из своих был: старичок такой седенький, простой, ничего политики не знал. Вот и поразговорились мы с ним.

— Что,— говорит,— мы тут живем с барином! Совсем заматались, и никакой им ни чести, ни пользы нет от Петербургу от этого. Из деревни ехали, думали: будем как при покойнике барине, царство небесное, по князьям, по графам да по генералам ездить; думали: 20 возьмем себе какую из графинь кралю, с приданым, да и заживем по-дворянски; а выходит на поверку, что мы только по трактирам бегаем — совсем плохо! Княгиня-то Ртищева ведь нам тетка родная, а князь Воротынцев тятенька хресный. Что ж? только на Рождество был раз, да и носу не кажет. Уж ихние люди и то смеются мне: что, мол, ваш барин-то, видно, не в папеньку пошел. Я раз и говорю ему: «Что, сударь, к тетеньке не изволите ездить? Они скачают, что вас давно не видали». — «Скучно, говорит, там, Демьяныч!»

Поди ты! только и веселья нашел, что в трактире. Хоть бы слу- 30 жил, что ли, а то нет: занялся картами да прочим, а уж евти дела никогда к добру не поведут... Э-эх! пропадаем мы, так, ни за грош пропадаем!.. У нас от барыни-покойницы, царство небесное, богатейшее именье осталось: тысяча душ с лишком, тысяч на триста лесу было. Все заложил теперь, лес продал, мужичков разорил, и все нет ничего. Без господина, известно, управляющий сам больше господина... дерет с мужика последнюю шкуру, да и шабаш. Ему что? набить бы только карман, а там хоть с голоду все помирай. Намедни пришли два мужичка, жалобы принесли от всей вотчины. «Разорил, говорят, вконец мужиков». Что ж? прочитал жалобы, дал 40 по десяти рублей мужичкам. «Я, говорит, сам скоро буду. Получу деньги, говорит, расплачусь, тогда уеду».

А где расплатиться, когда мы всё долги делаем! Ведь много ли, мало ли, тут зиму прожили, тысяч восемьдесят спустили; а теперь в доме рубля серебром нету. А все от добродетели своей. Уж такой

прóстый барин, что и сказать нельзя. От этого самого и пропадает, так вот ни за что пропадает.

И сам чуть не плачет, старик-то. Такой старик смешной!

Проснулся часу в одиннадцатом, позвал меня.

— Не прислали мне,— говорит,— денег, только я не виноват. Затвори,— говорит,— дверь.

Я затворил.

— Вот,— говорит,— возьми часы или булавку брильянтовую и заложил их. Тебе,— говорит,— за них больше ста восьмидесяти рублей дадут, а когда я получу деньги, то выкуплю,— говорит.

— Что ж,— я говорю,— сударь, коли денег у вас нет, нечего делать: пожалуйста хоть часы. Я для вас могу уважить.

А сам вижу, что часы рублей триста стоят.

Хорошо. Заложил я часы за сто рублей, а записку ему принес.

— Восемьдесят,— говорю,— рублей за вами будут; а часы сами извольте выкупить.

Так и по сие время восемьдесят рублей моих денег за ним осталось.

Таким-то родом стал он к нам опять каждый день ходить. Уж не знаю, какие у них промеж себя расчеты были, только всё вместе с князем езжали. Или с *Федоткой* наверх пойдут играть. И тоже какие-то у них втроем мудреные счеты были: тот тому дает, тот тому дает; а кто кому должен, не разберешь никак.

И бывал он таким манером у нас два года, почитай что каждый день, только вид уж свой потерял: бойкий стал и другой раз до того доходил, что у меня по целковому занимал извозчику отдать; а по сту рублей с князем партию играли.

Скучный, худой, желтый стал. Приедет, бывало, абсину сейчас рюмочку велит подать, *канане* закусит да портвейном запьет; ну, и повеселей как будто.

Приезжает раз перед обедом — на Масленице дело было — и стал с каким-то гусаром играть.

— Хотите,— говорит,— заинтересовать партию?

— Извольте,— говорит.— На что?

— Бутылку клодвужо, хотите?

— Идет.

Хорошо. Гусар выиграл, и пошли кушать. Сели за стол; только Нехлюдов и говорит:

— Simon! бутылку клодвужо; да смотри, согреть хорошенько.

Simon ушел, приносит кушанье, бутылки нет.

— Что ж,— говорит,— вино?

Simon побежал, приносит жаркое.

— Подавай же вино,— говорит.

Simon молчит.

— Что ты, с ума сошел! мы уж кончаем обедать, а вина нет. Кто ж его пьет с десертом?

Побежал Simon.

— Хозяин,— говорит,— вас просит.

Покраснел весь, выскочил из-за стола.

— Что,— говорит,— ему надо?

А хозяин стоит у двери.

— Я,— говорит,— не могу вам больше верить, коли вы мне по счету не заплатите.

— Да я,— говорит,— вам сказал, что я в первых числах отдам.

— Как вам угодно,— говорит,— будет; а я в долг не могу беспрестанно давать и ничего не получать. У меня и так,— говорит,— 10 десятки тысяч в долгах пропадают.

— Ну, полно, *моншер*¹,— говорит,— уж мне-то можно поверить.

Пришлите бутылку, а я постараюсь вам поскорее отдать.

И убежал сам.

— Что это, вас зачем вызывали? — гусар говорит.

— Так,— говорит,— просил меня об одной вещи.

— А славно бы,— говорит гусар,— теперь винца тепленького стакан выпить.

— Simon, что же?!

Побежал мой Simon. Опять нет ни вина, ничего. Плохо. Вышел 20 из-за стола, прибежал ко мне.

— Ради Бога,— говорит,— Петруша, дай мне шесть целковых.

А на самом лица нет.

— Нету,— говорю,— сударь, ей-богу, да уж и так за вами моих много.

— Я тебе,— говорит,— сорок целковых за шесть через неделю отдам.

— Коли бы были,— говорю,— я бы не смел отказать, а то, ей-ей, нету.

Так что же? выскочил, зубы стиснул, кулаки сжал, как шальной 30 по коридору бегаёт, да по лбу себя как треснет.

— Ах,— говорит,— Господи! Что это?

Даже не зашел в столовую, вскочил в карету и ускакал.

То-то смеху было. Гусар говорит:

— Где, мол, барин, что со мной обедал?

— Уехал,— говорят.

— Как уехал? Что ж он сказать велел?

— Ничего,— говорят,— не велели сказывать: сели, да и уехали.

— Хорош,— говорит,— гусь!

Ну, думаю себе, теперь долго ездить не будет, после то есть 40 сраму такого. Так нет, на другой день ввечеру приезжает. Пришел в бильярдную и ящик какой-то с собой принес. Снял пальто.

— Давай играть,— говорит.

¹ мой дорогой (*фр.* mon cher)

Глядит исподлобья, сердитый такой.

Сыграли партийку.

— Довольно,— говорит,— поди принеси мне перо и бумаги: письмо нужно написать.

Я, ничего не думамши, не гадамши, принес бумаги, положил на стол в маленькую комнату.

— Готово,— говорю,— сударь!

Хорошо. Сел за стол. Уж он писал, писал, бормотал все что-то, вскочил потом нахмуренный такой.

10 — Поди,— говорит,— посмотри, приехала ли моя карета?

Дело в пятницу на Масленой было, так никого из гостей не было: все по балам.

Я пошел было узнать о карете, только за дверь вышел:

— Петрушка! Петрушка! — кричит, точно испужался чего.

Я вернулся. Смотрю, он белый, вот как полотно, стоит, на меня смотрит.

— Звать,— говорю,— изволили, сударь?

Молчит.

— Что,— говорю,— вам угодно?

20 Молчит.

— Ах, да! давай еще играть,— говорит.

Хорошо. Выиграл он партию.

— Что,— говорит,— хорошо я научился играть?

— Да,— я говорю.

— То-то. Поди,— говорит,— теперь узнай, что карета?

А сам по комнате ходит.

Я себе, ничего не думая, вышел на крыльцо: вижу, кареты никакой нет, иду назад.

30 Только иду назад, слышу, кием ровно стукнул кто-то. Вхожу в бильярдную: пахнет что-то чудно.

Глядь: а он на полу лежит, ве-есь в крови, и пистоль подле брошена. Так я до того испужался, что слова сказать не мог.

А он дрыгнет, дрыгнет ногой, да и потянется, захрапел потом, да и растянулся вот таким родом.

И отчего такой грех с ним случился, что душу свою загубил, то есть Бог его знает; только что бумагу эту оставил, да и то я никак не соображу.

Уж чего не делают господа!.. Сказано, господа... Одно слово — господа.

40 «Бог дал мне все, чего может желать человек: богатство, имя, ум, благородные стремления. Я хотел наслаждаться и затоптал в грязь все, что было во мне хорошего.

Я не обесчещен, не несчастен, не сделал никакого преступления; но я сделал хуже: я убил свои чувства, свой ум, свою молодость.

Я опутан грязной сетью, из которой не могу выпутаться и к ко-

меня и в заключение передъ мной. Тогда став-
ро в отпущении на минуту и увидать воз-
можности друзей жизни, ахъ въ эту минуту
идетъ, въ которомъ я живу и искаю счастья.

А если бы вспомнилъ, то быль лучшея судьба
люди, которые и представляютъ на
всехъ; удивление передъ безъразличнаго существа,
а судьба въ маркера. Выходитъ, что мы
живемъ въ этомъ жестокомъ мире, какъ под-
ножье, то есть, то есть.

(2) ~~Видно, что мы живемъ въ этомъ жестокомъ мире, какъ под-
ножье, то есть, то есть.~~
-мать, между нами и между и между, какъ между
и между и между и между что и между! - Слова марке-
ра въ конце воспоминания своихъ людей и
нашихъ. Мы живемъ восточномъ.

Тамъ мы живемъ восточномъ съ формою, съ восточномъ с
душою, которая такъ ясно и быстро ощущается
всё время въ жизни и восточномъ и восточномъ.

торой не могу привыкнуть. Я беспрестанно падаю, падаю, чувствую свое падение — и не могу остановиться.

Мне легче бы было быть обесчещенным, несчастным или преступным: тогда было бы какое-то утешительное, угрюмое величие в моем отчаянии. Ежели бы я был обесчещен, я бы мог подняться выше понятий чести нашего общества и презирать его. Ежели бы я был несчастлив, я бы мог роптать. Ежели бы я сделал преступление, я бы мог раскаянием или наказанием искупить его; но я просто низок, гадок, знаю это — и не могу подняться.

10 И что погубило меня? Была ли во мне какая-нибудь сильная страсть, которая бы извиняла меня? Нет.

Семерка, туз, шампанское, желтый в середнюю, мел, серенькие, радужные бумажки, папиросы, продажные женщины — вот мои воспоминания.

Одна ужасная минута забвения, низости, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидел, какая неизмеримая пропасть отделяла меня от того, чем я хотел и мог быть. В моем воображении возникли надежды, мечты и думы моей юности.

20 Где те светлые мысли о жизни, о вечности, о Боге, которые с такою ясностью и силой наполняли мою душу? Где беспредметная сила любви, отрадной теплотой согревавшая мое сердце? Где надежда на развитие, сочувствие ко всему прекрасному, любовь к родным, к ближним, к труду, к славе? Где понятие об обязанности?

Меня оскорбили — я вызвал на дуэль и думал, что вполне удовлетворил требованиям благородства. Мне нужны были деньги для удовлетворения своих пороков и тщеславия — я разорил тысячи семейств, вверенных мне Богом, и сделал это без стыда, — я, который так хорошо понимал эти священные обязанности. Бесчестный человек сказал мне, что у меня нет совести, что я хочу красть, — и я остался его другом, потому что он бесчестный человек и сказал мне, что он не хотел меня обидеть. Мне сказали, что смешно жить скромником, — и я отдал без сожаления цвет своей души — невинность — продажной женщине. Да, никакой убитой части моей души мне так не жалко, как любви, к которой я так был способен. Боже мой! Любил ли хоть один человек так, как я любил, когда еще не знал женщин! А как бы я мог быть хорош и счастлив, ежели бы шел по той дороге, которую, вступая в жизнь, открыли мой свежий ум и детское, истинное чувство! Не раз пробовал я выйти из грязной 40 колеи, по которой шла моя жизнь, на эту светлую дорогу. Я говорил себе: употреблю все, что есть у меня воли, — и не мог. Когда я оставался один, мне становилось неловко и страшно с самим собой. Когда я был с другими, я забывал *неволью* свои убеждения, не слышал более внутреннего голоса и снова падал.

Наконец я дошел до страшного убеждения, что не могу подняться, перестал думать об этом и хотел забыться; но безнадежное рас-

Министру Государств,

Губернатору Австро-Венгрии.

Почтительное предложение от имени дворянства в
Вашем присутствии и дарю его в виде книги Домашняя
и Кухонная, грядущую во второй раз повторит, гласит
Королю и государю дворянства - самими же в совер-
шенно том же виде, в котором она есть. Не позволим
никому Вашему Величеству иметь соображения с
своими желаниями в этом отношении. Если же про-
кура должна была быть, то ради Бога, безразлично
станьте и к нам в отношении к этому делу, и к
печатанию. - Наконец, от имени дворянства подъявлю
Восстановление в каком-нибудь виде: Славянская, Русская,
Маркша. Будет ли известно совершено ли Ваше предложение

ПИСЬМО Л.Н.ТОЛСТОГО Н.А.НЕКРАСОВУ

17 сент. 1853 г. Автограф

каяние еще сильнее тревожило меня. Тогда мне в первый раз пришла страшная для других и отрадная для меня мысль о самоубийстве.

Но и в этом отношении я был низок и подл. Только вчерашняя глупая история с гусаром дала мне довольно решимости, чтобы исполнить свое намерение. Во мне не осталось ничего благородного — одно тщеславие, и из тщеславия я делаю единственный хороший поступок в моей жизни.

Я думал прежде, что близость смерти возвысит мою душу. 10 Я ошибался. Через четверть часа меня не будет, а взгляд мой насколько не изменился. Я так же вижу, так же слышу, так же думаю; та же странная непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях, столь противоположная тому единству и ясности, которые, Бог знает зачем, дано воображать человеку. Мысли о том, что будет за гробом и какие толки будут завтра о моей смерти у тетушки Ртищевой, с одинаковой силой представляются моему уму.

Непостижимое создание человек!»

КАК УМИРАЮТ РУССКИЕ СОЛДАТЫ

В 1853 году я несколько дней провел в крепости Чахгири, одном из самых живописных и беспокойных мест Кавказа. На другой день моего приезда, перед вечером, мы сидели с знакомым, у которого я остановился, на завалинке перед его землянкой и ожидали чая. Капитан N, наш добрый знакомый, подошел к нам.

Это было летом; жар свалил, белые летние тучи разбегались по горизонту, горы виднелись яснее, и быстрые ласточки весело вились в воздухе. Два вишневые деревья и несколько однообразных подсолнечников недвижимо стояли перед нами и далеко по дороге кидали свои тени. В двухаршинном садике было как-то тихо и уютно.

Вдруг в воздухе раздался дальний гул орудийного выстрела.

— Что это? — спросил я.

— Не знаю. Кажется, с башни, — отвечал мой знакомый, — уж не тревога ли?

Какой-то казак проскакал по улице, солдат пробежал по дороге, топая большими сапогами, в соседнем доме послышался шум и говор. Мы подошли к забору.

— Что такое? — спросили мы у денщика, который в полосатых штанах, поддерживаемых одной помочью, почесывая спину, бежал по улице.

— Тревога! — отвечал он, не останавливаясь, — барина ищут.

Капитан N схватил папаху и, застегиваясь, побежал домой. Его рота была дежурная.

Раздался второй и третий выстрел с башни.

— Пойдемте на кручь посмотрим, верно, на водопое что-нибудь, — сказал мне мой знакомый. — Не туши самовар, — прибавил он денщику, — сейчас придем.

По улицам бежал народ: где казак, где офицер верхом, где солдат с ружьем в одной и мундиром в другой руке. Испуганные рожи жидов и баб показывались у ворот, в отворенных дверях и окнах. Все было в движенье.

— Где, братцы мои, тревога? где? — спрашивал запыхавшийся голос.

— За мостом антирелийских лошадей забирают,— отвечал другой,— такая большенная партия, братцы мои, что беда.

— Ах ты, мои батюшки! Как они в крепость-то ворвутся, ай-ай-ай-ай! — говорила слезным голосом какая-то баба.

— А примерно к Шамилю в жены не желаете, тетушка? — отвечал, подмигивая, молодой солдат в синих шароварах и <с> папахой набекрень.

10 Едва мы успели подойти к кручи, как нас уже догнала дежурная рота, которая с мешками за плечами и ружьями наперевес бежала под гору. Ротный командир капитан N верхом ехал впереди.

— Петр Иваныч! — кричал ему мой знакомый,— хорошенько их.— Но N не оглянулся на нас: он с озабоченным выражением глядел вперед, и глаза его блестили более обыкновенного. В хвосте роты шел фельдшер с своим кожаным мешочком и несли носилки. Я понял выражение лица ротного командира.

Отрадно видеть человека, смело смотрящего в глаза смерти; а здесь сотни людей всякий час, всякую минуту готовы не только принять ее без страха, но, что гораздо важнее,— без хвастовства, без желания отуманиться, спокойно и просто идут ей навстречу.

Когда рота была уже на полугоре, рябой солдат с загорелым лицом, белым затылком и серьгой в ухе, запыхавшись, подбежал к кручи. Одной рукой он нес ружье, другой придерживал суму. Поравнявшись с нами, он спотыкнулся и упал. В толпе раздался хохот.

— Смотрите, Антоныч! не к добру падать,— сказал балагур солдат в синих штанах.

Солдат остановился; усталое, озабоченное лицо его вдруг приняло выражение самой сильной досады и строгости.

30 — Кабы ты был не дурак, а то ты самый дурак,— сказал он с презрением,— что ни на есть глуп, вот что! — и он пустился догонять роту.

Вечер был тихий и ясный, по ущельям, как и всегда, ползли тучи, но небо было чисто, два черных орла высоко разводили свои плавные круги. На противоположной стороне серебряной ленты Аргуна отчетливо виднелась одинокая кирпичная башня — единственное владение наше в Большой Чечне. В некотором расстоянии от нее партия конных чеченцев гнала отбитых лошадей вверх по крутому берегу и перестреливалась с солдатами, бывшими в башне.

40 Когда рота перебежала через мост, чеченцы были от нее уже гораздо далее ружейного выстрела, но, несмотря на то, между нашими показался дымок, другой, третий и вдруг беглый огонь по всему фронту роты. Звук этой трескотни выстрелов секунд через пять, к общей радости толпы зрителей, долетел до нас.

— Вот она! Ишь пошли. Пошли, пошли-и! Наутек,— слышались в толпе хохот и одобрения.

— Ежели бы, то есть, постепенно отрезать их от гор, не могли бы себе уходу иметь,— сказал балагур в синих штанах, обращавший своим разговором внимание всех зрителей.

Чеченцы, действительно, после залпа поскакали шибче в гору; только несколько джигитов из удалства остались сзади и завязали перестрелку с ротой. Особенно один на белом коне в черной черкеске джигитовал, казалось, шагах в пятидесяти от наших, так что досадно было глядеть на него. Несмотря на непрерывные выстрелы, он разъезжал шагом перед ротой; и только изредка около него показывался голубоватый дымок, долетал отрывчатый звук винтовочного выстрела. Сейчас после выстрела, он на несколько скачков пуская свою лошадь и потом снова останавливался.

— Опять выпалил, подлец,— говорили около нас,— вишь, сволочь, не боится.

— Такое слово знает,— замечал говорун.

Между чеченцами вдруг стало заметно особенное движение, как будто они подбирали раненого, и вперед их побежала лошадь без седока. Восторг толпы при этом виде дошел до последних пределов, смеялись и хлопали в ладоши.

За последним уступом горцы совершенно скрылись из виду, и рота остановилась.

— Ну-с, спектакль кончен,— сказал мне мой знакомый,— пойдемте чай пить.

— Эх, братцы, нашего-то, кажись, одного задели,— сказал в это время старый фураш, из-под руки смотревший на возвращавшуюся роту,— несут кого-то.

Мы решили подождать возвращения роты.

Ротный командир ехал впереди, за ним шли песенники и играли одну из самых веселых, разлихих кавказских песен. На лицах солдат и офицера я заметил особенное выражение сознания собственного достоинства и гордости.

— Нет ли папиросы, господа? — сказал N, подъезжая к нам,— страх курить хочется.

— Ну что? — спросили мы его.

— Да черт бы их побрал с их лошадьми,— отвечал он, закуривая папиросу,— Бандарчука ранили.

— Какого Бандарчука?

— Шорника, знаете, которого я к вам присылал седло обделывать.

— А, знаю, белокурый.

— Какой славный солдат *был*. Вся рота им держалась.

— Разве тяжело ранен?

— Вот же, навывает,— сказал он, указывая на живот.

В это время за ротой показалась группа солдат, которые на носилках несли раненого.

— Подержи-ка за конец, Филипыч,— сказал один из них,— пойду напьюсь.

Раненый тоже попросил воды. Носилки остановились. Из-за краев носилок виднелись только поднятые колена и бледный лоб из-под старенькой шапки.

Какие-то две бабы, Бог знает отчего, вдруг начали выть, и в толпе слышались неясные звуки сожаления, которые вместе с стонами раненого производили тяжелое, грустное впечатление.

— Вот она есть, жисть-то нашего брата,— сказал, пощелкивая 10 языком, красноречивый солдат в синих штанах.

Мы подошли взглянуть на раненого. Это был тот самый беловолосый солдат в серьгой в ухе, который спотыкнулся, догоняя роту. Он, казалось, похудел и постарел несколькими годами, и в выражении его глаз и складе губ было что-то новое, особенное. Мысль о близости смерти уже успела проложить на этом простом лице свои прекрасные, спокойно-величественные черты.

— Как ты себя чувствуешь? — спросили его.

— Плохо, ваше благородие,— сказал он, с трудом поворачивая к нам отяжелевшие, но блестящие зрачки.

20 — Бог даст, поправишься.

— Все одно когда-нибудь умирать,— отвечал он, закрывая глаза.

Носилки тронулись, но умирающий хотел еще сказать что-то. Мы еще раз подошли к нему.

— Ваше благородие,— сказал он моему знакомому.— Я стремна купил, они у меня под наром лежат — ваших денег ничего не осталось.

.....
На другое утро мы пришли в госпиталь навестить раненого.

30 — Где тут солдат восьмой роты? — спросили мы.

— Который, ваше благородие? — отвечал белолицый исхудалый солдат с подвязанной рукой, стоявший у двери.

— Должно, того спрашивают, что вчера с тревоги принесли,— сказал слабый голос с койки.

— Вынесли.

— Что, он говорил что-нибудь перед смертью? — спросили мы.

— Никак нет, только дышал тяжело,— отвечал голос с койки,— он со мной рядом лежал, так дурно пахло, ваше благородие, что беда!

40
Велики судьбы славянского народа! Недаром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!

РУБКА ЛЕСА

Рассказ юнкера

I

В середине зимы 185. года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером четырнадцатого февраля, узнав, что взвод, которым я командовал, за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь, лег на свою построенную на колышках постель, на-
двинул на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным
крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и бес-
покойства перед опасностью. Ожидание дела назавтра привело
меня в это состояние.

В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечи неприятно поразил мои заспанные глаза.

«Извольте вставать»,— сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул. «Извольте вставать,— повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо.— Пехота выступает». Я вдруг вспомнил действительность,
вздрагнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк (место, где стоят орудия). Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким багровым светом. Вблизи слышался равномерный, спокойный храп, вдали движение, говор и бряцанье ружей пехоты, готовившейся к выступлению; пахло дымом, навозом, фитилем и туманом; по спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ощупывали друг друга.

Только по фырканию и редкому топоту можно было разобрать в

этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников — где стоят орудия. Со словами «с Богом» зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотой, взвод остановился и с четверть часа дождался сбора всей колонны и выезда начальника.

— А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович! — сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова.

10 — Кого?

— Веленчука нет-с. Как запрягали, он все тут был — я его видал, — а теперь нет.

Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысало несколько конных: это был начальник со свитой; а вслед за тем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы, — а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас.

20 — Где он был? — спросил я у Антонова.

— В парке спал.

— Что, он хмелен, что ли?

— Никак нет.

— Так отчего же он заснул?

— Не могу знать.

Часа три мы медленно двигались по каким-то непаханым, беснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде слышались отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбуждительно действовали на всех. Отряд как бы проснулся: в рядах слышались говор, движение и смех. Солдаты кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или, для препровождения времени, *отбивал* на караул и к ноге. Притом туман заметно начинал белеть на востоке, сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытую туманной сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых
40 лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами.

Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелись крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища; слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса опушки густого леса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас,

Рубка леса. Давление Кавказского Оружия.

На Кавказе, существующем при рода войны: на
бни, овде крепостей или правительств, укреплен-
ных аунов и полтарика крепостей в неприятели
-ские владения... Надом производится в устье,
или разорит, срет ^{и укрепить} неприятели гринца, или
захватить в свои округи неприятели, или на-
-бить или скараивать и производить только
во время краде Кавказа по неприятели в по-
приятели обавка и по устроительству своих аунов,
или записывают в свои... Этот род войны по-
-бено вестить, если можно так выразить, но
редко приносят официальных пользу, так как
неприятели через своих наутников почти все-
-да дают вперед дирекции Гусевых и прилима-
-отъ свои интересы Оада и Гусевых укрепленных
аунов ~~сделают предприятельны~~ и часто сопро-
-дают в неприятели трудны и потерны, но
зато убивавших утратить, приливает ^{также} ~~сделают~~
-ую попорителывую пользу ^{успешно} ~~сделают~~
во вавилинских вавилинских ~~сделают~~
или свои твердыни ~~сделают~~ вперед в ~~сделают~~ Кав-
-казе. Третий род войны попорителывая крепости
сделают существование ~~сделают~~ ^{или} на Кавказе;

«РУБКА ЛЕСА». ВАРИАНТ НАЧАЛА

Автограф

составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес.

Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымались костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и полами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев.

Артиллеристы, с некоторым соперничеством перед пехотными, разложили свой костер, и хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли и помертвевшая белесая трава оттаивала кругом костра, солдатам все казалось мало: они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували все больше и больше.

Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук, и всегда хлопотун, но теперь, как провинившийся, больше всех старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раза два из руки в руку и бросил на землю.

«Ты форостинку зажги да подай», — сказал другой. «Пальник, братцы, подайте», — сказал третий. Когда я наконец без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда наконец ему показалось, что можно отдохнуть, он подошел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем в виде епанчи, на задней пуговице, расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился.

— Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — сказал он, помолчав немного и не обращая ни к кому в особенности.

II

В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск: кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.

Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие:

1) Покорных.

2) Начальствующих и

40 3) Отчаянных.

Покорные подразделяются на а) покорных хладнокровных, б) покорных пьющих и с) покорных хлопотливых.

Начальствующие подразделяются на а) начальствующих суровых и б) начальствующих политических.

Отчаянные подразделяются на а) отчаянных забавников и б) отчаянных развратных.

Чаще других встречающийся тип, — тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле Божьей, — есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем не сокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливого — ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием.

Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т.д., и, по первому подразделению начальствующих суровых, есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключаяющий высоких поэтических порывов (к этому типу принадлежал ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя). Второе подразделение составляют начальствующие политичные, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующий политичный бывает всегда красноречив, грамотен, ходит в розовой рубашке, не ест из общего котла, курит иногда мусатов табак, считает себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующие первого разряда.

Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении — отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство натуры и удаль, — и так же ужасно дурен во втором подразделении — отчаянных развратных, которые, однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским. Неверие и какое-то удальство в пороке — главные черты характера этого разряда.

Веленчук принадлежал к разряду покорных хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже пятнадцать лет на службе и хотя невидный и не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большей частью нехстати, и чрезвычайно честный. Я говорю: чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, в котором он показал весьма очевидно это характеристическое свойство. Надобно заметить, что почти каждый из солдат имеет мастерство. Более распространенные мастерства: портняжное и сапожное. Веленчук сам научился первому и даже, судя по тому, что *сам* Михаил Дорофеич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошел до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Веленчук взялся шить тонкую шинель Михаилу

Дорофеичу; но в ту самую ночь, когда он, скроив сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под головы, с ним случилось несчастье: сукно, которое стоило *семь рублей*, в ночь пропало! Веленчук, со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыданиями, объявил о том фельдфебелю. Михаил Дорофеич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному, но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Веленчука возвращения ценности шинели. Как ни хлопотал хлопотливый Веленчук, как ни плакал, рассказывая про свое несчастье, вор не нашелся. Хотя и были сильные подозрения на одного отчаянного развратного солдата, Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальствующий политичный Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастья. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы: так сильно на него подействовало это несчастье. Он не пил, не ел, работать даже не мог и все плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. «Ей-богу, последние, Михал Дорофеич,— и те у Жданова занял,— сказал он, снова всхлипывая,— а еще два рубля, ей-ей, отдам, как заработаю. Он (кто был *он*, не знал и сам Веленчук) меня перед вашими глазами плутом сделал. Он — ехидная его мерзкая душа — у своего брата-солдата последнее из души взял; а я, пятнадцать лет служа...» К чести Михаила Дорофеича должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их.

30

III

Кроме Веленчука около костра грелись еще пять человек солдат моего взвода.

На лучшем месте, за ветром, на баклаге, сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В позе, во взгляде и во всех движениях этого человека заметны были привычка повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти, и крытом нанкой полушубке.

Когда я подошел, он повернул голову ко мне; но глаза его оставались устремленными на огонь, и только гораздо после взгляд его, вслед за направлением головы, обратился на меня. Максимов был из однодворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учености. Он был ужасно богат и ужасно учен, как говорили солдаты. Я помню, как раз, на практической навесной стрель-

бе с квадрантом, он объяснял собравшимся вокруг него солдатам, что ватерпас *не что иное есть, как происходит, что атмосферическая ртуть свое движение имеет*. В сущности, Максимов был далеко не глуп и отлично знал свое дело; но у него была несчастная странность говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его и что, я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова «происходит» и «продолжать», и когда, бывало, скажет: «происходит» или «продолжая», то уже я вперед знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же, напротив, сколько я мог заметить, любили слушать его «происходит» и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но непонимание это они относили только к своей глупости и тем более уважали Федора Максимиича. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный.

Второй солдат, переобувавший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов — тот самый бомбардир Антонов, который еще в тридцать седьмом году, втроем оставшись при одном оружии, без прикрытия, отстреливался от сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его. «Давно бы уж ему быть фейерверкером, коли бы не характер его», — говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер: в трезвом виде не было человека покойнее, смирнее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком — не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда не годным солдатом. Не дальше как неделю тому назад он запил на Масленице и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязыванья к оружию, пьянствовал и буянил до самого чистого понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надобно было видеть эту невысокую, сбитую, как железо, фигуру с короткими, выгнутыми ножками и глянцевитой усатой рожей, когда он, бывало, под хмельком возьмет в жилистые руки балалайку и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет «барыню» или, с шинелью внакидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдет по улице, — надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему несолдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять, каким образом не подражаться в такие минуты с загрубившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще неартиллеристом, было для него совершенно невозможным. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем.

Третий солдат, с серьгой в ухе, щетинистыми усиками, птичьей рожицей и фарфоровой трубочкой в зубах, на корточках сидевший

около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был *забавник*. В трескучий ли мороз, по колону в грязи, два дня не евши, в походе, на смотру, на ученье милый человек всегда и везде корчил гримасы, выделял ногами коленцы и отливал такие штуки, что весь взвод покатывался со смеху. На привале или в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он или затевал «Фильку»¹, или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского милорда, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирало со смеху. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот; но действительно в нем много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что другим и в голову не приходило, и — главное — способность эта во всем видеть смешное не уступала никаким испытаниям.

Четвертый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, в первый еще раз бывший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что казалось, истертый 20 полушубочек его сейчас загорится; но, несмотря на это, по его распахнутым полам, спокойной, самодовольной позе с выгнутыми икрами видно было, что он испытывал большое удовольствие.

И наконец пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра и строгавший какую-то палочку, был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал еще рекрутами, и все, по старой привычке, называли его дянькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил, не играл в карты (даже в носки), не бранился дурным словом. Все свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по праздникам ходил в церковь, 30 где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал псалтырь, единственную книгу, по которой он умел читать. С солдатами он водился мало, — со старшими чином, хотя и младшими летами, он был холодно почтителен, с равными, как непьющий, он имел мало случаев сходитьсь; но особенно он любил рекрутов и молодых солдат: их он всегда покровительствовал, читал им наставления и помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей двадцать пять, которыми охотно ссужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что, когда, десять лет тому назад, он рекрутом пришел 40 и старые пьющие солдаты пропили с ним деньги, которые у него были, Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочел настав-

¹ Солдатская игра в карты. (Прим. Л. Н. Толстого.)

ление, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которых уж не было у Максимова, и полтину денег. «Он из меня человека сделал»,— говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Веленчуку, которого он вообще покровительствовал с самого рекрутства, во время несчастья пропажи шинели и многим, многим другим во время своей двадцатипятилетней службы.

По службе нельзя было желать лучше знающего дело, храбрее и исправнее солдата; но он был слишком смирен и невиден, чтобы быть произведенным в фейерверкеры, хотя уже был пятнадцать лет бомбардиром. Одна радость и даже страсть Жданова были песни; особенно некоторые он очень любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат и, хотя сам не умел петь, стоял с ними и, заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал свое сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул под ушами, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выраженья. Белая как лунь голова, нафабранные черные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему, на первый взгляд, выражение строгое и суровое; но, взглядевшись ближе в его большие круглые глаза, особенно когда они улыбались (губами он никогда не смеялся), что-то необыкновенно кроткое, почти детское вдруг поражало вас.

IV

— Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — повторил Веленчук.

— А ты бы *сихарки* курил, милый человек! — заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая.— Я так всё *сихарки* дома курю: она слаще!

Разумеется, все покатались со смеху.

— То-то, трубку забыл,— перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически-гордо выбивая трубку о ладонь левой руки.— Ты где там пропал? а, Веленчук?

Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее.

— Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпаешь. За это вашему брату спасибо не говорят.

— Разорви меня на сем месте, Федор Максимыч, коли у меня капля во рту была; а я и сам не знаю, что со мной сделалось,— отвечал Веленчук.— С какой радости напился! — проворчал он.

— То-то; а из-за вашего брата отвечаешь перед начальством своим, а вы этак продолжаете — вовсе безобразно,— заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном.

— Ведь вот чудо-то, братцы мои,— продолжал Веленчук после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращая ни к

кому в особенности,— право, чудо, братцы мои! Шестнадцать лет служу — такого со мной не бывало. Как сказали к расчету строиться, я собрался как следует — ничего не было, да вдруг у парке как она схватит меня... схватила, схватила, повалила меня наземь, да и все... И как заснул, сам не слышал, братцы мои! Должно, она самая спячка и есть,— заключил он.

— Ведь и то насилу я тебя разбудил,— сказал Антонов, натягивая сапог,— уж я тебя толкал, толкал... ровно чурбан какой!

— Вишь ты,— заметил Веленчук,— добро уж пьяный бы был...

10 — Так-то у нас дома баба была,— начал Чикин,— так с печи почитай два года не сходила. Стали ее будить раз, думали, что спит, а уж она мертвая лежит,— так тоже все на нее сон находил. Так-то, милый человек!

— А расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе,— сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря: «Не угодно ли тоже послушать глупого человека?»

— Какой тон, Федор Максимыч! — сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд,— известно, рассказывал, какой такой Капказ есть.

20 — Ну да, как же, как же! Ты не модничай... расскажи, как ты им *предводительствовал*?

— Известно, как предводительствовал: спрашивали, как мы живем,— начал Чикин скороговоркой, с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое,— я говорю, живем хорошо, милый человек: провиант сполна получаем, утро и вечер по чашке *щиколата* идет на *солдата*, а в обед идет господский *суп* из перловых *круп*, а замест водки *модера* полагается по крышке. Модера Дивирье, что без посуды, мол, сорок две!

30 — Важная модера! — громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук,— вот так модера!

— Ну, а про зиятов как рассказывал? — продолжал допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько.

Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку и молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда наконец он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал:

40 — Тоже спрашивают, какой, говорит, там, малый, черкес, говорит, или турка у вас на Капказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни замест хлеба едят. Те большие, говорю, ровно как колода добрая, по одному глазу во лбу, и шапки на них красные, вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек! — прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором действительно была уморительная шапочка с красным верхом.

Рекрутик при этом неожиданном обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался и раскашлялся до того, что едва мог выговорить задышающимся голосом: «Вот так тавлинцы!»

— А то еще, говорю, мумры есть,— продолжал Чикин, движением головы надвигая на лоб свою шапочку,— те другие — двойнешки маленькие, вот такие. Всё по парочкам, говорю, рука с рукой держатся и так-то бегают, говорю, швытко, что ты его на коне не догонишь. «Как же, говорит, малый, как же они, мумры-то, рука с рукой так и родятся, что ли-ва?» — воображая передразнивать мужика, сказал он горловым басом.— Да, говорю, милый человек, он такой от природы. Ты им руки разорви, так кровь пойдет, все равно что китаец: шапку с него сними, она кровь пойдет.— «А кажи, малый, как они бьют-то?» — говорит.— Да так, говорю, поймают тебя, живот распорют да кишки тебе на руку и мотают, и мотают. Они мотают, а ты смеешься; дотелева смеешься, что дух вон...

— Ну, что ж, и имели к тебе доверие, Чикин? — сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху.

— И такой, право, народ чудной, Федор Максимыч: верют²⁰ всему, ей-богу, верют. А стал им про гору *Кизбек* сказывать, что на ней все лето снег не тает, так вовсе на смех подняли, милый человек! «Что ты, говорит, малый, фастаешь? Видано ли дело: большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас, малый, в ростопель так какой бугор, и то прежде растаит, а в долине снег лежит». Поди ты! — заключил Чикин, подмигивая.

V

Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко; серо-лиловый горизонт постепенно расширился и хотя гораздо дальше, но также резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана.

Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстился где черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров, их винтовок и орудия.

Это еще было не дело, «а одна потеха-с», как говорил добрый капитан Хлопов.

Командир девятой егерской роты, бывшей у нас в прикрытии,⁴⁰ подошел к моим орудиям и, указывая на трех верховых татар, ехавших в это время под лесом, на расстоянии от нас более шестисот сажень, просил, по свойственной всем вообще пехотным офицерам

любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату.

— Видите,— говорил он с доброй и убедительной улыбкой, протягивая руку из-за моего плеча,— где два большие дерева, так впереди, один на белой лошади и в черной черкеске, а вон сзади еще два. Видите. Нельзя ли их, пожалуйста...

— А вон еще трое едут, по-под лесом,— прибавил Антонов, отличающийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спину трубку, которую курил в это время,— еще передний винтовку из чехла вынул. Знатко видать, вашбородие!

— Вишь, выпалил, братцы мои! вон дымок забелелся,— сказал Веленчук в группе солдат, стоявших немного сзади нас.

— Должно, в нашу цепь, прохвост! — заметил другой.

— Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят — орудию поставить хотит,— добавил третий.— Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-то бы заплевали...

— А как думаешь, как раз дотолева фатит, милый человек? — спросил Чикин.

— Пятьсот либо пятьсот двадцать сажен, больше не будет,— как будто говоря сам с собой, хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было, что ему, так же как и другим, ужасно хотелось выпалить,— коли сорок пять линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно.

— Знаете, теперь коли в эту кучку направить, непременно в кого-нибудь попадете. Вот-вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорей велите выстрелить,— продолжал упрашивать меня ротный командир.

— Прикажете навести орудие? — отрывистым басом вдруг спросил Антонов с видом какой-то угрюмой злобы.

30 Признаюсь, мне и самому этого очень хотелось, и я велел навести второе орудие.

Едва я успел сказать, как граната была распудрена, дослана, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстые пальца, уже командовал хобот вправо и влево.

— Чуть-чуть влево... самую малость вправо... еще, еще трошки... так ладно,— сказал он, с гордым видом отходя от орудия.

Пехотный офицер, я, Максимов, один за другим, приложились к прицелу и все подали свои разнообразные мнения.

— Ей-богу, перенесет,— заметил Веленчук, пощелкивая языком, 40 несмотря на то, что он только смотрел чрез плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это.— Е-е-ей-богу, перенесет, прямо в ту дерево попанет, братцы мои!

— Второе! — скомандовал я.

Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полет снаряда,— трубка вспыхнула, и зазвенела медь. В то же мгновение нас обдало пороховым дымом, и из поразительного гула

выстрела отделился металлический, жужжащий, с быстротою молнии удалявшийся звук полета, посреди всеобщего молчания замерший в отдалении.

Немного позади группы верховых показался белый дымок, татары расскакались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва.

«Вот важно-то! Эх поскакали! Вишь, черти, не любят!» — слышались одобрения и смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат.

— Коли бы трошки ниже пустить, в самую его бы попало, — заметил Веленчук, — говорил, в дереву попанет: оно и есть — взяло 10
вправо.

VI

Оставив солдат рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их еще в лесу есть, я отошел с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Болхов был один из офицеров, называемых в полку *бонжурами*. Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски. Но, несмотря на это, товарищи любили его. Он был довольно умен и имел достаточно такта, чтобы носить 20
петербургский сюртук, есть хороший обед и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. Поговорив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах и убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи в удовлетворительности понятий один другого, мы невольно перешли к разговору более короткому. Притом же на Кавказе между встречающимися одного круга людьми хотя невысказанно, но весьма очевидно проявляется вопрос: зачем вы здесь? — и на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить.

— Когда этот отряд кончится? — сказал он лениво, — скучно! 30

— Мне не скучно, — сказал я, — ведь в штабе еще скучнее.

— О, в штабе в десять тысяч раз хуже, — сказал он со злостью. — Нет! когда все это совсем кончится?

— Что же вы хотите, чтоб кончилось? — спросил я.

— Все, совсем!.. Что же, готовы битки, Николаев? — спросил он.

— Для чего же вы пошли служить на Кавказ, — сказал я, — коли Кавказ вам так не нравится?

— Знаете, для чего, — отвечал он с решительной откровенностью, — по преданию. В России ведь существует престранное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого 40
рода несчастных людей.

— Да, это почти правда, — сказал я, — бóльшая часть из нас...

— Но что лучше всего, — перебил он меня, — что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и ре-

шительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройства дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками,— все это страшное что-то, а, в сущности, ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т.д. ...

10 — Да,— сказал я, смеясь,— мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это — испытывали ли вы когда-нибудь? — как читать стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себе гораздо лучше, чем есть...

— Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ,— перебил он меня.

— Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе...

— Может быть, и хорош,— продолжал он с какою-то раздражительностью,— знаю только то, что я не хорош на Кавказе.

— Отчего же так? — сказал я, чтоб сказать что-нибудь.

20 — Оттого, что, во-первых, *он* обманул меня. Все то, от чего я, по преданию, поехал лечиться на Кавказ, все приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде все это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязенькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей, оскорблений; во-вторых, оттого, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже, и главное — то, что чувствую себя неспособным к здешней службе: я не могу переносить опасности... просто, я не храбр... — Он остановился и посмотрел на меня. — Без шуток.

30 Хотя это непрощеное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил, как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого опровержения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях.

— Знаете, я в нынешний отряд в первый раз в деле,— продолжал он,— и вы не можете себе представить, что со мной вчера было. Когда фельдфебель принес приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел как полотно и не мог говорить от волнения. А как я провел ночь, ежели бы вы знали! Если правда, что седеют от страха, то я бы должен быть совершенно белый нынче, потому что,

40 верно, ни один приговоренный к смерти не прострадал в одну ночь столько, как я; даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот что идет,— прибавил он, вертя кулак перед своей грудью.— И что смешно,— продолжал он,— что здесь ужаснейшая драма разыгрывается, а сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело. Вино есть, Николаев? — прибавил он, зевая.

— Это *он*, братцы мои! — послушался в это время встревожен-

ный голос одного из солдат, и все глаза обратились на опушку дальнего леса.

Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля, все, что было на моих глазах в эту минуту, все вдруг приняло какой-то новый, величественный характер. И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева — все это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в это мгновение в прост-
странстве, может быть, направлено прямо в мою грудь. 10

— Вы где брали вино? — лениво спросил я Болхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один — *Господи, прими дух мой с миром*, другой — *надеюсь не пагнуться, а улыбаться, в то время как будет пролетать ядро*, — и в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно и в двух шагах от нас шлепнулось ядро.

— Вот если бы я был Наполеон или Фридрих, — сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поворачиваясь ко мне, — я бы непременно сказал какую-нибудь любезность.

— Да вы и теперь сказали, — отвечал я, с трудом скрывая трево- 20 гу, произведенную во мне прошедшей опасностью.

— Да что ж, что сказал: никто не запишет.

— А я запишу.

— Да вы ежели и запишете, так *в критику*, как говорит Мищенко, — прибавил он, улыбаясь.

— Тьфу ты, проклятый! — сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону, — трошки по ногам не задела.

Все мое старанье казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого про-
стодушного восклицания. 30

VII

Неприятель действительно поставил два орудия на том месте, где разъезжали татары, и каждые минут двадцать или тридцать по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперед на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показывался дымок, слышались выстрел, свист, и ядро падало сзади или впе-
реди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо, и потери не было.

Артиллеристы, как и всегда, вели себя превосходно, проворно заряжали, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокой-
но шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом без-
действии лежало около нас, дожидая своей очереди. Рубщики леса делали свое дело: топоры звучали по лесу быстрее и чаще; только в то время, как слышался свист снаряда, все вдруг замолкало, средь 40

мертвой тишины раздавались не совсем спокойные голоса: «Сторонись, ребята!» — и все глаза устремлялись на ядро, рикошетировавшее по кострам и срубленным сучьям.

Туман уже совершенно поднялся и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в темно-голубой синеве неба; открывшееся солнце ярко светило и бросало веселые отблески на сталь штыков, медь орудий, оттаивающую землю и блески инея. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца; тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глянцевиной дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов.

Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны, с развевающимися флюгерами пик, выехали вперед; в пехотных ротах послышались песни, и обоз с дровами стал строиться в арьергарде. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас ружейным огнем. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, 20 потом другая, третья... Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, взяло ружья и заняло цепь. Ружейные выстрелы усиливались, и пули стали летать чаще и чаще. Началось отступление и, следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе.

По всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядра — пехотным. Антонов принахмурился. Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними; но видно было, что они ему не нравились. Про одну говорил он: «как торопится», другую называл «пчелкой», третью, которая, как-то медленно и жалобно визжа, пролетела над нами, назвал «сиротой», чем произвел 30 общий хохот.

Рекрутик с непривычки при каждой пуле сгибал набок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло смеяться солдатиков. «Что, знакомая, что ли, что кланяешься?» — говорили ему. И Веленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии: его, видимо, сердило то, что мы не стреляем картечью по тому направленью, откуда летали пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил: «Что ж он нас даром-то бьет? Кабы туда орудию поворотить да картечью бы дунуть, так затих бы 40 небось».

Действительно, пора было это сделать: я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить картечью.

— Картечь! — крикнул Антонов, лихо в самом дыму подходя с банником к орудию, только что заряд был выпущен.

В это время недалеко сзади себя я услышал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце

сжалось во мне. «Кажется, кого-то из наших задело», — подумал я, но вместе с тем боялся оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и «о-о-о-ой» — раздирающий стон раненого. «Задело, братцы мои!» — проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. Сума, которую он нес, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови; лоб же он разбил о пень во время падения.

10

Все это я разобрал гораздо после; в первую же минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови.

Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова — только рекрутик пробормотал что-то, вроде: «Вишь ты как, в кровь», — и Антонов, нахмурившись, крикнул сердито; но по всему заметно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с большей деятельностью принялись за дело. Орудие было заряжено в одно мгновение, и вожатый, принося картечь, шага на два обошел то место, на котором, продолжая стонать, лежал раненый.

20

VIII

Каждый бывший в деле, верно, испытывал то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял под мышки и поднял его. «Что стали! берись!» — крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять, даже ненужных, помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать 30 ужасно и рваться.

— Что кричишь, как заяц! — сказал Антонов, грубо удерживая его за ногу, — а не то бросим.

И раненый затих действительно, только изредка приговаривая: «Ох, смерть моя! о-ох, братцы мои!»

Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товарищами — должно быть, прощался — тихим, но внятным голосом.

В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорей везти его на 40 перевязочный пункт и отошел к орудиям; но через несколько минут мне сказали, что Веленчук зовет меня, и я подошел к повозке.

На дне ее, схватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое широкое лицо его в несколько секунд совершенно измени-

лось: он как будто похудел и постарел несколькими годами; губы его были тонки, бледны и сжаты с видимым напряжением; торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти.

Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок¹ с деньгами.

Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес.

— Тут три монеты и полтинник,— сказал он мне в то время, как я брал в руки черес,— уж вы их сберегите.

Повозка было тронулась, но он остановил ее.

— Я поручику Сулимовскому шинель работал. О-они мне две монеты дали. На полторы я пуговиц купил, а полтина у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте.

— Хорошо, хорошо,— сказал я,— выздоравливай, братец!

Он не отвечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе это облегчение.

IX

— Ты куда? Вернись. Куда ты идешь? — закричал я рекрутику, который, положив под мышку свой запасный пальник, с какой-то палочкой в руках прехладнокровно отправлялся за повозкой, повезшей раненого.

Но рекрутик только лениво оглянулся на меня, пробормотал что-то и пошел дальше, так что я должен был послать солдата, чтобы привести его. Он снял свою красную шапочку и, глупо улыбаясь, глядел на меня.

— Куда ты шел? — спросил я.

— В лагерь.

— Зачем?

— А как же — Веленчука-то ранили,— сказал он, опять улыбаясь.

— Так тебе-то что? ты должен здесь оставаться.

Он с удивлением посмотрел на меня, потом хладнокровно повернулся, надел шапку и пошел к своему месту.

¹ Черес — кошелек в виде пояска, который солдаты носят обыкновенно под коленом. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Дело вообще было счастливо: казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела; пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными; в артиллерии выбыли из строя всего один Веленчук и две лошади. Зато вырубили леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было: вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась огромная поляна, покрытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой. Несмотря на то, что неприятель не переставал преследовать нас артиллерийским и ружейным огнем до самой речки с кладбищем, которую мы переходили утром, отступление сделано было счастливо. Уже я начинал мечтать о щах и бараньем боке с кашей, ожидавших меня в лагере, когда пришло известие, что генерал приказал построить на речке редут и оставить в нем до завтра третий батальон К. полка и взвод 4-й батареейной батареи. Повозки с дровами и ранеными, казаки, артиллерия, пехота с ружьями и дровами на плечах — все с шумом и песнями прошли мимо нас. На всех лицах видны были одушевление и удовольствие, внушенные минувшей опасностью и надеждой на отдых. Только мы с третьим батальоном должны были ожидать этих приятных чувств еще до завтра.

20

Х

Покуда мы, артиллеристы, хлопотали около орудий: расставляли передки, ящики, разбивали коновязь, — пехота уже составила ружья, разложила костры, построила из сучьев и кукурузной соломы балаганчики и варила кашу.

Начинало смеркаться. По небу ползли сине-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели; горизонт суживался, и вся окрестность принимала мрачные тени. Сырость, которую я чувствовал сквозь сапоги, за шей, неумолкаемое движение и говор, в которых я не принимал участия, липкая грязь, по которой раскатывались мои ноги, и пустой желудок наводили на меня самое тяжелое, неприятное расположение духа после дня физической и моральной усталости. Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его солдатской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению.

Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту.

— Ваше здоровье, — сказал мне подошедший Николаев, — пожайте к капитану, просят чай кушать.

Кое-как пробираясь между козлами и кострами, я вслед за Николаевым пошел к Болхову, с удовольствием мечтая о стакане горячего чаю и веселой беседе, которая бы разогнала мои мрачные мысли.

«Что, нашел?» — послышался голос Болхова из кукурузного шалаша, в котором светился огонек.

— Привел, ваше благородие! — басом отвечал Николаев.

В балагане на сухой бурке сидел Болхов, расстегнувшись и без папахи. Подле него кипел самовар, стоял барабан с закуской. В землю был воткнут штык со свечкой. «Каково?» — с гордостью сказал он, оглядывая свое уютное хозяйство. Действительно, в балагане было так хорошо, что за чаем я совсем забыл про сырость, темноту и рану Веленчука. Мы разговорились про Москву, про предметы,¹⁰ не имеющие никакого отношения с войной и Кавказом.

После одной из тех минут молчания, которые прерывают иногда самые оживленные разговоры, Болхов с улыбкой посмотрел на меня.

— А я думаю, вам очень странным показался наш разговор утром? — сказал он.

— Нет. Отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, но которых никогда говорить не надо.

— Отчего? Нет! ежели бы была какая-нибудь возможность про-²⁰менять эту жизнь хоть на жизнь самую пошлую и бедную, только без опасностей и службы, я бы ни минуты не задумался.

— Отчего же вы не перейдете в Россию? — сказал я.

— Отчего? — повторил он. — О! я давно уже об этом думал. Я не могу теперь вернуться в Россию до тех пор, пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора, как и предполагал, ехавши сюда.

— Отчего же, ежели вы чувствуете себя неспособным, как вы говорите, к здешней службе?

— Но когда я еще более чувствую себя неспособным к тому,³⁰ чтобы вернуться в Россию тем, чем я поехал. Это тоже одно из преданий, существующих в России, которое утвердили Пассек, Слепцов и другие, что на Кавказ стоит приехать, чтобы осыпаться наградами. И от нас все ожидают и требуют этого; а я вот два года здесь, в двух экспедициях был и ничего не получил. Но все-таки у меня столько самолюбия, что я не уеду отсюда ни за что до тех пор, пока не буду майором с Владимиром и Анной на шее. Я уж втянулся до того, что меня всего коробит, когда Гнилокишкину дадут награду, а мне нет. И потом, как я покажусь на глаза в России своему старосте, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке⁴⁰ московской и всем этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды? Правда, что я этих господ знать не хочу и, верно, они тоже очень мало обо мне заботятся; но уж так устроен человек, что я их знать не хочу, а из-за них гублю лучшие года, все счастье жизни, всю будущность свою погублю.

XI

В это время послышался снаружи голос батальонного командира: «С кем это вы, Николай Федорыч?»

Болхов назвал меня, и вслед за тем в балаган влезли три офицера: майор Кирсанов, адъютант его батальона и ротный командир Тросенко.

Кирсанов был невысокий, полный мужчина, с черными усиками, румяными щеками и масляными глазками. Глазки эти были самой замечательной чертой в его физиономии. Когда он смеялся, то от них оставались только две влажные звездочки, и звездочки эти, 10 вместе с растянутыми губами и вытянутой шеей, принимали иногда престранное выражение бессмысленности. Кирсанов в полку вел и держал себя лучше всякого другого: подчиненные не бранили, а начальники уважали его, хотя общее мнение о нем было, что он очень недалек. Он знал службу, был исправен и усерден, всегда был при деньгах, имел коляску и повара и весьма натурально умел притворяться гордым.

— О чем это толкуете, Николай Федорыч? — сказал он, входя.

— Да вот о приятностях здешней службы.

Но в это время Кирсанов заметил меня, юнкера, и потому, 20 чтобы дать почувствовать мне свое значение, как будто не слушая ответа Болхова и глядя на барабан, спросил:

— Что, устали, Николай Федорыч?

— Нет, ведь мы... — начал было Болхов.

Но опять, должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебить и сделать новый вопрос:

— А ведь славное дело было нынче?

Батальонный адъютант был молодой прапорщик, недавно произведенный из юнкеров, скромный и тихий мальчик, со стыдливым 30 и добродушно-приятным лицом. Я видал его прежде у Болхова. Молодой человек часто приходил к нему, раскланивался, садился в уголок и по несколько часов молчал, делал папиросы, курил их, потом вставал, раскланивался и уходил. Это был тип бедного русского дворянского сына, выбравшего военную карьеру как одну возможную при своем образовании и ставящего выше всего в мире свое офицерское звание, — тип простодушный и милый, несмотря на смешные неотъемлемые принадлежности: кисет, халат, гитару и щеточку для усов, с которыми мы привыкли воображать его. В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что он с своим денщиком справедлив, но строг, будто он говорил: «Я редко 40 наказываю, но уж когда меня доведут до этого, то беда», и что, когда пьяный денщик обокрал его совсем и стал даже ругать своего барина, будто он привел его на гауптвахту, велел приготовить все для наказания, но при виде приготовлений до того смутился, что мог только выговорить: «Ну, вот видишь... ведь я могу...» — и, со-

вершенно растерявшись, убежал домой и с той поры боялся смотреть в глаза своему Чернову. Товарищи не давали ему покоя, дразнили его этим, и я несколько раз слышал, как простодушный мальчик отговаривался и, краснея до ушей, уверял, что это неправда, а совсем напротив.

Третье лицо, капитан Тросенко, был старый кавказец в полном значении этого слова, то есть человек, для которого рота, которую он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб,— родиной, а песенники — единственными удовольствиями жизни,—
10 человек, для которого все, что не было Кавказ, было достойно презрения, да и почти недостойно вероятия; все же, что было Кавказ, разделялось на две половины: нашу и не нашу; первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей души, и главное — он был человек закаленной, спокойной храбрости, редкой доброты в отношении к своим товарищам и подчиненным и отчаянной прямоты и даже дерзости в отношении к ненавистным для него почему-то адъютантам и бонжурам. Входя в балаган, он чуть не пробил головой крышу, потом вдруг опустил и сел на землю.

— Ну, что? — сказал он и, вдруг заметив мое незнакомое для
20 него лицо, остановился, вперил в меня мутный пристальный взгляд.

— Так о чем это вы беседовали? — спросил майор, вынимая часы и глядя на них, хотя, я твердо уверен, ему совсем не нужно было делать этого.

— Да вот спрашивал меня, зачем я служу здесь.

— Разумеется, Николай Федорыч хочет здесь отличиться и потом — восвосяи.

— Ну, а вы скажите, Абрам Ильич, зачем вы служите на Кавказе?

— Я? Потому, знаете, что, во-первых, мы все обязаны по своему
30 долгу служить. Что? — прибавил он, хотя все молчали.— Вчера я получил письмо из России, Николай Федорыч,— продолжал он, видимо желая переменить разговор,— мне пишут, что... такие вопросы странные делают.

— Какие же вопросы? — спросил Болхов.

Он засмеялся.

— Право, странные вопросы... мне пишут, что может ли быть ревность без любви... Что? — спросил он, оглядываясь на всех нас.

— Вот как! — сказал, улыбаясь, Болхов.

40 — Да, знаете, в России хорошо,— продолжал он, как будто фразы его весьма натурально вытекали одна из другой.— Когда я в пятьдесят втором году был в Тамбове, то меня принимали везде как флигель-адъютанта какого-нибудь. Поверите ли, на балу у губернатора, как я вошел, так, знаете... очень хорошо принимали. Сама губернаторша, знаете, со мной разговаривала и спрашивала про Кавказ, и все так... что я не знал... Мою золотую шашку смотрят, как

редкость какую-нибудь, спрашивают: за что шашку получил, за что Анну, за что Владимира, и я им так рассказывал... Что? Вот этим-то Кавказ хорош, Николай Федорыч! — продолжал он, не дожидаясь ответа,— там смотрят на нашего брата, кавказца, очень хорошо. Молодой человек, знаете, штаб-офицер с Анной и Владимиром — это много значит в России... Что?

— Вы и прихвастнули-таки, я думаю, Абрам Ильич? — сказал Болхов.

— Хи-хи! — засмеялся он своим глупым смехом.— Знаете, это нужно. Да и поел я славно эти два месяца! 10

— А что, хорошо там, в России-то? — сказал Тросенко, спрашивая про Россию, как про какой-то Китай или Японию.

— Да-с, уж что мы там шампанского выпили в два месяца, так это страх!

— Да что вы! Вы, верно, лимонад пили. Вот я так уж бы треснул там, что знали бы, как кавказцы пьют. Недаром бы слава прошла. Я бы показал, как пьют... А, Болхов? — прибавил он.

— Да ведь ты, дядя, уж за десять лет на Кавказе,— сказал Болхов,— а помнишь, что Ермолов сказал; а Абрам Ильич только шесть... 20

— Какой десять! скоро шестнадцать.

— Вели же, Болхов, *шолфею* дать. Сыро, бррр!.. А? — прибавил он, улыбаясь,— выпьем, майор!

Но майор был недоволен и первым обращением к нему старого капитана, теперь же, видимо, съезжился и искал убежища в собственном величии. Он запел что-то и снова посмотрел на часы.

— Вот я так уж никогда туда не поеду,— продолжал Тросенко, не обращая внимания на насупившегося майора,— я и ходить и говорить-то по-русскому отвык. Скажут: что за чудо такая приехало! Сказано, Азия. Так, Николай Федорыч?.. Да и что мне в России! Все 30 равно тут когда-нибудь подстрелят. Спросят: где Тросенко? — подстрелили. Что вы тогда с восьмой ротой сделаете... а? — прибавил он, обращаясь постоянно к майору.

— Послать дежурного по батальону! — крикнул Кирсанов, не отвечая капитану, хотя, я опять уверен был, ему не нужно было отдавать никаких приказаний.

— А вы, я думаю, теперь рады, молодой человек, что на двойном окладе? — сказал майор, после нескольких минут молчания, батальонному адъютанту.

— Как же-с, очень-с. 40

— Я нахожу, что наше жалованье теперь очень большое, Николай Федорыч,— продолжал он,— молодому человеку можно жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь маленькую.

— Нет, право, Абрам Ильич,— робко сказал адъютант,— хоть оно и двойное, а только что так... ведь лошадь надо иметь...

— Что вы мне говорите, молодой человек! я сам прапорщиком

был и знаю. Поверьте, с порядком жить очень можно. Да вот вам, сочтите,— прибавил он, загибая мизинец левой руки.

— Всё вперед жалованье забираем — вот вам и счет,— сказал Тросенко, выпивая рюмку водки.

— Ну, да ведь на это что же вы хотите... что?

В это время в отверстие балагана всунулась белая голова со сплюснутым носом, и резкий голос с немецким выговором сказал:

— Вы здесь, Абрам Ильич? а дежурный ищет вас.

— Заходите, Крафт! — сказал Болхов.

10 Длинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки.

— А, милый капитан! и вы тут? — сказал он, обращаясь к Тросенке.

Новый гость, несмотря на темноту, пролез до него и, к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и неудовольствию капитана, поцеловал его в губы.

«Это немец, который хочет быть хорошим товарищем»,— подумал я.

XII

20 Предположение мое тотчас же подтвердилось. Капитан Крафт попросил водки, назвав ее *горилкой*, и ужасно крикнул и закинул голову, выпивая рюмку.

— Что, господа, поколесовали мы нынче по равнинам Чечни...— начал было он, но, увидав дежурного офицера, тотчас замолчал, предоставив майору отдавать свои приказания.

— Что, вы обошли цепь?

— Обошел-с.

— А секреты высланы?

— Высланы-с.

30 — Так вы передайте приказание ротным командирам, чтоб были как можно осторожнее.

— Слушаю-с.

Майор прищурил глаза и глубокомысленно задумался.

— Да скажите, что люди могут теперь варить кашу.

— Они уж варят.

— Хорошо. Можете идти-с.

— Ну-с, так вот мы считали, что нужно офицеру,— продолжал майор, со снисходительной улыбкой обращаясь к нам.— Давайте считать. Нужно вам один мундир и брюки... так-с? Так-с. Это положим пятьдесят рублей на два года, стало быть, в год двадцать пять 40 рублей на одежду; потом на еду, каждый день по два абазы... так-с? Так-с; это даже много. Ну, да я кладу. Ну, на лошадь с седлом для ремонта тридцать рублей — вот и всё. Выходит всего двадцать пять, да сто двадцать, да тридцать = сто семьдесят пять. Все вам

остается еще на роскошь, на чай и на сахар, на табак — рублей двадцать. Извольте видеть?.. Правда, Николай Федорыч?

— Нет-с. Позвольте, Абрам Ильич! — робко сказал адъютант, — ничего-с на чай и сахар не останется. Вы кладете одну пару на два года, а тут по походам панталон не наготовишься; а сапоги? я ведь почти каждый месяц пару истреплю-с. Потом-с белье-с, рубашки, полотенца, подвертки — все ведь это нужно купить-с. А как сочтешь, ничего не останется-с. Это, ей-богу-с, Абрам Ильич!

— Да, подвертки прекрасно носить, — сказал вдруг Крафт после минутного молчания, с особенной любовью произнося слово «подвертки», — знаете, просто, по-русски.

— Я вам скажу, — заметил Тросенко, — как ни считай, все выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем. Послужишь с мое, — продолжал он, обращаясь к прапорщику, — тоже выучишься жить. Ведь знаете, господа, как он с денщиками обращается?

И Тросенко, помирая со смеху, рассказал нам всю историю прапорщика с своим денщиком, хотя мы все ее тысячу раз слышали.

— Да ты что, брат, таким розаном смотришь? — продолжал он, 20 обращаясь к прапорщику, который краснел, потел и улыбался, так что жалко было смотреть на него. — Ничего, брат, и я такой же был, как ты, а теперь, видишь, молодец стал. Пусти-ка сюда какого молодчика из России, — видали мы их, — так у него тут и спазмы и ревматизмы какие-то сделались бы; а я вот сел тут — мне здесь и дом, и постель, и всё. Видишь...

При этом он выпил еще рюмку водки.

— А? — прибавил он, пристально глядя в глаза Крафту.

— Вот это я уважаю! вот это истинно старый кавказец! Позвольте 30 вашу руку.

И Крафт растолкал всех нас, продрался к Тросенке и, схватив его руку, потряс ее с особенным чувством.

— Да, мы можем сказать, что испытали здесь всего, — продолжал он, — в сорок пятом году... ведь вы изволили быть там, капитан? Помните ночь с двенадцатого на тринадцатое, когда *по коленки* в грязи ночевали, а на другой день пошли на завалы? Я тогда был при главнокомандующем, и мы пятнадцать завалов взяли в один день. Помните, капитан?

Тросенко сделал головой знак согласия и, выдвинув вперед нижнюю губу, зажмурился.

— Извольте видеть... — начал Крафт чрезвычайно одушевленно, 40 делая руками неуместные жесты и обращаясь к майору.

Но майор, должно быть, неоднократно слышавший уже этот рассказ, вдруг сделал такие мутные, тупые глаза, глядя на своего собеседника, что Крафт отвернулся от него и обратился ко мне и Бол-

хову, попеременно глядя то на того, то на другого. На Тросенку же он ни разу не взглянул во время всего своего рассказа.

— Вот, извольте видеть, как вышли мы утром, главнокомандующий и говорит мне: «Крафт! возьми эти завалы». Знаете, наша военная служба, без рассуждений — руку к козырьку. «Слушаю, ваше сиятельство!» — и пошел. Только как мы подошли к первому завалу, я обернулся и говорю солдатам: «Ребята! не робеть! в оба смотреть! Кто отстанет, своей рукой изрублю». С русским солдатом, знаете, надо просто. Только вдруг граната... я смотрю, один солдат, ¹⁰ другой солдат, третий солдат, потом пули... взжись! взжись! взжись!.. Я говорю: «Вперед, ребята, за мной!» Только мы подошли, знаете, смотрим, я вижу тут, как это... знаете... как это называется? — и рассказчик замахал руками, отыскивая слово.

— Обрыв,— подсказал Болхов.

— Нет... Ах, как это? Боже мой! ну, как это?.. обрыв,— сказал он скоро.— Только ружья наперевес... ура! та-ра-та-та-та! Неприятеля ни души. Знаете, все удивились. Только хорошо: идем мы дальше — второй завал. Это совсем другое дело. У нас уж ретивое закипело, знаете. Только подошли мы, смотрим, я вижу, второй завал — ²⁰ нельзя идти. Тут... как это, ну, как называется этакая... Ах! как это...

— Опять обрыв,— подсказал я.

— Совсем нет,— продолжал он с сердцем,— не обрыв, а... ну, вот, как это называется,— и он сделал рукой какой-то нелепый жест.— Ах, Боже мой! как это...

Он, видимо, так мучился, что невольно хотелось подсказать ему.

— Река, может,— сказал Болхов.

— Нет, просто обрыв. Только мы туда, тут, поверите ли, такой огонь, ад...

³⁰ В это время за балаганом кто-то спросил меня. Это был Максимов. А так как за прослушанием разнообразной истории двух завалов мне оставалось еще тринадцать, я рад был придрататься к этому случаю, чтобы пойти к своему взводу. Тросенко вышел вместе со мной. «Все врет,— сказал он мне, когда мы на несколько шагов отошли от балагана,— его и не было вовсе на завалах»,— и Тросенко так добродушно расхохотался, что и мне смешно стало.

ХIII

⁴⁰ Уже была темная ночь и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошел к своим солдатам. Большой пень, тлея, лежал на углях. Вокруг него сидели только трое: Антонов, поворачивавший в огне котелок, в котором варился *рябка*¹, Жданов, хворостинкой задумчиво разгребававший золу, и Чикин с

¹ Солдатское кушанье — моченые сухари с салом. (Прим. Л. Н. Толстого.)

своей вечно нераскуренной трубочкой. Остальные уже расположились на отдых — кто под ящиками, кто в сене, кто около костра. При слабом свете углей я различал знакомые мне спины, ноги, головы; в числе последних был и рекрутик, который, придвинувшись к самому огню, казалось, спал уже. Антонов дал мне место. Я сел подле него и закурил папиросу. Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла сыпалась с мрачного неба.

Подле нас слышались мерное храпенье, треск сучьев в огне, легкий говор и изредка бряцанье ружей пехоты. Везде кругом пылали 10 костры, освещая в небольшом круге вокруг себя черные тени солдат. Около ближайших костров я различал на освещенных местах фигуры голых солдат, над самым пламенем махающих своими рубахами. Еще много людей не спало, двигалось и говорило на пространстве пятнадцати квадратных сажен; но мрачная, глухая ночь давала свой особенный таинственный тон всему этому движению, как будто каждый чувствовал эту мрачную тишину и боялся нарушить ее спокойную гармонию. Когда я заговорил, я почувствовал, что мой голос звучит иначе; на лицах всех солдат, сидевших около 20 огня, я читал то же настроение. Я думал, что до моего прихода они говорили о раненом товарище; но ничуть не бывало: Чикин рассказывал про приемку вещей в Тифлисе и про тамошних школьников.

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для 30 него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желанья отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом полушубке, ездового, вылезавшего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случай при 40 осаде Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы и фейерверкер двум солдатам велел взять бомбу и бегать бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить *господ*, которые *почивали* в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я еще, в отряде 1852 года, один из молодых солдат к чему-то сказал, во время дела, что уж, кажется, взводу не выйти отсюда, и как весь взвод с злобой напустил-

ся на него за такие дурные слова, которые они и повторять не хотели. Вот теперь, когда у каждого в душе должна быть мысль о Веленчуке и когда всякую секунду мог быть по нас залп подкрававшихся татар, все слушали бойкий рассказ Чикина и никто не упоминал ни о нынешнем деле, ни о предстоящей опасности, ни о раненом, как будто это было Бог знает как давно или вовсе никогда не было. Но мне показалось только, что лица их были несколько пасмурнее обыкновенного; они не слишком внимательно слушали рассказ Чикина, и даже Чикин чувствовал, что его не слушают, но говорил уж так себе.

К костру подошел Максимов и сел подле меня. Чикин дал ему место, замолчал и снова начал сосать свою трубочку.

— Пехотные в лагерь за водкой посылали,— сказал Максимов после довольно долгого молчания,— сейчас воротились.— Он плюнул в огонь.— Унтер-офицер сказывал, нашего видали.

— Что, жив еще? — спросил Антонов, поворачивая котелок.

— Нет, помер.

Рекрутик вдруг поднял над огнем свою маленькую голову в красной шапочке, с минуту пристально посмотрел на Максимова и на меня, потом быстро опустил ее и закутался шинелью.

— Вишь, смерть-то не даром к нему поутру приходила, как я будил его в парке,— сказал Антонов.

— Пустое! — сказал Жданов, поворачивая тлеющий пень. И все замолчали.

Среди общей тишины сзади нас послышался выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его и заиграли зорю. Когда затихла последняя дробь, Жданов первый встал и снял шапку. Мы все последовали его примеру.

Среди глубокой тишины ночи раздался стройный хор мужественных голосов:

— «Отче наш, иже еси на небесех! да святится имя Твое; да придет царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго».

XIV

— Так-то у нас в сорок пятом году солдатик один в это место контужен был,— сказал Антонов, когда мы надели шапки и сели опять около огня,— так мы его два дня на орудии возили... помнишь Шевченку, Жданов?.. да так и оставили там под деревом.

В это время пехотный солдат, с огромными бакенбардами и усами, с ружьем и сумкой, подошел к нашему костру.

— Позвольте, землячки, огоньку, закурить трубочку,— сказал он.

— Что ж, закуривайте: огню достаточно,— заметил Чикин.

— Это, верно, про Дарги, земляк, рассказываете? — обратился пехотный к Антонову.

— Про сорок пятый год, про Дарги,— ответил Антонов.

Пехотный покачал головой, зажмурился и присел около нас на корточки.

— Да уж было там всего,— заметил он.

— Отчего ж бросили? — спросил я Антонова.

— От живота крепко мучился. Как стоим, бывало, ничего, а как тронемся, то криком кричит. Богом просил, чтоб оставили, да все жалко было. Ну, а как он стал нас уж крепко донимать, трех лошадей у нас убил в орудии, офицера убил, да и от батареи своей отбились мы как-то. Беда! совсем не думали орудия увезти. Грязь же была.

— Пуще всего, что под Индейской горой грязно было,— заметил какой-то солдат.

— Да, вот там-то ему пуще хуже стало. Подумали мы, подумали с Аношенкой,— старый фирверкин был,— что ж в самом деле, живому ему не быть, а Богом просит — оставим, мол, его здесь. Так и порешили. Дерево росла там ветлеватая такая. Взяли мы сухариков моченых ему положили — у Жданова были,— прислонили его к древу к этому, надели на него рубаху чистую, простились как следует да так и оставили.

— И важный солдат был?

— Ничего солдат был,— заметил Жданов.

— И что с ним случилось, Бог его знает,— продолжал Антонов.— Много там всякого нашего брата осталось.

— В Даргах-то? — сказал пехотный, вставая и расковыривая трубку и снова зажмурившись и покачивая головой,— уж было там всего.

И он отошел от нас.

— А что, много еще у нас в батарее солдат, которые в Дарго были? — спросил я.

— Да что? вот Жданов, я, Пацан, что в отпуску теперь, да еще человек шесть есть. Больше не будет.

— А что, Пацан-то наш загулял в отпуску? — сказал Чикин, спуская ноги и укладываясь головой на бревно.— Почитай, год скоро, что его нет.

— А что, ты ходил в годовой? — спросил я у Жданова.

— Нет, не ходил,— отвечал он неохотно.

— Ведь хорошо идти,— сказал Антонов,— от богатого дома али когда сам в силах работать, так и идти лестно, и тебе дома рады будут.

— А то что идти, когда от двух братьев! — продолжал Жданов,— самим только бы прокормиться, а не нашего брата солдата

кормить. Подмога плохая, как уж двадцать пять лет прослужил. Да и живы ли — кто е знает.

— А разве ты не писал? — спросил я.

— Как не писать! два письма послал, да все в ответ не присылают. Али померли, али так не посылают, что, значит, сами в бедности живут: так где тут!

— А давно ты писал?

— Пришедши с Даргов, писал последнее письмо.

— Да ты «Березушку» спел бы,— сказал Жданов Антонову, который в это время, облокотясь на колени, мурлыкал какую-то песню.

Антонов запел «Березушку».

— Эта что ни на есть самая любимая песня дяденьки Жданова,— сказал мне шепотом Чикин, дернув меня за шинель,— другой раз, как заиграет ее Филипп Антоныч, так он ажно плачет.

Жданов сидел сначала совершенно неподвижно, с глазами, устремленными на тлевшие уголья, и лицо его, освещенное красноватым светом, казалось чрезвычайно мрачным; потом скулы его под ушами стали двигаться все быстрее и быстрее, и наконец он встал и, разостлав шинель, лег в тени сзади костра. Или он ворочался и крихтел, укладываясь спать, или же смерть Веленчука и эта печальная погода так настроили меня, но мне действительно показалось, что он плачет.

Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая, освещал фигуру Антонова, с его седыми усами, красной рожей и орденами на накинутаой шинели, чьи-нибудь сапоги, голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная мгла, в воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки за-
30 унывной песни Антонова; а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря, храпения, бряцания ружей часовых и тихого говора вторили ей.

— Вторая смена! Макатюк и Жданов! — крикнул Максимов.

Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям.

15 июня 1855 г.

СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет — все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая стеклянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять 10 спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится Богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры, мука, железо и т.п.— 20 кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами,— причаливают и отчаливают от пристани.

— На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте,— предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди — старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, кото- 30 рые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые

громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырьки, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки 10 голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникнуло в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

— Ваше благородие! прямо под Кистентина¹ держите,— скажет вам старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке,— вправо руля.

— А на нем пушки-то еще все,— заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

20 — А то как же: он новый, на нем Корнилов жил,— заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

— Вишь ты, где разорвало! — скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

— Это он с новой батареи нынче палит,— прибавит старик, равнодушно поплеывая на руку.— Ну, навались, Мишка, баркас перегоним.— И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристаёт 30 между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: *сбитень горячий*; и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядры, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров; немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные 40 кóзлы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то малень-

¹ Корабль «Константин». (Прим. Л. Н. Толстого.)

СЕВАСТОПОЛЬ

ВЪ ДЕКАБРЬ МѢСЯЦЪ (*).

Утренняя заря только что начинаетъ окрашивать небо-склонъ надъ Сапунъ-горою; темносняя поверхность моря уже сбросила съ себя сумракъ ночи и ждетъ перваго луча, чтобы занграть веселымъ блескомъ; съ бухты несетъ холо-домъ и туманомъ; снѣга нѣтъ — все черно, но утренній рѣзкій морозъ хватаетъ за лицо и трещитъ подъ ногами, и далекій неумолкаемый гулъ моря, изрѣдка прерываемый рас-катистыми выстрѣлами въ Севастополѣ, одинъ нарушаетъ ти-шину утра. На корабляхъ глухо бьетъ осьмая склика.

На Сѣверной — денная дѣятельность понемногу начинаетъ замѣнять спокойствіе ночи: гдѣ прошла смѣна часовыхъ, побрякивая ружьями; гдѣ докторъ уже снѣшать къ госпита-лю; гдѣ солдатикъ выльзъ изъ землянки, моетъ оледенѣлой

(*) Авторъ обѣщаетъ ежемѣсячно присылать намъ картины севастопольской жизни, въ родѣ предлагаемой. Редація «Современника» считаетъ себя счастливою, что можетъ доставлять своимъ читателямъ статьи, исполненныя такого высокаго современнаго интереса, и притомъ написанныя тѣмъ писателемъ, который возбуждалъ къ себѣ такое живѣйшее сочувствіе и любопытство во всей читающей русской публикѣ своими разсказами: «Дѣтство», «Отрочество», «На-бѣгъ» и «Записки Маркера».

Ред.

кие пушки и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки,— везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но взгляните ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фушштатского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудия,— так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который, в безукоризненно белых перчатках, проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дождающихся на крыльце бывшего Собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости — ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида и звуков с Северной стороны. Но, прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде севастопольским Собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками,— вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутированных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы,— это дурное чувство,— идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли *смотреть* на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посредине

постелей и ищите лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

— Ты куда ранен? — спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенесет их.

— В ногу, — отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена. — 10
Слава Богу теперь, — прибавляет он, — на выписку хочу.

— А давно ты уже ранен?

— Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

— Что же, болит у тебя теперь?

— Нет, теперь не болит ничего; только как будто в икре ноет, когда непогода, а то ничего.

— Как же ты это был ранен?

— На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, таким манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился, 20
глядь, а ноги нет.

— Неужели больно не было в эту первую минуту?

— Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

— Ну, а потом?

— И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много*: как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом. 40

— Это хозяйка моя, ваше благородие! — замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы ее извините. Известно, бабье дело — глупые слова говорит».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое со-

чувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову,— и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

— Ну, дай Бог тебе поскорее поправиться,— говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

— Чтó, он без памяти? — спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

— Нет, еще слышит, да уж очень плох,— прибавляет она шепотом.— Я его нынче чаем поила — что ж, хоть и чужой, все надо жадность иметь,— так уж не пил почти.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

— У сердце гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она выщелушена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже пострадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячий румянец.

— Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой,— скажет вам ваша путеводительница,— она мужу на бастион обедать носила.

— Что ж, отрезали?

— Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными, угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; уви-

дите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет, не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания,— увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти... 10

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы...

«Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим. 20

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов; но это не наведет вас на прежние мысли: похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки — весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте. 30

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннюю жизнь часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров. Купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры — все говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ. 40

— Черт возьми, как нынче у нас плохо! — говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

— Где у нас? — спрашивает его другой.

— На четвертом бастионе,— отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на четвер-

том бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя»,— скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убило, прямо в лоб влепило»,— скажет другой.

10 «Кого это? Митюхина?» — «Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот канальи! — прибавит он к трактирному слуге.— Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой — в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордо», сидят два пехотных офицера: один, молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек, про Алминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему

20 верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «Я иду на четвертый бастион»,— непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над

30 кем-нибудь, говорят: «Тебя бы поставить на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают, откуда, большей частью отвечают: «С четвертого бастиона». Вообще же существуют два, совершенно различные, мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т.д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела пере-

40 мениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша.

Строения кажутся старыми, испытанными всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин — каменной, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите 10 какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадают капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда ранен?» — носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время как вы станете 20 подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос, при виде опасности вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом 30 бежит мимо вас,— вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного выбрались в гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более, что вы видите, *все идет по дороге*. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, 40 окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребями, землянками, платформами, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагроможденным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик с ружьем, переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой

грязи; везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль — жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна,— слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» — думаете вы себе, испытывая маленькое ¹⁰ чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут — место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите ²⁰ пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папиросу из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно ³⁰ без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам — но только, ежели вы его расспросите,— про бомбардированье пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать и из всей прислуги осталось восемь человек и как все-таки на другое утро, шестого, он *пал*¹ из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразуры батареи и траншеи неприятельские, ⁴⁰ которые не дальше здесь как в тридцати — сорока саженях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразур, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, ко-

¹ Моряки все говорят палить, а не стрелять. (Прим. Л. Н. Толстого.)

торый так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель — он, как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке», — и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, — простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но все существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть, — это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую абрауру попало; кажись, убило двух... вон понесли», — услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда», — скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «Пу-у-шка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вокруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «Пушка!» — и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «Маркела!»¹ — и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, ощутительный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и

¹ Мортира. (Прим. Л. Н. Толстого.)

вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще поближе упали около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистыванье, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то время как ему приносит носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза 20 горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше; и в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!» — еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно размахивая руками, возвращается к своему оружию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь»,— говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на 30 вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги...

.....
Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядры и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра,— идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное отрадное убеждение, которое вы вынесли,— это убеждение в невозможности поколебать где бы то ни было силу русского народа,— и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, 40 из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется *духом* защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они всё могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое

чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди непрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого,— любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности 10 удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю,— времена, когда этот герой, достойный Древней Греции,— Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя»,— и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем! ура!» — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский.. 20

Уже вечерет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

*Севастополь.
1855 года, 25 апреля.*

СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ

1

Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и с траншей на бастионы и ангел смерти не переставал парить над ними.

Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же — с невольным трепетом и суеверным страхом — смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях; и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту.

А вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью.

Мне часто приходила странная мысль: что, ежели бы одна воюющая сторона предложила другой — выслать из каждой армии по одному солдату? Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его? Потом выслать другого, с каждой стороны, потом третьего, четвертого и т.д., до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии (предполагая, что армии равносильны и что количество было бы заменяемо качеством). И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы между ра-

зумными представителями разумных созданий должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата — один бы осаждал город, другой бы защищал его.

Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между восьмьюдесятью тысячами воюющих против восьмидесяти тысяч? Отчего не сто тридцать пять тысяч против ста тридцати пяти тысяч? Отчего не двадцать тысяч против двадцати тысяч? Отчего не двадцать против двадцати? Отчего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать.

2

В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам.

Светлое весеннее солнце вышло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город — на Николаевскую казарму — и, одинаково радостно светя для всех, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском.

Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, настроенных на левой стороне Морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен — длинноног, неловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лилового цвета, шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов; панталоны со штрипками и чистые, блестящие, хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги. Но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны, опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или 40
квартирмейстер полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии. Он действительно был офицер, перешедший из кавалерии,

и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Г. губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспомнил одно место письма, в котором товарищ пишет:

«Когда приносят нам “Инвалид”, то *Лупка* (так отставной улан называл жену свою) бросается опрометью в переднюю, хватает газету и бежит с ней на эс в беседку, в гостиную (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе) и с таким жаром читает *ваши* геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: “Вот Михайлов,— говорит она,— так это *душка человек*. Я готова расцеловать его, когда увижу. Он *сражается на бастионах* и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут”, — и т.д., и т.д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе». В другом месте он пишет: «До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе *барышни с музыкой* рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга (он у министра, по особым поручениям, приятный человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас *рисурс*, что ты себе представить не можешь) — так он говорит наверно, что наши заняли Евпаторию, *так что французам нет уж сообщения с Балаклавой*, и что у нас при этом убито двести человек, а у французов до пятнадцати тысяч. Жена была в таком восторге по этому случаю, что *кутила* целую ночь и говорит, что ты наверное, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился...»

Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель, верно, составил себе истинное и невыгодное понятие в отношении порядочности о самом штабс-капитане Михайлове, на стоптанных сапогах, о товарище его, который пишет *рисурс* и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на эсе (может быть, даже и не без основания вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями) и вообще о всем этом праздном грязненьком провинциальном презренном для него круге, штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге и как он сживал, бывало, с ним по вечерам в беседке и говорил о *чувстве*, вспомнил о добром товарище-улане — как он сердился и ремизился, когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним,— вспомнил о дружбе к себе этих людей (может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга); все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно-сладком, отрадно-розовом свете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся

рукою до кармана, в котором лежало это *милое* для него письмо. Эти воспоминания имели тем большую прелесть для штабс-капитана Михайлова, что тот круг, в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде как кавалерист и дамский кавалер, везде хорошо принятый в городе Т.

Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что, когда в минуты откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодушно-недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное — «пуская говорит», мол, и что ежели он не выказывал явного презрения к кутежу товарищей — водкой, к игре на пятирублевый банк и вообще к грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера.

От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. «И каково будет удивление и радость Наташи,— думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулочку,— когда она вдруг прочтет в “Инвалиде” описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия! Капитана я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк... подполковник... Анну на шею... полковник...» — и он был уж генералом, удостоивающим посещения Наташу, вдову товарища, который, по его мечтам, умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки яснее долетели до его слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс-капитаном, ничего не значащим, неловким и робким.

3

Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо пюпитров другие солдаты того же полка, раскрывши, держали ноты и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офицеры в *старых* шинелях. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большей частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины — изредка в шляпках, 40 большей частью в платочках (были и без платочков и без шляпок), но ни одной не было старой, а замечательно, что все молодые. Внизу по тенистым, пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы.

Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитана Обжогова и капитана Сусликова, которые с горячностью пожали ему руки, но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шинели и с таким красным, вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках (из которых с одним — с адъютантом — штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим — штаб-офицером — мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у
10 общего знакомого). Притом же, что веселого было ему гулять с этими господами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел на музыку.

Ему бы хотелось подойти к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими господами — совсем не для того, чтобы капитаны Обжогов и Сусликов, и поручик Паштецкий, и другие видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости — порассказали бы...

Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается
20 подойти к ним? «Что, ежели они вдруг мне не поклонятся,— думает он,— или поклонятся и будут продолжать говорить между собой, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между *аристократами*?» Слово *аристократы* (в смысле высшего, отборного круга, в каком бы то ни было сословии) получило у нас в России, где бы, кажется, вовсе не должно было быть его, с некоторого времени большую популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времени и обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка?),— между купцами, между чиновниками, писарями, офице-
30 рами, в Саратов, в Мамадыши, в Винницы, везде, где есть люди. А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславия много, то есть и *аристократы*, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого — *аристократа* и *неаристократа*.

Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов *аристократ*, потому что у него чистая шинель и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного; для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин *аристократ*, потому что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом; и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нор-
40 дов *аристократ*, и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасное слово *аристократ*. Зачем подпоручик Зобов так принужденно смеется, хотя ничего нет смешного, проходя мимо своего товарища, который сидит с штаб-офицером? Чтоб доказать этим, что, хотя он и не *аристократ*, но все-таки ничуть не хуже их. Зачем штаб-офицер говорит таким слабым,

лениво-грустным, не своим голосом? Чтоб доказать своему собеседнику, что он *аристократ* и очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем юнкер так размахивает руками и подмигивает, идя за барыней, которую он в первый раз видит и к которой он ни за что не решится подойти? Чтоб показать всем офицерам, что, несмотря на то, что он им шапку снимает, он все-таки *аристократ* и ему очень весело. Зачем артиллерийский капитан так грубо обошелся с добродушным ординарцем? Чтобы доказать всем, что он никогда не заискивает и в *аристократах* не нуждается, и т.д., и т.д., и т.д. 10

Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде — даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей: одних — принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливым, и свободно подчиняющихся ему; других — принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих — бессознательно рабски действующих под его влиянием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу, про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть снобсов и тщеславия? 20

Штабс-капитан два раза в нерешительности прошел мимо кружка *своих аристократов*, в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли четыре офицера: адъютант Калугин, знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко *аристократом* для самого Калугина, подполковник Нефердов, один из так называемых *ста двадцати двух* светских людей (поступивших на службу в эту кампанию из отставки под влиянием отчасти патриотизма, отчасти честолюбия и, главное, того, что *все* это делали; старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, ничего не делающих, ничего не понимающих и осуждающих все распоряжения начальства), и ротмистр Праскухин, тоже один из этих *ста двадцати двух* героев. К счастью Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа (генерал только что поговорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петербурга, остановился у него) — он счел не унизительным подать руку штабс-капитану Михайлову, чего не решился, однако, сделать Праскухин, весьма часто встречавшийся на бастионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку и даже должный ему по преферансу двенадцать рублей с полтиной. Не зная еще хорошо князя Гальцина, ему не хотелось избаловать перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном; он слегка поклонился ему. 40

— Что, капитан,— сказал Калугин,— когда опять на баксион-

чик? Помните, как мы с вами встретились на Шварцовском реду-
те,— жарко было? а?

— Да, жарко,— сказал Михайлов, с прискорбием вспоминая о том, какая у него была печальная фигура, когда он в ту ночь, согнувшись, пробираясь по траншее на бастион, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей.

— Мне, по-настоящему, приходится завтра идти, но у нас болен,— продолжал Михайлов,— один офицер, так...— Он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир восьмой роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшитшетского и потому шел нынче на бастион. Калугин не дослушал его.

— А я чувствую, что на днях что-нибудь будет,— сказал он князю Гальцину.

— А что, не будет ли нынче чего-нибудь? — робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. Князь Гальцин только сморщился как-то, пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав немного, сказал:

— Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее не знаете, капитан?

— Это около моей квартиры, дочь одного матроса,— отвечал штабс-капитан.

— Пойдемте посмотрим ее хорошенько.

И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо.

Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед 30 делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился развратником, чему, видимо, не верили князь Гальцин и Калугин и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошка.

Праскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке; но, так как вчетвером нельзя было идти по дорожке, он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известно храброго морского офицера Сервягина, желавшего 40 тоже присоединиться к кружку *аристократов*. И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую, честную руку за локоть, всем и самому Сервягину хорошо известному за не слишком хорошего человека, Праскухину. Когда Праскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с *этим* моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин, бывший вчера на четвертом бастионе и видевший от себя в двадцати шагах лопнувшую

бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагая, что весьма много репутаций приобретается задаром, не обратил на Сервягина никакого внимания.

Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про *милое* письмо из Т. и про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на бастион. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и наконец совсем ушли от него. Но штабс-капитан все-таки был доволен и, проходя мимо юнкера барона Песта, который был 10 особенно горд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже пятого бастиона, и считал себя вследствие этого героем, он несколько не огорчился подозрительно-высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку.

4

Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидел свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней 20 ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную, с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним; увидал своего Никиту, который с взбудораженными сальными волосами, почесываясь, встал с полу; увидал свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион, и с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь идти с ротой в ложементы.

«Наверное мне быть убитым нынче,— думал штабс-капитан,— я 30 чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшитшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то, верно, представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшитшетский болен. Ежели не выйдет майора, то Владимира наверно. Ведь я уж тринадцатый раз иду на бастион. Ох, тринадцать! скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют; но надо же было кому-нибудь идти, нельзя с прапорщиком 40 роте идти. А что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой долг был идти... да, святой долг. А есть предчувствие». Штабс-капитан забывал, что подобное предчувствие, в более или менее сильной степени, приходило ему каж-

дый раз, как нужно было идти на бастион, и не знал, что то же, в более или менее сильной степени, предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через десять минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал (потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться Богу), стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матушки и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице.

Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук (старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен).

— Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать, этойкой,— сердито сказал Михайлов.

20 — Чего спать? — проворчал Никита.— День-деньской бегаешь, как собака; умаешься небось, а тут не засни еще.

— Ты опять пьян, я вижу.

— Не на ваши деньги напился, что попрекаете.

— Молчи, болван! — крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже и с которым жил уже двенадцать лет.

— Болван? болван? — повторял слуга.— И что ругаетесь болваном, сударь? Ведь теперь время какое? нехорошо ругать.

30 Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало.

— Ведь ты хоть кого выведешь из терпенья, Никита,— сказал он кротким голосом.— Письмо это к батюшке, на столе, оставь так и не трогай,— прибавил он краснея.

— Слушаю-с,— сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которое он выпил, как говорил, «*на свои деньги*», и, с видимым желанием заплакать, хлопая глазами.

Когда же на крыльце штабс-капитан сказал: «Прощай, Никита»,— то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин!» — всхлипывая, говорил он. Старуха матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то, о том, что уж на что господя — и те какие муки принимают, и что она, бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе: как ее мужа убили еще в первую бандировку и как ее домишко весь разбили (тот, в котором она

жила, принадлежал не ей) и т.д., и т.д. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а напротив, побранился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила.

«А может быть, только ранят,— рассуждал сам с собою штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону.— Но куда? Как сюда? или сюда? — думал он, мысленно указывая на живот и на грудь.— Вот ежели бы сюда,— он думал о верхней части ноги,— да кругом бы обошла. Все-таки должно быть больно. Ну а как сюда, да осколком — кончено!» 10

Штабс-капитан, однако, сгибаясь, по траншеям благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером, уже в совершенной темноте, людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая; только изредка вспыхивали то у нас, то у него молнии и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил сыром, закурил папиросу и, помолвившись Богу, хотел заснуть немного.

5

20

Князь Гальцин, подполковник Нефердов, юнкер барон Пест, который встретил их на бульваре, и Праскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, все с бульвара пошли пить чай к Калугину.

— Ну так ты мне не досказал про Ваську Менделя,— говорил Калугин, сняв шинель, сидя около окна на мягком покойном кресле и расстегивая воротник чистой крахмаленной голландской рубашки,— как же он женился?

— Умора, братец, *je vous dis, il y avait un temps où on ne parlait que de ça à Pétersbourg*¹,— сказал, смеясь, князь Гальцин, вскакивая от фортепьян, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина,— просто умора. Уж я все это знаю подробно...— И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим, потому что она для нас не интересна.

Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все эти господа, расположившись здесь кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепьянами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре: не было этой смешной надутости, высокомерности, которые они выказывали пехотным офицерам; здесь они были между своими в натуре, особенно Калугин и князь Гальцин, очень милы- 40

¹ я вам скажу, что одно время только об этом и говорили в Петербурге (*фр.*)

ми, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых:

— Что Масловский?

— Который? лейб-улан или конногвардеец?

— Я их обоих знаю. Конногвардеец при мне мальчишка был, только что из школы вышел. Что старший — ротмистр?

— О! уж давно.

— Что, все возится с своей цыганкой?

— Нет, бросил... — и т.д. в этом роде.

10 Потом князь Гальцин сел к фортепьянам и славно спел цыганскую песенку. Праскухин, хотя никто не просил его, стал вторить, и так хорошо, что его уж просили вторить, чему он был очень доволен.

Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе.

— Подай князю, — сказал Калугин.

— А ведь странно подумать, — сказал Гальцин, взяв стакан и отходя к окну, — что мы здесь в осажденном городе: *фортапласы*, чай со сливками, квартира такая, что я, право, желал бы такую иметь в

20 Петербурге.

— Да уж ежели бы еще этого не было, — сказал всем недовольный старый подполковник, — просто было бы невыносимо — это постоянное ожидание чего-то... видеть, как каждый день бьют, бьют и все нет конца, ежели при этом бы жить в грязи и не было бы удобств.

— А как же наши пехотные офицеры, — сказал Калугин, — которые живут на бастьонах с солдатами, в блиндаже и едят солдатский борщ, — как им-то?

30 — Вот этого я не понимаю и, признаюсь, не могу верить, — сказал Гальцин, — чтобы люди в грязном белье, во в<шах> и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, *cette belle bravoure de gentilhomme*¹ — не может быть.

— Да они и не понимают этой храбрости, — сказал Праскухин.

— Ну что ты говоришь пустяки, — сердито перебил Калугин, — уж я видел их здесь больше тебя и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры хоть, правда, во в<шах> и по десяти дней белья не перемывают, а это герои — удивительные люди.

В это время в комнату вошел пехотный офицер.

40 — Я... мне приказано... я могу ли явиться к ген... к его превосходительству от генерала N? — спросил он, робея и кланяясь.

Калугин встал, но, не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой спросил офицера, не угодно ли *им* подождать, и, не попросив его сесть, не

¹ этой прекрасной храбрости дворянина (*фр.*)

обращая на него больше внимания, повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посреди не комнаты, решительно не знал, что делать с своей персоной и руками без перчаток, которые висели перед ним.

— По крайне нужному делу-с,— сказал офицер после минутного молчания.

— А! так пожалуйста,— сказал Калугин с той же оскорбительной улыбкой, надевая шинель и провожая его к двери.

— Eh bien, messieurs, je crois que cela chauffera cette nuit¹,— сказал Калугин, выходя от генерала.

10

— А что? что? вылазка? — стали спрашивать все.

— Уж не знаю — сами увидите,— отвечал Калугин с таинственной улыбкой.

— Да ты мне скажи,— сказал барон Пест,— ведь ежели есть что-нибудь, так я должен идти с Т. полком на вылазку.

— Ну так и иди с Богом.

— И мой принципал на бастионе, стало быть, и мне надо идти,— сказал Праскухин, надевая саблю. Но никто не отвечал ему: он сам должен был знать, идти ли ему или нет.

— Ничего не будет, уж я чувствую,— сказал барон Пест, с замисленным сердцем думая о предстоящем деле, но лихо набок надевая фуражку и громкими твердыми шагами выходя из комнаты вместе с Праскухиным и Нефердовым, которые тоже с тяжелым чувством страха торопились к своим местам. «Прощайте, господа». — «До свиданья, господа! Еще нынче ночью увидимся!» — прокричал Калугин из окошка, когда Праскухин и Нефердов, нагнувшись на луки казачьих седел, должно быть, воображая себя казаками, пропысили по дороге.

Топот казачьих лошадей скоро стих в темной улице.

— Non, dites moi, est-ce qu'il y aura véritablement quelque chose cette nuit?² — сказал Гальцин, лежа с Калугиным на окошке и глядя на бомбы, которые поднимались над бастионами.

— Тебе я могу рассказать, видишь ли, ведь ты был на бастионах? (Гальцин сделал знак согласия, хотя он был только раз на четвертом бастионе.) Так против нашего люнета была траншея,— и Калугин, как человек неспециальный, хотя и считавший свои военные суждения весьма верными, начал, немного запутанно и перевирая фортификационные выражения, рассказывать положение наших и неприятельских работ и план предполагавшегося дела.

— Однако начинают попукивать около ложементов. Ого! Это наша или *его*? вон лопнула,— говорили они, лежа на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающиеся в воздухе, на молнии вы-

40

¹ Ну, господа, нынче ночью, кажется, будет жарко (*фр.*)

² Нет, скажите: правда, нынче ночью что-нибудь будет? (*фр.*)

стрелов, на мгновение освещавшие темно-синее небо и белый дым пороха, и прислушиваясь к звукам все усиливающейся и усиливающейся стрельбы.

— *Quel charmant coup d'oeil!*¹ а? — сказал Калугин, обращая внимание своего гостя на это действительно красивое зрелище.— Знаешь, не различишь звезды от бомбы иногда.

— Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась, вот лопнула. А эта большая звезда — как ее зовут? — точно как бомба.

— Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что, я уверен, в России в звездную ночь мне будет казаться, что это всё бомбы, так привыкнешь.

— Однако не пойти ли мне на эту вылазку? — сказал князь Гальцин после минутного молчания, содрогаясь при одной мысли быть там во время такой страшной канонады и с наслаждением думая о том, что его ни в каком случае не могут послать туда ночью.

— Полно, братец, и не думай, да я тебя и не пушу, — отвечал Калугин, очень хорошо зная, однако, что Гальцин ни за что не пойдет туда.— Еще успеешь, братец.

— Серьезно? Так думаешь, что не надо ходить? а?

20 В это время в том направлении, по которому смотрели эти господа, за артиллерийским гулом послышалась ужасная трескотня ружей и тысячи маленьких огней, беспрестанно вспыхивая, заблестели по всей линии.

— Вот оно когда пошло настоящее! — сказал Калугин.— Этого звука ружейного я слышать не могу хладнокровно, как-то, знаешь, за душу берет. Вон и «ура», — прибавил он, прислушиваясь к дальнему протяжному гулу сотен голосов: «а-а-а-а!» — доносившихся до него с бастиона.

— Чье это «ура»? их или наше?

30 — Не знаю, но это уж рукопашная пошла, потому что стрельба затихла.

В это время под окном, к крыльцу, подскакал ординарец-офицер с казаком и слез с лошади.

— Откуда?

— С бастиона. Генерала нужно.

— Пойдемте. Ну что?

40 — Атаковали ложементы... заняли... французы подвели огромные резервы... атаковали наших... было только два батальона, — говорил, запыхавшись, тот же самый офицер, который приходил вечером, с трудом переводя дух, но совершенно развязно направляясь к двери.

— Что ж, отступили? — спросил Гальцин.

— Нет, — сердито отвечал офицер, — подоспел батальон, отби-

¹ Какой красивый вид! (фр.)

ли, но полковой командир убит, офицеров много, приказано просить подкрепленья...

И с этими словами он с Калугиным прошел к генералу, куда уже мы не последуем за ними.

Через пять минут Калугин уже сидел верхом на казачьей лошади (и опять той особенной quasi-казацкой посадкой, в которой, я замечал, все адъютанты видят почему-то что-то особенно приятное) и рысцой ехал на бастион, с тем чтобы передать туда некоторые приказания и дожидаться известий об окончательном результате дела; а князь Гальцин, под влиянием того тяжелого волнения, которое производят обыкновенно близкие признаки дела на зрителя, не принимающего в нем участия, вышел на улицу и без всякой цели стал взад и вперед ходить по ней.

6

Толпы солдат несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно; только редко-редко кое-где светились окна в госпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейной перепалки, и те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышались топот лошади проскакавшего ординарца, стон раненого, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крыльцо посмотреть на канонаду.

В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и десятилетняя дочь ее.

— Господи, Мати Пресвятыя Богородицы,— говорила в себя и вздыхая старуха, глядя на бомбы, которые, как огненные мячики, беспрестанно перелетали с одной стороны на другую,— страсти-то, страсти какие! И-и-хи-хи! Такого и в первую бандировку не было. Вишь, где лопнула проклятая,— прямо над нашим домом в слободке.

— Нет, это дальше, к тетиньке Аринке в сад всё попадают,— сказала девочка.

— И где-то, где-то барин мой таперича? — сказал Никита нараспев и еще пьяный немного.— Уж как я люблю евтого барина своего, так сам не знаю. Он меня бьет, а все-таки я его ужасно как люблю. Так люблю, что если, избави Бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли, тетинька, я после евтого сам не знаю, что могу над собой произвести. Ей-богу! Уж такой барин, что одно слово! Разве с евtimi сменить, что тут в карты играют? это что — тьфу! одно слово! — заключил Никита, указывая на светящееся окно комнаты барина, в которой во время отсутствия штабс-капитана юнкер Жвадческий позвал к себе на кутеж, по случаю получения креста, гостей: подпоручика Угровича и поручика Непшитшет-

ского, того самого, которому надо было идти на бастион и который был нездоров флюсом.

— Звездочки-то, звездочки так и катятся,— глядя на небо, преврала девочка молчание, последовавшее за словами Никиты,— вон, вон еще скатилась! К чему это так? а, маынька?

— Совсем разобьют домишко наш,— сказала старуха, вздыхая и не отвечая на вопрос девочки.

— А как мы нынче с дянькой ходили туда, маынька,— продолжала певучим голосом разговаривавшая девочка,— так большущая ¹⁰ такая ядро в самой комнатке подля шкапа лежит; она сенцы, видно, пробила да в горницу и влетела... такая большущая, что не поднимешь.

— У кого были мужья да деньги, так повыехали,— говорила старуха,— а тут, ох горе-то, горе, последний домишко и тот разбили. Вишь как, вишь как палит злодей! Господи, Господи!

— А как нам только выходить, как одна бомба прилети-и-ит, как лопни-и-ит, как засыпи-и-ит землю, так даже чуть-чуть нас с дянькой одним оскретком не задело.

— Крест ей за это надо,— сказал юнкер, который вместе с офицерами вышел в то время на крыльцо посмотреть на стрельбу. ²⁰

— Ты сходи до генерала, старуха,— сказал поручик Непшитшетский, трепля ее по плечу,— право!

— *Pójdę na ulicę zobaczycь co tam nowego*¹,— прибавил он, спускаясь с лесенки.

— *A my tym czasem napijmy się wódki, bo coś dusza w pięty usieka*²,— сказал, смеясь, веселый юнкер Жвадческий.

7

Все больше и больше раненых на носилках и пешком, поддерживаемых одни другими и громко разговаривающих между собой, ³⁰ встречалось князю Гальцину.

— Как они подскочили, братцы мои,— говорил басом один высокий солдат, несший два ружья за плечами,— как подскочили, как крикнут: алла, алла!³ так так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут — ничего не сделаешь. Видимо-невидимо...

Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его.

¹ Сходить на улицу, узнать, что там новенького (польск.) — Перев. Л. Н. Толстого.

² А мы тем часом кнаксик сделаем*, а то что-то уж очень страшно (польск.) — Перев. Л. Н. Толстого. * кнаксик сделаем — выпьем водки. (Прим. Л. Н. Толстого.)

³ Наши солдаты, воюя с турками, так привыкли к этому крику врагов, что теперь всегда рассказывают, что французы тоже кричат «алла!». (Прим. Л. Н. Толстого.)

— Ты с бастьона?

— Так точно, ваше благородие.

— Ну, что там было? Расскажи.

— Да что было? Подступила их, ваше благородие, *сила*, лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие!

— Как одолели? Да ведь вы отбили же?

— Где тут отбить, когда *его* вся *сила* подошла, перебил всех наших, а сикурсу не подают. (Солдат ошибался, потому что траншея была за нами, но это — странность, которую всякий может заметить: солдат, раненный в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным.)

— Как же мне говорили, что отбили,— с досадой сказал Гальцин.

В это время поручик Непшитшетский, в темноте по белой фуражке узнав князя Гальцина и желая воспользоваться случаем, чтобы поговорить с таким важным человеком, подошел к нему.

— Не изволите ли знать, что это такое было? — спросил он учтиво, дотрогиваясь рукою до козырька.

— Я сам расспрашиваю,— сказал князь Гальцин и снова обратился к солдату с двумя ружьями,— может быть, после тебя отбили? ²⁰ Ты давно оттуда?

— Сейчас, ваше благородие,— отвечал солдат,— вряд ли, должно, за ним траншея осталась...— совсем одолел.

— Ну как вам не стыдно — отдали траншею. Это ужасно,— сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием.— Как вам не стыдно,— повторил он, отворачиваясь от солдата.

— О, это ужасный народ! Вы их не изволите знать,— подхватил поручик Непшитшетский,— я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут десятой доли нет раненых, а то все *асистенты*, только бы уйти с дела. Подлый народ! Срам так поступать, ребята, срам! Отдать *нашу* траншею! — добавил он, обращаясь к солдатам. ³⁰

— Что ж, когда *сила*,— проворчал солдат.

— И! ваши благородия,— заговорил в это время солдат с носилок, поравнявшихся с ними,— как же не отдать, когда перебил всех почитай? Кабы наша сила была, ни в жисть бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит... О-ох, легче, братцы, ровней, братцы, ровней иди... о-о-о! — застонал раненый.

— А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет,— сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями.— Ты зачем идешь? Эй ты, остановись! ⁴⁰

Солдат остановился и левой рукой снял шапку.

— Куда ты идешь и зачем? — закричал он на него строго.— Него...— но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.

— Ранен, ваше благородие!

— Чем ранен?

— Сюда-то, должно, пулей,— сказал солдат, указывая на руку,— а уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло,— и, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волосы на затылке.

— А ружье другое чье?

— Стуцер французской, ваше благородие, отнял. Да я бы не пошел, кабы не евтого солдатика проводить, а то упадет неравно,— прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, 10 опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу.

— А ты где идешь, мерзавец! — крикнул поручик Непшитшетский на другого солдата, который попался ему навстречу, желая своим рвением прислужиться важному князю. Солдат тоже был ранен.

Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшитшетского и еще больше за себя. Он почувствовал, что краснеет — что редко с ним случалось,— отвернулся от поручика и, уже больше не распрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт.

20 С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!

8

Большая, высокая темная зала, освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором 30 уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячее дыхание нескольких сотен человек и испарения рабочих с носилками производили какой-то особенный тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. *Сестры*, с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, 40 с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами. Доктора, с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные

стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже пятьсот тридцать второго.

— Иван Богаев, рядовой третьей роты С. полка, *fractura femoris complicata*¹, — кричал другой из конца залы, ощупывая разбитую ногу. — Переверни-ка его.

— О-ой, отцы мои, вы наши отцы! — кричал солдат, умоляя, чтоб его не трогали.

— *Perforatio caritatis*². Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то этак нельзя, я брошу, — говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.

— Ай, не надо! Ой, ради Бога, скорей, скорей, ради... а-а-а-а!

— *Perforatio pectoris*...³ Севастьян Серeda, рядовой... какого полка?.. впрочем, не пишите, *moritur*⁴. Несите его, — сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже...

Человек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину...

..... 20

9

По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых; но, по опыту зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который марш-марш скакал с бастиона.

— Зобкин! Зобкин! Постоите на минутку.

— Ну что?

— Вы откуда?

— Из ложементов.

— Ну как там? жарко?

— Ад, ужасно!

И ординарец поскакал дальше.

Действительно, хотя ружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением.

«Ах, скверно!» — подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль очень обыкновенная, мысль о смерти. Но Калугин был самолюбив

30

¹ осложненное раздробление бедра (*лат.*)

² Прободение черепа. (*лат.*)

³ Прободение грудной полости... (*лат.*)

⁴ умирает (*лат.*)

и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется Наполеона, который, передав приказания, марш-марш, с окровавленной головой, подкачал к Наполеону.

— Vous êtes blessé?¹ — сказал ему Наполеон.

— Je vous demande pardon, sire, je suis tué²,— и адъютант упал с лошади и умер на месте.

Ему показалось это очень хорошо, и он вообразил себя даже не-
множко этим адъютантом, потом ударил лошадь плетью, принял
еще более лихую *казацкую посадку*, оглянулся на казака, который,
стоя на стременах, рысил за ним, и совершенным молодцом при-
ехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел
четыре солдат, которые, усевшись на камушки, курили трубки.

— Что вы здесь делаете? — крикнул он на них.

— Раненого относили, ваше благородие, да отдохнуть присе-
ли,— отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку.

— То-то отдохнуть! марш к своим местам, вот я полковому ко-
мандиру скажу.

И он вместе с ними пошел по траншее в гору, на каждом шагу
встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею на-
лево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один.
Близехонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею.
Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на
него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять
и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему
стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли
кто-нибудь его падения, но никого не было.

Уже раз проникнув в душу, страх не скоро уступает место друго-
му чувству. Он, который всегда хвастался, что никогда не нагибает-
ся, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее.
«Ах, нехорошо! — подумал он, спотыкнувшись,— непременно
убьют»,— и, чувствуя, как трудно дышалось ему и как пот выступал
по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не пытался преодолеть
своего чувства.

Вдруг чьи-то шаги слышались впереди его. Он быстро разо-
гнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не
такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он
сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом и
первый крикнул ему: «Ложитесь!» — указывая на светлую точку
бомбы, которая, светлее и светлее, быстрее и быстрее приближаясь,

¹ Вы ранены? (фр.)

² Извините, государь, я убит (фр.)

шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше.

— Вишь, какой бравый,— сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншее,— и ложиться не хочет.

Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира бастиона, как опять на него нашли затмение и этот глупый страх; сердце забилось сильнее, кровь хлынула в голову, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа.

— Что вы так запыхались? — сказал генерал, когда он ему передал приказания.

— Шел скоро очень, ваше превосходительство!

— Не хотите ли вина стакан?

Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидели генерал N, командир бастиона и еще человек шесть офицеров, в числе которых был и Праскухин, и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнатке, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горит лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости. Он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя.

— А вот я рад, что и вы здесь, капитан,— сказал он морскому офицеру в штаб-офицерской шинели, с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны.— Мне генерал приказал узнать,— продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом,— могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?

— Одно только орудие может,— угрюмо отвечал капитан.

— Все-таки пойдемте посмотрим.

Капитан нахмурился и сердито крикнул.

— Уж я всю ночь там простоял, пришел хоть отдохнуть немножко,— сказал он,— нельзя ли вам одним сходить? там мой помощник, лейтенант Карц, вам все покажет.

Капитан уже шесть месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей и — даже когда не было блиндажей, — не выходя с начала осады, жил на бастионе и между *моряками* имел репутацию храбрости. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина.

«Вот репутации!» — подумал он.

— Ну, так я пойду один, если вы позволите,— сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания.

Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всегонавсего провел часов пятьдесят на бастионах, тогда как капитан жил там шесть месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие — желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска; капитан же уж прошел через все это — сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их, но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе: исполнял в точности свою обязанность, но, хорошо понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни, после шестимесячного пребывания на бастионе уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости, так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высывались в амбразуры и вылезали на банкеты, казался в десять раз храбрее капитана.

Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который с своими ординарцами шел на вышку.

— Ротмистр Праскухин! — сказал генерал,— сходите, пожалуйста, в правый ложемент и скажите второму батальону М. полка, который там на работе, чтоб он оставил работу, не шумя вышел оттуда и присоединился к своему полку, который стоит под горой в резерве... Понимаете? Сами отведите к полку.

— Слушаю-с.

И Праскухин рысью побежал к ложементу.

Стрельба становилась реже.

30

10

— Это второй батальон М. полка? — спросил Праскухин, прибежав к месту и наткнувшись на солдат, которые в мешках носили землю.

— Так точно-с.

— Где командир?

Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямки и, принимая Праскухина за начальника, держа руку у козырька, подошел к нему.

— Генерал приказал... вам... извольте идти... поскорей... и, главное, потише... назад, не назад, а к резерву,— говорил Праскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля.

Узнав Праскухина, опустив руку и разобрав, в чем дело, Михайлов передал приказанье, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся.

Кто не испытал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя после трех часов бомбардирования из такого опасного места, как ложементы. Михайлов, в эти три часа уже несколько раз не без основания считавший свой конец неизбежным и несколько раз успевший перецеловать все образа, которые были на нем, под конец успокоился немного, под влиянием того убеждения, что его непременно убьют и что он уже не принадлежит этому миру. Несмотря на то, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Праскухиным, вышел из ложементов. 10

— До свиданья,— сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах и с которым они вместе закусывали мыльным сыром, сидя в ямочке около бруствера,— счастливого пути.

— И вам желаю счастливо отстоять. Теперь, кажется, затихло.

Но только что он успел сказать это, как неприятель, должно быть, заметив движение в ложементах, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но не ярко блестели на небе. Ночь была темна — хоть глаз выколи, только огни выстрелов и разрыва бомб мгновенно освещали предметы. Солдаты шли скоро и молча и невольно перегоняя друг друга; только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдата: «Господи, Господи! что это такое!» Иногда слышался стон раненого и крики: «Носилки!» (В роте, которой командовал Михайлов, от одного артиллерийского огня выбыло в ночь двадцать шесть человек.) Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте, часовой с бастиона кричал: «Пу-ушка!», и ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни. 20

«Черт возьми! как они тихо идут,— думал Праскухин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова,— право, лучше побегу вперед, ведь я передал приказанье... Впрочем, нет, ведь эта скотина может рассказывать потом, что я трус, точно так же, как я вчера про него рассказывал. Что будет, то будет — пойду рядом».

«И зачем он идет со мной,— думал, с своей стороны, Михайлов,— сколько я ни замечал, он всегда приносит несчастье. Вот она летит прямо сюда, кажется».

Пройдя несколько сот шагов, они столкнулись с Калугиным, который, бодро побрякивая саблей, шел к ложементам, с тем чтобы, по приказанию генерала, узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что, чем ему самому под этим страшным огнем идти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить все подробно у офицера, который был там. И действительно, Михайлов подробно рассказал про работы, хотя 40

во время рассказа и немало позабавил Калугина, который, казалось, никакого внимания не обращал на выстрелы,— тем, что при каждом снаряде, иногда падавшем и весьма далеко, приседал, нагибал голову и все уверял, что «это прямо сюда».

— Смотрите, капитан, это прямо сюда,— сказал, подшучивая, Калугин и толкая Праскухина. Пройдя еще немного с ними, он повернул в траншею, ведущую к блиндажу. «Нельзя сказать, чтобы он был очень храбр, этот капитан»,— подумал он, входя в двери блиндажа.

10 — Ну, что новенького? — спросил офицер, который, ужиная, один сидел в комнате.

— Да ничего; кажется, что уж больше дела не будет.

— Как не будет? напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. Да вот она... слышите? опять пошла ружейная. Вы не ходите. Зачем вам? — прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин.

«А мне, по-настоящему, непременно надо там быть,— подумал Калугин,— но уж я и так нынче много подвергал себя. Надеюсь, что я нужен не для одной *chair à canon*»¹.

20 — И в самом деле, я их лучше тут подожду,— сказал он.

Действительно, минут через двадцать генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем; в числе их был и юнкер барон Пест, но Праскухина не было. Ложементы были отбиты и заняты нами.

Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом вышел из блиндажа.

11

— У тебя шинель в крови, неужели ты дрался в рукопашном? — спросил его Калугин.

30 — Ах, братец, ужасно! можешь себе представить...— И Пест стал рассказывать, как вел свою роту, как ротный командир убит, как он заколол француза и как, если бы не он, дело было бы проиграно.

Основания этого рассказа — что ротный командир был убит и что Пест убил француза — были справедливы; но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал.

Хвастал он невольно, потому что, во время всего дела находясь в каком-то тумане и забытый до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то, очень 40 естественно, он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно.

¹ пушечное мясо (*фр.*)

Батальон, к которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки; потом батальонный командир впереди сказал что-то — ротные командиры зашевелились, батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов сто, остановился, построившись в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге второй роты.

Решительно не отдавая себе отчета, где и зачем он был, юнкер стал на место и с невольной сдержанностью и холодным дрожью, пробегавшей по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему, впрочем, не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико, странно было подумать, что он находился вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шепотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла также, и Пест, ложась, наколот руку на какую-то колючку. Не лег только один командир второй роты; его невысокая фигура, с вынутой шпагой, которой он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.

— Ребята! смотри, молодцами у меня! С ружьем не палить, а штыками их, каналий. Когда я крикну «ура!» — за мной и не отставать... дружной, главное дело... покажем себя, не ударим лицом в грязь... а, ребята? За царя за батюшку...— говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками.

— Как фамилия нашего ротного командира? — спросил Пест у юнкера, который лежал рядом с ним. — Какой он храбрый!

— Да, как в дело — всегда мертвецки, — отвечал юнкер, — Лисинковский его фамилия.

В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался треск, оглушивший всю роту, высоко в воздухе зашуршели камни и осколки (по крайней мере, секунд через пятьдесят один камень упал сверху и отбил ногу солдату). Это была бомба с *элевацонного станка*, и то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну.

— Бомбами пускать! сукин сын... Дай только добратся, тогда попробуешь штыка трехгранного русского, проклятый! — заговорил ротный командир, так громко, что батальонный командир должен был приказывать ему молчать и не шуметь так много.

Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая. Приказано было взять ружья наперевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что решительно не помнил, долго ли? куда? и кто? и что? Он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело миллион огней, засвистело, затрещало что-то. Он закричал и побежал куда-то, потому что все бежало и все кричало. Потом он спотыкнулся и упал на что-то. Это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его

за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног; другой человек кричал: «*Кои его! что смотришь?*» Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. «Ah, Dieu!»¹ — закричал кто-то страшным пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза. Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и вместе с толпой, крича 10 «ура!», побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов двадцать, он прибежал в траншею. Там были наши и батальонный командир.

— А я заколол одного! — сказал он батальонному командиру.

— Молодцом, барон!

12

— А знаешь, Праскухин убит,— сказал Пест, провожая Калугина, который шел к дому.

— Не может быть!

20 — Как же, я сам его видел.

— Прощай, однако, мне надо скорее.

«Я очень доволен,— думал Калугин, возвращаясь к дому,— в первый раз на мое дежурство счастье. Отличное дело; я и жив и цел, представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее».

Доложив генералу все, что нужно было, он пришел в свою комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин, читая «*Splendeur et misères des courtisanes*»², которую нашел на столе Калугина.

30 С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постеле, уж рассказал Гальцину подробности дела, передавая их — весьма естественно — с той точки зрения, с которой подробности эти доказывали, что он, Калугин, весьма дельный и храбрый офицер, на что, мне кажется, излишне было бы намекать, потому что это все знали и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая, может быть, покойного ротмистра Праскухина, который, несмотря на то, что, бывало, считал за счастье ходить под руку с Калугиным,

¹ О Господи! (фр.)

² Одна из тех милых книг, которых развелось такая пропасть в последнее время и которые пользуются особенной популярностью почему-то между нашею молодежью. (Прим. Л. Н. Толстого.)

вчера только по секрету рассказывал одному приятелю, что Калугин очень хороший человек, но, между нами будь сказано, ужасно не любит ходить на бастионы.

Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидал молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услышал крик часового: «Маркела!» — и слова одного из солдат, шедших сзади: «Как раз на батальон прилетит!»

Михайлов оглянулся. Светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените — в том положении, когда решительно нельзя определить ее направление. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

— Ложись! — крикнул чей-то испуганный голос.

Михайлов упал на живот, Праскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом, — бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил: может быть, бомба упала далеко и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидал, что Михайлов, около самых ног его, недвижимо лежал на земле. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой в аршине от него крутившейся бомбы.

Ужас — холодный, исключаящий все другие мысли и чувства ужас — объял все существо его. Он закрыл лицо руками и упал на колена.

Прошла еще секунда — секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

«Кого убьет — меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову — так все кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, — и я могу еще жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьет, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе... меня!»

Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову. Женщина, которую он любил, явилась ему в воображении в цепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблен пять лет тому назад и которому не отплатил за оскорбление, вспомнился ему. Хотя вместе, нераздельно с этими и

тысячами других воспоминаний, чувство настоящего — ожидания смерти и ужаса — ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет»,— подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в середину груди; он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

«Слава Богу! я только контужен»,— было его первую мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди; но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты, и он бессознательно считал их: «Один, два, три солдата, а вот в подвернутой шинели офицер»,— думал он. Потом молния блеснула в его глазах и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки. А вот еще выстрелили, а вот еще солдаты — пять, шесть, семь солдат, идут всё мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его. Он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди,— это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбилась, как упал»,— подумал он, и, все более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «Возьмите меня!» — но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах — а ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни всё прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди.

13

Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и так же зажмурился, так же два раза открывал и закрывал глаза и так же, как Праскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала неразорванною. Он мысленно молился Богу и все твердил: «Да будет воля Твоя! И зачем я пошел в военную службу,— вместе с тем думал он,— и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании. Не лучше ли было мне оставаться в 40 уланском полку в городе Т., проводить время с моим другом Наташей... А теперь вот что!» И он начал считать: раз, два, три, четыре, загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив, а в нечет — то будет убит. «Все кончено: убит»,— подумал он, когда бомбу разорвало (он не помнил, в чет или нечет) и он почувствовал удар и

жестокою боль в голове. «Господи, прости мои согрешения!» — проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь.

Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. «Это душа отходит,— подумал он,— что будет там? Господи! Приими дух мой с миром. Только одно странно,— рассуждал он,— что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов».

— Давай носилки... эй! ротного убило! — крикнул над его голо-
вой голос, который он невольно узнал за голос барабанщика Игна- 10
тьева.

Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидел над головой темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую, увидел Игнатьева, солдат с носилками и ружьями, вал траншеи и вдруг поверил, что он еще не на том свете.

Он был камнем легко ранен в голову. Самое первое впечатление его было как будто сожаление: он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу туда, что на него неприятно подействовало возвращение к действительности, с бомбами, траншеями, солда- 20
тами и кровью; второе впечатление его была бессознательная радость, что он жив, а третье — страх и желание уйти скорей с бастиона. Барабанщик платком завязал голову своему командиру и, взяв его под руку, повел к перевязочному пункту.

«Куда и зачем я иду, однако? — подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного.— Мой долг оставаться с ротой, а не уходить вперед. Тем более, что и рота скоро выйдет из-под огня,— шепнул ему какой-то голос,— а с раной остаться в деле — непременно награда».

— Не нужно, братец,— сказал он, вырывая руку от услужливого 30
барабанщика, которому, главное, самому хотелось поскорее выбраться отсюда,— я не пойду на перевязочный пункт, я останусь с ротой.

И он повернул назад.

— Вам бы лучше перевязаться, ваше благородие, как следует,— сказал робкий Игнатьев,— ведь это сгоряча она только оказывает, что ничего, а то хуже бы не сделать, ведь тут вон какая жарня идет... право, ваше благородие.

Михайлов остановился на минуту в нерешимости и, кажется, последовал бы совету Игнатьева, ежели бы не вспомнилась ему сцена, которую он на днях видел на перевязочном пункте. Офицер с маленькой царпиной на руке пришел перевязываться, и доктора улыбались, глядя на него, и даже один — с бакенбардами — сказал ему, что он никак не умрет от этой раны и что вилкой можно больней уколоться. «Может быть, так же недоверчиво улыбнутся и моей ране, да еще скажут что-нибудь»,— подумал штабс-капитан и 40

решительно, несмотря на доводы барабанщика, пошел назад к роте.

— А где ординарец Праскухин, который шел со мной? — спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились.

— Не знаю, убит, кажется, — неохотно отвечал прапорщик, который, между прочим, был очень недоволен, что штабс-капитан вернулся и тем лишил его удовольствия сказать, что он один офицер остался в роте.

— Убит или ранен? Как же вы не знаете, ведь он с нами шел.
10 И отчего вы его не взяли?

— Где тут было брать, когда жарня этакая!

— Ах, как же это вы, Михаил Иванович, — сказал Михайлов сердито, — как же бросить, ежели он жив; да и убит, так все-таки тело надо было взять — как хотите, ведь он ординарец генерала и еще жив, может...

— Где жив, когда я вам говорю, я сам подходил и видел, — сказал прапорщик. — Помилуйте! только бы своих уносить. Вон стерна! ядрами теперь стал пускать, — прибавил он, приседая. Михайлов тоже присел и схватился за голову, которая от движенья ужасно
20 заболела у него.

— Нет, непременно надо сходить взять: может быть, он еще жив, — сказал Михайлов. — Это наш долг, Михайло Иванович!

Михайло Иванович не отвечал.

«Вот ежели бы он был хороший офицер, он бы взял тогда, а теперь надо солдат посылать одних; а и посылать как? — Под этим страшным огнем, могут убить задаром», — думал Михайлов.

— Ребята! Надо сходить назад, взять офицера, что ранен там в канаве, — сказал он не слишком громко и повелительно, чувствуя, как неприятно будет солдатам исполнять это приказанье, — и действитель-
30 вительно, так как он ни к кому именно не обращался, никто не вышел, чтобы исполнить его.

— Унтер-офицер! Поди сюда.

Унтер-офицер, как будто не слыша, продолжал идти на своем месте.

«И точно, может, он уже умер и *не стоит* подвергать людей напрасной опасности, а виноват один я, что не позаботился. Схожу сам узнаю, жив ли он. Это мой долг», — сказал сам себе Михайлов.

— Михал Иванович! ведите роту, а я вас догоню, — сказал он и, одной рукой подобрав шинель, другой рукой дотрогиваясь беспрестанно до образка Митрофания-угодника, в которого он имел особенную веру, почти ползком и дрожа от страха, рысью побежал по
40 траншее.

Убедившись в том, что Праскухин был убит, Михайлов, так же пыхтя, приседая и придерживая рукой сбившуюся повязку и голову, которая сильно начинала болеть у него, потащился назад. Батальон

был уже под горой на месте и почти вне выстрелов, когда Михайлов догнал его. Я говорю: *почти* вне выстрелов, потому что изредка залетали и сюда шальные бомбы (осколком одной в эту ночь убит один капитан, который сидел во время дела в матросской землянке).

«Однако надо будет завтра сходить на перевязочный пункт записаться,— подумал штабс-капитан, в то время как пришедший фельдшер перевязывал его,— это поможет к представленью».

14

Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад 10 полных разнообразных, высоких и мелких, надежд и желаний, с окоченелыми членами, лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни мертвых в Севастополе; сотни людей, с проклятиями и молитвами на пересохших устах, ползали, ворочались и стонали — одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта; а все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещая 20 радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплывало могучее, прекрасное светило.

15

На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним аллеям из цветущих душистых белых акаций.

Калугин, князь Гальцин и какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. Главную путеводительную нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное выражение, как будто потери вчерашнего дела сильно трогали и огорчали каждого, но, сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека, это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое 40 дело, с тем чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди.

Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и подпоручика Антонова и т.д.— всякий из нас маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья.

— Нет, извините,— говорил полковник,— прежде началось на левом фланге. *Ведь я был там.*

— А может быть,— отвечал Калугин,— *я больше был на правом; я два раза туда ходил: один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы пошел. Вот где жарко было.*

— Да уж, верно, Калугин знает,— сказал полковнику князь Гальцин.— Ты знаешь, мне нынче В... про тебя говорил, что ты моллцом.

— Потери только, потери ужасные,— сказал полковник тоном официальной печали,— *у меня в полку четыреста человек выбыло. Удивительно, как я жив вышел оттуда.*

В это время навстречу этим господам, на другом конце бульвара, показалась лиловатая фигура Михайлова, на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он очень сконфузился, увидав их: ему вспомнилось, как он вчера приседал перед Калугиным, и пришло в голову, как бы они не подумали, что он притворяется раненым. Так что ежели бы эти господа не смотрели на него, то он бы сбежал вниз и ушел бы домой, с тем чтобы не выходить до тех пор, пока можно будет снять повязку.

— *Il fallait voir dans quel état je l'ai rencontré hier sous le feu!*,— улыбнувшись, сказал Калугин, в то время как они сходились.

— Что, вы ранены, капитан? — сказал Калугин с улыбкой, которая значила: «Что, вы видели меня вчера? каков я?»

30 — Да, немножко, камнем,— отвечал Михайлов, краснея и с выражением на лице, которое говорило: «Видел, и признаю, что вы молодец, а я очень, очень плох».

— *Est-ce que le pavillon est baissé déjà?*² — спросил князь Гальцин, опять с своим высокомерным выражением глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь ни к кому в особенности.

— *Non, pas encore*³, — отвечал Михайлов, которому хотелось показать, что он знает и поговорить по-французски.

— Неужели продолжается еще перемирие? — сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски и тем говоря,— как это показало 40 лось штабс-капитану,— что вам, должно быть, тяжело будет гово-

¹ Надо было видеть, в каком состоянии я его встретил вчера под огнем (фр.)

² Разве флаг уже спущен? (фр.)

³ Нет еще (фр.)

рить по-французски, так не лучше ли уж просто?.. И с этим адъютанты отошли от него.

Штабс-капитан, так же как и вчера, почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись с разными господами — с одними не желая сходитья, а к другим не решаясь подойти,— сел около памятника Казарского и закурил папиросу.

Барон Пест тоже пришел на бульвар. Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, что будто один французский офицер сказал ему: «S'il n'avait pas fait clair encore pendant une demi-heure, les embuscades auraient été reprises»¹,—¹⁰ и как он отвечал ему: «Monsieur! je ne dis pas non, pour ne pas vous donner un démenti»²,— и как это хорошо он сказал и т.д.

В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего умного, хотя ему и очень хотелось поговорить с французами (ведь это ужасно весело говорить с французами). Юнкер барон Пест долго ходил по линии и все спрашивал французоз, которые были близко к нему: «De quel régiment êtes-vous?»³ Ему отвечали — и больше ничего. Когда же он зашел слишком далеко за линию, то французский часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его. «Il vient regarder nos travaux ce sacré c.....»⁴,— сказал он. Вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и капитан Зобов, который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не заискивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица и всё с теми же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия. Недоставало только Праскухина, Нефердова и еще кой-кого, о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели³⁰ быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были или не забыли про них прежде.

— А я его не узнал было, старика-то,— говорит солдат на уборке тел, за плечи поднимая перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глянцевиным лицом и вывернутыми зрачками.— Под спину берись, Морозка, а то как бы не перервался. Ишь, дух скверный!

«Ишь, дух скверный!» — вот все, что осталось между людьми от этого человека...

40

¹ Если бы еще полчаса было темно, ложементы были бы вторично взяты (фр.)

² Я не говорю нет, только чтобы вам не противоречить (фр.)

³ Какого вы полка? (фр.)

⁴ Он идет смотреть наши работы, этот проклятый... (фр.)

На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат, без сапог, в серых и синих одеждах, изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный, тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим.

10 Послушайте, что говорят между собой эти люди.

Вот в кружке собравшихся около него русских и французов молоденький офицер, хотя плохо, но достаточно хорошо, чтоб его понимали, говорящий по-французски, рассматривает гвардейскую сумку.

— Э сеси пуркуа се уазо иси? — говорит он.

— Parce que c'est une giberne d'un régiment de la garde, monsieur, qui porte l'aigle impérial.

— Э ву де ла гард?

— Pardon, monsieur, du sixième de ligne.

20 — Э сеси у аште?¹ — спрашивает офицер, указывая на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу.

— A Balaclava, monsieur! C'est tout simple — en bois de palme².

— Жоли! — говорит офицер, руководимый в разговоре не столько собственным произволом, сколько словами, которые он знает.

— Si vous voulez bien garder cela comme souvenir de cette rencontre, vous m'obligerez³. — И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигарочницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе, как французы, так и русские, кажутся очень довольными и улыбаются.

30 Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами, стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубочку и высыпает огня русскому.

1 — Почему эта птица здесь?

— Потому что это патронная сумка гвардейского полка, сударь, у него императорский орел.

— А вы из гвардии?

— Нет, извините, сударь, из шестого линейного.

— А это где купили? (фр.)

2 В Балаклаве. Это пустяк — из пальмового дерева. (фр.)

3 Вы меня обяжете, если оставите себе эту вещь на память о нашей встрече. (фр.)

— Табак *бун*,— говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.

— *Oui, bon tabac, tabac turc*,— говорит француз,— *et chez vous autres tabac russe? bon?*¹.

— *Рус бун*,— говорит солдат в розовой рубашке, при чем присутствующие покатываются со смеху.— *Франсе нет бун, бонжур, мусье*,— говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет француза по животу и смеется. Французы тоже смеются.

— *Ils ne sont pas jolis ces b<êtes> de russes?*²,— говорит один зуав ¹⁰ из толпы французов.

— *De quoi de ce qu'ils rient donc?*³ — говорит другой черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.

— Кафтан бун,— говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.

— *Ne sortez pas de la ligne, à vos places, sacré nom.....*⁴ — кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся.

А вот в кружке французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то *comte Sazonoff, que j'ai beaucoup connu, monsieur*⁵,— говорит французский офицер с одним эплетом,— *c'est un de ces vrais comtes russes, comme nous les aimons*⁶.

— *Il y a un Sazonoff que j'ai connu*,— говорит кавалерист,— *mais il n'est pas comte, à moins que je sache, un petit brun de votre âge à peu près.*

— *C'est ça, monsieur, c'est lui. Oh, que je voudrais le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous prie bien de lui faire mes compliments. Capitaine Latour*⁷,— говорит он, кланяясь.

— *N'est-ce pas terrible la triste besogne, que nous faisons? Ça chauffe* ³⁰ *fait cette nuit, n'est-ce pas?*⁸ — говорит кавалерист, желая поддержать разговор и указывая на трупы.

— *Oh, monsieur, c'est affreux! Mais quels gaillards vos soldats,*

¹ Да, хороший табак, турецкий табак,— а у вас табак русский? хороший? (фр.)

² Они некрасивы, эти русские скоты (фр.)

³ Чего это они смеются? (фр.)

⁴ Не выходите за линию, по местам, черт возьми... (фр.)

⁵ графе Сазонове, которого я хорошо знал, сударь (фр.)

⁶ это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим (фр.)

⁷ — Я знал одного Сазонова,— говорит кавалерист,— но он, насколько мне известно, не граф, невысокий брюнет, приблизительно вашего возраста.

— Это так, это он. О, как я хотел бы встретить этого милого графа. Если вы его увидите, очень прошу передать ему мой привет. Капитан Латур (фр.)

⁸ Не ужасно ли это печальное дело, которым мы занимались? Жарко было прошлой ночью, не так ли? (фр.)

quels gaillards! C'est un plaisir que de se battre contre des gaillards comme eux.

— Il faut avouer que les vôtres ne se mouchent pas du pied non plus¹, — говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он удивительно умен.

Но довольно.

Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку, который в старом, должно быть, отцовском, картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помочью, с
10 самого начала перемирия вышел за вал и все ходил по ложине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой очоченной руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик
20 вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь, к крепости.

Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена мертвыми телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди — христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к
30 добру и к прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны — и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятия.

Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого, может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть

¹ — О! это ужасно! Но какие молодцы ваши солдаты, какие молодцы! Это удовольствие — драться с такими молодцами, как они.

— Надо признаться, что и ваши в грязь лицом не ударят (букв.: не ногой сморкаются) (фр.)

высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.

Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.

Ни Калугин с своей блестящей храбростью (*bravoure de gentil-homme*¹) и тщеславием — двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший *на брани за веру, престол и отечество*, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест — ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда.

1855 года, 26 июня.

¹ храбростью дворянина (*фр.*)

СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА

1

В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой¹ и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой).

В повозке, спереди, на корточках, сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший вожжами; сзади, на узлах и вьюках, покрытых попонкой, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины он был широк и плотен. Шея и затылок были у него очень развиты и напряжены, так называемой талии — перехвата в середине туловища — не было, но и живота тоже не было; напротив, он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, если бы не какая-то одутловость и мягкие нестарческие крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты чрезвычайно крепкой, частой и черной двухдневной бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы, — но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, ²⁰

¹ Последняя станция к Севастополю. (Прим. Л. Н. Толстого.)

когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардирование идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать.

10 Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами, матросами, греческими волонтерами и ополченцами. Офицерская повозка должна была остановиться, и офицер, щурясь и морщась от пыли, густым, неподвижным облаком поднявшейся на дороге, набивавшейся ему в глаза и уши, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых.

— А это с нашей роты солдатик слабый,— сказал денщик, обращившись к барину и указывая на повозку, в это время поравняющуюся с ними.

20 На повозке, спереди, сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой и шинелью внакидку на весьма грязной рубаше, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив, верно, что он раненый, сделал вид, как будто только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две исхудалые руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочалы мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотившись руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.

— Должников! — крикнул он.

— Я-о! — отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.

— Когда ты ранен, братец?

40 Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.

— Здравия желаем, вашбородие! — тем же отрывистым басом крикнул он.

— Где нынче полк стоит?

— В Сивастополе стояли, в середу переходить хотели, вашбородие!

— Куда?

— Неизвестно... должно, на Сиверную, вашбородие! Нынче, вашбородие,— прибавил он протяжным голосом и надевая шапку,— уже скрость палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносит; нынче так бьет, что бяда, ажно...

Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат; но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.

Проезжий офицер, поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, потому что так живут и делают другие: он делал все, что ему хотелось, а 10 другие уж делали то же, что и он, и были уверены, что выйдет хорошо. Его натура была довольно богата; он был неглуп и вместе с тем талантлив, хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была эта натура самолюбивой энергией, которая, хотя и более всего основанная на мелкой внешней даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которые слились с жизнью и которые чаще всего развиваются в одних мужских, и особенно военных, кружках; он не пони- 20 мал другого выбора, как только первенствовать или уничтожаться; самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал.

— Как же! очень буду слушать, что *Москва*¹ болтает,— пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардирования.— *Смешная эта Москва...* Пошел, Николаев! трогай же... Что ты заснул! — прибавил он не- 30 сколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.

Вожжи задержались, Николаев зачмокал, и повозка покатила рысью.

— Только покормим минутку и сейчас, нынче же... дальше,— сказал офицер.

2

Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дуванки, поручик Козельцов был задержан транспортом бомб и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге. 40

¹ Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называют солдата *Москва* или еще *присяга*. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.

— Далече идете, землячок? — сказал один из них, пережевывая хлеб, солдату, который, с небольшим мешком за плечами, остановился около них.

— В роту идем из губернии, — отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной. — Мы вот почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывают, что на Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа?

— В городе, брат, стоит, в городе, — проговорил другой, старый фурашский солдат, копавший складным ножом в неспелом, белесоватом арбузе. — Мы вот только с полдён оттеле идем. Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше, а здесь упади где-нибудь в сене, денек-другой пролежи — дело-то лучше будет.

— А что так, господа?

— Рази не слышишь, нынче кругом палит, аж и места целого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя!

И говоривший махнул рукой и поправил шапку.

Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенища трубочку, не накладывая ее, расковырял пригорелый табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку.

— Никто, как Бог, господа! Прощенья просим! — сказал он и, встряхнув за спиною мешок, пошел по дороге.

— Эх, обождал бы лучше! — сказал убедительно-протяжно ковырявший арбуз.

— Все одно, — пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок. — Видно, тоже харбуза купить повечерять; вишь, что говорят люди.

3

Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек, смотритель, который перебранивался с следовавшими за ним двумя офицерами.

— И не то что трое суток, и десятеро суток подождете! и генералы ждут, батюшка! — говорил смотритель, с желанием кольнуть проезжающих, — а я вам не запрягусь же.

— Так никому не давать лошадей, коли нету!.. А зачем дал какому-то лакею с вещами? — кричал старший из двух офицеров, с стаканом чаю в руках и видимо избегая местоимения, но давая чувствовать, что очень легко и *ты* сказать смотрителю.

— Ведь вы сами рассудите, господин смотритель, — говорил с за-

пинками другой, молоденький офицер,— нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу! А то ведь это что ж... вы, значит, не уважаете офицерского звания.

— Вы всегда испортите! — перебил его с досадою старший.— Вы только мешаете мне; надо уметь с ним говорить. Вот он и потерял уважение... Лошадей сию минуту, я говорю!

— И рад бы, батюшка, да где их взять-то?..

Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить:

— Я, батюшка, сам понимаю и все знаю; да что станете делать! Вот дайте мне только (на лицах офицеров выразилась надежда) ... дайте только до конца месяца дожить — и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться, ей-богу! Пусть делают как хотят, когда такие распоряжения. На всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет, и клочка сена уж третий день лошади не видали.

И смотритель скрылся в воротах.

Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату.

— Что ж,— совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным,— уж три месяца едем, подождем еще. Не беда — успеем.

4

Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел; вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа: молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, наверное, сделанном из женского капота, наливал чайник; человека четыре таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты; один из них, подложив под голову какую-то шубу, спал на диване; другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, но тонкой, и с сумкой через плечо, сидели около лежанки; и по одному тому, как они смотрели на других и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтвые пехотные офицеры и что они довольны этим. Не то чтобы видно было презрение в их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами,— сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на

диване, и считали деньги. Человека четыре денщиков — одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого; но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему и, главное, напомнили, что брат его, тоже из корпуса, на днях должен был приехать в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видал где-то, ему все казалось противно и нагло. Он даже с мыслью: «Осадить 10 его, если бы он вздумал что-нибудь сказать», — перешел от окна к лежанке и сел на нее. Козельцов, вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был возмущен против *штабных*, которыми он с первого взгляда признал этих двух офицеров.

5

— Однако это ужасно как досадно, — говорил один из молодых офицеров, — что так уже близко, а нельзя доехать. Может быть, нынче будет дело, а нас не будет.

В пискливом тоне голоса и в пятновидном свежем румянце, на- 20 бежавшем на молодое лицо этого офицера в то время, как он говорил, видна была эта милая молодая робость человека, который беспрестанно боится, что не так выходит его каждое слово.

Безрукий офицер с улыбкой посмотрел на него.

— Поспеете еще, поверьте, — сказал он.

Молодой офицер с уважением посмотрел на исхудалое лицо безрукого, неожиданно просветлевшее улыбкою, замолчал и снова занялся чаем. Действительно, в лице безрукого офицера, в его позе и особенно в этом пустом рукаве шинели выражалось много того спокойного равнодушия, которое можно объяснить так, что при всяком деле или разговоре он смотрел, как будто говоря: «Все это пре- 30 красно, все это я знаю и все могу сделать, если бы я захотел только».

— Как же мы решим, — сказал снова молодой офицер своему товарищу в архалуке, — ночуем здесь или поедем на *своей* лошади?

Товарищ отказался ехать.

— Вы можете себе представить, капитан, — продолжал разливавший чай, обращаясь к безрукому и поднимая ножик, который уронил тот, — нам сказали, что лошади ужасно дороги в Севастополе, мы и купили сообща лошадь в Симферополе.

— Дорого, я думаю, с вас содрали?

40 — Право, не знаю, капитан: мы заплатили с повозкой девяносто рублей. Это очень дорого? — прибавил он, обращаясь ко всем и к Козельцову, который смотрел на него.

— Недорого, коли молодая лошадь, — сказал Козельцов.

— Не правда ли? а нам говорили, что дорого... Только она хро-

мая немножко, только это пройдет, нам говорили. Она крепкая такая.

— Вы из какого корпуса? — спросил Козельцов, который хотел узнать о брате.

— Мы теперь из Дворянского полка, нас шесть человек; мы все едем в Севастополь по собственному желанию,— говорил словоохотливый офицерик,— только мы не знаем, где наши батареи: одни говорят, что в Севастополе, а вот они говорили, что в Одессе.

— В Симферополе разве нельзя было узнать? — спросил Козельцов. 10

— Не знают... Можете себе представить, наш товарищ ходил там в канцелярию: ему грубостей наговорили... можете себе представить, как неприятно!.. Угодно вам готовую папироску? — сказал он в это время безрукому офицеру, который хотел достать свою сигарочницу.

Он с каким-то подобострастным восторгом служивал ему.

— А вы тоже из Севастополя? — продолжал он.— Ах, Боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали о вас, о всех героях! — сказал он, обращаясь к Козельцову с уважением и добродушной лаской. 20

— Как же, вам, может, назад придется ехать? — спросил поручик.

— Вот этого-то мы и боимся. Можете себе представить, что мы, как купили лошадь и обзавелись всем нужным — кофейник спиртовой и еще разные мелочи необходимые,— у нас денег совсем не осталось,— сказал он тихим голосом и оглядываясь на своего товарища,— так что, если ехать назад, мы уж и не знаем, как быть.

— Разве вы не получили подъемных денег? — спросил Козельцов.

— Нет,— отвечал он шепотом,— только нам обещали тут дать. 30

— А свидетельство у вас есть?

— Я знаю, что главное — свидетельство; но мне в Москве сенатор один — он мне дядя,— как я у него был, он сказал, что тут дадут, а то бы он сам мне дал. Так дадут так?

— Непременно дадут.

— И я думаю, что, может быть, так дадут,— сказал он таким тоном, который доказывал, что, спрашивая на тридцати станциях одно и то же и везде получая различные ответы, он уже никому не верил хорошенько.

— Да как же не дать,— сказал вдруг офицер, бранившийся на крыльце с смотрителем и в это время подошедший к разговаривающим и обращаясь отчасти и к штабным, сидевшим подле, как к более достойным слушателям.— Ведь я так же, как и эти господа,

пожелал в действующую армию, даже в самый Севастополь просился, от прекрасного места, и мне, кроме прогонов от П., сто тридцать шесть рублей серебром, ничего не дали, а я уж своих больше ста пятидесяти рублей издержал. Подумать только: восемьсот верст третий месяц еду. Вот с этими господами второй месяц. Хорошо, что у меня были свои деньги, ну а коли бы не было их?

— Неужели третий месяц? — спросил кто-то.

— А что прикажете делать, — продолжал рассказывающий, — ведь ежели бы я не хотел ехать, я бы и не просился от хорошего 10 места; так, стало быть, я не стал бы жить по дороге, уж не оттого, чтоб я боялся бы... а возможности никакой нет. В Перекопе, например, я две недели жил; смотритель с вами и говорить не хочет, когда хотите приезжайте, одних курьерских подорожных вот сколько лежит. Уж, верно, так судьба... ведь я бы желал, да, видно, судьба; я ведь не оттого, что вот теперь бомбардированье, а, видно, торопись не торопись — все равно; а я бы как желал...

Этот офицер так старательно объяснял причины своего замедления и как будто оправдывался в них, что это невольно наводило на мысль, что он трусит. Это еще стало заметнее, когда он расспрашивал о месте нахождения своего полка и опасно ли там. Он даже побледнел и голос у него оборвался, когда безрукий офицер, который 20 был в том же полку, сказал ему, что в эти два дня у них одних офицеров семнадцать человек выбыло.

Действительно, офицер этот в настоящую минуту был жесточайшим трусом, хотя шесть месяцев тому назад он далеко не был им. С ним произошел переворот, который испытали многие и прежде и после него. Он жил в одной из наших губерний, в которых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное спокойное место, но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих 30 прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолюбием и еще более — патриотизмом. Он пожертвовал этому чувству весьма многим: и обжитым местом, и квартирой с мягкой мебелью, завезенной осьмилетним старанием, и знакомствами, и надеждами на богатую женитьбу — он бросил все и подал еще в феврале в действующую армию, мечтая о бессмертном венке славы и генеральских эполетах. Через два месяца после подачи прошения он *по команде* получил запрос, не будет ли он требовать вспомоществования от правительства; он отвечал отрицательно и терпеливо продолжал ожидать определения, хотя патриотический жар уже успел значи- 40 тельно остыть в эти два месяца. Еще через два месяца он получил запрос, не принадлежит ли он к масонским ломам, и еще подобного рода формальности, и после отрицательного ответа наконец на пятый месяц вышло его определение. Во все это время приятели, а более всего то заднее чувство недовольства новым, которое является при каждой перемене положения, успели убедить его в том, что он сделал величайшую глупость, поступив в действующую армию.

матрико знает адмиралу орудий дела.
- А что там матриво и вай сего?
- Я думаю что матриво сего дела
- одно, но матриво в матриво сего дела
- одно - от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.

б.
- Да как же матриво сего дела
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.

матриво сего дела
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.
- одно, от матриво сего - как в н. н. н.

Когда же он очутился один, с изжогой и запыленным лицом, на пятой станции, на которой он встретился с курьером из Севастополя, рассказавшим ему про ужасы войны, прождал двенадцать часов лошадей,— он уже совершенно раскаивался в своем легкомыслии, с смутным ужасом думал о предстоящем и ехал бессознательно вперед, как на жертву. Чувство это в продолжение трехмесячного странствования по станциям, на которых почти везде надо было ждать и встречать едущих из Севастополя офицеров с ужасными рассказами, постоянно увеличивалось и наконец довело бедного офицера до того, что из героя, готового на самые отчаянные предприятия, каким он воображал себя в П., в Дуванкой он был жалким трусом; и, съехавшись месяц тому назад с молодежью, едущей из корпуса, он старался ехать как можно тише, считая эти дни последними в своей жизни, на каждой станции разбирал кровать, погребец, составлял партию в преферанс, на жалобную книгу смотрел как на препровождение времени и радовался, когда лошадей ему не давали.

Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы, а теперь еще много ему надо было пройти моральных страданий, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера. Но энтузиазм уже трудно бы было воскресить в нем.

7

— Кто борщу требовал? — провозгласила довольно грязная хозяйка, толстая женщина лет сорока, с миской шей входя в комнату.

Разговор тотчас же замолк, и все бывшие в комнате устремили глаза на харчевницу. Офицер, ехавший из П., даже подмигнул на нее молодому офицеру.

— Ах, это Козельцов спрашивал,— сказал молодой офицер,— надо его разбудить. Вставай обедать,— сказал он, подходя к спящему на диване и толкая его за плечо.

Молодой мальчик лет семнадцати, с веселыми черными глазами и румянцем во всю щеку, вскочил энергически с дивана и, протирая глаза, остановился посередине комнаты.

— Ах, извините, пожалуйста,— сказал он доктору, которого толкнул, вставая.

Поручик Козельцов тотчас же узнал брата и подошел к нему.

— Не узнаешь? — сказал он, улыбаясь.

— А-а-а! — закричал меньшей брат,— вот удивительно! — и стал целовать брата.

Они поцеловались три раза, но на третьем разе запнулись, как будто обоим пришла мысль: зачем же непременно нужно три раза?

— Ну как я рад! — сказал старший, вглядываясь в брата.— Пойдем на крыльцо — поговорим.

— Пойдем, пойдем. Я не хочу борщу... ешь ты, Федерсон,— сказал он товарищу.

— Да ведь ты хотел есть.

— Не хочу ничего.

Когда они вышли на крыльцо, меньшей все спрашивал у брата: «Ну что ты, как, расскажи»,— и все говорил, как он рад его видеть, но сам ничего не рассказывал.

Когда прошло минут пять, во время которых они успели помолчать немного, старший брат спросил, отчего меньшей вышел не в гвардию, как этого все наши ожидали. 10

— Ах, да! — отвечал меньшей, краснея при одном воспоминании.— Это ужасно меня убило, и я никак не ожидал, что это случится... Можешь себе представить, перед самым выпуском, мы пошли втроем курить... знаешь эту комнатку, что за швейцарской, ведь и при вас, верно, так же было... только, можешь вообразить, этот каналья сторож увидал и побежал сказать дежурному офицеру (а ведь мы несколько раз давали на водку сторожу). Он и подкрался. Только как мы его увидали, те побросали папироски и драла, в боковую дверь, а мне уж некуда; он тут мне стал неприятности говорить — разумеется, я не спустил; ну, он сказал инспектору, и пошло. Вот за это-то поставили неполные баллы в поведении, хотя везде были отличные... только в механике двенадцать... ну и пошло. Выпустили в армию. Потом обещали меня перевести в гвардию, да уж я не хотел и просился на войну. 20

— Вот как!

— Право, я тебе без шуток говорю, все мне так гадко стало, что я желал поскорей в Севастополь. Да, впрочем, ведь если здесь счастливо пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии: там в десять лет в полковники, а здесь Тотлебен так в два года из подполковников в генералы. Ну а убьют, так что ж делать! 30

— Вот ты какой! — сказал брат, улыбаясь.

— А главное, знаешь ли что, брат,— сказал меньшей, улыбаясь и краснея, как будто собирался сказать что-нибудь очень стыдное,— все это пустяки; главное, я затем просился, что все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. Да и с тобой мне хотелось быть,— прибавил он еще застенчивее.

— Какой ты смешной! — сказал старший брат, доставая папиросницу и не глядя на него.— Жалко только, что мы не вместе будем.

— А что, скажи по правде, страшно на бастионах? — спросил 40
вдруг младший.

— Сначала страшно, потом привыкаешь — ничего. Сам увидишь.

— А вот еще что скажи: как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я думаю, что ни за что не возьмут.

— Бог знает.

— Одно только досадно... Можешь вообразить, какое несчастье: у нас ведь дорогой целый узел украли, и у меня в нем кивер был, так что я теперь в ужасном положении и не знаю, как я буду являться. Ты знаешь, ведь у нас новые кивера теперь, да и вообще сколько перемен — все к лучшему... Я тебе все это могу рассказать. Я везде бывал в Москве.

Козельцов 2-й Владимир был очень похож на брата Михайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волоса у него были те же русые, но густые и вьющиеся на висках. На белом нежном затылке у него была русая косичка — признак счастья, как говорят нянюшки. По нежному, белому цвету кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровный молодой румянец. Те же глаза, как и у брата, были у него открытее и светлее, что особенно казалось оттого, что они часто покрывались легкой влагой. Русый пушок пробивался по щекам и над красными губами, весьма часто складывавшимися в застенчивую улыбку и открывавшими белые блестящие зубы. Стройный, широкоплечий, в расстегнутой шинели, из-под которой виднелась красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотясь на перила крыльца, с наивной радостью в лице и жесте, как он стоял перед братом,— это был такой приятно-хорошенький мальчик, что все бы так и смотрел на него. Он чрезвычайно рад был брату, с уважением и гордостью смотрел на него, воображая его героем; но в некоторых отношениях, именно в рассуждении уменья говорить по-французски, быть в обществе важных людей, танцевать и т.д., вообще светского образования, которого, по правде сказать, он и сам не имел, он немножко стыдился за него, смотрел свысока и даже надеялся, ежели можно, образовать его. Все впечатления его еще были из Петербурга, из дома одной барыни, любившей хороших и бравшей его к себе на праздники, и из дома сенатора в Москве, где он раз танцевал на большом бале.

8

Наговорившись почти досыта и дойдя наконец до того чувства, которое часто испытываешь, что общего мало, хотя и любишь друг друга, братья помолчали довольно долго.

— Так бери же свои вещи и едем сейчас,— сказал старший.

Младший вдруг покраснел и замялся.

— Прямо в Севастополь ехать? — спросил он после минуты молчанья.

— Ну да. Ведь у тебя немного вещей, я думаю, уложим.

— Прекрасно! сейчас и поедем,— сказал младший со вздохом и пошел в комнату.

Но, не отворяя двери, он остановился в сенях, печально опустив голову, и начал думать:

«Сейчас, прямо в Севастополь, под бомбы... ужасно! Однако все равно, когда-нибудь надо же было. Теперь, по крайней мере, с братом...»

Дело в том, что только теперь, при мысли, что, сев в тележку, он, не вылезая из нее, будет в Севастополе и что никакая случайность уже не может задержать его, ему ясно представилась опасность, которой он искал, и он смутился при одной мысли о близости ее. Кое-как успокоив себя, он вошел в комнату; но прошло четверть часа, а он все не выходил к брату, так что старший отворил наконец дверь, чтоб вызвать его. Меньшой Козельцов, в положении провинившегося школьника, говорил о чем-то с офицером из П. Когда брат отворил дверь, он совершенно растерялся.

— Сейчас, сейчас я выйду! — заговорил он, махая рукой брату. — Подожди меня, пожалуйста, там.

Через минуту он вышел действительно и с глубоким вздохом подошел к брату.

— Можешь себе представить, я не могу с тобой ехать, брат, — сказал он.

— Как? что за вздор!

— Я тебе всю правду скажу, Миша. У нас уж ни у кого денег нет, ²⁰ и мы все должны этому штабс-капитану, что ты там видел. Ужасно стыдно!

Старший брат нахмурился и долго не прерывал молчания.

— Много должен? — спросил он, исподлобья взглядывая на брата.

— Много... нет, не очень много; но совестно ужасно. Он на трех станциях за меня платил, и сахар все его шел... так что я не знаю... да и в преферанс мы играли... я ему немножко остался должен.

— Это скверно, Володя! Ну что бы ты сделал, если бы меня не встретил? — сказал строго, не глядя на брата, старший. ³⁰

— Да я думал, братец, что получу эти подъемные, в Севастополе, так отдам. Ведь можно так сделать; да и лучше уж завтра я с ним приеду.

Старший брат достал кошелек и с некоторым дрожанием пальцев достал оттуда две десятирублевые и одну трехрублевую бумажку.

— Вот мои деньги, — сказал он. — Сколько ты должен?

Сказав, что это были все его деньги, Козельцов говорил не совсем правду: у него было еще четыре золотых, зашитых на всякий случай в обшлаге, но которых он дал себе слово ни за что не трогать. ⁴⁰

Оказалось, что Козельцов 2-й, с преферансом и сахаром, был должен только восемь рублей. Старший брат дал их ему, заметив только, что этак нельзя, когда денег нет, еще в преферанс играть.

— На что ж ты играл?

Младший не отвечал ни слова. Вопрос брата показался ему со-

мнением в его честности. Досада на самого себя, стыд в поступке, который мог подавать такие подозрения, и оскорбление от брата, которого он так любил, произвели на впечатлительную натуру такое сильное, болезненное чувство, что он ничего не отвечал. Чувствуя, что не в состоянии будет удержаться от слезливых звуков, которые подступали ему к горлу, он взял не глядя деньги и пошел к товарищам.

9

Николаев, подкрепивший себя в Дуванке двумя крышками 10 водки, купленными у солдата, продававшего ее на мосту, подергивал вожжами, повозка подпрыгивала по каменной, кое-где тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю, а братья, поталкиваясь нога об ногу, хотя всякую минуту думали друг о друге, упорно молчали.

«Зачем он меня оскорбил,— думал меньшей,— разве он не мог не говорить про это? Точно как будто он думал, что я вор, да и теперь, кажется, сердится, так что мы уже навсегда расстроились. А как бы славно нам было вдвоем в Севастополе! Два брата, дружные между собой, оба сражаются с врагом: один старый уже, хотя 20 не очень образованный, но храбрый воин, и другой молодой... но тоже молодец... Через неделю я бы всем доказал, что я уж не очень молоденький! Я и краснеть перестану, в лице будет мужество, да и усы небольшие, но порядочные вырастут к тому времени,— и он ущипнул себя за пушок, показавшийся у краев рта.— Может быть, мы нынче приедем и сейчас же попадем в дело, вместе с братом. А он должен быть упорный и очень храбрый — такой, что много не говорит, а делает лучше других. Я бы желал знать,— продолжал он,— нарочно или нет он прижимает меня к самому краю повозки? Он, верно, чувствует, что мне неловко, и делает вид, как будто не 30 замечает меня. Вот мы нынче приедем,— продолжал он рассуждать, прижимаясь к краю повозки и боясь пошевелиться, чтобы не дать заметить брату, что ему неловко,— и вдруг прямо на бастион: я с орудиями, а брат с ротой, и вместе пойдем. Только вдруг французы бросятся на нас. Я — стрелять, стрелять: перебею ужасно много; но они все-таки бегут прямо на меня. Уж стрелять нельзя, и конечно, мне нет спасенья; только вдруг брат выбежит вперед с саблей, и я схвачу ружье, и мы вместе с солдатами побежим. Французы бросятся на брата. Я подбегу, убью одного француза, другого и спасаю брата. Меня ранят в одну руку, я схвачу ружье в другую и все-таки 40 бегу; только брата убьют пулей подле меня. Я остановлюсь на минутку, посмотрю на него этак грустно, поднимусь и закричу: “За мной, отмстим! Я любил брата больше всего на свете,— я скажу,— и потерял его. Отмстим, уничтожим врагов или все умрем тут!” Все закричат, бросятся за мной. Тут все войско французское выйдет,

сам Пелиссье. Мы всех перебьем; но наконец меня ранят другой раз, третий раз, и я упаду при смерти. Тогда все прибегут ко мне. Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. Я скажу, что ничего не хочу,— только чтобы меня положили рядом с братом, что я хочу умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровавленного трупа брата. Я приподнимусь и скажу только: “Да, вы не умели ценить двух человек, которые истинно любили отечество; теперь они оба пали... да простит вам Бог!” — и умру».

Кто знает, в какой мере сбудутся эти мечты!

— Что, ты был когда-нибудь в схватке? — спросил он вдруг у брата, совершенно забыв, что не хотел говорить с ним.

— Нет, ни разу,— отвечал старший,— у нас две тысячи человек из полка выбыло, всё на работах; и я ранен тоже на работе. Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя!

Слово «Володя» тронуло меньшого брата: ему захотелось объясниться с братом, который вовсе и не думал, что оскорбил Володю.

— Ты на меня не сердись, Миша? — сказал он после минутного молчания.

— За что?

— Нет, так. За то, что у нас было. Так, ничего.

— Нисколько,— отвечал старший, поворачиваясь к нему и хлопывая его по ноге.

— Так ты меня извини, Миша, если я тебя огорчил.

И меньшей брат отвернулся, чтобы скрыть слезы, которые вдруг выступили у него из глаз.

10

— Неужели это уже Севастополь? — спросил меньшей брат, когда они поднялись на гору и перед ними открылись бухта с мачтами кораблей, море с неприятельским далеким флотом, белые приморские батареи, казармы, водопроводы, доки и строения города, и белые, лиловатые облака дыма, беспрестанно поднимавшиеся по желтым горам, окружающим город, и стоявшие в синем небе, при розоватых лучах солнца, уже с блеском отражавшегося и спускавшегося к горизонту темного моря.

Володя без малейшего содрогания увидел это страшное место, про которое он так много думал; напротив, он с эстетическим наслаждением и героическим чувством самодовольства, что вот и он через полчаса будет там, смотрел на это действительно прелестно-оригинальное зрелище, и смотрел с сосредоточенным вниманием до самого того времени, пока они не приехали на Северную, в обоз полка брата, где должны были узнать наверное о месте расположения полка и батареи.

Офицер, заведовавший обозом, жил около так называемого *нового городка* — дощатых барачков, построенных матросскими семей-

ствами, в палатке, соединенной с довольно большим балаганом, заплетенным из зеленых дубовых веток, не успевших еще совершенно засохнуть.

Братья застали офицера перед складным столом, на котором стоял стакан холодного чаю, поднос с водкой и крошками сухой икры и хлеба, в одной желтовато-грязной рубашке, считающего на больших счетах огромную кипу ассигнаций. Но прежде чем говорить о личности офицера и его разговоре, необходимо пристальнее взглянуть на внутренность его балагана и познакомиться хоть немного с его образом жизни и занятиями. Новый балаган был так велик, прочно заплетен и удобен, со столиками и лавочками, плетеными и из дерна, как только строят для генералов или полковых командиров; бока и верх, чтобы лист не сыпался, были завешены тремя коврами, хотя весьма уродливыми, но новыми и, верно, дорогими. На железной кровати, стоявшей под главным ковром с изображенной на нем амазонкой, лежали плюшевое ярко-красное одеяло, грязная прорванная подушка и енотовая шуба; на столе стояло зеркало в серебряной раме, серебряная, ужасно грязная щетка, изломанный, набитый масляными волосами роговой гребень, серебряный подсвечник, бутылка ликера с золотым красным огромным ярлыком, золотые часы с изображением Петра I, два золотые перстня, коробочка с какими-то капсулями, корка хлеба, и разбросанные старые карты, и пустые и полные бутылки под кроватью. Офицер этот заведовал обозом полка и продовольствием лошадей. С ним вместе жил его большой приятель, комиссионер, занимающийся операциями. Он, в то время как вошли братья, спал в палатке; обозный же офицер делал счета казенных денег перед концом месяца. Наружность обозного офицера была очень красивая и воинственная: большой рост, большие усы, благородная плотность. Неприятны были в нем только какая-то потность и опухлость всего лица, почти скрывавшая маленькие серые глаза (как будто он весь был налит портером), и чрезвычайная нечистоплотность, от жидких масляных волос до больших босых ног в каких-то горностаевых туфлях.

— Денег-то, денег-то! — сказал Козельцов I-й, входя в балаган и с невольной жадностью устремляя глаза на кучу ассигнаций, — хоть бы половину займы дали, Василий Михайлыч!

Обозный офицер, как будто пойманный на воровстве, весь покоробился, увидав гостя, и, собирая деньги, не поднимаясь, поклонился.

— Ох, коли бы мои были! Казенные, батюшка!.. А это кто с вами? — сказал он, укладывая деньги в шкатулку, которая стояла около него, и глядя на Володю.

— Это мой брат, из корпуса приехал. Да вот мы захтели узнать у вас, где полк стоит.

— Садитесь, господа, — сказал он, вставая, не обращая внима-

ния на гостей и уходя в палатку.— Выпить не хотите ли? Портерку, может быть? — сказал он.

— Не мешает, Василий Михайлыч!

Володя был поражен величием обозного офицера, его небрежной манерой и уважением, с которым обращался к нему брат.

«Должно быть, это очень хороший у них офицер, которого все почитают: верно, простой, но гостеприимный и храбрый»,— подумал он, скромно и робко садясь на диван.

— Так где же наш полк стоит? — спросил через палатку старший брат.

— Что?

Он повторил вопрос.

— Нынче у меня Зейфер был: он рассказывал, что перешли на пятый бастион.

— Наверное?

— Коли я говорю, стало быть, верно; а впрочем, черт его знает! Он и соврать не дорого возьмет. Что ж, будете портер пить? — сказал обозный офицер все из палатки.

— А пожалуй, выпью,— сказал Козельцов.

— А вы выпьете, Осип Игнатич? — продолжал голос в палатке, 20 верно, обращаясь к спавшему комиссионеру.— Полноте спать: уж осьмой час.

— Что вы пристаёте ко мне? я не сплю,— отвечал ленивый тоненький голосок.

— Ну, вставайте: мне без вас скучно.

И обозный офицер вышел к гостям.

— Дай портеру. Симферопольского! — крикнул он.

Денщик, с гордым выражением лица, как показалось Володе, вошел в балаган и, толкнув Володю, достал портер из-под лавки.

— Да, батюшка,— сказал обозный офицер, наливая стаканы,— 30 нынче новый полковой командир у нас. Денежки нужны... всем обзаводится.

— Ну этот, я думаю, совсем особенный, новое поколение,— сказал Козельцов, учтиво взяв стакан в руку.

— Да, новое поколение! Такой же скряга будет. Как батальоном командовал, так как кричал, а теперь другое поет. Нельзя, батюшка!

— Это так.

Меньшой брат ничего не понимал, что они говорят, но ему смутно казалось, что брат говорит не то, что думает, но как будто потому только, что пьет портер этого офицера.

Бутылка портера уже была выпита, и разговор продолжался довольно долго в том же роде, когда полы палатки распахнулись и из нее выступил невысокий свежий мужчина в синем халате с кисточками, в фуражке с красным околышем и кокардой. Он вышел, поправляя свои черные усики, и, глядя куда-то на ковер, едва заметным движением плеча ответил на поклоны офицеров.

— Дай-ка и я выпью стаканчик! — сказал он, садясь подле стола.— Что это, вы из Петербурга едете, молодой человек? — сказал он, ласково обращаясь к Володе.

— Да-с, в Севастополь еду.

— Сами просились?

— Да-с.

— И что вам за охота, господа, я не понимаю! — продолжал комиссионер.— Я бы теперь, кажется, пешком готов был уйти, если бы пустили, в Петербург. Опостылела, ей-богу, эта жизнь проклятая!

10 — Чем же тут плохо вам? — сказал старший Козельцов, обращаясь к нему.— Еще вам бы не жизнь здесь!

Комиссионер посмотрел на него и отвернулся.

— Эта опасность («про какую он говорит опасность, сидя на Северной»), — подумал Козельцов), лишения, ничего достать нельзя,— продолжал он, обращаясь все к Володе.— И что вам за охота, я решительно вас не понимаю, господа! Хотя бы выгоды какие-нибудь были, а то так. Ну, хорошо ли это, в ваши лета вдруг останетесь калекой на всю жизнь?

20 — Кому нужны доходы, а кто из чести служит! — с досадой в голове опять вмешался Козельцов-старший.

— Что за честь, когда нечего есть! — презрительно смеясь, сказал комиссионер, обращаясь к обозному офицеру, который тоже засмеялся при этом.— Заведи-ка из «Лучии», мы послушаем,— сказал он, указывая на коробочку с музыкой,— я люблю ее...

— Что, он хороший человек, этот Василий Михайлыч? — спросил Володя у брата, когда они уже в сумерки вышли из балагана и поехали дальше к Севастополю.

30 — Ничего, только скупая шельма такая, что ужас! Ведь он малым числом имеет триста рублей в месяц, а живет как свинья. Ведь ты видел... А комиссионера этого я видеть не могу, я его побыю когда-нибудь. Ведь эта каналья из Турции тысяч двенадцать вывез!

11

Володя не то чтоб был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту через бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце. Все, что он видел и слышал, было так мало сообразно с его прошедшими недавними впечатлениями: паркетная светлая большая зала экзамена, веселые, добрые голоса и смех товарищей, 40 и который, прощаясь с ними со слезами, называл их детьми своими,— и так мало все, что он видел, похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты.

— Ну, вот мы и приехали! — сказал старший брат, когда они, подъехав к Михайловской батарее, вышли из повозки.— Если нас

пропустят на мосту, мы сейчас же пойдем в Николаевские казармы. Ты там останься до утра, а я пойду в полк — узнаю, где твоя батарея стоит, и завтра приду за тобой.

— Зачем же? лучше вместе пойдем, — сказал Володя. — И я пойду с тобой на бастион. Ведь уж все равно: привыкать надо. Если ты пойдешь, и я могу...

— Лучше не ходить.

— Нет, пожалуйста; я, по крайней мере, узнаю, как...

— Мой совет — не ходить, а пожалуй...

Небо было чисто и темно; звезды и беспрестанно движущиеся¹⁰ огни бомб и выстрелов уже ярко светились во мраке. Большое белое здание батареи и начало моста выдавались из темноты. Буквально каждую секунду несколько орудийных выстрелов и взрывов, быстро следуя друг за другом или вместе, громче и отчетливее потрясали воздух. Из-за этого гула, как будто вторя ему, слышалось пасмурное ворчание бухты. С моря тянул ветерок и пахло сыростью. Братья подошли к мосту. Какой-то ополченец стукнул неловко ружьем на руку и крикнул:

— Кто идет?

— Солдат!

— Не велено пущать!

— Да как же! Нам нужно.

— Офицера спросите.

Офицер, дремавший сидя на якоре, приподнялся и велел пропустить.

— Туда можно, оттуда нельзя. Куда лезешь? все разом! — крикнул он на полковые повозки, высоко наложенные турами, которые толпились у въезда.

Спускаясь на первый понтон, братья столкнулись с солдатами, которые, громко разговаривая, шли оттуда.

— Когда он амунишные получил, значит, он в расчете сполностью — вот что...

— Эх, братцы! — сказал другой голос. — Как на Сиверную перевалишь, свет увидишь, ей-богу! Совсем воздух другой.

— Говори больше! — сказал первый. — Намеднись тут же прилетела окаянная, двум матросам ноги пооборвала, — так не говори лучше.

Братья прошли первый понтон, дожидаясь повозки, и остановились на втором, который местами уже заливало водой. Ветер, казавшийся слабым в поле, здесь был весьма силен и порывист; мост качало, и волны, с шумом ударяясь о бревна и разрезаясь на якорях и канатах, заливали доски. Направо туманно-враждебно шумело и чернело море, отделяясь бесконечной ровной черной линией от звездного, светло-сероватого в слиянии горизонта; далеко где-то светились огни на неприятельском флоте; налево чернела темная масса нашего корабля и слышались удары волн о борта его; виднел⁴⁰

ся пароход, шумно и быстро двигавшийся от Северной. Огонь разорвавшейся около него бомбы осветил мгновенно высоко наваленные туры на палубе, двух человек, стоящих наверху, и белую пену и брызги зеленоватых волн, разрезаемых пароходом. У края моста сидел, опустив ноги в воду, какой-то человек в одной рубашке и чинил что-то в понтоне. Впереди над Севастополем носились те же огни, и громче, громче долетали страшные звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста и замочила ноги Володе; два солдата, шлепая ногами по воде, прошли мимо него.

10 Что-то вдруг с треском осветило мост впереди, едущую по нем повозку и верхового, и осколки, с свистом поднимая брызги, попадали в воду.

— А, Михайло Семеныч! — сказал верховой, останавливая лошадь против старшего Козельцова, — что, уже совсем поправились?

— Как видите. Куда вас Бог несет?

— На Северную, за патронами: ведь я нынче за полкового адъютанта... штурма ждем с часу на час, а по пяти патронов в суме нет. Отличные распоряжения!

— А где же Марцов?

20 — Вчера ногу оторвало... в городе, в комнате спал... Может, вы его застанете, он на перевязочном пункте.

— Полк на пятом, правда?

— Да, на место м...цов заступили. Вы зайдите на перевязочный пункт: там наши есть — вас проводят.

— Ну, а квартирка моя, на Морской, цела?

— И, батюшка! уж давно всю разбили бомбами. Вы не узнаете теперь Севастополя: уж женщин ни души нет, ни трактиров, ни музыки; вчера последнее заведение переехало. Теперь ужасно грустно стало... Прощайте!

30 И офицер рысью поехал дальше.

Володе вдруг сделалось ужасно страшно: ему все казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, — казалось, все говорило ему, чтобы он не шел дальше, что не ждет его здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти. «Но, может, уж поздно, уж решено теперь», — подумал он, содрогаясь частью от этой мысли, частью оттого, что вода

40 прошла ему сквозь сапоги и мочила ноги.

Володя глубоко вздохнул и отошел немного в сторону от брата.

— Господи! Неужели же меня убьют, именно меня? Господи, помилуй меня! — сказал он шепотом и перекрестился.

— Ну, пойдем, Володя, — сказал старший брат, когда повозочка въехала на мост. — Видел бомбу?

На мосту встречались братьям повозки с ранеными, с турами,

одна с мебелью, которую везла какая-то женщина. На той же стороне никто не задержал их.

Инстинктивно придерживаясь стенки Николаевской батареи, братья, молча, прислушиваясь к звукам бомб, лопавшихся уже тут над головами, и к реву осколков, валившихся сверху, пришли к тому месту батареи, где образ. Тут узнали они, что пятая легкая, в которую назначен был Володя, стоит на Корабельной, и решили вместе, несмотря на опасность, идти ночевать к старшему брату на пятый бастион, а оттуда завтра в батарею.

Повернув в коридор, шагая через ноги спящих солдат, которые лежали вдоль всей стены батареи, они наконец пришли на перевязочный пункт.

12

Войдя в первую комнату, обставленную койками, на которых лежали раненые, и пропитанную тяжелым, отвратительно-ужасным госпитальным запахом, они встретили двух сестер милосердия, выходявших им навстречу.

Одна, женщина лет пятидесяти, с черными глазами и строгим выражением лица, несла бинты и корпию и отдавала приказания молодому мальчику, фельдшеру, который шел за ней; другая, весьма хорошенькая девушка, лет двадцати, с бледным и нежным белокурым личиком, как-то особенно мило беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, руки в карманах передничка, шла подле старшей и, казалось, боялась отставать от нее.

Козельцов обратился к ним с вопросом, не знают ли они, где Марцов, которому вчера оторвало ногу.

— Это, кажется, П. полка? — спросила старшая. — Что, он вам родственник?

— Нет-с, товарищ.

— Проводите их, — сказала она молодой сестре, по-французски, — вот сюда, — а сама подошла с фельдшером к раненому.

— Пойдем же... что ты смотришь! — сказал Козельцов Володе, который, подняв брови, с каким-то страдальческим выражением, не мог оторваться — смотрел на раненых. — Пойдем же.

Володя пошел с братом, но все продолжая оглядываться и бессознательно повторяя:

— Ах, Боже мой! Ах, Боже мой!

— Верно, они недавно здесь? — спросила сестра у Козельцова, указывая на Володю, который, ахая и вздыхая, шел за ними по коридору.

— Только что приехал.

Хорошенькая сестра посмотрела на Володю и вдруг заплакала.

— Боже мой, Боже мой! Когда это все кончится? — сказала она с отчаянием в голосе.

Они вошли в офицерскую палату. Марцов лежал навзничь, закинув жилистые, обнаженные до локтей руки за голову и с выражением на желтом лице человека, который стиснул зубы, чтобы не кричать от боли. Целая нога была в чулке высунута из-под одеяла, и видно было, как он на ней судорожно перебирал пальцами.

— Ну что, как вам? — спросила сестра, своими тоненькими, нежными пальцами, на одном из которых Володя заметил золотое колечко, поднимая его немного плешивую голову и поправляя подушку.— Вот ваши товарищи пришли вас проведать.

10 — Разумеется, больно,— сердито сказал он.— Оставьте, так хорошо,— и пальцы в чулке зашевелились еще быстрее.— Здравствуйте! Как вас зовут? Извините,— сказал он, обращаясь к Козельцову.— Ах, да, виноват! тут все забудешь,— сказал он, когда тот сказал ему свою фамилию.— Ведь мы с тобой вместе жили,— прибавил он, без всякого выражения удовольствия, вопросительно глядя на Володю.

— Это мой брат, нынче приехал из Петербурга.

— Гм! А я-то вот и *полный* выслужил,— сказал он, морщась.— Ах, как больно!.. Да уж лучше бы конец скорее.

20 Он вздернул ногу и, промычав что-то, закрыл лицо руками.

— Его надо оставить,— сказала шепотом сестра, со слезами на глазах,— уж он очень плох.

Братья еще на Северной решили идти вместе на пятый бастион; но, выходя из Николаевской батареи, они как будто условились не подвергаться напрасной опасности и, ничего не говоря об этом предмете, решили идти каждому порознь.

— Только как ты найдешь, Володя? — сказал старший.— Впрочем, Николаев тебя проводит на Корабельную, а я пойду один и завтра у тебя буду.

30 Больше ничего не было сказано в это последнее прощанье между двумя братьями.

13

Гром пушек продолжался с той же силой, но Екатерининская улица, по которой шел Володя, с следовавшим за ним молчаливым Николаевым, была пустынна и тиха. Во мраке виднелась ему только широкая улица с белыми, во многих местах разрушенными стенами больших домов и каменный тротуар, по которому он шел; изредка встречались солдаты и офицеры. Проходя по левой стороне улицы около Адмиралтейства, при свете какого-то яркого огня, горевшего

40 с стеной, он увидал насаженные вдоль тротуара акации с зелеными подпорками и жалкие, запыленные листья этих акаций. Шаги свои и Николаева, тяжело дышавшего, шедшего за ним, он слышал явственно. Он ничего не думал: хорошенькая сестра милосердия, нога Марцова с движущимися в чулке пальцами, мрак, бомбы и различ-

ные образы смерти смутно носились в его воображении. Вся его молодая, впечатлительная душа сжалась и ныла под влиянием сознания одиночества и всеобщего равнодушия к его участи в то время, как он был в опасности. «Убьют, буду мучиться, страдать, и никто не заплачет». И все это вместо исполненной энергии и сочувствия жизни героя, о которой он мечтал так славно. Бомбы лопались и свистели ближе и ближе, Николаев вздыхал чаще и не нарушал молчания. Проходя через мост, ведущий на Корабельную, он увидел, как что-то, свистя, влетело недалеко от него в бухту, на секунду багрово осветило лиловые волны, исчезло и потом с брызгами поднялось оттуда.

— Вишь, не задохлась! — сказал Николаев.

— Да, — отвечал он, невольно и неожиданно для себя, каким-то тоненьким, пискливым голоском.

Встречались носилки с ранеными, опять полковые повозки с турами; какой-то полк встретился на Корабельной; верховые проезжали мимо. Один из них был офицер с казаком. Он ехал рысью, но, увидав Володу, приостановил лошадь около него, взгляделся ему в лицо, отвернулся и поехал прочь, ударив плетью по лошади. «Один, один! всем все равно, есть ли я, или нет меня на свете», — подумал мальчик, и ему без шуток захотелось плакать.

Поднявшись на гору мимо какой-то высокой белой стены, он вошел в улицу разбитых маленьких домиков, беспрестанно освещаемых бомбами. Пьяная, растерзанная женщина, выходя из калитки с матросом, наткнулась на него.

— Потому, коли бы он был блаородный чуаек, — пробормотала она, — пардон, ваш-благородие офицер!

Сердце все больше и больше ныло у бедного мальчика; а на черном горизонте чаще и чаще вспыхивала молния, и бомбы чаще и чаще свистели и лопались около него. Николаев вздохнул и вдруг начал говорить каким-то, как показалось Володе, испуганно-сдержанным голосом:

— Вот всё торопились из губернии ехать. Ехать да ехать. Есть куда торопиться! Которые умные господа, так, чуть мало-мальски ранены, живут себе в ошпиталях; так-то хорошо, что лучше не надо.

— Да что ж, коли брат уж здоров теперь, — отвечал Володя, надеясь хоть разговором разогнать чувство, овладевшее им.

— Здоров! Какое его здоровье, когда он вовсе болен! Которые и настоящие здоровые-то, и те, которые умные есть, живут в ошпитале в этакое время. Что тут-то радости много, что ли? Либо ногу, либо руку оторвет — вот те и всё! Долго ли до греха! Уж на что здесь, в городе, не то, что на баксионе, и то страсть какая. Идешь — молитвы все перечитаешь. Ишь, бестия, так мимо тебя и дзакнет! — прибавил он, обращая внимание на звук близко прожужжавшего осколка. — Вот теперича, — продолжал Николаев, — велел ваше благородие проводить. Наше дело известно, что прика-

зано, то должен сполнять; а ведь повозку так на какого-то солдатишку бросили, и узел развязан... Иди да иди; а что из имения пропадет, Николаев отвечай.

Пройдя еще несколько шагов, они вышли на площадь. Николаев молчал и вздыхал.

— Вон артиллерия ваша стоит, ваше благородие! — сказал он вдруг. — У часового спросите: он вам покажет.

И Володя, пройдя несколько шагов, перестал слышать за собой звуки вздохов Николаева.

10 Он вдруг почувствовал себя совершенно, окончательно одним. Это сознание одиночества в опасности — перед смертью, как ему казалось, — ужасно тяжелым холодным камнем легло ему на сердце. Он остановился посреди площади, оглянулся, не видит ли его кто-нибудь, схватился за голову и с ужасом проговорил и подумал: «Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус? Неужели за отечество, за царя, за которого с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! я несчастное, жалкое создание!» — И Володя, с истинным чувством отчаяния и разочарования в самом себе, спросил у часового дом батарейного
20 командира и пошел по указанному направлению.

14

Жилище батарейного командира, которое указал ему часовой, был небольшой двухэтажный домик со входом с двора. В одном из окон, залепленном бумагой, светился слабый огонек свечи. Денщик сидел на крыльце и курил трубку. Он пошел доложить батарейному командиру и ввел Володю в комнату. В комнате между двух окон, под разбитым зеркалом, стоял стол, заваленный казенными бумагами, несколько стульев и железная кровать с чистой постелью и маленьким ковриком около нее.

30 Около самой двери стоял красивый мужчина с большими усами — фельдфебель, — в теске и шинели, на которой висели крест и венгерская медаль. Посередине комнаты взад и вперед ходил невысокий, лет сорока штаб-офицер, с подвязанной распухшей щекой, в тонкой старенькой шинели.

— Честь имею явиться, прикомандированный в пятую легкую, прапорщик Козельцов-второй, — проговорил Володя заученную фразу, входя в комнату.

Батарейный командир сухо ответил на поклон и, не подавая руки, пригласил его садиться.

40 Володя робко опустился на стул подле письменного стола и стал перебирать в пальцах ножницы, попавшиеся ему в руки. Батарейный командир, заложив руки за спину и опустив голову, только изредка поглядывая на руки, вертевшие ножницы, молча продолжал ходить по комнате с видом человека, припоминающего что-то.

Батарейный командир был довольно толстый человек, с большой плешью на маковке, густыми усами, пущенными прямо и закрывавшими рот, и приятными карими глазами. Руки у него были красивые, чистые и пухлые, ножки очень вывернутые, ступавшие с уверенностью и некоторым щегольством, показывавшим, что батарейный командир был человек не застенчивый.

— Да,— сказал он, останавливаясь против фельдфебеля,— ящичным надо будет с завтрашнего дня еще по гарницу прибавить, а то они у нас худы. Как ты думаешь?

— Что ж, прибавить можно, ваше высокоблагородие! Теперь все ¹⁰ подешевле овес стал,— отвечал фельдфебель, шевеля пальцы на руках, которые он держал по швам, но которые очевидно любили жестом помогать разговору.— А еще фуражир наш Франшук вчера мне из обоза записку прислал, ваше высокоблагородие, что осей непременно нам нужно будет там купить,— говорят, дешевы,— так как изволите приказать?

— Что ж, купить: ведь у него деньги есть.— И батарейный командир снова стал ходить по комнате.— А где ваши вещи? — спросил он вдруг у Володи, останавливаясь против него.

Бедного Володю так одолевала мысль, что он трус, что в каждом ²⁰ взгляде, в каждом слове он находил презрение к себе, как к жалкому трусу. Ему показалось, что батарейный командир уже проник его тайну и подтрунивает над ним. Он, смутившись, отвечал, что вещи на Графской и что завтра брат обещал их доставить ему.

Но подполковник не дослушал его и, обратясь к фельдфебелю, спросил:

— Где бы нам поместить прапорщика?

— Прапорщика-с? — сказал фельдфебель, еще больше смущая Володю беглым брошенным на него взглядом, выразившим как будто вопрос: «Ну что это за прапорщик, и стоит ли его помещать ³⁰ куда-нибудь?» — Да вот-с внизу, ваше высокоблагородие, у штабс-капитана могут поместиться их благородие,— продолжал он, подумав немного,— теперь штабс-капитан на баксионе, так ихняя койка пустая остается.

— Так вот, не угодно ли-с покаместь? — сказал батарейный командир.— Вы, я думаю, устали, а завтра лучше устроим.

Володя встал и поклонился.

— Не угодно ли чаю? — сказал батарейный командир, когда Володя уже подходил к двери.— Можно самовар поставить.

Володя поклонился и вышел. Полковничий денщик провел его ⁴⁰ вниз и ввел в голую, грязную комнату, в которой валялся разный хлам и стояла железная кровать без белья и одеяла. На кровати, накрывшись толстой шинелью, спал какой-то человек в розовой рубашке.

Володя принял его за солдата.

— Петр Николаич! — сказал денщик, толкая за плечо спяще-

го.— Тут прапорщик лягут... Это наш юнкер,— прибавил он, обращаясь к прапорщику.

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал Володя; но юнкер, высокий, плотный, молодой мужчина, с красивой, но весьма глупой физиономией, встал с кровати, накинул шинель и, видимо, не проснувшись еще хорошенько, вышел из комнаты.

— Ничего, я на дворе лягу,— пробормотал он.

15

Оставшись наедине с своими мыслями, первым чувством Володи было отвращение к тому беспорядочному, безотрадному состоянию, в котором находилась душа его. Ему захотелось заснуть и забыть все окружающее, а главное, самого себя. Он потушил свечку, лег на постель и, сняв с себя шинель, закрылся ею с головою, чтобы избавиться от страха темноты, которому он еще с детства был подвержен. Но вдруг ему пришла мысль, что прилетит бомба, пробьет крышу и убьет его. Он стал вслушиваться; над самой его головой слышались шаги батарейного командира.

«Впрочем, если и прилетит,— подумал он,— то прежде убьет наверху, а потом меня; по крайней мере, не меня одного». Эта мысль успокоила его немного; он стал было засыпать. «Ну что, если вдруг ночью возьмут Севастополь и французы ворвутся сюда? Чем я буду защищаться?» Он опять встал и походил по комнате. Страх действительной опасности подавил таинственный страх мрака. Кроме седла и самовара, в комнате ничего твердого не было. «Я подлец, я трус, мерзкий трус!» — вдруг подумал он и снова перешел к тяжелому чувству презрения, отвращения даже, к самому себе. Он снова лег и старался не думать. Тогда впечатления дня невольно возникли в воображении при непрерывно дрожащих стеклах в единственном окне звуках бомбардирования и снова напомнили об опасности: то ему грезились раненные и кровь, то бомбы и осколки, которые влетают в комнату, то хорошенькая сестра милосердия, делающая ему, умирающему, перевязку и плачущая над ним, то мать его, провожающая его в уездном городе и горячо, со слезами молящаяся перед чудотворной иконой,— и снова сон кажется ему невозможен. Но вдруг мысль о Боге всемогущем, который все может сделать и услышит всякую молитву, ясно пришла ему в голову. Он стал на колени, перекрестился и сложил руки так, как его в детстве еще учили молиться. Этот жест вдруг перенес его к давно забытому отрадному чувству.

«Если нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это, Господи,— подумал он,— поскорее сделай это; но если нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет,— дай мне их, избави от стыда и позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить Твою волю».

Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, про- светлела и увидала новые, обширные, светлые горизонты. Много еще передумал и перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это чувство, но заснул скоро покойно и беспечно, под звуки продолжавшегося гула бомбардирования и дрожания стекол.

Господи Великий! только Ты один слышал и знаешь те простые, но жаркие и отчаянные мольбы неведения, смутного раскаяния и страдания, которые восходили к Тебе из этого страшного места смерти, от генерала, за секунду перед этим думавшего о завтраке и 10 Георгии на шею, но со страхом чующего близость Твою, до измученного солдата, повалившегося на голом полу Николаевской батареи и просящего Тебя скорее дать ему Там бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные страдания!..

16

Старший Козельцов, встретив на улице солдата своего полка, с ним вместе направился прямо к пятому бастиону.

— Под стенкой держитесь, ваше благородие! — сказал солдат.

— А что?

— Опасно, ваше благородие; вон она аж через несеть, — сказал 20 солдат, прислушиваясь к звуку просвистевшего ядра, ударившегося о сухую дорогу по той стороне улицы.

Козельцов, не слушая солдата, бодро пошел по середине улицы.

Все те же были улицы, те же, даже более частые, огни, звуки, стоны, встречи с ранеными и те же батареи, бруствера и траншеи, какие были весной, когда он был в Севастополе; но все это почему-то было теперь грустнее и вместе энергичнее — пробоин в домах больше, огней в окнах уже совсем нет, исключая Кущина дома (госпиталя), женщины ни одной не встречается — на всем лежит не 30 прежний характер привычки и беспечности, а какая-то печать тяжелого ожидания, усталости и напряженности.

Но вот уже последняя траншея, вот и голос солдатика П. полка, узнавшего своего прежнего ротного командира, вот и третий батальон стоит в темноте, прижавшись у стенки, изредка на мгновение освещаемый выстрелами и слышный сдержанным говором и побрякиванием ружей.

— Где командир полка? — спросил Козельцов.

— В блиндаже у флотских, ваше благородие! — отвечал услужливый солдатик.— Пожалуйте, я вас провожу.

Из траншеи в траншею солдат привел Козельцова к канавке в 40 траншее. В канавке сидел матрос, покуривая трубочку; за ним виднелась дверь, в щели которой просвечивал огонь.

— Можно войти?

— Сейчас доложу,— и матрос вошел в дверь.

Два голоса говорили за дверью.

— Если Пруссия будет продолжать держать нейтралитет,— говорил один голос,— то Австрия тоже...

— Да что Австрия,— говорил другой,— когда славянские земли... Ну, проси.

Козельцов никогда не был в этом блиндаже. Он поразил его своей щеголеватостью. Пол был паркетный, ширмочки закрывали дверь. Две кровати стояли по стенам, в углу висела большая, в золотой ризе, икона Божией Матери, а перед ней горела розовая лампадка. На одной из кроватей спал моряк, совершенно одетый, на другой, перед столом, на котором стояли две бутылки начатого вина, сидели разговаривавшие — новый полковой командир и адъютант. Хотя Козельцов далеко был не трус и решительно ни в чем не был виноват ни перед правительством, ни перед полковым командиром, он робел и поджилки у него затряслись при виде полковника, бывшего недавнего своего товарища: так гордо встал этот полковник и выслушал его. Притом и адъютант, сидевший тут же, смущал своей позой и взглядом, говорившими: «Я только приятель вашего полкового командира, вы не ко мне являетесь, и я от вас никакой почтительности не могу и не хочу требовать».

«Странно,— думал Козельцов, глядя на своего командира,— только семь недель, как он принял полк, а как уж во всем его окружающем, в его одежде, осанке, взгляде, видна власть полкового командира, эта власть, основанная не столько на летах, на старшинстве службы, на военном достоинстве, сколько на богатстве полкового командира. Давно ли,— думал он,— этот самый Батрищев кучивал с нами, носил по неделям ситцевую немаркую рубашку и едал, никого не приглашая к себе, вечные битки и вареники; а теперь! голландская рубашка уж торчит из-под драпового с широкими рукавами сюртука. Десятирублевая сигара в руке, на столе шестирублевый лафит — все это закупленное по невероятным ценам через квартирмейстера в Симферополе; и в глазах это выражение холодной гордости аристократа богатства, которое говорит вам: хотя я тебе и товарищ, потому что я полковой командир новой школы, но не забывай, что у тебя шестьдесят рублей в треть жалованья, а у меня десятки тысяч проходят через руки, и поверь, что я знаю, как ты готов бы полжизни отдать за то только, чтобы быть на моем месте.

— Вы долгонько лечились,— сказал полковник Козельцову, холодно глядя на него.

— Болен был, полковник! Еще и теперь рана хорошенько не закрылась.

— Так вы напрасно приехали,— с недоверчивым взглядом на плотную фигуру офицера сказал полковник.— Вы можете, однако, исполнять службу?

— Как же-с, я могу-с.

— Ну, и очень рад-с. Так вы примете от прапорщика Зайцева девятую роту — вашу прежнюю; сейчас же вы получите приказ.

— Слушаю-с.

— Потрудитесь, когда вы пойдете, послать ко мне полкового адъютанта, — заключил полковой командир, легким поклоном давая чувствовать, что аудиенция кончена.

Выйдя из блиндажа, Козельцов несколько раз промычал что-то и подернул плечами, как будто ему было отчего-то больно, неловко или досадно, и досадно не на полкового командира (не за что), а сам собою и всем окружающим он был как будто недоволен. 10

Дисциплина и условие ее — субординация — только приятна, как всякие обзаконенные отношения, когда она основана, кроме взаимного сознания в необходимости ее, на признанном со стороны низшего превосходстве в опытности, военном достоинстве или даже просто моральном совершенстве; но зато — как скоро дисциплина основана, как у нас часто случается, на случайности или денежном принципе — она всегда переходит с одной стороны в важничество, с другой — в скрытую зависть и досаду и вместо полезного влияния соединения масс в одно целое производит совершенно противоположное действие. Человек, не чувствующий в себе силы 20 внутренним достоинством внушить уважение, инстинктивно боится сближения с подчиненными и старается внешними выражениями важности отдалить от себя критику. Подчиненные, видя одну эту внешнюю, оскорбительную для себя сторону, уже за ней, большей частью несправедливо, не предполагают ничего хорошего.

17

Козельцов, прежде чем идти к своим офицерам, пошел поздороваться с ротой и посмотреть, где она стоит. Бруствера из туров, фигуры траншей, пушки, мимо которых он проходил, даже осколки, бомбы, на которые он спотыкался по дороге, — все это, беспрестанно освещаемое огнями выстрелов, было ему хорошо знакомо; все это живо врезалось у него в памяти три месяца тому назад, в продолжение двух недель, которые он безвыходно провел на этом самом бастионе. Хотя много было ужасного в этом воспоминании, но какая-то прелесть прошедшего примешивалась к нему, и он с удовольствием, как будто приятны были проведенные здесь две недели, узнавал знакомые места и предметы. Рота была расположена по оборонительной стенке к шестому бастиону. 30

Козельцов вошел в длинный, совершенно открытый со стороны входа блиндаж, в котором, ему сказали, стоит девятая рота. Буквально ноги некуда было поставить во всем блиндаже: так он от самого входа наполнен был солдатами. В одной стороне его свети-лась сальная кривая свечка, которую, лежа, держал солдатик. Другой солдатик по складам читал какую-то книгу, держа ее около

самой свечки. В смрадном полусвете блиндажа видны были поднятые головы, жадно слушающие чтеца. Книжка была азбука. Входя в блиндаж, Козельцов услышал следующее:

— Мо-ли-тва после уче-ния. Бла-годарю те-бя Соз-да-те-лю...

— Снимите со свечки-то! — сказал голос.— Книжка славная.

— «Бог... мой...» — продолжал чтец.

Когда Козельцов спросил фельдфебеля, чтец замолк, солдаты зашевелились, закашляли, засморкались, как всегда после сдержанного молчания. Фельдфебель, застегиваясь, поднялся около группы
10 чтеца и, шагая через и по ногам тех, которым некуда было убраться, вышел к офицеру.

— Здравствуй, брат! Что, это вся наша рота?

— Здравия желаем! с приездом, ваше благородие! — отвечал фельдфебель, весело и дружелюбно глядя на Козельцова.— Как здоровьем поправились, ваше благородие? Ну и слава Богу. А то мы без вас соскучились.

Видно было сейчас, что Козельцова любили в роте. В глубине блиндажа послышались голоса: «Старый ротный приехал, что раненый был, Козельцов, Михаил Семеныч», и т.п.; некоторые даже
20 подошли к нему, барабанщик поздоровался.

— Здравствуй, Обанчук! — сказал Козельцов.— Цел? — Здорово, ребята! — сказал он потом, возвышая голос.

— Здравия желаем! — загудело в блиндаже.

— Как поживаете, ребята?

— Плохо, ваше благородие: одолевает француз — так дурно бьет из-за шанцев, да и шабаш! а в поле не выходит.

— Авось на мое счастье, Бог даст, и выйдут в поле, ребята! — сказал Козельцов.— Уж мне с вами не в первый раз: опять поколотим.

30 — Ради стараться, ваше благородие! — сказала несколько голосов.

— Что же, они точно смелые, их благородие ужасно какие смелые! — сказал барабанщик не громко, но так, что слышно было, обращаясь к другому солдату, как будто оправдываясь перед ним в словах ротного командира и убеждая его, что в этих словах ничего не было хвастливого и неправдоподобного.

От солдатиков Козельцов перешел в оборонительную казарму, к товарищам-офицерам.

40 В большой комнате казармы было пропасть народа: морские, артиллерийские и пехотные офицеры. Одни спали, другие разговаривали, сидя на каком-то ящике и лафете крепостной пушки; третьи, составляя самую большую и шумную группу, за сводом сидели на полу, на двух разостланных бурках, пили портер и играли в карты.

— А! Козельцов, Козельцов! хорошо, что приехал, молодец!.. Что рана? — слышалось с разных сторон. И здесь видно было, что его любят и рады его приезду.

Пожав руки знакомым, Козельцов присоединился к шумной группе офицеров, игравших в карты, между которыми было больше всего его товарищей. Красивый худощавый брюнет, с длинным, сухим носом и большими усами, продолжавшимися от щек, метал банк белыми сухими пальцами, на одном из которых был большой золотой перстень с гербом. Он метал скоро и неаккуратно, видимо чем-то взволнованный и только желая казаться небрежным. Подле него, по правую руку, лежал, облокотившись, седой майор, уже значительно выпивший, и с аффектацией хладнокровия понтировал по полтиннику и тотчас же расплачивался. По левую руку на корточках сидел красный, с потным лицом, офицерик, принужденно улыбаясь и шутил, когда били его карты; он шевелил беспрестанно одной рукой в пустом кармане шаровар и играл большой маркой, но очевидно уже не на чистые, что именно и коробило красивого брюнета. По комнате, держа в руках большую кипу ассигнаций, ходил плешивый, с огромным злым ртом, худой и бледный безусый офицер и все ставил ва-банк наличные деньги и выигрывал. 10

Козельцов выпил водки и подсел к играющим. 20

— Понтирните-ка, Михаил Семеныч! — сказал ему банкомет, — денег пропасть, я чай, привезли.

— Откуда у меня деньгам быть? Напротив, последние в городе спустил.

— Как же! вздули уж, верно, кого-нибудь в Симферополе.

— Право, мало, — сказал Козельцов, но, видимо не желая, чтоб ему верили, расстегнулся и взял в руки старые карты.

— Попытаться нешто, чем черт не шутит! и комар, бывает, что, знаете, какие штуки делает. Выпить только надо для храбрости. 30

И в непродолжительном времени, выпив три рюмки водки и несколько стаканов портеру, он был уже совершенно в духе всего общества, то есть в тумане и забвении действительности, и проигрывал последние три рубля.

На маленьком вспотевшем офицере было написано полтора рубли.

— Нет, не везет, — сказал он, небрежно приготавливая новую карту.

— Потрудитесь прислать, — сказал ему банкомет, на минуту останавливаясь метать и взглядывая на него. 40

— Позвольте завтра прислать, — отвечал потный офицер, вставая и усиленно перебирая рукой в пустом кармане.

— Гм! — промычал банкомет и, злостно бросая направо и налево, дометал талию. — Однако этак нельзя, — сказал он, положив карты, — я бастую. Этак нельзя, Захар Иваныч, — прибавил он, — мы играли на чистые, а не на мелок.

— Что ж, разве вы во мне сомневаетесь? Странно, право!

— С кого прикажете получить? — пробормотал майор, сильно опьяневший к этому времени и выигравший что-то рублей во семь. — Я прислал уже больше двадцати рублей, а выиграл — ничего не получаю.

— Откуда же и я заплачу, — сказал банкومت, — когда на столе денег нет?

— Я знать не хочу! — закричал майор, поднимаясь. — Я играю с вами, с честными людьми, а не с ними.

10 Потный офицер вдруг разгорячился:

— Я говорю, что заплачу завтра: как же вы смеете мне говорить дерзости?

— Я говорю, что хочу! Так честные люди не делают — вот что! — кричал майор.

— Полноте, Федор Федорыч! — заговорили все, удерживая майора.

Но майор, казалось, только и ждал того, чтобы его просили успокоиться, для того чтобы расสวิрепеть окончательно. Он вдруг вскочил и, шатаясь, направился к потному офицеру.

20 — Я дерзости говорю? Кто постарше вас, двадцать лет своему царю служит... — дерзости! Ах ты, мальчишка! — вдруг запищал он, все более и более воодушевляясь звуками своего голоса. — Подлец!

Но опустим скорее завесу над этой глубоко грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно; но одна отрада жизни, в тех ужасающих самое холодное воображение условиях отсутствия всего человеческого и безнадежности выхода из них, одна отрада есть забвение, уничтожение сознания. На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него 30 героя; но искра эта устает гореть ярко — придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела.

19

На другой день бомбардирование продолжалось с тою же силою. Часов в одиннадцать утра Володя Козельцов сидел в кружке батарейных офицеров и, уже успев немного привыкнуть к ним, всматривался в новые лица, наблюдал, расспрашивал и рассказывал. Скромная, несколько притязательная на ученость беседа артиллерийских офицеров внушала ему уважение и нравилась. Стыдливая же, невинная и красивая наружность Володи располагала к 40 нему офицеров. Старший офицер в батарее, капитан, невысокий рыжеватый мужчина с хохолком и гладенькими височками, воспитанный по старым преданиям артиллерии, дамский кавалер и будто бы ученый, расспрашивал Володю о знаниях его в артиллерии, новых изобретениях, ласково подтрунивая над его молодостью и

хорошеньким личиком и вообще обращаясь с ним, как отец с сыном, что очень приятно было Володе. Подпоручик Дяденко, молодой офицер, говоривший хохлацким выговором, в оборванной шинели и с взъерошенными волосами, хотя и говорил весьма громко и беспрестанно ловил случаи о чем-нибудь желчно поспорить и имел резкие движения, все-таки нравился Володе, который под этой грубой внешностью не мог не видеть в нем очень хорошего и чрезвычайно доброго человека. Дяденко предлагал беспрестанно Володе свои услуги и доказывал ему, что все орудия в Севастополе поставлены не по правилам. Поручик Черновицкий, с высоко подня- 10 тыми бровями, хотя и был учтивее всех и одет в сюртук, довольно чистый, хотя и не новый, но тщательно заплатаанный, и выказывал золотую цепочку на атласном жилете, не нравился Володе. Он все расспрашивал, что делают государь и военный министр, и рассказывал ему с ненатуральным восторгом подвиги храбрости, свершенные в Севастополе, жалел о том, как мало встречалось патриотизма, какие делаются неблагоприятные распоряжения и т. д. Вообще, он выказывал много знания, ума и благородных чувств; но почему-то все это казалось Володе неприятным и неестественным. Главное, он замечал, что прочие офицеры почти не говорили с Чер- 20 новицким. Юнкер Вланг, которого он разбудил вчера, тоже был тут. Он ничего не говорил, но, скромно сидя в уголку, смеялся, когда было что-нибудь смешное, вспоминал, когда забывали что-нибудь, подавал водку и делал папироски для всех офицеров. Скромные ли, учтивые манеры Володи, который обращался с ним так же, как и с офицером, и не помыкал им, как мальчишкой, или приятная наружность пленили *Влангу*, как называли его солдаты, склоняя почему-то в женском роде его фамилию, только он не спускал своих добрых, больших глаз с лица нового офицера, предуга- 30 дывал и предупреждал все его желания и все время находился в каком-то любовном экстазе, который, разумеется, заметили и подняли на смех офицеры.

Перед обедом сменился штабс-капитан с бастиона и присоединился к их обществу. Штабс-капитан Краут был белокурый, красивый, бойкий офицер, с большими рыжими усами и бакенбардами; он говорил по-русски отлично, но слишком правильно и красиво для русского. В службе и в жизни он был так же, как в языке: он служил прекрасно, был отличный товарищ, самый верный человек по денежным отношениям; но просто как человек, именно оттого, что все было слишком хорошо, чего-то недоставало. Как все русские 40 немцы, по странной противоположности с идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей степени.

— Вот он, наш герой является! — сказал капитан в то время, как Краут, размахивая руками и побрякивая шпорами, входил в комнату. — Чего хотите, Фридрих Крестьяныч, — чаю или водки?

— Я уж приказал себе чайку поставить, — отвечал он, — а водоч-

ки покамест хватить можно, для услаждения души. Очень приятно познакомиться; прошу нас любить и жаловать,— сказал он Володе, который, встав, поклонился ему,— штабс-капитан Краут... Мне на бастионе фейерверкер сказывал, что вы прибыли еще вчера.

— Очень вам благодарен за вашу постель: я ночевал на ней.

— Покойно ли вам только было? там одна ножка сломана; да все некому починить — в осадном-то положении,— ее подкладывать надо.

— Ну что, счастливо отдежурили? — спросил Дяденко.

10 — Да ничего, только Скворцову досталось, да лафет один вчера *починили*. Вдребезги разбили станину.

Он встал с места и начал ходить; видно было, что он весь находился под влиянием приятного чувства человека, только что вышедшего из опасности.

— Что, Дмитрий Гаврилыч,— сказал он, потрясая капитана за коленки,— как поживаете, батюшка? Что ваше представленье, молчит еще?

— Ничего еще нет.

20 — Да и не будет ничего,— заговорил Дяденко,— я вам доказывал это прежде.

— Отчего же не будет?

— Оттого, что не так написали реляцию.

— Ах вы, спорщик, спорщик! — сказал Краут, весело улыбаясь,— настоящий хохол неуступчивый! Ну, вот вам назло же, выйдет вам поручика.

— Нет, не выйдет.

— Вланг, принесите-ка мне мою трубочку да набейте,— сказал он, обратясь к юнкеру, который тотчас же охотно побежал за трубкой.

30 Краут всех оживил: рассказывал про бомбардирование, расспрашивал, что без него делалось, заговаривал со всеми.

20

— Ну, как? вы уж устроились у нас? — спросил Краут у Володи.— Извините, как ваше имя и отчество? У нас, вы знаете, уж такой обычай в артиллерии. Лошадку верховую приобрели?

— Нет,— сказал Володя,— я не знаю, как быть. Я капитану говорил: у меня лошади нет, да и денег тоже нет, покада я не получу фуражных и подъемных. Я хочу просить покамест лошади у батареинного командира, да боюсь, как бы он не отказал мне.

40 — Аполлон Сергеич-то? — он произвел губами звук, выражающий сильное сомнение, и посмотрел на капитана.— Вряд!

— Что ж, откажет, не беда,— сказал капитан,— тут-то лошади, по правде, и не нужно, а все попытать можно, я спрошу нынче.

— Как вы его не знаете,— вмешался Дяденко,— другое что откажет, а им ни за что... хотите пари?..

— Ну, да ведь уж известно, вы всегда противоречите.

— Оттого противоречу, что я знаю: он на другое скуп, а лошадь даст, потому что ему нет расчета отказать.

— Как нет расчета, когда ему здесь по восьми рублей овес обходится! — сказал Краут.— Расчет-то есть не держать лишней лошади.

— Вы просите себе Скворца, Владимир Семеныч,— сказал Вланг, вернувшийся с трубкой Краута,— отличная лошадка! 10

— С которой вы в Сороках в канаву упали? А? Вланга? — засмеялся штабс-капитан.

— Нет, да что же вы говорите, по восьми рублей овес,— продолжал спорить Дяденко,— когда у него справка по десяти с полтиной; разумеется, не расчет.

— А еще бы у него ничего не оставалось! Небось вы будете батарейным командиром, так в город не дадите лошади съездить!

— Когда я буду батарейным командиром, у меня будут, батюшка, лошади по четыре гарничка кушать; доходов не буду собирать, не бойтесь. 20

— Поживем, посмотрим,— сказал штабс-капитан.— И вы будете брать доход, и они, как будут батареей командовать, тоже будут остатки в карман класть,— прибавил он, указывая на Володю.

— Отчего же вы думаете, Фридрих Крестьяныч, что и они захотят пользоваться? — вмешался Черновицкий.— Может, у них состояние есть, так зачем же они станут пользоваться?

— Нет-с, уж я... извините меня, капитан,— сказал Володя, покраснев до ушей,— уж я это считаю неблагоприятно.

— Эге-ге! Какой он бедовый! — сказал Краут.— Дослужитесь до капитана, не то будете говорить. 30

— Да это все равно; я только думаю, что если не мои деньги, то я не могу их брать.

— А я вам вот что скажу, молодой человек,— начал более серьезным тоном штабс-капитан.— Вы знаете ли, что когда вы командуете батареей, то у вас, ежели хорошо ведете дела, непременно остается в мирное время пятьсот рублей, в военное — тысяч семь, восемь, и от одних лошадей. В солдатское продовольствие батарейный командир не вмешивается: уж это так искони ведется в артиллерии. Если вы дурной хозяин, у вас ничего не останется. Теперь — вы должны издерживать, против положения, на ковку — раз (он загнул один палец), на аптеку — два (он загнул другой палец), на канцелярию — три, на подручных лошадей по пятисот целковых платят, батюшка, а ремонтная цена пятьдесят, и требуют,— это четыре. Вы должны, против положения, воротники переменить солдатам, на уголь у вас лишнее выходит, стол вы держите для офицеров. Если батарейный командир, вы должны жить прилично: вам и ко-

ляску нужно, и шубу, и всякую штуку, и другое, и третье, и десятое... да что и говорить!..

— А главное,— подхватил капитан, молчавший все время,— вот что, Владимир Семеныч: вы представьте себе, что человек, как я, например, служит двадцать лет сперва на двух, а потом на трехстах рублях жалованья в нужде постоянной; как не дать ему, хоть за его службу, кусок хлеба под старость, когда комиссионеры в недели десятки тысяч наживают?

— Э! да что тут! — снова заговорил штабс-капитан.— Вы не топоритесь судить, а поживите-ка да послужите.

Володе ужасно стало совестно и стыдно за то, что он так необдуманно сказал, и он пробормотал что-то и молча продолжал слушать, как Дяденко с величайшим азартом принялся спорить и доказывать противное.

Спор был прерван приходом денщика полковника, который звал кушать.

— А вы нынче скажите Аполлону Сергеичу, чтобы он вина поставил,— сказал Черновицкий, застегиваясь, капитану.— И что он купится? Убьют, так никому не достанется!

— Да вы сами скажите,— отвечал капитан.

— Нет уж, вы старший офицер: надо порядок во всем.

21

Стол был отодвинут от стены и грязной скатертью накрыт в той самой комнате, в которой вчера Володя являлся полковнику. Батарейный командир нынче подал ему руку и расспрашивал про Петербург и про дорогу.

— Ну-с, господа, кто водку пьет, милости просим. Прапорщики не пьют,— прибавил он, улыбаясь Володе.

Вообще батарейный командир казался нынче вовсе не таким суровым, как вчера; напротив, он имел вид доброго, гостеприимного хозяина и старшего товарища между офицерами. Но, несмотря на то, все офицеры, от старого капитана до спорщика Дяденки, по одному тому, как они говорили, учтиво глядя в глаза командиру, и как робко подходили друг за другом пить водку, показывали к нему большое уважение.

Обед состоял из большой миски щей, в которых плавали жирные куски говядины и огромное количество перцу и лаврового листа, польских зразов с горчицей и колдунов с не совсем свежим маслом. Салфеток не было, ложки были жестяные и деревянные, стаканов было два, и на столе стоял только серый графин воды с отбитым горлышком; но обед был не скучен, разговор не умолкал. Сначала речь шла об Инкерманском сражении, в котором участвовала батарея и из которого каждый рассказывал свои впечатления и соображения о причинах неудачи и умолкал, когда начинал гово-

рять сам батарейный командир; потом разговор естественно перешел к недостаточности калибра легких орудий, к новым, облегченным пушкам, при чем Володя успел показать свои знания в артиллерии. Но на настоящем ужасном положении Севастополя разговор не останавливался, как будто каждый слишком много думал об этом предмете, чтобы еще говорить о нем. Тоже об обязанностях службы, которые должен был нести Володя, к его удивлению и огорчению, совсем не было речи, как будто он приехал в Севастополь только затем, чтобы рассказывать об облегченных орудиях и обедать у батарейного командира. Во время обеда недалеко от дома, в котором они сидели, упала бомба. Пол и стены задрожали, как от землетрясения, и окна застлало пороховым дымом.

— Вы этого, я думаю, в Петербурге не видали, а здесь часто бывают такие сюрпризы, — сказал батарейный командир. — Посмотрите, Вланг, где это лопнула.

Вланг посмотрел и донес, что на площади, и о бомбе больше речи не было.

Перед самым концом обеда старичок батарейный писарь вошел в комнату с тремя запечатанными конвертами и подал их батарейному командиру. «Вот этот *весьма нужный*, сейчас казак привез от начальника артиллерии». Все офицеры с нетерпеливым ожиданием смотрели на опытные в этом деле пальцы батарейного командира, сламывавшие печать конверта и достававшие *весьма нужную* бумагу. «Что это могло быть?» — делал себе вопрос каждый. Могло быть совсем выступление на отдых из Севастополя, могло быть назначение всей батареи на бастионы.

— Опять! — сказал батарейный командир, сердито швырнув на стол бумагу.

— Об чем, Аполлон Сергеич? — спросил старший офицер.

— Требуют офицера с прислугой на какую-то там мортирную батарею. У меня и так всего четыре человека офицеров и прислуги полной в строй не выходит, — ворчал батарейный командир, — а тут требуют еще. Однако надо кому-нибудь идти, господа, — сказал он, помолчав немного, — приказано в семь часов быть на рогатке... Послать фельдфебеля! Кому же идти, господа? решайте, — повторил он.

— Да вот они еще нигде не были, — сказал Черновицкий, указывая на Володю.

Батарейный командир ничего не ответил.

— Да, я желал бы, — сказал Володя, чувствуя, как холодный пот выступал у него по спине и шее.

— Нет, зачем! — перебил капитан. — Разумеется, никто не откажется, но и напрашиваться не след; а коли Аполлон Сергеич представляет это нам, то кинуть жребий, как и тот раз делали.

Все согласились. Краут нарезал бумажек, скатал их и насыпал в фуражку. Капитан шутил и даже решился при этом случае просить

вина у полковника, для храбрости, как он сказал. Дяденко сидел мрачный, Володя улыбался чему-то. Черновицкий уверял, что непременно ему достанется, Краут был совершенно спокоен.

Володе первому дали выбирать. Он взял одну бумажку, которая была подлиннее, но тут же ему пришло в голову переменить, — взял другую, поменьше и потолще, и, развернув, прочел на ней: «Идти».

— Мне, — сказал он, вздохнув.

— Ну, и с Богом. Вот вы и обстреляетесь сразу, — сказал батальонный командир, с доброй улыбкой глядя на смущенное лицо прапорщика, — только поскорей собирайтесь. А чтобы вам веселее было, Вланг пойдет с вами за орудийного фейерверкера.

22

Вланг был чрезвычайно доволен своим назначением, живо побежал собираться и, одетый, пришел помогать Володе и все уговаривал его взять с собой и койку, и шубу, и старые «Отечественные записки», и кофейник спиртовой, и другие ненужные вещи. Капитан посоветовал Володе прочесть сначала по «Руководству»¹ о стрельбе из мортир и выписать тотчас же оттуда таблицы. Володя тотчас же принялся за дело и, к удивлению и радости своей, заметил, что хотя чувства страха опасности и, еще более того, что он будет трусом, беспокоили еще его немного, но далеко не в той степени, в какой это было накануне. Отчасти причиной тому было влияние дня и деятельности, отчасти, и главное, то, что страх, как и каждое сильное чувство, не может в одной степени продолжаться долго. Одним словом, он уже успел перебоиться. Часов в семь, только что солнце начинало прятаться за Николаевской казармой, фельдфебель вошел к нему и объявил, что люди готовы и ждут.

— Я Вланге список отдал. Вы у него извольте спросить, ваше благоволение! — сказал он.

Человек двадцать артиллерийских солдат в тесаках без принадлежности стояли за углом дома. Володя вместе с юнкером подошел к ним. «Сказать ли им маленькую речь или просто сказать: “Здорово, ребята!”, или ничего не сказать? — подумал он. — Да и отчего же не сказать: “Здорово, ребята!” — это должно даже». И он смело крикнул своим звучным голосом: «Здорово, ребята!» Солдаты весело отозвались: молодой, свежий голос приятно прозвучал в ушах каждого.

Володя бодро шел впереди солдат, и, хотя сердце у него стучало так, как будто он пробежал во весь дух несколько верст, походка была легкая и лицо веселое. Подходя уже к самому Малахову кур-

¹ «Руководство для артиллерийских офицеров», изданное Безаком. (Прим. Л. Н. Толстого.)

гану, поднимаясь на гору, он заметил, что Вланг, ни на шаг не остававший от него и дома казавшийся таким храбрым, беспрестанно сторонился и нагибал голову, как будто все бомбы и ядра, уже очень часто свистевшие тут, летели прямо на него. Некоторые из солдатиков делали то же, и вообще на большей части их лиц выразалось если не боязнь, то беспокойство. Эти обстоятельства окончательно успокоили и ободрили Володю.

«Так вот я и на Малаховом кургане, который я воображал совершенно напрасно таким страшным! И я могу идти, не кланяясь ядрам, и трушу даже гораздо меньше других! Так я не трус?» — подумал он с наслаждением и даже некоторым восторгом самодовольства. ¹⁰

Однако это чувство было скоро поколеблено зрелищем, на которое он наткнулся в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона. Четыре человека матросов, около бруствера, за ноги и за руки держали окровавленный труп какого-то человека без сапог и шинели и раскачивали, желая перекинуть через бруствер. (На второй день бомбардирования не везде успевали убирать тела на бастионах и выкидывали их в ров, чтобы они не мешали на батареях.) Володя с минуту остолбенел, увидав, как труп ударился ²⁰ на вершину бруствера и потом медленно скатился оттуда в канаву; но, на его счастье, тут же начальник бастиона встретился ему, отдал приказания и дал проводника на батарею и в блиндаж, назначенный для прислуги. Не буду рассказывать, сколько еще ужасов, опасностей, разочарований испытал наш герой в тот вечер, — как вместо такой стрельбы, которую он видел на Волковом поле, при всех условиях точности и порядка, которые он надеялся найти здесь, он нашел две разбитые мортирки, из которых одна была смята ядром в дуле, а другая стояла на щепках разбитой платформы; как он не мог до утра добиться рабочих, чтоб починить платформу; как ни один заряд не был того веса, который означен был в «Руководстве»; как ранили двух солдат его *команды* и как двадцать раз он был на волоске от смерти. По счастью, в помощь ему назначен был огромного роста комендор, моряк, с начала осады бывший при мортирах и убедивший его в возможности еще действовать из них, с фонарем водивший его ночью по всему бастиону, точно как по своему огороду, и обещавший к завтраму все устроить. Блиндаж, к которому провел его проводник, была вырытая в каменном грунте, в две кубические сажени, продолговатая яма, накрытая аршинными дубовыми бревнами. В ней-то он поместился со всеми своими ⁴⁰ солдатами. Вланг первый, как только увидел в аршин низенькую дверь блиндажа, опрометью, прежде всех, вбежал в нее и, чуть не разбившись о каменный пол, забился в угол, из которого уже не выходил больше. Володя же, когда все солдаты поместились вдоль стен на полу и некоторые закурили трубочки, разбил свою кровать в углу, зажег свечку и, закулив папироску, лег на койку. Над блин-

дажом слышались беспрестанные выстрелы, но не слишком громко, исключая одной пушки, стоявшей рядом и потрясавшей блиндаж так сильно, что с потолка земля сыпалась. В самом блиндаже было тихо; только солдаты, еще дичась нового офицера, изредка переговаривались, прося один другого посторониться или огоньку, трубочку закурить; крыса скреблась где-то между камнями, или Вланг, не пришедший еще в себя и дико смотревший кругом, вздыхал вдруг громким вздохом. Володя на своей кровати, в набитом народом уголке, освещенном одной свечкой, испытывал то чувство уюта, которое было у него, когда ребенком, играя в прятки, бывало, он залезал в шкаф или под юбку матери и, не переводя дыхания, слушал, боялся мрака и вместе наслаждался чем-то. Ему было и жутко немножко и весело.

23

Минут через десять солдатики поосмелились и поразговорились. Поближе к огню и кровати офицера расположились люди позначительнее — два фейерверкера: один — седой, старый, со всеми медалями и крестами, исключая Георгиевского; другой — молодой, из кантонистов, куривший верченые папироски. Барабанщик, как и всегда, взял на себя обязанность прислуживать офицеру. Бомбардиры и кавалеры сидели поближе, а уж там, в тени, около входа, поместились *покорные*. Между ними-то и начался разговор. Поводом к нему был шум быстро ввалившегося в блиндаж человека.

— Что, брат, на улице не посидел? али не весело девки играют? — сказал один голос.

— Такие песни играют чудные, что в деревне никогда не слыхивали, — сказал, смеясь, тот, который вбежал в блиндаж.

— А не любит Васин бомбов, ах, не любит! — сказал один из аристократического угла.

30 — Что ж! когда нужно, совсем другая статья! — сказал медленный голос Васина, который когда говорил, то все другие замолкали. — Двадцать четвертого числа так палили по крайности; а то что ж дурно-то на говне убьет, и начальство за это нашему брату спасибо не говорит.

При этих словах Васина все засмеялись.

— Вот Мельников — тот небось все на дворе сидит, — сказал кто-то.

— А пошлите его сюда, Мельникова-то, — прибавил старый фейерверкер, — и в самом деле, убьют так, понапрасну.

40 — Что это за Мельников? — спросил Володя.

— А такой у нас, ваше благородие, глупый солдатик есть. Он ничего как есть не боится и теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть: он и из себя-то на *ведмедя* похож.

— Он заговор знает,— сказал медлительный голос Васина из другого угла.

Мельников вошел в блиндаж. Это был толстый (что чрезвычайная редкость между солдатами), рыжий, красный мужчина, с огромным выпуклым лбом и выпуклыми ясно-голубыми глазами.

— Что, ты не боишься бомб? — спросил его Володя.

— Чего бояться бомбов-то! — отвечал Мельников, пожимаясь и почесываясь,— меня из бомбы не убьют, я знаю.

— Так ты бы захотел тут жить?

— А известно, захотел бы. Тут весело! — сказал он, вдруг расхо-¹⁰ хотавшись.

— О, так тебя надо на вылазку взять! Хочешь, я скажу генералу? — сказал Володя, хотя он не знал здесь ни одного генерала.

— А как не хотеть! Хочу!

И Мельников спрятался за других.

— Давайте в носки, ребята! У кого карты есть? — слышался его торопливый голос.

Действительно, скоро в заднем углу завязалась игра — слышались удары по носу, смех и козырянье. Володя напился чаю из самовара, который наставил ему барабанщик, угощал фейерверкеров,²⁰ шутил, заговаривал с ними, желая заслужить популярность и очень довольный тем уважением, которое ему оказывали. Солдатики тоже, заметив, что барин *прóстый*, поразговорились. Один рассказывал, как скоро должно кончиться осадное положение Севастополя, потому что ему верный флотский человек рассказывал, как Кистентин, царев брат, с мериканским флотом идет к нам на выручку, и еще — как скоро уговор будет, чтобы не палить две недели и отдых дать, а коли кто выпалит, то за каждый выстрел семьдесят пять копеек штрафа платить будут.

Васин, который, как успел рассмотреть Володя, был маленький,³⁰ с большими добрыми глазами, бакенбардист, рассказал при общем сначала молчании, а потом хохоте, как, приехав в отпуск, сначала ему были рады, а потом отец стал его посылать на работу, а за женой лесничий поручик дрожжи присылал. Все это чрезвычайно забавляло Володю. Он не только не чувствовал ни малейшего страха или неудовольствия от тесноты и тяжелого запаха в блиндаже, но ему чрезвычайно весело и приятно было.

Уже многие солдаты храпели. Вланг тоже растянулся на полу, и старый фейерверкер, разостлав шинель, крестясь, бормотал молитвы перед сном, когда Володе захотелось выйти из блиндажа — по-⁴⁰смотреть, что на дворе делается.

— Подбирай ноги! — закричали друг другу солдаты, только что он встал, и ноги, поджимаясь, дали ему дорогу.

Вланг, казавшийся спящим, вдруг поднял голову и схватил за полу шинели Володю.

— Ну полноте, не ходите, как можно! — заговорил он слезливо-

убедительным тоном, — вы еще не знаете: там беспрестанно падают ядра; лучше здесь...

Но, несмотря на просьбы Вланга, Володя выбрался из блиндажа и сел на пороге, на котором уже сидел, переобуываясь, Мельников.

Воздух был чистый и свежий — особенно после блиндажа; ночь была ясная и тихая. За гулом выстрелов слышались звук колес телег, призывавших туры, и говор людей, работающих на пороховом погребе. Над головами стояло высокое звездное небо, по которому беспрестанно пробегали огненные полосы бомб; налево в 10 аршин маленькое отверстие вело в другой блиндаж, из которого виднелись ноги и спины матросов, живших там, и слышались пьяные голоса их; впереди виднелось возвышение порохового погребка, мимо которого мелькали фигуры согнувшихся людей и на котором, на самом верху, под пулями и бомбами, которые беспрестанно свистели в этом месте, стояла какая-то высокая фигура в черном пальто, с руками в карманах, и ногами притаптывала землю, которую мешками носили туда другие люди. Часто бомба пролетала и рвалась весьма близко от погребка. Солдаты, носившие землю, пригибались, сторонились; черная же фигура не двигалась, спокойно утаптывая 20 землю ногами, и все в том же положении оставалась на месте.

— Кто этот черный? — спросил Володя у Мельникова.

— Не могу знать; пойду посмотрю.

— Не ходи, не нужно.

Но Мельников, не слушая, встал, подошел к черному человеку и весьма долго, так же равнодушно и недвижно, стоял около него.

— Это погребной, ваше благородие, — сказал он, возвратясь, — погребок пробило бомбой, так пехотные землю носят.

Изредка бомбы летели прямо, казалось, к двери блиндажа. Тогда Володя прижимался за угол и снова высовывался, глядя на- 30 верх, не летит ли еще сюда. Хотя Вланг несколько раз из блиндажа умолял Володю вернуться, он часа три просидел на пороге, находя какое-то удовольствие в испытывании судьбы и наблюдении за полетом бомб. Под конец вечера уж он знал, откуда сколько стреляет орудий и куда ложатся их снаряды.

24

На другой день, 27-го числа, после десятичасового сна, Володя, свежий, бодрый, рано утром вышел на порог блиндажа. Вланг тоже было вылез вместе с ним, но при первом звуке пули стремглав, пробивая себе головой дорогу, кубарем бросился назад в отверстие 40 блиндажа, при общем хохоте тоже большою частью повышедших на воздух солдатиков. Только Васин, старик фейерверкер и несколько других выходили редко в траншею; остальных нельзя было удержать: все они повысыпали на свежий утренний воздух из смрадного блиндажа и, несмотря на столь же сильное, как и накануне,

бомбардирование, расположились кто около порога, кто под бруствером. Мельников уже с самой зорьки прогуливался по батареям, равнодушно поглядывая вверх.

Около порога сидели два старых и один молодой курчавый солдат, из жидов по наружности. Солдат этот, подняв одну из валявшихся пуль и черепком расплюснув ее о камень, ножом вырезал из нее крест на манер Георгиевского; другие, разговаривая, смотрели на его работу. Крест действительно выходил очень красив.

— А что, как еще постоим здесь сколько-нибудь,— говорил один из них,— так по замиреньи всем в отставку срок выйдет. 10

— Как же! мне и то всего четыре года до отставки оставалось, а теперь пять месяцев простоял в Сивастополе.

— К отставке не считается, слышь,— сказал другой.

В это время ядро просвистело над головами говоривших и в аршине ударило от Мельникова, подходившего к ним по траншее.

— Чуть не убило Мельникова,— сказал один.

— Не убьет,— отвечал Мельников.

— Вот на же тебе крест за храбрость,— сказал молодой солдат, делавший крест, и отдавая его Мельникову.

— Нет, брат, тут, значит, месяц за год ко всему считается — на то приказ был,— продолжался разговор. 20

— Как ни суди, бисприменно по замиреньи исделают смотр царский в *Аршаве*, и коли не отставка, так в бессрочные выпускают.

В это время визгливая, зацепившаяся пулька пролетела над самими головами разговаривающих и ударилась о камень.

— Смотри, еще до вечера в чистую выйдешь,— сказал один из солдат.

Все засмеялись.

И не только до вечера, но через два часа уже двое из них получили чистую, а пять были ранены; но остальные шутили точно так же.

Действительно, к утру две мортирки были приведены в такое положение, что можно было стрелять из них. Часу в десятом, по полученному приказанию от начальника бастиона, Володя вызвал свою команду и с ней вместе пошел на батарею.

В людях незаметно было и капли того чувства боязни, которое выражалось вчера, как скоро они принялись за дело. Только Вланг не мог преодолеть себя: прятался и гнулся все так же, и Васин потерял несколько свое спокойствие, суетился и приседал беспрестанно. Володя же был в чрезвычайном восторге: ему не приходила и мысль об опасности. Радость, что он исполняет хорошо свою обязанность, что он не только не трус, но даже храбр, чувство командования и присутствие двадцати человек, которые, он знал, с любопытством смотрели на него, сделали из него совершенного молодца. Он даже тщеславился своей храбростью, франтил перед солдатами, вылезал на банкет и нарочно расстегнул шинель, чтобы его заметнее было. 40

Начальник бастиона, обходивший в это время *свое хозяйство*, по его выражению, как ни привык в восемь месяцев ко всем родам храбрости, не мог не полюбоваться на этого хорошенького мальчика, в расстегнутой шинели, из-под которой видна была красная рубашка, обхватывающая белую нежную шею, с разгоревшимся лицом и глазами, похлопывающего руками и звонким голоском командующего: «Первое, второе!» — и весело взбегающего на бруствер, чтобы посмотреть, куда падает его бомба. В половине двенадцатого стрельба с обеих сторон затихла, а ровно в двенадцать часов ¹⁰ начался штурм Малахова кургана, второго, третьего и пятого бастионов.

25

По сую сторону бухты, между Инкерманом и Северным укреплением, на холме телеграфа, около полудня стояли два моряка: один — офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, вместе с казаком только что подъехавший к большой веже.

Солнце светло и высоко стояло над бухтой, игравшей с своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и ²⁰ колыхал волны. Севастополь, все тот же, с своей недостроенной церковью, колоннадой, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с своими маленькими лазуревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов; все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на солнце морем, виднелся на той стороне бухты. Над горизонтом ³⁰ моря, по которому дымилась полоса черного дыма какого-то парохода, ползли длинные белые облака, обещая ветер. По всей линии укреплений, особенно по горам левой стороны, по несколько вдруг, беспрестанно, с молнией, блесневшей иногда даже в полуденном свете, рождались клубки густого, сжатого белого дыма, разрастались, принимая различные формы, поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти, мелькая то там, то здесь, рождались по горам на батареях неприятельских, и в городе, и высоко на небе. Звуки взрывов не умолкали и, переливаясь, потрясали воздух...

К двенадцати часам дымки стали показываться реже и реже, ⁴⁰ дух меньше колебался от гула.

— Однако второй бастион уж совсем не отвечает, — сказал гусарский офицер, сидевший верхом, — весь разбит! Ужасно!

— Да и Малахов нешто на три их выстрела посылает один, — от-

вечал тот, который смотрел в трубу,— это меня бесит, что они молчат. Вот опять прямо в Корниловскую попала, а она ничего не отвечает.

— А посмотри, к двенадцати часам, я говорил, они всегда перестают бомбардировать. Вот и нынче так же. Поедем лучше завтракать... нас ждут уж теперь... нечего смотреть.

— Постой, не мешай! — отвечал смотревший в трубу, с особенной жадностью глядя на Севастополь.

— Что там? что?

— Движение в траншеях, густые колонны идут.

10

— Да и так видно,— сказал моряк,— идут колоннами. Надо дать сигнал.

— Смотри, смотри! вышли из траншеи.

Действительно, простым глазом видно было, как будто темные пятна двигались с горы через балку от французских батарей к бастионам. Впереди этих пятен видны были темные полосы уже около нашей линии. На бастионах вспыхнули, в разных местах, как бы перебегая, белые дымки выстрелов. Ветер донес звуки ружейной, частой, как дождь бьет по окнам, перестрелки. Черные полосы двигались в самом дыму, ближе и ближе. Звуки стрельбы, усиливаясь и усиливаясь, слились в продолжительный перекатывающийся грохот. Дым, поднимаясь чаще и чаще, расходился быстро по линии и слился наконец весь в одно лиловатое, свивающееся и развивающееся облако, в котором кое-где едва мелькали огни и черные точки — все звуки соединились в один перекатывающийся треск.

— Штурм! — сказал офицер, с бледным лицом, отдавая трубку моряку.

Казак проскакали по дороге, офицеры верхами, главнокомандующий в коляске и со свитой проехал мимо. На каждом лице 30 видны были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного.

— Не может быть, чтоб взяли! — сказал офицер на лошади.

— Ей-богу, знамя! посмотри, посмотри! — сказал другой, задыхаясь, отходя от трубы,— французское на Малаховом!

— Не может быть!

26

Козельцов-старший, успевший отыгаться в ночь и снова спустить все, даже и зашитые в обшлаге золотые, перед утром спал еще, нездоровым, тяжелым, но крепким сном, в оборонительной казарме пятого бастиона, когда, повторяемый различными голосами, раздался роковой крик:

— Тревога!..

— Что вы спите, Михайло Семеныч! Штурм! — крикнул ему чей-то голос.

— Верно, школьник какой-нибудь,— сказал он, открывая глаза и не веря еще.

Но вдруг он увидел офицера, бегающего без всякой видимой цели из угла в угол, с таким бледным, испуганным лицом, что он все понял. Мысль, что его могут принять за труса, не хотевшего выйти к роте в критическую минуту, поразила его ужасно. Он во весь дух побежал к роте. Стрельба орудийная кончилась; но трескотня ружей была во всем разгаре. Пули свистели не по одной, как штуцерные, а роями, как стадо осенних птичек пролетает над головами. Все то место, на котором стоял вчера его батальон, было застлано дымом, были слышны недружные крики и возгласы. Солдаты, раненые и не раненые, толпами попадались ему навстречу. Пробежав еще шагов тридцать, он увидел свою роту, прижавшуюся к стенке, и лицо одного из своих солдат, но бледное, испуганное лицо. Другие лица были такие же. Чувство страха невольно сообщилось и Козельцову: мороз пробежал у него по коже.

— Заняли Шварца,— сказал молодой офицер, у которого зубы щелкали друг о друга.— Все пропало!

— Вздор,— сказал Козельцов сердито, выхватил свою маленькую железную тупую сабельку и закричал:

— Вперед, ребята! Ура-а!

Голос был звучный и громкий; он возбудил самого Козельцова. Он побежал вперед вдоль траверса; человек пятьдесят солдат с криками побежали за ним. Он выбежал из-за траверса на открытую площадку, пули посыпались буквально как град. Две ударились в него, но куда и что они сделали, контузили, ранили его, он не имел времени решить. Впереди, в дыму, видны были ему уже синие мундиры, красные панталоны и слышны нерусские крики; один француз стоял на бруствере, махал шапкой и кричал что-то. Козельцов был уверен, что его убьют; это-то и придавало ему храбрости. Он бежал вперед и вперед. Несколько солдат обогнали его; другие солдаты показались откуда-то сбоку и бежали тоже. Синие мундиры оставались в том же расстоянии, убегая от него назад к своим траншеям, но под ногами попадались раненые и убитые. Добежав уже до внешнего рва, все смешались в глазах Козельцова, и он почувствовал боль в груди и, сев на банкет, с огромным наслаждением увидел в амбразуру, как толпы синих мундиров в беспорядке бежали к своим траншеям и как по всему полю лежали убитые и ползали раненые в красных штанах и синих мундирах.

Через полчаса он лежал на носилках, около Николаевской казармы, и знал, что он ранен, но боли почти не чувствовал; ему только хотелось выпить чего-нибудь холодного и лечь попокойнее.

Маленький, толстый, с большими черными бакенбардами доктор подошел к нему и расстегнул шинель. Козельцов через подбо-

родок смотрел на то, что делает доктор с его раной, и на лицо доктора, но боли никакой не чувствовал. Доктор закрыл рану рубашкой, отер пальцы о полы пальто и молча, не глядя на раненого, отошел к другому. Козельцов бессознательно следил глазами за тем, что делалось перед ним, и, вспомнив то, что было на пятом бастионе, с чрезвычайно отрадным чувством самодовольства подумал, что он хорошо исполнил свой долг, что в первый раз за всю службу он поступил так хорошо, как только можно было, и ни в чем не может упрекнуть себя. Доктор, перевязывая другого раненого офицера, сказал что-то, указывая на Козельцова, священнику с большой рыжей бородой, с крестом стоявшему тут.

— Что, я умру? — спросил Козельцов у священника, когда он подошел к нему.

Священник, не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому.

Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.

— Что, выбиты французы везде? — спросил он у священника.

— Везде победа за нами осталась, — отвечал священник, говоривший на о, скрывая от раненого, чтобы не огорчить его, то, что на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя. 20

— Слава Богу, — проговорил раненый, не чувствуя, как слезы текли по его щекам.

Мысль о брате мелькнула на мгновение в его голове. «Дай Бог ему такого же счастья», — подумал он.

27

Но не такая участь ожидала Володю. Он слушал сказку, которую рассказывал ему Васин, когда закричали: «Французы идут!» Кровь прилила мгновенно к сердцу Володи, и он почувствовал, как похолодели и побледнели его щеки. С секунду он оставался недвиж- 30
но застегивали шинели и вылезали один за другим; один даже — кажется, Мельников — шутливо сказал:

— Выходи с хлебом-солью, ребята!

Володя вместе с *Влангой*, который ни на шаг не отставал от него, вылез из блиндажа и побежал на батарею. Артиллерийской стрельбы ни с той, ни с другой стороны совершенно не было. Не столько вид спокойствия солдат, сколько жалкой, нескрываемой трусости юнкера возбудил его. «Неужели я могу быть похож на него?» — подумал он и весело подбежал к брустверу, около которого стояли его мортиры. Ему ясно было видно, как французы бежали прямо на 40
него по чистому месту и как толпы их с блестящими на солнце штыками шевелились в ближайших траншеях. Один, маленький, широкоплечий, в зуавском мундире и с шпагой в руке, бежал впереди и перепрыгивал через ямы. «Стрелять картечью!» — крикнул Володя,

сбегая с банкета; но уже солдаты распорядились без него, и металлический звук выпущенной картечи просвистал над его головой, сначала из одной, потом из другой мортиры. «Первая! вторая!» — командовал Володя, перебегая в дыму от одной мортиры к другой и совершенно забыв об опасности. Сбоку слышалась близкая трескотня ружей нашего прикрытия и суетливые крики.

Вдруг поразительный крик отчаяния, повторенный несколькими голосами, послышался слева: «Обходят! Обходят!» Володя оглянулся на крик. Человек двадцать французов показались сзади. Один из них, с черной бородой, в красной феске, красивый мужчина, был впереди всех, но, добежав шагов на десять до батареи, остановился и выстрелил и потом снова побежал вперед. С секунду Володя стоял как окаменелый и не верил глазам своим. Когда он опомнился и оглянулся, впереди его на бруствере были синие мундиры; даже два француза, в десяти шагах от него, заклепывали пушку. Кругом него, кроме Мельникова, убитого пулею рядом с ним, и Вланга, схватившего в руки хандшпуг и с яростным выражением лица и опущенными зрачками бросившегося вперед, никого не было. «За мной, Владимир Семеныч! За мной! Пропали!» — кричал отчаянный голос Вланга, хандшпугом махавшего на французов, зашедших сзади. Яростная фигура юнкера озадачила их. Одного, переднего, он ударил по голове, другие невольно приостановились, и Вланг, продолжая оглядываться и отчаянно кричать: «За мной, Владимир Семеныч! Что вы стоите! Бегите!» — подбежал к траншее, в которой лежала наша пехота, стреляя по французам. Вскочив в траншею, он снова высунулся из нее, чтобы посмотреть, что делает его обожаемый прапорщик. Что-то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя, и все это пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших.

30

28

Вланг нашел свою батарею на второй оборонительной линии. Из числа двадцати солдат, бывших на мортирной батарее, спаслось только восемь.

В девятом часу вечера Вланг с батареей, на пароходе, наполненном солдатами и пушками, лошадьми и ранеными, переправлялся на Северную. Выстрелов нигде не было. Звезды, так же как и прошлую ночь, ярко блестели на небе; но сильный ветер колыхал море. На первом и втором бастионах вспыхивали по земле молнии, взрывы потрясали воздух и освещали вокруг себя какие-то черные, странные предметы и камни, взлетавшие на воздух. Что-то горело около доков, и красное пламя отражалось в воде. Мост, наполненный народом, освещался огнем с Николаевской батареи. Большое пламя стояло, казалось, над водой на далеком мыску Александровской батарее и освещало низ облака дыма, стоявшего над ним, и те

Влангъ нашелъ свою батарею на 2-й оборонительной линіи. Изъ числа двадцати солдатъ, бывшихъ на мортирной батарее, спаслось только восемь.

Въ девятомъ часу вечера Влангъ съ батареей, на пароходѣ, наполненномъ солдатами и пушками, лошадьми, ранеными, переправлялся на Сѣверную. Выстрѣловъ нигдѣ не было. Звѣзды такъ же, какъ и прошлую ночь, ярко блестѣли на небѣ; но сильный вѣтеръ колыхалъ море. На 1-мъ и 2-мъ бастионахъ вспыхивали по землѣ мѣтныя взрывы потрясали воздухъ и освѣщали вокругъ себя какіе-то черныя, странные предметы и камни, взлетавшіе на воздухъ. Что-то горѣло около доковъ, и красное пламя отражалось въ водѣ. Мостъ, наполненный народомъ, освѣщался огнемъ въ Николаевской батарее. Большое пламя стояло, казалось, надъ водой на далекомъ мыску Александровской батареи и освѣщало низъ облака дыма, стоявшаго надъ ними, и тѣ же, какъ и вчера, спокойные, далекие огни блестѣли въ морѣ на Неприятельскомъ флотѣ. Свѣжій вѣтеръ колыхалъ бухту и мѣтныя парусиныхъ корабли — много которыхъ проходили на пароходѣ. Говора не слышно было на набережнѣ; только изъ-за равномер-

наго звука разрывавшихъ волнъ и пара ~~Томаша~~ ~~смеркала~~ ~~ча~~ ~~взвизда~~ ~~и~~ ~~топала~~ ~~ногами~~ слышны были командныя слова капитана и стоны раненыхъ. Влангъ, на вѣщій день, до- сталъ кусокъ хлѣба изъ кармана и началъ ѣсть, но вдругъ, вспомнивъ о Володѣ, заплакалъ такъ громко, что солдаты бывшіе подлѣ него усмыхали.

— Вишь, самъ хлѣбъ ѣсть, а самъ плачешь Влангъ-то нашъ сказалъ Васнѣ.

Чудно!, сказалъ другой.

— Вишь, и наши казармы позажгли, продолжалъ онъ, вздыхая и сколько тамъ нашего брата пропало а ни за что французу досталось.

— Покрайности сами живые вышли; и то слава тв, Господи, сказалъ Васнѣ.

— А все обидно!

— Да что обидно-то? Развѣ онъ тутъ разгуляется? Какже, гляди наши опять отберутъ. Ужъ сколько-бъ нашего брата ни пропало, а какъ Богъ святъ, велитъ Императоръ не отберутъ. Развѣ нашъ такъ оставлять ему! Какже на вотъ тебѣ голыя стѣны; а шанцы то всѣ позорвали... Небожь свой значокъ на курганѣ поставилъ, а въ городъ не суется.

Погоди, еще расчетъ будетъ съ тобой настоящій — дай срокъ, заключилъ онъ обращаясь къ французамъ.

— Известно, будетъ! сказалъ другой съ убѣжденіемъ.

же, как и вчера, спокойные, дерзкие, далекие огни блестели в море на неприятельском флоте. Свежий ветер колыхал бухту. При свете зарева пожаров видны были мачты наших утопающих кораблей, которые медленно глубже и глубже уходили в воду. Говора не слышно было на палубе; только из-за равномерного звука разрезаемых волн и пара слышно было, как лошади фыркали и топали ногами на шаланде, слышны были командные слова капитана и стоны раненых. Вланг, не евший целый день, достал кусок хлеба из кармана и начал жевать, но вдруг, вспомнив о Володе, заплакал так громко, что солдаты, бывшие подле него, услышали.

— Вишь, сам хлеб ест, а сам плачет, *Вланга*-то наш,— сказал Васин.

— Чудно! — сказал другой.

— Вишь, и наши казармы позажгли,— продолжал он, вздыхая,— и сколько там нашего брата пропало, а ни за что французу досталось!

— По крайности, сами живые вышли, и то слава ти, Господи,— сказал Васин.

— А все обидно!

20 — Да что обидно-то? Разве он тут разгуляется? Как же! Гляди, наши опять отберут. Уж сколько б нашего брата ни пропало, а, как Бог свят, велит амператор — и отберут. Разве наши так оставят ему? Как же! На вот тебе голые стены; а шанцы-то все повзорвали... Небось свой значок на кургане поставил, а в город не суется. Погоди, еще расчет будет с тобой настоящий — дай срок,— заключил он, обращаясь к французам.

— Известно, будет! — сказал другой с убеждением.

По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев кипевших необыкновенной энергической жизнью, столько месяцев видевших сменяемых смертью, одних за другими умирающих героев и столько месяцев возбуждавших страх, ненависть и, наконец, восхищение врагов,— на севастопольских бастионах уже нигде никого не было. Все было мертво, дико, ужасно — но не тихо: все еще разрушалось. По изрытой свежими взрывами, обсыпавшейся земле везде валялись исковерканные лафеты, придавившие человеческие русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей, и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. Все это 40 часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух.

Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мертвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться; но они не смели верить еще под влиянием сильного,

спокойного отпора дня, чтоб исчез их непоколебимый враг, и молча, не шевелясь, с трепетом ожидали конца мрачной ночи.

Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, разливаясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев,— от места, всего облитого его кровью; от места, одиннадцать месяцев отстаиваемого от вдвое сильнеешего врага и которое теперь велено было оставить без боя.

Непонятно тяжело было для каждого русского первое впечатление этого приказания. Второе чувство было страх преследования. Люди чувствовали себя беззащитными, как только оставили те места, на которых привыкли драться, и тревожно толпились во мраке у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаниями, плакали и умоляли жители и денщики с клажею, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненного солдата, лежащего между пятьюстами такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего Бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, шестнадцать лет служившего при своем орудии и, по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью товарищей с крутого берега в бухту, и у флотских, только что выбивших закладки в кораблях и, бойко гребя, на баркасах отплывающих от них. Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.

*27 декабря.
Петербург.*

МЕТЕЛЬ

1

В седьмом часу вечера я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже не помню, но помню, где-то в Земле Войска Донского, около Новочеркаска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алешкой уселся в сани. За стационарным домом казалось тепло и тихо. Хотя снегу не было сверху, над головой не виднелось ни одной звездочки и небо казалось чрезвычайно низким и черным сравнительно с чистой снежной равниной, расстилавшейся впереди нас.

Едва миновав темные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее и засыпаннее, ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить вбок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокольчик стал замирать, струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришел в голову совет смотрителя не ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой.

— Не заблудиться бы нам? — сказал я ямщику. Но, не получив ответа, яснее предложил вопрос: — Чтó, доедем до станции, ямщик? не заблудимся?

— А Бог знает, — отвечал он мне, не поворачивая головы, — вишь, какая поземная расходится: ничего дороги не видать. Господи-батюшка!

— Да ты скажи лучше, надеешься ты довести до станции или нет? — продолжал я спрашивать. — Доедем ли?

— Должны доехать, — сказал ямщик и еще продолжал говорить что-то, чего уже я не мог расслышать за ветром.

Ворочаться мне не хотелось; но и проплутать всю ночь в мороз и метель в совершенно голой степи, какова эта часть Земли Войска Донского, казалось очень невесело. Притом же, несмотря на то, что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, ямщик мой поче-

му-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине, с ногами, а не сбоку, роста был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то не ямская — большая, раскачивающаяся в разные стороны; да и понукал он лошадей не так, как следует, а держа вожжи в обеих руках, точно как лакей, который сел на козлы за кучера, и, главное, не доверял я ему почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом, не нравилась и как будто не обещала ничего хорошего эта серьезная сгорбленная спина, торчавшая передо мною.

— А по-моему, лучше бы воротиться,— сказал мне Алешка,— 10 плутать-то что веселого!

— Господи-батюшка! вишь, несет какая кура! ничего дороги не видать, все глаза залепило... Господи-батюшка! — ворчал ямщик.

Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей, передал вожжи Алешке, неловко выпростал ноги из сиденья и, хрустя большими сапогами по снегу, пошел искать дорогу.

— Что? куда ты? сбилась, что ли? — спрашивал я; но ямщик не отвечал мне, а, отвернув лицо в сторону от ветра, который сек ему глаза, отошел от саней.

— Ну что? есть? — повторил я, когда он вернулся. 20

— Нету ничего,— сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбилась с дороги, и, медлительно опять просунув свои большие ноги в передок, стал разбирать вожжи замерзлыми рукавицами.

— Что ж будем делать? — спросил я, когда мы снова тронулись.

— Что ж делать! поедем куда Бог даст.

И мы поехали тою же мелкой рысью, уже очевидно целиком, где по сыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голому насту.

Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро; заметь низовая все усиливалась, и сверху начинал падать 30 редкий сухой снег.

Ясно было, что мы едем Бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба.

— Что, как ты думаешь,— спросил я опять ямщика,— доедем мы до станции?

— До которой? Назад приедем, коли дать волю лошадям: они привезут; а на ту вряд... только себя погубить можно.

— Ну, так пускай назад,— сказал я,— и в самом деле...

— Стало, ворочаться? — повторил ямщик.

— Да, да, ворочайся! 40

Ямщик пустил вожжи. Лошади побежали шибче, и, хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменялся, и скоро сквозь снег завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать.

— Анадьсь так-то в заметь обратные с той станции поехали,— сказал он,— да в стогах и ночевали, к утру только приехали. Спаси-

бо еще к стогам прибились, а то все бы чисто позамерзли — холод был. И то один ноги позаморозил — так три недели от них умирал.

— А теперь ведь не холодно и потише стало,— сказал я,— можно бы ехать?

— Оно тёпло-то, тепло, да метет. Теперь взад, так оно полегче кажется, а метет дюже. Ехать бы можно, кабы кульер али что, по своей воле; а то ведь шутка ли — седока заморозишь. Как потом за вашу милость отвечать?

II

¹⁰ В это время сзади нас слышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас.

— Колокол кульерский,— сказал мой ямщик,— один такой на всей станции есть.

И действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош: чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотничье заведение: три колокольчика — один большой в середине, с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квинты, ²⁰ отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной, глухой степи.

— Пошта бежит,— сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поравнялась с нами.— А что дорога? проехать можно? — крикнул он заднему из ямщиков; но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему.

Звук колокольчиков быстро замер по ветру, как только почта миновала нас.

Должно быть, моему ямщику стало стыдно.

— А то поедемте, барин! — сказал он мне,— люди проехали — ³⁰ теперь же их следок свежий.

Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две след был виден ясно; потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями, а скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти; как и прежде, ездил и против ветра и по ветру, и вправо и ⁴⁰ влево, и наконец дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, я говорил, что влево, а Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались, ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу; но все тщетно. Я тоже пошел было раз посмотреть, не дорога ли то, что

мне мерещилось; но едва я с трудом сделал шагов шесть против ветра и убедился, что везде были одинаковые, однообразные белые слои снега и дорога мне виднелась только в воображении,— как уже я не видал саней. Я закричал: «Ямщик! Алешка!» — но голос мой, я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани,— саней не было, пошел направо — тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз: «Ямщик!» — тогда как он был в двух шагах от меня. Его черная фигура, с кнутиком и с огромной, свихнувшейся набок шапкой, вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням.

— Еще спасибо — тепло,— сказал он,— а морозом хватит — беда!.. Господи-батюшка!

— Пускай лошадей, пусть везут назад,— сказал я, усевшись в сани.— Привезут? а, ямщик?

— Должны привезть.

Он бросил вожжи, ударил раза три кнутиком по седелке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотничий колокольчик ²⁰ и еще два; но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотничьим колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел один ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по двое ямщиков, слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица.

Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и ямщик мой, должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один ³⁰ голос сказали: «Поедем за ними».

III

Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону.

— Вишь, черт косоглазый, не видит, куда воротит,— на людей! Черт! — принялся ругаться хриплым, дребезжащим голосом один невысокий ямщик; старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бранить моего ямщика. ⁴⁰

Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади и ямщик скрылись в белой мгле метели.

— Васили-ий! давай сюда буланого, так не пойма-ешь,— услышался еще его голос.

Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, взлез по шлее на одну из лошадей и, хрустя по снегу, спутанным галопцем скрылся по тому же направлению.

Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше.

10 — Как же! поймают! — сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей.— Уж коли к лошадям не пошла, значит, оголтелая лошадь, туда заведет, что и... не выйдет.

С тех пор как ямщик мой ехал сзади, он сделался как будто веселее и разговорчивее, чем я, так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как и что он, и скоро узнал, что он земляк мне, тульский, господский, из села Кирпичного, что у них земель мало стало и совсем хлеб рожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до Рождества недостает и живут заработками, что меньшей брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец; что из их села каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть не ездая ямщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь, слава Богу, по 120 рублей ассигнациями в год, из которых сто в семью посылает, и что жить бы хорошо, «да кульеры очень звери, да и народ здесь все ругатель».

— Ну, чего ругался ямщик-то этот? Господи-батюшка! разве я нарочно ему лошадей оборвал? разве я кому злодей? И чего поскакал за ними! сами бы пришли; а то только лошадей заморит, да и сам пропадет,— повторял богобоязненный мужичок.

30 — А это что чернеется? — спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас.

— А обоз. То-то любезная езда! — продолжал он, когда мы поравнялись с огромными, покрытыми рогожами возами, шедшими друг за другом на колесах.— Гляди, ни одного человека не видеть — все спят. Сама умная лошадь знает: не собьешь ее с дороги никак. Мы тоже ездая с рядою,— прибавил он,— так знаем.

Действительно, странно было смотреть на эти огромные возы, засыпанные от рогожного верху до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем возу поднялась немного на два пальца покрытая снегом рогожа и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожила одно занесенное снегом ухо, когда мы поравнялись с ней.

Проехав еще с полчаса молча, ямщик снова обратился ко мне.

— А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем?

— Не знаю,— отвечал я.

— Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем. Нет, мы не туда едем, мы тоже плутаем,— заключил он совершенно спокойно.

Видно было, что, несмотря на то, что он был очень трусоват,— на миру и смерть красна,— он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прехладнокровно делал наблюдения над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа; мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по косогору или под гору, тогда как степь была везде ровная.

Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось, далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу; но через минуту мне уже ясно стало, что это был тот же самый обоз, 20 который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже; точно так же люди все спали под рогожами; и так же передовая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настороживала уши.

— Вишь, кружили, кружили, опять к тому же обозу выехали! — сказал мой ямщик недовольным тоном.— Кульберские лошади добрые: то-то он так и гонит дуром; а наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проездим.

Он прокашлялся.

— Вернемся-ка, барин, от греха.

— Зачем? куда-нибудь да приедем.

— Куда приехать? уж будем в степи ночевать. Как метет... Господи-батюшка!

Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно уже потеряв и дорогу и направление, не отыскивал дороги, а, весело покрикивая, продолжал ехать полной рысью, я уже не хотел отставать от них.

— Пошел за ними,— сказал я.

Ямщик поехал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной.

IV

Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий; казалось, начинало подмораживать: нос и щеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо

было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего плутанья, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину: горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега; фигуры передовых троек виднелись яснее, и, когда я посмотрел вверх, мне ¹⁰ показалось в первую минуту, что тучи разошлись и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный и яркий свет. Одно, что я видел ясно,— это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди: первая — курьерская, в которой все так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью; вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка *затишку*, сидели двое и не переставая курили трубочку, что видно было по искрам, блестящим оттуда; и третья, в которой никого не видно было и, предположительно, ямщик спал в середине. Передо- ²⁰ вой ямщик, однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которым он ощупывал снег впереди себя, двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое, звучное покрикиванье и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы ³⁰ искать признаков дороги или стогов, из вторых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому:

— Слышь, Игнашка! влево совсем забрали: правее забирай, под погоду-то.— Или: — Что кружишь дуром? по снегу ступай, как снег лежит,— как раз выедешь.— Или: — Вправо-то, вправо-то пройди, братец ты мой! вишь, чернеет что-то, столб, никак.— Или: — Что путаешь-то? что путаешь? Отпряжь-ка пегого да пусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу. Дело-то лучше будет!

Сам же тот, который советовал, не только не отпрягал пристяжной или не ходил по снегу искать дороги, но носу не высывывал из-за своего армяка, и когда Игнашка-передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на кульерских ездил, то и поехал бы и вывел бы как раз на дорогу.

— А наши лошади в заметь передом не пойдут! — крикнул он,— не такие лошади!

— Так не мути! — отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей.

Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не вмешивался в это дело, хотя не спал еще, о чем я заключал по неугасаемой его трубочке и по тому, что, когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только, когда Игнашка в шестой или седьмой раз остановился, ему, видимо, досадно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему:

— Ну что стал опять? Вишь, найти дорогу хочет! Сказано, метель! Теперь землемер самый, и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем... пошел знай!

— Как же! небось поштальон, в прошлом году, до смерти замерз! — отозвался мой ямщик.

Ямщик третьей тройки не просыпался все время. Только раз, во время остановки, советчик крикнул:

— Филипп! а Филипп! — И, не получив ответа, заметил: — Уж не замерз ли? Ты бы, Игнашка, посмотрел.

Игнашка, который поспевал на все, подошел к саням и начал толкать спящего.

— Вишь, с косушки как его разобрало! Замерз, так скажи! — говорил он, раскачивая его.

Спящий промычал что-то и ругнулся.

— Жив, братцы! — сказал Игнашка и снова побежал вперед; и мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькая гнеденькая пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким галопцем.

V

Уже, я думаю, около полуночи к нам подъехали старичок и Василий, догонявшие оторвавшихся лошадей. Они поймали лошадей и нашли и догнали нас; но каким образом сделали они это в темную, слепую метель, среди голой степи, мне навсегда останется непонятным. Старичок, размахивая локтями и ногами, рысью ехал на коренной (другие две лошади были привязаны к хомуту: в метель нельзя бросать лошадей). Поравнявшись со мной, он снова принялся ругать моего ямщика:

— Вишь, черт косоглазый! право...

— Э, дядя Митрич! — крикнул сказочник из вторых саней, — жив? полезай к нам.

Но старик не отвечал ему, а продолжал браниться. Когда ему показалось достаточным, он подъехал ко вторым саням.

— Всех поймал? — сказали ему оттуда.

— А то нет!

И небольшая фигура его на рыси грудь взвалилась на спину лошади, потом соскочила на снег, не останавливаясь, пробежала за санями и ввалилась в них, с выпущенными кверху через грядку ногами. Высокий Василий, так же как и прежде, молча сел в передние сани с Игнашкой и с ним вместе стал искать дорогу.

— Вишь, ругатель... Господи-батюшка! — пробормотал мой ямщик.

Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне, в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откро-
10 ешь глаза — та же неуклюжая шапка и спина, занесенные снегом, торчат передо мной, та же невысокая дуга, под которой между натянутыми ременными поводками узды поматывается, все в одном расстоянии, голова коренной с черной гривой, мерно подбиваемой в одну сторону ветром; виднеется из-за спины та же гнedenькая пристяжная направо, с коротко подвязанным хвостом и вальком, изредка постукивающим о лубок саней. Посмотришь вниз — тот же сыпучий снег разрывают полозья, и ветер упорно поднимает и уносит все в одну сторону. Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки; справа, слева все белеет и мерещится. Напрасно
20 глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора — ничего не видно. Везде все бело, бело и подвижно: то горизонт кажется необъятно далеким, то сжатым на два шага во все стороны, то вдруг белая высокая стена вырастает справа и бежит вдоль саней, то вдруг исчезает и вырастает спереди, чтобы убежать дальше и дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх — покажется светло в первую минуту, кажется, сквозь туман видишь звездочки; но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы; небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно однообразно и по-
30 стоянно подвижно. Ветер как будто изменяется: то дует навстречу и лепит глаза снегом, то сбоку досадно закидывает воротник шубы на голову и насмешливо треплет меня им по лицу, то сзади гудит в какую-нибудь скважину. Слышно слабое неумолкаемое хрустение копыт и полозьев по снегу и замирающее, когда мы едем по глубокому снегу, звяканье колокольчиков. Только изредка, когда мы едем против ветра и по голому намерзшему черепку, ясно долетают до слуха энергическое посвистыванье Игната и залиvistый звон его колокольчика с отзывающейся дребезжащей квинтой, и звуки эти вдруг отрадно нарушают унылый характер пустыни и потом снова
40 звучат однообразно, с несносной верностью наигрывая все тот же самый мотив, который невольно я воображаю себе. Одна нога начинала у меня зябнуть, и, когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег, насыпавшийся на воротник и шапку, проскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать; но мне было вообще еще тепло в обогретой шубе, и дремота клонила меня.

Воспоминания и представления с усиленной быстротой сменялись в воображении.

«Советчик, что все кричит из вторых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами,— думаю я,— вроде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика». И вот я вижу лестницу нашего большого дома и пять человек дворовых, которые на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепьяно из флигеля; вижу Федора Филиппыча с завороченными рукавами нанкового сюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, 10 отворяет задвижки, подергивает там за ручник, поталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и озабоченным голосом кричит не переставая:

— На себя возьми передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору, заноси в дверь! Вот так.

— Уж вы позвольте, Федор Филиппыч! мы одни,— робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения, из последних сил поддерживая один угол роля.

Но Федор Филиппыч не унимается.

«И что это? — рассуждал я,— думает он, что он полезен, необходимо для общего дела, или просто рад, что Бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие, и с наслаждением расточает его? Должно быть, так». И я вижу почему-то пруд, усталых дворовых, которые, по колена в воде, тянут невод, и опять Федор Филиппыч, с лейкой, крича на всех, бегаёт по берегу и только изредка подходит к воде, чтобы, придерживав рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежей. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада, под жгучими прямыми лучами солнца, иду куда-то, я еще очень молод, мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду, на свое любимое место, между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню 30 чувство, с которым я, лежа, гляжу сквозь красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольствия и грусти. Все вокруг меня было так прекрасно, и так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось, я сам хорош, и одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтоб утешиться; но мухи, несносные мухи, не дают мне и здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня на самом припеке; желтокрылые бабочки, как раскислые, перелетают с травки на травку. Я гляжу вверх: глазам больно — солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями,— и кажется еще жарче. 40

Я закрываю лицо платком: становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробьи в самой чаше. Один из них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чиликнув, вылетел из клумбы; другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и так же, как стрела, чиликая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду. Слышны смех и говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня; вот ближе, слышу, он зашевелил траву, вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках; а вот, поднимая угол платка и щекотя потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забились около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать: пойти выкупаться. Но вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор:

— Ах, батюшки! Да что ж это! и мужчин никого нету!

— Что это, что? — спрашиваю я, выбегая на солнце, у дворовой женщины, которая, охая, бежит мимо меня. Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и стопятилетняя старуха Матрена, придерживая рукою платок, сбивающийся с головы, подпрыгивая и волоча одну ногу в шерстяном чулке, бежит к пруду. Две девочки бегут, держась друг за друга, и десятилетний мальчишка, в отцовском сюртуке, держась за посконную юбку одной из них, поспешает сзади.

— Что случилось? — спрашиваю я у них.

— Мужик утонул.

— Где?

30 — В пруде.

— Какой? наш?

— Нет, прохожий.

Кучер Иван, ёрзая большими сапогами по скошенной траве, и толстый приказчик Яков, с трудом переводя дух, бегут к пруду, и я бегу за ними.

Помню чувство, которое мне говорило: «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе», — чего мне именно и хочется.

— Где же, где? — спрашиваю я у толпы дворовых, собравшейся 40 на берегу.

— Вон там, в самой пучине, к тому берегу, у бани почти, — говорит прачка, убирая мокрое белье на коромысло. — Я гляжу, что он ныряет; а он покажется так-то, да и уйдет опять, покажется еще, да как крикнет: «Тону, батюшки!» — и опять ушел на низ, только пузырики пошли. Тут я увидала, мужик тонет. Как взвою: «Батюшки, мужик тонет!»

И прачка, взвалив на плечо коромысло, виляя боком, пошла по тропинке прочь от пруда.

— Вишь, грех какой! — говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом, — что теперь хлопот с земским судом будет — не оберешься.

Какой-то один мужик с косою пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и, повесив косу на сук ракиты, медленно разувается.

— Где же, где он утонул? — все спрашиваю я, желая броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное. 10

Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка рябит проносющийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода все так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце; и мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более что весьма плохо плаваю; а мужик уже через голову стаскивает с себя рубашку и сейчас бросится. Все смотрят на него с надеждой и замиранием; но, войдя в воду по плечи, мужик медленно возвращается и надевает рубашку: он не умеет плавать.

Народ все сбегается, толпа становится больше и больше, бабы ²⁰ держатся друг за друга; но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, подают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаянье; из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять, на траву, некоторые возвращаются. Старуха Матрена спрашивает у дочери, затворила ли она заслонку печи; мальчишка в отцовском сюртуке старательно бросает камешки в воду.

Но вот от дому, с лаем и в недоумении оглядываясь назад, бежит под гору Трезорка, собака Федора Филиппыча; но вот и самая фигура его, бегущего с горы и кричащего что-то, показывается из-за ³⁰ шиповниковой клумбы.

— Что стоите? — кричит он, на бегу снимая сюртук. — Человек потонул, а они стоят! Давай веревку!

Все с надеждой и страхом смотрят на Федора Филиппыча, пока он, придерживаясь рукой за плечо услужливого дворового, снимает носком левой ноги каблук правой.

— Вон там, где народ стоит, так вот поправее ракиты, Федор Филиппыч, вон там-то, — говорит ему кто-то.

— Знаю! — отвечает он и, нахмутив брови, должно быть, в ответ на признаки стыдливости, выражающейся в толпе женщин, ⁴⁰ снимает рубашку, крестик, передавая его мальчишке-садовнику, который подобострастно стоит перед ним, и, энергически ступая по скошенной траве, подходит к пруду.

Трезорка, в недоумении насчет причин этой быстроты движений своего господина, остановившись около толпы и чмокая съев несколько травинок около берега, вопросительно смотрит на него и,

вдруг весело взвизгнув, вместе с своим хозяином бросается в воду. Первую минуту ничего не видно, кроме пены и брызгов, которые летят даже до нас; но вот Федор Филиппыч, грациозно размахивая руками и равномерно подымая и опуская белую спину, саженями, бойко плывет к тому берегу. Трезорка же, захлебнувшись, торопливо возвращается назад, отряхивается около толпы и на спине вытирается по берегу. В одно и то же время, как Федор Филиппыч подплывает к тому берегу, два кучера прибегают к раките с свернутым на палке неводом. Федор Филиппыч для чего-то поднимает 10
руки, ныряет раз, другой, третий, всякий раз пуская изо рта струйку воды и красиво встряхивая волосами и не отвечая на вопросы, которые со всех сторон сыплются на него. Наконец он выходит на берег и, сколько мне видно, распоряжается только расправлением невода. Невод вытаскивают, но в корме ничего нет, кроме тины и нескольких мелких карасиков, бьющихся между нею. В то время как невод еще раз затаскивают, я перехожу на ту сторону.

Слышно только голос Федора Филиппыча, отдающего приказания, поплескивание по воде мокрой веревки и вздохи ужаса. Мокрая веревка, привязанная к правому крылу, больше и больше по-
крытая травой, дальше и дальше выходит из воды.

— Теперь вместе тяни, дружной, разом! — кричит голос Федора Филиппыча. Показываются комола, облитые водой.

— Есть что-то, тяжело идет, братцы,— говорит чей-то голос.

Но вот и крылья, в которых бьются два-три карасика, моча и прижимая траву, вытягиваются на берег. И вот сквозь тонкий, колеблющийся слой возмущившейся воды в натянутой сети показывается что-то белое. Негромкий, но поразительно слышный среди мертвой тишины вздох ужаса проносится в толпе.

— Тащи, дружной, на сухое, тащи! — слышится решительный
голос Федора Филиппыча, и утопленника по скошенным стеблям лопуха и репейника волоком подтаскивают к раките.

И вот я вижу мою добрую старую тетушку в шелковом платье, вижу ее лиловый зонтик с бахромой, который почему-то так несообразен с этой ужасной по своей простоте картиной смерти, лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню выразившееся на этом лице разочарование, что нельзя тут ни к чему употребить арнику, и помню большое, скорбное чувство, которое я испытал, когда она мне, с наивным эгоизмом любви, сказала: «Пойдем, мой друг. Ах, как это ужасно! А вот ты все один купаешься и плаваешь».

Помню, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под
ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как бились у берегов крупные карпии, в середине зыбили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе вился ястреб, стоя над утятами, которые, бурля и плескаясь, через тростник выплывали на середину; как грозовые белые кудрявые тучи сбились на горизонте, как грязь, вытасканный неводом у берега, понемногу расходилась и как, про-

ходя по плотине, я снова услышал удары валька, разносящиеся по пруду.

Но валеk этот звучит, как будто два валька звучат вместе в терцию, и звук этот мучит, томит меня, тем более что я знаю — этот валеk есть колокол, и Федор Филиппыч не заставит замолчать его. И валеk этот, как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая зябнет,— я засыпаю.

Меня разбудило, как мне показалось, то, что мы очень быстро скачем, и два голоса говорят подле самого меня.

— Слышь, Игнат, а Игнат! — говорит голос моего ямщика,— 10
возьми седока — тебе все одно ехать, а мне что даром гонять! возьми!

Голос Игната подле самого меня отвечает:

— А что мне радости-то за седока отвечать?.. Поставишь полштофа?

— Ну, полштофа!.. косушку — уж так и быть.

— Вишь, косушку! — кричит другой голос,— лошадей помучить за косушку!

Я открываю глаза. Все тот же несносный колеблющийся снег мерещится в глазах, те же ямщики и лошади, но подле себя я вижу 20
какие-то сани. Мой ямщик догнал Игната, и мы довольно долго едем рядом. Несмотря на то, что голос из других саней советует не брать меньше полуштофа, Игнат вдруг останавливает тройку.

— Перекладывай, уж так и быть, твое счастье. Косушку поставь, как завтра приедем. Клади много, что ли?

Мой ямщик с несвойственной ему живостью выскакивает на снег, кланяется мне и просит, чтобы я пересел к Игнату. Я совершенно согласен; но видно, что богобоязненный мужичок так доволен, что ему хочется излить на кого-нибудь свою благодарность и 30
радость: он кланяется, благодарит меня, Алешку, Игнашку.

— Ну вот и слава Богу! а то что это, Господи-батюшка! половина ночи ездим, сами не знаем куда. Он-то вас доведет, батюшка барин, а мои уж лошади вовсе стали.

И он выкладывает вещи с усиленной деятельностью.

Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням. Сани, особенно с той стороны, с 40
которой от ветра завешен был на головах двух ямщиков армяк, были на четверть занесены снегом; за армяком же было тихо и уютно. Старичок лежал так же, с выпущенными ногами, а сказочник продолжал свою сказку:

— В то самое время, как генерал от королевского, значит, имени приходит, значит, к Марии в темницу, в то самое время Мария говорит ему: «Генерал! я в тебе не нуждаюсь и не могу тебя любить, и, значит, ты мне не любовник; а любовник мой есть тот самый принц...» В то самое время...— продолжал было он, но, увидав меня, замолк на минуту и стал раздувать трубочку.

— Что, барин, сказочку пришли послушать? — сказал другой, которого я называл советчиком.

— Да у вас славно, весело! — сказал я.

— Что ж! от скуки,— по крайности не думается.

— А что, не знаете вы, где мы теперь?

Вопрос этот, как мне показалось, не понравился ямщикам.

— А кто е разберет, где? може, и к калмыкам захали вовсе,— отвечал советчик.

— Что же мы будем делать? — спросил я.

10 — А что делать? Вот едем, можь, и выедем,— сказал он недовольным тоном.

— Ну, а как не выедем да лошади станут в снегу, что тогда?

— А что! Ничего.

— Да замерзнуть можно.

— Известно можно, потому и стогов теперича не видать: значит, мы вовсе к калмыкам захали. Первое дело надо по снегу смотреть.

— А ты, никак, боишьса замерзнуть, барин? — сказал старичок дрожащим голосом.

Несмотря на то, что он как будто подтрунивал надо мной, видно
20 было, что он продрог до последней косточки.

— Да, холодно очень становится,— сказал я.

— Эх ты, барин! А ты бы, как я: нет-нет да и пробегись — оно тебя и согреет.

— Первое дело, как пробежишь за санями,— сказал советчик.

VII

— Пожалуйте: готово! — кричал мне Алешка из передних саней.

Метель была так сильна, что насилу-насилу, перегнувшись совсем вперед и ухватясь обеими руками за полы шинели, я мог по колеблющемуся снегу, который выносило ветром из-под ног, пройти
30 те несколько шагов, которые отделяли меня от моих саней. Прежний ямщик мой уже стоял на коленках в середине пустых саней, но, увидав меня, снял свою большую шапку, при чем ветер неистово подхватил его волосы кверху, и попросил на водку. Он, верно, и не ожидал, чтобы я дал ему, потому что отказ мой нисколько не огорчил его. Он поблагодарил меня и на этом, надвинул шапку и сказал мне: «Ну, дай Бог вам, барин...» — и, задергав вожжами и зачмокав, тронулся от нас. Вслед за тем и Игнашка размахнулся всей спиной и крикнул на лошадей. Опять звуки хрустенья копыт, покрякивания и колокольчика заменили звук завывания ветра, который был
40 особенно слышен, когда стояли на месте.

С четверть часа после перекладки я не спал и развлекался рассматриванием фигуры нового ямщика и лошадей. Игнашка сидел молодцом, беспрестанно подпрыгивал, замахивался рукою с висающим кнутом на лошадей, покрякивал, постукивал ногой об ногу и,

перегибаясь вперед, поправлял шлею коренной, которая все сбивалась на правую сторону. Он был невелик ростом, но хорошо сложен, как казалось. Сверх полушубка на нем был надет неподпоясанный армяк, которого воротник был почти откинут, и шея совсем голая; сапоги были не валяные, а кожаные, и шапка маленькая, которую он снимал и поправлял беспрестанно. Уши закрыты были только волосами. Во всех его движениях заметна была не только энергия, но еще более, как мне казалось, желание возбудить в себе энергию. Однако, чем дальше мы ехали, тем чаще и чаще он, оправляясь, попрыгивал на облучке, похлопывал ногой об ногу и заговаривал со мной и Алешкой: мне казалось, он боялся упасть духом. И было от чего: хотя лошади были добрые, дорога с каждым шагом становилась тяжелее и тяжелее, и заметно было, как лошади бежали неохотнее: уже надобно было постегивать, и коренная, добрая большая косматая лошадь, спотыкнулась раза два, хотя тотчас же, испугавшись, дернула вперед и подкинула косматую голову чуть не под самый колокольчик. Правая пристяжная, которую я невольно наблюдал, вместе с длинной ременной кисточкой шлеи, бившейся и подпрыгивающей с полевой стороны, заметно спускала постромки, требовала кнутика, но, по привычке доброй, даже горячей лошади, как будто досадовала на свою слабость, сердито опускала и подымала голову, попрашивая повода. Действительно, страшно было видеть, что метель и мороз все усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станцию, но к какому-нибудь приюту,— и смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринужденно и весело и Игнатка покрикивает так бойко и красиво, как будто в крещенский морозный солнечный полдень мы катаемся в праздник по деревенской улице,— и главное, странно было думать, что мы всё едем, и шибко едем, куда-то прочь от того места, на котором находились. Игнатка запел какую-то песню, хотя весьма гаденькой фистулой, но так громко и с такими остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его.

— Ге-гей! что горло-то дерешь, Игнат! — слышался голос советчика,— постой на час!

— Чаво?

— Посто-о-о-ой!

Игнат остановился. Опять все замолкло, и загудел и запищал ветер, и снег стал, крутясь, гуще валить в сани. Советчик подошел к нам.

— Ну что?

— Да что! куда ехать-то?

— А кто е знает!

— Что, ноги замерзли, что ль, что хлопаешь-то?

— Все зашлись.

— А ты бы вот сходил: во-он маячит — никак, калмыцкое кочевье. Оно бы и ноги-то посогрел.

— Ладно. Подержи лошадей... на.

И Игнат побежал по указанному направлению.

— Все надо смотреть да походить: оно и найдешь; а то так, что дуром-то ехать! — говорил мне советчик, — вишь, как лошадей упарил!

Все время, пока Игнат ходил, — а это продолжалось так долго, что я даже боялся, как бы он не заблудился, — советчик говорил мне 10 самоуверенным, спокойным тоном, как надо поступать во время метели, как лучше всего отпрячь лошадь и пустить, что она, как Бог свят, выведет, или как иногда можно и по звездам смотреть, и как, ежели бы он передом ехал, уж мы бы давно были на станции.

— Ну что, есть? — спросил он у Игната, который возвращался, с трудом шагая, почти по колени в снегу.

— Есть-то есть, кочевье, видать, — отвечал, задыхаясь, Игнат, — да незнамо какое. Это мы, брат, должно, вовсе на Пролговскую дачу заехали. Надо левой брать.

— И что мелет! это вовсе наши кочевья, которые позадь стани- 20 цы, — возразил советчик.

— Да говорю, что нет!

— Уж я глянул, так знаю: оно и будет; а не оно, так Тамышевско. Все надо правой забирать: как раз и выедем на большой мост — осьмую версту.

— Да говорят, что нет! Ведь я видал! — с досадой отвечал Игнат.

— Э, брат! а еще ямщик!

— То-то ямщик! ты сходи сам.

— Что мне ходить! я так знаю.

30 Игнат рассердился, видно: он, не отвечая, вскочил на облучок и погнался дальше.

— Вишь, как зашлись ноги: ажно не согреешь, — сказал он Алешке, продолжая похлопывать чаще и чаще и огребать и высыпать снег, который ему забился за голенищи.

Мне ужасно хотелось спать.

VIII

«Неужели это я уже замерзаю, — думал я сквозь сон, — замерзание всегда начинается сном, говорят. Уж лучше утонуть, чем замерзнуть, пускай меня вытащат в неводе; а впрочем, все равно — 40 утонуть ли, замерзнуть, только бы под спину не толкала эта палка какая-то и забыться бы».

Я забываюсь на секунду.

«Чем же, однако, все это кончится? — вдруг мысленно говорю я, на минуту открывая глаза и вглядываясь в белое пространство, —

чем же это кончится? Ежели мы не найдем стогов и лошади станут, что, кажется, скоро случится,— мы все замерзнем». Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что-нибудь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильней маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую-нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно. И в этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носились передо мной. Лошади становятся, снегу наносится больше и больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши; ¹⁰ но вдруг Игнашка является наверху с своей тройкой и едет мимо нас. Мы умоляем его, кричим, чтобы он взял нас; но ветром относит голос, голосу нет. Игнашка посмеивается, кричит по лошадям, посвистывает и скрывается от нас в каком-то глубоком, занесенном снегом овраге. Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места; мой старый ямщик, с большой шапкой, бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу. «Ты колдун! — кричит он,— ты ругатель! Будем плутать вместе». Но старичок пробивает головой сугроб: он не столько старичок, сколько заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки ²⁰ скачут за ним. Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком, что ничего, ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. Действительно, нам тепло и уютно; только хочется пить. Я достаю погребец, потчую всех ромом с сахаром и сам пью с большим удовольствием. Сказочник говорит какую-то сказку про радугу — и над нами уже потолок из снега и радуга. «Теперь сделаемте себе каждый комнатку в снегу и давайте спать!» — говорю я. Снег мягкий и теплый, как мех. Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее; но Федор Филиппыч, который видел в погребе мои ³⁰ деньги, говорит: «Стой! давай деньги. Все одно умирать!» — и хватает меня за ногу. Я отдаю деньги и прошу только, чтобы меня отпустили; но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее; рука старичка нежная и сладкая. Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже сам другой рукой ласкает меня. Однако Федор Филиппыч приближается и грозит мне. Я бегу в свою комнату; но это не комната, а длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги. Я вырываюсь. В руках того, кто меня держит, остаются моя одежда и часть кожи; но мне только холодно и стыдно — стыдно тем более, что тетушка с зонтиком и гомеопатической аптечкой, под руку с утопленником, идут мне навстречу. ⁴⁰ Они смеются и не понимают знаков, которые я им делаю. Я бросаюсь на сани, ноги волокутся по снегу; но старичок гонится за мной, размахивая локтями. Старичок уже близко, но я слышу, впереди звонят два колокола, и знаю, что я спасен, когда прибегу к ним. Колокола звучат слышней и слышней; но старичок догнал меня и жи-

вотом упал на мое лицо, так что колокола едва слышны. Я снова схватываю его руку и начинаю целовать ее, но старичок не старичок, а утопленник... и кричит: «Игнашка! стой, вон Ахметкины стоги, кажись! Подь-ка посмотри!» Это уж слишком страшно. Нет! проснись лучше...

Я открываю глаза. Ветер закинул мне на лицо полу Алешкиной шинели, колено у меня раскрыто, мы едем по голому насту, и терция колокольчиков слышнехонько звучит в воздухе с своей дребезжащей квинтой.

10 Я смотрю, где стоги; но вместо стогов, уже с открытыми глазами, вижу какой-то дом с балконом и зубчатую стену крепости. Меня мало интересует рассмотреть хорошенько этот дом и крепость: мне, главное, хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал, слышать звон церковного колокола и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю.

IX

Я спал крепко; но терция колокольчиков все время была слышна и виделась мне во сне то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то органа, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым не переставая сжимают мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение поталкивало меня и сани; тот же Игнашка сидел боком и похлопывая ногами; та же пристяжная, вытянув шею и невысоко поднимая ноги, рысью бежала по глубокому снегу, кисточка подпрыгивала на шлее и хлесталась о брюхо лошади. Голова коренной с развевающейся гривой, натягивая и отпуская поводья, привязанные к дуге, мерно покачивалась. Но все это больше, чем прежде, покрыто, занесено было 20 снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и сверху валил на воротники и шапки. Ветер был то справа, то слева, играл воротником, полой Игнашкина армяка, гривой пристяжной и завывал над дугой и в оглоблях.

Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею; посмотришь кругом — все бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно. Алешка спал в ногах и в самой глубине саней; 40 вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал: он беспрестанно подергивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел так же чудно. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще и несколько тише. Игнашка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим то-

неньким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул вожжи на передок и слез. Ветер завыл неистово; снег, как из совка, так и посыпал на полы шубы. Я оглянулся: третьей тройки уж за нами не было (она где-то отстала). Около вторых саней, в снежном тумане, видно было, как старичок попрыгивал с ноги на ногу. Игнашка шага три отошел от саней, сел на снег, распустился и стал снимать сапоги.

— Что это ты делаешь? — спросил я.

— Перебуться надо; а то вовсе ноги заморозил,— отвечал он и продолжал свое дело. 10

Мне холодно было высунуть шею из-за воротника, чтобы посмотреть, как он это делал. Я сидел прямо, глядя на пристяжную, которая, отставив ногу, болезненно, устало помахивала подвязанным и занесенным снегом хвостом. Толчок, который дал Игнат саними, вскочив на облучок, разбудил меня.

— Что, где мы теперь? — спросил я,— доедем ли хоть к свету?

— Будьте покойны: доставим,— отвечал он.— Теперь важно ноги согрелись, как перебулся.

И он тронул, колокол зазвенел, сани снова стали раскачиваться и ветер свистеть под полозьями. И мы снова пустились плыть по беспредельному морю снега. 20

X

Я заснул крепко. Когда же Алешка, толкнув меня ногой, разбудил и я открыл глаза, было уже утро. Казалось еще холодней, чем ночью. Сверху снега не было; но сильный сухой ветер продолжал заносить снежную пыль на поле и особенно под копытами лошадей и полозьями. Небо справа на востоке было тяжелое, темно-синеватого цвета; но яркие красно-оранжевые косые полосы яснее и яснее обозначались на нем. Над головами, из-за бегущих белых, едва окрашивающихся туч, виднелась бледная синева; налево облака 30 были светлы, легки и подвижны. Везде кругом, что мог окинуть глаз, лежал на поле белый, острыми слоями рассыпанный, глубокий снег. Кое-где виднелся сереющий бугорок, через который упорно летела мелкая, сухая снежная пыль. Ни одного, ни санного, ни человеческого, ни звериного, следа не было видно. Очертания и цвета спины ямщика и лошадей виднелись ясно и резко даже на белом фоне... Околыш Игнашкиной темно-синей шапки, его воротник, волосы и даже сапоги были белы. Сани были занесены совершенно. У сивой коренной вся правая часть головы и холки были набиты снегом; у моей пристяжной ноги обсыпаны были до колен, и 40 весь сделавшийся кудрявым потный круп облеплен с правой стороны. Кисточка подпрыгивала так же в такт какого бы ни захотел вообразить мотива, и сама пристяжная бежала так же, только по впа- лому, часто поднимающемуся и опускающемуся животу и отвис-

шим ушам видно было, как она измучена. Один только новый предмет останавливал внимание: это был верстовой столб, с которого сыпало снег на землю и около которого ветер намел целую гору справа и все еще рвался и перебрасывал сыпкий снег с одной стороны на другую. Меня ужасно удивило, что мы ехали целую ночь на одних лошадях двенадцать часов, не зная куда и не останавливаясь, и все-таки как-то приехали. Наш колокольчик звенел как будто еще веселее. Игнат замахивался и покрикивал; сзади фыркали лошади и звенели колокольчики троек старичка и советчика; но тот, который
10 спал решительно, в степи отбилсЯ от нас. Проехав полверсты, попался свежий, едва занесенный следок саней и тройки, и изредка розоватые пятна крови лошади, которая засекалась, верно, виднелись на нем.

— Это Филипп! Вишь, раньше нас угодил! — сказал Игнашка.

Но вот домишко с вывеской виднеется один около дороги посреди снега, который чуть не до крыш и окон занес его. Около кабака стоит тройка серых лошадей, курчавых от пота, с отставленными ногами и понурыми головами. Около двери расчищено и стоит лопата; но с крыши все метет еще и крутит снег гудящий ветер.

20 Из двери на звон наших колоколов выходит большой, красный, рыжий ямщик, со стаканом вина в руках, и кричит что-то. Игнашка обертывается ко мне и просит позволения остановиться. Тут я в первый раз вижу его рожу.

XI

Лицо у него было не черноватое, сухое и прямоносое, как я ожидал, судя по его волосам и сложению. Это была круглая, веселая, совершенно курносая рожа, с большим ртом и светло-ярко-голубыми круглыми глазами. Щеки и шея его были красны, как натертые суконкой; брови, длинные ресницы и пушок, ровно покрывающий
30 низ его лица, были залеплены снегом и совершенно белы. До станции оставалось всего полверсты, и мы остановились.

— Только поскорее, — сказал я.

— В одну минутую, — отвечал Игнашка, соскакивая с облучка и подходя к Филиппу.

— Давай, брат, — сказал он, снимая с правой руки и бросая на снег рукавицу с кнутом, и, опрокинув голову, залпом выпил поданный ему стаканчик водки.

Целовальник, должен быть, отставной казак, с полуштофом в руке, вышел из двери.

40 — Кому подносить? — сказал он.

Высокий Василий, худощавый русский мужик с козлиной бородкой, и советчик, толстый, белообрый, с белой густой бородой, обкладывающей его красное лицо, подошли и тоже выпили по стаканчику. Старичок подошел было тоже к группе пьющих, но ему не

подносили, и он отошел к своим привязанным сзади лошадям и стал поглаживать одну из них по спине и заду.

Старичок был точно такой, каким я воображал его: маленький, худенький, со сморщенным посинелым лицом, жиденской бородкой, острым носиком и съеденными желтыми зубами. Шапка на нем была ямская, совершенно новая, но полушубчишко истертый, испачканный дегтем и прорванный на плече и полах, не закрывал колен и посконного нижнего платья, всунутого в огромные валяные сапоги. Сам он весь сгорбился, сморщился и, дрожа лицом и коленами, копошился около саней, видимо, стараясь согреться. 10

— Что ж, Митрич, поставь косушку-то: согрелся бы важно,— сказал ему советчик.

Митрича подернуло. Он поправил шлею у своей лошади, поправил дугу и подошел ко мне.

— Что ж, барин,— сказал он, снимая шапку с своих седых волос и низко кланяясь,— всю ночь с вами плутали, дорогу искали: хоть бы на косушечку пожаловали. Право, батюшка, ваше сиятельство! А то обогреться не на что,— прибавил он с подобострастной улыбкой.

Я дал ему четвертак. Целовальник вынес косушку и поднес старичку. Он снял рукавицу с кнутом и поднес маленькую черную, ко- 20
рявую и немного посиневшую руку к стакану; но большой палец его, как чужой, не повиновался ему: он не мог удержать стакана и, разлив вино, уронил его на снег.

Все ямщики расхохотались.

— Вишь, замерз Митрич-то как! аж вина не сдержит.

Но Митрич очень огорчился тем, что пролил вино.

Ему, однако, налили другой стакан и вылили в рот. Он тотчас же развеселился, сбежал в кабак, запалил трубку, стал ослаблять свои желтые съеденные зубы и ко всякому слову ругаться. Допив 30
последнюю косуху, ямщики разошлись к тройкам, и мы поехали.

Снег все становился белее и ярче, так что ломило глаза, глядя на него. Оранжевые, красноватые полосы выше и выше, ярче и ярче расходились вверх по небу; даже красный круг солнца завиднелся на горизонте сквозь сизые тучи; лазурь стала блестящее и темнее. По дороге, около станицы, след был ясный, отчелливый, желтоватый, кой-где были ухабы; в морозном, сжатом воздухе чувствительна была какая-то приятная легкость и прохлада.

Моя тройка бежала очень быстро. Голова коренной и шея с развевающейся по дуге гривой раскачивались быстро, почти на одном 40
месте, под охотничьим колокольчиком, язычок которого уже не бился, а скоблил по стенкам. Добрые пристяжные дружно натянули замерзлые кривые постромки, энергически подпрыгивали, кисточка билась под самое брюхо и шлею. Иногда пристяжная сбивалась в сугроб с пробитой дороги и запорашивала глаза снегом, бойко выбиваясь из него. Игнашка покрикивал веселым тенором; сухой

мороз повизгивал под полозьями; сзади звонко-празднично звенели два колокольчика и слышны были пьяные покрикивания ямщиков. Я оглянулся назад: серые курчавые пристяжные, вытянув шеи, равномерно сдерживая дыхание, с перекосившимися удилами, попрыгивали по снегу. Филипп, помахивая кнутом, поправлял шапку; старичок, задрав ноги, так же как и прежде, лежал в середине саней.

Через две минуты сани заскрипели по доскам сметенного подъезда станционного дома, и Игнашка повернул ко мне свое засыпанное снегом, дышащее морозом, веселое лицо.

10 — Доставили-таки, барин! — сказал он.

11 февраля 1856.

НЕОКОНЧЕННОЕ

ЗАПИСКИ О КАВКАЗЕ. ПОЕЗДКА В МАМАКАЙ-ЮРТ

В 1852 году в июне месяце я жил на водах Старого Юрта. Кавказ так мало был известен мне, что, допустив в читателях тот взгляд, который я имел тогда, я решительно становлюсь в тупик и вижу совершенную невозможность составить описание того, что поражало меня. Надеюсь, что читатели мои или не имеют о Кавказе никакого понятия или понятие хоть сколько-нибудь верное; в противном случае мы никак не поймем друг друга. Когда-то в детстве или первой юности я читал Марлинского; и разумеется, с восторгом, читал 10 тоже не с меньшим наслаждением кавказские сочинения Лермонтова. Вот все источники, которые я имел для познания Кавказа, и боюсь, чтобы большинство читателей не было в одном положении со мною. И это было так давно, что я помнил только то чувство, которое испытывал при чтении, и возникшие поэтические образы воинственных черкесов, голубоглазых черкешенок, гор, скал, снегов, быстрых потоков, чинар... бурка, кинжал и шашка занимали в них не последнее место. Эти образы, украшенные воспоминанием, необыкновенно поэтически сложились в моем воображении. Я давно уже позабыл поэмы Марлинского и Лермонтова, но в моем воспоминании составились из тех образов другие поэмы в тысячу раз увлекательнее первых. Передать их словами я не покушался, потому что знал, что это невозможно, и втайне наслаждался ими. Случалось ли вам читать стихи на полужнакомом языке, особенно такие, которые вы знаете, что хороши. Не вникая в смысл каждой фразы, вы продолжаете читать, и из некоторых слов, понятных для вас, возникает в вашей голове совершенно другой смысл, правда, неясный, туманный и не подлежащий выражению слов, но тем более прекрасный и поэтический. Кавказ был долго для меня этой поэмой на незнакомом языке; и, когда я разобрал настоящий смысл ее, во 30 многих случаях я пожалел о вымышленной поэме и во многих убедился, что действительность была лучше воображаемого. Постараюсь передать смысл как той, так и другой поэмы. Слово далеко не

может передать воображаемого, но выразить действительность еще труднее. Верная передача действительности есть камень преткновения слова. Авось воображение читателя дополнит недостаток выражения автора.

Без этого содействия как пошлы и бесцветны были бы все описания. Чтобы поставить воображение читателя на ту точку, с которой мы можем понимать друг друга, начну с того, что черкесов нет — есть чеченцы, кумыки, абазехи и т.д., но черкесов нет. Чинар нет, есть бук, известное русским дерево, голубоглазых черкешенок нет
10 (ежели даже под словом черкесы разуместь собирательное название азиатских народов) и мало ли еще чего нет. От многих еще звучных слов и поэтических образов должно вам будет отказать, ежели вы будете читать мои рассказы. Желал бы, чтобы для вас, как и для меня, взамен погибших, возникли новые образы, которые бы были ближе к действительности и не менее поэтичны. Воды Старого Юрта, в рассуждении обстановки, весьма мало имеют сходства с водами Баден-Бадена или Емса или даже Пятигорска. Они находятся за Теремом в Большой Чечне вблизи одного из самых больших и богатых мирных аулов — Старого Юрта. Вообще трудно определить,
20 мирное или немирное пространство, занимаемое Чечней по ту сторону Терской линии. Живут в нем, в аулах и крепостях, одни мирные татары и солдаты, но вне крепостей вы имеете столько же шансов встретить мирных, сколько и немирных жителей. Поэтому вне крепости место ни мирное, ни немирное; т.е. опасное. На курс назначаются на воды две роты пехоты и два орудия в прикрытие лагеря, и в лагерь собираются раненые офицеры, солдаты и дамы. В этом году было 3: жена смотрителя, с локонами, в розовом платье, прапорщица Хринева, первая красавица и ужаснейшая кокетка, и аптекарша из немок. Барыни эти были, сколько я слышал,
30 весьма достойные уважения барыни; но одно, чего я не мог простить им, это было то, что они жили в Чечне — на Кавказе — стране дикой, поэтической и воинственной, точно так же, как бы они жили в городе Саратове или Орле. Жасминная помада прекрасная вещь и прюнелевые ботинки тоже; и зонтик тоже; но не идут как-то они к моим понятиям о Кавказе. Некоторые офицеры были тоже недовольны дамами, но совсем по другим причинам, они говорили, что решительно нельзя петь песенникам лучших песен и не имейши никакой свободы. Поручик Чикин, чтобы выразить свое неудовольствие, прошел даже мимо землянки главной аристократки с локонами без нижнего платья. Я забыл сказать, что общество дам разделялось
40 на аристократическое, среднее и дурное. Уж без этого нигде не бывает.

СВЯТОЧНАЯ НОЧЬ

I

В одну из ясных, морозных январских ночей святок 18.. года вниз по Кузнецкому мосту дробной рысью катилась извозчицья карета на паре худых разбитых лошадей.

Только темно-синее высокое небо, усеянное пропадающими в пространстве звездами, заиндевшая борода кучера, захватывающий дыхание, щиплющий за лицо воздух и скрип колес по морозному снегу напоминали те холодные, но поэтические святки, с которыми мы с детства привыкли соединять какие-то смутные чувства — любви к заветным преданиям старины, темным народным обычаям и — ожидания чего-то таинственного, необыкновенного...

Нет ни белых громадных сугробов сыпучего снега, занесшего двери, заборы и окна, ни узких, пробитых около них тропинок, ни высоких черных деревьев с покрытыми инеем ветвями, ни безграничных ярко-белых полей, освещаемых светлой зимней луной, ни чудной, исполненной невыразимой прелести тишины деревенской ночи. Здесь высокие неприятно-правильные дома с обеих сторон закрывают горизонт и утомляют зрение однообразием; равномерный городской шум колес не умолкает и нагоняет на душу какую-то неотвязную, несносную тоску; разбитый, навозный снег покрывает улицы и освещается кое-где ламповым светом, падающим из цельных окон какого-нибудь магазина, или тусклыми фонарями, которые, приставляя лесенку, поправляет засаленный будочник: все составляет резкую и жалкую противоположность с блестящим, безграничным покровом святочной ночи. Мир Божий и мир человеческий.

Карета остановилась у освещенного магазина. Из нее выпрыгнул стройный, хорошенький мальчик — лет 18 на вид — в круглой шляпе и шинели с бобровым воротником, из-за которого виден был белый бальный галстук, и, звеня колокольчиком, торопливо вбежал в дверь.

— Une paire de gants, je vous prie¹,— отвечал он на вопросительный «bonsoir, monsieur»², которым встретила его худощавая француженка из-за конторки.

—Vot'numéro³?

— Six et demi⁴,— отвечал он, показывая маленькую, почти женски нежную руку.

Молодой человек, казалось, куда-то очень торопился; он, прохаживаясь по комнате, стал надевать перчатки так неосторожно, что разорвал одну пару; с детским движением досады, показывавшим в нем, однако, энергию, швырнул ее на землю и стал растягивать другую.

— Сын мой, это вы? — послышался приятно-звучный уверенный голос из соседней комнаты,— войдите сюда.

Молодой человек по звуку голоса и еще более по названию сына тотчас узнал своего знакомого и вошел к нему.

Это был высокий мужчина, лет 30, чрезвычайно худой, с рыжими бакенбардами, проходящими по середине щек до концов рта и начала острых воротничков, длинным сухим носом, спокойными, впалыми, голубыми глазами, выражающими ум и насмешливость, и чрезвычайно тонкими, бледными губами, которые, исключая того времени, когда открывали прекрасные мелкие зубы, складываясь в выразительную, симпатичную улыбку, лежали всегда как-то особенно важно и строго. Он сидел, вытянув длинные ноги перед большим трюмо, в котором, казалось, с удовольствием рассматривал отражающуюся стройную фигуру молодого человека, и предоставлял полную свободу выказать свое куаферское искусство мосье Шарлу, который, ловко поворачивая в помадных руках щипцы и покрикивая на *Эрнеста*, подававшего их, давал, по своему выражению, «*un coup de peigne à la plus estimable de ses pratiques*»⁵.

30 — Что? на бал, любезный сын?

— Да, а вы, князь?

— Тоже должен ехать; видите,— прибавил он, указывая на белый жилет и галстук, таким недовольным тоном, что молодой человек с удивлением спросил его: неужели он не хотел ехать? и что бы он делал в таком случае целый вечер?

— Спал бы,— отвечал он равнодушно и без малейшей аффектации.

— Вот этого я не могу понять!

— И я тоже не понимал лет 10 тому назад: лет 10 тому назад я

¹ Пару перчаток, прошу вас (фр.)

² «добрый вечер, сударь» (фр.)

³ Ваш номер (фр.)

⁴ Шесть с половиной (фр.)

⁵ «прикосновение гребня к своему наиболее уважаемому клиенту» (фр.)

готов был проскакать 300 верст на перекладных и не спать 10 ночей для одного бала; но тогда я был молод, разумеется, влюблен на каждом бале, а главное — тогда мне было весело; потому что я знал, что я хорош, что, как меня ни поверни, никто не увидит ни лысины, ни накладки, ни вставленного зуба...

— А вы за кем волочитесь, сын мой? — прибавил он, вставая перед зеркалом и оправляя воротнички рубашки.

Этот вопрос, сделанный самым простым разговорным тоном, казалось, очень удивил молодого человека и привел в такое замешательство, что он, краснея и запинаясь, едва мог выговорить: «Я ни за... я ни... когда еще не волочился».

— Виноват, я и забыл, что в ваши года не волочатся, а влюбляются, так скажите мне, по крайней мере, в кого влюблены?

— Знаете, князь, — сказал молодой человек улыбаясь, — что я даже не понимаю, что такое значит: волочиться, *faire la cour*...

— Я вам сейчас объясню — вы знаете, что такое быть влюблену?

— Знаю.

— Ну так волочиться — значит делать совершенно противное того, что делают влюбленные, — понемногу рассказывать про свою любовь и стараться, чтобы в вас были влюблены; одним словом, делать противное тому, что вы делаете в отношении к *милому дeбapдeрy*, в которого вы влюблены.

Молодой человек покраснел еще раз.

— Нынче утром мы с вашей кузиной говорили про вас, и она открыла мне вашу тайну. Почему вы до сих пор не представлены?

— Не было случая.

— Как можно, чтобы не было случая; нет, скажите лучше, что не можете решиться; я знаю, истинная, а в особенности первая, любовь стыдлива. Это нехорошо.

— Кузина нынче обещала представить меня, — сказал молодой человек, детски застенчиво улыбаясь.

— Нет, позвольте *мне* вас представить, любезный сын; поверьте, что я это сделаю лучше, чем ваша кузина; и посмотрите, с моей легкой руки, — прибавил он, надевая шинель и шляпу. — Поедем вместе.

— Для того, чтобы иметь успех у женщин, — продолжал он докторальным тоном, проходя к двери, не замечая ни поклонов мосье Шарля, ни улыбочки *demoiselle de comptoir*¹, слушавшей его, — для того, чтобы иметь успех у женщин, нужно быть предприимчиву, а для того, чтобы быть предприимчиву, нужно иметь успех у женщин, в особенности в первой любви; а для того, чтобы иметь успех в первой любви, нужно быть предприимчиву. Видите, «*cercle vicieux*»².

¹ кассирши (фр.)

² «заколдованный круг» (фр.)

Молодого человека звали Сережей Ивиным. Он был прекрасный мальчик, с душой юной, не отуманенной еще поздним сознанием ошибок, сделанных в жизни; следовательно, с светлыми мечтами и благородными побуждениями. Окончив курс в училище... совершенным ребенком душою и телом, он приехал в Москву к своей матери — милейшей женщине старого века и любившей его так, как может любить мать единственного сына, которым гордится.

Приехав в Москву, он как-то невольно и незаметно для самого себя очутился, как дома, в добродушном и — ежели можно так сказать — фамильном московском свете, в который люди с известным рождением, несмотря на их внутренние качества, принимаются во всех отношениях как свои и родные; в особенности же — доверчиво и радушно, когда они, как Ивин, не имеют еще для этого света неизвестного прошедшего. Трудно сказать, было ли это для него счастьем или нет; с одной стороны, свет доставлял ему много истинных наслаждений, а уметь наслаждаться в ту пору молодости, когда каждое отрадное впечатление с силой отзывается в юной душе и заставляет дрожать свежие струны счастья, уже большое благо; с другой же стороны, свет развивал в нем ту страшную моральную заразу, прививающуюся к каждой части души, которая называется тщеславием. Не то светское тщеславие, которое никогда не довольно тем кружком, в котором оно живет, а вечно ищет и добывается другого, в котором ему будет тяжело и неловко. Московский свет особенно мил и приятен тем, что он дружен и самостоятелен в своих суждениях; ежели человек раз принят в нем, то он принят везде, обсужен всеми одинаково и ему нечего добиваться: живи, как хочешь и как нравится. Но у Сережи, несмотря на то, что он был умный и энергичный мальчик, было тщеславие молодости. Смешно сказать, он — лучший московский танцор — мечтал о том, как бы ему попасть в скучную партию — по полтине — Г.О., о том, как бы ему, невинному и стыдливому, как девушка, — попасть на скандальные вечера г-жи З. и сойтись на «ты» с старым, сально-развратным холостяком Долговым. Прекрасные мечты любви, дружбы и смешные планы тщеславия с одинаковою прелестью неизвестности и силою увлечения молодости наполняли его воображение и как-то странно путались в нем.

На балах нынешней зимы, которые были для него первыми в жизни, от встречал графиню Шёффинг, которую князь Корнаков, дававший всем прозвища, называл почему-то *милым дебардёром*. Один раз он танцевал против нее, глаза его встретились с простодушно-любопытным взглядом графини, и взгляд этот так поразил его, доставил столько наслаждения, что он не мог понять, как прежде не был без памяти влюблен в нее, и внушил, Бог знает почему, столько страха, что он стал смотреть на нее как на существо необыкновен-

ное, высшее, с которым он недостойн иметь ничего общего, и поэтому несколько раз убегаев случает быть ей представлениу.

Графиня Шёфинг соединяла в себе все условия, чтобы внушить любовь, в особенности такому молодому мальчику, как Сереже. Она была необыкновенно хороша, и хороша как женщина и ребенок: прелестные плечи, стройный гибкий стан, исполненные свободной грации движения и совершенно детское личико, дышащее кротостью и веселием. Кроме того, она имела прелесть женщины, стоящей в главе высшего света; а ничто не придает женщине более прелести, как репутация прелестной женщины. Графиня Шёфинг имела еще очарование, общее очень немногим, это очарование простоты — не простоты, противоположной аффектации, но той милой наивной простоты, которая так редко встречается, что составляет самую привлекательную оригинальность в светской женщине. Всякий вопрос она делала просто и так же отвечала на все вопросы; в ее словах никогда не заметно было и тени скрытой мысли; она говорила все, что приходило в ее хорошенькую умную головку, и все выходило чрезвычайно мило. Она была одна из тех редких женщин, которых все любят, даже те, которые должны бы были завидовать.

И странно, что такая женщина отдала без сожаления свою руку графу Шёфинг. Но ведь она не могла знать, что кроме тех сладких любезностей, которые говорил ей ее жених, существуют другие речи, что кроме достоинств — отлично танцевать, прекрасно служить и быть любимым всеми почтенными старушками — достоинства, которыми вполне обладал граф Шёфинг, — существуют другие достоинства, что кроме той приличной мирной светской жизни, которую устроил для нее ее муж, существует другая жизнь, в которой можно найти любовь и счастье. Да, кроме того, надо отдать справедливость графу Шёфинг, лучше его не было во всех отношениях жениха; даже сама Наталья Аполлоновна сказала в нос: «C'est un excellent parti, ma chère»¹. Да и чего ей желать еще? Все молодые люди, которых она до сих пор встречала в свете, так похожи на ее Jean и, право, нисколько не лучше его; поэтому влюбиться ей в голову не приходило — она воображала, что любит своего мужа — а жизнь ее сложилась так хорошо! она любит танцевать и танцует; любит нравиться и нравится, любит всех своих хороших знакомых, и ее все очень любят.

III

Зачем описывать подробности бала? Кто не помнит того странного, поразительного впечатления, которое производили на него ослепительный свет тысячи огней, освещающих предметы со всех

¹ «Это прекрасная партия, дорогая». (фр.)

сторон и ни с одной — не кладущих тени, блеск брильянтов, глаз, цветов, бархата, шелку, голых плеч, кисей, волос, черных фраков, белых жилетов, атласных башмачков, пестрых мундиров, ливрей; запаха цветов, душиков женщин; звуков тысячи шагов и голосов, заглушаемых завлекательными, вызывающими звуками каких-нибудь вальсов или полек; и непрерывное сочетание и причудливое сочетание всех этих предметов? Кто не помнит, как мало он мог разобрать подробности, как все впечатления смешивались и оставалось только чувство или веселья: все казалось так легко, светло, отрадно, сердце билось так сильно, — или казалось ужасно тяжело, грустно. 10

Но чувство, возбуждаемое балом, было совершенно различно в двух наших знакомых.

Сережа был так сильно взволнован, что заметно было, как скоро и сильно билось его сердце под белым жилетом и что ему отчего-то захватывало дыхание, когда он вслед за князем Корнаковым, пробираясь между разнообразною, движущуюся толпою знакомых и незнакомых гостей, подходил к хозяйке дома. Волнение его еще усилилось в то время, когда он подходил к большой зале, из которой ясней стали долетать звуки вальса. В зале было и шумнее, и светлее, и теснее, и жарче, чем в первой комнате. Он отыскивал глазами графиню Шёфтинг, ее голубое платье, в котором он видел ее на прошедшем бале. (Впечатление это было так еще свежо в его воображении, что он не мог себе представить ее в другом платье.) Вот голубое платье; но это не ее волосы; это какие-то дурные рыжие волосы и какие плечи и грубые черты: как мог он так ошибиться? Вот вальсирует женщина в голубом; не она ли? Но вот вальсирующая пара поравнялась с ним — и какое разочарование! Хотя эта женщина очень недурна; но ему она кажется хуже греха смертного. Так трудно какой бы то ни было красоте выдержать сравнение с разившимся в его воображении во всей чудной прелести воспоминания 20
образом его любви. 30

Неужели ее еще нет? Как скучно, пусто на бале! Какие у всех несносные скучающие лица! И зачем, кажется, собрались они все? Но вот кружок, отдельный от всех других; в нем очень немного действующих лиц; но зато как много зрителей, смотрящих с завистью, но не проникающих в него. И странно, почему эти зрители, несмотря на сильнейшее желание, не могут переступить эту границу, этот волшебный круг. Сережа пробирается в середину кружка. Тут у него больше знакомых, некоторые издали улыбаются ему, другие подают руки; но кто это в белом платье с простой зеленой куафюрой на голове стоит подле высокого князя Корнакова и, закинув назад русую головку, наивно глядит ему в глаза и говорит с ним? Это она. Поэтический образ женщины в голубом платье, который с прошлого бала не выходил из его воображения, мгновенно заменяется образом, который кажется ему еще прелестнее и живее, — той же женщины в белом платье и зеленой куафюрке. Но отчего же ему 40

вдруг делается неловко? Он не знает хорошенько: держать ли шляпу в левой или в правой руке, с беспокойством оглядывается вокруг себя и отыскивает глазами кузину или хорошего знакомого, с которым бы он мог заговорить и скрыть свое смущение; но, на беду, все окружающие его лица ему незнакомы, и ему кажется, что в выражении лиц их написано: «Comme le *petit Ivine* est ridicule»¹. Слава Богу, кузина подзывает его, и он идет вальсировать с ней.

Князь Корнаков, напротив того, так же спокойно, раскланиваясь знакомым мужчинам и женщинам, проходил первые комнаты, входил в большую залу и присоединялся к отдельному кружку, как бы он входил в свою спальню, и с тем же предзнанием того, что он должен встретить, с которым чиновник, приходя в отделение, пробирается в знакомый угол к своему столу. Он так хорошо знает каждого и его все так хорошо знают, что у него для каждого готово занимательное, забавное или любезное словечко. Почти с каждой есть начатый разговор, шуточка, общие воспоминания. Ему не только не тяжело, как Сереже, проходить через эти три гостиные, наполненные народом, а несносно видеть все одни знакомые лица, давно оцененные им и которые, что бы он ни делал с своей стороны, никак не переменили бы о нем мнение, к которым, однако, нельзя не подойти и, по какой-то странной привычке говорить, не сказать не интересных ни для того, ни для другого слов, несколько раз уже слышанных и сказанных. Он так и делает; но все-таки скука — преобладающее в его душе чувство в эту минуту. Даже единственный интерес человека, как князь, не принимающего прямого участия в бале, то есть не играющего и не танцующего, — наблюдения, ни в каком отношении не могут представить ему ничего ни нового, ни занимательного. Подойдет ли он к разговаривающим группам в гостиных, они составлены все из тех же лиц, канва разговора их все та же самая: вот Д., имеющая репутацию московской красавицы, платье ее, лицо, плечи, все прекрасно безукоризненно; но все то же пошло-бесстрастное выражение во взгляде и постоянной улыбке, и ее красота производит на него впечатление досады; около нее, как и всегда, увиваются молодой М., про которого говорят, что он, правда, дурен, но зато чрезвычайно остроумен, мил; он в душе находит, что Д. самая несносная женщина в мире; но волочится за ней только потому, что она первая женщина в московском свете; петербургский щеголь Ф., который хочет смотреть свысока на московский свет и которого за это никто терпеть не может и т. д.

40 Вот миленькая московская барышня Annette З., которая, Бог знает почему, не выходит столько времени замуж, следовательно, тут же где-нибудь и последняя ее надежда, барон со стеклушкой и дурным французским языком, который целый год сбирается на ней женить-

¹ «Как маленький Ивин смешон». (фр.)

ся и, разумеется, никогда не женится. Вот маленький черномазый адъютант с большим носом, который в полной уверенности, что любезность в нынешнем веке состоит в том, чтобы говорить непристойности, и, помирая со смеху, рассказывает что-то старой эманципированной деве Г... Вот старая толстая Р....., которая так долго продолжает быть неприличною, что это перестало быть оригинальным, любезным, а сделалось просто гадко; около нее вертятся еще, однако, какой-то армейский гусар и молоденький студент, воображающие, бедняги, подняться этим во мнении света. Подойдет ли к карточным столам — опять на тех же местах, что и пять лет тому 10 назад, стоят столы и сидят те же лица. Даже приемы тасовать, сдавать карты, собирать взятки и при том <?> говорить игорные шуточки каждого давно известны ему. Вот — старый генерал, с которого берут постоянную дань, несмотря на то, что он сердится и кричит на всю комнату, особенно сухой человек, который, сгорбившись, молча сидит перед ним и только изредка исподлобья взглядывает на него. Вот молодой человек, который тем, что играет в карты, хочет доказать, что все ему надоело. Вот три старые барыни поймали несчастного партнера по две копейки, и бедный готов отдать все деньги, что у него есть в кармане, — отступного.

Корнаков подходит к столам, желает выигрывать; одни не замечают его, другие, не оглядываясь, подают руки, третьи просят присесть... 20

Пойдет ли в залы, где танцуют: вот вертятся пять или шесть студентов, два приезжих гвардейца, вечные недоросли, молодые по летам, но состаревшиеся на московском паркете Негичев, Губков, Тамарин, два или три устаревшие московские льва, которые уже не танцуют, а только любезничают, или ежели решаются пригласить даму, то делают с таким выражением, которое можно перевести так: посмотрите, как я реэволюсь. 30

Вот в кругу кавалеров стоят, как и всегда, неизвестные, неподвижные фраки, зрители, которые, Бог один знает зачем, приехали сюда; только изредка между ними заметно движение, показывается смельчак, робко или слишком смело проходит через пустой круг, приглашает, может быть, единственную знакомую ему даму, делает с ней, несмотря на то, что ей это весьма неприятно, несколько туров вальса и опять скрывается за стеной стоящих мужчин. (Вообще в московском свете мужчины разделяются на два разряда: или на недоученных мальчиков, смотрящих на свет слишком серьезно, или на устарелых львов, смотрящих или показывающих, что смотрят на него слишком свысока.) 40

Какие-нибудь жалкие, ни с кем не знакомые, но приглашенные по проискам родственниц барышни сидят около стен и дурнеют от злости за то, что, несмотря на их прекрасные туалеты, стойившие, может быть, месячного труда, никто с ними танцевать не хочет. Всего не скажешь; но дело в том, что для князя Корнакова все это

страшно старо. Хотя много старых лиц сошло и много новых выступило на светскую арену за его время; но отношения, разговоры, действия этих лиц все те же самые. Матерьяльная часть бала, даже буфет, ужин, музыка, убранство комнат, все до того хорошо известно князю, что ему иногда становится невыносимо гадко: 20-й раз видеть все одно и то же.

Князь Корнаков был один из тех богатых, пожилых холостяков, для которых свет сделался необходимейшею и вместе скучнейшею из потребностей: необходимейшею потому, что в первой молодости, заняв без труда первое место в свете, самолюбие не позволяло ему испытывать себя на другой, неизвестной, дороге жизни и даже допускать возможность другого образа жизни; скучнейшею же потребностью сделался для него свет потому, что он был слишком умен, чтобы давно не разглядеть всю пустоту постоянных отношений людей, не связанных между собою ни общим интересом, ни благородным чувством, а полагающих цель жизни в искусственном поддержании этих постоянных отношений. Душа его всегда была полна бессознательной грусти о даром потерянном прошедшем и ничего не обещающем будущем, но тоска эта выражалась не тоскою и раскаянием, а желчною, светскою болтовнею — иногда резко, иногда пустою; но всегда умною и благородно-оригинальною. Он принимал так мало участия в делах света, смотрел на него так равнодушно, как бы сказать, *à vol d'oiseau*¹, что не мог приходить ни с кем в столкновение; поэтому никто не любил его, никто и не не любил; но все смотрели с тем особенным уважением, которым пользуются люди, *составляющие свет*.

IV

УВЛЕЧЕНИЕ

— *Encore un tour je t'en prie*²,— говорил Сережа своей кузине, обхватив ее тоненькую талию и с разгоревшимся лицом, легко и грациозно проносясь в вальсе уже 10-й раз через всю залу.

— Нет, довольно, я уже устала,— отвечала, улыбаясь, хорошенькая кузина, снимая руку с его плеча.

Сережа принужден был остановиться, и остановиться именно подле той двери, у которой, небрежно облокотившись с обычным выражением самодовольного спокойствия, стоял князь Корнаков и что-то говорил графине Шёфинг.

— Вот он сам,— сказал он, указывая глазами на Сережу.— По-

¹ с высоты птичьего полета (фр.)

² Еще тур, прошу тебя (фр.)

дойдите к нам,— прибавил он ему, в то же время почтительно кланяясь хорошенькой кузине.— Графиня желает, чтобы вы были ей представлены.

— Я очень давно желал иметь эту честь,— с детски смущенным видом проговорил Сережа, кланяясь.

— Этого, однако, нельзя было заметить до сих пор,— отвечала графиня, с простодушной улыбкой глядя на него.

Сережа молчал и, краснея все более и более, придумывал, что бы сказать кроме банальности. Князь Корнаков, казалось, с большим удовольствием смотрел на искреннее смущение молодого человека, ¹⁰ но, заметив, что оно не прекращается и даже, несмотря на всю светскую рутину графини, сообщается и ей, сказал:

— *Accorderez-vous un tour de valse, madame la comtesse?*¹

Графиня, зная, что он давно уже не танцует, с удивлением посмотрела на него.

— *Pas à moi, madame la comtesse; je me sens trop laid et trop vieux pour prétendre à cet honneur*².

— Вы меня извините, любезный сын, что я взял на себя роль вашего переводчика,— прибавил он ему. Сережа поклонился. Графиня встала перед ним, молча согнула хорошенькую ручку и подняла ²⁰ ее на уровень плеча; но только что Сережа обвинил рукою ее стан, музыка замолчала, и они стояли так до тех пор, пока музыканты, заметив знаки, которые подавал им князь, снова заиграли вальс. Никогда не забудет Сережа этих нескольких секунд, во время которых он раза два то сжимал, то оставлял талию своей дамы.

Сережа не чувствовал, как скользили его ноги по паркету; ему казалось, что он уносится все дальше и дальше от окружающей его пестрой толпы. Все жизненные силы его сосредоточивались в чувстве слуха, заставлявшем его, повинуюсь звукам музыки, то умерять резвость движения, то кружиться быстрее и быстрее, в ощущении ³⁰ стана графини, который так согласовался со всеми его движениями, что, казалось, слился с ним в одно; и во взгляде, который он от времени до времени, с непонятным для самого себя смешанным чувством наслаждения и страха, останавливал то на белом плече графини, то на ее светлых голубых глазах, слегка подернутых какою-то влажною плевою, придававшей им необъяснимое выражение неги и страсти.

— Ну посмотрите, пожалуйста, что может быть лучше этой парочки? — говорил князь Корнаков, обращаясь к кузине Сережи.— ⁴⁰ Вы знаете, моя страсть сводить хорошеньких.

— Да, теперь Serge совершенно счастлив.

¹ Разрешите тур вальса, графиня? (*фр.*)

² Не мне, графиня, я чувствую себя слишком некрасивым и слишком старым, чтобы претендовать на эту честь. (*фр.*)

— Не только Serge, но я уверен, что и графине приятнее танцевать с ним, чем с таким стариком, как я.

— Вы решительно хотите, чтобы я вам сказала, что вы еще не стары.

— За кого вы меня принимаете? Я очень хорошо знаю, что я еще не стар; но я хуже — я надоел, выдохнулся, так, как и все эти господа, которые, однако, этого никак понять не могут; а Сережа, во-первых, новость, во-вторых, женщина не может себе представить, мне кажется, и желать мужчину лучше его. Ну посмотрите, что это за прелесть! — продолжал <он>, с улыбкой наслаждения глядя на них. — И она как мила! Я решительно влюблен в них...

— Я непременно скажу это Лизе (так звали графиню Шёффинг).

— Нет, уж я давно извинялся перед графиней, что до сих пор не влюблен в нее, — она знает, что это происходит единственно потому, что я уж не могу влюбляться; но я влюблен в них обоих — в парочку.

Не один князь Корнаков любовался вальсирующими Сережей и графиней Шёффинг, но все нетанцующие невольно следили глазами за ними — одни с чистым наслаждением видеть прекрасное, другие с досадой и завистью.

Сережа так был взволнован совокупным впечатлением движения, музыки и любви, что, когда графиня попросила его привести ее на место и, поблагодарив его улыбкой, снимала руку с его плеча, ему вдруг пришло желание, от которого он едва мог удержаться, — воспользоваться этой минутой, чтобы поцеловать ее.

Невинный юноша в первый раз в жизни испытывал чувство любви: смутные желания, которыми оно наполняло его душу, были для него непонятны — он не остерегался их, не боялся предаваться им.

30

V

[НЕВИННОСТЬ]

VI

ЛЮБОВЬ

Целый бал прошел для влюбленного Сережи, как чудный, обольстительный сон, которому хочется и страшно верить. У графини оставалась одна б-я кадриль, и она танцевала ее с ним. Разговор их был обыкновенный бальный разговор; но для Сережи каждое слово имело особенное значение — значение улыбки, взгляда, движения. Во время кадрили признанный поклонник графини, Д., подсел к ним. (Сережа объяснял себе это почему-то тем, что Д. принимает его за мальчика, и почувствовал к нему какое-то чрезвычайно не-

40

прияженное чувство); но графиня была особенно мила и добра к своему новому знакомому; она говорила с Д. особенно сухо; но зато, как только обращалась к Сереже, в улыбке и взгляде ее выражалось удовольствие. Ничто так тесно не соединяется и так часто не разрушает одно другое, как любовь и самолюбие. Теперь же — эти две страсти соединились вместе, чтобы окончательно вскружить бедную, молодую голову Сережи. В мазурке графиня два раза выбирала его и он два раза выбрал ее. Делая одну из фигур, она дала ему свой букет. Сережа вырвал из него веточку и спрятал в перчатку. Графиня заметила это и улыбнулась. 10

Графиня не могла оставаться ужинать. Сережа провожал ее до лестницы.

— Надеюсь вас видеть у себя, — сказала она, подавая ему руку.

— Когда позволите?

— Всегда.

— Всегда?! — повторил он взволнованным голосом и невольно пожал маленькую ручку, которая доверчиво лежала в его руке.

Графиня покраснела, ручка ее задрожала — хотела ли она ответить на пожатие или освободиться? Бог знает — робкая улыбка задрожала на ее крошечном розовом ротике, и она сошла с лестницы. 20

Сережа был невыразимо счастлив. Вызванное в его юной душе в первый раз чувство любви не могло остановиться на одном предмете, оно разливалось на всех и на все. Все казались ему такими добрыми, любящими и достойными любви. Он остановился на лестнице, вынул оторванную ветку из-за перчатки и несколько раз с восторгом, заставившим выступить слезы на его глазах, прижал ее к губам.

— Что, довольны ли вы *милым дебардёром*? — спросил его князь Корнаков.

— Ах, как я вам благодарен! Я никогда не был так счастлив, — 30 отвечал он с жаром, сжимая его руку.

VII

А ОНА МОГЛА БЫ БЫТЬ СЧАСТЛИВА

Приехав домой, графиня по привычке спросила о графе. Он еще не возвращался. В первый раз ей было приятно слышать, что его нет. Ей хотелось хоть на несколько часов отдалить от себя действительность, показавшуюся ей с нынешнего вечера тяжелою, и пожить одной с своими мечтами. Мечты были прекрасные.

Сережа был так мало похож на всех тех мужчин, которые окружали ее до сих пор, что он не мог не остановить ее внимания. В его движениях, голосе, взгляде лежал какой-то особенный отпечаток юности, откровенности, теплоты душевной. Тип невинного мальчика, не испытавшего еще порывов страстей и порочных наслаж-

дений, который у людей, не уклоняющихся от закона природы, должен бы быть так обыкновенен и, к несчастью, так редко встречающийся между нами, был для графини, жившей всегда в этой неестественной сфере, называемой светом, самою увлекательною прелестною новостью.

По моему мнению, в ночном белом капоте и чепчике она была еще лучше, чем в бальном платье. Забравшись с ножками на большую кровать и облокотившись ручкой на подушки, она пристально смотрела на бледный свет лампы. На хорошеньком ротике остано-
10 вилась грустная полуулыбка.

— Можно взойти, Лиза? — спросил голос графа за дверью.

— Войди, — отвечала она, не переменив положения.

— Весело ли тебе было, мой друг? — спросил граф, целуя ее.

— Да.

— Что ты такая грустная, Лиза, уж не на меня ли ты сердисься?

Графиня молчала, и губки ее начинали слегка дрожать, как у ребенка, который собирается плакать.

— Неужели ты точно на меня сердисься за то, что я играю. Успокойся, мой дружок, нынче я все отыграл и больше играть не
20 буду...

— Что с тобой? — нежно целуя ее руки, прибавил он.

Графиня не отвечала, а слезы текли у нее из глаз. Сколько ни ласкал и ни допрашивал ее граф, она не сказала ему, о чем она плачет; а плакала все больше и больше.

Оставь ее, человек без сердца и совести. Она плачет именно о том, что ты ласкаешь ее, что имеешь право на это; о том, что отрадные мечты, наполнявшие ее воображение, разлетелись, как пар, от прикосновения действительности, к которой она до нынешнего вечера была равнодушна, но которая стала ей отвратительна и ужас-
30 на с той минуты, как она поняла возможность истинной любви и счастья.

VIII

ЗНАКОМСТВО СО ВСЕМИ УВАЖАЕМЫМ БАРИНОМ

— Что, скучаешь, любезный сын? — сказал князь Корнаков Се-реже, который с каким-то странным выражением равнодушия и беспокойства ходил из комнаты в комнату, не принимая участия ни в танцах, ни в разговорах.

— Да, — отвечал он, улыбаясь. — Хочу уехать.

— Поедем ко мне, nous causerons¹.

¹ поболтаем (фр.)

— Надеюсь, ты здесь не остаешься ужинать? — спросил Корнакова проходивший в это время с шляпой в руках твердым, уверенным шагом через толпу, собравшуюся у двери, толстый, высокий мужчина лет 40, с опухшим, далеко не красивым, но чрезвычайно нахальным лицом.

— Ты кончил уж партию?

— Слава Богу, успел до ужина и бегу от фатального майонеза с русскими трюфелями, тухлой стерляди и тому подобных любезностей... — кричал он почти на всю залу.

— Где ты будешь ужинать?

10

— Или у Трахманова, ежели он не спит, или в Новотроицком, поедем с нами. Вот и Аталов едет.

— Что, поедем, Ивин? — сказал князь Корнаков. — Вы знакомы? Сережа сделал отрицательный знак головою.

— Сергей Ивин, сын Марьи Михайловны, — сказал князь.

— Очень рад, — сказал толстый господин, не глядя на него, подавая свою толстую руку и продолжая идти дальше. — Приезжайте же скорей.

Я полагаю, что ни для кого не нужно подробное описание типа толстого господина, которого звали Н.Н. Долговым. Верно, каждый из моих читателей ежели не знает, то видал, или, по крайней мере, слыхал про Н.Н.; поэтому достаточно несколько характеристических признаков, чтобы лицо это во всей полноте своей ничтожности и подлости возникло в его воображении. По крайней мере, это так для меня. Богатство, знатность, умение жить, большие разнообразные способности, погибнувшие или изуродованные праздностью и пороком. Цинический ум, не останавливающийся ни перед каким вопросом и обсуживающий всякий в пользу низких страстей. Совершенное отсутствие совести, стыда и понятия о моральных наслаждениях. Нескрытый эгоизм порока. Дар грубого, 20 резкого слова. Сладострастие, обжорство, пьянство. Презрение ко всему, исключая самого себя. Взгляд на вещи только с 2-х сторон: со стороны наслаждения, которое они могут доставить, и — их недостатков. И две главные черты: бесполезная, бесцельная, совершенно праздная жизнь и самый гнусный разврат, который он не только не скрывает, а, как будто находя достоинство в своем цинизме, с радостью выказывает, обнаруживает его. Про него говорят, что он дурной человек; но всегда и везде его уважают и дорожат связями с ним. Он это знает, смеется и еще более презирает людей. И как ему не презирать того, что называют добродетелью, когда он 40 всю жизнь попирал ее и все-таки по-своему счастлив, то есть страсти его удовлетворены и он уважаем.

Сережа был в необыкновенно хорошем расположении духа. Присутствие князя Корнакова, который очень нравился ему и имел на него почему-то особенное влияние, доставляло ему большое удовольствие. И короткое знакомство с таким замечательным челове-

ком, как толстый господин, приятно щекотало его тщеславие. Толстый господин сначала мало обращал внимания на Сережу; но по мере того, как *казак*-половой, которого, приехав в Новотроицкий, он потребовал, приносил заказанные расстегаи и вино, он становился любезнее и, заметив развязность молодого человека (такие люди, как Долгов, ничего так не любят, как застенчивость), стал с ним говорить, трепать по плечу и чокаяться.

Мысли и чувства влюбленного так сильно сосредоточены на один предмет, что он не имеет времени наблюдать, анализировать ¹⁰ людей, с которыми встречается; а ничто так не мешает короткости и свободе в отношениях, как склонность, в особенности очень молодых людей, не брать людей за то, чем они себя показывают, а пытываться их внутренних, скрытых побуждений и мыслей.

Кроме того, Сережа чувствовал в этот вечер особенную охоту и способность без малейшего труда быть умным и любезным.

Знакомство с отставным генералом кутилою Долговым, бывшее одно время мечтою его тщеславия, теперь не доставляло ему никакого удовольствия. Ему казалось напротив, что он делает удовольствие и честь этому генералу, ежели говорит с ним, потому что ²⁰ вместо того, чтобы говорить с ним, он мог бы говорить с ней или думать о ней.

Прежде он никак не смел говорить Корнакову «ты», хотя этот последний часто обращался к нему в единственном роде, теперь он совершенно смело *тыкал* его и тыканье это доставляло ему необыкновенное удовольствие. Ласковый взгляд и улыбка графини придали ему более самостоятельности, чем *все* ум, красота, кандидатство и всегдашние похвалы: в один час из ребенка сделали мужчину. Он вдруг почувствовал в себе все те качества мужчины, недостаток которых ясно сознавал в себе: твердость, решимость, смелость и гордое сознание своего достоинства. Внимательный наблюдатель заметил бы даже перемену в его наружности за этот вечер. Походка стала увереннее и свободнее, грудь выпрямилась, руки не были лишними, голова держалась выше, в лице исчезла детская округленность и неопределенность черт, мускулы лба и щек выказывались отчетливее, улыбка была смелее и тверже.

IX

ВЕСЕЛЬЕ

В маленькой задней красной комнате Новотроицкого трактира, занимаемой только людьми, пользующимися в этом трактире ⁴⁰ особенной известностью, сидели наши 4 знакомые за длинным накрытым столом.

— Знаете, за чье здоровье,— сказал Сережа князю Корнакову,

наливая бокал и поднося к губам. Сережа был очень красен, и в глазах у него было что-то масляное, неестественное.

— Выпьем,— отвечал Корнаков, изменяя бесстрастное скущающее выражение своего лица ласковой улыбкой.

Тост за здоровье неназываемой особы был повторен несколько раз.

Генерал, снявши галстук, с сигарой в руке лежал на диване, перед ним стояла бутылка коньяку, рюмочка и кусок сыру, он был немного краснее и одутловатее, чем обыкновенно, по его наглым, несколько сощурившимся глазам видно было, что ему хорошо. ¹⁰

— Вот это я люблю,— говорил он, глядя на Сережу, который, сидя перед ним, выпивал один бокал за другим,— когда было время, что и я пил так же шампанское. Бутылку выпивал за ужином на бале и потом как ни в чем не бывало танцевал и был любезен, как никогда.

— Нет, об этом я не жалею,— сказал Н.Н., облокотившись на руку и с грустным выражением глядя прямо в прекрасные одушевленные глаза К.— Я еще теперь способен выпить сколько хотите, да что? а жалко, что прошло время, когда я так же, как он, пил за здоровье и готов был умереть лучше, чем отказаться от бокала за здоровье кого-нибудь. Когда я, бывало, добивался, чтобы мне достался непременно *le fond de la bouteille*¹, вполне верил, что я женюсь на той, за чье здоровье я пил этот *fond de la bouteille*. О, ежели бы я только женился на всех, за кого я выпил последнюю каплю, сколько б у меня было чудесных жен! Ах, каких чудесных, коли бы вы знали, *Alexandre*...— и он махнул рукой.— Ну вот вам *le fond de la bouteille*,— сказал он, наливая ему...— да что я? вам не нужно...— и он весело, ласково улыбнулся ему. ²⁰

— Ах, не напоминайте мне, я забыл про то, что мне не нужно, да и помнить не хочу, мне так хорошо теперь,— и глаза его сияли истинным восторгом молодой души, без страха предающейся своему первому увлечению. ³⁰

— Что это, как он мил! — сказал Н.Н., поворачиваясь к генералу,— ты не можешь себе представить, как он мне меня напоминает. *Débauchons-le tout à fait*².

— Да,— сказал генерал,— знаешь что, *allons au b*...³ и его возьмем с собой.

Через пять минут *Alexandre* сидел уже в ночных санках Н.Н., свежий морозный воздух резал ему лицо, перед ним была толстая спина кучера, и тусклые фонари и стены домов мелькали с обеих сторон. ⁴⁰

¹ последняя капля в бутылке (*фр.*)

² Развратим окончательно. (*фр.*)

³ поедем в б... (*фр.*)

МЕЧТЫ

«Вот я в деревне, в которой я родился и провел свое детство, в полном милыми и дорогими воспоминаниями Семеновском. Весна, вечер, я в саду на любимом месте покойной матушки около пруда в березовой аллее, и не один — со мной женщина, в белом платье, с волосами, просто убранными на прелестной головке; и эта женщина та, которую я люблю, так, как я никого не любил до сих пор, которую я люблю больше, чем всё на свете, больше, чем самого себя. Месяц тихо плывет по подернутому прозрачными облаками небу, 10 ярко отражается вместе с освещенными им облаками в зеркальной поверхности тихой воды пруда, освещает желтоватую осоку, поросшую зеленые берега, светлые бревны плотины, нависшие над ними кусты ивы и темную зелень кустов распутившейся сирени, черемухи, наполняющей чистый воздух каким-то весенним отрадным запахом, и шиповника, густо сросших в клумбах, разбросанных около извилистых дорожек, и кудрявые, неподвижно висящие, длинные ветви высоких берез, нежную обильную зелень лип, составляющих прямые темные аллеи. За прудом, из глуши сросших деревьев громко слышится звучная песня соловья и еще звучнее разносится по не- 20 подвижной поверхности воды. Я держу нежную руку женщины, которую я люблю, смотрю в эти чудные большие глаза, взгляд которых так отрадно действует на душу, она улыбается и жмет мою руку — она счастлива!»

Глупые — отрадные мечты. Глупые по несбыточности, отрадные по поэтическому чувству, которым исполнены. Пускай они не сбываются — не могут сбываться; но почему не увлекаться ими, ежели одно увлечение это доставляет чистое и высокое наслаждение.

Сашеньке в эту минуту и в мысль не приходило задать себе во- 30 прос: каким образом женщина эта будет его женою, тогда как она замужем, и, ежели бы это было возможно, хорошо ли бы это было, то есть нравственно ли? и каким бы образом он в таком случае устроил бы свою жизнь? Кроме минут любви и увлечения он не воображал себе другой жизни. Истинная любовь сама в себе чувствует столько святости, невинности, силы, предприимчивости и самостоятельности, что для нее не существует ни преступления, ни препятствий, ни всей прозаической стороны жизни.

Вдруг сани остановились и это прекращение равномерного убаюкающего движения разбудило его.

40 Н.Н. и веселый генерал стояли у подъезда. Последний из всех сил то бил ногою в шатавшуюся и трещающую от его ударов дверь домика, то подергивал за заржавелую изогнутую проволоку, висевшую у притолки, покрикивая при этом довольно громко: «Ей, чавалы! Отпханьте, чавалы!»

Наконец послышался шорох — звук нетвердых, осторожных

шагов в туфлях, блеснул свет в ставнях, и дверь отворилась. На пороге показалась сгорбленная старуха в накинутом на белую рубаху лисьем салопе и с сальной оплывшей свечой в сморщенных руках. По первому взгляду на ее сморщенные, резкие, энергические черты, на черные блестящие глаза и ярко поседевшие черные как смоль волосы, торчавшие из-под платка, и темное кирпичного цвета тело, ее безошибочно можно было принять за цыганку. Она поднесла свечку на уровень лиц Н.Н. и генерала и тотчас, как заметно было, с радостью узнала их.

— Ах, батюшки, господи, Михаил Ник<олаевич>! Отец мой,—¹⁰ заговорила она резким голосом и с каким-то особенным, одним цыганам свойственным выговором.— Вот радость-то! Солнце ты наше красное. Ай и ты, М<иколай> М<иколаевич>, давно не жаловал, то-то девки наши рады будут! Просим покорно, пляску сделаем!

— Дома ли ваши?

— Все, все дома, сейчас прибегут, золотой ты мой. Заходите, заходите.

— Entrons!¹— сказал Н.Н., и все четверо вошли, не снимая шляп и шинелей, в низкую нечистую комнату, убранную, кроме опрятности, так, как обыкновенно убираются мещанские комнаты, то²⁰ есть с небольшими зеркалами в красных рамах, с оборванным диваном с деревянной спинкой, сальными, под красное дерево стульями и столами.

Молодость легко увлекается и способна увлекаться даже дурным, если увлечение это происходит под влиянием людей уважаемых. Alexandre забыл уже свои мечты, а смотрел на всю эту странную обстановку с любопытством человека, следящего за химическими опытами. Он наблюдал то, что было, и с нетерпением ожидал того, что выйдет из всего этого, а, по его мнению, должно было выйти что-нибудь очень хорошее.³⁰

На диване спал молодой цыган с длинными черными курчавыми волосами, косыми, немного страшными, глазами и огромными белыми зубами. Он в одну минуту вскочил, оделся, сказал несколько слов с старухой на звучном цыганском языке и стал, улыбаясь, кланяться гостям.

— Кто у вас теперь дирижером? — спрашивал Н.Н.— Давно уж я здесь не был.

— Иван Матвеевич,— отвечал цыган.

— Ванька?

— Так точно-с.

— А запеваает кто?

— И Таня запеваает, и Марья Васильевна.

¹ Войдем (фр.)

— Маша, которая у Б<рянцова> жила? та хорошенькая? разве она опять у вас?

— Так точно-с,— отвечал, улыбаясь, цыган.— Она приходит на пляску иногда.

— Так ты сходи за ней, да шампанского принеси.

Цыган получил деньги и побежал. Старик генерал сел, как следует старому цыганеру, верхом на стул и вступил в разговор с старухой о всех старых бывших в таборе цыганах и цыганках. Он знал все родство каждой и каждого. Гвардеец толковал о том, что в Москве нет женщин, что приятного у цыган ничего быть не может уже только потому, что обстановка их так грязна, что внушает отвращение всякому порядочному человеку. Хоть бы позвать их к себе — то другое дело. Н.Н. говорил ему, что, напротив, цыгане дома только и хороши, что надобно их понимать и т.д. Alexandre прислушивался к разговорам и, хотя молчал, в душе был на стороне Н.Н., находил так много оригинального в этой обстановке, что понимал, что тут должно быть что-нибудь особенное, приятное. От времени до времени отворялась дверь в сени, в которую врвался холодный воздух и попарно входили цыгане, составлявшие хор: мужчины ²⁰ были одеты в голубые, плотно стягивающие их стройные талии казакины, шаровары в сапоги и все с длинными курчавыми волосами; женщины в лисьих, крытых атласом салопах, с яркими шелковыми платками на головах и довольно красивых и дорогих, хотя и не модных платьях. Цыган принес шампанское, сказал, что Маша сейчас будет, и предлагал начать пляску без нее. Он что-то сказал дирижеру, небольшому, тонкому, красивому малому в казакине с галунами, который, поставив ногу на окно, настроивал гитару. Тот с сердцем отвечал что-то; некоторые старухи присоединились к разговору, который постепенно становился громче и наконец превратился в общий крик; старухи с разгоревшимися глазами размахивали руками, кричали самым пронзительным голосом. Цыгане и некоторые бабы не отставали от других. В их непонятном для гостей разговоре слышалось только часто повторяемое слово: Мака, Мака. Молоденькая, очень хорошенькая девушка Стешка, которую дирижер рекомендовал как новую запевалу, сидела потупя глаза и одна не вступала в разговор. Генерал понял, в чем было дело. Цыган, который ходил за шампанским, обманывал, что Мака, то есть Маша, придет, и они хотели, чтобы запевала Стешка. Вопрос был в том, что Стешке надо было или нет дать 1½ пая.

⁴⁰ — Ей, чавалы! — кричал он,— послушайте, послушайте,— но никто не обращал на него ни малейшего внимания. Наконец кое-как он успел добиться того, что его выслушали.

— Мака не придет? — сказал он,— так вы так и скажите.

— Поверьте моей чести,— сказал дирижер,— Стешка сплетет не хуже ее; а уж как поет «Ночку», так против нее нет другой цыганки,

вся манера Танюши, ведь изволите всех наших знать,— прибавил он, зная, что этим льстит ему.— Извольте ее послушать.

Цыганки в несколько голосов, обратясь к генералу, говорили то же самое.

— Ну ладно, ладно, сабаньте.

— Какую прикажете? — сказал дирижер, становясь с гитарой в руках перед полукругом усевшихся цыган.

— По порядку, разумеется, «Слышишь».

Цыган подкинул ногой гитару, взял аккорд, и хор дружно и плавно затянул «Ведь ли да как ты слы-ышишь...»

10

— Стой, стой! — закричал генерал.— Еще не всё в порядке, выпьемте.

Господа все выпили по стакану гадкого теплого шампанского. Генерал подошел к цыганам, велел встать одной из них — бывшей хорошенькой еще во время его молодости Любаше, сел на ее место и посадил к себе на колени.

Хор снова затянул «Слышишь». Сначала плавно, потом живее и живее и наконец так, как поют цыгане свои песни, то есть с необыкновенной энергией и неподражаемым искусством. Хор вдруг неожиданно замолк. Снова первоначальный аккорд, и тот же мотив повторяется нежным, сладким, звучным голосом с необыкновенно оригинальными украшениями и интонациями, и голосок точно так же становится все сильнее и энергичнее и наконец передает свой мотив совершенно незаметно в дружно подхватывающий хор.

20

Было время, когда на Руси ни одной музыки не любили больше цыганской; когда цыгане пели русские старинные хорошие песни «Не одна», «Слышишь», «Молодость», «Прости» и т.д. и когда любить слушать цыган и предпочитать их итальянцам не казалось странным. Теперь цыгане для публики, которая собирается в пассаже, поют водевильные куплеты, «Две девицы», «Васька-Таньку» и т.д. Любить цыганскую музыку, может быть, даже называть их песни музыкой покажется смешным. А жалко, что эта музыка так упала. Цыганская музыка была у нас в России единственным переходом от музыки народной к музыке ученой. Отчего в Италии каждый лазарони понимает арию Доницетти и Россини и наслаждается ею, а у нас в «Оскольдовой могиле» и «Жизни за царя» купец, мещанин и т.п. любят только декорациями? Я не говорю уже о итальянской музыке, которой не сочувствует и $\frac{1}{100}$ русских абонеров, а выбрал так называемые народные оперы. Тогда как каждый русский будет сочувствовать цыганской песне, потому что корень ее народный. Но мне скажут, что это музыка неправильная. Никто не обязан мне верить; но я скажу то, что сам испытал, и те, которые любят цыганскую музыку, поверят мне, а те, которые захотят испытать, тоже убедятся. Было время, когда я любил вместе и цыганскую и немецкую музыку и занимался ими. Один очень хороший музыкант, мой приятель, немец по музыкальному направлению и по про-

40

исхождению, спорил всегда со мной, что в цыганском хоре есть непростительные музыкальные неправильности, и хотел (он находил, как и все, соло превосходными) доказать мне это. Я писал порядочно, он очень хорошо. Мы заставили пропеть одну песню раз десять и записывали оба каждый голос. Когда мы сличили обе партитуры, действительно, мы нашли ходы квинтами, но я все не сдавался и отвечал, что мы могли записать правильно самые звуки, но не могли уловить настоящего темпа и что ход квинтами, на который он мне указывал, был не что иное, как подражание в квинте, что-то вроде

10 фуги, очень удачно проведенной. Мы еще раз стали писать, и Р. совершенно убедился в том, что я говорил. Надо заметить, что всякий раз, как выходило новое, движение гармонии было то же, но иногда аккорд был полнее, иногда вместо одной ноты было повторение предыдущего мотива, подражание. Заставить же петь отдельно каждого свою партию было невозможно: они все пели первый голос. Когда же начинался хор, каждый импровизировал.

Да извинят мне читатели, которых не интересуют цыгане, это отступление; я чувствовал, что оно неуместно; но любовь к этой оригинальной, но народной музыке, всегда доставлявшей мне

20 столько наслаждения, преодолела.

Во время первого куплета генерал слушал внимательно, иногда улыбался и жмурил глаза, иногда хмурился и неодобрительно качал головой; потом перестал слушать и занялся разговором с Любашей, которая то, показывая свои белые, как перлы, зубы, улыбаясь, отвечала ему, то подтягивала хору своим громким альтом, строго поглядывая направо и налево на цыганок и делая им разные жесты руками. Гвардеец подсел к хорошенькой Стеше и, обращаясь к Н.Н., беспрестанно говорит: «*Charmant, délicieux!*»¹ — или подтягивает ей не совсем удачно, что, как заметно, заставляет перешептываться

30 цыганок и не нравится им, одна даже трогает его за руку и говорит: «Позвольте, барин». Н.Н. с ногами залез на диван и об чем-то шепчется с хорошенькой плясуньей Малашкой. *Alexandre* расстегнул жилет, стоит перед хором и, как видно, с наслаждением слушает. Он замечает тоже, что молоденькие цыганки посматривают на него и, улыбаясь, перешептываются, и он знает, что они не смеются, а любят им, он чувствует, что он очень хорошенький мальчик. Но вдруг генерал поднимается и говорит Н.Н.: «*Non, cela ne va pas sans Машка, ce choeur ne vaut rien, n'est-ce pas?*»² Н.Н., который с самого бала казался каким-то сонным, апатичным, соглашается с ним. Ге-

40 нерал дает деньги бедняжке и не приказывает величать.

— *Partons*³.

¹ «Прелестно, восхитительно!» (фр.)

² «Нет, без Машки не идет, этот хор никуда не годится, не правда ли?» (фр.)

³ Поедем. (фр.)

Н.Н., зевая, отвечает: «Partons». Гвардеец только спорит; но на него не обращают внимания. Надевают шубы и выходят.

— Я не могу спать теперь,— говорит генерал, приглашая Н.Н. садиться в его карету.— Allons au b...¹

— Ich mache alles mit²,— говорит Н.Н., и снова две кареты и сани катятся вдоль молчаливых темных улиц.

Alexandre в карете только почувствовал, что голова у него очень кружилась, он прислонился затылком к мягкой стенке кареты, старался привести в порядок свои запутанные мысли и не слушал генерала, который говорил ему самым спокойным трезвым голосом: «Si ma femme savait que je bamboche avec vous»³.

Карета остановилась. Alexandre, генерал, Н.Н. и гвардеец вошли по довольно опрятной освещенной лестнице в чистую прихожую, в которой лакей снял с них шинели, и оттуда в ярко освещенную, как-то странно, но с претензией на роскошь убранную комнату. В комнате играла музыка, были какие-то мужчины, танцевавшие с дамами. Другие дамы в открытых платьях сидели около стен. Наши знакомые прошли в другую комнату. Несколько дам прошли за ними. Подали опять шампанское.

Alexandre удивлялся сначала странному обращению его товарищей с этими дамами, еще более странному языку, похожему на немецкий, которым говорили эти дамы между собой. Alexandre выпил еще несколько бокалов вина. Н.Н., сидевший на диване рядом с одной из этих женщин, подозвал его к себе.

Alexandre подошел к ним и был поражен не столько красотой этой женщины (она была необыкновенно хороша), сколько необыкновенным сходством ее с графиней. Те же глаза, та же улыбка, только выражение ее было неровное: то слишком робкое, то слишком дерзкое.

Alexandre очутился подле нее и говорил с ней. Он смутно помнил, в чем состоял его разговор; но помнил, что история дамы камелий проходила со всею своею поэтической прелестью в его раздраженном воображении, он помнил, что Н.Н. называл ее Dame aux Camélias, говорил, что он не видал лучше женщины, ежели бы только не руки, что сама Dame aux Camélias молчала, изредка улыбалась, и улыбалась так, что Alexandr'у досадно было видеть эту улыбку; но винные пары слишком сильно ударили в его молодую, непривычную голову.

Он помнил еще, что Н.Н. что-то сказал ей на ухо и вслед за этим отошел к другой группе, образовавшейся около генерала и гвардейца, что женщина эта взяла его за руку и они пошли куда-то.

¹ Едем в б... (фр.)

² Я приму участие (нем.)

³ «Если бы моя жена знала, что я кучу с вами». (фр.)

Через час у подъезда этого же дома все четыре товарища разъехались. Alexandre, не отвечая на adieu Н.Н., сел в свою карету и заплакал, как дитя. Он вспомнил про чувство невинной любви, которое 2 часа тому назад наполняло его грудь волнением и неясными желаниями, и понял, что время этой любви невозвратно прошло для него.

Он плакал от стыда и раскаяния.

И чему радовался генерал, довозивший домой Н.Н., когда он шутил говорил: «Le jeune a perdu son pucelage?»¹ Да, я ужасно люблю сводить хорошеньких».

Кто виноват? Неужели Alexandre, что он поддался влиянию людей, которых он любил, и чувству природы? Конечно, он виноват; но кто бросит в него первый камень? Виноват ли и Н.Н. и генерал? Эти люди, назначение которых делать зло, которое полезно как искушение, придающее больше цены добру? Но виноваты вы, которые терпите их; не только терпите, но избираете своими руководителями.

КТО ВИНОВАТ?

А жалко, что такие прекрасные существа, так хорошо рожденные один для другого и понявшие это, погибли для любви. Они еще увидят другое, может быть, и полюбят; но какая же это будет любовь? Лучше им век раскаиваться, чем заглушить в себе это воспоминание и преступной любовью заменить ту, которую они вкусили хоть на одно мгновение.

¹ Юноша потерял свою невинность? (фр.)

ХАРАКТЕРЫ И ЛИЦА

КОМАНДИР ЧАСТИ — ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Капитан Белоногов уже 4 года командует батареей. Он высок ростом, толст, потен, черты лица его грубо-правильны, но залиты каким-то пьяным и нечистоплотным жиром. Руки его велики, пухлы, но чрезвычайно хороши, хотя вечно грязны, не только ногти и пальцы, но даже мякоть. Волоса его густы, русы, сальны без сала и кольцеобразно лежат на висках и на поднятом хохле. Голос громок, звучен и имеет почти всегда какое-то повелевающее, даже ссорящееся выражение. (Для тебя, Сережа, я просто скажу, что Белоногов сильно Андрей Ильин, но для других я должен объяснить еще, что такое Андрей Ильин. Андрей Ильич — управляющий, его идеал — исправник, и он в достижении его дошел до того, что его принимают иногда за помещика, иногда за отставного поручика. *Андрей Ильич у-у-у-мный человек, голова.* Одно — *пьеть*. Он мастер ходить по судам, запутать ясное дело, глубокомысленно потолковать с секретарем о смысле 365 статьи, напиться чаю или мадеры с столоначальником и, верх наслаждения, предоставить подарочек такому лицу, которому не каждый сумеет предоставить. Зато уж когда он запьет — беда! он раздевается догола и отправляет<ся> —¹⁰ зимой или летом, все равно — в одну известную клумбу в саду, ложится там на живот и плачет; потом приходит домой, просит, покупает или крадет водку, пыхтит, багровеет, бранит свою жену и дочь — которые считают его гениальнейшим человеком и боятся без памяти, и снова уходит в клумбу. Так проходят неделя, иногда две — Андрей Ильич болен.— Выздоровливая, он становится смирен, просит у всех прощенья, а потом вдруг переходит к нормальному самодовольному и самоуверенному состоянию. В делах по хозяйству помещика, семейных и общечеловеческих Андрей Ильич в сущности — мот, деспот, жесток и вообще большой подлец, но он²⁰ добр и умен. Он так сильно убежден в том, что он умнейший человек, что ему и в мысль никогда не приходит укорять себя в чем

то ни было. Он так часто уверяет других в своей высокой добродетели, что сам иногда от души верит в нее. Он никогда не видит полученной услуги, во всех же своих действиях видит безвозмездные благодеяния, за которые он не думает и не хочет получать благодарности, которой, по его мнению, нет в людях. Андрей Ильич поет горловым басом, но с такой самоуверенностью, что многие убеждены, что действительно всегда так надо петь. Андрей Ильич любит пышность и так называемый русский разгул, но вместе с тем он считает себя тонким знатоком московской политики, которую, по его мнению, сейчас можно отличить от тульской.)

Белоногов говорит хорошим русским языком — иногда только запинаясь, и то тогда, когда ему слишком захочется вернуть любимое словечко, как например: *кара, перст, теплое чувство* и т.д. И часто громко смеется — *своему смеху*. Он нечистоплотен до последней крайности и без малейшего сознания.

Он служил когда-то в штабах, писал бумажки и, как целый известный класс у нас в России людей среднего образования, гордится и счастлив тем, что мастер сочинить тонкую канальскую бумажку. Меньшой брат его, человек в его же роде, старший адъютант, и когда они сходятся, разговор их сейчас же принимает вид форменной переписки.

— Уж ты мне не говори, *братюга*, — говорит старший брат, — чтоб начальник дивизии мог изменять распоряжения начальника артиллерии.

— Да уж я тебе говорю, что может: на это закон. Он предписывает мне, положим, 3-ю легкую отправить на поправку, а 7-ю легкую оставить на позиции, я и пишу ему: «На основании предписания Вашего Превосходительства имею честь донести, что, так как 7-я легкая, находясь там-то, сделав такие-то и такие-то походы, пришла в расстройство, а 3-я легкая находилась на месте, я предписал во исполнение предписания Вашего Превосходительства 4-й легкой заступить место 7-ой легкой, а 3-ей легкой остаться на прежней позиции». Номер и число, и баста.

— Хорошо, а я пишу, — говорит старший брат, — что так как Вашему Превосходительству неизвестны цели распределения артиллерии, то и считаю неуместным вмешательство Вашего Превосходительства и предлагаю исполнить в точности предписание от такого числа за № таким-то.

— Ну что ты говоришь.

40 — Да так.

— Ну ты ведь уже все говоришь по-своему.

— Да так, — говорит старший брат с самодовольным смехом и, нахмуривая брови и стуча по столу, говорит: — а ежели ты предписание мое не исполнишь, то пишу... — и снова, не запинаясь, диктует выговор. — Не бойсь, братец, я 20 лет служил в штабе. Коли старший адъютант не дурак, так начальник дивизии пешка.

Младший брат стучит кулаком по столу и диктует еще бумагу, и так продолжается разговор часа два, до тех пор, пока оба брата вспотеют и охрипнут.

Белоногов любит царя и Россию, но странным образом: он без слез не может говорить о царском смотре и юбилее Михаила Павловича и Исакиевском соборе; но солдат и мужик, в его глазах, скот, презренное создание. Он честен, не затаит чужих денег, не будет унижаться ни перед кем; но брать с казны все, что может, и сносить всякого рода оскорбления от старшего он считает своей обязанностью. Он хороший семьянин, любит свою жену и детей. 10
«Но уж нет,— и он ударяет кулаком по столу,— муж глава и юбки молчи!» Он любит выказывать себя: всякую услугу он делает с эффектом и даже обязанность свою, приятную для других, выполняет как благодеяние. Он хочет казаться человеком, под личиной грубости и сальности скрывающим высокие чувства, патриотизм, молодечество и ум, тогда как он в самом деле не добродетелен, не патриот, не молодец и не далекого ума, а просто груб и сальен. У него ноги немного иксом и сапоги всегда стоптаны, но он любит казаться русским молодцом, встряхивающим русыми кудрями, и перед фронтом глаза у него разгораются и походка делается гордая. Он 20
забыл все, что знал, и, как человек с умом изворотливым, доказывает бесполезность образования, однако говорит «коклеты» и «палталоны» и огорчился бы очень, ежели бы ему сказали, что говорят «панталоны». Он считает обязанностью брать с лошадей и едва ли удерживается от пользования с людей; но считает это дурным и стыдится того, ежели и делает. С людьми он не жесток, но считает жестокость достоинством: *вписать* 300 — лихо! С офицерами он снисходителен, слаб, но груб до крайности. Его правило общежития — считать себя выше всех. В нем есть и рыцарство, он сочувствует угнетенному и противится угнетателю; но первого он оскорбляет своим сочувствием, перед вторым изобличает свою слабость — раздражительностью. Он каждый день пьян к вечеру, и тепел, откровенен, ребячлив, зато утром шалает и боится своего накануне. Никто не может любить его очень, но это один из тех характеров, от которых мало требуют и которыми все довольны. Его любят — он офицер хороший.

ДЯДЕНЬКА ЖДАНОВ И КАВАЛЕР ЧЕРНОВ

Хочу рассказать простую историю двух людей, которых я знал долго и так близко, как знают только товарищей. Одного из них я очень любил, а над участью другого часто горько задумывался. Это были два солдата в батарее, в которой я служил юнкером на Кавказе и которых обоих уж нет на этом свете. В 1828 году в партии рекрут пригнали их на линию.

Один из них, Чернов, из дворовых людей Саратовской губернии, был высокий стройный мужчина с черными усиками и бойкими разбегавшимися глазами. На Чернове была розовая рубаха — он весь поход играл на балалайке, плясал, пил водку и угашивал товарищей.

Другой рекрут, Жданов, из крестьян той же губернии, был невысокий мясистый парень лет девятнадцати с большими круглыми голубыми глазами и белым стриженным затылком.

У Жданова всего имущества было четыре рубахи, складной ножик и двугривенный денег. Он не мог поить товарищей, но так же, как и они, старался отуманиться вином и весельем. Веселье его, однако, было как-то неловко и жалко. Раз его напоили, и он тоже пошел плясать на цыпочках по-солдатски, но вдруг расплакался, бросился на шею Чернову и <начал> приговаривать такую дичь, что всем смешно стало. На другой день он сам поставил косуху и опять плакал. Большую часть времени походом он спал, а ежели не спал, то подходил к Чернову и, разинув рот, слушал его рассказы, прибауточки и все смеялся.

Унтер-офицер, который гнал партию и которого Жданов боялся как огня, передал фелдвებელу в роте, что из рекрутов солдат бойкий выйдет Чернов и другие хорошие есть, а что Жданов вовсе дурачок и что над ним много битья будет. И действительно Жданову битья много было. Его били на ученье, били на работе, били в казармах. Кротость и отсутствие дара слова внушали о нем самое дурное понятие начальникам, а у рекрутов начальников много: каждый солдат годом старше его мыкает им куда и как угодно.

В первое время переход от слабого присмотра, который бывает за рекрутами, к строгости и даже несправедливости обращения с молодыми солдатами на месте совершенно озадачил бедного Жданова. Он вообразил, что он очень дурен и что ему нужно стараться быть лучшим, и начал стараться. Он сделался усердным — до глупости, но положение его от этого становилось еще хуже. У него не было минуты отдыха: каждый солдат помыкал им, как мальчишкой, и считал себя вправе требовать от него того, что он делал по собственной охоте, и взыскивать с него. Когда он наконец понял, что усердие вредит только его положению, им овладело отчаяние. 10 «Так что же это в самом деле! — думал он, — что делать? Так вот оно солдатство!» — и бедняк не видел исхода и горько плакал по ночам на своем наре.

Моральное состояние это продолжалось недолго — исхода действительно не было. Одно оставалось — терпеть. И он терпел не только безропотно, но с убеждением, что одна обязанность его терпеть и терпеть.

Его выгоняли на ученье, он шел, давали в руку тесак и приказывали делать рукой так, он делал, как мог, его били — он терпел. Его били не затем, чтобы он делал лучше, но затем, что он солдат, а 20 солдата нужно бить. Выгоняли его на работу — он шел и работал, и его били, его били опять не затем, чтобы он больше или лучше работал, но затем, что так нужно. Он понимал это. Кончалась работа или ученье — он шел к котлу, брал кусок хлеба, садился поодаль и кусал свой кусок, ни о чем не думая. Как только в голову ему заходила мысль, он пугался ее, как нечистого наваждения, и старался заснуть. Когда старший солдат подходил к нему, он снимал шапку, вытягивался в струнку и готов был со всех ног броситься, куда бы ни приказали ему, и, ежели солдат поднимал руку, чтоб почесать в затылке, он уже ожидал, что его будут бить, жмурился и морщился. 30

ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА ШТАБС-КАПИТАНА А. ПЕХОТНОГО Л.Л. ПОЛКА

Еще месяца полтора тому назад говорил мне Федор Карлыч, что великий князь приедет сюда на место Горчакова и что государь в Николаеве; потом говорили, что вздор, потом опять уверяли, что уж его лошади в Симферополе, и опять оказывалось, что вздор. Так что я новости эти невольно отнес к разряду наших армейских госпитальных новостей — вроде тех, что Наполеон убит, что Виктория приняла личное начальство над войском, что в<еликий>
10 к<нязь> Константин идет с американским флотом нам на выручку, и перестал думать. Но вчера квартирмейстер, приехав из Симферополя, рассказывал наверно, что государь будет. Он говорил, что в Симферополе

СТИХОТВОРЕНИЯ

К ЗАПАДНЕ

Из-под старого строения
Средь покинутой земли
Полз мышонок. От волнения
Он дрожал и от любви.
Он сгорал любовью тайной,
Не любивши никогда,
И искал любви случайной,
Как на Невском господа.
Вдруг услышав над доскою
Нежной мышки голосок,
Сокрушен ее тоскою,
Он владеть собой не мог.
Разлетелся и, несчастный,
К ней на голос прибежал.
Рок постиг его ужасный:
В мышеловку он попал.
Затворилася задвижка —
И мышонок взаперти.
Но и тут сумел воришка
Утешение найти.
К даме-мышке деликатно
Подскочил он и так рёк:
«Коль любить меня обратно
Захотите, то я рок
Проклинать не буду вечно,
Съем огарок с вами весь,
Вас любить буду сердечно
В жизни будущей и днесь».

10

20

<«ДАВНО ПОЗАБЫЛ Я О СЧАСТЬИ...»>

Давно позабыл я о счастье —
Мечте позабытой души —
Но смолкли ничтожные страсти
И голос проснулся любви.....
На небе рассыпаны звезды;

10

Все тихо и темно, все спит.
Огни все потухли: уж поздно,
Одна моя свечка горит.
Сажу у окна я и в мысли
Картины былого слезу,
Но счастья во всей моей жизни
Минуту одну нахожу:
Минуту любви, упования,
Минуту без мысли дурной,
Минуту без тени желанья,
Минуту любви неземной.....

20

.....
И тщетно о том сожаленье
Проснется в душе иногда
И скажет: зачем то мгновенье
Не мог ты продлить навсегда?

30 декабря 1852.
Старогладковская

<«КОГДА ЖЕ, КОГДА НАКОНЕЦ ПЕРЕСТАНУ...»>

20 ноября

Когда же, когда наконец перестану
Без цели и страсти свой век проводить,
И в сердце глубокую чувствовать рану
И средства не знать, как ее заживить.

*

Кто сделал ту рану — лишь ведает Бог.
Но мучат меня от рожденья
Грядущей ничтожности горький залог,
Томящая грусть и сомненья.

Симферополь

<«КАК ЧЕТВЕРТОГО ЧИСЛА...»>

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы отбирать. (bis)

Барон Вревский-генерал
К Горчакову приставал,
Когда под-шафе: (bis)

«Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу». (bis)

Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже Плац-Беккок. (bis)

10

Полицмейстер Плац-Беккок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать. (bis)

Долго думали, гадали,
Топографы все писали
На большом листу. (bis)

Чисто вписано в бумаги,
Да забыли про овраги,
Как по ним ходить. (bis)

20

Выезжали князя-графы,
А за ними топографы
На большой редут. (bis)

Князь сказал: «Ступай, Липранди»,
А Липранди: «Нет-с, атанде,
Нет, мол, не пойду. (bis)

Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю». (bis)

30

Вдруг Реад возьми, да спросту,
И повел нас прямо к мосту:
«Ну-ка, на уру». (bis)

Мартенау умолял,
Чтоб резервов обождал,—
«Нет, уж пусть идут». (bis)

Генерал же Ушаков,
Тот уж вовсе не таков,
Все чего-то ждал! (bis)

40

Долго ждал он дожидался,
Пока с духом он собрался
Речку перейти. (bis)

На уру мы зашумели,
Да резервы не успели,
Кто-то переврал. (bis)

На Федюхины высоты
Нас пришло всего три роты,
А пошли полки. (bis)

50

Наше войско небольшое,
А француза было втрое
И секурсу тьма. (bis)

Ждали — выйдет с гарнизона
Нам на выручку колонна,
Подали сигнал; (bis)

А там Сакен-генерал
Всё акафисты читал
Богородице. (bis)

60

А Белевцев-генерал,
Он все знамя потрясал,
Вовсе не к лицу. (bis)

И пришлось нам отступать
.....
Кто туда водил. (bis)

План в м. Сербск
Квартер мичманов
Роски (замысел) (6 м)
Автографы князя Франца
и грини монумента
на багнетный фидель (6 м)

1861

ЗАПИСЬ В АЛЬБОМЕ Т. А. БЕРС
Автограф

ПРИЛОЖЕНИЕ

САНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ФРАНЦИЮ И ИТАЛИЮ¹

— Это дело,— сказал я,— лучше решили бы во Франции.

— А вы были во Франции? — сказал мой собеседник, обратившись ко мне с видом самого учтивого торжества.

«Странно,— подумал я, разбирая это дело с самим собою,— что плавание на пространстве двадцати одной мили, потому что положительно больше не будет от Дувра до Кале, может дать человеку такие права. Я их рассмотрю...» Итак, оставив спор, я прямо пошел¹⁰ на мою квартиру, сложил полдюжины рубашек и пару черных шелковых штанов. «Фрак, который на мне,— сказал я, посмотрев на рукава,— сойдет»... взял место в Дуврском дилижансе; и так как корабль отправлялся в девять часов следующего утра... в три я сидел за моим обедом из цыплячьего фрикасе, так неоспоримо во Франции, что ежели бы я в ту же ночь умер от расстройства в желудке, целый свет не мог бы остановить действий *droits d'aubaine*²: мои рубашки, черная пара шелковых штанов — чемодан и все пошло бы к королю Франции — даже этот маленький портрет, который я так долго носил и так часто говорил тебе, Элиза, что я унесу с собою в²⁰ могилу, сорвали бы с моей шеи! Невеликодушно!

Отбирать вещи неосторожного путешественника, которого ваши же подданные заманили на свою сторону. Ей-богу, государь, это нехорошо! Тем более нехорошо и тем более верно мое замечание, что вы владетель народа столь образованного, столь учтивого и столь известного нежностью своих чувств и прекрасными наклонностями.

И только что я поставил ногу на ваши владения...

¹ Путешествие это не окончено и простирается не дальше посещения его Лиона. (Прим. Л.Н.Толстого.)

² Путешествие это было предпринято <в> 1762 году. Франция находилась в войне с Англиею. (Прим. Л.Н.Толстого.) <Droits d'aubaine — закон, по которому имущество умершего во Франции иностранца составляло собственность короля.>

Кале

Когда я кончил свой обед и выпил за здоровье французского короля, чтобы успокоить себя в том отношении, что я не чувствую против него злобы, а, напротив, высокое уважение, за его человеколюбивый характер, я встал на палец выше от этого примирения.

«Нет,— сказал я,— род Бурбонов ни в каком случае нельзя назвать жестоким родом: они могут быть обманываемы, как и все; но есть какая-то нежность в их крови». Убедившись в этом, я почувствовал особенного рода теплоту на моей щеке, приятнее и нежнее, чем то могла произвести бутылка бургонского, которую я выпил и 10 которая стоила по крайней мере два ливра. «Боже всемогущий! — сказал я, оттолкнув в сторону мой чемодан,— что же такого есть в благах сего мира, что разжигает наши умы и заставляет столько добросердечных братьев ссориться между собою так жестоко, как мы это делаем?»

Когда человек в мире с другими людьми, самый тяжелый металл кажется легче пера в его руке! Он вынимает свой кошелек, держит его открытым и незавязанным, как будто ищет предмета, с которым бы разделить его. Сделав это, я почувствовал расширение каждой жилы в моем теле — артерии все бились так приятно — в одно 20 время, и все силы, которые поддерживают нашу жизнь, исполняли свою обязанность так незаметно, что самая начитанная *précieuse*¹ во Франции, со всем ее матерьялизмом, не могла бы назвать меня машиной.

Я убежден, сказал я сам себе, я опровергнул бы ее *credo*.

Прибавление этой мысли, в это время, возвело мою натуру на высочайшую ступень — я был уже примирен со всем светом; а это побудило меня заключить окончательный мир и с самим собою. «Теперь, будь я король Франции,— воскликнул я,— какая удобная минута для сироты просить у меня чемодан своего батюшки!» 30

Кале Монах

Не успел я произнести этих слов, как бедный монах ордена Св. Франциска взошел в комнату просить что-нибудь для своего монастыря.

Никто не хочет, чтобы его добродетели были игрою случая — *sed non quo ad hanc*² — как бы то ни было; но, так как нет правиль-

¹ жеманница (*фр.*)

² но не в применении к данному случаю (*лат.*)

ного рассуждения о приливах и отливах хорошего и дурного расположения нашего духа, можно предположить, что они зависят от тех же самых причин, как и приливы и отливы моря,— право, нам не обидно бы было допустить это, по крайней мере, что до меня касается, я уверен, я бы был более доволен, ежели бы про меня сказали, что я имел дело с Луною, в котором не было ни стыда, ни греха, чем говорили бы про мой собственный — свободный поступок,— в котором было бы то и другое.

Но как бы то ни было, только что я взглянул на него, я почувствовал, что мне предопределено не дать ему ни копейки, сообразно с этим я положил кошелек в карман, застегнулся, оперся более на центр своей тяжести и важно подошел к нему; я боюсь вспомнить, но мне кажется, было что-то отталкивающее в моем взгляде: его лицо еще теперь перед моими глазами, я думаю, в нем было что-то заслуживающее лучшего.

Монаху, сколько я мог судить по его плешивой голове и редким седым волосам на висках, было около семидесяти; но, судя по глазам и тому роду огня, который был в них и который, казалось, был умерен более учтивостью, чем годами, ему было не более шестидесяти. Истина была между обоими предположениями. Ему, верно, было шестьдесят пять.

Вообще его вид и поза, несмотря на то, что морщины покрыли его лицо, как казалось, прежде времени, подтверждали это предположение.

Это была одна из тех голов, которые так часто писал Гвидо,— нежная, бледная, пронизательная — без обыкновенного, такого рода людям, выражения — грубого и самодовольного невежества; он не смотрел в землю; напротив, взор его был устремлен вперед, и казалось, он смотрел на что-то, находящееся вне этого мира. Каким образом бросило Небо эту голову на плечи монаху его ордена, знает лишь оно само; но она лучше бы пристала брамину, и, ежели бы я встретил ее в долинах Индостана, я бы почтил ее.

Остальной вид его наружности может быть передан в нескольких чертах. Легко можно было обозначить его, потому что в нем не было ничего, ни привлекательного, ни другого, исключая того, что выражение делало таким: он был худ, щедушен, ростом немного выше обыкновенного; фигура его не теряла общего выражения достоинства от складки впереди; но это было положение просителя; как теперь представляется он моему воображению — он этим более выигрывал, чем проигрывал.

Сделав в комнате три шага, он остановился и положил левую руку на грудь (в правой он держал большой белый посох, с которым он странствовал). Когда я вплоть подошел к нему, он ввел себя маленьким рассказом о нуждах своего монастыря и бедности своего ордена — он сделал это так просто, так мило, и такая скромность

видна была в его лице и взглядах, что надо было мне быть заколдовану, чтобы не быть тронуту этим.

Нет, была лучше причина: мне было предопределено не дать ему ни копейки.

Монах

Кале

— Да, это правда,— сказал я, отвечая на его поднятие глаз кверху, которым он заключил свою просьбу.— Да, это правда, помогай Бог тем, которые не имеют другой помощи, как милосердие людей; но я боюсь, что милосердие далеко не достаточно для стольких беспрестанных и больших требований, которыми утруждают его.¹⁰ Когда я произнес слова «больших требований», взгляд его упал на рукав своей рясы — я почувствовал всю силу этого довода.— Я признаю это,— сказал я,— грубое платье, и то одно в три года, скудная пища: вещь неважная; но дело в том — жалко, что и это добывается вашим орденом с такими малыми усилиями, пользуясь частью, составляющей собственность хромым, слепым, старым и убогим. Узник, который ложится на жалкую постель свою, ежедневно считая и пересчитывая дни своего несчастья, изнывает по этой же части, которую вы отнимаете у него. Ежели бы вы были ордена *de la merci*, вместо того чтобы быть ордена Св. Франциска, как я ни беден,— продолжал я, указывая на свой чемодан,— с радостью был бы он открыт вам: для выкупа несчастных.— Монах поклонился мне.— Но перед всеми другими,— заключил я,— несчастные нашего отечества имеют преимущество, а я оставил тысячи таковых на нашем берегу.— Монах сделал движение головой, которое ясно выражало его сердечную мысль — «без сомнения, не в одном нашем монастыре есть бедность — ее довольно во всех углах этого света». Но мы различаем,— сказал я, положив руку на рукав его рясы, в ответ на его возражение,— мы различаем, добрый отец, тех, которые едят хлеб своих трудов, и тех, которые едят хлеб, приобретенный трудами других, имея совсем особый план в жизни: жить в бездействии и невежестве *из любви к Богу*.³⁰

Бедный францисканец не сделал никакого возражения; краска одну минуту покрыла его лицо, но не осталась. Казалось, натура совершенно уничтожила в нем начало неприязненности. Он мне не показал ее. Но, выпустив из руки посох, который упал на его плечо, и прижав с выражением покорности обе руки к груди, он удалился.

Монах

Кале

У меня что-то защемило в сердце в ту самую минуту, как он заворил за собою дверь. «Пора!» — сказал я три раза сряду, стараясь принять вид беззаботности; но я не мог этого сделать; каждый неприятный слог, произнесенный мною, представлялся опять моему воображению.

Теперь я рассуждал, что я не имел никакого права на бедного францисканца — я мог отказать ему, но один отказ должен был ¹⁰ быть достаточно неприятен без прибавления неучтливового разговора.

Я воображал себе его седые волосы — приятное лицо его, казалось, было опять передо мною и учтиво спрашивало меня: какую сделал я вам обиду? и за что вы со мною так обошлись? Я двадцать ливров дал бы за адвоката. «Я очень дурно поступил,— сказал я сам себе,— но я только что начинаю свое путешествие — в продолжение его я постараюсь выучиться хорошему обхождению».

La désobligeante¹

Кале

Состояние человека, недовольного самим собою, имеет выгоду в ²⁰ том отношении, что ставит в наилучшую настроенность духа для совершения покупки; и, так как теперь нельзя путешествовать через Францию и Италию, не имея своего экипажа, а природа всегда побуждает к избранию удобнейшего средства, я вышел на каретный двор, чтобы нанять или купить что-нибудь в этом роде, для моего употребления: старая *désobligeante* в самом дальнем углу двора с первого взгляда привлекла мое внимание; я тотчас же вошел в нее, и, найдя ее совершенно удовлетворительной, я велел сторожу послать ко мне Mons. Dessein, хозяина отеля. Но Mons. Dessein был у вечерни. И, чтобы не сойтись лицом к лицу с францисканцем, которого я видел на другом конце двора в разговоре с какою-то ³⁰ барыней, которая только что приехала в гостиницу, я задернул тафтяную стору между нами и, решившись писать мое путешествие, вынул перо и чернильницу и стал писать предисловие в *désobligeante*.

¹ Карета (фр.)

Предисловие в *désobligeante*

Должно быть, уже было замечено многими перипатетическими философами, что природа своей неоспоримую властью положила известные пределы, которыми ограничила меру неприятностей для человека. Она исполнила это удобнейшим и покойнейшим образом, положив ему между многими другими неотстраняемыми обязанностями — работать для своего удобства и переносить страдания — дома. Там только она снабдила его всеми нужными предметами, для того чтобы делить радость и уметь легче переносить часть той тяжести, которая всегда и везде была слишком тяжела для одной пары человеческих плеч. Правда, мы одарены некоторою несовершенною способностью иногда распространять свою радость из ее границ; но свет так устроен, что от неспособности изъясняться на другом языке, от недостатка связей и знакомств и от различия воспитаний, обычаев и привычек мы столько встречаем препятствий в сообщении наших впечатлений вне нашей сферы, что даже эти препятствия часто равняются совершенной невозможности. Из этого следует, что перевес сантиментальной торговли всегда против выехавшего из отечества искателя приключений: он должен покупать то, что ему почти совсем не нужно, за ту цену, за которую предлагают; при обмене разговоров он должен отдавать свой за первый попавшийся; и то его разговор никогда не возьмут за свой без большого для него убытка, беспрестанно нужно ему менять корреспондентов и искать более верных. Не нужно много проницательности, чтобы угадать его участь.

Это рассуждение прямо и естественно приводит меня к моему предмету и, ежели колебание этой *désobligeante* позволит мне, к изложению начал и основных причин путешествий.

Люди праздные покидают свою родную сторону и отправляются путешествовать под какими бы то ни было предлогом или предложениями, всегда по одной из этих главных причин: убогость тела, расстройство рассудка, неизбежная необходимость.

Первые два разряда включают в себя всех путешествующих по суше и по морю и трудящихся из гордости, любопытства, тщеславия или сплина, с бесконечными подразделениями и сочетаниями. Третий класс включает в себя все легионы странствующих мучеников; в особенности к этому разряду принадлежат: путешественники, отправляющиеся по преимуществу духовенства¹, преступники, путешествующие под присмотром губернаторов, по уголовным делам, молодые баричи, высланные жестокостью родителей и опе-

¹ «*A benefit of the clergy*» означает исключительное право, существовавшее еще в прошлом веке, духовенства быть судимым только своими духовными, а не местными судами. (Прим. Л. Н. Толстого.)

кунов и путешествующие под предводительством наставников, рекомендованных Оксфортом, Аберденом или Глазгофом.

Есть еще четвертый класс путешественников, но число их так незначительно, что они не стоили бы особого отдела, ежели бы не требовалось соблюдать величайшую точность и ясность в сочинении такого рода для избежания запутанности в характерах. Люди, про которых я хочу говорить, суть те, которые по разным причинам и под разными предлогами переезжают моря и проживают в иностранных землях с целью сбить копейку; но, так как они могли бы
10 избавить и себя и других от большей части ненужных хлопот, собирая деньги дома, и так как причины, заставляющие их путешествовать, гораздо разнороднее причин других путешественников, я обозначу этих господ под общим названием — простых путешественников. Итак, весь круг путешественников может быть приведен к следующим главам:

Праздные путешественники,
Любопытные путешественники,
Лгуны путешественники,
Гордые путешественники,
20 Тщеславные путешественники,
Одержимые сплином путешественники;

потом следуют путешественники по необходимости:

Преступные и вероломные путешественники,
Несчастные и невинные путешественники,
Простые путешественники;

и наконец, ежели позволите:

Сантиментальный путешественник

(я подразумеваю самого себя), который тоже путешествовал и про которого я сей час уведомлю, столько же по необходимости и по
30 желанию путешествовать, как каждый из какого бы то ни было разряда. Я в полном убеждении, что мои путешествия будут совершенно отличного рода от путешествий моих предшественников, и потому я мог бы требовать совершенно особое местечко для себя одного; но это было бы завладением правами тщеславного путешественника; желая обратить на себя особое внимание, я это сделаю только тогда, когда буду иметь на это другие права, кроме оригинальности моего экипажа. Для моего читателя достаточно, ежели он был путешественником, очень мало изучения и размышления, чтобы найти себе приличное место и положение в моем каталоге,—
40 это будет шаг к познанию самого себя; и хотя в настоящее время в нем может быть большая перемена, но он не мог не удержать оттенка или сходства с тем, что он приобрел и чем напитался в своих путешествиях.

Тот, который первый вздумал пересадить бургундскую лозу на мыс Доброй Надежды (заметьте, это был голландец), и не мечтал о том, чтобы пить на мысе то же самое вино, которое производила та же самая лоза на французских горах,— он был слишком флегматичен для этого; но, верно, он не мог не надеяться пить, по крайней мере, какой-нибудь род винной жидкости; но хорошей ли, дурной или посредственной, он понимал очень хорошо, что это не зависит от его выбора, но что то, что называют судьба, должно было решить его успех; однако он надеялся на лучшее: в этой надежде и в неумеренной уверенности на силу своей головы и глубину своего 10 благоразумия mein Herr¹ мог потерять то и другое от своего виноградника, при открытии наготы которого сделавшись посмешищем народа. Не то же ли и случается с бедным путешественником, плавающим по морям и разъезжающим по почтовым дорогам всех просвещеннейших государств земного шара, отыскивая познания и открытия?

Можно приобрести сведения о науках и открытиях, путешествуя по суше и по морю с этою целью; но приобрести действительно полезные познания — чисто случай. И ежели даже искатель приключений, положим, успеет в этом, все-таки приобретенный запас надо 20 употреблять с осторожностью и умеренностью, чтобы обратить его в свою пользу. Но так как судьба редко способствует как приобретениям, так и приложению их, то я того мнения, что, ежели человек может взять на себя жить довольным, не отыскивая за границу сведений и познаний, особенно ежели он живет в государстве, которое не бедно ими, поступил бы весьма благоразумно. Сколько раз болело у меня сердце, следя за бесчисленным множеством шагов, которые делает любопытный путешественник, отыскивая виды и открытия такие, которые, как говорит справедливо Санхо Пансо Дон Кихоту, прекрасно мог бы видеть и дома. Теперь такое просвещенное 30 время, что нет ни одного угла в Европе, куда бы не доставали лучи просвещения и где бы не обменивались они.

Просвещение во всех отраслях можно сравнить с музыкой во всех италиянских улицах — им можно пользоваться бесплатно.

— Нет государства под луною, и Бог мне судья (потому что рано или поздно я дам ответ Ему за эти слова), что я говорю это не из тщеславия, нет государства под луною, изобилующего таким разнообразием познаний и в котором бы так ценили науки и дорожили ими,— страны, где бы можно было их легче приобрести, где бы искусства так поощрялись и так скоро доходили до совершенства, на- 40 рода, которому природа так мало способствовала бы в этом и, наконец, рассудок которого находил бы более пищи в разнообразии характеров. Куда же вы идете, мои любезные соотечественники?

¹ мой господин (нем.)

— Мы только смотрим на эту карету,— отвечали они.

— Ваш покорнейший слуга,— сказал я, выскочив из нее и приподняв мою шляпу.

— Мы удивлялись,— сказал один из них, который, как я нашел, был любопытный путешественник,— что производило колебание этой кареты.

— Оно,— отвечал я холодно,— происходило от беспокойства человека, пишущего предисловие.

— Я никогда не слыхивал,— сказал другой, который был про-
стой путешественник,— о предисловии, писанном в *désobligeante*.

— Да,— сказал я,— оно лучше бы вышло в *vis-à-vis*.

Но, так как англичанин путешествует не для того, чтобы видеть англичан, я удалился в свою комнату.

Кале

Я заметил, что что-то затемняло коридор более, чем то могла произвести моя особа, подходя к своей комнате; это действительно был *Mons. Dessein*, хозяин отеля, он только что пришел от вечерни и с шляпой под мышкой следовал за мною, напоминая мне, что я его требовал. Писанное предисловие в *désobligeante* совершенно разочаровало меня от нее; и *Mons. Dessein*, говоря про нее, пожал плечами так, что ясно было: этот экипаж ни в каком случае не мог мне годиться; я тотчас вообразил, что он принадлежит какому-нибудь невинному путешественнику, который, возвратившись домой, положился на честь *Mons. Dessein*, поручив ему взять за нее, что можно. Четыре месяца эта карета стояла уже в углу двора *Mons. Dessein*, сделав круг Европы. Выехав с того же места и сильно пострадав на горе Ценисо, она ничего не выиграла в этих приключениях и тем менее выиграла стоянием стольких месяцев в жалком по-
ложении, в углу каретного двора *Mons. Dessein*.

Но что много про это говорить; однако можно сказать несколько слов — когда несколько слов могут облегчить тяжесть горя, я ненавижу человека, который скуп на них.

— Будь я теперь хозяином этого отеля,— сказал я, положив указательный палец на грудь *Mons. Dessein*,— я бы всячески старался сбить эту *désobligeante* — она беспрестанно делает вам упреки, когда вы проходите мимо ее.

— *Mon Dieu*¹,— сказал *Mons. Dessein*,— мне нет никакого расчета...

— Исключая того, который людей с известным направлением

¹ Боже мой (*фр.*)

заставляет дорожить своими ощущениями,— я уверен, что человек, который чувствует за других так же, как и за себя,— как вы ни скрывайте, всякая дождливая ночь должна производить на вас тягостное впечатление — вы страдаете, Mons. Dessein, не менее самой кареты.

Я заметил, что когда в комплименте есть столько же кислого, сколько и сладкого, англичанин приходит в затруднение, принять ли или нет его; француз же никогда, Mons. Dessein поклонился мне.

— *C'est bien vrai!*,— сказал он,— но в этом случае для меня только переменится род беспокойства, и с невыгодой, представьте себе, милостивый государь, отдав вам эту карету, которая распадется на куски, прежде чем вы проедете половину дороги до Парижа. Представьте себе, как я буду мучиться тем, что дал о себе дурное впечатление человеку благородному и отдал себя на осуждение человека умного.

Доза лести аккуратно была отмерена по моему собственному рецепту; я не мог не принять ее — и, возвратив Mons. Dessein его поклон, без дальнейших околичностей мы отправились вместе смотреть его каретный магазин.

На улице Кале

20

Наш свет должен быть очень зазорный; свет — когда покупатель (даже жалкой кареты) не может выйти с продавцом оной кончить дело между собою на улице, чтобы мгновенно не впасть в то же самое расположение духа и не смотреть на него такими же глазами, как будто идет с ним к Heide Park — драться на дуэли. Что до меня касается, то, так как я плохой боец и чувствовал, что не могу быть соперником Mons. Dessein, я чувствовал в душе своей те же милые порывы, которые бывают при этом обстоятельстве. Я насквозь хотел рассмотреть Mons. Dessein, смотрел на него, когда он шел, в 30 профиль, потом en face, мне казалось, что он то жид, то турок, мне не нравился его парик, я вызывал проклятие на его голову — посылаю его к черту.

И все это запало мне в сердце, за жалкий начет трех или четырех louis d'or, которые я мог переплатить. «Низкая страсть! — сказал я, повернувшись, как то делает человек, чувство которого мгновенно переменялось,— низкая, грубая страсть! Твоя рука всегда против другого человека, а рука другого человека всегда против тебя». — «Избави Бог», — сказала она, подняв руку к своему лбу, потому что

¹ Совершенно верно (фр.)

я, повернувшись, очутился лицо с лицом с барыней, которую я видел в разговоре с монахом,— она шла за нами так, что мы ее не заметили. «Разумеется, избави Бог»,— сказал я, предлагая ей свою руку; на ней были надеты перчатки, открытые на больших и указательных пальцах, она приняла мое предложение, и я повел ее к двери каретного сарая.

Mons. Dessein пятьдесят раз послал ключ к черту, прежде чем заметил, что тот, с которым он пришел, не был настоящий; мы так же, как и он, с нетерпением ожидали, чтобы он отпер, и так были внимательны ко всем препятствиям, что я продолжал держать ее руку, сам не замечая этого, так что Mons. Dessein оставил нас вместе — ее рука в моей и лицами, обращенными к дверям каретного сарая, сказав, что он вернется через пять минут.

Разговор — пятиминутный — в таком положении стоит много других разговоров, ежели бы лица наши были обращены на улицу. В этом последнем случае разговор зависел бы от наружных предметов и обстоятельство; но с взорами, устремленными на одну неподвижную точку, разговор зависел от нас самих. Минутное молчание после того, как Mons. Dessein оставил нас, могло быть пагубно для этого положения — она бы непременно отвернулась; итак, я сейчас же начал разговор.

Какие были искушения (так как я пишу не для того, чтобы извинять слабости моего сердца в этом путешествии), будет описано с тою же простотою, с какою я их чувствовал.

Дверь каретного сарая

Кале

Когда я сказал читателю, что я не вышел из *désobligeante*, потому что видел монаха в разговоре с барыней, только что приехавшей в гостиницу, я сказал правду — но не всю правду, потому что я был 30 удержан от этого столько же и лицом самой барыни. Подозрение пробежало в моей голове; и я сказал: он рассказывал ей, что случилось; что-то во мне говорило это, я желал, чтобы монах был в своем монастыре.

Когда сердце летит вперед рассуждения, оно спасает рассудок от целого мира страданий. Я был убежден, что она из лучшего разряда существ, и я больше о ней не думал и писал свое предисловие.

Это впечатление возвратилось опять после встречи моей с ней на улице; сдержанная свобода в обращении, с которой она подала мне руку, показывала в ней, как я полагал, хорошее воспитание и 40 здравый смысл; и, когда я вел ее, я чувствовал какую-то приятную нежность около нее, которая успокоила мою душу.

Боже милостивый! ежели бы мог человек провести такое создание вокруг света!

Я еще не видал ее лица, но этого и нужно не было; потому что, прежде чем мы подошли к двери каретного сарая, воображение окончательно нарисовало мне ее голову и забавлялось представлять мне ее как богиню, которую я сам вытащил из Тибра. Ах ты, соблазненная и соблазнительная плутовка, хотя семь раз в день обманываешь нас своими образами и картинами; но ты делаешь это так прелестно и покрываешь свои картины такими пленительными красками, что стыдно ссориться с тобою. 10

Когда мы подошли к двери каретного сарая, она отняла руку от лба и я мог видеть оригинал: по лицу ей было около двадцати шести; она была брюнетка с белым и прозрачным цветом лица, одета была просто, без румян и пудры, она не была, критически разбирая, прекрасна, но в ней было что-то, что в состоянии ума, в котором я находился, привязывало меня к ней более,— она была интересна. Я воображал, что она во взгляде носит вдовствующее выражение и что она находится в том положении, когда прошли уже два пароксизма горести и она начинает мириться с своей потерей; но тысячи другого рода несчастий могли провести те же черты; 20 я желал знать, как это было, и готов был спросить, ежели бы *bon ton*¹ разговора, как в дни Эздры, позволил бы это: «Что тебя беспокоит? И что тревожит? И почему расстроены твои мысли?» Одним словом, я чувствовал к ней расположение, решил волочиться за ней и даже предложить ей свои услуги. Таковы были мои искушения, и в расположении следовать им я был оставлен один с этой барыней, ее рука в моей и лицами, обращенными к двери каретного сарая, более чем то было положительно необходимо.

Дверь каретного сарая

— *Belle dame*²,— сказал я, подняв ее руку несколько выше, чем 30 прежде,— конечно, это одно из очень причудливых действий фортуны: взять двух совершенно посторонних людей, свести их рука с рукой, может быть, из противоположных углов света и в одно мгновение поставить их в такое положение, в котором самая дружба, ежели бы ей вздумалось это сделать за месяц тому назад, едва ли успела их поставить.

— И ваше замечание показывает, *monsieur*, в какое затруднение привело вас это приключение. Какое бы ни было положение, ничего нет неуместнее, как рассматривать обстоятельства, которые сде-

¹ учтивость (*фр.*)

² Прекрасная дама (*фр.*)

ляли его таким; вы благодарили судьбу, и делали прекрасно — сердце само знало это и было довольно, и только английский философ может анализировать такое положение и запутаться в рассуждениях о нем.

Сказав это, она высвободила руку с таким взглядом, который казался мне достаточным комментарием к тексту.

Я дам дурное понятие о своей слабости, сказав, что сердце мое страдало более, чем при случаях, действительно заслуживающих этого. Я был сильно оскорблен потерей ее руки, и то, каким образом это случилось, не облегчало рану.

О, никогда в жизни я не чувствовал больше страданий от сознания своего унижения! Но торжество истинно женского сердца после такого рода неудач бывает непродолжительно — через пять секунд она положила свою руку на рукав моего фрака, как будто желая продолжать свой ответ, и, Бог знает каким образом, я стал опять в прежнее положение.

Ей нечего было прибавлять.

Я начал прискивать другого рода разговор, судя по тому, который я с ней имел, что я обманулся в ее характере, но, повернувшись лицом ко мне, выражение, которое одушевляло ее ответ, уже исчезло. Мускулы лица опустились, и я нашел выражение того же бесприютного горя, которое и прежде заинтересовало меня: как грустно! видеть такое нежное существо добычею печали. Я от души соболезновал ей. Может быть, это покажется довольно смешным жесткому сердцу, но я бы принял ее в свои объятия и не краснея крепко прижал бы к сердцу, хотя это было на улице.

Биение пульса в моих пальцах уведомило ее о том, что во мне происходило; она посмотрела в землю, и несколько минут мы молчали.

Боюсь вспомнить, но кажется, я делал легкие усилия, чтобы сжать крепче ее руку, потому что по тонкому ощущению я заметил в ладони своей руки не то чтобы стремление вырвать свою руку, но как будто ей это приходило на мысль. И я, верно, потерял бы ее в другой раз, ежели бы более инстинкт, чем рассудок, не указал мне на последнее средство в такого рода опасностях — держать ее так легко и свободно, как будто я готов был выпустить всякую минуту и по собственному побуждению; и так она оставила ее до тех пор, пока Mons. Dessein воротился с ключом; и в то же время я стал рассуждать, каким образом преодолеть дурное обо мне мнение, которое мог возбудить в ней рассказ монаха, ежели он передал ей все.

Табакерка

Кале

Когда эта мысль пробежала в моей голове, бедный старик монах был от меня шагах в шести и шел по направлению к нам, как видно было, с нерешительностью, подойти ли к нам или нет?

Подойдя к нам с видом добродушной откровенности, он остановился и подал мне открытую роговую табакерку, которая была в его руке.

— Попробуйте моего,— сказал я, вынимая свою и подавая ему, у меня была маленькая черепаховая. 10

— Превосходный табак,— сказал монах.

— Сделайте мне одолжение,— отвечал я,— примите эту табакерку с табаком и, когда будете нюхать из нее, вспоминайте иногда, что это был знак примирения человека, который поступил дурно с вами, но не по влечению сердца.

Бедный монах покраснел, побагровел.

— Mon Dieu,— сказал он, соединив руки,— вы со мною никогда дурно не поступали.

— Я тоже так думаю,— сказала барыня; теперь был мой черед покраснеть, но что заставило меня краснеть, пусть разберут те, которые любят анализировать. 20

— Извините меня, сударыня,— отвечал я,— я обошелся с ним очень дурно, и без всякой причины.

— Это не может быть,— сказала барыня.

— Боже мой,— вскричал монах с жаром подтверждения, которого я не подозревал в нем,— и я был виноват своим неуместным усердием.

Барыня опровергала это, а я подтверждал, что невозможно, чтобы такой правильный ум, как его, мог оскорбить кого бы то ни было. Я до тех пор, пока не почувствовал, не подозревал, чтобы спор мог так приятно действовать на нервы и успокаивать их. Мы молчали, но не испытывали того бессмысленного страдания, которое испытываешь в обществе, ежели в продолжение десяти минут смотрят друг другу в глаза, не говоря ни слова. Во время этого молчания монах тер свою табакерку рукавом своей рясы; и, как скоро посредством трения она приобрела вид более светлый, сделал мне низкий поклон и сказал, что поздно рассуждать о том, что ввело нас в противоречие: доброта или слабость наших сердец; но как бы то ни было, он просил, чтобы мы поменялись табакерками; говоря это, одной рукой он подал мне свою, другой взял мою и поцеловал ее, с удивительно добрым взглядом, положил ее за пазуху и удалился. 40

Я сохраняю эту табакерку, она помогает религии возвышать мою душу и устремлять желания ее на лучшее... В самом деле, я

редко выхожу без нее; она мне часто и во многих случаях напоминала о том, кто так был добр и умерен, и направляла мою душу к добру в трудных случаях жизни. Он много встречал их, как я после узнал из его истории, почти до сорокапятилетнего возраста он нес военную службу, за которую был дурно вознагражден, и, встретив в то же время неудачи в нежнейшей из страстей, он покинул вместе меч и женщин и сделал себе убежище не столько из монастыря, как из самого себя.

10 Мне грустно становится, прибавляя, что в последний мой проезд через Кале на вопросы мои о отце Лаврентии мне ответили, что он умер тому назад около трех месяцев и похоронен не в своем монастыре, а, сообразно с его желанием, на маленьком кладбище, принадлежащем к монастырю, в двух верстах от него; я имел сильное желание видеть, где его положили, и, когда я вынул на его могиле его табакерку и вырвал одну или две крапивы, которые, Бог знает зачем, тут росли, все это так расчувствовало меня, что я залился слезами; но я нежен, как женщина; прошу свет не осмеять, а пожалеть меня.

Дверь каретного сарая Кале

20

Я все это время не выпускал руки барыни; я уже держал ее так долго, что было бы неприлично выпустить ее, не прижав прежде к губам; в то время как я это делал, краска, которая, казалось, пропала с ее лица, возвратилась опять.

Два путешественника, которые говорили со мною на каретном дворе, проходя в эту критическую минуту мимо, вообразили себе, что мы, по крайней мере, муж с женою; итак, остановившись у двери каретного сарая, один из них, который был *любопытный путешественник*, спросил нас, едем ли мы в Париж следующее утро.

30 — Я могу только отвечать за себя,— сказал я; а барыня отвечала, что она едет в Амиен.

— Мы там обедали вчера,— сказал *простой путешественник*.

— Вы проедете через город по дороге в Париж,— прибавил другой.

Я готов уже был принести ему всю признательность за наставление, что Амиен по дороге к Парижу, но, вынув маленькую роговую табакерку бедного монаха, чтобы понюхать,— я им спокойно поклонился, пожелав хорошего переезда в Дувр; они нас оставили одних. «Что за беда,— сказал я сам себе,— ежели я попрошу эту несчастную барыню принять место в моей карете? И какое может последовать от этого несчастье?»

40

Все подлые страсти и дурные наклонности подняли тревогу,

когда я выразил это предложение. «Это заставит вас иметь третью лошадь,— сказала *скудость*,— значит, из кармана двадцать ливров». «Вы не знаете, кто она такая»,— сказала *недоверчивость*,— «и мало ли, какие могут из этого дела выйти неприятности»,— сказала *подлость*.

«Вы можете быть уверены, Иорик,— сказала *предусмотрительность*,— скажут, что вы едете с любовницей, с которой нарочно съехались в Кале».

«После этого вам нельзя будет лица на свет показать»,— сказала *лицемерие*,— «и вы никогда не возвыситесь в церковных степенях»,— говорило *малодушие*,— «а останетесь навсегда ничтожным пастором»,— говорила *гордость*. «Это дело учтивости»,— говорил я; но, так как я действую всегда по первому впечатлению и редко слушаю все эти толки, которые только служат к тому, чтобы портить сердце и делать его черствым, я тотчас повернулся к барыне. Но она незаметно удалилась от меня и сделала уже десять или двенадцать шагов по улице в то время, как разбиралось ее дело и как я решался; итак, я пошел скоро за нею, чтобы сделать ей предложение наилучшим образом, но, заметив, что она ходила, приложив ладонь к щеке, тихими и коротко-мерными шагами задумчивости, 20 опустив притом глаза вниз, я предположил, что она обдумывала тот же самый предмет. «Боже, помоги ей,— сказал я,— верно, у ней есть свекровь или какая-нибудь тетушка-тартюф, или какая-нибудь набожная старушка, с которой она хочет посоветоваться в этом случае столько же, сколько и со мною»,— не желая прерывать этот процесс и полагая, что будет учтивее приступить к этому делу с умеренностью, чем с поспешностью, я обернулся и сделал несколько шагов перед дверью сарая, в то время как она ходила, рассуждая с своей стороны.

На улице Кале

30

При первом взгляде на эту барыню, решив в своем воображении, что она была одно из превосходнейших существ в этом мире, и потом выведя вторую аксиому, столько же неоспоримую, как и первую, что она была вдова и носила на себе отпечаток печали, я не пошел далее, а остановился на том предположении, которое мне нравилось,— и, ежели бы она пробыла со мною до полночи, я бы остался верен своей системе и продолжал бы смотреть на нее сообразно с этой общей идеей.

Но только что она отошла шагов на двадцать от меня, мне почему-то стало желательно узнать о ней подробнее — я представил себе долгую разлуку — может случиться, что я больше не увижу 40

ее, — сердце старается удержать что может; и я искал средства найти ее, ежели бы потерял. Одним словом, я желал узнать: ее имя, фамилию и положение в свете; и, так как я знал, куда она едет, я желал знать, откуда она; но не было средств дойти до этих сведений; тысяча мелких деликатностей препятствовали этому. Я составлял двадцать различных планов, но не было возможно спросить у нее прямо — этого нельзя было сделать. Маленький французский довольно благовидный капитан, который припрыгивая шел по улице, доказал мне, что сделать это было очень легко; находясь между нами, именно в то время, как барыня возвращалась назад к двери сарая, он отрекомендовался мне и, прежде чем даже это хорошо сделал, попросил меня, чтобы я сделал ему честь представить его этой барыне.

— Я сам еще не был представлен.

Тотчас же, повернувшись так же ловко к ней, он спросил у нее, не из Парижа ли она едет?

— Нет, но я еду по этой дороге, — отвечала она.

— Vous n'êtes pas de Londres?¹

Она отвечала, что нет.

20 — Стало быть, вы едете из Фландрии. Apparemment vous êtes Flamande?² — сказал французский капитан.

Барыня отвечала, что это действительно так.

— Peut-être de Lille?³ — прибавил он.

Она отвечала, что она не из Лилля.

— И не из Арраса? И не из Камбри? И не из Гента? И не из Брюсселя?

Она отвечала, что она была из Брюсселя.

Он сказал, что в последнюю войну он имел честь быть при бомбардировке этого города и что этот город прекрасно расположен — *roug cela*⁴ — и он был наполнен дворянами, когда империалисты были выгнаны оттуда французами (барыня слегка наклонила голову), и, дав подробный отчет ей об этом деле и об участии, которое он принимал в нем, он просил ее сделать ему честь сказать свое имя — и поклонился.

— Et Madame a son mari?⁵ — сказал он оглядываясь, проходя уже два шага, и, не дожидаясь ответа, продолжал припрыгивать по улице.

Ежели бы я семь лет учился искусству светского обращения, я бы никогда так не умел поступить.

¹ Вы не из Лондона? (фр.)

² Видимо, Вы фламандка? (фр.)

³ Может быть, из Лилля? (фр.)

⁴ для этого (фр.)

⁵ Мадам замужем? (фр.)

Каретный сарай

Кале

Когда маленький французский капитан оставил нас, Mons. Dessein воротился с ключом и ввел нас в свой каретный магазин. Первый предмет, который бросился мне в глаза, когда Mons. Dessein отворил дверь сарая, была другая старая *désobligeante* и, хотя она была как две капли воды похожа на ту, которая мне так понравилась на каретном дворе час тому назад, вид ее теперь возбудил во мне неприятное впечатление, и я думал, какой должен был быть грубый и необщежительный человек тот, который первый придумал соорудить такую машину; я несколько не лучше думал и о тех, которые решались употреблять ее.

Я заметил, что барыне она нравилась так же мало, как и мне; итак, Mons. Dessein повел нас к паре других карет, которые стояли около; он рассказывал нам, рекомендуя их, что они были заказаны лордами А. и В. для *grand tour*¹, но не ездили дальше Парижа, и поэтому во всех отношениях сколько новы, столько и хороши.

— Они слишком хороши.

И я перешел к третьей, которая стояла сзади, и спросил о цене.

— Но в ней не могут поместиться двое,— сказал я, отворив дверцу и взойдя в нее.

— Будьте столь добры, сударыня,— сказал Mons. Dessein, предлагая ей руку.

Барыня полсекунды была в нерешительности и взошла в карету; но, так как в это самое время сторож вызывал Mons. Dessein, желая говорить о чем-то с ним, он затворил за нами дверцу кареты и оставил нас.

Каретный сарай

Кале

— *C'est bien comique*, это очень смешно,— сказала улыбаясь барыня от замечания, что во второй раз по самому простому случаю мы были оставлены вместе,— *c'est bien comique*,— сказала она.

— Больше ничего не нужно,— сказал я,— чтобы сделать это положение совершенно смешным, как обычай волокитства французов — говорить о любви в первую минуту и предлагать свою особу во вторую.

— *C'est leur fort*²,— отвечала барыня.

¹ большого путешествия (фр.)

² В этом они искусны (фр.)

— По крайней мере, так предполагают; но каким образом это мнение утвердилось, я не понимаю; однако они приобрели репутацию народа, понимающего лучше любовь и любящего больше всех других народов. Что до меня касается, то я полагаю французов неловкими в этом деле и худшими стрелками, которые когда-либо испытывали терпение Купидона, как можно поверить, что они умеют любить. Скорее я поверю, что можно сделать приличное платье из оставшихся лоскутов. Вдруг с первого взгляда открываясь в любви и предлагая свои услуги и свою особу, они тем самым отдаются на

10 рассмотрение еще не разгоряченному уму.

Барыня слушала меня, как будто ожидая чего-то еще.

— Обратите внимание, сударыня,— сказал я ей, положив свою руку на ее.— Люди важные ненавидят любовь за ее имя. Самолюбивые люди ненавидят любовь, потому что любят сами себя больше всего на свете. Лицемеры как будто предпочитают любви земной любовь к Богу. Но, по правде сказать, мы все, от стара до мала, больше напуганы, чем оскорблены этой страстью,— как бы человек не был беден познаниями в этой отрасли обращения, все-таки с уст его сорвется слово любви, только после часу или двух молчания, в

20 продолжение которого молчание это сделалось для него мучением. Последовательность легких и спокойных внимательностей, так направленных, чтобы они не встревожили, не так неопределенных, чтобы они не были поняты, с нежным взглядом, время от времени, и редко или никогда не говоря о этом предмете, оставляют вашей любовнице свободу действовать сообразно с природными влечениями; и природа сама настроит ее душу.

— Итак, я торжественно объявляю,— сказала, покраснев, барыня,— что вы все это время не переставали волочиться за мною.

Каретный сарай

Кале

30

Mons. Dessein возвратился, выпустил нас из кареты и объявил <барыне>, что граф Л., ее брат, только что приехал в гостиницу. Хотя я был бесконечно доброжелателен к этой <барыне>, но не могу сказать, чтобы случая этому порадовалось мое сердце, и я не мог удержаться, чтобы не сказать ей этого.

— Потому что это обстоятельство пагубно, сударыня,— сказал я,— одному предложению, которое я намерен был вам сделать.

— Совсем не нужно рассказывать мне, какое было это предложение,— сказала она, положив одну руку в мою, прерывая меня.—

40 Когда мужчина имеет в виду сделать какое-нибудь любезное предложение женщине, редко бывает, чтобы женщина несколько минут прежде не имела предчувствия о нем.

— Природа вооружила женщину этим предчувствием,— сказал я,— как средством предохранительным.

— Но я думаю,— сказала она, посмотрев мне в лицо,— мне нельзя было ожидать ничего дурного — и сказать вам правду, я решилась принять ваше предложение, ежели бы это было (она остановилась одну минуту),— я полагаю, ваше расположение заставило бы меня рассказать вам историю о себе, которая возбудила бы одно опасное чувство в вас во время путешествия — сострадание.

Сказав это, она позволила мне поцеловать ее руку два раза и с взглядом, в котором выражалось столько же чувствительности,¹⁰ сколько и нежности, она вышла из кареты и сказала adieu¹.

На улице Кале

Я никогда в жизни не кончал так скоро двенадцатигвинейного торга: время казалось мне тяжело после разлуки с барыней, и каждая минута казалась мне за две; это продолжалось до тех пор, пока я не привел себя в движение,— я заказал сейчас же почтовых лошадей и пошел в отель.

«Боже!» — сказал я, услышав, как городские часы били четыре, вспоминая, что я был только немного больше часу в Кале. Целый том приключений может вывести из этого маленького времени жизни человек, сердце которого сочувствует каждой вещи и который имеет глаза, чтобы видеть те вещи, которые судьба беспрестанно расставляет на его пути, и который не пропускает к тому случаев. Пишу ли я с пользою — или то сделает лучше другой — что за дело — это опыт над человеческой природой: я работаю для себя — и доволен. Удовольствие, которое я чувствую при этом, возбуждает мои способности, лучшую часть моей крови и усыпляет большую худшую часть. Я жалею о том человеке, который, путешествуя от Дана до Бершебы, может восклицать: все пусто! — и действительно оно так. Весь свет таков для того, который не обрабатывает плоды, которые он представляет. «Я объявляю,— сказал я, нежно соединив руки,— что я в пустыне нашел бы предметы, которые вызвали бы мою чувствительность; ежели бы я не нашел лучше, я бы устремил ее на какую-нибудь нежную мирту, отыскал бы грустный кипрус, чтобы соединиться с ним,— я бы благословлял их тень и нежно благодарил бы их за их покровительство — я бы вырезал свое имя на них; и клялся бы, что они любезнейшие деревья всей пустыни; я вместе с ними грустил бы, когда они теряли бы свою зелень, и, когда

¹ прощайте (фр.)

они станут радоваться, я буду радоваться вместе с ними». Ученый Смельфунгус¹ путешествовал от Болонии до Парижа — от Парижа до Рима и т.д., но он выехал с сплином и разлитой желчью, и всякий предмет казался ему бесцветным и безобразным; он написал отчет своего путешествия; но это не был отчет его путешествия, а отчет о его несчастных и дурных чувствах. Я встретил Смельфунгуса в большом Portico Пантеона, он только что выходил из него. «Это больше ничего, как удобное место для петушиного боя»,— сказал он.— «Я желал бы,— сказал я,— чтобы вы ничего хуже не сказали про Венеру Медицинскую»,— потому что, проезжая через Флоренцию, я слышал, что он напал на эту богиню и обошелся с нею, как с самую непотребною женщиною, без малейшей к тому причины.

Я опять нечаянно встретил Смельфунгуса около Турина, когда он возвращался из своих дальних странствований, у него была целая куча печальных приключений, которые он рассказывал: он в них говорил о приключениях на море и на суше — о каннибалах, которые друг друга съедают,— антропофагах² — он был живой обдираем, и его мучили, и с ним поступали хуже, чем с Св. Варфоломеем, во всякой гостинице, в которой останавливался. «Я объявлю это всему свету»,— вскричал Смельфунгус.— «Лучше бы вам объявить это своему доктору»,— сказал я.

Мундунгус³ с огромным состоянием сделал весь круг, путешествуя из Рима в Неаполь, из Неаполя в Венецию — из Венеции в Вену — в Дрезден, в Берлин, не почерпнул ни одного великодушного рассказа или веселого анекдота, но он путешествовал прямо, не смотря ни направо, ни налево, чтобы любовь или сострадание не заставили его свернуть с пути. Но мир им, ежели они его достойны. Само небо, ежели бы можно было проникнуть в него, не доставило бы им предметов утешения. Каждый добрый дух прилетал бы на крыльях любви радоваться их приезду — души Смельфунгуса и Мундунгуса ничего бы не слышали кроме свежих гимнов радости, свежих и восхитительных песен любви и свежих хвалений общего блаженства. Я душевно жалею этих людей: они не имеют способности наслаждаться; и, ежели лучшая доля блаженства на небе досталась бы Смельфунгусу и Мундунгусу, они бы были так далеки от счастья, продолжали бы и там жаловаться и роптать, в продолжение целой вечности.

¹ Смельфунгус: Smollet, автор Истории Англии и нескольких песен. Во время своего путешествия его здоровье находилось в таком дурном положении, что ничто не могло доставлять ему удовольствия. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² Часть речи Отелло к сенату в одной из трагедий Шекспира. (Прим. Л. Н. Толстого.)

³ Известный в то время хирург Шарп, предпринявший свое путешествие в весьма преклонных летах. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Монтрёль

Раз чемодан мой отвязался сзади кареты и упал, другой раз я в дождик принужден был вылезать и по колено в грязи помогать ямщику привязывать его; и все я не мог догадаться, чего у меня недоставало. Но когда я приехал в Монтрёль и хозяин гостиницы спросил у меня, не нужно ли мне слугу, только тогда я догадался, что именно его-то мне и недоставало.

— Слугу! — сказал я.

— Это я сделаю. Потому что, *Monsieur*, — сказал хозяин, — здесь есть один расторопный и молодой малый, который бы гордился 10
честью быть в услужении у англичанина.

— Почему у англичанина скорее, чем у другого?

— Потому что они очень великодушны, — сказал хозяин. «Вернее смерти, что это мне будет стоить лишний *livre* в эту ночь», — сказал я сам себе. — Но они имеют средства быть такими, — прибавил он.

«На это еще нужно накинуть *livre*», — подумал я.

— Только прошлую ночь, — сказал хозяин, — *un milord anglais présentait un écu à la fille de chambre*¹.

— *Tant pis pour Mademoiselle Jeanneton*², — сказал я. 20

Так как *Jeanneton* была хозяйская дочка, а хозяин полагал, что я недавно во Франции, то он позволил себе вольность объяснить мне, что мне не надо было сказать: *tant pis*, а *tant mieux*³.

— *Tant mieux, toujours, Monsieur*⁴, — сказал он, — когда есть что-нибудь хорошего, и *tant pis*, когда нет ничего хорошего.

— Оно так и приходится, — сказал я.

— *Pardonnez-moi*⁵, — сказал хозяин.

Я не могу найти более удобного случая, чтобы заметить раз навсегда, что так как *tant pis* и *tant mieux* суть две из главных пружин французского разговора, то не худо бы было каждому иностранцу, 30
прежде чем ехать в Париж, привыкнуть правильно употреблять их.

Один бойкий французский маркиз за обедом у английского посланника спросил у *Mister Hume*⁶, он ли поэт *Hume*? «Нет», — отвечал скромно *Hume*. — «*Tant pis*», — возразил маркиз. «Это *Hume* — историк», — сказал кто-то. — «*Tant mieux*», — сказал маркиз. Так как *Mister Hume* — человек с очень добрым сердцем, то он поблагодарил как за то, так и за другое.

¹ один английский милорд подарил эку горничной (фр.)

² Тем хуже для мадемуазель Жаннетон (фр.)

³ тем хуже, а тем лучше (фр.)

⁴ Тем лучше всегда, мсье (фр.)

⁵ Извините (фр.)

⁶ Имя историка *Hume*, поэта *Hume*. (Прим. Л. Н. Толстого.)

Хозяин, растолковав мне это дело, позвал La Fleur'a, так звали молодого человека, про которого он мне говорил, и сказал мне вперед, что про его таланты он ничего сказать не может.

— Monsieur, — прибавил он, — сам увидит, для чего можно будет употребить его. Что же касается до верности La Fleur, то он отвечал всем на свете.

Хозяин это сказал так убедительно, что я тотчас же приступил к делу, и La Fleur, который стоял, дожидаясь за дверью, в беспокойном ожидании, которое испытал каждый смертный в своей жизни,¹⁰ взошел.

Монтрель

Я имею способность получать пристрастие с первого взгляда на человека; особенно же когда какой-нибудь бедняга приходит предлагать свои услуги такому бедняге, как я сам; так как я знаю эту слабость, то я, в таком случае, всегда стараюсь рассуждением умерять это пристрастие — более или менее, смотря по тому расположению духа, в котором я нахожусь, — я должен прибавить, что это зависит также от полу лица, с которым я имею дело¹.

Когда La Fleur взошел в комнату, несмотря на рассуждение, которое я сделал, его простодушное лицо и взгляд тотчас же расположили меня в его пользу; итак, я нанял его прежде, а потом стал спрашивать, что он умеет делать: «Но я открою его таланты, когда они мне понадобятся, — не надо, француз способен на всё», — сказал я.

Но бедный La Fleur ничего не умел делать, исключая как бить на барабане и сыграть марш или два на флейте. Однако я решился употребить его таланты и могу сказать, что никогда мое благоразумие так горько не смеялось над моей слабостью.

La Fleur начал жить рано и так же доблестно, как и все французы,³⁰ — он служил несколько лет. Наконец, удовлетворив этому чувству и найдя, что кроме чести бить барабан, которой он вполне достигнул, он не мог выиграть ничего больше, и, не имея надежды прославиться, он удалился «à ses terres»² и жил comme il plaisait à Dieu³ — т.е. ничем.

«Итак, — сказала *благоразумие*, — вы наняли барабанщика, чтобы сопутствовать вам в вашем путешествии через Францию и

¹ В подлиннике непереводаемая игра слов в выражении «according to the mood I am...» «Mood» значит расположение духа и способ употребления изменений глагола. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² в свои края (фр.)

³ чем Бог пошлет (фр.)

Италию». «Фа! — сказал я, — а разве половина людей нашего среднего сословия не делали того же круга, имея глупцов и крикунов компаньонами, и еще сверх того принуждены были платить за это удовольствие?»¹ Недурно, когда человек может выпутаться из такого неприятного положения экивокой.

— Но вы и еще что-нибудь умеете делать, La Fleur? — спросил я.

— O qu'oui!²

Он умел делать щеплеты и играть немного на скрипке. «Браво, — сказала благоразумие, — я сам играл на виолончели».

— Ну вы можете убрать и причесать немного парик, La Fleur? 10

Он имел к этому ревностное желание.

— Этого довольно для Бога, — сказал я, прерывая его, — довольно будет и для меня.

Когда мне принесли ужин и с одной стороны моего стула лежала резвая эпаньолка, а с другой стороны стоял французский слуга с самым веселым выражением лица, я был от всей души доволен своим владением, и, ежели бы монархи знали, чего они желают, они бы были так же довольны, как и я.

Монтрель

Так как La Fleur сделал со мною весь круг через Францию и 20 Италию и часто будет на сцене, то я, чтобы ближе познакомить читателя с его личностью, скажу, что я никогда не имел случая раскисаться в необдуманных влечениях, которые располагают мною, и еще менее в отношении этого малого. Он был верен, привязан, простодушен и во всем шел по следам философов. И, несмотря на его таланты — очень достойные сами по себе, но которые не могли быть для меня полезны, — я всечасно был вознаграждаем постоянной веселостью его характера, а это вознаграждает все недостатки. Во всех трудностях и несчастьях моей жизни я находил опоры во взглядах La Fleur'a. La Fleur был исключением из общего правила, 30 потому что, несмотря ни на голод, жажду, холод, наготу, недостатки, несмотря ни на какие удары судьбы, не было никакого признака неудовольствия на его лице — он вечно был одинаков; ежели я принадлежу к числу философов — что часто мне старается внушить лукавый, — то, рассуждая о том, сколько раз я был обязан практической философии этого бедного малого, я уже не так горжусь своей. Вместе с этим La Fleur был немного хват — но с перво-

¹ В подлиннике экивока, которую передать нельзя. Num-drum значит глупец и громкий барабан, pipe флейщик и крикун. Бить барабан и играть на флейте были два искусства La Fleur'a. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² О да! (фр.)

го взгляда казался более хватом от природы, чем от образования, и на третий день после нашего приезда он уже вовсе перестал быть хватом.

Монтрёль

На следующее утро, для вступления La Fleur'a в свою должность, я вручил ему ключ от моего чемодана с реестром полдюжины рубашек и пары черных шелковых панталон и приказал ему привязать все это на чемодан, приготовить лошадей и попросить ко мне хозяина с счетом.

10 — C'est un garçon de bonne fortune?¹ — сказал хозяин, указывая через окошко на кружок девок, которые самым нежным образом прощались с Лафлёром, в то время как ямщик выводил лошадей. Лафлёр у каждой два раза поцеловал руки, три раза утер глаза и три раза обещался им всем привезти *отпущения грехов*, из Рима.

— Все в городе его любят, — сказал хозяин, — и нет ни одного уголка в Монтрёле, в котором б об нем не пожалели: у него только одна есть слабость, — продолжал он, — он вечно влюблен.

— Я, напротив, этому очень рад, — сказал я, — это избавит меня от труда — класть себе на ночь панталоны под голова². — Говоря 20 это, я хвалил более самого себя, чем Лафлёра, потому что, так как я всю свою жизнь был влюбленным, то в одну принцессу, то в другую (и надеюсь, что до самой смерти останусь таким же), я твердо убежден, что ежели я сделал какое-нибудь дурное дело, то непременно в промежуток от одной страсти до другой: покуда продолжается это междуцарствие, сердце мое бывает заперто — я не чувствую в себе в это время даже довольно доброты, чтобы подать нищему шесть пенсов; поэтому я стараюсь как можно скорее выйти из этого положения; и как скоро я опять воспаляюсь, я делаюсь снова добр и великодушен, и, ежели я желаю сделать вещь или с кем-нибудь, или 30 для кого-нибудь, которая удовлетворяет меня, я не вижу в этом никакого греха.

Говоря это, я осуждаю только страсть, но не себя.

Отрывок

Город Абдера, несмотря на то, что в нем жил Демокрит и употреблял все силы иронии для исправления жителей его, был самый порочный и развратный город во всей Фракии. Сколько было там

¹ Этот молодой человек любимец женщин? (фр.)

² Обыкновение путешественников для избежания воровства. (Прим. Л. Н. Толстого.)

отравлений, заговоров, убийств — пасквилей, буйств — каждый день — ночью было еще хуже.

В то время как дела были в худшем положении, случилось так, что в Абдере было дано представление «Андромеды» Эврипида, но из всех мест, которые восхитили публику, сильнее всех подействовала на воображения речь Персеуса, в которой поэт описал нежные черты природы: «О Купидон! Царь Богов и людей и т.д.».

На другой день все жители Абдеры говорили чистыми ямбами и только и было разговора, что про патетическое воззвание Персеуса: «О Купидон! Царь Богов и людей», в каждой улице, в каждом доме «О Купидон, Купидон». В устах каждого бессознательно вырывающиеся нежные звуки были только: «Купидон, Купидон! Царь людей и Богов». Огонь взялся — и весь город, как сердце одного человека, открылся для любви.

Ни один аптекарь не мог более продавать яду, ни <у> одного оружейника не доставало духу сделать смертоносный инструмент. Дружба и Добродетель встречались и целовали друг друга на улице; золотой век возвратился и продолжался в Абдере. Каждый абтеритянин, взяв свою соломенную трубку, и каждая абтеритянка, оставив свое пурпуровое тканье, вышли на двор и скромно сидели, слушая пение.

В отрывке сказано, что сделать это мог только Бог, власть которого простирается от неба до земли и пучин морских.

Монтрель

Когда все готово и каждая статья обсужена и заплочена в гостинице, вам остается окончить еще одно дело, которое, может, покажется несколько неприятным, прежде чем вы сядете в карету, — вы должны прежде этого разделаться с сыновьями и дочерьми бедности, которые окружают вас. Не надо говорить «убирайтесь к черту». Это очень неприятное путешествие для несчастных, которые кроме этого перенесли много страданий. Я полагаю — гораздо лучшим взять несколько копеек в руку и советовал бы поступать так всякому путешественнику. Зачем стараться определять причины, по которым даешь им, — это все будет определено в другом месте.

Что до меня касается, то я полагаю, нет человека, который бы меньше давал, чем я; это оттого, что я знаю мало людей, которые бы имели для этого меньше средств, но так как это было первое проявление моего милосердия во Франции, то я и обратил на него наибольшее внимание.

— Чего еще желать! У меня только и есть что восемь копеек, — 40 сказал я, показывая им рукою, — и ровно столько же здесь есть бедных мужчин и женщин, которым можно дать их.

Бедный оборванный нищий, почти без рубашки на теле, вышел

шага на два из круга¹ и, сделав неописанный поклон всему обществу, первый начал просить. Ежели бы целый партер в один голос закричал «place aux Dames»², все это вполовину не передало бы того чувства уважения к женскому полу, которое выражало это движение.

— О Великой Боже! — воскликнул я, — для чего повелел Ты, чтобы нищета и учтивость, которые обыкновенно так противоположны одна другой у других народов, — соединялись бы вместе у французов?

¹⁰ Я подал этому бедняку лишнюю копейку за его учтивость.

Маленький живой карла, который стоял в кругу, напротив меня, положив под мышку что-то бывшее прежде шляпой, достал табакерку из кармана и великодушно предлагал понюхать всем стоявшим около него: это было предложение довольно значительное, поэтому многие отказывались от него; но маленький бедняга с добродушным поклоном просил их. «Prenez-en, prenez»³, — говорил он, посматривая в другую сторону; и каждый взял по шепотке.

— Твоя сострадательная табакерка скоро опустеет, — подумал я и, положив две копейки в нее, взял шепоточку табаку, чтобы придать им цену. Он почувствовал цену второго одолжения, более чем первого, — я доставил ему честь этим, первым же только милостыню; и он поклонился мне почти до земли.

— Вот! — сказал я старому солдату, потерявшему руку на службе, — вот и тебе две копейки.

— Vive le Roi!⁴ — закричал старый солдат.

Итак, у меня оставалось только три копейки; я дал одну — pour l'amour de Dieu⁵ — так просила у меня его бедная женщина, у которой было вывихнутое бедро, и поэтому никак не могло быть, чтобы я дал его по какой-нибудь другой причине.

³⁰ — Mon cher et très charitable monsieur⁶.

— Что ж? я не стану противоречить этому, — сказал я.

«Mylord anglais» — этот один звук стоил денег, и я отдал за него последние копейки. Но я так завлекся раздаванием милостыни, что просмотрел *стыдливого нищего*, который теперь уже не мог получить от меня ни одной копейки и который, я полагаю, скорее решил бы погибнуть, чем попросить ее у меня; он стоял около кареты, немного вне круга и отирал слезу, показавшуюся на его лице —

¹ Под словом *circle* в подлиннике разумеются придворные. (Прим. Л. Н. Толстого.)

² «место для дам» (фр.)

³ «Берите же, берите» (фр.)

⁴ Да здравствует король! (фр.)

⁵ ради Бога (фр.)

⁶ Дорогой и очень милосердный господин. (фр.)

лице, выражавшем, что он видал и лучшие дни. «Милосердный Боже! — сказал я, — и у меня не осталось ни одной копейки, чтобы дать ему». «Но у вас их есть тысячи», — вскричали вдруг все силы природы, зашевелившись внутри меня; итак, я дал ему — но сколько? — теперь мне совестно сказать: как много, а тогда мне было совестно подумать, как мало: ежели читатель может составить себе понятие о моем расположении, он может заключить с верностью о сумме, которую дал, — между одним ливром и двумя.

Я ничего не мог больше дать другим. «Dieu vous bénisse — et le bon Dieu vous bénisse encore»¹, — сказали солдат, карлик и др.¹⁰ *Стыдливый нищий* ничего не мог сказать, он достал маленький платок и утирал лицо в то время, как я поворотился, и я подумал, что он благодарит меня лучше всех.

Bidet²

Окончив эти делишки, я взошел в карету в таком приятном расположении, как никогда в жизни; а Лафлёр, положив огромный ботфорт с одной стороны маленького *bidet*, а другой ботфорт с другой (потому что я не видал его ног), скакал передо мной и был *счастливым и перпендикулярен как принц*.

Но что счастье! что величие в здешнем мире печалей? Не проехали мы одного *lieue*³, как мертвый осел мгновенно остановил Лафлёра на всем его бегу. Его *bidet* не хотел пройти мимо — возникло недоразумение между ними: с первого козелка бедняга был вышибен из своих ботфортвов.

Лафлёр перенес эту неудачу, как следует французу и христианину, он сказал ни более ни менее как «*diable!*»⁴

Он слез, потом опять сел верхом и принялся колотить бедную лошадку так, как в старину он бивал свой барабан.

Bidet носился с одной стороны дороги на другую, то назад, то вправо, то влево, только не к ослу. Лафлёр настаивал; и наконец *bidet* сшиб его.³⁰

— Что это сделалось с твоим *bidet*? — сказал я Лафлёру.

— Monsieur, — сказал он, — c'est le cheval le plus opiniâtre du monde⁵.

¹ Благослови вас Бог — и вас да благословит Бог (фр.)

² Почтовая лошадь, по объяснению Стерна. *Bidet* — маленькая лошадка. (Прим. Л. Н. Толстого.)

³ лье (фр.)

⁴ «дьявол!» (фр.)

⁵ Мсьё, эта лошадь — самая большая упрямец на свете. (фр.)

— Уж ежели она норовистая, то пойдет только туда, куда захочет,— отвечал я.

Когда Лафлёр выпустил *bidet* и хлестнул его хорошенько кнутом сзади, он повернулся назад и поскакал по дороге в Монтрель.

— *Peste!*¹ — сказал Лафлёр.

Не *mal à propos*² будет заметить, что, хотя Лафлёр употребил в этом случае только два восклицания — именно *Diable!* и *Peste!* — во французском языке таковых восклицаний, соответствующих трем степеням — положительной, сравнительной и превосходной, имеется три, которые и служат для определения неожиданных действий случая в жизни.

Diable! — как первая — положительная степень, употребляется обыкновенно при самых простых душевных ощущениях, в которых незначительные вещи расстроивают ваши надежды,— так например, когда в игре в кости два раза выходят те же очки, когда Лафлёр был сбит с лошади и т.д. Поэтому тоже, когда супруг узнает о своих рогах, то всегда употребляется — *Diable!*

Но когда в приключении есть что-нибудь раздражающего, как в том, что *bidet* убежал и оставил Лафлёра в ботфортах одного на дороге,— то употребляется вторая степень — *Peste!*

Что же касается до третьей...

Сердце мое наполняется скорбью и состраданием, когда я рассуждаю о том, сколько должен был перенести страданий и горьких мучений такой утонченный народ для того, чтобы быть принуждену употребить это третье восклицание.

О! силы, дающие красноречие в минуты отчаяния! Какой бы ни был со мной случай, дайте мне приличных слов, чтобы выражать мои чувства, и я не стану удерживать мою природу.

Но так как я не мог получить такого дара во Франции, я решил-
30 ся без восклицаний переносить всякое зло до тех самых пор, покуда оно меня оставит.

Лафлёр не сделал такого условия с самим собою — он следил глазами за *bidet* до тех пор, покуда его не стало видно; и тогда, вы можете себе представить, ежели хотите, каким словом он заключил все дело.

Так как в ботфортах не было средств догнать испуганной лошади, оставалось только посадить Лафлёра за карету или в карету. Я выбрал последнее, и через полчаса мы подъехали к почтовому двору в Нампонтe.

¹ Чума! (фр.)

² Некстати (фр.)

Нампонт Мертвый осел

— И это,— говорил он, укладывая остаток корки в свою суму,— и это я отдал бы тебе, ежели бы ты был жив, чтобы поделиться со мною.

По выражению, с которым это было сказано, я думал, что это говорилось к дите; но это говорилось к ослу; и к тому самому, которого труп мы видели на дороге и который причинил неудачу Лафлёра. Казалось, что человек этот очень сожалел о нем, и я тотчас же вспомнил сожаления Санхо Пансо о своем осле, но этот человек выражал свою горсть гораздо естественнее. 10

Бедняк сидел на каменной скамейке около двери; с одной стороны его лежало седло с осла и уздечка, которую он изредка подымал, потом опять клал и, глядя на нее, покачивал головой. Потом он опять достал из сумы корку хлеба, подержал ее в руке, как будто хотел есть, положил ее на удила ослиной узды, внимательно посмотрел на маленькое устройство, которое сделал, и вздохнул.

Простота его горести заинтересовала многих; около него собрался кружок, в котором находился и Лафлёр, в то время как закладывали лошадей. Я продолжал сидеть, и мне можно было все видеть и слышать через головы других. Он говорил, что пришел недавно из Испании, а туда пошел с дальнейших берегов Франконии и что теперь, возвращаясь домой, пройдя уже так много, его осел умер. Казалось, все желали знать, что могло заставить такого старика предпринять такое дальнее путешествие. 20

Небу угодно было, сказал он, благословить его тремя сыновьями, первыми молодцами во всей Германии; но, потеряв в одну неделю двух старших от оспы, и когда младший заболел тою же болезнью, он так испугался потерять их всех, что сделал обет, что, ежели будет угодно Небу оставить ему младшего сына, он пойдет в 30 благодарность к Св. Яго в Испанию.

Когда рассказчик дошел до этого места, он остановился и отдал долг природе — он заплакал горько. Он сказал, что, так как провидению было угодно принять эти условия, он вышел из своей деревни с бедным животным, которого лишился и которое было терпеливым товарищем во все время путешествия — ело с ним один хлеб во все время дороги и во всех отношениях было для него другом.

Все окружающие слушали с участием бедняка. Лафлёр предложил ему денег, но он не взял и отвечал, что жалеет не о цене, а о потере осла. Он был уверен, что осел любил его, и по этому случаю 40 рассказал длинную историю о том, как при переходе через Пиренеи несчастный случай разлучил их на три дня; и в продолжение этого времени он искал осла столько же, сколько и осел его, и они не пили и не ели, до тех пор покуда опять не встретились.

— Тебе все-таки должно быть приятно, друг,— сказал я ему,— знать, что ты всегда был для него хорошим хозяином.

— Увы! — отвечал он,— я думал так, покуда он был жив; но теперь думаю иначе. Мне кажется, что для него слишком тяжело было носить меня со всеми моими печальями и что это-то сократило дни несчастного животного. Я боюсь, что мне придется отвечать за это.

«Стыд всему свету! — сказал я сам себе,— ежели бы мы любили друг друга так, как этот бедняк любил своего осла. Это было бы недурно».

КОММЕНТАРИИ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АРХИВОХРАНИЛИЩА

- ГМТ* — Государственный музей Л.Н.Толстого. Отдел рукописных фондов (Москва).
- ИРЛИ* — Институт русской литературы (Пушкинский Дом). Рукописный отдел (Санкт-Петербург).
- РГАЛИ* — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).
- РГБ* — Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (Москва).
- РГВИА* — Российский государственный военно-исторический архив (Москва).
- РГИА* — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург).
- РНБ* — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

- ВР* — Военные рассказы графа Л.Н.Толстого. СПб., 1856.
- Герцен* — Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1954–1965.
- Гольденаейзер* — Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 1959.
- Гусев, I, II* — Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954; Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957.
- Дневники С.А.Толстой* — Толстая С.А. Дневники: В 2 т. М., 1978.
- Достоевский* — Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972–1990.
- Летописи ГЛМ* — Летописи Государственного Литературного музея. Кн. 3. Декабристы. М., 1938; Кн. 9. Письма к А.В.Дружинину (1850–1863). М., 1948; Кн. 12. Л.Н.Толстой. Т. 2. М., 1948.
- Летопись* — Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828–1890. М., 1958.
- ЛН* — «Литературное наследство», т. 37–38. Л.Н.Толстой. М., 1939; т. 51–

52. Н.А. Некрасов. II. М., 1949; т. 62. Герцен и Огарев. II. М., 1955; т. 69. Лев Толстой. Кн. 1–2. М., 1961; т. 73. Из парижского архива И.С. Тургенева. Кн. 1–2. М., 1964; т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. 1–2. М., 1965; т. 90. У Толстого, 1904–1910: «Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого. Кн. 1–4. М., 1979.

Некрасов — Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Художественные произведения: т. 1–10; Письма: т. 11–15. Л., 1981–2000. Письма, т. 14. Кн. 1. СПб., 1998; Кн. 2. СПб., 1999.

Описание — Описание рукописей художественных произведений Л.Н. Толстого. Сост. В.А. Жданов, Э.Е. Зайденшнур, Е.С. Серебровская. М., 1955.

Переписка — Л.Н. Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. Изд. 2-е, доп. М., 1978.

Переписка с сестрой и братьями — Переписка Л.Н. Толстого с сестрой и братьями. М., 1990.

С — журнал «Современник».

Тургенев — Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Изд. 2-е. М., т. 2, 1987; т. 3, 1987.

Тургенев и круг «Современника» — Тургенев и круг «Современника»: Неизданные материалы. М.–Л., 1930.

Юб. — Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. М.–Л., 1928–1958.

Второй том Полного собрания сочинений Л.Н.Толстого включает художественные произведения 1852–1856 годов; среди них основное место занимают военные рассказы, написанные по живым впечатлениям войны на Кавказе и обороны Севастополя. В 1851–1855 гг. молодой Толстой был непосредственным участником трех военных кампаний, в эти годы складывалось его мировоззрение, формировался литературный талант. «Почти в каждом новом произведении он брал содержание своего рассказа из новой сферы жизни,— писал Н.Г.Чернышевский в январе 1857 г.— За изображением “Детства” и “Отрочества” следовали картины Кавказа и Севастополя, солдатской жизни (в “Рубке леса”), изображение различных типов офицера во время битв и приготовлений к битвам,— потом глубоко драматический рассказ о том, как совершается нравственное падение натуры благородной и сильной (в “Записках маркера”) <...> Как расширяется постепенно круг жизни, обнимаемой произведениями графа Толстого, точно так же постепенно развивается и самое воззрение его на жизнь» (Чернышевский Н.Г. Заметки о журналах.— «Современник», 1857, № 1. Отд. V, с. 167).

Военные годы не ограничивали творчества писателя только военными темами: параллельно с рассказами «Набег», «Рубка леса», «Как умирают русские солдаты» были написаны повести «Детство», «Отрочество», рассказ «Записки маркера», задумана и начата повесть о жизни казаков (будущие «Казачьи»); одновременно с севастопольскими рассказами Толстой работал над повестью «Юность» и «Романом русского помещика». Произведениям, появившимся в печати, сопутствовала работа над сочинениями, так и не завершенными писателем: «Записки о Кавказе. Поездка в Мамак-Юрт», «Святочная ночь», «Характеры и лица», «Дяденька Жданов и кавалер Чернов»; помимо этого Толстой переводил книгу Л.Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии», готовился издавать военный журнал и пробовал свое поэтическое перо: написано несколько стихотворений и сложена севастопольская песня.

Наблюдения и впечатления Толстого, его внутреннее мироощущение и осмысление происходящего отражались на страницах дневников и писем, лично пережитое становилось материалом для художественного творчества — отсюда очевидный автобиографический характер ранних рассказов. В этот период наряду с дневниками письма с Кавказа и из Крыма помогали «добиться того, чтобы управлять своим пером и своими мыслями» (из письма к Т.А.Ергольской 17 августа 1851 г.).

Новое содержание, которым так щедро дарила Толстого окружающая

жизнь, искало новых форм художественного воплощения, и потому «форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предыдущей» в повестях «Детство» и «Отрочество» уже «стесняли», заставляя обращаться к иным, столь же близким сознанию и опыту формам выражения себя в слове: не случайно первый кавказский рассказ «Набег» был начат как «Письмо с Кавказа», а первый севастьяпольский рассказ во многом перекликался с письмами к родным из Севастополя.

Творческие поиски закономерно уводили от узкой субъективности авторского «я» к более объективной позиции рассказчика (волонтера, фейерверкера, юнкера, маркера) и далее к широкому и открытому эпическому повествованию в севастьяпольских рассказах. В эти годы формировались эстетические принципы Толстого-писателя. В дневнике и записных книжках появлялись мысли и правила для литературного труда, и правила эти претворялись в художественных образах ранних рассказов.

Становление Толстого на литературном поприще совпало с самыми мрачными годами цензурных ограничений и запретов, откровенного цензурного произвола в России. Это не только оставило свой след в журнальных публикациях первых произведений писателя, но и не могло не сказаться на текстах сочинений, которые он готовил к печати: самоцензура порой заставляла Толстого в окончательной редакции смягчать наиболее острые моменты черновых вариантов рассказов.

Рукописей ранних рассказов сохранилось очень мало: ни одно из этих сочинений не имеет полного рукописного фонда, а к рассказам «Севастополь в декабре месяце» и «Метель» нет ни одной рукописи; поэтому отдельные моменты творческой истории произведений можно представить только гипотетически. То же следует сказать и о датировке некоторых неоконченных или не публиковавшихся при жизни Толстого сочинений, например, о времени создания рассказа «Как умирают русские солдаты», который в настоящем издании впервые печатается в числе завершенных произведений. Рассказ был закончен автором, под текстом стояла подпись Толстого, и при жизни писателя это сочинение не публиковалось по иной причине (см. комментарий), которая сейчас уже не может быть основанием для помещения этого рассказа в раздел «Неоконченное». В этот раздел включены только незавершенные художественные произведения кавказского и севастьяпольского периодов творчества Толстого, начиная с очерка «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт» (1852 г.) и кончая «Отрывком из дневника штабс-капитана А. пехотного Л.Л. полка» (1855 г.).

Художественные сочинения, ставшие своеобразными упражнениями для выработки навыков писательского мастерства, опытами для «оттачивания слога» и не предназначавшиеся для публикации, печатаются в разделах «Стихотворения» и «Приложение» (неоконченный перевод книги Л.Стерна «Сентиментальное путешествие»). В раздел «Стихотворения» включена и севастьяпольская песня «Как четвертого числа...», сложенная в августе 1855 г. Среди сочинений писателя песня занимает особое место: она не предназначалась для печати, авторские рукописи ее неизвестны, возможно, полный текст песни и вовсе не был записан автором. Тем не менее еще при жизни Толстого песня неоднократно публиковалась, была широко известна в России и за ее пределами, переведена на несколько языков.

Кавказские и севастопольские рассказы («Набег», «Рубка леса», три севастопольские рассказа) составили книгу «Военные рассказы графа Л.Н.Толстого», изданную автором в 1856 г. При подготовке этого сборника Толстой внес существенные изменения в тексты произведений, что, безусловно, учтено в настоящем издании. Сведения об истории книги приведены в комментарии к рассказу «Набег». О русских переизданиях всех трех севастопольских рассказов идет речь в комментарии к «Севастополю в декабре месяце». Общие сведения об иностранных изданиях этих сочинений даются в комментарии к «Севастополю в августе 1855 года».

При подготовке текстов произведений, вошедших в том, привлечены новые, не учтенные прежде источники, обнаруженные в архивах. Это текст рассказа «Севастополь в мае», напечатанный в № 8 «Современника» (1855), но изъятый цензурой; фрагмент черновой рукописи и план «Севастополя в августе 1855 года»; автограф двух куплетов песни «Как четвертого числа...», а также еще десять списков этой песни. В комментариях использованы новые архивные документы, связанные с историей писания и печатания сочинений.

Трудная цензурная судьба многих произведений, составивших том, определяет особую значимость проблемы выбора основного источника текста для каждого из них. Эту проблему осложняет отсутствие наборных рукописей и авторизованных корректур (только в рукописном фонде рассказа «Севастополь в августе 1855 года» сохранились эти материалы). «Вообще военные рассказы Л.Н-ча того времени не могут быть восстановлены в полном виде,— писал в примечаниях ко второму тому принятого им издания Полного собрания сочинений Л.Н.Толстого П.И.Бирюков,— так как современная цензура производила над ними страшные вивисекции» (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 1912–1913. Т. 2, с. 354).

В 1856 г. в процессе подготовки книги «Военные рассказы» появились новые тексты пяти военных рассказов, а также рассказа «Записки маркера» (в сборнике «Для легкого чтения»), заметно отличающиеся от напечатанных в журнале «Современник»: рассказы были исправлены и дополнены автором по сохранившимся рукописям, частично Толстой восстановил то, что прежде вымарали редакторы или цензура, была сделана также стилистическая правка. Эти тексты можно было бы считать окончательными, то есть выражением «последней творческой воли автора», ибо в дальнейшем, на протяжении всей своей жизни, писатель не возвращался к работе над ранними рассказами. Однако такое простое и, казалось бы, безусловное решение нельзя принять для всех рассказов данного тома. Если последние авторизованные тексты «Набега», «Записок маркера», «Рубки леса», «Севастополя в декабре месяце» при всестороннем их изучении (сравнительно со всеми имеющимися на сегодняшний день источниками) действительно являются наиболее авторитетными, то выбор основного источника текста «Севастополя в мае» и «Севастополя в августе 1855 года» потребовал серьезной дополнительной аргументации. Очевидно, что эти два рассказа и в сборнике 1856 г. Толстой вынужден был напечатать в урезанном виде, с учетом цензурных ограничений (см. комментарии).

В 1928 г. в первом томе Полного собрания художественных произведений Л.Н.Толстого (Приложение к журналу «Огонек» за 1928 год) «Се-

востополь в мае» впервые был напечатан по тексту корректуры (набор для № 8 «Современника»), с исправлениями и дополнениями по сборнику «Военные рассказы». Юбилейное издание (т. 4) предлагало другой основной источник текста рассказа — рукопись (ошибочно, впрочем, полагая, что это рукопись наборная; в действительности она предшествует наборной). Решение об автографе как основном источнике текста «Севастополя в мае» представляется наиболее убедительным и принято в настоящем издании.

В рукописном фонде рассказа «Севастополь в августе 1855 года» сохранились наборная рукопись (автограф) и корректура «Современника», основательно правленная Толстым. Текст корректуры существенно отличался от наборной рукописи: конечно, сюда не попали фрагменты, вычеркнутые в рукописи, однако появилась новая глава (25) и внесено множество изменений в текст. В корректуре еще нет финала, которым Толстой завершит рассказ в сборнике 1856 г., но в этом издании окажется неучтенной авторская правка в декабрьской корректуре и останется много цензурных искажений. В 1932 г. в 4-м томе Юб. изд. «Севастополь в августе 1855 года» был впервые опубликован по наборной рукописи (с учетом некоторых поправок, сделанных автором в корректуре и в издании 1856 г.), хотя комментатор В.И.Срезневский, считая корректуру «не вполне исправной», все же признавал приоритет текста корректуры, а точнее, тех изменений и поправок, которые внес Толстой на последней стадии работы и которые «являются таким образом как бы окончательной обработкой рассказа» (Юб., т. 4, с. 395). В дальнейшем «Севастополь в августе...» почти три десятилетия печатался по тексту Юб. Эту традицию нарушило двадцатитомное издание, в 1960 г. напечатав третий сева-стопольский рассказ по авторизованной корректуре «Современника». Такой выбор представляется наиболее верным и целесообразным. В настоящем издании в текст корректуры внесены необходимые исправления по автографу и учтена позднейшая авторская правка для сборника «Военные рассказы» (см. комментарии).

Неоконченные произведения, стихотворения и перевод книги Л.Стерна печатаются по автографам.

Тексты и комментарии подготовила *Н.И.Бурнашева.*

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1852–1856 гг.

НАБЕГ

РАССКАЗ ВОЛОНТЕРА

Впервые: «Современник», 1853, № 3, с. 93–116 (ценз. разр. 28 февраля 1853 г.). Подпись: Л.Н.

Вошло в сборник «Военные рассказы графа Л.Н.Толстого». СПб., 1856, с. 1–57.

Сохранились 8 автографов и 2 неполные копии (всего 108 л.).

Печатается по тексту сборника «Военные рассказы» со следующими исправлениями:

С. 10, строка 38: садились на каменистый берег — *вместо:* садились на каменный берег (по А₁, А₃, К₂).

С. 11, строки 3–5: Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, поросший на них, и темно-зеленые, покрытые росой кусты держи-дерева — *вместо:* Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой, кусты держидерева (по А₃, К₂, С).

С. 11, строки 6–7: другая сторона и лощина, покрытые густым туманом — *вместо:* другая сторона и лощина, покрытая густым туманом (по А₁, А₃, К₂, С).

С. 11, строки 23–24: пятками поталкивал свою лошадку — *вместо:* пятками поталкивал ногами свою лошадку (*вставив слово пятками при подготовке сборника «Военные рассказы», Толстой случайно не зачеркнул слово ногами*).

С. 16, строки 8–9: хорошенькая каретка, которую я заметил по дороге, и остановилась у крыльца — *вместо:* хорошенькая каретка, которую я заметил у крыльца (по С).

С. 17, строка 16: В девять часов вечера — *вместо:* В десять часов вечера (по А₃, А₄, С).

С. 17, строки 38–39: мимо меня. Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд. — *вместо:* мимо меня. (по А₃).

С. 20, строка 33: наша народ такой! — *вместо:* наши народ такой! (по аналогии: *наша все в горах был* (С. 21, строка б); *наша видно не будет* (строка 8).

С. 21, строка 4: Вот, лева сторона — *вместо:* Вот, левая сторона (по А₃, С).

С. 22, строка 26: говорит он — *вместо:* говорил он (по А₁, А₃, С).

С. 26, строка 1: «Вон он откуда палит — вместо: «он откуда палит (по Аз, С).

С. 29, строки 27–28: когда я, подходя к группе — вместо: как я, подходя к группе (по Аз, С).

С. 29, строки 41–42: Подголосок шестой роты звучал изо всех — вместо: Подголосок шестой роты звучал изо всех сил (по Аз).

Рассказ «Набег» Толстой написал в 1852 г. на Кавказе. Впервые мысль о «кавказском рассказе» появилась в дневнике 31 марта: «После охоты я болтал с Балтой до ужина; он мне рассказал драматическую и занимательную историю семейства Джеми. Вот сюжет для кавказского рассказа». Через неделю, 7 апреля, в дневнике снова запись о желании «начать коротенькую кавказскую повесть», однако, пока продолжалась работа над «Детством», Толстой «не позволял себе этого сделать — не окончив начатого труда». Лишь 17 мая 1852 г. в Пятигорске он все же принялся за новое: «Сейчас начал и изорвал письмо с Кавказа, обдумая его», — отмечено в дневнике. На следующий день снова «писал п<исьмо> с К<авказа>, кажется, порядочно, но не хорошо, — признавался Толстой на страницах дневника. — Буду продолжать: 1) занятие, 2) привычки работать, 3) усовершенствование слога».

«Письмо с Кавказа» — так называл Толстой в дневнике раннюю редакцию будущего рассказа «Набег», над которой работал во второй половине мая. Почти ежедневные дневниковые записи запечатлели процесс создания этой редакции.

19 мая: «Как-то не пишется п<исьмо> с К<авказа>, хотя мыслей много и, кажется, путные».

20 мая: «...писал п<исьмо> с К<авказа> — и хорошо и дурно. Я убеждаюсь, что невозможно (по крайней мере для меня и теперь) писать без корректур».

21 мая: «...писал не лениво, но небрежно». Правило «привычки работать» выполнялось изрядно: порой два раза в день принимался Толстой за свой труд. В тот же день еще запись в дневнике: «Спал в саду, пил воды, чай, писал опять небрежно. Завтра переписываю эту же часть письма с К<авказа> и продолжаю дальше».

22 мая: «...переписывал письмо, за второй частью которого придется подумать».

23 мая Толстой наконец с удовлетворением записал, что «докончил письмо довольно хорошо».

Таким образом, над первой оконченной редакцией будущего «Набега» работа продолжалась семь дней, с 17 по 23 мая 1852 г. Рукописи «Набега» сохранились не полностью, и от первой редакции уцелел единственный отрывок о пребывании автора «Письма» в крепости. Этот ранний фрагмент (в *Описании* рук. 4) по содержанию близок к окончательному тексту первой половины шестой главы рассказа.

Неделю в дневнике не было никаких сведений о дальнейшей работе над рассказом. 31 мая Толстой отметил, что «писал о храбрости. Мысли хороши, но от лени и дурной привычки слог не обработан». Трудно сказать, насколько мысли о храбрости на том этапе были сопряжены с «Письмом с Кавказа», вполне возможно, что эти мысли были записаны

как самостоятельное, отдельное рассуждение и только в процессе работы над будущим «Набегом» обрели в нем свой смысл и место¹.

4 июня 1852 г. Толстой, по его признанию, вел «обыкновенный образ жизни, писал письмо с Кавказа мало, но хорошо». В той же дневниковой записи очень важная мысль по поводу собственной творческой работы: «Я увлекался сначала в генерализацию, потом в мелочность, теперь, если не нашел середины, по крайней мере, понимаю ее необходимость и желаю найти ее». Не исключено, что это размышление имело прямое отношение к мыслям о храбрости, записанным четыре дня назад и оказавшимся нужными именно сейчас в начатом рассказе. Поиски «середины» опускали на землю высокие и отвлеченные рассуждения о храбрости, заставляли находить возможные варианты проявления этой «способности души» в конкретных людях.

5 июня Толстой «перечитывал и переправлял п<исьмо> с К<авказа>. Написал немного дальше, но не хорошо», как ему казалось.

Следующие дни отданы «Детству», которое готовилось к отправке в Петербург.

Только 14 июня Толстой вернулся к мысли о кавказском рассказе: «Завтра встаю в 5-м <часу>, принимаю ванны и пишу утром Д<етство>, а вечером новое». 17 июня он «небрежно написал две страницы п<исьма> с Кавк<аза>». А 4 июля, после того как «Детство» было послано в журнал «Современник», Толстой решил «сначала писать пи<сьмо> с К<авказа>». На следующий день опять «писал п<исьмо> с Кавк<аза>, начал хорошо, а кончил небрежно», как отмечено в дневнике.

В первой половине июля работа над рассказом шла почти ежедневно и довольно успешно. Правда, автору не нравился сатирический тон его сочинения и он старался устранить сатирическое начало в рассказе: «Надо торопиться скорее окончить сатиру моего п<исьма> с Кавк<аза>, а то сатира не в моем характере» (7 июля). 8 июля отмечено: «...писал п<исьмо> с К<авказа> порядочно».

В следующие несколько дней рассказ в дневнике не упоминался; Толстой был занят чтением книги А.И. Михайловского-Данилевского «Описание Отечественной войны 1812 года»: «Читал М<ихайловского>-Д<анилевского> — плоско», — такую оценку получил труд историка в

¹ Дневниковая запись 12 июня 1851 г. свидетельствует, что мысли о храбрости и о конкретных ее проявлениях возникали в сознании Толстого уже в первые дни пребывания на Кавказе: «Меня поразили 3 вещи: 1) разговоры офицеров о храбрости. Как заговорят о ком-нибудь. Храбр ли? Да так. Все храбры. Такого рода понятия о храбрости можно объяснить вот как: храбрость есть такое состояние души, при котором силы душевные действуют одинаково [при каких бы то ни было обстоятельствах. Или напряжение деятельности, лишаящее сознания опасностей. Или есть два рода храбрости: моральная и физическая. Моральная храбрость, которая происходит от сознания долга и вообще от моральных влечений, а не от сознания опасности. Физическая та, которая происходит от физической необходимости, не лишая сознания опасности, и та, которая лишает этого сознания. Примеры: 1-ой — человек, добровольно жертвующий собой для спасения отечества или лица. 2) Офицер, служащий для выгод. 3) В турецкой кампании бросились в руки неприятеля, чтобы только напиться, русские солдаты]. Мысли эти найдут отражение в рассказе «Набег».

дневнике 24-летнего Толстого¹. Но, видимо, в эти дни все же продолжалась работа над рассказом; 14 июля записано: «Читал, кончил брульон п<исьма> с К<авказа>. Много надо переделывать, но может быть хорошо. Завтра примусь». 14 июля, таким образом, можно считать датой окончания работы над второй редакцией рассказа.

В этой завершенной черновой редакции «Письма с Кавказа» (в *Описании* рук. 1) общий характер будущего «Набега» просматривался довольно отчетливо: сложились сюжет и композиция рассказа, определились основные персонажи и их характеристики, но не было еще некоторых сцен и картин природы, появившихся впоследствии, не было деления на главы и, пожалуй, самое важное, весь тон сочинения, как ни старался Толстой быть беспристрастным, носил откровенно сатирическую окраску. В центре внимания автора — фигура капитана А..... (будущего капитана Хлопова), правда, представлен он несколько иначе, чем в окончательном тексте: нет эпизода, связанного с матерью капитана, нет разговора рассказчика с капитаном о молоденьком прапорщике (в окончательном тексте — конец II главы), приведено мнение капитана А... о поручике В... (будущем Розенкранце), о генерале и полковнике, об офицерах-«шелыганах», о военном гении. О самом же капитане говорит генерал, характеризуют его и другие офицеры. Прапорщик Аланин в этой редакции пока не имеет фамилии и назван грузинским князем, отдельные штрихи его поведения почти буквально соответствуют дневниковым записям Толстого о молодом его сослуживце Н.И.Буемском. Облик князя прорисован здесь не достаточно рельефно: нет сцены с козленком в ауле и последних минут жизни смертельно раненного юноши.

Большое внимание автор уделил генералу и офицерам. Именно эти персонажи даны в весьма сатирической манере: например, генерал, который, «увернувшись в шинель с бобровым воротником, стоял на другом берегу на своей тонконогой гнедой лошадке и со всеми окружающими его особами в офицерских и черкесских платьях смотрел на переправу и представлял из себя тоже самую живописную картину». Тот же «генерал, прыгивая по-английски на седле, чрезвычайно мило шутит по-француз-

¹ 22 сентября того же 1852 г. Толстой отметил в дневнике, что читал «Описание войны 1813 года» А.И.Михайловского-Данилевского, и в той же записи продолжал: «Составить истинную правдивую историю Европы нынешнего века. Вот цель на всю жизнь». Невысокая оценка трудов известного историка была вызвана тем, что, несмотря на обширный документальный и мемуарный материал, автор ограничился лишь описанием военных действий, без попыток проникнуть в истинную суть и причины событий. Отношение Толстого к сочинениям Михайловского-Данилевского прозвучало и в «Набеге», на первых его страницах, в разговоре капитана Хлопова с волонтером, для которого важно было узнать, не «какие сражения бывают» и «где какой корпус стоял», а «что такое храбрость» и, как было сказано в преднаборной рукописи, «каким образом и под влиянием какого чувства убил один солдат другого?» Это для волонтера «интереснее знать», «чем расположение войск при Аустерлицкой или Бородинской битве». Так в тексте рассказа Толстой продолжал оппонировать сочинениям Михайловского-Данилевского, заявляя собственную позицию в таком важном вопросе, как «самый факт войны — убийство». Отталкиваясь от трудов историка, Толстой создает свое «описание войны» — под таким наименованием некоторое время фигурировал в дневнике будущий «Набег».

ски». Еще более язвительно звучит характеристика офицеров из генеральской свиты: «В свите генерала было очень много офицеров; и все офицеры эти были очень довольны находиться в свите генерала. Одни из них были его адъютанты, другие — адъютанты его места, третьи находились при нем, четвертые — кригскомиссары или фельдцех... или квартирмейстеры, пятые командовали артиллерией, кавалерией, пехотой, шестые — адъютанты этих командиров, седьмые командовали арьберггардом, авангардом, колонной, восьмые — адъютанты этих командиров; и еще очень много офицеров — человек 30». Не обошел вниманием Толстой и других офицеров: в сцене привала под ротной повозкой сидел проигравшийся офицер, а двое «находились перед песенниками и плясали по-русски». Причем автор не удержался от намека на сущность вседневной офицерской службы: «Но не думайте, чтобы это была бестолковая нелепая пляска пьяных людей, которые не знают, что делают; напротив, видно было, что эти господа не мало практиковались в этом деле и прилагали к нему всё свое старание и усердие».

В «Письме с Кавказа» имелись сцены, не вошедшие в окончательный текст рассказа: в эпизоде ранения грузинского князя старый солдат вылез из-за обрыва с головой чеченца, а во время грабежа в захваченном ауле солдат-карабинер убил молодую чеченку на глазах ее «гололобого детеныша» и капитан А..., свидетель происшедшего, в исступлении стал бить солдата и, увидев, что женщина мертва, «сел верхом и поскакал прочь». «Я видел, что на глазах его были слезы», — писал автор и с гневными словами обращался к карабинеру, взывая к его совести и религиозному чувству.

«Брульон п<исьма> с К<авказа>», как 14 июля назвал эту редакцию Толстой, подлежал серьезной обработке: на некоторых страницах рукописи конспективные пометы, что нужно изменить, вставить, дописать. Так, по всей первой странице поперек текста разговора капитана А... с автором «Письма» — размашистая запись: «Просто описание». В сцене, происходящей в приемной генерала, Толстой зачеркнул целый, видимо не удовлетворивший его, кусок («к крыльцу подъехала коляска ~ перед его отъездом в поход»); однако содержание и смысл этого эпизода ему надо было сохранить, лишь сделав его иначе, и потому по вычеркнутому тексту написано: «Дожидаются татар». Автор планировал многое переделать и приняться за эту работу на следующий день, однако 15 июля с укоризной отметил в дневнике: «П<исьмо> с К<авказа> лежит на столе, и я не принимаюсь за него». А еще через несколько дней, 20 июля, появилась новая идея в отношении рассказа: «Завтра начинаю переделывать п<исьмо> с К<авказа>, и себя замену волонтером». Намерение это в ближайшие месяцы осталось неосуществленным.

Только в середине октября, уже зная, что «Детство» напечатано, Толстой снова обратился к своему незавершенному рассказу. 13 октября он заметил в дневнике, что хочет «писать к<авказские> о<черки> для образования слога и денег». В ожидании письма от Н.А. Некрасова по поводу гонорара за «Детство» и дальнейших отношений с «Современником» Толстой продумал целую «программу» таких очерков, которые готов был писать для публикации в журнале. 19 октября эту «программу» он записал в дневнике: «Ежели п<исьмо> от р<едактора> побудит меня писать оч<ерки> Кавк<аза>, то вот программа их: 1) Нравы народа: а) История

Салты?¹, б) Рассказ Балты, с) Поездка в Мамакай-Юрт. 2) Поездка на море: а) История немца, б) Армянское управление, с) Странствование кормилицы. 3) Война: а) Переход, б) Движение, с) Что такое храбрость?. Запись свидетельствует о том, что мысли о храбрости, набросанные еще 31 мая, теперь уже определенно Толстой включал в свой замысел рассказа о войне, будущего «Набега». 21 октября к трем пунктам «программы» кавказских очерков добавился еще один, почерпнутый из рассказов «Япишки», старого казака Епифана Сехина: «Писал мало ($\frac{3}{4}$ листа)». Вообще был целый день не в духе; после обеда помешал Яп<ишка>. Но рассказы его удивительны. Оч<ерки> К<авказа>: 4) Рассказы Япишки: а) об охоте, б) о старом житье казаков, с) о его похождениях в горах». После этой записи более месяца в дневнике не было ни слова о работе над кавказскими очерками.

Лишь в конце ноября, ободренный добрыми словами в письме Некрасова, Толстой принялся за новый «рассказ о Кавказе», на несколько дней приковавший его внимание, — «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт», сочинение, оставшееся незаконченным. Отдельные его мысли и строки так или иначе отголоском звучат в черновиках и в окончательном тексте «Набега».

27 ноября Толстой писал Некрасову: «Хотя у меня кое-что и написано, я не могу прислать вам теперь ничего; во-первых, потому, что некоторый успех моего первого сочинения развил мое авторское самолюбие и я бы желал, чтобы последующие не были хуже первого, во-вторых, вырезки, сделанные цензурой в *Детстве*, заставили меня, во избежание подобных, переделывать многое снова». И далее Толстой, не искушенный еще отношениями с цензурой и редакторами, обращался к Некрасову с просьбой: «Я буду просить вас, милостивый государь, дать мне обещание, насчет будущего моего писания, ежели вам будет угодно продолжать принимать его в свой журнал, — не изменять в нем ровно ничего. Надеюсь, что вы не откажете мне в этом. Что до меня касается, то повторяю обещание прислать вам первое, что почту достойным напечатания». Написав письмо редактору «Современника», Толстой «теперь успокоился на этот счет». «Не торопясь примусь за что-нибудь», — решил он (дневник 27 ноября). На следующий день «пробовал писать, нейдет. <...> Писать без цели и надежды на пользу решительно не могу», — признавался он на страницах дневника.

Обдумывались жизненные планы, связанные с мечтами оставить военную службу и вернуться в свою Ясную Поляну. Месяц назад, 28 октября, Толстой писал в дневнике: «С нынешнего дня нужно снова считать время своего изгнания. Бумаги мои возвратили: стало быть, раньше половины,

¹ Салты — один из самых укрепленных аулов в Среднем Дагестане. Под командованием кн. Воронцова летом и осенью 1847 г. была предпринята его осада. Защищать Салты Шамиль поручил лучшему из своих наибов Омар-Дебиру. Осада длилась 52 дня; аул был почти полностью разрушен, но не сдавался. 14 сентября начался штурм; горцы оказывали отчаянное сопротивление, защищая каждую саклю. К ночи русскому гарнизону удалось овладеть лишь половиной аула. Омар-Дебир намерен был продолжать обороняться, но его соратники бежали. Аул Салты пал. Эта операция стоила русской армии жизни сотни офицеров и более двух тысяч «нижних чинов».

то есть июля месяца 1854 года, я не могу надеяться ехать в Россию, а выйти в отставку раньше 1855 года. Мне будет 27 лет. Ох, много! Еще три года службы. Надо употребить их с пользой. Приучить себя к труду. Написать что-нибудь хорошее и приготовиться, то есть составить правила жизни в деревне. Боже, помоги мне».

Наконец 29 ноября Толстой определил для себя круг литературных занятий на ближайшее время: «Примусь за отделку *описания войны* и за Отрочество, — записал он в дневнике. — Книга¹ пойдет своим чередом». «Описание войны» — это новое черновое название незаконченного «Письма с Кавказа». На следующий день к «описанию войны» так и не приступил: «много думал, но ничего не делал, — признался Толстой в дневнике. — Завтра утром примусь за переделку *описания* в *войны*, а вечером за Отрочество, к *оторое* окончательно решил продолжать».

Почти весь декабрь 1852 г. шла усердная работа над рассказом. «Писал целый день *описание* в *войны*, — отметил Толстой в дневнике 1 декабря. — Всё сатирическое не нравится мне, а так *как* всё было в сатирическом духе, то всё нужно переделывать». Переделывать пришлось довольно основательно: были сняты портрет батальонного командира и описание офицеров из генеральской свиты; «живописная картина» генерала со свитой, наблюдающих за переправой, заменена не менее живописной, но теперь значительно более развернутой и высокой в художественном отношении картиной самой переправы через горную реку. Убрал автор из третьей редакции эпизод пляски офицеров, упомянув лишь пляску молоденького прапорщика. 2 декабря Толстой «был на охоте с братом², болтал с ним и читал ему *описание* в *войны*». Писал немного». А на следующий день «писал много. Кажется, будет хорошо. И без сатиры, — с удовлетворением отметил он в дневнике. — Какое-то внутреннее чувство сильно говорит против сатиры. Мне даже неприятно описывать дурные стороны целого класса людей, не только личности». Несколько позднее, уже в Севастополе, работая над «Рубкой леса», Толстой сформулировал то, что называл «внутренним чувством»: «Избегай осуждения и пересказов», — а два года спустя заметил в записной книжке: «Евангельское слово: *не суди* глубоко верно в искусстве: рассказывай, изображай, но не суди».

Работа продолжалась ежедневно. 4 декабря: «Написал $1/2$ листа. Я с каким-то страхом пишу этот рассказ». Назавтра вновь написано только пол-листа, но удовлетворенная запись: «Рассказ будет порядочный». В тот же день Толстой писал брату Сергею Николаевичу: «У меня был уже написан кавказский рассказ, я теперь отделяю его и pošлю в этом месяце; но, несмотря на то, что редактор просит меня прислать ему что бы то ни было моего писанья и за все предлагает 50 рублиев серебром с листа и больше, я думаю, что для журналов больше писать не буду. Мне хотелось испытать себя и только». Это черновой вариант письма, которое будет отправлено из Старогладковской 10 декабря.

Между тем Толстой с усердием отделял рассказ.

6 декабря: «<...> написал листа 2».

¹ «Роман русского помещика».

² Н.Н.Толстым.

7 декабря: «Не мог писать больше $\frac{1}{4}$ л<иста>. Мне кажется, что все написанное очень скверно. Ежели я еще буду переделывать, то выйдет лучше, но совсем не то, что я сначала задумал».

8 декабря: «Писал немного, без всякой охоты. Решительно так плохо, что я постараюсь завтра кончить, чтобы приняться за другое».

9 декабря: «Писал листа 2. Надеюсь завтра кончить».

10 декабря: «...докончил рассказ», но он не хорош: «Еще раз придется переделывать его».

В письме к С.Н.Толстому в тот же день признание: «...я ничего так не боюсь, как сделаться журнальным писакой и, несмотря на выгодные предложения редакции, пошлю в “Современник” — и то едва ли — один рассказ, который почти готов и который будет очень плох. Не беда! Это будет последнее сочинение г-на Л.Н.».

«Доконченный рассказ» — это третья редакция (в *Описании* рук. 3) будущего «Набега», которая заметно отличалась от предыдущей не только тем, что были устранены сатирические характеристики и общий сатирический дух рассказа, но и самой формой повествования. Толстой отказался от формы письма и рассказчиком сделал волонтера, человека неопытного, впервые оказавшегося в набеге. «Заменяв себя волонтером», автор уходил от личного, субъективного взгляда на войну. В третьей редакции сохранились сюжет, композиция, основные персонажи и их характеристики, написанные прежде, но был введен ряд сцен, описаний, деталей, позволявших глубже проникнуть в такое явление, как война, рельефнее показать лица и ситуации рассказа. Значительно дополнен облик капитана, получившего теперь фамилию Хлапов: Толстой ввел в сюжет фигуру матери капитана, ее рассказ о сыне, ее подарок, образок, и разговор волонтера с капитаном о его службе. Появился здесь и запоминающийся штрих в образе капитана: он курил *самброталический табак*, т.е. самодельный (видимо, от *сам брат*).

Несколько изменился в новой редакции и молоденький офицер, погибающий в набеге: это уже не грузинский князь, а прапорщик Аланин с «небольшим вздернутым носом»¹. Толстой привел короткий разговор капитана с волонтером об Аланине, сцену с козленком во время грабежа захваченного аула, тщательно проработал эпизод ранения и смерти молоденького прапорщика. В этом эпизоде более характерно был представлен доктор: определение «пьяный» заменено развернутым описанием поведения доктора при осмотре раненого прапорщика. «Приехавший доктор, сколько я мог заметить по нетвердости в ногах и потным глазам,— рассказывал волонтер,— находился не в приличном положении для делания перевязки, однако он принял от фершела бинты, зонд, другие принадлежности и, засучивая рукава, смело подошел к раненому». «Нетрезвый доктор» «неловко щупал рану и без всякой надобности давил ее трясущимися пальцами».

¹ Первоначально: с «небольшим орлиным носом» — деталь, перешедшая из предыдущей редакции (ср. запись в дневнике 10 мая 1852 г.: «*Орлиные носы* сводят меня с ума; мне кажется, что в них заключается вся сила характера и счастье жизни»). В окончательном тексте — «тонкий носик» (глава II), что отметил рассказчик-волонтер, любуясь прапорщиком Аланиным.

Подверглась переделке и фигура Розенкранца, Толстой особенно много работал над этим образом. В рассказ были введены также разговор волонтера с татарским офицером, новые описания природы, авторские отступления, в частности рассуждение о непоказной храбрости капитана Хлапова, о «высокой черте русской храбрости», а также размышление о войне: «Как могли люди среди этой природы не найти мира и счастья, думал я. Война? Какое непонятное явление? Когда рассудок задает себе вопрос: справедливо ли, необходимо ли оно? внутренний голос всегда отвечает: нет. Одно постоянство этого неестественного явления делает его естественным, а чувство самосохранения справедливым». Далее рассуждение о справедливости или несправедливости «войны русских с горцами» Толстой иллюстрировал примерами из жизни «оборванца» Джемми и офицера из генеральской свиты, или адъютанта, сделавшегося «врагом горцев», чтобы поскорее получить «чин капитана и тепленькое местечко», или «молодого немца» Каспара Лаврентьича, «уроженца Саксонии». «Чего же он не поделил с кавказскими горцами? — спрашивал рассказчик. — Какая нелегкая вынесла его из отечества и бросила за тридевять земель? С какой стати саксонец Каспар Лаврентьич вмешался в нашу кровавую ссору с беспокойными соседями?» Сохранившиеся рукописи свидетельствуют, как вдумчиво и тщательно прорабатывал Толстой этот кусок текста. Впервые рассуждение это появилось в черновиках третьей редакции рассказа, хотя «оборванный Джемми», который «махал палкой с зажженной соломой и кричал во все горло», упоминался уже во второй редакции.

В черновом варианте это рассуждение носило еще более резкий характер. Рассматривая вопрос о справедливости или несправедливости войны с горцами, Толстой пытался обнажить истинную побудительную причину, заставившую воевать на Кавказе людей самого разного положения, от генерала до солдата. В первой рукописи этого отрывка очевидна позиция Толстого: чувство самосохранения, а следовательно, и справедливость на стороне оборванца Джемми, у которого «все отнимут»; генерал же, офицеры, молодой немец, адъютант даны в сатирическом тоне. Первоначально рассуждение, на чьей стороне справедливость, завершал слишком смелый, даже вызывающий пассаж: «Или не на стороне ли того, ко<торый> заставл<ает> всех находить пользу или удовольствие в этой войне?» Несколько позднее Толстой продолжил это рассуждение короткой конспективной записью: «Но разве они тоже виноваты — особенно солдаты? Им велели. Разумеется, на его стороне, на его стороне право. Это могут доказать все ученые». Анализируя черновую редакцию рассуждения, Н.Н.Гусев полагал, что «эти слова могут относиться только к царю, и больше ни к кому», здесь явный «протест Толстого против колониальной политики Николая I» (*Гусев, I, с. 415*). И замечание о «праве», по мнению Гусева, «тоже может относиться только к царю» (там же). Заканчивая свое рассуждение, Толстой писал иронически про «вину» оборванца Джемми: «Так виноват тот оборванец тем, что он не знает, что такое закон и право».

Работа над этими строками будущего «Набега» фактически совпала по времени с горьким разочарованием от недавно напечатанного «Детства», где были сделаны цензурные замены и вымарки. Уже получив первое представление и наглядный урок о том, что такое цензура, Толстой не

умел еще (или не хотел) «едкие истины» облекать в форму, осознанно необходимую для того, чтобы рассказ появился в печати. В первоначальной редакции рассуждения еще мало присутствовала самоцензура, мысли высказывались резко и нелицеприятно. Конечно, Толстой понимал, что в таком виде этот отрывок не мог быть принят ни редактором «Современника», ни цензурой, поэтому дальнейшая переработка его была направлена на устранение откровенно обличительных характеристик, сатирического тона, упоминаний о царе. В новой редакции появились слова о том, что в этой войне справедливость «на нашей стороне», дано сильное оправдание этой войны необходимостью защиты «богатых и просвещенных русских владений» от грабежей и набегов диких воинственных горцев. Сравнивая разные редакции рассуждения о справедливости и несправедливости в этой войне, Н.Н.Гусев считал, что «Толстой отделял этот отрывок для печати; вероятно, он поместил его в последней редакции в рукопись рассказа, посланную в “Современник”» (Гусев, I, с. 415–416). А дальше рождались вопросы: «Не это ли место рассказа,— писал Гусев,— было одним из тех двух мест, которые Толстой в рукописи, посланной Некрасову, отметил особыми значками, как опасные в цензурном отношении? Не было ли это место в рукописи заменено тем, которым заканчивается описание ночи в тексте “Набега”, вошедшем в отдельное издание “Военных рассказов” Толстого 1856 года?» (Гусев, I, с. 416). Это конец VI главы рассказа: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете ~ этим непосредственнейшим выражением красоты и добра». По мнению Гусева, «не только по мысли — противопоставлению человека и природы, до Толстого выражавшейся во многих поэтических произведениях,— но и по отдельным выражениям все это заключение шестой главы “Набега” очень напоминает некоторые строки стихотворения Лермонтова “Валерик” (“Я к вам пишу...”»), написанного за двенадцать лет до “Набега” и также изображающего картину нападения на горцев». Исследователь не исключал «прямого воздействия лермонтовского стихотворения на рассказ Толстого» (Гусев, I, с. 416).

Пытаясь объяснить в людях «общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности» перед набегом, Толстой впервые ввел в третьей редакции рассказа понятие *esprit de corps* — дух армии, дух войска; этот «могущественный моральный двигатель человеческой природы» позднее играл огромную роль в книге «Война и мир».

Сюжет рассказа заканчивался описанием отряда, подходившего к крепости, разговорами офицеров, возвращавшихся из удачного набега. Автор обращал внимание на задумчивое лицо капитана Хлапова и на то, что «в обозе везли мертвое тело хорошенького прапорщика». Завершали рассказ картина природы и звучание «сильного грудного голоса» «подголоска 6-й роты», близкие к окончательному тексту.

Третья законченная редакция рассказа получила название «Рассказ волонтера»; цифрового обозначения глав еще не было, но автор разделил текст на главы короткими горизонтальными чертами. «Докончив рассказ», Толстой еще раз перечитал его, кое-что поправил и с карандашом в руках оценками от 0 до 5 на полях определил свое отношение к тем или иным фрагментам собственного сочинения. Вышим баллом были отмечены эпизод посещения волонтером матери капитана Хлапова, описание прапорщика Аланина во время привала и сцена его смерти, а также «под-

голосок 6-й роты». Получение капитаном подарка матери, офицеры на привале, переправа через реку были оценены 4. Оценку 3 получили начало рассказа, сцена ожидания волонтером разговора с генералом и др. 2 Толстой поставил рассуждению «как прекрасен Божий мир...». 1 и 0 отмечены отдельные фразы, позднее измененные автором. Но в целом рассказ, видимо, не нравился Толстому: какое-то время он даже колебался, стоит ли вообще на него тратить силы. 11 декабря он рассуждал в дневнике: «Решительно совестно мне заниматься такими глупостями, как мои рассказы, когда у меня начата такая чудная вещь, как роман Помещика. Зачем деньги, дурацкая литературная известность. Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полезную вещь. За такой работой никогда не устанешь. А когда кончу — только была бы жизнь и добродетель — дело найдется».

Тем не менее работа над рассказом продолжалась. 16 декабря Толстой записал о прошедшем дне: «...я вожусь все с глупым рассказом...». В эти дни автор договорился с двумя своими сослуживцами, Хилковским и Глушковым, о переписывании рассказа. Рукопись сочинения была поделена по несколько листов между переписчиками. Но, к своему глубокому огорчению, Толстой понял, что «Хилковский, кажется, плох писать», и решил: «Мне нужно самому, по крайней <мере>, еще раз переписать этот рассказ для того, чтобы он был порядочен». 17 декабря в дневнике снова с некоторой досадой замечено об одном из переписчиков: «Хилковский не может переписать, но мне глупо совестно было сказать ему это. Лень, а надо кончить и послать рассказ до похода».

18 декабря Толстой сам взялся переписывать: «Начал было писать, но пришли офиц<еры> и помешали мне», — отметил он в дневнике. И далее: «Переписывал, и все еще раз надо будет переписать. Имел глупость дать Глушкову 5–15 <листы> и не отказать еще Хилковскому». Следующие несколько дней Толстой был занят переписыванием рассказа. 19 декабря «целый день переписывал, отказал Хилковскому»: два раза начинал Хилковский переписывать набело, и обе копии уже с первых листов были неудачны, со множеством ошибок и нелепостей. Глушков как переписчик, видимо, тоже мало устраивал автора, и в тот же день Толстой записал: «Глушков сердит на меня». Но, по-видимому, часть черновой рукописи (с 5 по 15 листы) все же переписал Глушков, потому что сам Толстой переписывал вторую часть, что отметил в дневнике 20 декабря: «Писал, утром помешали Ник<оленка> и Сул<имовский>. <...> Однако переписал всю 2-ю часть. Кажется, хорошо». 22 декабря сам Толстой «переписал начало», вероятно, 1–4 листы. 24 декабря в дневнике о рассказе лаконичная запись: «Сочельник. Окончил рассказ. Он не дурен».

26 декабря Толстой писал в Петербург Н.А. Некрасову: «Милостивый государь! Посылаю небольшой рассказ; ежели вам будет угодно напечатать его на предложенных мне условиях, то будьте так добры, исполните следующие мои просьбы: не выпускайте, не прибавляйте и, главное, не переменяйте в нем ничего. Ежели бы что-нибудь в нем так не понравилось вам, что вы не решитесь печатать без изменения, то лучше подождать печатать и объясниться».

Ежели, против чаяния, цензура вымарает в этом рассказе слишком много, то, пожалуйста, не печатайте его в изувеченном виде, а возвратите мне. На последней странице я означил X и * два варианта, которые я сде-

лал в двух местах, за которые я боюсь в этом отношении; просмотрите и вставьте их, ежели найдете это полезным.

Я полагаю, что примечания, которые я сделал на последнем листе, или по крайней мере некоторые из них, необходимы для русских читателей.

Я бы тоже желал, чтобы деления, означенные мною черточкой, так бы и оставались в печати.

Извините, что рукопись уродливо и нечисто написана: и то мне стоило ужасного труда!» В тот же день, 26 декабря, Толстой «отослал с Сулим<овским> рассказ и рассказал ему». Посланная в Петербург рукопись неизвестна. Очевидно, в ней появилось название «Набег» с подзаголовком «Рассказ волонтера»; в сохранившихся автографах и копиях только «Рассказ волонтера».

Опасаясь цензурных вымарок, как видно из письма Некрасову, автор в «двух местах» рассказа предлагал варианты для замены. Что же это за «места»? В сохранившемся автографе (в *Описании* рук. 3), который можно считать преднаборной рукописью, есть обозначения, похожие на приведенные в письме Некрасову. Знак х, начертанный красным карандашом, стоит в трех местах; поставлен он С.Л.Толстым, старшим сыном писателя, в 1910 г., когда С.А. и С.Л.Толстые, готовя 12-е собрание сочинений Л.Н.Толстого, решили восстановить по имевшимся в их распоряжении рукописям тексты ранних произведений, в свое время пострадавших от цензуры. 18 апреля 1910 г. Д.П.Маковицкий записал: «После обеда Сергей Львович застенчиво, боясь утруждать и отнимать много времени, спросил Льва Николаевича, может ли он пять минут посвятить “Набегу”, и прочел пропущенные цензурой места. Оказалось,— Л.Н. помнил,— что они пропущены не Некрасовым, не по его литературным соображениям, а по цензурным. Например, длинное хорошее рассуждение о том, на чьей стороне справедливость: на стороне ли оборванца-чеченца, защищающего свою семью, саклю, скарб, или русского офицера, метящего в адъютанты, или саксонца-офицера.

Л.Н. помнит, что ему было обидно, что это рассуждение было пропущено. <...>

— Надо вставить, что пропущено,— сказал Л.Н. <...>

На вопрос Софьи Андреевны и Сергея Львовича: “А в печатном есть прибавки (против рукописи), очевидно, твои?” — И Сергей Львович прочел некоторые.

Л.Н.: “Разумеется, мое”.

— Печатать по рукописи с этими прибавками?

Л.Н. согласился, но ответил: “Сделайте, что хотите” (верно, чтобы его оставили).

Л.Н-чу, очевидно, были очень интересны эти воспоминания, рукопись, вставки, но он не хотел им уделять времени в ущерб теперешним писаниям и поэтому предоставляет Софье Андреевне и Сергею Львовичу делать, как они хотят» (*ЛН*, т. 90, кн. 4, с. 227)¹.

¹ В томе, вышедшем в 1911 г., был напечатан контаминированный, сводный текст «Набега», включивший фрагменты из третьей редакции. В таком виде рассказ выдержал несколько изданий, как дореволюционных, так и ряд изданий в двадцатые годы.

Около рассуждения о справедливости С.Л.Толстой поставил значок х. (Хотя едва ли можно утверждать, что именно этот текст, неизменный, перешел из третьей редакции в наборную рукопись.) Некрасов, печатая рассказ, скорее всего, сделал замену на вариант, данный Толстым. Однако цензору даже такой безобидный текст (видимо, фрагмент: «Неужели тесно жить людям ~ этим непосредственнейшим выражением красоты и добра» — или текст, близкий к нему) показался слишком опасным, и этот кусок не был напечатан в «Современнике».

О каком еще месте рассказа мог беспокоиться Толстой в цензурном отношении? Значок х/ начертан и около второй версии финала «Набега» — нельзя исключить, что это место было одним из тех двух, о которых писал Толстой Некрасову: в рукописи одинаково равноправными (не зачеркнуты) выступают два варианта финала. Возможно, оба они, чуть более проработанные, присутствовали в наборной рукописи, посланной в «Современник», причем в качестве основного был дан текст (первый во времени писания), за который, конечно, мог бояться автор. Вот первый вариант финала рассказа в преднаборной рукописи: «Солнце бросало последние багровые лучи на продолговатые и волнистые облака запада, молодой месяц, казавшийся прозрачным облаком, на высокой лазури белел и начинал собственным неярким светом освещать штыки пехоты, когда войска широкой колонной с песнями подходили к крепости. Генерал ехал впереди, и по его веселому лицу можно было заключить, что набег был удачен. (Действительно, мы с небольшой потерей были в тот день в Макай-ауле — месте, в котором с незапамятных времен не была нога русских.) Саксонец Каспар Лаврентьич рассказывал другому офицеру, что он сам видел, как три черкеса целились ему прямо в грудь. В уме поручика Розенкранца слагался пышный рассказ о деле нынешнего дня. Капитан Хлапов с задумчивым лицом шел перед ротой и тянул за повод белую хромавшую лошадку. В обозе везли мертвое тело хорошенького прапорщика»¹. Именно эту версию продолжал прорабатывать Толстой, прежде чем окончательно переписать конец рассказа набело: были зачеркнуты несколько строк, первоначально завершавших рассказ («В различных концах отряда звучали [песни] голоса, барабаны и торбаны. Прелестный подголосок 6-й роты слышался изо всех и далеко разносился по свежему вечернему воздуху»), Розенкранц, слагающий «пышный рассказ» об этом деле, появился здесь вместо «офицера генерального штаба», слагавшего «реляцию, которую он должен был написать». Не зачеркивая этот вариант финала, Толстой попробовал даже усилить его, расписав подробнее настроение и выражение лиц генерала, саксонца, Розенкранца, адъютанта, введя их прямую речь. Единственную фразу о «мертвом теле хорошенького прапорщика» теперь заменил целый абзац: «На одной из повозок, составлявших обоз, покрытое солдатской шинелью, ничком ле-

¹ Н.Н.Гусев считал, что из-за «сатирического тона» «такое окончание рассказа не удовлетворило Толстого. Ему не хотелось заканчивать рассказ ни сатирой, ни картиной смерти. Ему хотелось показать торжество жизни над смертью» (Гусев, I, с. 417). Однако в рукописи рядом с этим фрагментом на полях Толстой, просматривая и оценивая те или иные места по пятибалльной системе, сам себе поставил оценку «5».

жало мертвое тело хорошенького прапорщика и безжизненно встряхивалось, когда колесо попадало на кочку. В повозке, спустившись с грядок, сидел форштадский ездовой и лениво погонял усталых коней. На ногах трупа лежала припасенная ездовым вязанка сена и порыжевшая солдатская шинель». Картина природы, открывавшая первый вариант финальной сцены, в новом варианте завершила эту сцену, причем была выписана с большими подробностями и чрезвычайно живописно. Страницы рукописи свидетельствуют, как нелегко давалась Толстому новая версия этого отрывка; но она так и не устроила автора: в результате был зачеркнут весь довольно большой текст нового финала, исключая последнее описание природы и сливавшееся с ним описание движения возвращавшегося отряда. Около этого оставшегося незачеркнутым текста в преднаборной рукописи С.Л.Толстой и поставил значок х/ и в 12-м издании объединил два незачеркнутых финала в один. Трудно сказать, каким оказался финал в наборной рукописи: наверняка Толстой еще раз, переписывая набело, что-то изменил и исправил в заключительной сцене рассказа. Если же и было предложено два варианта, то Некрасов, публикуя «Набег» в «Современнике» в 1853 г., конечно, выбрал менее уязвимый в цензурном отношении вариант финала.

В преднаборной рукописи есть еще одно место, где поставлен знак /х/, — это разговор волонтера с капитаном Хлаповым¹ (в конце первой главы) об офицерской службе и житье на Кавказе:

«— Зачем вы здесь служите? — спросил я.

— Надо же служить, — отвечал он с убеждением.

— Вы бы перешли в Россию: там бы вы были ближе.

— В Россию? в Россию? — повторил капитан, недоверчиво качая головой и грустно улыбаясь. — Здесь я все еще на что-нибудь да гожусь, а там я последний офицер буду. Да и то сказать, двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, тоже что-нибудь да значит.

— Неужели, Павел Иванович, по вашей жизни вам бы недоставало ординарного жалованья? — спросил я.

— А разве двойного достает? — подхватил горячо капитан, — посмотрите-ка на наших офицеров: есть у кого грош медный? Все у маркитанта на книжку живут, все в долгу по уши. Вы говорите — по моей жизни... что ж по моей жизни, вы думаете, у меня остается что-нибудь от жалованья? Ни гроша! Вы не знаете еще здешних цен; здесь все втридорога.....». Этот эпизод на полях рукописи был оценен автором «4», довольно высокой оценкой по шкале Толстого, и вряд ли подлежал глубокой переработке или сокращению. Конечно, сцена эта могла вызвать опасения Толстого в цензурном отношении, но в каком виде она предстала в наборной рукописи? Трудно поверить, что сам автор сделал ее такой, какой вышла она на страницах «Современника»: во время рассказа волонтера о «подробностях жизни» старушки Хлаповой «капитан молчал», а потом, в течение всего разговора, произнес только три короткие не очень выразительные фразы. Разговора фактически нет, в печатном тексте остались лишь его следы. Очевидно, что сцена эта была просто механически урезана, но не самим автором (наверное, Толстой проработал бы ее тоньше), а редакто-

¹ В окончательном тексте — капитан Хлопов.

ром или цензором, отчего и получилась некоторая неувязка в тексте рассказа: возможно, в разговоре, о котором писал Маковицкий, шла речь и об этом эпизоде, в результате чего рядом с ним в рукописи появился значок /х/. В дальнейшем исключенные из этого диалога мысли капитана Хлопова Толстой вложил в уста офицеров и развил в рассказе «Рубка леса»; вот почему, вероятно, в издании «Военных рассказов» 1856 г. эпизод этот в «Набеге» не был восстановлен в своем первоначальном объеме.

«В ожидании» «ответа и мнения о этом рассказе» редактора «Современника» проходили месяцы. 17 апреля 1853 г. Толстой писал из Старогладковской брату С.Н.Толстому: «Литературные мои дела идут плохо. Уж давно послал рассказ в “Соврем<енник>”, и вот три месяца об нем ни слуху ни духу. Писать нового ничего не писал, потому что все это время был в походе; да и как-то охоты не было».

Тем временем «Набег» прошел цензуру: 28 февраля цензор А.Л.Крылов дал разрешение на выпуск мартовской книжки «Современника». 9 марта 1853 г. новый рассказ Л.Н. «Набег» увидел свет в третьем номере журнала «Современник». «Вероятно, Вы недовольны появлением Вашего рассказа в печати,— писал Толстому Некрасов 6 апреля.— Признаюсь, я долго думал над измаранными его корректурами — и наконец решился напечатать, сознавая по убеждению, что хотя он и много испорчен, но в нем осталось еще много хорошего. Это признают и другие. Во всяком случае это для Вас мерка, в какой степени позволительны такие вещи, и впредь я буду поступать уже сообразно с тем, что Вы мне скажете, перечитав Ваш рассказ в напечатанном виде.

При сем прилагаются 75 р<ублей> сер<ебром>, следующие Вам за этот рассказ.

Пожалуйста, не падайте духом от этих неприятностей, общих всем нашим даровитым литераторам. Не шутя, Ваш рассказ еще и теперь очень жив и грациозен, а был он чрезвычайно хорош. Теперь некогда, но при случае я Вам напишу более. Не забудьте “Современника”, который рассчитывает на Ваше сотрудничество» (Некрасов, т. 14, кн. 1, с. 177).

Только в конце апреля 1853 г. Толстой прочитал «Набег» в журнале «Современник». «Получил книгу с своим рассказом, приведенным в самое жалкое положение,— записал он в дневнике 28 апреля.— Это расстроило меня». Рассказ показался автору настолько искаженным, что брату С.Н.Толстому в начале июня он с горьким отчаянием писал: «*Детство* было испорчено, а *Набег* так и пропал от цензуры. Все, что было хорошего, все выкинуто или изуродовано». За неимением наборной рукописи трудно доподлинно установить, что в тексте рассказа на последней стадии работы было изменено самим Толстым, а что не пропущено или заменено редактором и цензором, но в сравнении с преднаборной рукописью текст «Набега», напечатанный в «Современнике», был заметно урезан. Помимо уже названных эпизодов, в печатном тексте не было в начале рассказа рассуждений о войне и храбрости; подробная характеристика Розенкранца, занимавшая в преднаборной рукописи несколько страниц, в журнальном тексте была сокращена до нескольких строчек («Поручик всегда ходил в азиатском платье и оружии, имел кунаков, не только во всех мирных аулах, но и в горах, по самым опасным местам ездил без оказии, ходил с мирными татарами по ночам засаживаться на дорогу под-

карауливать и убивать горцев, был влюблен в татарку и писал свои записки...»); не было в журнале песни «Шамиль начал бунтоваться...»; у Толстого в преднаборной рукописи офицеры во время привала «кутили» — в журнале: «собрались повеселиться». Но, как считал П.И.Бирюков, «больше всего от цензуры пострадало начало, где приведены рассуждения о войне» (Бирюков П.И. К истории произведений Л.Н.Толстого: «Детство», «Отрочество» и «Юность», «Казак», «Набег», «Севастопольские рассказы» — *РГАЛИ*, ф. 41, оп. 1, ед. хр. 30, л. 53).

К работе над текстом «Набега» Толстой вернулся весной 1856 г., готовя к изданию сборник «Военные рассказы». Впервые идею отдельного издания своих сочинений он высказал в письме брату С.Н.Толстому 25 марта 1856 г., находясь в Петербурге. Стесненный в деньгах, он обдумывал, как разумнее осуществить этот замысел: «Но дело в том, что издание моих рассказов военных и Дет<ство> и Отр<очество>, которые мне могут принести, ежели я сам их издам, тысячи четыре, не дадут мне больше 1000 р., ежели я их продам...». Конечно, не только материальный интерес руководил Толстым в его предприятии. Восторженная встреча молодого писателя известными литераторами, сама атмосфера, в которую попал он в Петербурге, творческий подъем и желание славы — все это подвигало его к мысли об издании двух своих первых книг. К тому же в 1856 г. кончились годы «цензурного террора», заметно изменились цензурные условия для журналов и литераторов. Это позволяло Толстому смотреть на отдельное издание рассказов не только (а может быть, не столько) с материальной стороны, сколько с точки зрения возможности напечатать свои произведения неизуродованными, свободными от постороннего вмешательства.

Издание книги военных рассказов Толстой поручил А.И.Давыдову, книгопродавцу, владельцу книжного магазина. В № 11 «Современника» за 1855 год редакция представляла А.И.Давыдова: «На Невском проспекте, против Аничкова моста, в доме Заветнова, открылся новый книжный магазин г-на Давыдова и К°, куда отныне переведется контора “Современника”. Хозяин нового магазина в течение всего времени существования “Современника” был на глазах редакции, при ее прежней конторе, и мы смело можем поручиться за его аккуратность, добросовестность и старательность». Упоминания в дневнике Толстого о работе над изданием книги очень скупы, но очевидно, что в первые две недели апреля 1856 г. автор готовил тексты сочинений, которые войдут в сборник. Журнальные варианты были серьезно переработаны. В «Набеге» добавлены довольно большие фрагменты, например, упоминание о том, как «в Дарги ходили, на неделю сухарей взяла, а пробыли чуть не месяц!» (гл. I.); рассуждение, что «человека, который под влиянием честного чувства семейной обязанности или просто убеждения откажется от опасности, нельзя назвать трусом» (гл. I); заключительный абзац второй главы, где капитан Хлопов объясняет, что нечему «радоваться», когда «идешь в дело»: ведь «кому-нибудь да убитым или раненым быть — уж это верно». В новом тексте очень существенно была расширена характеристика поручика Розенкранца (гл. III), вернулся на свое место куплет плясовой песни «Шамиль вздумал бунтоваться...» (гл. IV). Пятую главу теперь завершал абзац о «молодом поручике К. полка», который «был глубоко возмущен и огорчен, что ему не позволили идти стрелять в черкесов и находиться под их выстрела-

ми»; в главу VI Толстой ввел фрагмент «Проезжая мимо вытянувшейся в одно орудие артиллерии ~ поручик огня спрашивают» и заключительное размышление «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете ~ этим непосредственным выражением красоты и добра». Глава VIII теперь заканчивалась рассуждением волонтера: «Зрелище было истинно величественное ~ который сплеча топором рубил бы воздух». Все эти фрагменты отсутствовали в журнальной версии «Набега»¹. Помимо этого был введен ряд более мелких изменений, которые можно объяснить и восстановлением цензурных изъятий, и обычной для Толстого авторской правкой текста.

Согласно записи в «Реестре сочинениям и статьям, рассмотренным в Военно-цензурном комитете в 1856 году» (РГВИА, ф. 494, оп. 1, д. 6, л. 189 об.— 190), 13 апреля «отдельное сочинение»² было «лично представлено в комитет графом Толстовым». Рассмотрев книгу председатель комитета барон Н.В.Медем. Три недели «сочинение» находилось в комитете, было «одобрено» и возвращено автору 4 мая; в военной цензуре книга Толстого не подверглась никаким искажениям. В «Реестре» нет заглавия книги, но расписано ее содержание. Выглядит это так:

- «1. Военная истина (соч. Гр. Толстаго)
2. Севастополь в Мае
3. ————— в Августе
5. Набег (: рассказ Волонтера)
4. Рубка леса рассказ Юнкера (: посвящено Н.С.Тургеневу)».

Под номером первым — название, нигде ни прежде, ни позднее не появлявшееся у Толстого, но очевидно, что это не заглавие рассказа, известного под именем «Севастополь в декабре месяце», и не заглавие какого-то другого рассказа. Если учесть, что вся эта короткая канцелярская запись изобилует ошибками и неточностями, можно предположить, что чиновник, писавший в «Реестре», ошибся и в первой строчке: из трех названий, начинавшихся словом «Севастополь», машинально записано только второе, в третьем — прочерк. Место же заглавия первого севастопольского рассказа заняло, видимо, общее название сборника. «Военная истина» — может быть, так хотел назвать автор книгу военных рассказов?

4 мая Толстой получил свое сочинение, одобренное военной цензурой, а через три дня А.И.Давыдов представил книгу в Петербургский цензурный комитет — следующую инстанцию для получения разрешения печатать. «Ведомость о рассмотренных С.-Петербургским цензурным комитетом рукописях и печатных книгах в течение мая месяца 1856 г.» (РГИА, ф. 772, оп. 1, д. 3808, л. 124) в записи за номером 514 сообщала о книге Л.Н.Толстого: «<поступила> 7 мая. *Рукоп<ись>* Военные рассказы

¹ В Юб. (т. 3, с. 201–203) все названные фрагменты причислены к цензурным вымаркам в тексте «Современника». Однако, сопоставляя текст «Набега» в изд. 1856 г. с преднаборной рукописью, следует заметить, что определенно цензурными изъятиями можно считать только куски, вставленные во второй, третьей и четвертой главах. Что же касается остальных новых кусков текста, то их следы или слабо просматриваются в рукописи, или вовсе отсутствуют, и поэтому нельзя безоговорочно причислять их к цензурным выкидкам: это может быть новый текст, дописанный автором для сборника.

² Т.е. книга.

Л.Н.Толстаго (от книгопродавца Давыдова). 346 стр<аниц>. Одобрена 11 мая. Цензор Бекетов». Всего четыре дня книга находилась в комитете: видимо, после военной цензуры прохождение через С.-Петербургский цензурный комитет было определенной формальностью. Автор, получив одобрение в Военно-цензурном комитете, успокоился и передал дела Давыдову.

Два-три дня, с 4 по 7 мая, книга, возможно, находилась еще в руках Толстого, и он внес ряд исправлений. Появилось название сборника, ранее мелькавшее в письмах не как заглавие, а как собирательное обозначение пяти рассказов о войне: «Военные рассказы». Изменился порядок рассказов, выстроенных теперь в хронологической последовательности: в «Ведомости» эти рассказы не расписаны по названиям, но, видимо, до 7 мая Толстой создал новую композицию книги, так как 11 мая из С.-Петербургского цензурного комитета книга отправилась прямо в типографию, о чем свидетельствовал «Реестр рукописей и печатных книг, поступивших в цензуру в 1856 году» (РГИА, ф. 777, оп. 27, д. 216, л. 82 об.). «Реестр» еще раз удостоверял, что сборник был представлен в рукописи на 346 страницах.

Через несколько дней Толстой уезжал в Ясную Поляну и перед отъездом завершал свои дела с Давыдовым. «Пришел Давыдов. Кончил с ним», — запись в дневнике 14 мая.

Сборник «Военные рассказы» печатался в типографии Главного Штаба его императорского величества по военно-учебным заведениям. Давыдов периодически сообщал Толстому в Ясную Поляну о том, как идет печатание книги. 13 июня он писал: «Что же касается до издания нашего, имею честь уведомить, что до настоящего времени сделано еще немного набору — а впрочем, идет успешно. Я полагаю, что издание ранее выпускать не следует октября, когда соберутся в Петербург наши покупатели» (ГМТ). Ни в дневнике, ни в письмах Толстого этого времени нет упоминаний о том, что автор держал корректуры, хотя спустя два года, в мае 1858 г., в письме Е.Ф.Коршу писатель уверял, что в корректурах «вымарывал» строки, присочиненные Панаевым в конце второго севастопольского рассказа (см. об этом комментарий к «Севастополю в мае»). Впрочем, «корректурой» Толстой называл и правку своих рукописей.

О том, как печаталась книга, известно чрезвычайно мало; сохранились лишь упоминания в письмах Давыдова к Толстому. Упомянул Давыдов и два письма Толстого, отправленные ему в Петербург в конце мая — начале июня и 20 июня¹. В этих не дошедших до нас письмах могли быть не только вопросы и распоряжения автора, но и какие-то конкретные поправки к текстам рассказов (что имело место в переписке с Д.Я.Колбасиным по поводу «Детства и отрочества»).

Сообщение Давыдова о том, что печатание «идет успешно», вряд ли соответствовало действительности (книга в итоге вышла страшно небрежной, с огромным количеством опечаток и типографских нелепостей). В конце лета Давыдов извещал Толстого, «что книга “Военные рассказы” на сих днях печатанием окончится, которая будет состоять из 17 печат-

¹ Эти письма не зафиксированы в Юб. в списке писем, не имеющих в распоряжении редакции.

**ВОЕННЫЕ
РАЗСКАЗЫ**

ГРАФА

Л. Н. ТОЛСТАГО.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

=
1856.

ных листов, книжка будет очень хорошенькая, однако не толще издания книги “Для легкого чтения”» (*ГМТ*). Издателя волновал вопрос «продажной цены» книжки: в том же письме он спрашивал, оставить ли цену, назначенную автором при отъезде из С.-Петербурга, т.е. «по два рубля серебром за экземпляр», или согласиться с Некрасовым, что такая «цена слишком высока для продажи» «Военных рассказов», и пустить книгу по 1 р. 50 коп. Толстой прислушался к мнению Некрасова: книжка пошла по полтора рубля.

28 сентября 1856 г. был выдан билет на выпуск из типографии «Военных рассказов графа Л.Н.Толстого». Под этим же числом — магическое для Толстого 28-е число! — и в «Реестре вышедших из печати книг» значится выход в свет первой книги Л.Н.Толстого (*РГИА*, ф. 777, оп. 27, д. 288, л. 126 об.). Тогда же она поступила в книжный магазин Давыдова. В день выхода книги Д.Я.Колбасин сообщил И.С.Тургеневу: «Печатание “Детства и отрочества” я кончил¹ и скоро пушу в продажу, а “Военные рассказы” уже вышли, но идут не очень шибко!» (*Тургенев и круг «Современника»*, с. 268). Брат его, Е.Я.Колбасин, на следующий день тоже уведомил Тургенева, что «Военные рассказы» Толстого уже поступили в продажу (там же, с. 271).

Через неделю, 5 октября, издатель «Детства и отрочества» Д.Я.Колбасин писал Толстому из Петербурга в Ясную Поляну: «Цена осталась 1 р. 50 коп. и у меня и у Давыдова, потому что книжки вышли небольшие — и то некоторые покупатели ропшут, что Давыдова издание пущено дорого — поди ты, сообрази с ними» (*ГМТ*).

Находясь в Ясной Поляне и узнав о выходе сборника, Толстой распорядился несколько экземпляров отослать своим друзьям писателям. А.В.Дружинин (6 октября), И.И.Панаев (13 октября) в письмах благодарили за полученные книги.

«Книги идут плохо», — записал Толстой в дневнике 9 ноября.

С изданием «Военных рассказов» прочно связана вся дальнейшая судьба текста «Набега»: этот текст перепечатывался во всех прижизненных собраниях сочинений Толстого. В начале 90-х годов, готовя к изданию девятое собрание сочинений в 13 томах, С.А.Толстая попросила у Н.Н.Страхова совета, как «распределить» статьи и рассказы в некоторых томах. Страхов охотно включился в работу, предложив печатать все сочинения в хронологической последовательности и взяв на себя корректорский труд. 19 декабря 1892 г. он писал С.А.Толстой из Петербурга: «Сегодня высылаю “Набег” и начало “Казакон”. Как хорошо читается в хронологическом порядке!»

Конечно, Вы просматривали мои поправки. Я делаю их, только когда дело очевидное: галлицизмов не решаюсь исправлять — если раз они явились, то пускай остаются, беда не большая! Но зато какая удивительная серьезность писания! Ну куда Тургеневу, который все прихорашивается и шаркает ножкой» (Л.Н.Толстой и С.А.Толстая. Переписка с Н.Н.Страховым. Оттава, 2000, с. 258).

Единственное отдельное издание «Набега» вышло в 1896 г. в С.-Петербурге тиражом 5000 экземпляров. В 1900 г. фрагменты рассказа были

¹ Книга вышла из печати 3 октября.

включены в «Книгу для взрослых» (третий год обучения), составленную «учительницами воскресных школ при ближайшем участии Х.Д.Алчевской». В книге сообщались элементарные сведения по многим отраслям знаний, печатались отрывки художественных произведений, в том числе конец второй главы, несколько фрагментов десятой главы и полностью XI глава рассказа «Набег» («Книга для взрослых». М., 1900). В 1904 г. рассказ появился в сборнике «Русские писатели. Книга для чтения в семье и школе» (СПб., 1904), составленном Д.Истоминным.

Сюжет «Набега» основан на автобиографическом материале: в набеге, о котором идет речь в рассказе, принимал участие сам Л.Н.Толстой. Это было первое «дело», в котором он участвовал как волонтер летом 1851 г. «Был в набеге,— отметил он в дневнике 3 июля.— Тоже действовал нехорошо: бессознательно и трусил Б<арятинского>». С.А.Толстая в своем дневнике 26 мая 1904 г. записала рассказ Толстого о том, как он «ходил» в набег и «поступил на военную службу»: «Когда Л.Н., проигравшись в Москве в карты и прокутив много денег, решил ехать на Кавказ к служившему там брату своему, Николаю Николаевичу, он в мыслях не имел поступить в военную службу. Ходил он на Кавказе в штатском платье, и когда ходил в первый раз в набег, то надел фуражку с большим козырьком и простое свое платье. Жили они с Николаем Николаевичем в Старом Юрте, по названию Горячие Воды (там и были серные ключи), а в набег ходили оттуда в Грозную. Набег этот описан Львом Николаевичем.

Раз Л.Н. поехал верхом с старым казаком к знакомым в Хасав-Юрт. <...> По дороге, которая считалась опасной, встретили они ехавшего с оказией графа Илью Андреевича Толстого¹ в коляске, окруженного казаками.

Граф Илья Андреевич пригласил Л.Н. ехать с ним к Барятинскому. Барятинский стал уговаривать Льва Николаевича поступить в военную службу. Он хвалил Льва Николаевича за спокойствие и храбрость, которые он выказывал во время набега. Граф Илья Андреевич тоже присоединился к Барятинскому и уговаривал Л.Н. подать прошение. Л.Н. так и сделал: подал прошение бригадному командиру и поступил в артиллерию юнкером. Два года он оставался юнкером без производства, хотя и был в разных опасных делах. <...> Производство задержано было потерей бумаг, документов Льва Николаевича, которые пришлось восстанавливать. А Барятинский, обещав многое, просто забыл про Толстого» (*Дневники С.А.Толстой*, т. 2, с. 102–103).

Князь А.И.Барятинский, командовавший левым флангом русской линии на Кавказе, оказался запечатленным в «Набеге»; в образе генерала отчетливо проступали черты князя. «Я познакомился с ним в набеге,— рассказывал о Барятинском Толстой в письме брату С.Н.Толстому 23 декабря 1851 г.,— в котором под его командой участвовал и потом провел с ним один день в одном укреплении вместе с Ильей Толстым, которого я здесь встретил». Генерал Барятинский, видимо, запомнил волонтера графа Л.Н.Толстого. «Князь Барятинский очень хорошо отзывался об

¹ И.А.Толстой, двоюродный дядя Л.Н.Толстого, выведен в «Набеге» в образе адъютанта генерала.

тебе, ты, кажется, ему понравился, и ему хочется тебя завербовать,— писал брату вскоре после возвращения из набега Н.Н.Толстой (после 3 августа 1851 г.).— Ежели ты решился, то надобно поступить скорее на службу, чтобы в зимнем походе уже быть определены, тогда действительно можно надеяться получить офицера через год» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 77). Сам Толстой написал Т.А.Ергольской 17 августа 1851 г.: «Многие мне советуют поступить на службу здесь и в особенности князь Барятинский, которого протекция всемогуща». Таким образом князь Барятинский косвенно был причастен к поступлению Толстого на военную службу. И в период службы генерал удостоивал его своим вниманием. «А между прочим, начиная с кн. Барятинского, который очень добр ко мне, все начальство ко мне очень расположено,— сообщал Толстой 24 марта 1853 г. Т.А.Ергольской.— Ведь представьте себе, бумаги мои до сих пор в Петербурге, и я даже не юнкер, а просто унтер-офицер». Но, несмотря на доброе отношение князя Барятинского, Толстой с тревогой записал в дневнике 30 апреля 1853 г.: «Меня сильно беспокоит то, что Б<арятинский>» узнает себя в р<ассказе> *Набег*».

Не только генерал Барятинский мог узнать себя в рассказе: некоторые офицеры 20-й полевой артиллерийской бригады, где служил Толстой, стали реальными прототипами персонажей «Набега». Прежде всего это капитан Хилковский <Петр Алексеевич?>, которого писатель запечатлел в образе капитана Хлопова. Характеризуя свое окружение в Старогладковской, Толстой еще 22 июня 1851 г. писал в Ясную Поляну Т.А.Ергольской: «Офицеры все, как вы можете себе представить, совершенно необразованные, но славные люди и, главное, любящие Николеньку». И далее в нескольких словах описывал некоторых из этих офицеров: «...старый капитан *Хилковский*, из уральских казаков, старый солдат, простой, но благородный, храбрый и добрый». Капитан все более притягивал к себе Толстого, не раз имя его упоминалось на страницах дневника. 21 марта 1852 г. Толстой записал: «...за обедом говорил о пожарах с Хилковским и довольно хорошо. Славный старик! — Прост (в хорошем значении слова) и храбр. В этих двух качествах я уверен; и притом его наружность не исключает, как наружность С<улимовского>, все хорошее». Через день в дневнике появилась новая запись о капитане: «Х<илковский> мне очень нравится, но он как-то на меня неприятно действует, мне неловко на него смотреть, так, как мне бывало неловко смотреть на людей, в которых я влюблен». И еще короткая запись 5 июля 1852 г.: «Приехал Хил<овский>, я был очень рад. Я люблю его».

Старый капитан в рассказе, первоначально названный Василием Ивановичем А., наделен многими чертами Хилковского: простота, благородство, доброта и храбрость — эти черты капитана прошли через все редакции рассказа как главные свойства его характера. В окончательном тексте капитан Хлопов показан в основном в диалогах и действиях. Это своего рода *идеальный* толстовский герой. В ранних же редакциях Толстой уделял больше внимания описанию личности капитана, причем, судя по всему, это описание было ближе к «натуре», к реальной фигуре капитана Хилковского. Вот как, например, представлен этот персонаж во второй редакции «Письма с Кавказа»: «Я привел вам разговор мой с штабс-капитаном А... не для того, чтобы познакомить вас с мнениями этого старого кавказца,— замечал рассказчик после своего диалога с ка-

питаном,— а только для того, чтобы несколько познакомить вас с его личностью — мнения его не могут быть авторитетом вообще и о военных делах в особенности, потому что капитан — человек известный за чудака, вечно всем недовольного, и за страшного спорщика. Мнение его о завале, который будто бы без всякой пользы брали четыре раза сряду, было совершенно ошибочно, как я узнал то впоследствии от людей, близких самому генералу. Когда я стал повторять при них слова капитана, меня совершенно орамили и очень ясно доказали мне, что это делалось совсем не для того, чтобы иметь случай получать и раздавать награды, а по более основательным и важным причинам. Вообще капитан пользуется не совсем хорошою репутациею в кругу этих господ: они утверждают, будто он не только недалек; но просто дурак набитый и притом грубый, необразованный, злой и неприятный дурак и сверх того горький пьяница, но хороший офицер». Далее в рукописи шла фраза, написанная и тут же зачеркнутая Толстым: «Последнее обвинение — в пьянстве — мне кажется не совсем основательным, потому что, хотя действительно штабс-капитан имеет красное лицо, еще более красный нос и пьет много; но он пьет регулярно и я никогда не видал его пьяным». Подобная характеристика капитана не появится ни в одной из последующих редакций, хотя Толстой и в преднаборной рукописи постарался дать его описание: «Павел Иванович жил скупо: в карты не играл, кутил редко и курил простой табак — тютюн, который, однако, неизвестно почему, называл не тютюн, а *самбратический табак*.

“Всего бывало,— говаривал капитан,— когда я в 26 году в Польше служил...”. Он рассказывал мне, что в Польше он будто бы был и хорош собой, и волокита, и танцор; но, глядя на него теперь, как-то не верилось». И далее Толстой описывал портрет капитана, над которым работал упорно, подбирая наиболее точные слова, чтобы передать выражение его лица, глаз, улыбки: «Не потому чтобы он был очень дурен: у него было одно из тех простых спокойных русских лиц, которые с первого взгляда не представляют ничего особенного, но потому что небольшие серые глаза его выражали слишком много равнодушия ко всему окружающему и в редкой улыбке, освещавшей его морщинистое загорелое лицо, был замечен постоянный оттенок какой-то насмешливости и презрения». Характерно, что это портретное описание вовсе не исключает прежде отмеченных черт («красное лицо, еще более красный нос»), просто волонтер (новый рассказчик) обращает внимание на другие особенности лица капитана. Заканчивалась характеристика капитана в преднаборной рукописи (в третьей редакции) суждениями о нем офицеров, гораздо более доброжелательными, нежели в предыдущей редакции: «Офицеры одного с ним полка, кажутся, уважали его, но считали за человека грубого и чудака». Не может быть сомнений, что и в первом и во втором случае в портрете капитана присутствовали хотя бы некоторые черты лица его прототипа; косвенно это подтверждает деталь, появившаяся во второй редакции,— «красный нос» капитана. Этот штрих больше не фигурировал ни в одной из черновых рукописей, ни в окончательном тексте. Однако эта характерная деталь в лице старого служачки, видимо, надолго запомнилась Толстому и годы спустя нашла свое место в портрете капитана Тимохина в «Войне и мире», такого же скромного и простого, как капитан Хлопов и его прототип.

В окончательном тексте это описание капитана, над которым так много трудился Толстой, заняло всего пять с половиной строк («Капитан жил бережливо ~ смотреть прямо в глаза <...>» — глава 1).

«Удаляясь» от своего реального прообраза, герой Толстого становился все более цельным, оставляя в ранних редакциях отрицательные черты или противоречия в характере и поступках. Во второй редакции рассказы в поведении капитана присутствовали моменты, которые трудно определить однозначно; так, во время разрушения захваченного аула рассказчик и капитан стали свидетелями ужасной сцены, когда молодой карабинер, пытаясь вырвать у женщины, бежавшей с ребенком на руках, мешок с деньгами, «схватил ружье обеими руками и из всех сил ударил женщину в спину. Она упала, на рубашке показалась кровь, и ребенок закричал. Капитан бросил на землю папаху, молча схватил солдата за волосы и начал бить его так, что я думал он убьет его,— признавался рассказчик,— потом подошел к женщине, повернул ее и, когда увидал заплаканное лицо гологолового ребенка и прелестное бледное, изо рта которого текла кровь, лицо девятнадцатилетней женщины, бросился бежать к своей лошади, сел верхом и поскакал прочь. Я видел, что на глазах его были слезы». Возможно, сам Толстой был свидетелем подобной сцены.

Не только черты внешности и характера капитана Хлопова, но отчасти, видимо, и судьба его подсказана жизнью Хилковского, и разговор о переводе в Россию — тоже не выдуман писателем. Через несколько месяцев после отъезда с Кавказа Толстой получил письмо из Старогладковской о гибели капитана Хилковского. Бывший командир батареи Н.П.Алексеев 21 сентября 1854 г. писал: «Хилковский и Олифер приказали вам долго жить. Как много хлопотал первый о переходе на родину и для чего же? чтобы там лечь костями; дай Бог ему царство небесное! Был добрый и благородный человек и прекрасный товарищ» (Письма с Кавказа к Л.Н.Толстому. Махачкала, 1928, с. 2). О капитане Хилковском Толстой помнил всю жизнь. 18 апреля 1910 г. Маковский записал в своем дневнике: «Л.Н. хотел вспомнить фамилию капитана из “Набега”: “Ах, капитан батареи, он был старший, спокойный, тихий, прекрасный человек!”» (ЛН, т. 90, кн. 4, с. 227).

Н.Н.Гусев полагал, «что и брат Толстого Николай Николаевич имел много общего с капитаном Хлоповым» (Гусев, I, с. 411), а в книге А.Л.Зиссермана «Двадцать пять лет на Кавказе» (СПб., 1879) приводились имена нескольких офицеров Куринского полка, которые, как считал автор, были похожи на Хлопова (ч. 2, с. 327). Позднее отдельные черты, запечатленные в образе капитана Хлопова, Толстой не раз, в большей или меньшей степени, воспроизводил в других своих персонажах, начиная от капитана Тросенко в «Рубке леса» и кончая капитанами Тушиным, Тимохиным и даже самим Кутузовым в «Войне и мире».

Молодой офицер прапорщик Аланин, погибающий в «Набеге», тоже обязан своим появлением в рассказе реальному лицу — офицеру Николаю Ивановичу Буемскому. 22 июня 1851 г. Толстой писал о нем Т.А.Ергольской: «Бу<емский>, молодой офицер — ребенок и добрый малый, напминающий *Петрушу*»¹. 30 марта 1852 г. о прапорщике Буемском за-

¹ Вероятно, П.А.Воейков, сын опекуна Толстых А.С.Воейкова.

пись в дневнике: «Мой мальчуган — молод и мил — он жмет руки и готов к сердечным излияниям. Еще опыт пьянства не научил его избегать нежничества, которое так же несносно в пьяном, как и в трезвом. У него нет рутины пьянства». Очень близка эта заметка описанию молоденького прапорщика во время привала в четвертой главе рассказа. Юношеская непосредственность Бuemского иногда откровенно раздражала Толстого, уже вышедшего, как он считал, из поры «молодечества», т.е. «детского взгляда на войну»: «Не могу не сердиться на Б<уемского>, он слишком глуп, самоуверен и молод; и притом слишком живо напоминает мне меня в былые времена», — записал он в дневнике 19 мая, в первые дни работы над будущим «Набегом». Похожая характеристика Бuemского дана в дневнике и 13 июля: «Жалко, что Б<уемский> так смел и так детски патриотичен, не говоря о том, что ограничен».

Образ молоденького прапорщика появился уже в первых редакциях «Письма с Кавказа», он сложился без усилий, сразу и, пройдя через все редакции, почти не изменился. Изменилась только национальность прапорщика и некоторые детали в его облике.

Возможно, Толстой читал Бuemскому ранние черновики рассказа с изображением молодого офицера, о чем упомянул 24 июня: «Прочел Б<уемскому> то, что писал о нем, и он, взбешенный, убежал от меня». Прапорщик Аланин в «Набеге» наделен многими чертами Н.И.Бuemского, хотя смерть персонажа никак не связана с судьбой его прототипа.

Офицеры, появляющиеся в «Набеге» в массовых сценах, безусловно, отражение лиц и характерных черт полковых и батарейных офицеров, с которыми служил Толстой на Кавказе. 23 декабря 1851 г. он писал о них С.Н.Толстому: «В батареях офицеров не много, поэтому я со всеми знаком, но очень поверхностно, хотя и пользуюсь общим расположением, потому что у нас с Николенькой всегда есть для посетителей водка, вино и закуски, на тех же самых основаниях составилось и поддерживается мое знакомство с другими полковыми офицерами, с которыми я имел случай познакомиться в Старом Юрте (на водах, где я жил лето) и в набеге, в котором я был». Один из офицеров определенно узнал себя в рассказе Толстого и был недоволен своим литературным изображением, о чем передали автору: «Сулимовский с обыкновенной своей грубостью рассказал мне, как Пистолькорс ругает меня за Розенкранца, — записал Толстой 16 декабря 1853 г.; — это сильно огорчило меня и охладило к литературным занятиям <...>». Пистолькорса узнали в «Набеге» и многие его современники, о чем рассказал военный историк А.Л.Зиссерман в книге «Двадцать пять лет на Кавказе»: «В <...> “Набеге” выведен поручик Розенкранц; до какой степени изображение верно, можно судить по тому, что, когда я в первый раз в Чечне выступил с отрядом и увидел штабс-капитана Пистолькорса, разъезжающего в шикарном черкесском костюме, со всеми ухватками чистокровного джигита, я не мог не подумать: да это Розенкранц, как есть, на чистоту, без прикрас. И некоторые из грозненских старожиллов просто мне даже объявили, что Розенкранц Толстого и есть он, Пистолькорс, что с него-то портрет и писан. А таких Пистолькорсов было не мало, и увлекались некоторые до того, что готовы были чуть не перейти в мусульманство и совсем очечениться...» (Зиссерман А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе, ч. 2, с. 327).

Не только сослуживцы офицеры стали прототипами персонажей «На-

бега», но и сам Толстой предстал в образе волонтера; в рассказе совершенно очевидно автобиографическое начало. Толстой об этом помнил всю жизнь, даже в старости. Д.П.Маковицкий записал короткие диалоги, где писатель вспоминал свою военную молодость на Кавказе: 23 ноября 1909 г.— «Л<ев> Н<иколаевич> (о сегодняшней поездке): “Мне хотелось спать на лошади”.— “Ты никогда не засыпал на лошади?” — спросила Александра Львовна. Л<ев> Н<иколаевич>: “О, сколько раз в походах”» (ЛН, т. 90, кн. 4, с. 112). А в разговоре с женой и сыном С.Л.Толстым 18 апреля 1910 г. сказал: «Да ведь это я в набег ходил, я не служил еще» (там же, с. 227).

Первыми на новое произведение Л.Н. откликнулись братья. С.Н.Толстой 12 апреля 1853 г. писал из Тулы: «Что это значит, что вы, ни тот ни другой¹, не пишете. Знаешь ли, что и мне иногда приходят дурные мысли. Вам с Кавказа надо писать почаще, одно, что меня успокаивает,— это то, что Хлопов сказал, что если что случится, то сейчас и без него напишут. Твой *Набег* просто, как бы его назвать... очень, очень хорош... или я давно не читал ничего, что бы мне так пришлось по сердцу!.. Нет, и этим я не выражаю того, что хочу тебе сказать, да ну просто... малина, да и только. Знаешь ли, что я за месяц перед тем, как получить 3-й № “Современника”, знал по “Ведомостям”, что в “Современнике” напечатан “Набег”. Рассказ волонтера Л.Н., автора “Истории моего детства”. Тут, как нарочно, началась ростепель, и целый месяц я был в ожидании. Знаешь ли, что, зная тебя, кажется мне, довольно хорошо, я боялся, что этот рассказ тебе не удастся, чтобы тут невольно не ввернулось бы какое-нибудь гусарство или, именно как ты говоришь, Мула-Нурство, даже если бы этого и не было, многие порядочные люди могли бы на разные вещи, вовсе не гусарские, смотреть как на гусарские, одним словом, заглавие *Набег* меня беспокоило. Вдруг в одно прекрасное утро Николай мне принес, покуда я еще был в постели, “Современника”. Я проглотил “Набег”, зачем он так короток, мало ли что мог бы ты еще прибавить, даже и тех офицеров, которые ходят в Пятигорске под музыку на бульваре и пьют чай в семейных домах вприкуску и т.д. Цензура, верно, опять много выкинула. Прочитав “Набег”, я должен был его прочесть вслух тетеньке Татьяне Александровне, потому что я в этот день ехал из Пирогова в Тулу <...>, а с “Современником” мне расстаться не хотелось». Далее С.Н.Толстой пытался объяснить, что и почему в рассказе особенно понравилось: «*Набег* очень хорош: *Хлопов, Розенкранц, молодой прапорщик, татарин, Шамиль — середка будет, подголосок шестой роты*, который везде так вовремя является с своим тенором и которого я, кажется, вижу и слышу. Одним словом, все хорошо, и переправа через реку, где артиллерийские ездовые с громким криком рысью пускают лошадей по каменному дну, ящики стучат, но добрые черноморки дружно натягивают уносы и с мокрыми хвостами и гривами выбирают на другой берег, вижу все это и завидую, что я не на Кавказе» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 133–134).

Придирчиво строго прочитал «Набег» Д.Н.Толстой. В постскриптуме письма 18 апреля из Москвы он писал: «Лёва, я читал твой “Набег”,

¹ Л.Н. и Н.Н.Толстые.

зачем ты пишешь “неяркие звезды”, разве на Кавказе они неярки? Все очень хорошо, зачем только ты остановился на интересном месте и не привел отряда домой, от этого рассказ не потерял бы своих хороших сторон» (там же, с. 142).

Особую боль и страх за племянников вызвал «Набег» у Т.А.Ергольской. «Единственное, о чем я тебя умоляю, не ходить больше в походы,— просила она Л.Н.Толстого в письме 27 апреля 1853 г.,— подвергаясь всем этим опасностям, ты не получил ни выгоды, ни награды. Ах, ежели бы ты знал, какое я переживаю горе, когда я долго без известий, думая, что ты в походе, среди всех ужасов войны, и я содрогаюсь от страха от всего того, что подсказывает мне воображение, особенно с тех пор, как я прочла твое последнее сочинение (Набег, рассказ волонтера). Оно произвело на меня такое впечатление, что я с трудом удерживала слезы, слушая его в чтении Сережи. Ты описываешь все так верно, так натурально этот набег, в котором ты участвовал волонтером, что я вся дрожала, думая о всех опасностях, которым вы с Николенькой подвергались, и усердно благодарила Всевышнего, что он сохранил вас целыми и невредимыми» (перевод с фр., *Юб.*, т. 59, с. 226).

И.С.Тургенев, прочитав «Набег» в «Современнике», писал из Спаского П.В.Анненкову 21 апреля 1853 г., что в сравнении с «Рыбаками» Григоровича ему «гораздо более понравился легкий и беглый рассказец Толстого — “Набег” — из которого бы он (Тургенев) «только выкинул два-три лишних описаний природы» (*Тургенев. Письма*, т. 2 с. 221). М.Н.Толстую, сестру Л.Н.Толстого, напротив, особенно покорили картины природы: «...ты так хорошо описываешь природу в “Набеге”, что, вероятно, все чувствуешь, что пишешь»,— писала она брату 25 мая 1853 г. (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 145).

В прессе рассказ Толстого прошел почти незамеченным: лишь журнал «Пантеон» да газета «Санкт-Петербургские ведомости» обратили на него благосклонное внимание. В мартовской книжке журнала («Пантеон», 1853, т. VIII, кн. 3, отд. «Петербургский вестник», с. 16) безымянный критик заметил: «Рассказ Н.Л.¹, “Набег”, очень хорош, но это анекдот, легкий очерк, а не повесть. Жизнь на Кавказе очерчена в нем очень верно, но содержания нет никакого». «Санкт-Петербургские ведомости» (1854, №№ 14–15, 19–20 января), произнося «похвальное слово» литературе прошедшего года и перечисляя «в хронологическом порядке» все, «что появилось оригинального» в 1853 г. в русских периодических изданиях, называли и «“Набег”, рассказ г. Л.Н. (“Современник”))» (с. 57). Автор фельетона «Русская литература в 1853 году» (без подписи), оговариваясь, что не будет рассматривать «Набег», так как «с нетерпением ждет чего-нибудь более достойного» от писателя, заинтересовавшего публику «первым своим рассказом “История моего детства” и поэзией детства», тем не менее отмечал, что «и “Набег” читается с удовольствием, и в нем есть картины, с умением нарисованные» (с. 62).

Время и доброжелательные отзывы несколько примирили Толстого с «изуродованным» рассказом. В середине 1854 г. по его просьбе Некрасов

¹ Так ошибочно были напечатаны инициалы автора в оглавлении «Современника».

послал ему в Дунайскую армию «книжки “Современника”», где были помещены произведения молодого писателя. 16 сентября Толстой записал в дневнике: «Получил Детство и Набег. В первом нашел много слабого». И далее в этой же записи — планы на будущее: «Временная — при теперешних обстоятельствах — цель моей жизни — исправление характера, поправление дел и делание как литераторной, так и служебной карьеры». Мысли о литературной карьере здесь очевидно связаны и с только что перечитанным «Набегом».

Тем временем рассказ обретал все новых читателей и поклонников. В Севастополе, как вспоминал сослуживец Толстого К.Н.Боборыкин, офицеры читали «Набег». «...Офицерство в свободные часы собиралось <...> в импровизированном “собрании”, помещавшемся в подвальном сводчатом этаже одного дома; в “собрание” это приносились письма, газеты, журналы и т.п., так что оно было чем-то вроде клуба. Здесь однажды офицеры сидели и читали повесть “Набег”, недавно появившуюся тогда, с подписью “Л.Н.”, в “Современнике”» (1853, кн. 3); слушатели были в восторге от повести и делились своими впечатлениями, когда в “собрание” вошел молодой артиллерист, рекомендовавшийся графом Толстым, переведенным с Кавказа.

“Вот Вы с Кавказа,— обратились к нему читавшие: — не знаете ли, кто это у Вас там так прекрасно пишет?” — Толстой не замедлил признать, что это он — автор “Набега”, — к немалому восторгу и изумлению присутствовавших» (Кашкин Н.Н. Родословные разведки. СПб., 1913, т. 2, с. 557–558).

Критики, встретившие «Набег» молчанием, при появлении в печати новых сочинений Толстого невольно вспоминали и первый военный рассказ писателя. С.С.Дудышкин в журнале «Отечественные записки» в большой статье «Рассказы г. Л.Н.Т. из военного быта и рассказы, записанные со слов очевидцев гг. Таторским и Кузнецовым и собранные г. Сокальским» (1855, № 12, отд. VI «Журналистика», с. 74–92) признавал, что автор «Набега», «бесспорно, один из первых талантов» современной литературы. «В рассказе было так много нового, и рассказ был так прост и естествен, что на него даже мало обратили внимания, как на вещь, которая не бросается в глаза. В этом рассказе было высказано все, что впоследствии тем же самым автором было подробнее развито в других превосходных военных картинах, каковы “Севастополь в декабре 1854 года” и “Рубка лесу”». Дудышкин называл «Набег» «родоначальником тех прелестных военных эскизов, в которых простота, естественность, истина вступили в полные свои права и совершенно изменили прежнюю литературную манеру рассказов подобного рода». По мнению рецензента, «Набег» стал «истинным и счастливым нововведением в описании военных сцен». Дудышкин уловил, что на «капитане Хлопове сосредоточена <...> вся любовь автора; он — герой рассказа, он же — и нововведение. Однако определить это лицо было крайне трудно автору, потому что в нем нет ничего особенного». «Он не Максим Максимыч Лермонтова, но несколько сродни ему, точно так же, как поручик Розенкранц не Печорин и не Мулла-Нур, хотя с виду и походил на Мулла-Нура. Капитан Хлопов не похож на капитана Миронова в “Капитанской дочке”, но тоже сродни ему». Основную мысль автора, считал Дудышкин, поясняет сцена «Едва мы отступили сажен на триста от аула ~ устарелому французскому ры-

царству» (гл. X), хотя «вся сила таланта г. Л.Н.Т» выражается в «поэтических частностях».

Коснулся первого кавказского рассказа Толстого и журнал «Сын отечества» летом 1856 г. (1 июля, № 13, с. 16). Не называя «Набега», но, безусловно, имея его в виду, критик в рецензии на повесть «Два гусара» писал, что кавказские ««сцены» Толстого были прекрасны, потому что самая действительность, которую он воспроизводит с таким искусством и в которой умеет открывать глубоко человеческие и русские черты,— представляла тут богатую пищу и для мыслителя и для художника. Это богатство спасало его оригинальный талант от той пропасти, в которую с неукротимостью дикого коня всадил Марлинский свой блестящий талант и в которой бесплодно для искусства и мысли пропало столько прекрасных и разумных сил у Лермонтова».

Несколько месяцев спустя «Сын отечества» в «Обзоре русских книг» (1856, № 30, 28 октября, с. 75) обратился к только что вышедшим «Военным рассказам» Л.Н.Толстого. Доброжелательный отзыв рецензента (статья без подписи) сводился к тому, что «прекрасный талант» молодого писателя «занял видное место» в современной литературе. И хотя «изданные теперь произведения гр. Толстого прочтены уже в «Современнике»», писал критик, но «изящное не стареет, а произведениям гр. Толстого, по преимуществу, принадлежит эпитет: *изящный*». «Сколько поэтической истины заключено в «Военных рассказах», в разнородных типах солдат, в очерках боевой жизни,— восторгался автор рецензии и сетовал: — но как ни изящны эти очерки, нельзя не заметить, что они немножко дороги: маленькие книжки <...> продаются по 1 р. 50 к. сер<ебром> каждая».

С «Военными рассказами» связана и другая рецензия того времени. «В «Отечественных записках», говорят, обругали меня за <Военные> рассказы», я еще не читал»,— заметил Толстой в письме брату 10 ноября 1856 г. Рецензия эта («Отечественные записки», 1856, № 11, с. 11–18) принадлежала С.С.Дудышкину, в конце 1855 г. опубликовавшему в журнале статью о «рассказах г. Л.Н.Т. из военного быта». Теперь рецензент, направив весь критический запал на «Севастополь в августе», мимоходом напоминал читателям предыдущую статью и подтверждал свой взгляд на военные рассказы Толстого, которые «усвоили русской литературе несколько лиц новых, живых, действительно существующих и поставленных на той твердой почве, с которой трудно их сдвинуть». Эти рассказы «имели столько своеобразного, что решительно не походили на военные повести предшествующего периода», считал Дудышкин.

Свое мнение о сборнике «Военные рассказы» высказала газета «Русский инвалид» (1856, 27 ноября, № 259, с. 1101–1102). В фельетоне рецензент, подписавшийся литерой Я.Т.(Турунов), отмечал достоинства рассказов, составивших книгу. «Не предстояло надобности прибегать к вымыслам, к изображению идеальных героев, к театральным эффектам, рассчитанным на удивление легковых читателей: надлежало только воспроизводить истину так, как воспроизводит ее писатель, наделенный даром умной наблюдательности и сочувствующий всему человеческому. Оттого, читая рассказы графа Толстого, вы убеждаетесь, что перед вами действуют не призраки, родившиеся под влиянием праздного воображения, но люди, в действительном значении этого слова, с их достоинствами, слабостями и недостатками». Как один из примеров автор статьи при-

водил фигуру капитана Хлопова из «Набега». Привлекли внимание рецензента и «полные поэзии страницы, посвященные картинам природы. Здесь, как и везде, он <Толстой> не расточителен на слова: несколько метких или симпатичных штрихов, и перед нами является очерк, которого вы не забудете».

«Библиотека для чтения» (1856, № 12) в рубрике «Разные известия» упоминала недавно изданные «две красивые темно-фиолетовые книжки» графа Л.Н.Толстого, «в которых собраны почти все его сочинения, до сих пор являвшиеся в печати» (с. 80–81), и в том же номере (отд. VI, с. 29–46) помещала статью А.В.Дружинина (в журнале без подписи) о «Военных рассказах» графа Льва Николаевича Толстого и «Губернских очерках» Н.Щедрина. Критик отдавал должное труду писателей, *«основательно знающих тот мир, который ими изображается»*. Что касается Толстого, то «помимо великой поэтической силы» Дружинину был дорог в нем, «как в военном рассказчике», «настоящий русский военный человек, знающий и офицера и солдата», который «не только взглянул на быт, им изображаемый, с совершенно самостоятельной стороны, но и воссоздал его, по мере своих сил, рядом сцен и типов истинно новых». Дружинин видел, «какой огромный шаг сделан был графом Толстым как живописцем военных сцен по изучению действительной и вседневной жизни военного русского человека». Он был уверен, что едва ли кто «из новых писателей, после Лермонтова и отчасти Гоголя», «мог бы сочинить хотя одну страницу из “Набега” и “Рубки леса”».

Ретроспективно рассматривая сочинения Толстого, составившие сборник, критик обращался к первому рассказу: «“Набег”, рассказец хорошенький и как будто набросанный с небрежностью, но рассказец до такой степени исполненный поэзии военной жизни, что многие знатоки литературы, наслаждаясь поэзией “Набега”, почти не отдали справедливости другим сторонам произведения». По мнению рецензента, «в “Набеге” есть что-то особенно опьяняющее, волнуящее душу и не дающее возможности остановиться на прозаической, вседневной стороне рассказа. Эта картина выступления войск, приготовлений к бою, ночлегов под открытым небом, ощущений эти первыми пулями, картина смерти и веселости, рыцарства и беззаботности, удалства и унылых минут после набега, была действительно пленительна, но не менее пленительны и верны были лица военных людей, выведенных в “Набеге”. Розенкранца и капитана Хлопова еще не бывало в нашей повествовательной литературе».

К.С.Аксаков в журнале «Русская беседа» (1857, № 1. Обзорение, с. 33–35) называл «Набег» одним из лучших рассказов Толстого, в которых «первое место занимает окружающий мир природы, люди, события», и замечал, что произведения эти «отличаются наглядностью живою, прямым отношением к предмету, уважением жизни и стремлением восстановить ее в искусстве во всей правде».

Главный персонаж «Набега», капитан Хлопов, стал одним из объектов размышления о «двух типах героев» в русской литературе в статье Ап.Григорьева «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л.Толстой и его сочинения» (статья вторая — «Время», 1862, № 9, отд. 2, с. 1–27). Упорно называя толстовского капитана Хлопова капитаном Храбровым и героем «Рубки леса», Григорьев тем не менее верно уловил суть этого типа. «Капитана Храброва» критик ставил

рядом с пушкинским Белкиным и Максимом Максимычем Лермонтова и видел «значение всех этих лиц в том, что они — критические контрасты блестящего и, так сказать, хищного типа, которого величие оказалось на нашу душевную мерку несостоятельным, а блеск фальшивым. Значение их, кроме того, в протесте,— писал Григорьев,— протесте всего смиренного, загнанного, а между тем основанного на почве в нашей природе,— против гордых и страстных до необузданности начал, против широкого размаха сил, оторвавшихся от связи с почвою». Признавая честность, храбрость и естественность Максима Максимыча и капитана у Толстого, автор статьи полагал, что «придать этой стороне души нашей значение исключительное, героическое, значит впасть в другую крайность, ведущую к застою и закиси», что с такими «героями» «немыслима никакая история. Из них не выйдут, конечно, Стеньки Разины, да зато не выйдут и Минины». Григорьев объяснял появление в творчестве Толстого типов, подобных «капитану Храброву», тем, что писатель «анализирует и анализом доходит до положительного неверия во всякое сколько-нибудь *приподнятое* чувство», его «глубокий анализ довел до сознания исключительной законности типа простого человека перед блестящим, но постоянно поднимающимся на моральные ходули типом, до неверия даже в возможность реального бытия такого ходульного типа», «неверия во все “приподнятые”, “необыденные” чувства души человеческой». В этом видел Григорьев «высокое значение» писателя, «в этом же и его одностронность». Критик замечал, что «в честной и простой храбрости капитана Храброва, явно превосходящей в его <Толстого> глазах несомненную же, но крайне эффектную храбрость одного из кавказских героев à la Марлинский», писатель «следил» «идеал простоты душевных движений».

По мнению Григорьева, при всей «глубокой искренности анализа» Толстой иногда слишком строг к «приподнятым» чувствам. «Не только мы были бы народ, весьма нещедро одаренный природою, если бы мы видели свои идеалы в одних смиренных типах — будь это Максим Максимыч или капитан Храбров,— продолжал критик,— <...> у нас в истории были хищные типы <...> Стеньку Разина из мира эпических сказаний народа не выживешь <...>». Григорьев не мог согласиться с тем, что «смирный» тип возводился в идеал, а к сильному, «хищному», «блестящему» Толстой был беспощаден, потому что, как считал критик, русская почва, русская натура дает оба типа. И вместе с тем Григорьев понимал, что «“приподнятые” чувства души человеческой» Толстой «казнил только там, где они напряженно, насильственно приподняты <...>, как в изображении кавказского героя, который действительно герой, и герой нисколько не меньше *смирного* капитана Храброва, только герой своей эпохи, эпохи Марлинского».

Когда Толстой познакомился со статьей Григорьева, неизвестно, но известно, что он не принял такое деление героев на «хищных» и «смирных». Даже полтора десятилетия спустя он помнил об этой «неудавшейся мысли Григорьева о хищных и смиренных типах, которой <...> никогда не понимал». В письме Н.Н.Страхову 1–2 января 1876 г. Толстой объяснял: «Самое деление неправильно. Противуположное смирному есть бунтующий или горящий, но не хищный. Главное же, самая мысль неверна. Тут вы платите дань, несмотря на ваш огромный, независимый ум, дань Петербургу и литературе. Вы говорите: лучшие силы недействительны, а те действительны. Да ведь это только в литературе. Т.е. одни знают, что сами ниче-

го не знают, и учатся, а другие, невежды и тупицы, ничего не зная, учат и не учатся. Но это только в литературе. А в (маленькой штучке) в жизни? Кто пашет, сеет, нанимает, торгует, распределяет деньги, ездит, набирает солдат, командует, главное, рождает и воспитывает себе подобных и лучших? Всё недеятельные, пассивные люди. Это совсем, совсем неверно».

В 1864 г. военные рассказы вошли в двухтомник сочинений Л.Н.Толстого, изданный Ф.Стелловским (СПб.). В апрельском номере «Современника» за 1865 г. в отделе «Новые книги» (с. 323–329) рецензент журнала А.Я.Пятковский (в журнале без подписи) писал, что с выходом нового издания сочинений Л.Толстого «физиономия этого писателя очертилась <...> вполне». Говоря о мастерстве Толстого, критик полагал, что «чем скромнее задача, чем больше удаляет от себя автор всякое лукавое мудрование и преднамеренную подтасовку своих художественных изображений — тем лучше и для него, и для публики. К этому разряду произведений, представляющих верную и безыскусственную комбинацию разных житейских фактов» Пятковский относил и кавказские рассказы «Набег» и «Рубку леса».

В журнале «Военный сборник» в 1868 г. (№ 2 и № 4) была опубликована большая статья «Военный роман» (без подписи), в которой уделялось значительное внимание кавказским и севастопольским рассказам Л.Толстого. Отмечая рост мастерства писателя, критик признавал, что все же в первых военных рассказах «описание иногда длинноваты. Автор как бы боится, что выставляемая им личность недостаточно будет им выяснена несколькими чертами, а потому и старается разяснить эти черты, выказывать их значение при разных положениях описываемой личности»; правда, и в «Набеге» и в «Рубке леса» уже «есть личности, обрисованные кратко, сжато, с свойственною графу Толстому манерою» (с. 255). Вглядываясь в «двух кавказских ротных командиров», капитана Тросенко («Рубка леса») и капитана Хлопова («Набег»), критик обнаруживал в них «много общего», хотя каждый «сохраняет свою индивидуальность» и «очерчены их характеры различно». «Хлопова автор дает подробнее», но оба они «представляют типы спокойного, несуетливого мужества, полнейшего хладнокровия в самые тяжкие минуты: они <...> до того проникнуты этим чувством, так оно усвоено ими, что даже не понимают, чтобы могло быть иначе». В «личности капитана Хлопова» Толстой «выставил» «образчик той спокойной, хладнокровной храбрости, которая так часто встречается в наших войсках и почти может быть названа принадлежностью чисто русского характера» (с. 256). В Хлопове «храбрость была естественным явлением, до того естественным, что он сам не замечал этого» (с. 258). Обращаясь к эпизодам отступления из аула, автор статьи подчеркивал, что здесь Толстой «является не только рассказчиком, но и психологом, который усматривает все мельчайшие движения души и беспощадно выставляет их так, как они есть». «Будучи не только художником, но и философом-психологом», он «не ограничивается описанием одной внешности, но заглядывает в самые затаенные мысли и изображением их дополняет свое описание» (с. 260–261). В персонажах «Набега» критик видел «вовсе не героев, а самых обыкновенных людей, которые, как прилично всем смертным, не любят умирать, хотя бы даже и со славою, но которые, тем не менее, честно исполняют свой долг и, когда того требуют обстоятельства, являются очень и очень храбрыми людьми. Такое изо-

бражение их во всей полноте достоинств и недостатков не только не роняет их, напротив, возбуждает к ним еще более сочувствия и уважения» (с. 263). Каждый персонаж у Толстого в кавказских рассказах «имеет свою своеобразную физиономию, которая могла выработаться только на Кавказе. Некоторые из подобных типов перевелись уже». «К числу таких, почти исчезнувших уже, типов принадлежит личность поручика Розенкранца» — и далее в статье шла подробная характеристика Розенкранца, заканчивавшаяся почти лирически: «И этот же самый человек, всегда старавшийся казаться не тем, чем был, а чем хотел быть, дома у себя являлся добрым и кротким существом, по вечерам писал свои записки, сводил счета на разграфленной бумаге и на коленях молился Богу» (с. 264). «Замирение Кавказа должно, конечно, уничтожить подобные типы, неестественные, выходящие из ряда обыкновенных личностей,— полагал критик; — но к ним, сказать правду, нельзя не отнестись с уважением» (с. 264).

Спустя почти два десятилетия к рассказу «Набег» обратились исследователи творчества Толстого. В середине 80-х годов профессор истории русской литературы О.Ф.Миллер выпустил книгу «Русские писатели после Гоголя. Чтения, речи и статьи Ореста Миллера» (СПб., 1886). Содержание книги составили записи, «обработанные на основании университетских лекций 1882 года». В лекции о Толстом автор рассматривал и рассказ «Набег», где, по мнению Миллера, писатель «простую, неподдельную храбрость русского офицера» «сопоставляет с <...> картинным героизмом» французов, храбрость которых «всегда соединена с известной театральностью, тогда как духу русского “нетронутого” человека эта театральность совершенно чужда». Конечно, таким человеком Миллер считал «личность, весьма первобытную», капитана Хлопова. «Полной противоположностью капитану», по мнению исследователя, являлся молодой офицер Аланин, «представитель барской среды», «полуребенок», воображение которого «настроено французскими книжками». «Кончил этот мальчик печально,— заключал свои рассуждения об Аланине профессор Миллер: — вероятно, увлеченный мыслью о каком-нибудь крестике, он зарвался в битве, и его убили». Единственный, кого можно поставить рядом с Хлоповым, считал Миллер,— это простой солдат: «солдат, заканчивающий рассказ, совершенно соответствует капитану, который открывает его. Одна и та же простота и безыскусственность в обоих» (с. 271–273).

О добродетелях «простого солдата» в рассказе «Набег» размышлял в своей книжке и Евг.Соловьев, один из первых русских биографов Л.Н.Толстого (кн.: Л.Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк. СПб., 1894. Серия «Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф.Павленкова»). В кавказских рассказах Толстой «уже предчувствовал» Платона Каратаева и «его наивный, детский, но исполненный глубочайшего смысла фатализм» (с. 47). Особое внимание критик уделил понятию «храбрость», подчеркивая, что, по Толстому, «храбр тот, кто при каких бы то ни было обстоятельствах исполняет свой долг, солдата или офицера — безразлично. Не бояться смерти не значит быть храбрым, потому что нет на свете человека, который бы не боялся смерти; зато есть много таких, которые говорят, что они не боятся, и хвастают этим. Истинно храбрые люди — солдаты на вопрос:

“а ты разве боишься?” всегда отвечают у Толстого: “а то как же?” Рваться без толку вперед, нарочно выбирать самые опасные места, когда этого совсем не нужно, гарцевать под неприятельскими пулями — совсем не значит быть храбрым, а только или тщеславным, или отчаянным, т.е. человеком лишь очень и очень относительно полезным, а в большинстве случаев прямо вредным. Солдаты, — продолжал критик, — не считают постыдным или унижительным наклонить голову при летящей бомбе или лечь на землю, когда разрывается граната; но те же солдаты не задумываясь идут в адский огонь, *когда это нужно*. Вот она, истинная храбрость, без забот о знаках отличия, о мнении других, без ложного стыда и без признака тщеславия». Соловьев называл капитана Хлопова в «Набеге», Тушина и Тимохина в «Войне и мире» «подлинными храбрецами», хотя «ничего эффектного они не производят» (с. 51–52). Неотъемлемым «элементом храброй души» у Толстого считал критик «простодушие, граничащее иногда с наивностью ребенка», — эта черта есть и у капитана Хлопова, и у Тушина, и у Тимохина. «Ведь это все дети, большие, хорошие дети, в чистом сердце которых грязь жизни не оставила ни одного пятна... Эти храбрецы — дети народа, сохранившие непорванными все духовные связи с породившей их почвой» (с. 52–53). В толстовском понятии храбрости Соловьев видел «драгоценное качество» — «мужество жизни», которое, «как и храбрость, принадлежит прежде всего народному (но не интеллигентному) духу и составляет красоту его». «Надо быть большим человеком и обладать пронизательным взглядом художника, — писал биограф, — чтобы рассмотреть эту красоту и уметь любоваться ею. Толстой сумел сделать это, и почва для любви к народу и сердечной к нему привязанности была готова». Прежнее отношение и чувство к мужику заменилось «другим, более прочным и высоким чувством — любовью и преклонением перед красотой народной души. Пока эта красота выражалась прежде всего в *храбрости*» (с. 53).

И еще один «мотив» услышал Соловьев в «кавказских впечатлениях» Толстого. «Всю важность этого мотива он пытается «представить читателю», цитируя отрывок из поэмы Лермонтова «Валерик» («Уже затихло всё; тела ~ Один враждует он... *Зачем?*»). «И как странно было видеть среди этой грандиозной могучей природы, — рассуждал критик, — маленьких людей, мучающих себя, убивающих себя, интригующих, завидующих, — и даже любящих и ненавидящих. Странной казалась смерть живого существа от крошечной пульки под суровыми взглядами холодного Казбека, под вековыми чинарами, шептавшими о чем-то вечном, таинственном... Как же не задать себе вопроса “зачем?..” Перечтите кавказские рассказы Толстого и вы увидите этот вопрос на каждой странице. Это вопрос высокой и вместе с тем наивной (с нашей точки зрения) души художника...» (с. 48–50).

Вечные и «тревожные» философские вопросы о «настоящей цели жизни», о жизни и смерти прозвучали в «Набеге» для К.Головина, автора книги «Русский роман и русское общество» (СПб., 1897). Смерть молоденького прапорщика, «смерть даже не в бою, а случайная, пассивная, не громкая смерть» — «вместо славы и блеска», которых ждал он. «Контраст между громкими ожиданиями и быстрым, нелепым, бесцельным концом — этот любимый Толстым контраст здесь уже ярко выступает как злая насмешка над жизнью, со всей жалкой тщетой ее лучших стремле-

ний,— заключал Головин.— И примирить этот контраст может, по мысли Толстого, только одинаковое смирение перед обманом жизни и пред загадкой смерти» (с. 141–142).

Мыслям К.Головина вторил С.Весин в книге «Былое. Из русской жизни и литературы 40–60-х годов» (Житомир, 1889): «В числе первых произведений графа Толстого мы встречаем рассказы, в которых он останавливается на вопросе о смерти, имеюшем у него такое выдающееся значение». К этим рассказам критик относил «Набег», где «молодой кавказский офицер, идущий в первое сражение как на праздник, вдруг среди пылких мечтаний о славе наталкивается на смерть, как на нее натолкнулся в пылу увлечения Петр Ростов. Такое сопоставление человеческих стремлений с неожиданно разрушающей их смертью, сопоставление, приводящее на память слова Державина: «Сегодня льстит надежда лестна, а завтра где ты, человек!» — является любимым философским мотивом в произведениях Толстого, начиная с первых произведений и кончая рассказом «Хозяин и работник»,— делал вывод С.Весин (с. 113–114).

Одним из первых произведений Толстого «Набег» был переведен на несколько европейских языков.

В 1856 г. французский журналист Анри Ипполит Делаво (H. Delaveau) в журнале «Revue des deux Mondes» (15 août, p. 775–810) опубликовал статью «Литература и военная жизнь в России. 1812.— Кавказ.— Крым» («La littérature et la vie militaire en Russie. 1812.— Le Caucase.— La Crimée»), в которой наряду с произведениями Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Марлинского рассматривал военные рассказы Л.Толстого, причем, говоря о Кавказской и Крымской кампаниях, уделял им главное внимание. «В них русский солдат впервые предстал в мужественной простоте своего характера <...> образы, выведенные Толстым, не имеют ничего общего с напыщенными воинами Марлинского». Французскому критику оказалась близка реалистическая позиция Толстого в изображении военной жизни, он разделял отношение писателя к капитану Хлопову и к офицерам, подражающим романтическим героям Марлинского. Поскольку «Набег» еще был неизвестен французским читателям, Делаво пересказывал рассказ, вставляя в свой пересказ большие отрывки из «Набега» в собственном переводе.

В мае 1862 г. о переводе рассказа на французский язык сообщала из Гиера брату М.Н.Толстая: «...мне много есть что тебе сказать насчет твоих переводов, которые ты так скоро разрешил переводить М-лле Павловой. Она владеет языком, конечно, как француженка, но понять твои сочинения и передать их как следует она не может. Она неглупая, блестящая, светская девушка, которая так отстала от всего русского, что понять все тонкости русской литературы она не в состоянии. Она Гоголя не понимает. Я постараюсь достать ее перевод (“Набег”), который она перевела “L’Invasion” — “Нашествие”, но ни за что не хотела мне показать, и пришлю тебе. Рискую стать в дурных отношениях с М-лле Павловой, но твоя литературная репутация мне дороже» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 255). Дальнейшая судьба перевода Павловой неизвестна.

Еще один перевод «Набега» на французский язык появился в 1870 г., о чем сообщила газета «Русские ведомости» (1870, № 110, 26 мая). В разделе «Иностранные известия» была дана информация о том, что «в Брюссе-

ле печатается сборник избранных повестей наших русских беллетристов в переводе на французский язык. В первом выпуске будут помещены рассказы “Набег” и “Метель” гр. Л.Н.Толстого». В сообщении говорилось также, что «предприятие имеет главным предметом ознакомление французского общества с русской литературой» (с. 3).

Новый перевод «Набега» был опубликован во Франции в 1887 г. в книге «Scènes de la vie russe» (Paris). Годом позже рассказ вышел в переводе А.Оливье в книге «Le joueur» (Paris) и дважды в переводе И.Д.Гальперина-Каминского в сборнике «Au Caucase». В 1890 г. «Набег» был напечатан в книге «Paysans et soldats, scènes de la vie militaire et de la vie champêtre en Russie» (Paris), а в 1895 г. вышел отдельным изданием в Париже. Три издания за десять лет (1896–1906) выдержала во Франции книга «Pages choisies des auteurs contemporains. Tolstoi», где был помещен сокращенный текст «Набега». В переводе G.d'Ostoïa de Sochinsky рассказ Толстого появился в сборнике «À la hussarde» (Paris, 1898). В 1902 г. «Набег» в переводе Ж.-В.Бинштока, с комментариями и под редакцией П.И.Бирюкова, увидел свет в третьем томе собрания сочинений Л.Н.Толстого (Paris).

В конце 70-х годов «Набег» был впервые переведен на английский язык Ю.Скайлером и вышел в Лондоне в книге «The invaders.— The cossacks» (1878). В конце 80-х годов в США и дважды в Англии был опубликован перевод Н.Х.Доула в книге «The invaders and other stories» (New York, Crowell, 1887; London, 188- и 1888). В том же переводе «Набег» появился в собрании сочинений Толстого, изданном в США в 1899 г. (Vol. 7. The cossacks. New York). Издание произведений Л.Н.Толстого, предпринятое В.Г.Чертковым в 1898 г. во время его вынужденного пребывания в Англии, также включало первый кавказский рассказ («Works». Ed. by V.Tchertkoff. Vol. 6. London). На рубеже веков в США рассказ был напечатан в составе большого издания сочинений Толстого («The novels and other works». Vol. 12. New York, 1899–1902) в переводе И.Хэлгуд, Н.Доула и др. Три раза на английском языке печатался «Набег» в 1904 г. в переводе Л.Винера: в собрании сочинений Толстого в Англии (Vol. 1. London) и дважды в США (Works. Vol. 1. Childhood. Boston). Несколько изданий выдержал рассказ в Англии (переводчики С.Garnett и С.Hogarth): первые два вышли в 1905 и в 1910 гг. в книге «Master and man, and other parables and tales» (London). Тот же перевод в 1910 г. был напечатан в Нью-Йорке в книге «Master and man».

Мимо рассказа «Набег» не прошли американские и английские историки литературы. По мнению Эдварда Штайнера, в образе капитана Хлопова в «Набеге» Толстой «персонифицировал гений русской души, не жалующейся, не хвастающей и кристально честной» (Steiner Edward A. Tolstoy the man. New York, 1904, p. 64)¹.

В своем фундаментальном исследовании о жизни Толстого его английский биограф Эльмер Моод замечал, что «и в ранних рассказах о войне <“Набег”, “Рубка леса”> ужас войны ощущается так же сильно, как и в более поздних описаниях кровавых битв в Севастополе» (Maude A. The Life of Tolstoy. First fifty years. London, 1908, p. 78).

¹ Перевод с английского здесь и далее О.В.Липатовой.

Одним из первых по времени можно считать перевод В. Герстенберга на датский язык: в 1880 г. он вошел в книгу «Soldaterliv i Kaukasus...» (Kjøbenhavn). В 1886 г. появился новый перевод в сборнике вместе с рассказом «Три смерти» и повестью «Казачи».

На немецкий язык «Набег» был переведен в 1887 г. Г. Роскошным и опубликован в книге «Russische Soldatengeschichten und kleine Erzählungen» (Leipzig, 1887). Через год в новом немецком переводе Л.-А. Гауфа рассказ вышел в книге «Der Gefangene im Kaukasus und andere russische Soldatengeschichten» (Berlin, 1888). На протяжении многих лет «Набег» печатался в Германии в переводе Р. Лёвенфельда и в его же изданиях: в 1891–1893 и 1897 гг. — в собраниях сочинений Толстого; в 1897 и 1901 гг. — в книге «Novellen und kleine Romane» (Bd. 2. Leipzig, 1897; Jena, 1901), в 1901 г. — в «Sämtliche Werke» (Leipzig, Jena). Два раза по-немецки выходил рассказ в переводе Горицкого (С. Goritzky) в книге «Russisches Soldatenleben» (Dresden, 190- и 1902).

Немецкая литературная критика к военным рассказам Толстого обратилась в середине 80-х годов. Ойген Цабель в 1885 г. в газете «National Zeitung» опубликовал статью о творчестве Толстого (в том же году она вошла в книгу очерков о русских писателях: Zabel Eugen. Literarische Streifzüge durch Rußland. Berlin, 1885). В 1886 г. фрагменты этой статьи были напечатаны во второй части книги Ф. И. Булгакова «Граф Л. Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная» (СПб.—М., 1886). В этой статье Цабель касался кавказских рассказов: «При описании Кавказа Толстой следовал по стопам Пушкина и Лермонтова, но при этом так далеко ушел собственной дорогой, словно наблюдал он жизнь горцев впервые не глазами романтика, а разумом реалистического живописца, отыскивающего и находящего в национальных типах характерные признаки. Прежде на Кавказ ездили, чтоб там мечтать о природе и человеке à la Байрон,— писал Цабель,— Толстой же действительно изучал и понял ту и другого» (ч. 2, с. 79–80). Свои мысли о кавказских рассказах критик развил в книге о Толстом (Zabel E. L.N. Tolstoi. Leipzig, Berlin und Wien, 1901), в 1903 г. вышедшей в Киеве в русском переводе В. Григоровича под названием «Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк». «Романтика лорда Байрона» «не нужна была Толстому, чтобы ценить и понимать этих людей и природу так, как они существовали в действительности. Его люди — простые люди. Не они играют своими чувствами, а их чувства играют ими. <...> Вместо благородного и вдохновенного пафоса, в котором изливали свои рифмы вожди романтической школы, образы Толстого дышат правдивостью, ровной, простой, неизменно верной себе. В своих рассказах он перерабатывает богатый запас удачных наблюдений, о которых очень мало заботились прежние описатели Кавказа, и тем сделал эти рассказы предметом восхищения для всех, кто знает жизнь этих племен по собственным наблюдениям» (с. 45). По мнению Цабеля, в то время, когда Толстой был на Кавказе, «лицом к лицу с непрерывными военными действиями, не могло быть и речи о пушкинской романтике <...> хотя все еще находились люди, которые в своем поведении, во всем образе жизни подходили больше к пушкинским стихотворениям» (с. 46), а не к условиям реальной жизни. К таким людям Цабель относил Розенкранца и «других молодых людей, у которых только начинают пробиваться усы и которые приходят в восторг при

одной только мысли, что они могут принимать участие в схватке с неприятелем; радуются этому до тех пор, пока не поймут всей серьезности положения, когда то один, то другой остаются на месте жертвой этой схватки». Очевидно, что речь идет о прапорщике Аланине. В «Набеге» критик отмечал также «несколько роскошных маленьких картин природы в разные часы дня, вроде такого богатого настроением описания» — далее приводился большой фрагмент из шестой главы рассказа («Большая часть неба ~ выражением красоты и добра»). На заключительный абзац главы («Неужели тесно жить людям ~ красоты и добра») Цабель обращал особое внимание: «В этих последних предложениях Толстой говорит уже не как солдат, а как апостол мира и прощения, друг людей, о котором нам еще придется говорить впоследствии подробно» (с. 47–48).

Еще один немецкий критик, переводчик, издатель Р. Лёвенфельд остановился на кавказских рассказах в книге «Граф Л. Н. Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание» (Löwenfeld R. Leo N. Tolstoy, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung. Berlin, 1892), переведенной и изданной в России в 1896 г. Лёвенфельд писал, что «Набег» и «Рубка леса» «относятся к “Казакам”, как наброски к настоящей картине, как эскиз к законченному художественному произведению». «“Набег, рассказ волонтера” — это только картинка из военной жизни на границе Европы и Азии, — замечал автор книги. — Толстой умышленно лишает Кавказ, эту, в глазах молодых русских людей, обетованную землю, ее поэтического обаяния». Офицеров, проникнутых «духом русской романтики», жаждущих приключений, «скоро постигает <...> разочарование»: «раны, смерть и резкий контраст между спокойным величием природы и воинственными склонностями человека пробуждают в них мысль и причиняют душевные страдания» (Лёвенфельд приводил в качестве примера состояние рассказчика-волонтера при виде раненого). Критик видел в «Набеге» «изображение типа тех русских офицеров, которые отправляются на Кавказ в надежде на ордена и повышения, т. е. под влиянием крайне низменных мотивов, мотивов, совершенно чуждых простому солдату. Последний отправляется на Кавказ, потому что его туда посылают, не размышляет много о своем назначении и будущем и под чужим небом не только сохраняет свои прежние простые добродетели, но приобретает еще и новые» (СПб., с. 66–68).

В 1899 г. в Берлине в серии «Исследования новой истории литературы», издаваемой профессором Мюнхенского университета Францем Мункером, вышла небольшая книжка А. Эттлингера «Лев Толстой. Эскиз его жизни и творчества» (Ettlinger A. Leo Tolstoj. Eine Skizze seines Lebens und Wirkens), в которой автор «в первую очередь хотел показать, как Толстой связан со всей остальной духовной и культурной жизнью Европы, как она повлияла на его развитие» (S. IV). Критик отмечал романтический (байронический) стиль в изображении «героев и прекрасных женщин» у Пушкина и у Лермонтова в «Герое нашего времени», тогда как Толстой «в своих кавказских солдатских историях иронизирует над юными офицерами-дворянами, которые стараются перенять это романтическое геройство. Ему гораздо симпатичнее простая, лишенная блеска храбрость, само собой разумеющееся исполнение обязанностей, которые он находит у русских солдат и у капитана, выходца из народа» (S. 13).

При жизни Толстого «Набег» дважды печатался на голландском

языке под названием «Eene expeditie»: в 1889 — в книге «In der Kaukasus» («На Кавказе») в переводе F.G.J.Scheurleer'a (Almelo) и в 1904 г. в книге «Kaukasische vertellingen. Novellistische meesterwerken» («Кавказские повести. Новеллистические шедевры») в третьем томе 6-томного собрания сочинений Л.Н.Толстого (без указ. переводчика. Амерсфоорт).

В конце столетия рассказ Толстого появился на чешском языке (Spisy. Sv. 2. Praha, 1889) в переводе О.Ž., на шведском языке (Från Kaukasus jänte flera berättelser. Stockholm, 1891) в переводе Хедберга (W.Hedberg). Два раза уже в начале XX века «Набег» выходил в Испании: в переводе О.Климент (O.Climent) (Barcelona, 1901) и в собрании сочинений Толстого (Barcelona, 1906). В 1906 г. рассказ был напечатан на португальском языке в книге «Os cavalleiros da guarda» (Lisboa) в переводе J.Leitão.

С. 7. *В Дарги ходили...*— Дарго — чеченский аул, бывший в 1840-х годах резиденцией Шамиля и находившийся в самой лесистой и труднодоступной части Чечни. В Дарго Шамиль устроил склады различных запасов и арсенал. Экспедиция в Дарго под начальством М.С.Воронцова была предпринята летом 1845 г. С 31 мая по 20 июня отряд получил продовольствия на двадцать три дня; следующий транспорт должен был прийти 26 июня. Ожидая прибытия транспорта с продовольствием, войска несколько дней оставались без хлеба, получая только немного водки и мяса и деля один сухарь на десятерых. Эту экспедицию на Кавказе прозвали «сухарной».

С. 8. *...прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны»...*— А.И.Михайловский-Данилевский — русский военный историк, автор работ по истории войн России в начале XIX века с Францией, Турцией и Швецией, в том числе «Описания Отечественной войны 1812 года». Участник войны 1812 г, генерал-лейтенант, адъютант М.И.Кутузова, он использовал в своих книгах обширный документальный и мемуарный материал.

...Платон определяет храбрость знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться...— Излагается мысль Сократа из диалога Платона «Протагор»: «По сему, знание того, что страшно и нестрашно, есть мужество?» (Соч. Платона. СПб., 1841. Ч. I, с. 158) и мысль о мужестве и мудрости, вложенная Платоном в уста Никиаса в диалоге «Лакхес», где Никиас определяет мужество и мудрость как «знание того, чего должно страшиться и на что отваживаться, как на войне, так и во всем другом» (там же, с. 320).

С. 9. *...юнкер...*— Унтер-офицер из дворян.

...славным пирогом и полотками...— Полоток — половина копченой или соленой рыбы, птицы.

...довольно большой ладанкой...— Ладанка — сумочка с ладаном или какой-нибудь святыней (иконкой), носили ее вместе с крестом на шее.

Вот это неопалимой купины наша матушка-заступница...— Образ Богоматери с младенцем, вписанный в восьмиугольник, — символ вечности. Купина неопалимая — терновый куст близ горы Хорива, в котором Бог явился Моисею, призывая его к избавлению народа израильского от египетского рабства. Моисей видел, что куст этот горит и не сгорает. Церковь придает этому видению символическое значение: горящая, но не сгорающая купина — это Богородица, «пребывшая нетленной и по воплощении и рождении от нее Сына Божия».

С. 10. ...*двойное жалованье*...— В действующей армии удвоенная плата офицерам за службу.

...*белая папашка*...— Папаша — высокая мужская меховая шапка, принадлежность национального костюма некоторых народов Кавказа и форменной одежды казаков.

...*сажен двести впереди*...— Сажень — старая русская мера длины, равная 2,1336 м.

С. 12. ...*субалтер-офицер моей роты*...— Субалтерн-офицер — в дореволюционной русской армии младший офицер в роте, эскадроне, батарее или команде.

Еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса.— То есть по окончании кадетского корпуса.

Троечные ~ повозки...— Повозки, запряженные тройками лошадей.

...*бешимет*...— Верхняя распашная мужская одежда у некоторых народов Северного Кавказа и Средней Азии, в талии собирается в складки и подпоясывается.

...*с галунами*...— Галун — плотная лента или тесьма шириной 5–60 мм из хлопчатобумажной пряжи, шелка. Используется при изготовлении знаков различия для форменной одежды и ее отделки.

...*ноговицы*...— Ноговица — принадлежность обуви из толстого сукна или кожи, закрывающая голень с коленом.

...*чувяки*...— Мягкие кожаные туфли без каблуков у некоторых народов Кавказа.

...*черкеска*...— Русское название верхней мужской распашной одежды у народов Кавказа: однобортный суконный кафтан без ворота, со сборками в талии, немного ниже колен. По сторонам груди нашиты гозыри — кожаные гнезда для патронов.

...*натруска*...— Сосуд, емкость, из которой насыпали порох на полку старинного ружья.

С. 13. ...*смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму Героев нашего времени, Мулла-Нуров и т.п.*— Имеются в виду Печорин, герой романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» (1839) и Мулла-Нур, герой одноименной повести А.А.Бестужева-Марлинского (1836).

С. 15. ...*на погребце играли в дурачки*...— Погребец — дорожный сундук для продуктов и посуды; в дурачки — одна из простейших и наиболее распространенных в России неазартных игр в карты.

...*на крыше сакли*— Сакля — жилище горцев Кавказа.

По дороге от форштата...— Форштат — пригород, предместье, слобода (нем. Vorstadt).

...*звуки какой-то «Лизанька» или «Катенька-польки»*...— «Лизанька» или «Катенька-полька» — ироническое обобщающее название модной в середине XIX в. танцевальной музыки, в том числе и произведений австрийского композитора Иоганна Штрауса (сына), автора многочисленных полек: «Annen-Polka», «Augora-Polka», «Hermann-Polka», «Elisen-Polka», «Ella-Polka», «Marie Taglioni-Polka» и др.

В духане...— Духан — небольшой ресторан, трактир на Кавказе.

...*звуки финала из «Лючии»*.— Опера Г.Доницетти «Лючия ди Ламермур» (1835) в России впервые поставлена в Одессе в 1839 г. итальянской труппой; на русской сцене — в 1840 г. в Петербурге.

С. 17. *Стройные раины садов*...— Раина — пирамидальный тополь.

...долетали звуки шарманки: то вьют витры, то какого-нибудь «Аугога-Валзер». — «Вьют витры» — украинская народная песня. «Аугога-Валзер» — популярный в 40–50-е годы XIX в. вальс австрийского композитора Иоганна Штрауса (отца); известно стихотворение Н.П.Огарева под этим заглавием (1843).

С. 18. *Арьергард*... — Часть войск, которая должна охранять от неприятеля тыл главных сил.

...паааальник! — Пальник — длинная палка с клещами, зажимающими горящий фитиль, который вдвигался в гладкостенную пушку для воспламенения пороха при выстреле.

...вой чакалок... — Чакалка — шакал.

...в шитом кобуре... — Кобур (кобура) — кожаный чехол для пистолета.

С. 21. ...*Стожары опускаться к горизонту*... — Стожары — рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца.

...передовой пикет... — Пикет — сторожевое охранение.

...*рассыпать цепь*... — Цепь — вид построения в бою, при котором воины, стрелки расположены в линию на некотором расстоянии друг от друга.

С. 22. ...*натягивали уносы*... — Уносы — постромки передней пары лошадей, запряженных четверней.

С. 24. ...*драгуны*... — Вид кавалерии в русской армии в XVII–XX вв., предназначенной для действий в конном и пешем строю.

С. 25. ...*за седлом линейного казака*... — Линейные казаки — особое казачье войско, поселенное на пограничной линии.

С. 26. *Француз, который при Ватерлоо сказал: «La Garde meurt, mais ne se rend pas»*... — Ватерлоо — населенный пункт в Бельгии, южнее Брюсселя. В период «Ста дней» около Ватерлоо 18 июня 1815 г. англо-голландские войска А.Веллингтона и прусские войска Г.Л.Блюхера разбили армию Наполеона I. По легенде, в ответ на предложение англичан сдаться в плен генерал Камбронн, командовавший дивизией старой наполеоновской гвардии, произнес эту фразу. Тяжело раненный, Камбронн все же попал в плен. В 1835 г. Камбронн публично отказался от этой исторической фразы, но на памятнике ему в Нанте (1845) появилось это изречение. Сыновья погибшего при Ватерлоо полковника Мишеля заявили протест, утверждая, что это были предсмертные слова их отца, о чем свидетельствовали и некоторые очевидцы. Французскими историками спор об авторе этого высказывания не был решен. В «Истории консульства и империи» А.Тьер (Adolphe Thiers. Histoire du Consulat et de l'Empire. Paris, 1862, v. XX, p. 248) дает это изречение как приписываемое и Камбронну и Мишелю. Самым ранним источником, где появился приписываемый Камбронну афоризм, считается статья журналиста Ружмона (газета «Indépendant», 1815, 19 juin).

С. 28. ...*высокая черта русской храбрости*... — Понятие «русская храбрость» встречается в журнале Печорина в романе Лермонтова «Герой нашего времени»: «Грушицкий слывет отличным храбрецом ~ Это что-то не русская храбрость!..» («Княжна Мери», 11-го мая). (Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. М.–Л., 1959, т. 4, с. 360.)

ЗАПИСКИ МАРКЕРА

Впервые: «Современник», 1855, № 1, с. 9–26 (ценз. разр. 31 декабря 1854 г.). Подпись: Л.Н.Т.

Рассказ вошел в сборник «Для легкого чтения». СПб., 1856, с. 371–398.

Сохранилось три автографа (14 листов).

Печатается по изданию 1856 г. со следующими исправлениями:

С. 30, строка 12: посмотрел, посмотрел, да и сел на диванчик — *вместо:* посмотрел, да и сел на диванчик (по С).

С. 33, строки 9–10: алагер, пирамидку — всё узнал — *вместо:* алагер, пирамиду, — всё узнал (по А₁, С).

С. 34., строки 11–12: чтобы он, то есть, на дуэль согласие сделал — *вместо:* чтобы он, то есть, на дуэль согласия не делал (по смыслу).

С. 38, строки 8–9: хоть три тысячи могу заплатить — *вместо:* хотя три тысячи могу заплатить (по С).

С. 39, строки 15–16: простой, ничего политики не знал — *вместо:* просто, ничего политики не знал (по С).

С. 39–40, строки 45–1: Уж такой прѳстый барин — *вместо:* Уж такой простой барин (по А₁).

С. 40, строка 29: канане закусит — *вместо:* канане закусить (по С).

С. 42, строка 35: грех с ним случился — *вместо:* грех с ними случился (по А_{1,2}, С).

С. 44, строка 12: желтый в среднюю — *вместо:* желтый в середине (по А_{1,2}).

С. 44, строка 46: и хотел забыться — *вместо:* и не хотел забыться (по А₁, С).

Особо следует оговорить несколько исправлений в написании имен числительных. Как известно, в рукописях Толстого практически не встречаются обозначения числительных, выписанные словами, — почти всегда они даются цифрой. Это относится и к рукописям «Записок маркера», где маркер произносит ряд числительных применительно к деньгам, шарам, партиям и пр. В автографах в этих случаях — везде цифры. В печатных же текстах, начиная с журнала «Современник», затем сборника «Для легкого чтения» и др., и по сей день все числительные воспроизводятся словами, т.е. приводятся к абсолютно литературному, грамматически правильному виду, что противоречит самой фактуре образа рассказчика: безграмотный маркер безукоризненно четко, исключительно правильно выговаривает все числительные, безупречно склоняя и употребляя их в разных падежах: например, «по пятидесяти целковых партию играют», «не получить мне семисот рублей» и т.п. Во всех подобных случаях в текст рассказа, согласно авторской традиции, возвращены цифровые обозначения имен числительных.

«Записки маркера» были написаны в Пятигорске всего за четыре дня, с 13 по 16 сентября 1853 г. Слово «Записки» вместо зачеркнутого «Рассказ» появилось уже в первой рукописи: видимо, предполагалось — «Рассказ маркера». (Маркер — человек, прислуживающий при игре в бильярд.)

В рассказе отразилось состояние душевной тревоги и отчаяния, которые переживал Толстой в это время. В дневнике 13 сентября он отметил:

«Утром б<ыла> тоска страшная». И в тот же день далее: «Потом пришла мысль З<аписок> м<аркера>, удивительно хорошо. Писал, ходил смотреть Собр<ание> и опять писал З<аписки> м<аркера>. Мне кажется, что теперь только я пишу по вдохновению, от этого хорошо». Уже на следующий день рассказ вчерне был написан, в дневнике 14 сентября отмечено: «Окончил начерно и вечером написал лист набело. Пишу с таким увлечением, что мне тяжело даже: сердце замирает. С трепетом берусь за тетрадь».

Работа продолжалась еще два дня. В дневнике 15 сентября: «Утро писал, не обедал, гулял». И в тот же день вечером: «С 8 писал до 11. Хорошо, но слишком неправилен слог. Больше половины написано». Особенно трудно давалась предсмертная записка Нехлюдова (в черновой рукописи герой назван Козельским): автор переделывал ее несколько раз, тщательно отбирая и взвешивая последние мысли и слова героя. В первоначальной редакции Нехлюдов подробно анализировал то, что ему «Бог дал» и что он, Нехлюдов, сделал с этим природным даром. «Бог дал мне имя», — так начиналась записка, и далее шло горькое признание в том, что имя опозорено. «Бог дал мне богатство» — и раскаяние в разорении и продаже своих крестьян. «Бог дал мне теплую душу» — и сожаление об утрате «благородного чувства». «Бог дал мне ум» — и трагическое осознание «неизмеримой пропасти» между возможным и действительным. Мысль о самоубийстве являлась в первой редакции не столь необратимой, Нехлюдов, казался, колебался, словно пытался отступить. Самоанализ героя был более рационален и хладнокровен. Нехлюдова еще занимали суетные мысли о том, «что Петрушке скучно, что никто не играет нынче», он желал, чтобы его труп увидел Велтыков и ему стало больно. Наряду с этими упоминались в записке другие имена и люди, конкретные ситуации, эпизоды из жизни героя. Сама трагедия Нехлюдова в первой редакции предсмертного послания выглядела менее глубокой, хотя он не забыл написать, что у него из-за «моральных страданий» «седые волосы и чохотка».

В последующих редакциях предсмертной записки уже нет долгих и обстоятельных объяснений, что «Бог дал» и что сотворил Нехлюдов с этим Божьим даром. «Бог дал мне все, чего может желать человек: богатство, имя [красоту, молодость], свободу [ум], благородные стремления. Я хотел наслаждаться и затоптал в грязь все, что было во мне хорошего», — так начиналась записка в новой редакции. И дальше шли строки, продиктованные отчаянием и безвыходностью, но не в правильной последовательности и завершенности каждой отдельной мысли, а смятенные, нагроможденные и набегающие одна на другую, не вполне законченные и возвращающиеся к одному и тому же предмету. Записка получилась более лаконичной, автор старался уйти от конкретных фактов, находил точные и резкие слова для определения состояния своего героя: Нехлюдов признавался, что он низок, гадок, тщеславен, подл. Но и вторая редакция записки не удовлетворила Толстого: рукопись подверглась значительной правке; перемещая отдельные фразы и целые куски текста, автор создавал новую редакцию записки. Был вставлен большой фрагмент о попытке вырваться из привычной «грязной сферы», начать «опять ездить в свет», «вести франклиновский журнал пороков». Но и эта редакция не была окончательной. Снова правилась рукопись, был вычеркнут большой

кусок в самом ее начале, окончательно устранены упоминания о конкретных людях и фактах. Переписывая набело текст записки Нехлюдова, Толстой не мог удержаться, чтобы еще раз не поправить написанное: в результате на протяжении двух-трех дней было создано пять редакций этой части рассказа.

16 сентября работа была завершена и Толстой, довольный сделанным, отметил в дневнике: «Молодец я, работал славно. Кончил».

Многое в «Записках маркера» имело реальную основу и было взято автором из его собственной жизни. Еще 20 марта 1852 г., стараясь заглянуть в себя и размышляя, действительно ли он «стал гораздо лучше прежнего», Толстой записал в дневнике: «Сколько я мог изучить себя, мне кажется, что во мне преобладают три дурные страсти: игра, сладострастие и тщеславие. Я уже давно убедился в том, что добродетель, даже в высшей степени, есть отсутствие дурных страстей; поэтому, ежели действительно я уничтожил в себе хотя сколько-нибудь преобладающие страсти, я смело могу сказать, что я стал лучше». Далее Толстой анализировал «каждую из этих трех страстей». «Страсть к игре проистекает из страсти к деньгам, но большей частью (особенно те люди, которые больше проигрывают, чем выигрывают), раз начавши играть от нечего делать, из подражания и из желания выиграть, не имеют страсти к выигрышу, но получают новую страсть к самой игре — к ощущениям. Источник этой страсти, следовательно, в одной привычке; и средство уничтожить страсть — уничтожить привычку. Я так и сделал. Последний раз я играл в конце августа — следовательно, с лишком 6 мес<яцев>, и теперь не чувствую никакого позыва к игре. В Тифлисе я стал играть с [мошен<ником>] маркером на партии и проиграл ему что-то около 1000 партий; в эту минуту я мог бы проиграть всё. Следовательно, уже раз усвоив эту привычку, она легко может возобновиться; и поэтому, хотя я не чувствую желания играть, но я всегда должен избегать случая играть, что я и делаю, не чувствуя никакого лишения».

Не только в ситуации, но и с точки зрения душевного состояния героя рассказ автобиографичен: на его страницы выплеснулось то, что копилося в душе и долгое время мучило Толстого. «Записки маркера» появились в период, когда писатель работал над «Отрочеством». Не случайно один из персонажей повести и в окончательной редакции герой «Записок маркера» названы одним именем: Нехлюдов. Тяжелый разлад с миром переживал Толстой в это время. «Отчего никто не любит меня? — размышлял он на страницах дневника 18 июля 1853 г. — Я не дурак, не урод, не дурной человек, не невежда. Непостижимо. Или я не для этого круга?» Порой представлялось, что назначено ему в жизни что-то важное и значительное, но он так и не исполнил этого назначения. 28 июля запись в дневнике: «Без мес<яца> 25 лет, а еще ничего!» Строка подчеркнута — как упрек, как напоминание самому себе. Мучительное одиночество и недовольство собой, своей жизнью испытывал Толстой. «Жизнь с постоянным раскаянием — мука», — писал он в дневнике 10 сентября того же года. И еще через день: «Испытал весьма тяжелое чувство».

Работа над «Отрочеством» подвигалась медленно. Сам автор в письме к Некрасову признавался, что форма автобиографии, избранная им для своего сочинения, и «принужденная связь последующих частей с предыдущей» стесняют его. «Я часто чувствую желание бросить их и оставить

первую без продолжения», — писал он. Попытка вылить важное для автора содержание в новую форму и была сделана в «Записках маркера».

Некоторые автобиографические черты и детали особенно узнаваемы в черновых рукописях рассказа. В первой редакции у Козельского (будущего Нехлюдова) есть сестра, братья, тетка, а покойную «матушку» его звали «М.Н.» (мать Толстого — Мария Николаевна). Герой рассказа, как и сам Толстой, уже «отроком» «хорошо понимал священную обязанность помещика», но «передал» своих крестьян «Селезеву-тирану». Селезеву, тульскому помещику, продал Толстой свою деревню Малая Воротынка с 22 душами крестьян в 1851 г. В одной из черновых редакций предсмертной записки герой рассказа признавался, что он «пробовал распределение дня, как дельвал в старину», «пробовал снова вести франклиновский журнал пороков и каждый вечер рассматривать свои поступки и объяснять себе причины тех, которые были дурны», — то же самое делал Толстой с юношеских лет.

Эпизод, связанный с «посвящением» Нехлюдова, — тоже из жизни самого Толстого. По этому поводу Н.Н.Гусев в книге «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии» приводит слышанный им лично в 1911 г. рассказ близкого друга Толстого М.А.Шмидт о том, как однажды во время работы над «Воскресением» С.А.Толстая «резко напала» на мужа «за сцену соблазнения Катюши Нехлюдовым». «Толстой ничего не ответил на раздраженные нападки жены, — пишет Гусев, — а когда она вышла из комнаты, он, едва сдерживая рыдания, подступившие ему к горлу, обратился к М.А.Шмидт и тихо произнес: “Вот она нападает на меня, а когда меня братья в первый раз привели в публичный дом и я совершил этот акт, я потом стоял у кровати этой женщины и плакал”.

Этот рассказ Толстого, — считает Гусев, — дает полное основание полагать, что та сцена в «Записках маркера», где молодые люди уговаривают Нехлюдова поехать с ними туда, где он никогда не был, и, возвратившись, поздравляют его с «посвящением», а он в ответ на это говорит им: «Вам смешно, а мне грустно. Зачем я это сделал? И тебе, князь, и себе в жизнь свою этого не прощу», а потом заливается-плачет, — сцена эта, не касаясь деталей, несомненно имеет автобиографический характер» (Гусев, I, с. 168–169). Первая попытка дать такой эпизод в жизни героя была сделана в том же 1853 г. в незавершенном рассказе «Святочная ночь», и отдельные штрихи и моменты из этого неоконченного сочинения перешли в «Записки маркера». Более десяти лет спустя Толстой еще раз обратится к этому факту в черновиках «Войны и мира»: через «посвящение» должен был пройти юный Николай Ростов, служивший в Павлоградском гусарском полку, но сцены эти так и остались в рукописях, не дойдя до окончательного текста книги.

Отдельные имена и детали рассказа также были связаны с жизненными реалиями. Первоначальная фамилия главного героя — Козельский — очевидно восходит к названию уездного городка Козельска близ Оптинской пустыни. Фамилия князя Воротынцева, упоминавшегося камердинером Нехлюдова, происходила от названия деревни Малая Воротынка, которую Толстой продавал в 1849–51 гг., чтобы заплатить карточные и бирядные долги в Петербурге. Фамилия княгини Ртищевой взята из родовой истории Толстых и Волконских. В фамилии Оливер — явное созвучие с фамилией дивизионного начальника Толстого на Кавказе штабс-

капитана Олифера, которого в одной из дневниковых записей (3 декабря 1853 г.) Толстой назвал «в высшей степени антипорядочным человеком».

Посылая только что оконченный рассказ Некрасову в «Современник», Толстой, возмущенный цензурным произволом, испортившим ранние его вещи, опубликованные в журнале, в сопроводительном письме 17 сентября 1853 г. писал: «Посылаю небольшую статью для напечатания в вашем журнале. Я дорожу ею более, чем *Детством* и *Набегом*, поэтому в третий раз повторяю условие, которое я полагаю для напечатания,— оставление ее в совершенно том виде, в котором она есть. В последнем письме вашем вы обещали мне сообразоваться с моими желаниями в этом отношении. Ежели бы цензура сделала снова вырезки, то, ради Бога, возвратите мне статью или, по крайней мере, напишите мне прежде печатания». Автор предоставлял Некрасову право самому выбрать название рассказа, хотя посланная рукопись определенно названа: «Записки маркера». «Напечатать эту статью под заглавием, выставленным в начале тетради, или: *Самоубийца. Рассказ маркера* — будет зависеть совершенно от вашего произвола», — писал Толстой и далее пояснял, что в рукописи знаки «(НС), поставленные над строкой, означают новую строку». «В ожидании вашего ответа и суда об посылаемой вещи, имею честь быть, с совершенным уважением ваш покорнейший слуга. Граф Л.Толстой», — заканчивал письмо редактору автор «Записок маркера».

Непривычная торопливость в работе над рассказом и спешная отправка его в Петербург скоро обернулись для Толстого чувством некоторого сожаления: «Я начинаю жалеть, что слишком поспешно послал Зап<иски> мар<кера>. По содержанию едва ли я много бы нашел изменить или прибавить в них. Но форма не совсем тщательно отделана», — признавался он в дневнике 25 октября 1853 г.

Из Петербурга долго не было ответа, но в сообщении Панаева и Некрасова «Об издании “Современника” в 1854 году» (этим сообщением открывались №№ 11 и 12 «Современника» 1853 г., страницы без нумерации) Толстой 16 декабря прочитал, что «“Рассказ маркера”, повесть Л.Н.» предполагалось напечатать в первом полугодии 1854 г.; причем имя молодого писателя упоминалось в числе имен известных литераторов. Это обрадовало автора и «возбудило» охоту к литературной работе.

Слух о новом рассказе Толстого, вероятно, через Тургенева, знакомого с М.Н. и В.П.Толстыми, дошел и до Ясной Поляны. «Какого ты там сварганил “Самоубийцу”?» И так скоро? — спрашивал брата в конце ноября из Покровского, имения М.Н.Толстой, Н.Н.Толстой, вышедший к тому времени в отставку и живший у сестры. — Это на тебя не похоже. Я, признаюсь, лучше бы желал, чтоб ты издал свое “Отрочество” или что-нибудь из тех вещей, над которыми ты больше трудился. Напиши, пожалуйста, как тебе пришла эта идея, и почему ты так скоро ее привел в исполнение, и почему ты предпочел послать это, а не другие твои сочинения. Сережа ужасно интересуется и твоим “Самоубийцей”, и твоим авторством. Он засыпал нас вопросами, и меня, и Машу, и Валериана» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 152–153).

От Некрасова не было никаких известий. Раздосадованный продолжительным молчанием «Современника», Толстой вечером 13 января 1854 г. написал дерзкое письмо редактору и на следующий день послал

его (письмо не сохранилось). Некрасов отвечал Толстому в тот же день, как получил письмо, 6 февраля, оправдываясь, что послал ответ «довольно скоро по получении рукописи (“Записки маркера”)), но по старому адресу на имя Н.Н.Толстого. «Там я излагал и мнение мое об этой вещи, — писал редактор “Современника”, — спрашивал Вас в заключение — печатать ли все-таки эту вещь, или Вы соглашаетесь на мои замечания? Итак, приходится мне теперь повторить эти замечания. “Зап<иски> марк<ера>” очень хороши по мысли и очень слабы по выполнению; этому виной избранная Вами форма; язык Вашего маркера не имеет ничего характерного — это есть рутинный язык, тысячу раз употреблявшийся в наших повестях, когда автор выводит лицо из простого звания; избрав эту форму, Вы без всякой нужды только стеснили себя: рассказ вышел груб, и лучшие вещи в нем пропали. Извините, я тороплюсь и не выбирал выражений, но вот сущность моего мнения об этом рассказе; это я считал долгом сообщить Вам, прежде чем печатать рассказ, так как я считаю себя обязанным Вам откровенностью за то лестное доверие, которым Вы меня удостоили. Притом Ваши первые произведения слишком много обещали, чтобы после того напечатать вещь сколько-нибудь сомнительную. Однако ж я долгом считаю прибавить, что, если Вы все-таки желаете, я напечатаю эту вещь немедленно, мы печатаем много вещей и слабее этой, и если я ждал с этою, то потому только, что ждал Вашего ответа. Жду его и теперь и надеюсь получить скоро вместе с “Отрочеством”...» (Некрасов, т. 14, кн. 1, с. 185–186).

Через неделю, 13 февраля, Толстой записал в дневнике: «Получил письмо от Некр<асова>, он недоволен р<ассказом>». Чтó Толстой ответил Некрасову — неизвестно, но «Записки маркера» еще долго не появлялись на страницах журнала. 25 июля 1854 г. С.Н.Толстой писал брату: «Жду с нетерпением появления в “Современнике” твоих статей, особенно “Записок маркера”, которых не читал» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 169).

Затянувшаяся история с печатанием «Записок маркера», возможно, объяснялась и нечеткой работой почты, и отъездом Толстого с Кавказа в Ясную Поляну, а затем в Дунайскую армию. «Или мои, или Ваши письма, или те и другие — не доходят, — сетовал Толстой в письме Некрасову уже из-под Симферополя, из селения Эски-Орда, 19 декабря 1854 г., — иначе я не могу объяснить себе вашего шестимесячного молчания; а между тем мне бы очень многое было интересно знать от вас. “Современника” тоже с августа я не получаю. Напечатаны ли и когда будут напечатаны *Рассказ маркера* и *Отрочество* и почему не получаю я “Современника”? <...> Мне особенно хотелось бы теперь успокоиться насчет этих двух вещей — то есть прочесть их в печати и забыть — для того, чтобы заняться отделкой новых вещей, которые надеюсь поместить в вашем журнале и для которых у меня матерьялов гибель».

Как раз в эти последние дни 1854 г. «Записки маркера» были готовы к печати. И.С.Тургенев 22 декабря оповещал из Петербурга М.Н. и В.П.Толстых: «“Рассказ маркера” — набран и, может быть, будет напечатан в “Современнике”, если цензура позволит. Сообщайте мне, пожалуйста, известия о Льве Николаевиче... Я его ношу в сердце — так же как и всех вас». (*Тургенев. Письма*, т. 2, с. 320).

Вместе с другими материалами очередной книжки «Современника»

цензура «позволила» рассказ Толстого к печати 31 декабря 1854 г., а 12 января 1855 г. Санкт-Петербургским цензурным комитетом был выдан билет на выход журнала в свет. Рассказ «Записки маркера» появился в печати с подписью «Л.Н.Т.». Некрасов писал Толстому 17 января 1855 г. по поводу вышедшего рассказа: «В 1 № “Современника” на 1855 год поместил я Ваш рассказ “Записки маркера”, в котором, кажется, я ошибался, в первом чтении он мне не понравился, о чем я и Вам писал, но, прочитав его недавно, спустя почти год, я нашел, что он очень хорош и в том виде, как написан, по крайней мере, был хорош в рукописи, потому что в печати и его-таки оборвали,— впрочем, существенного ничего не тронут. Надо еще заметить, что наш цензор — самый лучший. Что скажут об “Записках маркера”, я Вам напишу...» (*Некрасов*, т. 14, кн. 1, с. 199).

«Самый лучший» цензор, В.Н.Бекетов, статский советник, родственник председателя Петербургского цензурного комитета М.Н.Мусина-Пушкина, стал цензором «Современника» с 1 августа 1853 г. «Присылай, если что-нибудь есть, в “Современник”, — писал Панаев Тургеневу 22 сентября, — теперь, скажу по секрету, — у меня цензор отличный, умный и благородный. Это может оживить журнал» (*Тургенев и круг «Современника»*, с. 30). Цензор Бекетов в самом деле относительно «пощадил» рассказ Толстого. Наборная рукопись «Записок маркера» не сохранилась, но автографы рассказа позволяют предположить, что были устранены или заменены, видимо, грубоватые фразы и слова маркера, упоминания о дуэли, пьянстве, ругани и рукоприкладстве, о том, что барин «мужичков разорил»¹. Правда, записка Нехлюдова была отредактирована с особенным пристрастием.

22 января газета «Северная пчела» (№ 17) в отделе «Библиографических известий» опубликовала объявление редакции журнала «Современник» о том, что «вышла и раздается гг. подписавшимся первая книжка “Современника” на 1855 год, издаваемого И.Панаевым и Н.Некрасовым». В «Содержании» номера в отделе «Словесность» среди прочих произведений были названы «“Записки маркера”». Рассказ Л.Н.Т.». 9 февраля «Северная пчела» (№ 29) еще раз упомянула «Записки маркера»: в объявлении о выходе в свет второй книжки «Современника» приводилось и содержание январского номера, где первой строкой назван был «рассказ Л.Н.Т.».

Едва появился в свет январский номер «Современника», его уже тщательно исследовал чиновник особых поручений надворный советник Н.Родзянко. (Еще в 1848 г. был издан циркуляр «о назначении чиновников особого поручения при Главном управлении цензуры для чтения всего, что выходило из печати в России, и наблюдений таким образом как за направлением литературы, так и за действием цензоров». — Щербальский П.К. Исторические сведения о цензуре в России. СПб., 1862, с. 54–55.) В рапорте министру народного просвещения А.С.Норову 10 февраля

¹ «По всей вероятности, поправки эти сделаны не цензурою, а редактором журнала», — предполагал М.О.Гершензон, упоминая о «цензурных обрезках нашей литературы» (Гершензон М.О. Литературное обозрение. — «Научное слово», 1905, кн. 2, с. 124).

1855 г. Родзянко доносил, что в первом номере журнала «Современник» «напечатан неблаговидный рассказ под заглавием *“Записки маркера”*». Далее чиновник особых поручений излагал содержание рассказа, как он его понимал: «Маркер делает колкие замечания о разных обычных посетителях одного из петербургских трактиров, в котором он служит. Посетители эти — какой-то Князь и товарищи его, которых маркер, в своих записках, представляет в унижительном и неприличном звании их виде. В круг их попадает Нехлюдов¹, молодой человек, добрую нравственность которого скоро испортили эти новые трактирные знакомцы его. Сначала между ним и одним из сих последних возникла в трактире ссора, едва не дошедшая до драки и кончившаяся, судя по смыслу рассказа, тем, что Нехлюдов убил на дуэли своего соперника. Потом князь и другие всячески развращают Нехлюдова...». Пересказав до конца «Записки маркера», Родзянко в итоге делал вывод: «*Цель автора нельзя назвать иначе как благонамеренною*: без сомнения, этим язвительным рассказом, написанным с замечательным дарованием, он хотел представить в поразительном виде печальную картину, в предостережение и назидание для читателей, разврата и гибели, до которых может довести праздная, гулевая, особенно трактирная жизнь в Петербурге. Несмотря, однако же, на такую нравственную цель и даже, может быть, на самую нравственную истину этого рассказа, в нем заключается так много неприличных суждений и язвений, отмеченных мною на стр. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и составляющих большую половину всего рассказа, что сей последний, как по содержанию, так и по изложению, представляется мне напечатанным в противность ценсурных правил, на том основании, что в отмеченных мною местах, более или менее, нарушается нравственное приличие. Особенно неблаговидно еще то, что этот рассказ выходит из пера трактирного слуги о дворянах, в числе которых главное лицо, по праву его происхождения и состояния, представлено принадлежащим к высшему петербургскому обществу, с придачею ему фамилии, пользующейся в этом обществе известностию и уважением». Реакция министра на рапорт Родзянко была спокойной: на полях карандашом А.С.Норов написал о толстовском рассказе: «Был уж в виду, и признан безвредным». Здесь же рядом резолюция еще одного министерского чиновника: «Министр приказал: оставить без последствий. 17 марта 1855 г.» (РГИА, ф. 772, оп. 1, д. 3491, л. 5–6).

Полтора года спустя «Записки маркера» были напечатаны в сборнике «Для легкого чтения», издававшемся Н.А.Некрасовым и А.И.Давыдовым. Для этой книги Толстой, видимо, подготовил и передал рассказ еще в мае 1856 г., перед отъездом в Ясную Поляну: 18 мая книга, включавшая «Записки маркера», поступила в цензурный комитет и 22 мая была одобрена цензурой. «Ведомость о рассмотренных С.-Петербургским цензурным комитетом рукописях и печатных книгах в течение мая месяца 1856 года» зафиксировала, что это были «печ<атные> листы» (РГИА, ф. 772, оп. 1, д. 3808, л. 129 об.); следовательно, новый текст «Записок маркера»

¹ Здесь Родзянко сделал поясняющую сноску: «Нехлюдов у нас довольно известная фамилия, члены которой, сколько мне известно, принадлежат к высшему петербургскому обществу. В рассказе только вместо К поставлено Х».

представлял собой правленные автором оттиски журнального варианта «Современника».

Ни в дневнике, ни в письмах Толстого эта работа над рассказом не упоминается, но она имела место: новый текст стал более полным и значительно отличается от первопечатного. Появились строки и целые абзацы, которых не было в журнале. Так, требование Нехлюдова об «удовлетворении» (во время ссоры с «гостем большим») продолжилось пояснением маркера: «т.е. дуэль хотел с ним иметь. Известно, господа: уж у них такое заведение... нельзя!.. Ну, одно слово, господа!» Обращение Нехлюдова к князю в «Современнике» обрывалось на полуслове: «Поди,— говорит,— ради Бога». Теперь текст стал более понятным: «Поди,— говорит,— ради Бога, уговори его, чтобы он, то есть, на дуэль согласие сделал. Он,— говорит,— пьян был: может, он опомнится. Нельзя,— говорит,— этому так кончиться». «Гость большой» прежде признавался, что «ничего не боится» и не желал «с мальчишкой объясняться» — в новой редакции он заявляет, что «и на дуэли, и на войне дрался», и не собирается «с мальчишкой драться». В сборнике князь и «усатый барин», собираясь «просветить» Нехлюдова, заставляют его «выпить для куражу» и сами пьют «бутылку шампанского». «Выпили, повезли молодчика», — заключал маркер эту маленькую сценку, вместо которой в журнальном тексте было всего два слова: «Поедем. Поехали». Вернувшийся после «просвещения» Нехлюдов «на себя не похож: глаза посоловели ~ его и сшибло» — этого портрета не было в «Современнике», так же как и следующее: «придет взъерошенный, сюртук в пуху, в мелу, руки грязные» — его заменяла короткая фраза: «придет на себя не похож». Появились в новом тексте рассказа дополнительные сведения о *Федотке*, что «из чиновников или отставных каких он был», что «уж его и ругали-то, и бил <...> гость большой, и на дуэль вызывал...».

Некоторые изменения внес Толстой в рассказ камердинера Нехлюдова. В «Современнике» дважды шла речь о том, что барин «имение разорил» — в сборнике: «мужичков разорил». «Хоть всё пропадай» — было в журнале; «хоть с голоду все помирай» — стало в 1856 г. Появились новое замечание камердинера об управляющем, что тот «дерет с мужика последнюю шкуру, да и шабаш», и короткая реплика маркера: «Такой старик смешной». Заключительная сентенция рассказчика перед текстом записки в «Современнике» была социально нейтральной: «Подлинно уж чего не делается на свете!» — в сборнике «Для легкого чтения» восклицание маркера изменено: «Уж чего не делают господа!.. Сказано, господа... Одно слово — господа».

Наиболее значительные дополнения были сделаны в записке Нехлюдова: она стала в два раза больше журнального варианта. Дописаны фрагменты: «Мне легче бы было ~ и не могу подняться»; «Меня оскорбили — я вызвал на дуэль ~ когда еще не знал женщин!»; «Но и в этом отношении ~ представляются моему уму».

Журнал «Современник» (1856, № 8) в отделе «Библиография» (с. 38), представляя содержание второй книжки «Для легкого чтения», сообщал, что некоторые из произведений, хотя уже и знакомы читателям, ныне «являются в “Легком чтении” в новом виде». Это «особенно должно заметить» о рассказе Тургенева и о «Записках маркера» графа Толстого, где появились «несколько новых прекрасных сцен и оттого они теперь произ-

водят впечатление более полное и цельное». «Сын отечества», уведомляя читателей о выходе в свет второй книжки «Для легкого чтения» и перечисляя содержащиеся в ней сочинения, называл и «живой, бойкий рассказ гр. Л.Н.Толстого — “Записки маркера”» («Сын отечества», 1856, № 18, 5 августа, с. 130). О новом сборнике оповещал читающую публику в «Санкт-Петербургских ведомостях» издатель и книгопродавец А.И.Давыдов; в его объявлении, напечатанном 19 августа (№ 184, с. 1013), сообщалось о поступлении в продажу двух томов «Для легкого чтения»: «При этом издатель поставляет еще на вид публике,— подчеркивал Давыдов,— что хотя “Легкое чтение” наполняется большею частью произведениями, уже однажды напечатанными, но произведения эти часто являются в его издании в исправленном и дополненном авторами виде»; как конкретный пример упоминалась «повесть гр. Л.Н.Толстого “Записки маркера”».

При жизни Толстого «Записки маркера» печатались во всех собраниях его сочинений, как ни странно, по тексту журнала «Современник».

М.О.Гершензон в 1905 г. отмечал, что текст рассказа, напечатанный в «Современнике», а затем и во всех собраниях сочинений Толстого, «искажен, явно — по цензурным соображениям; подлинный же и полный текст надо искать в другом месте, в книге, теперь давно забытой» (имелся в виду второй выпуск сборника «Для легкого чтения»). Критик приводил разночтения в «Современнике» и тексте 1856 г. и добавлял: «Все это, конечно, мелочи; гораздо важнее то искажение, которому подвергся в “Современнике”, и доньше подвергается, конец рассказа. <...> Исповедь <Нехлюдова> до сих пор печатается с такими пропусками, которые значительно искажают ее смысл. Пропущенные места в “Современнике”, а вслед за ним и в собр. сочинений заменены многоточиями или знаком —.—; они составляют в совокупности около половины всего письма. Исповедь эта по глубокой ее художественной проникновенности принадлежит, я думаю, к числу замечательнейших страниц, какие написал гр. Толстой». Гершензон приводил эту «исповедь» «вполне, без пропусков, как она напечатана в альманахе», и выражал надежду, «что издатели, очевидно, забывшие об этой подлинной и полной редакции “Записок маркера”, в дальнейших изданиях сочинений гр. Толстого будут воспроизводить уже текст не “Современника” 1855 года, а альманаха 1856-го» (Гершензон М.О. Литературное обозрение.— «Научное слово», 1905, кн. 2, с. 125–126).

Лишь в 12-м издании (том вышел в 1911 г.) С.А.Толстая решила опубликовать более полный текст рассказа по изданию 1856 г., внося и небольшие (несколько строк) дополнения по сохранившимся рукописям¹.

Первые отклики на публикацию «Записок маркера» в «Современнике» появились в прессе в феврале 1855 г., но дошли до автора лишь в конце марта. 27 марта в дневнике Толстой записал: «Приятнее же всего было мне прочесть отзывы журналов о 3<аписках> м<аркера>, отзывы самые лестные. Радостно и полезно тем, что, поджигая к самолюбию, по-

¹ В Юб. издании (т. 3, с. 100–117) «Записки маркера» напечатаны по сб. «Для легкого чтения» с пятью поправками по рукописям и «Современнику» (подготовка текста С.Л.Толстого).

буждает к деятельности». Письма Некрасова с похвалами рассказу и таланту тоже были приятны: «...не принимался еще отвечать на милые письма 2 Некрасова», — в тот же день отметил Толстой. «Милые письма» — первое от 17 января, где Некрасов хвалил опубликованное в № 10 за 1854 год «Отрочество», появившиеся теперь «Записки маркера» и наставлял: «Да пишете побольше — нас всех очень интересует Ваш талант, которого у Вас много»; и второе — от 27 января с еще более лестными словами для молодого писателя: «...вкусу и таланту Вашему верю больше, чем своему...» (Некрасов, т. 14, кн. 1, с. 199, 201).

Отзывы журналов о «Записках маркера», так тронувшие Толстого, — это, по-видимому, заметки о рассказе в февральских номерах журналов «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки». Соглашаясь с характеристикой таланта Толстого и отличительных черт его произведений, данной П.В.Анненковым в статье «О мысли в произведениях изящной словесности (заметки по поводу последних произведений гг. Тургенева и Л.Н.Т.)», опубликованной в журнале «Современник» в том же номере, что и «Записки маркера»¹, рецензент «Библиотеки для чтения» тем не менее писал о новом рассказе Л.Н.Т.: «В “Записках маркера” нас остановило на минуту заглавие — и действительно, из самого рассказа видно, что маркер едва ли мог вести записки. Впрочем, дело не в заглавии, может быть, даже случайном. Дело в том, что коротенький рассказ г. Л.Н.Т. вполне подтверждает все положения г. П.А-ва, и, кажется, большей ему похвалы не придумашь». Критик (статья не подписана) называл «Записки маркера» «лучшей страницей “Современника”» («Библиотека для чтения», 1855, № 2, отд. VI «Литературная летопись», с. 43–44).

Еще более восторженный отзыв появился в «Отечественных записках» (без подписи). «Небольшой рассказ Л.Н.Т. “Записки маркера” <...> проникнут жизнью и правдою. Тонкая наблюдательность, художническое умение видны в построении рассказа, в том взгляде, с каким маркер смотрит на постепенное разращение и разорение юноши, явившегося в бильярдную комнату ресторана столь благородным и прекрасным. Характеры Нехлюдова (погибающего юноши) и его приятелей, героев бильярдной, очерчены прекрасно. И как превосходно все это рассказано!» Далее автор приводил фрагмент из «Записок маркера», где идет речь о падении (совращении) Нехлюдова, и восклицал: «Сколько правды, наблюдательности, таланта в этой сцене! Если г. Л.Н.Т. будет продолжать так, как начал, то русская литература приобретет в нем писателя с дарованием истинно замечательным. Да и теперь мы вправе желать не того, чтоб он писал лучше, а только того, чтоб он писал больше. Он обязан пользоваться

¹ В статье П.В.А-ва (так подписана статья) отмечались «строгость психического наблюдения, полнота выражения в лицах и предметах, замечательная деятельность мысли, отсутствие противуэстетического смещения целей», характерные для Л.Н.Т.; критик писал также, что каждое произведение Л.Н.Т. имеет «существенные качества исследования, не имея ни малейших внешних признаков его и оставаясь, по преимуществу, произведением изящной словесности». В таланте молодого писателя П.В.А-ва находил редкую логическую последовательность, верность своим идеям и убежденность «в единстве мысли и поступка». Критик причислял Л.Н.Т. «к лучшим нашим рассказчикам» («Современник», 1855, № 1, отд. «Критика», с. 22–26).

ся талантом, которым одарен» («Отечественные записки», 1855, № 2, «Журналистика», с. 119–120).

28 февраля 1855 г., давая в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (№ 45, с. 215) обзор первых номеров литературных журналов за 1855 год, не назвавший себя критик значительное место уделил новому рассказу Толстого. «Лучшею повестью в первых двух номерах “Современника” называла газета «Записки маркера», «маленький рассказ г. Л.Н.Т., который <...> успел уже занять очень заметное место между нашими беллетристами и возбуждает большие надежды своим прекрасным талантом. Некоторые находят, что мысль заставить маркера вести записки — неправдоподобна, — словно отвечал критик на замечание «Библиотеки для чтения»; — но дело не в заглавии. Если угодно, его можно было бы заменить другим, например “Рассказ маркера”, из “Воспоминаний маркера” и т.д. Дело в том, что маркер рассказывает удивительно хорошо, ни одним словом не изменяя своим понятиям и своему языку; дело в том, что все сцены и разговоры небольшой повести ведены превосходно». И далее автор обзора коротко излагал ситуацию, в которой оказался герой рассказа: «Молодой человек, почти мальчик, благородный и чистый, малопомалу увлекается привычками трактирного общества, в которое, по несчастию, попал. Сначала по прелести новизны, по неопытности разделяет он некоторые из забав бильярдной комнаты; потом спускается ниже и ниже; наконец, проигравшись, ослабев духом, не имея ни одного человека, который поддержал бы его нерешительные усилия вырваться из веселого кружка, он считает себя потерявшим всякую возможность остановиться на пути падения, а ужаснувшись бездны стыда, в которую неудержимо стремится его привычка, берется за пистолет, чтобы избавиться от нравственных мучений».

Откликнулся на новый рассказ Толстого и журнал «Пантеон», хотя оценка была довольно сдержанной и даже «прохладной». Критик (статья без подписи) обращал особое внимание на язык «Записок маркера», весьма недоверчиво относясь к содержанию рассказа и характеру главного героя: «“Записки маркера”, рассказ Л.Н.Т., замечательны по чрезвычайной простоте языка и совершенной безыскусственности выражений. Содержание рассказа незамысловато и кажется нам даже не совсем вероятным. Один молодой человек, богатый, из хорошей фамилии, поведется ходить в трактир, собьется с круга, проиграется и потом застрелится. Нам что-то не верится, чтоб игра в бильярд могла увлечь до такой степени порядочного человека, чтобы он проводил целые вечера, играя с маркером и проигрывая ему сто восемьдесят рублей. Главное достоинство рассказа заключается только в его языке» («Пантеон», 1855, № 2, отд. IV, с. 22).

Холодную сдержанность «Пантеона» в оценке «Записок маркера» разделял журнал «Москвитянин» (1855, № 15–16, кн. 1–2). Ап. Григорьев, литературный критик «Москвитянина», откровенно признавался, что удивился «поспешности, с которой критика “Современника” и “Записок” <“Отечественных записок”> придала большое значение этому писателю», причем, как писал Григорьев, «поспешность соединялась тут с неловкостью: выписывались и хвалились такие места, хоть бы, например, из “Записок маркера”, которые совершенно ничтожны» (с. 22).

«Санкт-Петербургские ведомости» в очередном обзоре журналов по-

вторили высокую оценку «Записок маркера», заметив, что они «займут всегда почетное место в нашей литературе» (1855, 8 апреля, № 75, с. 365), а позднее анонимный критик, оспаривая отношение Ап. Григорьева ко многим произведениям современной литературы, и в частности к «Запискам маркера», восклицал: «Между всеми этими отзывами сверкает кое-где и истина, но как поглощается она непониманием дела!» (1855, 12 ноября, № 249, с. 1321). Эта же газета 11 ноября 1855 г. в отделе «Библиографические известия» опубликовала краткий отчет редакторов «Современника» о том, как «исполняла редакция свое дело в 1855 году»: среди произведений, вышедших в журнале в течение года, в первом ряду были названы «Записки маркера», рассказ Л. Н. Т.» (№ 248, с. 1317–1318). В начале 1856 года, 26 января, «Санкт-Петербургские ведомости» напечатали фельетон своего литературного критика Вл. Зотова с обзором русских журналов за прошедший год. Сравнивая военные рассказы Толстого и «Записки маркера», рецензент признавал, что «несколько слабее, не по исполнению, но по содержанию», этот рассказ, «цель которого остается темною для читателей». Все остальное, опубликованное «Современником» в 1855 году, представлялось Вл. Зотову весьма посредственным (№ 21, с. 111–114).

Оглядываясь на ушедший год, журнал «Пантеон» в обзоре «Русская литература в 1855 году» не мог не упомянуть «Записки маркера» («Пантеон», 1856, т. XXV, кн. 2. «Петербургский вестник», с. 21). Из 23 повестей и рассказов, помещенных в «Современнике» в 1855 г., «шесть останутся в литературе,— считал автор обзора.— Это — три рассказа графа Толстого: “Ночь весною в Севастополе”, “Рубка леса” и “Записки маркера”; повесть г. Тургенева “Постоялый двор” и его же комедия “Месяц в деревне” и повесть г. Писемского “Виновата ли она?” — Из этих произведений “Записки маркера” и “Месяц в деревне” слабее других четырех, оставляющих самое полное и глубокое впечатление».

Новую волну критических оценок вызвало второе издание рассказа в 1856 г. в сборнике «Для легкого чтения». Отмечая удачный подбор произведений в двух выпусках сборника, «приноровленный к требованиям самых разнообразных читателей», критик «Русского инвалида» Я. Т. <урунов> язвительно замечал: «...иной пропустит без внимания милую “Полиньку Сакс” г. Дружинина и весь погрузится в “Записки маркера”, а другой будет того мнения, что этим “Запискам” не следовало бы являться в печати» («Русский инвалид», 1856, 4 сентября, № 193, с. 826).

Сочувственно отнеслась к новому изданию и к рассказу Толстого «Библиотека для чтения». Рецензия Е. Я. Колбасина¹ не скупилась на похвалы и «чистосердечные» добрые пожелания автору, однако были высказаны и осторожные замечания по поводу «Записок маркера». В целом рецензент называл этот рассказ в числе «капитальных статей» сборника, «в свое время замеченных русскою публикою». Говоря о таланте Толстого, «оригинальном и самобытном», Колбасин писал: «По своему спокойному стилю, ровному, твердому без грубости и шероховатости, он имеет полное право на титул прекрасного оригинального писателя». «Отличительное свойство» таланта Толстого рецензент видел в том, «что он ни

¹ В журнале не назван автор рецензии, и ее приписывали А. В. Дружинину.

возвышает, ни понижает без очевидной надобности своего тона и описываемое им лицо, как доброе колесо, расходитя мало-помалу, медленно, как живой человек, которого чем больше узнаешь, тем более он уясняется». Но «одна вещь», по мнению критика, изменила несколько автору, именно его «Записки маркера». «Стеснительная ли форма рассказа говорить от лица трактирного слуги или другое обстоятельство, но только глубоко драматическая мысль рассказа, представляющая постепенное падение и опошление одного юноши,— развита бледновато. Хотя в конце рассказа и выстрел раздается, но этот выстрел не заставляет вздрогнуть всем телом читателя, оттого что автор не успел художнически подготовить его к этому роковому выстрелу, и выстрел вышел далеко не потрясающ, а из «Записок маркера» — вышел недурной рассказ с выстрелом в конце». И далее Колбасин в качестве сравнения напоминал «глубокий драматизм» гоголевской повести, «когда бедный Пискарев перерезывает себе горло, как страшна и ужасна эта бритва, какое смятение она возбуждает в зрителе!» («Библиотека для чтения», 1856, № 9–10, отд. «Литературная летопись», с. 22–24). Эта рецензия была последним всплеском интереса критики к «Запискам маркера»: более ни одна критическая статья подробно и внимательно не рассматривала этот рассказ, хотя так или иначе некоторые критики касались его в своих статьях о Толстом.

Не обошел вниманием рассказ Толстого и Н.Г.Чернышевский в статье о «Детстве и отрочестве» и «Военных рассказах». В «Записках маркера» он видел «страшную нравственную драму» и, говоря о «непорочности нравственного чувства» писателя, в качестве аргумента приводил и этот рассказ, считая, что «историю падения души, созданной с благородным направлением, мог так поразительно и верно задумать и исполнить только талант, сохранивший первобытную чистоту» («Современник», 1856, № 12, отд. III «Критика», с. 60–61). В январской книжке «Современника» 1857 г. в «Заметках о журналах» Чернышевский вновь упомянул «Записки маркера», заметив, что это «глубоко драматический рассказ о том, как совершается нравственное падение натуры благородной и сильной» (№ 1, отд. V, с. 167).

С «Записками маркера» были связаны воспоминания Толстого об одной из первых встреч с Чернышевским. Об этом он рассказывал в 1905 г.: «Однажды пришел ко мне и начал говорить самоуверенно, что “Записки маркера” — лучшее мое произведение, что в искусстве нужна идея...» (Записи П.А.Сергеенко. Запись 10 сентября 1905 г.— ЛН, т. 37–38, с. 560). Тогда же, в 1905 г., рассказ Толстого об этом визите Чернышевского записал П.И.Бирюков: «Лев Николаевич помнит одно из немногих сношений своих с Чернышевским. Раз в Петербурге он готовился куда-то уезжать. Льву Николаевичу доложили, что его желает видеть господин Чернышевский. После приглашения, в комнату вошел человек с робким видом, который, сев на предложенный ему стул, сильно стесняясь, стал говорить о том, что вот у Льва Николаевича есть талант, умение, но что он не знает, что нужно писать, что вот такая вещь, как “Записки маркера”, это очень хорошо, надо продолжать писать в этом духе, т.е. обличительно. Воодушевляясь более и более, он прочел Льву Николаевичу целую лекцию об искусстве и затем удалился, и больше они уже не видались» (цит. по кн.: Гусев, II, с. 134. В архиве Гусева рукопись П.И.Бирю-

кова не обнаружена). В тот же день, 11 января 1857 г., Толстой записал в дневнике: «...пришел Чернышевский, умен и горяч».

Довольно холодно отнесся к «Запискам маркера» К.С.Аксаков. В № 1 «Русской беседы» за 1857 г. он писал о Толстом как об одном из самых молодых, но уже «заметных между другими писателями». Называя ряд лучших повестей и рассказов, где «талант его очевиден», Аксаков считал «Записки маркера» и повесть «Два гусара» «слабее других». «Вообще рассказы гр. Толстого изобилуют излишними подробностями; глаз автора разбирает по частям ему представляющийся предмет, так что теряется общая линия, их связующая в одно целое; описание, освещая ярко какой-нибудь волосок на бороде, производит разлад в целом образе, и в воображении читателя неприятно торчит какая-нибудь частица, которую автор облил ярким светом». Аксаков выражал надежду, что Толстой «освободится от этой мелочности» и «микроскопичности взгляда и талант его окрепнет и созреет» (с. 33–35).

Газета «Северная пчела» 1 мая 1857 г. (№ 93) опубликовала статью «О критическом воззрении новой редакции “Библиотеки для чтения”» (Письмо к Н.И.Гречу) за подписью *Ростислав*, где упоминался рассказ «Записки маркера». Поддерживая «артистическую теорию» А.В.Дружинина, автор говорил о пробуждении в обществе «благотворной реакции» на произведения «чистого идеального искусства», интереса «к возвышенным предметам». Противник «натуральной школы», он полагал, что «прелестная муза» не должна становиться «в уровень с пошлостями жизни» и забывать «свое божественное происхождение». Упомянув некоторые произведения Толстого, критик считал, что «даже в “Записках маркера” элемент идеальный далеко преобладает» «над грубым реализмом» (с. 437–439).

С годами все реже современники вспоминали «Записки маркера», да и то более с негативной оценкой. Живший в Нижнем Новгороде Т.Г.Шевченко 30 сентября 1857 г. в своем дневнике записал: «Придя на квартиру, на сон грядущий, прочитал “Рассказ маркера” графа Толстого. Поддельная простота этого рассказа слишком очевидна» (Шевченко Т.Г. Собр. соч.: В 5 т. М., 1949, т. 5, с. 182).

Спустя два года «к неудавшимся произведениям автора» отнесли «Записки маркера» Б.Алмазов («Утро». Литературный сборник. М., 1859, с. 77) и Ап.Григорьев («Русское слово», 1859, № 2, с. 138). Тот же Ап.Григорьев через несколько лет в статье «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л.Толстой и его сочинения» («Время», 1862, № 9, отд. II, с. 1–17) в ряду других произведений Толстого внимательнее взглянул и на «Записки маркера» и увидел в этом рассказе «попытки» «создания самостоятельных типов», «воплощения в образы того, что добыто <...> посредством анализа», правда, «попытки, хотя и удивительные, но несколько голые, догматические». По мнению Григорьева, «образ, преследующий художника во все продолжение его деятельности» (например, Нехлюдов), как бы «раздвояется»: «Нехлюдов — крайняя грань цельного психического процесса и мало того, — жизненное последствие той особенной обстановки так называемого аристократического мирка, в которой он заключен, как в раковине...». Но тем не менее автор статьи делал вывод, что сам «психический процесс не раздвояется, а только доходит до своих крайних граней». Одна из этих граней

близка «какому-то пантеистическому отчаянию», и Толстой доходит «в иные минуты до отчаяния анализа»; в качестве примера критик приводил Нехлюдова из «Записок маркера».

В 1864 г. в первом томе двухтомника сочинений Л.Н.Толстого, изданных Ф.Стелловским, был помещен рассказ «Записки маркера». Журнал «Современник» (1865, № 4) в отделе «Новые книги» напечатал статью об этом издании, в которой к «разряду произведений, представляющих верную и безыскусственную комбинацию разных житейских фактов», среди других сочинений Толстого отнесен и рассказ «Записки маркера».

Журнальную критику в последующие годы сменили историко-литературные исследования, где «Запискам маркера» уделялось незначительное внимание. Наиболее подробно этот рассказ проанализировал А.М.Скабичевский в своих статьях (статьи 1-я и 2-я) «Г<раф> Л.Толстой, как художник и мыслитель» («Отечественные записки», 1872, №№ 8–9, отд. II «Современное обозрение»). Говоря о принадлежности Толстого «к школе беллетристов пятидесятых годов» (№ 8, с. 283), критик видел значительное отличие «внешней формы произведений гр. Толстого» «от формы произведений прочих беллетристов» этого периода. Не повести и романы с законченными любовными сюжетами, характерные для беллетристов 50-х годов, стали основой творчества Толстого, а «ряд очерков и частных эпизодов из жизни героев, в которых очень часто любовь не играет ровно никакой роли; есть произведения, обходящиеся и совсем без любви,— каковы “Утро помещика”, “Маркер”» (№ 8, с. 285).

Рассматривая «бесхарактерного героя» (№ 8, с. 286), выведенного Толстым в трилогии, критик обнаруживал его и в «Утре помещика», где показан «первый шаг в жизни» (№ 9, с. 1) этого героя, а также в «Люцерне», «Альберте», «Казаках», в «Записках маркера», представляющих «ряд подобных скитаний и порывов бесхарактерного героя после своего неудачного первого шага» (№ 9, с. 13). «Записки маркера», по мнению автора статьи,— это «последние нравственные судороги бесхарактерного человека после целого ряда всевозможных пертурбаций. Разочарованный во всех своих величавых порывах, во всех своих надеждах на обновление жизни, на счастье, потерявший уважение и ко всей своей среде, и к самому себе, убедившийся, что жизнь, окружающая его, и сам он представляют ряд лжи и несообразностей, и в то же время с презрением отвергнутый всем, что не носит на себе печати этого страшного растления,— Нехлюдов дошел до той странной сердечной пустоты, в которой человек ничего уже не ищет в жизни, как только минутных наслаждений, чтобы уйти от себя, забыться» (№ 9, с. 22). Скабичевский приводил большой фрагмент из предсмертной записки Нехлюдова и восклицал: «Какое страшное сознание, и сколько в то же время правдивости и честности в нем!» Однако, полагал критик, уже «прошли те наивные времена, когда бесхарактерные люди, колотя руками в грудь, всенародно каялись в своей дрянности и несостоятельности» (№ 9, с. 23). «...Мы в сущности те же Нехлюдовы,— если не похуже еще,— признавался он.— По этому всему и такой страшный исход, к какому пришел Нехлюдов, сделался в настоящее время почти невозможен...» (№ 9, с. 24). «Современные Нехлюдовы не вешают более головы, а напротив того, чем ниже падают они нравственно, тем выше ее задирают. Они не оплакивают уже своих юношеских мечтаний облагодетельствовать род человеческий, слиться с народом и пр., и пр., и

только посмеиваются над ними с практической точки зрения, как над ребяческими мечтами. Предаваясь оргиям и разврату, они делают это не с тем, чтобы забыть, уйти от своих развешивающих дум; нет, они просто развлекаются в часы досуга, и эти развлечения в свою очередь не могут привести их к исходу Нехлюдова, потому что последний забывался, прожывая свое наследие, а они развлекаются, срывая в то же время новые и новые куши...» «Одним словом,— подытоживал Скабичевский,— век лишних людей прошел, лишние люди сменились людьми нужными», но «нужные люди остаются в сущности по-прежнему лишними и нехлюдовщина продолжает развешивать нашу жизнь» (№ 9, с. 24–25).

Анализируя в целом разобранные в статьях произведения (от повести «Детство» до рассказа «Записки маркера»), критик видел «главный, отличительный признак» реализма Толстого в «полном отсутствии всякой идеализации, преувеличения, вымысла», в том, что «произведения гр. Толстого отражают, как чистое и верное зеркало, людей в их натуральный рост, такими, каковы они представляются нам в действительности, со всеми их недостатками и слабостями». «...Стоя на такой реальной почве,— отмечал Скабичевский,— гр. Л. Толстой обращает свое внимание не на первое, что только бросается ему на глаза; его поражает постоянно одно из самых характеристических явлений нашего общества — именно крайняя искусственность, ходульность и призрачность жизни нашей интеллигентной среды» (№ 9, с. 25), и «подобное содержание не искусственно придумывается и проводится писателем, а составляет вполне естественный результат его изучения жизни и непроизвольно отражается в его произведениях, отчего они и производят такое сильное, неотразимое впечатление» (№ 9, с. 26). Позднее о рассказе «Записки маркера» Скабичевский упоминал и в своем фундаментальном труде «История новейшей русской литературы. 1843–1903 гг.» (5-е изд., СПб., 1903); он считал, что в ряде своих ранних произведений Толстой «продолжал казнить все того же своего нравственно несостоятельного героя, князя Нехлюдова, и в 1856 г. были написаны мрачные “Записки маркера”, где эта казнь является буквально смертною» (с. 158).

В 1886 г. к «Запискам маркера» обратился Орест Миллер в книге «Русские писатели после Гоголя» (часть II, СПб.); он рассматривал этот рассказ как продолжение биографии Нехлюдова после событий трилогии, «Люцерна», «Разжалованного». В «Записках маркера» Миллер видел князя Нехлюдова «уже вполне опустившимся и обедневшим» «русским баринном», который еще «в юности задался целью искупить вековой грех барства и «быть благодетелем своих крестьян; но, видя, что его благодетельные затеи не приводят ни к чему, отправился, в качестве туриста, изучать нравы Западной Европы, а затем, когда и тут не повезло, поехал за новыми впечатлениями на Кавказ». Последний этап — это «Записки маркера», «самое тяжелое время его жизни» (с. 252). Миллер, однако, считал «положение молодого князя» «далеко не таким безнадежным», а неудачи Нехлюдова объяснял воспитанием и тем, что он «все же принадлежал к классу тех людей, которые в принципе отрицали труд». Чтобы «вырваться из оков *somme il faut*ности», у Нехлюдова не хватило «ни сил, ни умения; убедившись в своей неспособности действовать на трудовом поприще, он решает идти по обычной колее людей своего круга — проводить жизнь человека, ищущего только наслаждения». «Заставить себя рабо-

тать не хватает силы воли, жить так же широко, как живут окружающие, не хватает средств. Нельзя жить, как хочется,— лучше совсем не жить»,— такую цепь умозаключений предлагал профессор О.Миллер (с. 284–285).

В одном из очерков о творчестве Толстого, опубликованных в 1886 г. в «Неделе», на «Записках маркера» остановился барон Р.А.Дистерло. В 1887 г. он издал эти очерки «особою книжкою», сделав «довольно значительные исправления и добавления» (Дистерло Р.А. Граф Л.Н.Толстой как художник и моралист. СПб., 1887, с. 4). «Прежде всего оригинальностью формы» привлекли критика «Записки маркера»; в «безыскусственном, простом рассказе» он увидел «целую историю падения жизни, целую драму, разрешающуюся самоубийством. Драма эта чисто внутренняя, рассказ же касается только тех внешних проявлений жизни, которые мог видеть маркер в ресторане и которые были доступны его пониманию. В сопоставлении этого внутреннего сюжета с внешними приемами описания и заключается оригинальность повести. В конце концов оказалось, однако, что слова маркера бессильны передать внутреннюю жизнь» Нехлюдова. «Потребовалась записка самоубийцы» (далее Дистерло приводит текст предсмертной записки героя). «Отчего <...> человек, одаренный всеми благами судьбы, вместо счастья носит в душе неотступную муку» и «избирает добровольную смерть?» — вопрос оставался для критика без ответа, он «не находил в настоящем рассказе той глубокой художественной разработки взятой темы, на которую способен граф Толстой», а видел «только несколько намеков для разрешения поставленного вопроса» (с. 69), сам пытаясь ответить на него: «...он погиб от бессилия осуществить светлые мечты и благородные думы своей молодости, он погиб оттого, что душа его сохранила еще сознание высоких и чистых стремлений, в то время как жизнь его упала в грязь пошлости, ничтожества, презренных интересов и жалких тревог». Князь Нехлюдов — не из числа «неутомимых бойцов за свои идеалы, способных на подвиг и жертву. <...> Нося в душе своей чистый идеал жизни, он лишен воли, необходимой для его осуществления. Из этого внутреннего противоречия и развивается та драма, которую показал нам граф Толстой. Драма эта не есть какое-либо исключительное явление, обусловленное особенностями той или другой эпохи, она постоянно повторяется и в наше время и будет повторяться до тех пор, пока будут существовать высокие порывы рядом с бессильными характерами» (с. 69–70).

В конце века о «Записках маркера» писал К.Головин в книге «Русский роман и русское общество» (СПб., 1897). Рассматривая типы героев Толстого, он обращался к фигуре Нехлюдова, ставшего главным персонажем в ряде повестей и рассказов, но, в отличие от Скабичевского, делал вывод, что Нехлюдов «Утра помещика», «Люцерна», «Разжалованного» — это лишь однофамилец героя из «Записок маркера», что они «коренным образом разнятся по характеру». В «Записках маркера», считал К.Головин, Нехлюдову «произносится немилосердный и при том вполне заслуженный приговор. Судьба героя “Записок”, в самом деле, несмотря на его жалкий конец, не вызывает ни симпатии, ни сожаления. При всей неспорченности, при всей наивной мягкости характера, Нехлюдов в “Записках” до того слаб и ничтожен, он так легко поддается самым незатейливым и грубым искушениям, что возбуждает, скорее, негодование, чем жалость. Даже раскаяние, даже смерть не могут примирить с ним читате-

ля». В герое «Записок маркера» критик видел «человека с надорванной волею, у которого порывов хватает только на удовлетворение самых дрянных страстишек, а громкое обличение самого себя отзывается риторикой. Не таков Нехлюдов в “Утре помещика”, во “Встрече <в отряде с московским знакомым. Разжалованном>”, в “Люцерне”. <...> Можно поручиться, что на вино и на карты не уйдет его состояние, и что если он даже кончит самоубийством, то будет у него иные, более глубокие мотивы, чем простая жалкая невозможность куда-нибудь девать свою ненужную жизнь». По мнению К.Головина, «в “Записках маркера” представлен другой тип из того же класса» дворянской молодежи, «тип, носящий все признаки вырождения, не в силу своих дурных инстинктов, а просто вследствие бесхарактерности» (с. 139–140).

Первый перевод «Записок маркера» появился в Германии в 1886 г. в книге: Tolstoj L. Kleine Erzählungen und Kriegsbilder. (Berlin) — перевод В.-П.Граффа. Через пять лет, в 1891 г., рассказ был напечатан в переводе Г.Роскошного в книге «Zwei Husaren» (Berlin); сборник выдержал еще два издания. В том же 1891 г. Р.Лёвенфельд включил «Записки маркера» в собственном переводе в собрание сочинений Л.Н.Толстого (Berlin); это собрание сочинений вышло вторым изданием в 1897 г. Тот же перевод Р.Лёвенфельда напечатан в 1901 г. в книгах сочинений Толстого «Novellen und kleine Romane» (Leipzig, Jena) и «Sämtliche Werke» (Ausg. von R.Löwenfeld. Leipzig, Jena). В переводе Г.Рёля рассказ вышел в 1905 г. в книге «Zwei Husaren» (Leipzig). Таким образом за четверть века в Германии «Записки маркера» были переведены четыре раза. В разных переводах на немецкий язык заглавие рассказа звучало различно: Графф и Роскошный назвали произведение Толстого «Erzählungen eines Markörs», что в буквальном переводе значило: «Рассказы маркёра»; Лёвенфельд перевел название рассказа как «Aufzeichnungen eines Marqueurs», т.е. действительно «Записки маркера»; более вольно переведено заглавие Г.Рёлем: «Страницы из дневника маркёра».

В 1885 г. в Берлине вышла небольшая книжка литературного критика Ойгена Цабеля, где были собраны очерки о русских писателях от Пушкина до Тургенева; один из шести очерков посвящен творчеству Толстого. (В 1899 г. появилось второе издание этой книги.) Не называя «Записки маркера», именно этот рассказ имел в виду критик, когда сравнивал «здоровье и силу души» («высший идеал» для Толстого) простых солдат в кавказских и севастопольских рассказах с несостоятельностью людей высшего круга: «Его <Толстого> друг юности князь Нехлюдов, которого он вывел в двух более поздних рассказах <“Записки маркера” и “Из кавказских воспоминаний. Разжалованный”> и создал из него тип такого молодого человека, с которым он вырос, кто, склонный к добру и высокопарности, руководствуется лучшими намерениями, но ничего не достигает и наконец, не в состоянии оправдать свою тяжкую вину, приходит к печальному концу» (Zabel Eugen. Russische Literaturbilder. Berlin, 1899, S. 261).

Годом позднее первого немецкого издания «Записки маркера» были опубликованы на английском языке. В 1887 г. рассказ вышел в Англии и США в переводе Н.Х.Доула в книге «A Russian proprietor and other stories» (London; New York). Тот же перевод напечатан в книге «The snow-storm» (New York, 1887) и еще раз в собрании сочинений Л.Н.Толстого

(New York, 1899). Дважды «Записки маркера» издавались в переводе Л.Винера в 1904 г. в собраниях сочинений Л.Н.Толстого в Англии (London) и США (Boston).

В английских и американских историко-литературных работах о Толстом рассказу уделено мало внимания. В 1903 г. англичанин Г.Перрис в очерке «Leo Tolstoy as Writer» коснулся «Записок маркера», в которых уловил своеобразное предчувствие будущей «Исповеди»: «Перечень преступлений, в которых он <Толстой> обвинил себя двадцатью годами позднее во время его спасительного кризиса, не следовало понимать буквально, хотя для этого были некоторые основания, о чем мы можем догадаться по театральному и неглубокому реализму “Записок маркера”» (Chesterton G.K., Perris G.H., etc. Leo Tolstoy. London, 1903, p. 15).

В появившейся через год книге американского литератора Эдварда Штайнера «Толстой как человек» (Steiner E. Tolstoy the man. New York, 1904) упоминался этот рассказ. Анализируя ситуацию в «Записках маркера», Штайнер писал: «Эта история не менее трагична и ужасна, чем любой из его <Толстого> военных рассказов, колорит ее такой же серый и мрачный, как и тот, которым окрашен Севастополь» (p. 97). В гибели Нехлюдова Штайнер обвинял его «просветителей», которые «гордятся тем, что они провели невинного юношу по тропе, называемой ими путь жизни, но на самом деле это дорога к смерти» (p. 96).

Во Франции в 1888 г. были напечатаны перевод И.Гальперина-Каминского под заглавием «La fin» («Конец») в книге «Le prince Nekhludoff» (Paris) и перевод А.Оливье «Le joueur» («Игрок») в книге с одноименным названием (Paris). Под заглавием «Le récit du marqueur, extrait» («Рассказ маркера, отрывки») рассказ был дважды включен в книгу «Pages choisies des auteurs contemporains. Tolstoi» (Paris, 1896 и 1906). Еще раз вышли «Записки маркера» в переводе Ж.-В.Бинштока («Le journal d'un marqueur» <«Дневник маркера»>) в собрании сочинений Л.Н.Толстого под редакцией и с комментариями П.И.Бирюкова (Paris, 1903).

В 1889 г. рассказ Толстого был напечатан на норвежском языке (перевод Н.Sinding) под названием «Enden (Af en markørs optegnelser)» в книге «Furst Nekliudoff» (Kristiania) и на чешском языке в переводе, подписанном инициалами E.V., в составе книги Л.Н.Толстого «Spisy» (Praha). В 1904 г. с «Записками маркера» познакомились голландские читатели («Novellistische meesterwerken», IV. Amersfoort).

С. 30. ...с машинкой...— Машинка — один из предметов бильярдного инвентаря, который служит подставкой для кия при выполнении некоторых ударов, облегчает игру на столах больших размеров. Машинка представляет собой дощечку размером 10 x 6 см, толщиной 2 см, с пятью вырезами (три сверху и два по бокам) для установки ударной части кия.

...знай покрикивай да шары вынимай.— Маркер вслух громко ведет счет партий, ударов, шаров, объявляет штрафы, выигрыш и проигрыш, фиксирует характер ударов и количество очков; подносит игрокам нужные предметы для их игры, собирает упавшие шары, вынимает их из «кошельков» — сетчатых карманов луз.

С. 31. ...бутылку макону...— Макон — сорт красного вина.

...в лузу...— Луза — одно из шести отверстий бильярдного стола.

...от двадцати пяти угол...— Угол — двойная ставка. Угол от двадцати пяти означает пятьдесят рублей.

...таким *фофаном*...— Фофан (простореч.) — недалекий, ограниченный человек, простофиля (с оттенком пренебрежения).

Где бы и сделал шара...— Сделать шар — своим шаром положить чужой шар в лузу.

С. 32. *Мне вперед сколько пожалеете?* — Речь идет о так называемой *форе*, когда один партнер (более сильный, опытный) дает другому вперед условленное количество очков, шаров, ударов.

...под *Синий мост*...— Синий мост — самый широкий мост в Петербурге (около 100 метров) через реку Мойку, часть Исаакиевской площади.

С. 33. *В три шара, алагер, пирамидку — всё узнал.* — Три шара — распространенная в России бильярдная игра. Алагер — известная бильярдная игра, играется двумя шарами, число играющих не ограничено, но не менее двух. Пирамидка (пирамида) — игра на лузном бильярде, имеющая несколько разновидностей (Малая русская пирамида, Большая русская пирамида и др.).

...в *грудь турником*...— Турник (турняк) — толстый конец кия.

С. 35. ...*знай с накатцем сыграет*...— Накат — удар, при котором бьющему шару (шару-битку) придается движение вслед за прицельным шаром.

...а *те промах, али вовсе на себя*.— Промах — положение, когда шар-биток не коснулся других шаров. На себя — штрафное положение при игре в бильярд, когда ни один из шаров не падает в лузу, а только свой, шар-биток.

Федотка вперед взял...— То есть взял фору.

С. 36. ...*игру скрыл*...— Сделал вид, что плохо играет.

Сначала преферансик, а там глядишь — любишь не любишь пойдет.— Преферанс — карточная игра между 3 или 4 игроками, модная в 40–50-х годах XIX в. *Любишь не любишь* — азартная карточная игра.

С. 38. *Дал я сорок вперед.*— То есть дал фору в 40 очков.

Стал он желтого резать, да и положи на себя восемнадцать очков...— Желтый — один из цветных шаров в бильярдной игре; резать — ударить битком, т.е. своим шаром, очень тонко в край прицельного шара.

...он *дуплетом и упали*.— Дуплет — удар, при котором прицельный шар ударился о борт и отразился от него.

С. 40. ...*абсину сейчас рюмочку*...— Абсину (абсент) — крепкий спиртной напиток, настойка на полыни.

...*канале закусит*...— Канале — маленький бутерброд.

Бувужу клодвужо...— Клодвужо — дорогое французское вино.

С. 44. *Семерка, туз, шампанское, желтый в среднюю, мел, серенькие, радужные бумажки*...— Семерка — один из пронумерованных шаров в бильярдной игре. Туз — в бильярде: шар, обозначенный цифрой «1» (означает 11 очков при игре в «пирамиду»). Желтый в среднюю — в бильярдной игре игрок заказывает, т.е. называет перед ударом лузу, в которую он намеревается положить заказной шар. Серенькие, радужные бумажки — деньги.

КАК УМИРАЮТ РУССКИЕ СОЛДАТЫ

Впервые: Л.Н.Толстой. Неизданные рассказы и пьесы. Под ред. С.П.Мельгунова, Т.И.Полнера, А.М.Хирьякова. Предисл. Т.И.Полнера. Париж, изд. Т-ва «Н.П.Карбасниковъ», 1926, с. 95–102 (по копиям, сделанным в Москве с оригиналов, принадлежавших «Задруге», «Товариществом по распространению и изучению творений Л.Н.Толстого»). По автографу: *Юб.*, т. 5, с. 232–236.

Сохранились: полный автограф (4 л.); неполная писарская копия (3 л.).

Печатается по автографу.

Рассказ «Как умирают русские солдаты» был написан Толстым в Дунайской армии, в Кишиневе, для задуманного группой офицеров-артиллеристов «дешевого и популярного» журнала «Военный листок». Сведения о работе над рассказом не сохранилось, потому время его создания можно определить лишь условно.

5 октября 1854 г. Толстой заметил в дневнике, что ему «необходимо написать статью в пробный листок» журнала. 17 октября в письме к Т.А.Ергольской, сообщая о том, что «занят одним начинанием», о котором расскажет, «только ежели оно удастся», он признавался: «Работаю я с большим удовольствием, потому что это вещь действительно полезная». 21 октября снова запись в дневнике: «Пробный листок нынче будет готов». Таким образом, время создания рассказа для задуманного журнала можно ограничить датами: с 5 октября по 21 октября 1854 г.

Проект журнала «Военный листок» был представлен главнокомандующему М.Д.Горчакову 23 октября 1854 г. К проекту прилагался пробный номер журнала, «пробный листок», который Горчаков отправил в Петербург военному министру для представления царю Николаю I. Об этом Толстой сообщал брату С.Н.Толстому в письме 20 ноября 1854 г. из селения Эски-Орда, что под Симферополем. В том же письме он говорил о характере сочинений, которые намеревается писать для нового журнала, — это рассказы о солдатах, «о подвигах этих вшивых и сморщенных героев». «Подвиги храбрости, биографии и некрологи хороших людей и преимущественно из темненьких» должны были помещаться в журнале, идея которого очень нравилась Толстому. Однако он предчувствовал неблагоприятный ответ из столицы. «В пробном листке, который послан в Петербург, — писал он далее С.Н.Толстому, — мы неосторожно поместили две статьи, одна моя, другая — Ростовцева¹, не совсем *православные*. Проект журнала был отклонен, и разрешения на издание не последовало. Пробный номер «Военного листка» не найден, но, судя по всему, статья Толстого, о которой он писал брату, и есть рассказ «Как умирают русские солдаты».

В этом небольшом рассказе Толстой воскрешает один из тех реальных эпизодов кавказской войны, которые не раз пережил во время своей военной службы на Кавказе. Смерть на войне — одна из важных тем нравст-

¹ Одна из статей Н.Я.Ростовцева: «Письмо к редактору» или «Песни Журжинского отряда» (*ГМТ*).

венных и художественных раздумий молодого писателя. «Я равнодушен к жизни, в которой слишком мало испытал счастья, чтобы любить ее; поэтому не боюсь смерти,— размышлял Толстой в дневнике 5 февраля 1852 г., отправляясь в поход.— Не боюсь и страданий; но боюсь, что не сумею хорошо перенести страданий и смерти». Эта тема звучит в рассказах «Набег» и «Рубка леса», а позднее в севастопольских рассказах.

«Как умирают русские солдаты» написан в то время, когда шла трудная работа над будущей «Рубкой леса». Толстой не был доволен тем, что выходило из замысла «Рубки леса». Маленький рассказ для «Военного листка» словно подхватил этот замысел и позволил сосредоточиться лишь на одном эпизоде. Отсюда естественная перекличка двух произведений: сходство имен, характеров, ситуации. Это во многом и решило дальнейшую судьбу рассказа о тревоге: при жизни Толстого произведение не печаталось, а позднее его стали публиковать, как правило, среди неоконченных, неотделанных сочинений писателя. Однако, хотя наборная рукопись рассказа не найдена, сохранившиеся материалы свидетельствуют, что это вполне законченное произведение, причем первое, которое автор подписал не инициалами, как прежние сочинения, а полным именем: Л.Н.Толстой.

Вернувшись из Севастополя, Толстой намеревался печатать этот рассказ, обещал его А.В.Дружинину в журнал «Библиотека для чтения». 15 сентября 1856 г. Дружинин обратился к Толстому с просьбой: «Уделите мне день или два Вашего уединения,— писал он в Ясную Поляну,— и напишите мне хотя самую крошечную статейку, отрывок, эпизодец из севастопольских воспоминаний для последних книжек “Библиотеки”, пока еще Вы не связаны условием¹. О том, что Вы меня этим обяжете весьма, Вы сами знаете, а я знаю, что Вы это сделаете, если только время и обстоятельства Вам позволят. Потому-то, не докучая Вам и не требуя от Вас того, что неудобно, заявляю Вам мое прошение. Исполните его, я буду в полной радости, а нет, так я буду знать, что Вам было нельзя» (*Переписка*, т. 1, с. 264). Толстой не замедлил с ответом; 21 сентября он писал Дружинину: «...для Вас же почти готово, был написан для имевшего издаваться Воен<ного> Ж<урнала>, правда, крошечный эпизодец кавказский, из кот<орого> я взял кое-что в “Руб<ку> леса” и к<оторый> поэтому надо переделать». Но переделывать пока было некогда: Толстой сосредоточенно работал над повестью «Юность», которую тогда же и послал Дружинину на прочтение и суд.

К рассказу о смерти солдата он вернулся уже в Петербурге, куда после долгого отсутствия, захватив с собою рукопись, приехал 7 ноября. Находясь в Петербурге более двух месяцев, Толстой много писал, диктовал переписчику. В ноябрьском дневнике не раз упоминается диктовка рассказа «Разжалованный». Вероятно, к этому времени относится правка в автографе рассказа «Как умирают русские солдаты» и определенно — писарская копия, сделанная почерком того же переписчика. Здесь появилось иное заглавие: «Тревога». Судя по всему, Толстой переделывал свое сочинение, чтобы напечатать его в журнале Дружинина. Но переписка (может быть, диктовка) не доведена до конца; в незавершенной копии имеются

¹ Имелось в виду «обязательное соглашение» с «Современником» на 1857 год.

№ 1

1855 года

ВОЕННЫЙ ЛИСТОКЪ



Годовой взнос
для подписчиков 1.

и в. редакция
Южной Армии 2^{го} а.

За вся выходя
Тираж 10000 4^а

За подписчиков
введен: с доставкой

по 5^{коп.} сер

Средств
составляет

Мин.
А. С. Пушкин

и в. С. Пушкин
Южной Армии

В. С. Пушкин
составляет

по 5^{коп.} сер

пропуски, отмеченные карандашом, и нет ни одного авторского исправления. Толстой оставил работу над рассказом. В «Библиотеку для чтения» было отдано другое произведение — «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» (напечатано в № 12 за 1856 год).

Помимо «Рубки леса» «кое-что» из рассказа «Как умирают русские солдаты» нашло отзвук и в севастопольских рассказах, и в «Хаджи-Мурате»: в сценах ранения и смерти Петрухи Авдеева узнаваемы отдельные черты и мгновения смерти раненного во время тревоги солдата Бандарчука.

С. 48. ...*серебряной ленты Аргуна*... — Аргун — река на Северном Кавказе, правый приток Сунжи (бассейн Терека).

С. 49. ...*старый фуриштат*... — Фуриштат — фуриштатский солдат; солдат, служащий в обозной части.

РУБКА ЛЕСА

РАССКАЗ ЮНКЕРА

Впервые: «Современник», 1855, № 9, с. 35–68 (ценз. разр. 31 августа 1855 г.). Подпись: Л.Н.Т.

Вошло в сборник «Военные рассказы графа Л.Н.Толстого». СПб., 1856, с. 59–139.

Сохранился автограф варианта начала (1 л.).

Печатается по тексту сборника «Военные рассказы» со следующими исправлениями:

С. 52, строки 45–46: сквозь туман проглядывала черная полоса опушки густого леса — *вместо*: сквозь туман проглядывала черная полоса (по С).

С. 54, строки 4–5: рассыпались солдаты, раздувая огни руками и лапами — *вместо*: рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами (по С).

С. 54, строки 11–12: снизу образовывались угли и помертвелая белея трава оттаивала кругом костра — *вместо*: снизу образовывались углы и помертвелая белая трава кругом костра (по С).

С. 54, строки 41–42: Покорные подразделяются на а) покорных хладнокровных, б) покорных пьющих и с) покорных хлопотливых — *вместо*: Покорные подразделяются на а) покорных хладнокровных, б) покорных хлопотливых (по смыслу: далее в тексте говорится об отличительной черте «покорного пьющего»; ценз.).

С. 55, строки 1–2: Отчаянные подразделяются на а) отчаянных забавников и б) отчаянных развратных — *вместо*: Отчаянные подразделяются на а) отчаянных забавников и б) отчаянных (по смыслу: далее в тексте говорится об отличительных чертах «отчаянных развратных»; ценз.).

С. 56, строка 2: положил к себе в палатке под головы — *вместо*: положил к себе в палатке под голову (по С).

С. 56, строки 22–23: Михал Дорофеич — *вместо*: Михаил Дорофеич (по С).

- С. 56, строки 24–25: не знал и сам Веленчук — *вместо*: не знал сам и Веленчук (по С).
- С. 57, строка 24: не признавал власти — *вместо*: не признавая власти (по смыслу и 6 изд.).
- С. 59, строка 1: как в солдатстве жить нужно — *вместо*: как и в солдатстве жить нужно (по С).
- С. 60, строка 9: добро уж пьяный бы был — *вместо*: добро уж пьяный был (по С).
- С. 61, строка 10: рука с рукой так и родятся, что ли-ва — *вместо*: рука с рукой так и родятся, что ли (по С).
- С. 61, строка 37: их винтовок и орудия — *вместо*: из винтовок и орудия (по С).
- С. 61, строки 40–41: Командир девятой егерской роты, бывшей у нас в прикрытии, подошел к моим орудиям — *вместо*: Командир девятой егерской роты, бывший у нас в прикрытии, подошел к своим орудиям (по С).
- С. 65, строка 9: ядро, которое вылетело уже из дула — *вместо*: ядро, которое вылетело уже из дыма (по С).
- С. 65, строки 35–36: В опушке леса показывался дымок, слышались выстрел, свист — *вместо*: В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист (по С).
- С. 66, строки 16–15: и обоз с дровами стал строиться в арьергарде — *вместо*: и обоз с дровами стал строиться в арьергард (по С).
- С. 67, строки 1–2: подумал я, но вместе с тем боялся оглянуться — *вместо*: подумал я, но вместе с тем боясь оглянуться (по С).
- С. 68, строка 12: уж вы их сберегите — *вместо*: уж вы их сбережете (по С).
- С. 69, строки 14–15: и взвод 4-й батарейной батареи — *вместо*: и взвод 4-х-батарейной (по С).
- С. 69, строка 30: неумолкаемое движение и говор — *вместо*: неумолкаемое движение и говор (по С).
- С. 71, строка 11: с растянутыми губами и вытянутой шеей — *вместо*: с натянутыми губами и вытянутой шеей (по С).
- С. 71, строка 45: мог только выговорить — *вместо*: мог только говорить (по С).
- С. 72, строка 4: что это неправда — *вместо*: что эта неправда (по С).
- С. 72, строки 17–18: он чуть не пробил головой крышу — *вместо*: он чуть не пробил головой крыши (по С).
- С. 76, строка 25: так мучился — *вместо*: там мучился (по С).
- С. 77, строка 2: кто около костра — *вместо*: кто около костров (по С).
- С. 78, строка 36: После молитвы введено обозначение новой главы: XIV (по С).
- С. 79, строки 11–12: трех лошадей у нас убил в орудии, офицера убил — *вместо*: трех людей у нас убил в орудии, офицера убил (по С: в орудие впрягались четыре лошади).
- С. 79, строки 17–18: Подумали мы, подумали с Аношенкой — *вместо*: Подумали мы, с Аношенкой (по С).
- С. 79, строка 18: старый фирверкин — *вместо*: старый фейерверкин (по С).
- С. 80, строка 30: а когда она замолкала на мгновение — *вместо*: а когда она замолкла на мгновение (по С).

Почти на два года (1853–1855) растянулась работа Толстого над рассказом «Рубка леса». Эти два года вместили в себя частично кавказский и севастопольский периоды военной жизни молодого писателя, за это время были созданы и опубликованы повесть «Отрочество», рассказы «Записки маркера», «Севастополь в декабре месяце», продолжалась работа над замыслом «Кзаков» (в ранних вариантах «Беглец») и «Романа русского помещика», начата «Юность».

Первое упоминание о будущей «Рубке леса» — запись в дневнике 25 июня 1853 г.: «Завтра. Встать рано, писать *Отрочество* до обеда — после обеда <...> писать Дневник к<авказского> о<фицера> или Беглец — до чаю». «Дневник кавказского офицера» — так пока назвал Толстой задуманное сочинение; под этим заглавием (вариант — «Записки кавказского офицера») начатый рассказ ежедневно фигурировал в дневнике в конце июня 1853 г.

26 июня: «После обеда искать доброе дело и писать *Беглеца* до чаю, после чаю — *Дневник к<авказского> о<фицера>*».

27 июня: «После обеда до самого вечера читал и обдумывал *Записки к<авказского> о<фицера>*». И задание на завтра: «Вечером писать *З<аписки> к<авказского> о<фицера>* или, ежели будет мало мыслей, то продолжать *От<рочество>*».

28 июня в дневнике появилось еще одно название: «Писал немного *Д<невник> к<авказского> о<фицера>* и *Р<убку> л<еса>* и обдумал». И хотя эти два названия соседствуют как самостоятельные и полноправные, очевидно, что речь идет об одном произведении. Это доказывает и единственная сохранившаяся рукопись: фрагмент начала рассказа под заглавием «Рубка леса. Дневник кавказского офицера», где новое название уже выдвинуто на первый план.

Возможно, первоначальный замысел рассказа сосредоточивался исключительно на дневнике офицера, сюжете из офицерской жизни на Кавказе, т.е. на том, что явилось позднее в фигурах офицеров Болхова, Тросенко, Кирсанова и пр., и не был сопряжен с солдатской темой. Скорее всего, Толстой начал «Дневник (Записки) кавказского офицера» как «встречу с Кавказом», о чем он обмолвится чуть позднее, и по содержанию это начало напоминало первые страницы незаконченного сочинения «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт», оставленного автором еще в 1852 г. Многие из этих «Записок о Кавказе» перейдет в рассуждения Болхова (VI глава «Рубки леса»). Это позволяет предположить, что сам «Дневник кавказского офицера» Толстой начал от имени офицера, будущего Болхова в «Рубке леса», который должен был стать и главным героем и рассказчиком одновременно.

Запись от 28 июня фиксировала новый поворот в развитии замысла рассказа: появился еще один сюжет, который позволял ввести новые ситуации и лица. Рукописи «Рубки леса» не сохранились, за исключением одного листа перебеленного текста, не вошедшего в окончательную редакцию рассказа, и можно лишь предполагать, в каких соотношениях существовали первоначально эти два сюжета, т.е. «Дневник кавказского офицера» и «Рубка леса». Но для Толстого, безусловно, многое в этом сочетании представлялось важным, интересным, открывающим новые возможности для воплощения художественного замысла. Сопряжение двух

сюжетных линий (служба кавказских офицеров и солдатская жизнь на Кавказе), видимо, пока не совсем отчетливо представлялось автору; в этой же дневниковой записи Толстой определил одно из правил для собственной литературной работы и воспитания характера: «Когда во время писанья придут так много неясных мыслей, что захочется встать, не позволять этого себе». «Неясные мысли», скорее всего, связаны именно с поисками оптимальных сюжетных сцеплений, которые помогли бы наиболее естественно соединить два замысла: впервые перед Толстым встала задача, которую он впоследствии столь успешно решал во многих своих произведениях, включая большие романские полотна, — в единой художественной ткани объединялись две ранее самостоятельные сюжетные линии, переплетаясь и перетекая друг в друга.

На 29 июня Толстой наметил опять работать над «Отрочеством» и «после обеда до вечера писать *Дневник кавказского офицера*». Но на следующий день не работалось: «Так хорошо обдуманый план З<аписок> к<авказского> о<фицера> показался мне нехорошим, и я провел все послеобеда с мальчишками и Яп<ишкой>», — записал он в дневнике 29 июня. И вечером в тот же день формулировал новое правило для своей писательской работы: «Хорошо ли или дурно, всегда надо писать. Ежели пишешь, то привыкаешь к труду и образовываешь слог, хотя и без прямой пользы. Ежели же не пишешь, увлекаешься и делаешь глупости. *Натощак пишется лучше*», — это еще одно наблюдение и руководство к деятельности. Толстой старался следовать установленным им самим правилам и рабочему распорядку, ежедневно «назначая» себе урок «на завтра». В конце июня 1853 г. этот урок — «Отрочество» и будущий рассказ «Рубка леса»: «Завтра <...> писать как обыкновенно назначаю: до обеда Отр<очество>, после обеда К<авказского> о<фицера>» (30 июня).

За несколькими днями усердной июньской работы над рассказом наступил довольно большой перерыв. В это время Толстой читал французские и английские романы, перечитал «Записки охотника» Тургенева. Книга Тургенева, уже читанная прежде, теперь была воспринята по-новому: «Читал “Записки охотника” Тургенева, и как-то трудно писать после него» (27 июля).

Лишь 6 августа в дневнике снова появились записи о начатом рассказе: «Завтра утр<ом> пис<ать> Отр<очество>, после обеда — З<аписки> к<авказского> о<фицера>».

16 августа: «После обеда до бульвара к<авказский> р<ассказ> и вечером р<оман>».

26 августа: «...решился бросить Отрочес<тво>, а продолжать роман и писать рассказы к<авказские>. Причина моей лени та, что я не могу писать с увлечением. <...> До обеда — рассказ. После обеда — роман».

Толстому «жалко бросать Отроч<ество>», но он уверен, что «лучше не докончить дело, чем продолжать делать дурно». Этому своему правилу он последовал и с «Дневником кавказского офицера», надолго оставив начатое сочинение. Только в декабре Толстой вернулся к раздумьям о кавказском рассказе. В этот осенний промежуток был написан рассказ «Записки маркера», возобновилась работа над «Отрочеством», своим чередом шло писание «Романа русского помещика».

2 декабря запись в дневнике: «Я решился, окончив Отрочество, писать теперь небольшие рассказы, настолько короткие, чтобы я сразу мог обду-

мать их, и настолько высокого и *полезного* содержания, чтобы они не могли наскучить и опротивить мне». В тот же день еще одна запись: «Есть два желания, исполнение которых может составить истинное счастье человека,— быть полезным и иметь спокойную совесть». Размышления о «полезном» в эти дни особенно настойчиво и часто появлялись в дневнике Толстого. 16 декабря он приходит к заключению, что «нельзя жить для наслаждения, а должно жить для одной пользы. Наслаждение представляется само». «Польза», «полезное содержание» прежде всего были связаны с вопросами нравственными; об этом Толстой тоже рассуждал на страницах дневника. 20 декабря 1853 г.— запись: «Читая философское предисловие Карамзина к журналу “Утренний свет”, <...> я удивлялся тому, как могли мы до такой степени утратить понятие о единственной цели литературы — нравственной, что заговорите теперь о необходимости нравования в литературе, никто не поймет вас». «Вот цель благородная и для меня посильная — издавать журнал, целью которого было бы единственно распространение полезных (морально) сочинений»,— решил Толстой в тот же день.

В таком настроении писатель вновь обратился к оставленному кавказскому рассказу. 3 декабря в дневнике записан ряд замыслов, среди которых уже знакомое название: «Я был в нерешительности насчет выбора из четырех мыслей рассказов. 1) [Встреча с Кавказом] Дневник кавказского офицера, 2) Казачья поэма, 3) Венгерка, 4) Пропавший человек». «Все четыре мысли» представлялись «хорошими»: «Начну с самой, по-видимому, несложной, легкой и первой по времени — Дневника кавказского офицера»,— решил Толстой. Скорее всего, в эти дни, с 3 по 10 декабря, и была написана единственная сохранившаяся рукопись («Рубка леса. Дневник кавказского офицера»), представляющая собой вступление к основному содержанию рассказа. В этом вступлении шла речь о «трех родах войны» на Кавказе и, объясняя суть каждого рода, автор говорил в том числе о «рубке леса» как о «продолжительнейшем, труднейшем и полезнейшем занятии здешних войск». Совершенно очевидно, что вступление было написано к уже существующему тексту. Заглавие рукописи зачеркнуто — в дальнейшем в таком сочетании оно уже не встречалось и в дневнике Толстого. Судя по всему, сохранившийся автограф относился к первой редакции рассказа и появился на завершающем этапе ее создания. Зачеркнутое заглавие зафиксировало тот момент, когда Толстой решил отказаться от выбранной им первоначально формы офицерского дневника.

Через несколько дней, в середине декабря 1853 г., писатель вновь подступился к своему сочинению. «Начал вчера Записки Фейерверкера», но нынче ничего не писал»,— отмечено в дневнике 16 декабря. Новое название рассказа, «Записки фейерверкера», свидетельствовало о желании Толстого с иной позиции взглянуть на ситуацию и героев произведения. Рассказчик-фейерверкер (унтер-офицер) в силу своего социального положения получал возможность ближе подойти к солдатам, больше и лучше увидеть их жизнь и службу, изнутри показать солдатский мир. Толстой выбрал эту фигуру в качестве рассказчика, возможно, и потому, что сам все еще был фейерверкером 4-го класса; производство в офицеры, чего так ждал он после зимнего похода, откладывалось, и надо было отступить к правде жизни: смотреть на вещи с той ступени, на которой нахо-

дился автор не в мечтах, а в реальной действительности. С точки зрения фейерверкера и намеревался писатель вести рассказ о жизни и службе кавказских солдат и офицеров. Но по-прежнему работа над рассказом шла неровно, с перерывами, без увлечения.

28 декабря «начал было писать З<аписки> Ф<ейерверкера>», но отвлёкся. 3 января 1854 г. писал «вечером З<аписки> Ф<ейерверкера>», как было назначено накануне, но «принялся поздно, потому что после обеда валялся и перечитывал письма Татьяны Александровны». 4 января «предположено было утром писать Р<оман> Р<усского> П<омещика>, вечером З<аписки фейерверкера>», но до второго сочинения дело в этот день не дошло. 5 января писал «Записки фейерверкера», «и мыслей было много, но писал слишком небрежно».

Параллельно с непосредственным писанием рассказа Толстой собирал материал для него: «Во время чая прочел приказы за 45 год,— записал он в дневнике в тот же день, 5 января.— Первое дело в 45 г. было взятие горы Анчимира, 2. На Андийских высотах, при отступлении на Хубарских высотах»,— это тоже «замечания» для рассказа.

6 января снова задание: «Писать З<аписки> Ф<ейерверкера>»,— но опять не пошла работа: «Раскрыл тетрадь, но ничего не написал, а до ужина болтал с Чекатовским о солдатиках». И здесь же, в дневнике, «замечания к З<апискам> Ф<ейерверкера>» — характеристики, отдельные черточки, маленькие сюжеты из солдатской жизни: «Солдат Жданов дает бедным рекрутам деньги и рубашки [из одного человеколюбия]. Теперешний фейерверкер Рубин, бывший рекрутом и получив от него помощь и наставления, сказал ему: “Когда же я вам отдам, дядинька?” — “Что ж, коли не умру, отдашь, а умру, все равно останется”,— отвечал он ему». Солдатские характеры, эпизоды солдатского бытия, где особенно раскрывались высокие нравственные качества человека, привлекали внимание Толстого. Видимо, в разговоре с Чекатовским услышал он и другой эпизод: «Спевак, строевой ефрейтор, получил от Рубина на сохранение 9 р<ублей> сер<ебром>. Он пошел гулять и вынул их с своими деньгами. Ночью у него украли их; и, несмотря на то, что Р<убин> не упрекал его, он не переставая плакал, убиваясь от своего несчастья. Рекрутик Захаров просил Рубина успокоить его, предлагая свой единственный целковый. [Солда<ты>] Взвод сделал складчину и выплатил долг». Эти дневниковые записи совершенно определенно предвосхищали отдельные моменты из жизни солдат будущей «Рубки леса», их характерные черты и особенности отношений внутри солдатского мира. И еще одна запись, которая появилась в дневнике тоже как «замечание к З<апискам> Ф<ейерверкера>»: «“Только бы фoleyтору возжи держать”,— сказал Черных перед кабаком, продавая краденую шубу». Этого факта нет в рассказе, но не исключено, что он был использован Толстым в не дошедших до нас черновиках при определении типа «отчаянных развратных». Этот факт мог быть и в наборной рукописи, но цензура, сняв в классификации солдатских типов тип «отчаянного развратного», не могла оставить и этот текст.

Разговор «о солдатиках», видимо, придал новые творческие силы Толстому: работа над рассказом пошла заметно продуктивнее; снова ежедневно (7, 8, 9 января) задание самому себе: «писать З<аписки> Ф<ейерверкера>». 7 января в дневнике появилось новое замечание к рассказу:

«Русский — или вообще простой — человек в минуту опасности любит показывать, что чувствует, или действительно чувствует больше страха потерять порученные ему или собственные вещи, чем жизнь». Это наблюдение позднее использовано в VIII главе «Рубки леса» (последнее распоряжение Веленчука о монетах и полтиннике).

8 января Толстой в дневнике отметил: «Писал довольно много, но принялся поздно, от холоду». И в тот же день далее определил важное для себя правило: «Нужно писать начерно, не обдумывая места и правильности выражения мыслей. Второй раз переписывать, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой мысли. Третий раз переписывать, обрабатывая правильность выражения». И еще одно правило записал Толстой 8 января: «Избегай осуждения и [сплетней] пересказов». Правило это относилось, безусловно, не только к житейским ситуациям, но и к литературному творчеству: строчка в дневнике формулировала важный творческий принцип, к которому интуитивно тяготел Толстой, еще работая над «Набегом» и стремясь избавиться от сатиры. Мысль «не суди» еще не раз будет появляться на страницах дневника, впервые же она определилась и оформилась в период создания рассказа «Рубка леса».

Маленькую, на первый взгляд, несущественную деталь отметил Толстой того же 8 января: «Солдаты носят суконные нагрудники», — это «замечание» к [солдатским] военным рассказам не вошло ни в один из рассказов, однако сама заметка уже свидетельствовала о том, сколь важны были писателю даже такие, казалось бы, мелочи солдатского быта. Один из творческих принципов Толстого в работе над историческим материалом — «быть до малейших подробностей верным действительности» — формировался и в процессе создания «Рубки леса», где не было исторических событий, но была современность, которую писатель ощущал как часть истории, и потому, работая над рассказом, уже определял для себя степень и критерий исторической правды, выраставшей именно из таких «малейших подробностей».

В следующие несколько дней работа шла вяло и Толстой почти ничего не написал. 9 января, намереваясь «писать 3 <аписки> Ф <ейерверкера>», ежели успеет, в дневнике отметил: «Не успел вечером, хотя был в духе». 11 января «только 1/4 стран<ицы> успел написать 3 <аписок> Ф <ейерверкера>». 12 января вечером, собираясь заняться рассказом, «раскрыл тетрадь, но вместо дела мечтал о Турецкой войне и Калафате». Это последние записи на Кавказе о работе над «Записками фейерверкера».

В середине января 1854 г. Толстой по его личной просьбе был переведен с Кавказа в действующую Дунайскую армию и получил возможность на короткое время заехать в Ясную Поляну. По дороге в Россию его не оставила мысль о «Записках фейерверкера»: «Доехал до Щедринской, — записал он в дневнике 19 января. — Перечел Отрочество и решил не смотреть его до приезда домой, а дорогой писать *кавказские* 3 <аписки> Ф <ейерверкера>». 21 января, доехав до станции Галюгаевская, отметил: «В Николаевской встретил Чикина и с ним написал записку Алексееву». Доехал до Галюгая». Далее в тот же день записал «мысль к 3 <апискам> Ф <ейерверкера>»: «Есть особенный тип молодого солдата с выгнутыми назад ногами», — такая черточка позднее появилась в «Рубке леса» в портрете рекрутки. После этой заметки очень долго ни в дневнике, ни в письмах не было никаких упоминаний о работе над «Записками фейер-

веркера». И только в середине июня 1854 г., находясь в Дунайской армии, Толстой вернулся к рассказу. 15 июня в дневнике запись: «До обеда пишу письма: Сереже и теткам, Волконской, ежели успею. После обеда продолжаю Записки фейерверкера». Но потом снова две недели о «Записках фейерверкера» ни слова.

В первой половине июля записи о кавказском рассказе идут почти ежедневно.

1 июля: «...живу один, читаю, но за работы не принимаюсь, хотя Зап<иски> Фейер<веркера> сильно искушают меня».

2 июля: «Зап<иски> Фейер<веркера> все более, более определяются, нынче, 3 июля, кажется, займусь».

3 июля: «Целый день читал, работа никак не хочет идти».

5 июля: «Вечером написал с главу Зап<исок> Фейер<веркера> с увлечением и порядочно».

7 июля: «После обеда уже очень поздно начал писать 3<аписки> Ф<ейерверкера> и до вечера написал довольно много, несмотря на то, что у меня были Олхин и Андропов».

8 июля: «Утром читал и писал немного. Вечером побольше, но все не только без увлечения, но с какою-то непреодолимой ленью».

9 июля: «Утро и целый день провел, то пища 3<аписки> Ф<ейерверкера>, которые, между прочим, кончил, но которыми так недоволен, что едва ли не придется переделать все заново или вовсе бросить, но бросить не одни 3<аписки> Ф<ейерверкера>, но бросить все литературство; потому что ежели вещь, казавшаяся превосходною в мысли,— выходит ничтожна на деле, то тот, который взялся за нее, не имеет таланта. То читал Гете, Лермонтова и Пушкина».

Так завершилась работа над второй редакцией рассказа, начатой в декабре 1853 г. На следующий день Толстой вновь взялся за рассказ.

10 июля: «...писал набело 3<аписки> Ф<ейерверкера> очень мало и лениво, за что и делаю себе упрек».

11 июля: «Перечитывал “Героя нашего времени”, читал Гете и только перед вечером написал очень мало». В тот же день еще одна запись, связанная с рассказом: «Упрекнуть должен себя нынче только за лень, хотя писал и обдумал вперед много хорошего, но слишком мало и лениво».

13 июля: «...писал немного <...>. После обеда должен был принуждать себя, чтобы написать немного и не отчетливо».

Как всегда, переписывание «набело» было продолжением творческого процесса, а беловая рукопись становилась фактически очередным черновиком, где появлялись новые мысли, факты, черты характера и портрета персонажа, иногда менялась композиция, расставлялись иные акценты, уточнялись формулировки, оттачивался стиль.

14 июля Толстой записал в дневнике: «Утром, кроме обыкновенного чтения Гете и подвергавшихся книжонок, написал Жданова, но насчет личности Велинчука все еще не решился». Характеристики солдат были предметом особого внимания.

15 июля: «...я написал в утро довольно много — все переделывал старое — описание солдат. Вечером тоже пописал немного...».

16 июля: «С 10 часов до 2 писал пристально и окончил описание солдат; зато дальше идет туго». Переделка рассказа, видимо, получалась на-

столько значительной, что фактически приходилось писать заново и работа шла с трудом, медленно, с перерывами.

В первых числах августа в дневнике снова появились заметки о «Записках фейерверкера».

1 августа: «После обеда, хотя и был в расположении заниматься, от лени написал чрезвычайно мало».

2 августа: «Утро писал немного <Записки> Фейерверкера».

3 августа: «Только в первом часу <...> я мог взяться за работу и писал целый день, но невнимательно, непрестально и нерешительно, хотя и довольно хорошо».

4 августа: «Утро писал и вел себя хорошо».

5 августа: «Я встал рано и тотчас же принялся писать с удовольствием. И написал хорошо, конец эпизода ядра, потому что писал с удовольствием».

На неделю записи о работе над рассказом прерываются, но начиная с 12 августа Толстой снова ежедневно отчитывался в дневнике.

12 августа: «Утро начал хорошо, поработал...».

13 августа: «Проснулся не поздно и утро работал хорошо...».

14 августа: «Писал так мало, что и упоминать не стоит».

15 августа: «Немного написал и очень плохо...».

16 августа: «Встал часов в 7, писал довольно хорошо, но мало, обедал, опять писал немного».

17 августа: «...написал несколько страниц».

19 августа: «Встал рано, написал довольно много. <...> Всем днем доволен, исключая немного лени во время занятия. Я мог бы заниматься еще меньше и быть довольным, но я недоволен тем, что во время работы позволял себе отдыхать».

20 августа: «Окончил Рубку леса. Schwach <Слабо>», — подведен очередной итог и дана оценка третьей редакции рассказа.

Трудно сказать, когда вновь Толстой приступил к работе над «Рубкой леса». В последних августовских дневниковых записях и на сентябрьских страницах дневника рассказ не упоминался ни разу, хотя, возможно, именно о нем идет речь 27 («утро писанья») и 28 августа: «Написал кое-что и обдумал многое». 4 сентября Толстой «принимался два раза писать, но нейдет». На следующий день то же самое: «Писанье решительно нейдет». И только 19 сентября «утром писал немного».

В это время Толстой занят еще одной идеей — об издании журнала «Военный листок» (см. комментарий к рассказу «Как умирают русские солдаты»). К 23 октября готова и «статья» для журнала. Но «Военный листок» не был разрешен. Смерть солдата Бандарчука, ставшая сюжетным центром маленького рассказа, совершенно очевидно переключается с сюжетом «Рубки леса», и многое из рассказа о том, как умирают русские солдаты, перейдет на страницы «Рубки леса».

Крушение планов, связанных с военным журналом, заставило Толстого обратиться к Некрасову с предложением «материалов современного, военного содержания, набранных и приготовленных» для «Военного листка». «На проект мой государь император всемилостивейше изволил разрешить печатать статьи наши в “Инвалиде”!» — с едва скрываемым возмущением сообщил Толстой редактору «Современника». Он намеревался «заняться отделкой новых вещей», которые надеялся поместить в

«Современнике» и для которых у него «матерьялов гибель». Возможно, среди «новых вещей» имелся в виду и рассказ «Рубка леса». Это письмо Некрасову от 19 декабря 1854 г. было написано уже из Крымской армии, из селения Эски-Орда, где Толстой оказался вскоре после приезда в Севастополь.

Севастопольские события отодвинули на задний план кавказский рассказ «Рубка леса». Новые впечатления рождали новые замыслы, связанные непосредственно с происходящим в Севастополе. Анализируя причины неудач русского войска, Толстой по-новому взглянул на то, что происходит в армии, впервые осознав катастрофичность ее положения. Возможно, толчок этому дали встречи и разговоры с ранеными французами и англичанами, о чем есть запись в дневнике 23 ноября.

Зимой 1855 г. начат «проект о переформировании армии» (в *Юб.* — «Записка об отрицательных сторонах русского солдата и офицера», т. 4). Это было первое «не могу молчать» Льва Толстого. Наиболее откровенно настроение его выразилось в первой редакции «проекта». «По долгу присяги, а еще более по чувству человека, не могу молчать о зле, которое открыто совершается передо мной и очевидно влечет за собой гибель миллионов людей — гибель силы, достоинства и чести отечества. Стоя по своему рождению и образованию выше среды, в которую поставила меня служебная деятельность, я имел случай изучить зло это до малейших грязных и ужасных подробностей. Оно не скрывалось от меня, быв уверенно найти во мне сочувствие, — и я способствовал ему своим бездействием и молчанием. Но ныне, когда зло это дошло до последних пределов, последствия его выразились страданиями десятков тысяч несчастных и оно грозит гибелью отечества, я решился, сколько могу, действовать против него пером, словом и силою», — так начинал Толстой свое обращение. Далее, говоря о солдатах, он разделял их на три рода: «угнетенных, угнетающих и отчаянных» — и давал подробную характеристику каждому из этих родов. В несколько ином виде эта классификация появится во второй главе «Рубки леса».

Столь же пристально Толстой всматривался в офицеров, выделяя среди них тоже три типа: «наемники», «грабители», «безнравственные невежды» (в 1-й редакции проекта) или иначе: «офицеры по необходимости», «офицеры беззаботные» и «офицеры-аферисты» (во 2-й редакции). Описывая бедственное положение солдат в русской армии, автор предлагал меры, по принятии которых «солдат будет счастливее, нравственнее и храбрее». Что же касается офицеров, Толстой более категоричен: «Содержание же офицера нашего было бы недостаточно для офицеров таких, какие должны быть, но для таких, какие есть, оно слишком велико. Ежели бы в половину убавить жалованье офицера и в половину прибавить оным жалова^нье солдата, войско наше было бы вдвое лучше», — такое решение задачи предлагал Толстой и призывал завести «во всех полках школы, дать солдатам журналы, хороших духовников, офицерам ротные и батарейные библиотеки, учредить экзамены на каждый чин» и другие меры, чтобы «быстро шагнуть вперед, уничтожив телесное наказание». Записка эта не была закончена, но отдельные мысли ее в художественной форме воплотились в рассказе «Рубка леса», где автор так же внимательно вглядывался в русского солдата и офицера, стараясь увидеть наиболее характерное в русском воинстве.

На отношении к солдату не могли не сказаться тесное общение с защитниками Севастополя, пребывание на 4-м бастионе, военные лишения и опасности. Настроение Толстого заметно менялось. В апреле 1855 г. написан и отправлен в редакцию «Современника» первый севастопольский рассказ, где героем стал «народ русский». И только 8 мая в дневнике появилась запись о так и не завершённом рассказе «Рубка леса»: «...З<аписки> [Ю<нкера>]» Ф<ейерверкера> кончу на днях». Спустя три недели новое упоминание о рассказе, уже под заглавием «Записки юнкера»: «После обеда пошел в сад, пописал немного За<писки> Ю<нкера>» (1 июня). Очевидно, что фигура рассказчика-фейерверкера ограничивала возможности писателя: фейерверкер не мог быть *своим* в офицерской среде, и многое в жизни армейских офицеров могло быть ему недоступно и непонятно. Иное положение, как правило, занимал юнкер: дворянин по происхождению, добровольно поступивший на службу и готовящийся стать офицером, он был вхож в офицерское общество и в то же время (как унтер-офицер) был не чужд солдатскому миру. Таким образом личность рассказчика-юнкера в четвертой редакции становилась одним из художественных сцеплений, тем «замком», который настойчиво искал Толстой, чтобы «свести своды» двух сюжетных линий рассказа.

Всю первую половину июня шла работа над «Рубкой леса. Рассказом юнкера». 14 июня с позиции на реке Бельбек под Севастополем Толстой писал И.И.Панаеву: «Сам я был болен, но, несмотря на то, надеюсь, что дня через три pošлю вам «Рассказ юнкера» — довольно большую статью, но не севастопольскую, а кавказскую, которая поспеет к седьмой книжке. Верьте, что мысль о военных статьях занимает меня теперь столько же, сколько и прежде». Толстой обещал для журнала «Современник» «по статье каждый месяц» и просил Панаева: «Ежели Тургенев в Петербурге, то спросите у него позволения на статье Рассказ юнкера надписать: посвящается И.Тургеневу. Эта мысль пришла мне потому, что, когда я перечел статью, я нашел в ней много невольного подражания его рассказам». В середине июня дело шло особенно споро. «Целый день работал и, несмотря на то, что здоровье хуже, я доволен своим днем и ни в чем не имею упрекнуть себя,— писал Толстой в дневнике 16 июня.— Ура... Окончил З<аписки> Ю<нкера>, нечетко и нехорошо, но послать можно». И в тот же день отметил в записной книжке: «С утра до обеда поправлял и собирал Р<ассказ> Ю<нкера>. <...> Н<а> з<автра> исправить: сделать естественнее разговор с Болховым. После обеда кончил З<аписки> Ю<нкера>». На следующий день снова «работал все над З<аписками> Ю<нкера>». 18 июня — последнее упоминание о рассказе. «Утром окончил поправку З<аписок> Ю<нкера>, написал письмо и отослал,— отмечено в записной книжке и то же самое в дневнике, где Толстой сетовал, что «не переделал разговора в За<писках> Ю<нкера>, к<оторый> нужно было переделать»: «поленился»,— признался он в записной книжке.

Авторская дата, помещенная под текстом «Рубки леса» в «Современнике»,— «15 июня 1855 года» — выглядит странно, если учесть все приведенные выше записи самого Толстого о работе над рассказом в середине июня. По мнению Н.Н.Гусева, дата эта неверна: «Судя по тому, что в дневнике окончание рассказа указано совершенно определенно под датой 18 июня, полагаем, что та же дата была представлена и под рукописью

рассказа, но так как в то время цифры 5 и 8 Толстой писал очень похоже одна на другую, то в типографии дата была прочитана неправильно: вместо 18 — 15 июня, и с этой неправильной датой рассказ появился в печати» (*Гусев, I, с. 552*). Предположение Н.Н.Гусева и его аргументы весьма убедительны, однако они не могут быть основанием для исправления датировки «Рубки леса»: иногда в процессе работы Толстой, считая произведение завершенным, мог подписать дату окончания, но на следующий день работа возобновлялась, вновь правилась уже готовая к отправке рукопись, дата же могла остаться неисправленной.

Письмо, о котором упоминал Толстой 18 июня, датировано 16 июня; возможно, это письмо И.И.Панаеву он начал писать именно 16-го, в тот день, когда записал, что окончил рассказ. «Чтобы сдержать свое обещание и прислать Вам Рассказ юнкера для седьмой книжки “Современника”, — писал Толстой, — посылаю его Вам непереписанным в немножко непрезентабельном виде. Вы заметите, однако, что, несмотря на перемарки, все очень четко и ясно. Я очень боюсь, чтобы Вы не приняли небрежность переписки за небрежность сочинения, напротив, ни один рассказ мне не стоил столько труда и времени, поэтому <далее, вероятно, армейская цензура вырезала в письме несколько строк, в которых были названы наиболее важные для автора сцены и эпизоды> <ес>ли бы были исключены, уничтожили бы весь смысл рассказа, хотя то, что он мне стоило много времени, нисколько не доказывает мне его достоинства; напротив, он мне кажется очень сомнительным, и так как я его никому не показывал, то мне очень интересно будет узнать о нем Ваше мнение, которое и прошу Вас очень поскорее сообщить мне и совершенно откровенно. <...> Как бы то ни было, ежели Вы найдете рассказ этот в *настоящем виде* стоящим печатания, печатайте, ежели нет, пришлите мне его обратно...».

Ожидание ответа из «Современника» затянулось на целый месяц, хотя газета «Северная пчела» 5 июля в отделе «Библиографических известий», сообщая о том, что будет напечатано в «Современнике» «в течение нынешнего года», первой строкой среди прочих произведений называла «Рубку лесу. Рассказ юнкера» Л.Н.Т.».

18 июля Панаев писал из Петербурга, получив уже и второй севастопольский рассказ: «Я удивляюсь, как Вы не получили мое письмо по почте в ответ на присланный Вами рассказ “Рубка лесу” — прелестный рассказ, который будет в сентябрьской книжке. <...> Присылайте рассказы к следующим книжкам. Вы не можете себе представить, с какою жадностью читает их вся Россия. Тургенев Вам кланяется. Он пишет мне, что Ваше посвящение ему и приятно, и лестно. <...> Буквы Л.Н.Т. ждут все в журнале с страшным нетерпением — это не комплимент — а та же *голая правда*, которая героем в Вашем рассказе, хотя эта правда не нуждается ни в малейшем украшении. Она приятна и голая» (*Переписка, т. 1, с. 127*).

Что касается посвящения «Рубки леса», И.С.Тургеневу об этом сообщил в письме из Москвы 30 июня Н.А.Некрасов: «Кстати, о посвящениях: Толстой посвятил тебе повесть “Юнкер”, которую прислал в “Современник”» (*Некрасов, т. 14, кн. 1, с. 204*). Панаев 1 июля писал Тургеневу из Петербурга: «Между прочим, он <Толстой> прислал мне рассказ из Кавказской войны — “Рубка лесу” — прелесть. Он просил меня, чтобы я написал к тебе о позволении посвятить этот рассказ тебе» (*ЛН, т. 73, кн. 2, с. 112*). Тургенев 10 июля отвечал Некрасову, что ему «очень польстило

посвящение Толстого» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 45). И в тот же день Панаеву: «Мне очень лестно желанье его посвятить мне свой новый рассказ» (там же, с. 46). Более чем полвека спустя, 15 июля 1908 г., Д.П.Маковицкий записал в Ясной Поляне короткое воспоминание М.Н.Толстой об этом посвящении: «Мария Николаевна спросила Л<ева> Н<иколаевича>: А ты помнишь, что ты Тургеневу посвятил повесть? Кажется, “Двух гусаров”¹.

Л<ев> Н<иколаевич> не помнил.

Мария Николаевна: “Тургенев встал на стол, поднял книгу (“Современник”) до потолка — комната у нас низкая была: “Вот как я вырос теперь! Толстой посвятил мне рассказ”» (*ЛН*, т. 90, кн. 3, с. 144).

20 июля наконец пришло письмо от Панаева (не сохранилось); в дневнике запись: «Сегодня получил письмо от Панаева, 3<аписками> Ю<нкера> довольны, напечатают в VIII книжке».

О новом рассказе Толстого Некрасов писал Тургеневу 18 августа: «В IX № “Современника” печатается посвященный тебе рассказ юнкера: “Рубка лесу”. Знаешь ли, что это такое? Это очерки разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), то есть вещь, донныне небывалая в русской литературе. И как хорошо! Форма в этих очерках совершенно твоя, даже есть выражения, сравнения, напоминающие “3<аписки> ох<отника>”, а один офицер так просто Гамлет Щигровского уезда в армейском мундире. Но все это далеко от подражания, схватывающего одну внешность» (*Некрасов*, т. 14, кн. 1, с. 215).

В конце лета, 28 августа, Панаев сообщал Толстому, как идет его казакский рассказ: «“Рубка лесу”, с посвящением Тургеневу,— появится также² в сентябре (Тургенев просил меня очень, очень благодарить Вас за память о нем и внимание к нему)... И в этом рассказе, прошедшем сквозь три цензуры: *кавказскую* (цензор статс-секретарь Бутков), *военную* (генерал-майор Стефан)³ и *гражданскую, нашу* (мой цензор и Пушкин),— тронуты типы офицеров и кое-что повыкинуто, к сожалению» (*Переписка*, т. 1, с. 130–131). Об этом же 2 сентября извещал Толстого Некрасов: «“Рубка леса” прошла порядочно, хотя и из нее вылетело несколько драгоценных черт. Мое мнение об этой вещи такое: формою она точно напоминает Тургенева, но этим и оканчивается сходство; все остальное принадлежит Вам, и никем, кроме Вас, не могло бы быть написано. В этом очерке множество удивительно метких замечок, и весь он *нов*, интересен и делен. Не пренебрегайте подобными очерками; о солдате ведь наша литература донныне ничего не сказала, кроме пошлости. Вы только начинаете, и в какой бы форме ни высказали Вы все, что знаете об этом предмете,— все это будет в высшей степени интересно и полезно» (*Некрасов*, т. 14, кн. 1, с. 218–219).

¹ Ошибка памяти: повесть «Два гусара» была посвящена самой М.Н.Толстой.

² В этом же письме Панаев писал о втором севастьяпольском рассказе, который должен был появиться в сентябрьском номере журнала.

³ Согласно «Реестру сочинениям и статьям, рассмотренным в Военно-цензурном комитете в 1855 году», в военную цензуру «Рубка лесу» поступила в корректуре (5 форм) 13 августа. 14 августа сочинение было «одобрено» (*РГВИА*, ф. 494, оп. 1, № 6, л. 378).

Цензурное разрешение сентябрьскому номеру журнала было дано 31 августа. Газета «Северная пчела» (№ 195, с. 1030) 7 сентября 1855 г. уже уведомляла читателей о том, что вышла и раздается подписчикам девятая книжка журнала «Современник». Перечисляя произведения, составившие книжку, газета называла и «“Рубку лесу. Рассказ юнкера” Л.Н.Т.».

13 сентября 1855 г. «Современник» № 9 с рассказом «Рубка лесу» вышел из печати (здесь же был напечатан второй севастопольский рассказ Толстого под заглавием «Ночь весною 1855 года в Севастополе» — без имени автора).

В рапорте товарищу министра народного просвещения П.А.Вяземскому 29 сентября чиновник особых поручений надворный советник Н.Родзянко доносил, что в сентябрьской «книжке журнала “Современник”» «никаких отступлений от цензурных правил не оказалось», однако «счел долгом обратить внимание» товарища министра на некоторые страницы «русской повести “Рубка леса”», в частности цитировал разговор рассказчика юнкера с офицером Болховым о службе на Кавказе («Когда этот отряд кончится ~ всю будущность свою погублю»), подчеркивая отдельные фразы и фрагменты, показавшиеся ему «не совсем уместными в печати». Реакция товарища министра (записанная, видимо, с голоса каким-то чиновником, — почерк не Вяземского) представлена здесь же, на полях рапорта. «Кажется, не вредно», — написано карандашом рядом с текстом диалога двух офицеров. А напротив фразы: «О, в штабе в десять тысяч раз хуже, — сказал он со злостью: — нет, когда всё это совсем кончится?» — удовлетворенное: «Это хорошо». Привел Родзянко и маленький фрагмент из характеристики молодого прапорщика, батальонного адъютанта, эпизод из его отношений с денщиком («Когда пьяный денщик ~ боялся смотреть в глаза своему Чернову»), рядом с которым выведено: «Не предосудительно». И третий фрагмент, встревоживший доносителя, — рассказ капитана Крафта о том, как он брал «завалы» («Главкомандующий и говорит мне: “Крафт! ~ С русским солдатом, знаете, надо просто»). На полях оценка: «Не предосудительно, потому что здесь выведен лжец и хвастун» (*РГАЛИ*, ф. 195, Вяземские, оп. 1, ед. хр. 719. Письма к Вяземскому, л. 1–2 об.).

В 1856 г. «Рубка леса» была напечатана в сборнике «Военные рассказы графа Л.Н.Толстого». При подготовке этого издания рассказ подвергся заметной авторской правке: в самом названии Толстой изменил написание слова «лесу» на «леса»; было снято посвящение И.С.Тургеневу, причем, вероятно, на самом последнем этапе работы над рукописью, между 4 и 7 мая (через военную цензуру рукопись рассказа прошла с этим посвящением — *РГВИА*, ф. 494, оп. 1, д. 6, л. 189–190). Внесены изменения и в текст рассказа — вставлены отдельные фразы и целые фрагменты, которые при первой публикации вымарала цензура: так, во II главе — «Главные эти типы ~ в) отчаянных развратных»; «Отличительная черта покорного хладнокровного ~ с бесцельным трудолюбием и усердием»; «Второе подразделение составляют ~ как начальствующие первого разряда»; «Он — ехидная его мерзкая душа ~ из души взял». В VI главе — «Знаете, я в нынешний отряд ~ вертя кулак перед своей грудью». В главе VII — «По всему видно было ~ ядра — пехотным»; «И Веленчук ~ он нас даром-то бьет?». В главе X — «до тех пор, пока не получу ~ ехавши сюда»; «Это тоже одно из преданий ~ Гнилокишкину дадут награду, а

мне нет». В главе XI — «и даже дерзости ~ адъютантам и бонжурам»; «как флигель-адъютанта ~ так знаете»; «— Да что вы! ~ снова посмотрел на часы»; «— Нет, право, Абрам Ильич ~ что же вы хотите... что?»; «Новый гость ~ подумал я». В главе XII — «— Ну-с, так вот мы считали ~ знаете, просто, по-русски». Правда, монолог майора, рассчитывавшего, «что нужно офицеру» (где майор спрашивает и сам себе отвечает), был по рукописи неверно прочтен наборщиком и напечатан как разговор нескольких офицеров.

Готовя «Рубку леса» для сборника «Военные рассказы», Толстой уточнял, усиливал некоторые характеристики персонажей. Так, например, в «Современнике» об офицере Болхове в начале VI главы говорилось всего лишь: «Ротный командир Болхов имел состояние и служил прежде в гвардии. Товарищи любили его: он был довольно умен и имел достаточно такту». В XII главе в «Современнике» капитан Тросенко после расчетов майора делал вывод: «...право, нашему брату на жизнь жаловаться нечего: все живем, и чай пьем, и табак курим... Чего же еще?» — вывод, явно навязанный персонажу цензурой. В тексте «Военных рассказов» слова капитана Тросенко звучат иначе: «...как ни считай, все выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем». Наряду с этими большими и серьезными изменениями Толстой внес в текст рассказа многочисленные стилистические и синтаксические поправки.

Рассказ «Рубка леса» входил во все собрания сочинений Л.Н.Толстого, где печатался по тексту «Военных рассказов». Занимаясь корректурой девятого издания, Н.Н.Страхов писал из Петербурга С.А.Толстой 26 декабря 1892 г.: «Мне пришло на мысль, что “Рубку леса” (которую высылаю Вам вместе с этим письмом) непременно нужно поместить перед “Севастополем”»; ведь она прямо примыкает к “Набегу”.

Если Вы перелистывали мои выправленные листки, то Вы встретите иногда *красный карандаш* — это знак сомнения, которого я не мог разрешить.

Оказывается, что последнее дешевое издание <имеется в виду 8-е издание 1889 г.> гораздо исправнее того, которое Вы мне прислали для выправки. Однако же и в том и в другом вместо *бонжурами* стоит *бонжуролии*!¹ Такие открытия меня радуют, но я все боюсь, что пропущу много случаев, где человек более зоркий сделал бы поправку.

<...> Выправлять знаки препинания и опечатки — как раз теперь работа по моим силам².

Но как я восхищаюсь этим текстом! Напишу потом свои новые впечатления Льву Николаевичу, да и теперь меня постоянно подмывает писать ему о том, какие несравненные качества я открываю в его писаниях» (Л.Н.Толстой и С.А.Толстая. Переписка с Н.Н.Страховым. Оттава, 2000, с. 259).

В 1866 г. три главы из «Рубки леса» (II, III, IV) под заглавием «Из

¹ Эта ошибка появилась в сборнике «Военные рассказы» (с. 91), переходила из издания в издание и была исправлена только в 6-м и 7-м изданиях, выпущенных С.А.Толстой в 1886 и 1887 гг.

² Страхов был болен в это время.

военного быта» были напечатаны в сборнике для юношества «“Между делом”. Рассказы, стихотворения и статьи научного содержания» (СПб.). В 1904 г. рассказ Толстого был включен в сборник «Русские писатели. Книга для чтения в семье и школе» (сост. Д.Истомин. СПб., 1904).

Военная жизнь на Кавказе, открывавшаяся со страниц «Рубки леса», действительно была «нова», «интересна» и прежде недоступна современникам. Все, что явилось в рассказе, самым тесным образом было связано с ежедневной, будничной жизнью русских солдат и офицеров, писалось «с натуры», на живом фактическом материале, подвижном и изменчивом; многое восходит к реальным фактам из жизни самого Толстого: не раз он принимал участие «в походах и делах против неприятеля» («Указ об отставке Л.Н.Толстого от военной службы» — *Летописи ГЛМ*, кн. 12, с. 186), в том числе и в рубке леса, в феврале 1852 и в январе-марте 1853 гг. (в этом походе он командовал взводом). Много лет спустя, в феврале 1900 г. А.Б.Гольденвейзер записал в своем дневнике эпизод, связанный с экспедицией 1852 г. и рассказанный самим Л.Н.Толстым: «18-го февраля были именины Льва Николаевича.

Лев Николаевич рассказал:

— В этот самый день на Кавказе я наводил пушку, а в это время неприятельская граната ударила в обод колеса этой пушки, вогнула колесо, а мы все остались целы. Это было дело, которое у меня описано в рассказе “Рубка леса”» (*Гольденвейзер*, с. 61).

Об этом же «деле» 18 февраля 1906 г. Толстой писал своему знакомому Г.А.Русанову: «Сегодня 53 года, как неприятельское ядро ударило в колесо той пушки, которую я наводил. Если бы дуло пушки, из которого вылетело ядро, на $1/1000$ линии было отклонено в ту или другую сторону, я бы был убит, меня бы не было». И в тот же день в письме к другу и биографу П.И.Бирюкову: «Нынче вспомнил, как в этот день 53 года тому назад был в сраженье и ядро попало в колесо пушки, которую я наводил». Н.Н.Гусев считал, что в этих письмах «Толстой ошибочно относит это событие к 1853 году», ибо сохранившееся черновое письмо его к генералу князю А.И.Барятинскому, написанное в июле 1853 г., «не оставляет сомнения в том, что данный случай произошел в 1852 году» (*Гусев*, I, с. 326). «Я поступил на военную службу 16 месяцев тому назад <...>, — писал Толстой. — Я два года был в походах и оба раза весьма счастливо. 1 год неприятель подбил ядром колесо орудия, которым я командовал, на другой год, наоборот, неприятельское орудие подбито тем взводом, которым я командовал». Датировка этого случая 1852 годом подтверждается и письмом Н.Н.Толстого младшему брату от 18 февраля 1855 г.: «Помнишь ли, где мы были с тобой в день твоих именин, т.е. сегодня, 3 года тому назад? Сегодня утром у тебя подбили орудие, и мы тащились по Чечне под градом пуль и пр., как говорят в книжках...» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 180). Как видно, приведенные документы дают достаточно оснований считать, что «дело», о котором говорил Толстой, происходило в 1852 г.; его участие в этом «деле» отмечалось и в «Указе об отставке Л.Н.Толстого от военной службы»: «...По прошению принят на службу фейерверкером 4 класса 1852 февраля 13 <...> в батарею № 4 батарею 20-й артиллерийской бригады <...>. В походах и делах против неприятеля находился <...> 18 <февраля> — в жарком и блистательном деле отряда

против неприятеля в Майортупском лесу; при переправе через р. Гашень, при атаке неприятельской позиции на р. Мичике и поражении неприятеля, при переправе через р. Мичик, после чего прибыл в Куринское укрепление, 20 — возвратился в крепость Грозную...» (*Летописи ГЛМ*, кн. 12, с. 185–186). И если, как вспоминал сам Толстой, он действительно описал в «Рубке леса» это «дело», то можно с уверенностью заключить, что события в рассказе происходили в Майортупском лесу. Несомненно и то, что участие Толстого в походе 1853 г. также не могло не отразиться в тексте «Рубки леса» и какие-то сцены, ситуации, факты, детали могли появиться в рассказе как результат наблюдений во время этого похода.

Солдатские и офицерские типы в рассказе — тоже во многом плод наблюдений и размышлений Толстого над реальными лицами, судьбами, отдельными чертами его кавказских сослуживцев. Беседы с офицерами, солдатские разговоры, рассказы, характеры, портреты солдат были взяты писателем из той живой военной жизни, которая шла своим чередом в 20-й артиллерийской бригаде и была близка и понятна Толстому, потому что «солдатики» эти были из его батареи. Даже фамилии некоторых «батарейных» появились в рассказе. Под своей фамилией выведен в «Рубке леса» солдат Жданов, тот самый, о котором писал Толстой в дневнике 6 января 1854 г.; и характер его, и теплое и трогательное «*дядишка*» в обращении к Жданову других солдат — все нашло место в рассказе в образе старого солдата Жданова. Веселому, неунывающему солдату-балагуру автор дал тоже знакомую фамилию Чикин, таким образом запечатлев одного из своих батарейных сослуживцев, о котором упомянул в дневнике 21 января 1854 г. по дороге с Кавказа домой. Возможно, именно тогда пришла мысль назвать весельчака солдата этим именем. Фейерверкер Максимов — тот самый фейерверкер Рубин, о котором тоже шла речь в дневниковой записи 6 января 1854 г. Наставления солдата Жданова Максиму, когда тот был рекрутом, отношение самого Максимова к старику Жданову, история с кражей у Веленчука — все это взято из жизни, о чем и рассказал дневник Толстого. Сам же Веленчук — это, по-видимому, во многом «строевой ефрейтор» Спевак (не случайно сохранена малороссийская фамилия). Даже рекрутик, не главный, но столь выразительный персонаж в рассказе, имеет своего прототипа — по всей вероятности, это рекрутик Захаров, о котором Толстой тоже писал в дневнике после разговора «о солдатиках» 6 января 1854 г.

Перенес писатель в рассказ и живую речь солдатскую: 18 ноября 1853 г. в дневнике отмечено, что «казаки говорят *эта ружье*», — «та дерево», «чудо такая» говорят в «Рубке леса» солдат Веленчук и капитан Тросенко. В архиве Толстого сохранились записи казачьих и солдатских песен. Одна из них, записанная рукой Толстого, вероятно, и есть «Березушка», которую так любил «дяденька Жданов». Песня без заглавия; неизвестно, когда она записана Толстым; текст ее неполный. Н.Н.Гусев считал ее казачьей песней и полагал, что она была «прислана Толстому в 1862 году по его просьбе бывшим его батарейным командиром Алексеевым» (*Гусев, I, с. 557*). Но, судя по всему, это солдатская песня (рекрутская), записанная Толстым по памяти в конце лета или осенью 1854 г. для предполагаемого журнала «Военный листок»: в тексте есть исправление, многоточиями обозначены пропущенные строки (Толстой, видимо,

не знал или забыл полный текст песни). Вот эта запись (сохраняем строку Толстого):

«В поле при долинушке [стояла]
выросла тут древа.
.
Оно древо березушка была.
.
С корня корнявастая, посеред
береза ветлявастая, поперед
береза кудрявастая. Под этой
березой белой водилася птица пава,
Птица пава запропала, некруцкая
слава, худая слава».
(ГМТ. Материалы к повести «Казачи», оп. 1, л. 1.)

В лексике и стиле песни слышны некоторые характерные черты речи толстовских «солдатиков» из «Рубки леса».

«Забавник» Чикин рассказывал сказку про «английского милорда» — этот факт тоже перешел в «Рубку леса» из живой солдатской жизни: лубочная книжка под названием «Повесть о приключении английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе <...> с присовокуплением к оной Истории бывшего турецкого визиря Марцимира и сардинской королевы Терезии» была одной из самых читаемых в солдатской среде. Эту книжицу небольшого формата — одна восьмая доля листа — хранили в солдатских мешках и ранцах, передавали из рук в руки, она переходила от погибших к живым... В Российской государственной библиотеке можно встретить экземпляры этой книги с автографами ее бывших владельцев. Так, на обложке, на форзаце и на обороте титульного листа книжки издания 1847 г. (изд. 10)¹ сохранились следы старых, тщательно стертых карандашных надписей, начинавшихся словами: «Сия книга принадлежит...». Последним владельцем книги был «солдатык» Иван Мартынов, о чем сообщает четкая запись черными чернилами на правой стороне форзаца²: «Сия книга принадлежит Ридовому и Ван Мартынову. 1854 года мая 20 дня». В книге на полях есть несколько пометок, свидетельствующих о том, что читана она не только солдатами, но, вероятно, и офицерами. Наверняка не раз видел Толстой (а может быть, и сам читал) в руках «солдатиков» такую книжку.

Менее узнаваемы в «Рубке леса» офицерские типы, но и они, безусловно, имеют свою реальную основу: не столько, может быть, конкретных людей, сколько те характерные черты, которые наблюдал Толстой у сослуживцев и, творчески переработав и сгруппировав эти черты, наделил ими своих персонажей-офицеров. В дивизионе, куда входила 4-я батарейная батарея, служили четыре офицера, вместе с которыми Толстой участвовал в экспедиции зимой 1853 г.; скорее всего, эти офицеры отчасти яви-

¹ РГБ. Шифр книги: И $\frac{267}{41}$.

² Орфографию оригинала сохраняем.

лись прототипами четырех офицеров в «Рубке леса»: некоторые черты капитана Хилковского можно заметить в фигуре капитана Тросенко; молодой прапорщик, батальонный адъютант, «скромный и тихий мальчик, со стыдливым и добродушно-приятным лицом» чем-то напоминал молодого офицера прапорщика и бригадного адъютанта Н.И.Буюмского. «Масленные глазки» и весь облик майора Кирсанова стали в известном роде отражением севастопольского командира Толстого капитана В.С.Филимонова, на что косвенно указывало и имя его — Абрам Ильич — некоторая аналогия, проведенная Толстым в «Характерах и лицах» с яснополянским Андреем Ильичом. Кстати, фамилии двух офицеров в рассказе совершенно очевидно близкого к Туле происхождения: Болхов, Кирсанов — названия маленьких уездных городков Орловской и Тамбовской губерний (А.И.Кирсанов, по его рассказам, «в пятьдесят втором году был в Тамбову»), граничащих с Тульской губернией. Поручик Сулимовский, которому Веленчук «шинель работал», упоминался в рассказе со своей настоящей фамилией — это кавказский сослуживец Толстого.

В образе юнкера, от имени которого ведется рассказ, не трудно увидеть характерные черты и мысли самого Толстого: это и отношение юнкера к Кавказу, к солдатам, к службе «в штабе», поведение его во время обстрела. Но некоторые свои черты и взгляды автор передал ротному командиру Болхову, бывшему «в нынешний отряд в первый раз в деле» (глава VI): страх и тревогу перед выступлением дивизиона на рубку леса, мечты и представления о Кавказе и реальное впечатление от знакомства с Кавказом, тщеславные надежды на военную карьеру и награды. «Нынче Оголин сказал мне, что я получу крест,— записал Толстой в дневнике 20 февраля 1853 г., во время похода, который позднее частично запечатлен в «Рубке леса». — Дай Бог — и только для Тулы». Эти настроения Толстого отголоском звучат в разговоре юнкера с Болховым в VI и X главах, где Болхов говорил: «И потом, как я покажусь на глаза в России своему старосте, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке московской и всем этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды? Правда, что я этих господ знать не хочу...». Н.Н.Гусев считал, что «иронический тон всего этого разговора <...> заставляет думать, что Толстой написал его в назидание себе самому как одно из средств борьбы с тщеславием, от которого в то время он был далеко не свободен» (Гусев, I, с. 556). Дневниковые записи тому доказательство: «Тщеславие — моральный беспорядок»,— определил Толстой 2 декабря 1853 г. «Не тщеслався»,— записал он для себя в «Правилах и предположениях» в те же дни и уточнил в «Правилах исправления»: «Бойся лжи и тщеславия, которое производит ее». Мысли о тщеславии будут появляться в дневнике и позднее, в 1854 и в 1855 годах, и найдут отражение в рассказе «Севастополь в мае», написанном сразу вслед за «Рубкой леса», так что и здесь в рассказе заметен автобиографический «след».

Опубликованный в «Современнике» с посвящением И.С.Тургеневу рассказ стал поводом для личного, хотя пока заочного, знакомства двух писателей. 3 (15) октября 1855 г. Тургенев послал Толстому первое письмо, положившее начало их большой переписке. «Во-первых, благодарю Вас душевно за посвящение мне Вашей “Рубки лесу”,— писал Тургенев,— ничего еще во всей моей литературной карьере так не польстило моему

самолюбию. Ваша сестра, вероятно, писала Вам, какого я высокого мнения о Вашем таланте и как много от Вас ожидаю — в последнее время я особенно часто думал о Вас. Жутко мне думать о том, где Вы находитесь. Хотя, с другой стороны, я и рад для Вас всем этим новым ощущениям и испытаниям,— но всему есть мера — и не нужно вводить судьбу в соблазн,— она и так рада повредить нам на каждом шагу.— Очень было бы хорошо, если б Вам удалось выбраться из Крыма — Вы достаточно доказали, что Вы не трус,— а военная карьера все-таки не Ваша. Ваше назначение — быть литератором, художником мысли и слова. <...> Я слишком люблю русскую словесность, чтобы не питать желания знать Вас вне всяких глупых и неразборчивых пуль. Если действительно Вам возможно приехать хотя на время в Тульскую губернию,— я бы нарочно явился сюда из Петербурга, чтобы познакомиться с Вами лично,— это Вам не может служить большой приманкой — но, право, для Вас самих, для литературы — приезжайте. Повторяю Вам — Ваше орудие — перо, а не сабля,— а Музы не только не терпят суеты,— но и ревнивы» (*Тургенев*. Письма, т. 3, с. 62–63).

Доброе слово о своем новом рассказе прочитал Толстой в письме к нему сослуживца А.Я.Фриде от 24 октября 1855 г.: «Читал я Вашу “Рубку лесу”; в Кишиневе она подействовала на меня сильнее»,— писал Фриде (*ГМТ*).

Через несколько дней после выхода «Современника» в газете «Санкт-Петербургские ведомости» был опубликован первый отклик на рассказ Л.Н.Т. «Рубка лесу»: 20 сентября (№ 204, с. 1069) в фельетоне о русской журналистике рецензент газеты (статья без подписи), анализируя августовскую и сентябрьскую книжки «Современника», лучшими статьями в этих номерах назвал «два небольшие рассказа: один Л.Н.Т. “Рубка лесу” (т.е. “Рубка леса” <поправляет критик>, неужели автор хочет следовать правописанию “Библиотеки для чтения”?), другой — неизвестного автора, “Ночь весною 1855 года в Севастополе”. Оба рассказа представляют живую картину военной жизни в Крыму и на Кавказе и написаны с одинаковым одушевлением, как будто одним и тем же лицом». По мнению автора рецензии, «в кавказской картине рассказан один из любопытных эпизодов войны с горцами». «Несколько портретов кавказских офицеров и солдат, их разговоры, смерть одного солдата, картины природы — все это очерчено мастерски, искусною и бойкою рукою. Подробности рассказа так живы и рельефны, что рисуются перед глазами читателя, невольно врезаются в память. Конечно, вся статья эта не более, как эскиз, который можно предпочесть многим картинам с обширным содержанием и широким планом».

Журнальная критика обратилась к новому рассказу Л.Н.Т. в октябрьских книжках. «Современник» поместил очередной обзор Некрасова «Заметки о журналах за сентябрь 1855 года» (№ 10, отд. V), где редактор журнала, как бы предваряя возможные обвинения в необъективном отношении к произведениям, публикуемым в журнале, писал: «Добросовестный журнал хвалит то или другое произведение не потому, что оно в нем напечатано, а печатает его потому, что оно достойно похвалы». Говоря о том, что «дельное», или «практическое направление» современной русской литературы, «состоящее в стремлении к изучению своего, национального — во всех его проявлениях и сословиях, почти не коснулось сословия воен-

ного», Некрасов пояснял, что «со времени фразистых повестей Марлинского, в которых и офицеры и солдаты являлись в несвойственной им мантии средневековых воинов,— мы не имели ничего о русском солдате». Автор «Рубки леса», считал критик, ввел читателя в этот «совершенно новый» для него мир, представив в своем рассказе «несколько типов русских солдат, типов, которые могут служить ключом к уразумению духа, понятий, привычек и вообще составных элементов военного сословия». По мнению Некрасова, «мастерство рассказа, полное знание изображаемого быта, глубокая истина в понимании и представлении характеров, замечания, исполненные тонкого и проницательного ума,— вот достоинства рассказа г. Л.Н.Т.» (с. 185).

«Отечественные записки» в отделе «Журналистика» (с. 108–110) напечатали статью (без подписи), где рецензент представлял новый рассказ, «подписанный буквами Л.Н.Т., которые читатель встречает с таким удовольствием, хотя и довольно редко, под прекрасными очерками». Критик полагал, что этот рассказ «никто не упрекнет в отсутствии жизни, чувства, поэзии». «С первых же страниц автор широкими, рельефными чертами рисует солдатские типы, которые выходят у него даже лучше и полнее очерченных в предыдущем рассказе¹. Типы *покорных, начальствующих, суровых, отчаянных, хлопотливых* солдат обрисованы мастерски». По мнению рецензента, солдатские разговоры — «верх естественности: важный фейерверкер Максимов, охотник говорить свысока и употреблять в беседе выражения, им самим плохо понимаемые, забавник и привилегированный остряк Чикин, молодец Антонов, сильно беспокойный во хмелю, смирный и недалкий старик Жданов, охотник до песен,— всё это лица, выхваченные живьем, с натуры, а разговор их, кажется, только что подслушан и записан. Рассказ Чикина о том, как он говорит мужикам, что “предводительствовал на Кавказе”, заставляет смеяться от души».

Автор статьи находил, что «в беседах солдат и заключается весь рассказ Л.Н.Т.», что «содержания в нем нет никакого», а «драматическую перипетию в нем составляет смерть одного солдата Веленчука, раненного во время нападения татар на отряд, отправившийся уже в обратный путь». Рецензент обращал внимание и на «портреты нескольких офицеров; между ними замечательны: ротный командир Болхов, которому ужасно надоел Кавказ и который все-таки ни за что не хочет с ним расстаться; скромный и бедный прапорщик; капитан Крафт из немцев, хороший офицер, но охотник прихвастнуть; капитан Тросенко, кажется, родившийся на Кавказе и спрашивающий: “Что, хорошо там у вас, в России? А я никогда туда не поеду!”». «Но,— подчеркивал критик,— главные действующие лица рассказа все-таки солдаты».

Очень тепло принял «Рубку леса» журнал «Москвитянин» (1855, № 17–18). В отделе «Внутренние известия» (с. 217) в качестве «октябрьских новостей» было помещено «Письмо из Петербурга» от 18 октября 1855 г. за подписью Z.Z. По мнению автора, «до октября» «в литературе только читались “писанные золотом” статьи Н.В.Б.² да Л.Н.Т., статьи, по поводу которых изорваны и истреplены в клочки номера журналов, где

¹ Имелся в виду рассказ «Ночь весной 1855 года в Севастополе».

² Н.В.Берг, сочинения его публиковались в самом «Москвитянине».

они напечатаны»; «Москвитянин» и «Современник» «справедливо заняли общее внимание». Обращаясь к «Рубке леса», Z.Z. не скрывал своего восхищения: «А какво перо этого таинственного Л.Н.Т.? — Каковы эти солдатики Веленчук и др.! — это первые здравые и трезвые типы русского солдата в нашей литературе».

В журнале «Библиотека для чтения» (1855, № 10), издававшемся под редакцией О.И.Сенковского и А.В.Старчевского, в отделе VI «Журналистика» безымянный рецензент объяснял читателям, что собой представляют «так называемые *рассказы*», появившиеся в современной литературе «наряду с повестями психологическими», — это «произведения, в которых нувеллисты предлагают читателям дагерротипные снимки с множества лиц, набросанные на скорую руку, одними тенями, без особенной заботы о передаче разнообразных красок и оттенков, из которых слагаются в одно гармоническое целое избранные характеры. Тут уже лица совершенно не действуют, и автор передает читателю только то, что он видел и подметил» (с. 29). В довольно пространной статье, где идет речь о новых произведениях Тургенева, Григоровича, Писемского и других современных писателей, автор уделил всего один небольшой абзац рассказу Л.Н.Т. «Рубка леса», который прочел «с некоторым интересом». «“Рубка лесу” наполнена описаниями типов кавказского войска», — писал критик, признавая, что любит в «г. Л.Н.Т. теплоту и, вместе с тем, тонкость очерков, стремление представлять картины в истинном свете». «Все лица входят у него на сцену непринужденно, в размерах, соответствующих впечатлению, произведенному ими на автора. Некоторые описания боевой кавказской жизни художественны, но в целом рассказ представляет только беглый очерк, который прочтешь не без удовольствия, но и забудешь довольно скоро. Это картина светлая, очень верная в подробностях; недостает в ней только характерности» (с. 37).

На эту рецензию 12 ноября откликнулись «С.-Петербургские ведомости» (№ 249, с. 1321). В фельетоне о русской литературе обозреватель газеты, не назвавший своего имени, заметил по поводу мнения «строгого рецензента» о том, что рассказ «Рубка леса» скоро забудется: «Желали бы мы рецензентам “Библиотеки для чтения” жить столько, сколько будут жить эти превосходные рассказы!» (обозреватель имел в виду и рассказ «Ночь весною 1855 г. в Севастополе»).

Большую статью С.С.Дудышкина о военных рассказах Л.Н.Т., в том числе и о «Рубке леса», напечатал журнал «Отечественные записки» в декабрьском номере 1855 г. (отд. VI, с. 74–92). Статья называлась «Рассказы г. Л.Н.Т. из военного быта и рассказы, записанные со слов очевидцев гг. Таторским и Кузнецовым и собранные г. Сокальским». «Превосходной военной картиной» представлялся критику рассказ «Рубка леса», во многом похожий на первый рассказ Л.Н.Т. «Набег». «Самое описание двух рассказов одинаково; но лица другие, хотя опять выражают совершенно одну и ту же мысль. Здесь главное, хотя и невидимо действующее лицо — русский солдат, у которого довольно метко схвачено много характеристических черт». Противоположностью «простому русскому солдату» виделся Дудышкину капитан Болхов, а его роль в рассказе критик сравнивал с ролью Розенкранца в «Набеге». «Этот капитан Болхов, Бог знает, по каким побуждениям, явился на Кавказе, он совсем уж не Мулла-Нур с виду, но в душе у него очень много печоринского, и поэтому на

имеет влияние на кружок. Непременно должно предположить, что он великий губитель женских сердец: он все, кажется, изведаль и потому считает долгом везде скучать». «Вся ходульность и мишурность капитана Болхова была поражена», как считал Дудышкин, сценами в шестой главе рассказа (в статье приводилась эта глава).

По мнению автора статьи, благодаря «истинному, дышащему правдой взгляду на вещи», все лица у художника «кажутся живыми, как жива истина, их согревающая. Лишь только заученная маска, однообразная у всех, спала с лица героев, которых рядили чересчур уж монотонно и неестественно, вдруг все они показали свои лица, характерные и настоящие, какими они всегда были». Это свойственно рассказу Л.Н.Т., где писатель представил «много лиц типических из солдатского кружка». Дудышкин считал, что «всех их автор коснулся только вскользь», но лица эти знакомы читателю, потому что здесь чувствуется «влияние современной русской повести на военные рассказы гр. Л.Н.Т.». «Первой чертой этого влияния» критик называл «разоблачение мишурности и вычурности» таких героев, как Розенкранц и Болхов, и «желание противопоставить им лица простые, каковы, например, капитан Хлопов, Тросенко и им подобные». «Второй чертой, заимствованной из современной же» литературы, Дудышкин считал «стремление к типическим лицам из простонародного круга». «В прежней нашей литературе <...> тип русского солдата был однообразен. Не так поступает гр. Л.Н.Т. Там, где он говорит как человек мыслящий, у него русский солдат один, и характеристика его одна; где же он представляет нам лица как художник, там у каждого своя личность; это разнообразие лиц дает ему средства подмечать характеристические черты и создавать типы». В этом критик видел «вторую причину успеха гр. Л.Н.Т.».

Свойства наблюдательности Л.Н.Т. Дудышкин объяснял тем, что «ему, как художнику школы новейшей, нужны типы, и он сначала старается представить эти типы в общих чертах, как программу, не более. В этой программе видна мысль», хотя, как полагал рецензент, «мысль уловить у таких художников, как гр. Л.Н.Т., труднее всего. Редко они обмолвливаются сухою, голою мыслью». Когда же «гр. Л.Н.Т. перешел от общих определений типов к частным, когда у него явились на сцене Максимов, Антонов, Веленчук, рекрут,— перед нами обнаружилась и та *мягкая* наблюдательность автора, в которой так чудесно слиты и юмор, и добродушие, и веселость, и прямой взгляд на вещи, тот многосторонний талант гр. Л.Н.Т., которым наделены очень, очень немногие». В целом ряде картин и подробностей «Рубки леса» Дудышкин видел «много истинной поэзии». «За один разговор солдат у огня ночью после смерти Веленчука (XIII и XIV гл.),— признавался критик,— мы готовы отдать иной многотомный роман. Эти пять страничек проникнуты такой неподдельной поэзией, что их можно перечитывать по несколько раз». В заключение статьи, сравнивая рассказы Л.Н.Т. с сочинениями из сборника солдатских рассказов г-на Сокальского, Дудышкин писал: «После таких рассказов мы вполне понимаем, как глубоко вникнул г. Л.Н.Т. в описываемый им быт и почему в рассказе его заключалась какая-то прелесть, которую сначала трудно было уловить».

Подводя итог журнальным публикациям уходящего 1855 года, «Библиотека для чтения» (№ 12, отд. VI, с. 14) сетовала, что в течение всего

года «Современник» «представил очень, очень мало замечательного в отделе изящной словесности». Из 24 названий лишь «семь небольших произведений принадлежат лучшим нашим писателям»,— отмечал журнал и вслед за именами и сочинениями И.А.Гончарова, А.Ф.Писемского и И.С.Тургенева упоминал «три весьма небольшие рассказа даровитого писателя Л.Н.Т.», в числе которых имелся в виду и рассказ «Рубка леса».

Некоторые январские (1856 г.) номера журналов и газет, оглядываясь на прошедший 1855 год, непременно возвращались к «Рубке леса». В первой книжке «Библиотеки для чтения» (1856, № 1, отд. VI) О.Колядин среди лучших произведений прошлого года, наряду с сочинениями Тургенева, Писемского, Григоровича, назвал «“Рубку лесу” г. Л.Н.Т.» (с. 15). «“Рубка лесу”,— писал обозреватель журнала,— представляет живой и полный очерк кавказских типов». Всмотревшись в эти типы, критик видел, что «каждое из этих боевых лиц представлено в настоящем свете, в тех *мягких*», по выражению О.Колядина, «очерках, которые дают возможность заметить каждую фибру, каждую жилку. Г. Л.Н.Т. воспроизводит каждую из этих личностей с тою же теплотою и художественностью, с которой запечатлены его описания природы, где живописно каждое слово и ни одно не тратится даром, не отличается вычурностью». Рецензент отмечал «обширность» темы рассказа, «интересные и новые» характеры, явившиеся в нем, а в самом таланте г. Л.Н.Т.— «удивительное искусство придавать один общий поэтический колорит всей картине» (с. 17).

«С.-Петербургские ведомости» 26 января (1856, № 21, с. 111–114) напечатали фельетон Вл.Зотова с обзором литературных журналов за 1855 год. Говоря о публикациях «Современника», автор статьи указывал на «солдатские рассказы», помещенные в журнале. Этот «новый род совершенно безыскусственных рассказов, переданных просто, со всеми неправильностями солдатской речи, грамматически неверной, но живой и чисто русской в самых отступлениях от правил,— оставляет по себе сильное впечатление»,— писал критик. Этот род рассказов «достигает высшей степени художничества в картинах графа Л.Н.Толстого “Ночь весною в Севастополе” и “Рубка леса”». Его солдаты выражаются так же просто, но там, где автор говорит от себя, он становится на ряду лучших наших писателей верностью, теплотою, рельефностью своих изображений, типическим созданием лиц и характеров».

С обзором «Русская литература в 1855 году» выступил и февральский номер «Пантеона» (1856, т. XXV, кн. 2, отд. «Петербургский вестник»). Напоминая читателям, что «Современник» за прошедший год поместил на своих страницах 23 повести и рассказа, обозреватель «Пантеона» (без подписи) полагал, что из них «шесть останутся в литературе», среди этих шести он называл рассказ «Рубка леса» (с. 21).

«Рубку леса» не раз вспоминали критики в рецензиях и статьях о современной литературе. В конце 1856 г. в журнале «Библиотека для чтения» (№ 11–12, отд. VI) была опубликована рецензия на книгу Е.А.Вердеревского «Плен у Шамиля»; безымянный критик писал: «Нам остается желать, чтобы с легкой руки графа Л.Н.Толстого, автора “Рубки леса на Кавказе”, пошли рассказы и эпизоды из кавказской жизни и русская литература увековечила бы для потомства эпос прошедшей и настоящей борьбы нашей и жизни на Кавказе...» (с. 23). В той же книжке «Библиотека для чтения» поместила рецензию (без подписи) на книгу «“Современные рас-

сказы из военной жизни русских солдат”, составленные под редакцией Н.Сокальского» (СПб., 1856). Анализируя произведения, представленные в книге, критик признавал, что они не имеют «достоинств военных рассказов графа Толстого», а интересны тем, что г-н Сокальский «умел верно и хорошо списать несколько правдивых историй со слов солдат» (с. 7). «Надо сознаться, мы до сих пор еще не знаем русского солдата, и вообще нашему храброму и оригинальному воину как-то не посчастливилось в русской литературе!» Вспоминая солдат в сочинениях Даля, Марлинского, Скобелева, автор рецензии не находил достойного примера и считал, что из современных писателей «ближе всех подступил к образу солдата Л.Н.Толстой, однако, «не останавливая на нем своего исключительного внимания, он очертил его хотя мастерски, но мимоходом» (с. 8).

Эта позиция критика не осталась без внимания: 25 ноября 1856 г. журнал «Сын отечества» (№ 34) в обзоре последних номеров журналов, говоря о ноябрьской книжке «Библиотеки для чтения», заметил, что в ней «нет ничего замечательного, кроме огромных выписок из книги г. Сокальского “Современные рассказы из военной жизни русских солдат”, <...> что рецензент отнимает у г. Л.Н.Толстого главную его заслугу: мастерское изображение русских солдат, и говорит, что этот автор очертил их мимоходом и что русский солдат пока еще никем не был представлен как должно. Неужели рецензент предпочитает превосходным портретам г. Толстого вычурный и ломаный язык солдат, изображенных г. Сокальским?» (с. 164). Так герои «Рубки леса» прочно утвердились в сознании своих современников.

С выходом в свет «Военных рассказов» в каждой критической статье или рецензии на сборник непременно шла речь и о «Рубке леса». 27 ноября 1856 г. газета «Русский инвалид» напечатала рецензию Я.Т. (Турунов), где автор, говоря о достоинствах рассказов Толстого, в ряду других называл «Рубку леса» и приводил фрагменты из этого рассказа. А.В.Дружинин в статье о «Военных рассказах», помещенной в журнале «Библиотека для чтения» (1856, № 12, отд. VI, с. 29–46. Без подписи), отмечал, что «с появлением “Рубки леса” слава образцового военного рассказчика окончательно утвердилась за графом Толстым».

Сторонники «чистого искусства», полемизируя с представителями «натуральной школы», пытались и в произведениях Толстого увидеть близкие их сердцу черты. В газете «Северная пчела» 1 мая 1857 г. (№ 93, с. 437–439) появилась статья за подписью «Ростислав» «О критическом воззрении новой редакции “Библиотеки для чтения” (Письмо к Н.И.Гречу)», где автор по-своему рассматривал «прелестные, изящные, поэтические» сочинения Толстого, находя, что в них, в том числе и в рассказе «Рубка леса», «элемент идеальный далеко преобладает <...> над грубым реализмом».

Не отрицая в Толстом того, что «прежде всего и паче всего — он поэт», совершенно иначе подошел к сочинениям писателя Ап.Григорьев в статьях «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л.Толстой и его сочинения», напечатанных в журнале «Время» в 1862 г. Во второй статье (№ 9, отд. 2, с. 1–27) критик рассматривал типы героев произведений Толстого с точки зрения их соответствия «народной почве», «русской натуре» и в качестве примера приводил образ Веленчука из «Рубки леса». Отдавая должное честности, храбрости и естественности

капитана Хлопова и подобных героев, Григорьев вместе с тем считал, что не они делают историю: «Увы! на одних добрых и смиренных людях, умей они даже и умирать так, как умирает солдат Веленчук у Толстого, <...> — далеко не уедешь. Для жизни страстное начало нужно, закваска нужна». По мнению критика, Толстой в русской жизни видит «только отрицательный¹ тип простого и смиренного человека — и привязался к нему всей душой. Везде следит он идеал простоты душевных движений: в горести няни о смерти матери героя <...>²; в смерти солдата Веленчука...». Толстой не верит «в блестящий и хищный тип», но, как считал Григорьев, наша народная почва взрастила оба эти типа. Критик не сомневался, что вопрос об отношении писателей «к двум типам — вопрос очень важный», и полагал, что «Толстой представляет крайнюю грань одностороннего отношения, грань, замечательную» тем, «что любовь к отрицательному смиренному типу родилась» у писателя «не непосредственно», «а вследствие глубокого анализа». Анализ же, в рассуждении Григорьева, «останавливаясь перед всем, что ему не поддается, и переходя тут то в пафос перед всем громадно-грандиозным, как севастопольская эпопея, то в изумление перед всем простым и смиренно-великим, как смерть Веленчука <...>, беспощаден ко всему искусственному и сделанному...». Критик приходил к мысли, что «в простой народной сфере» Толстому «доступны и понятны вполне только смиренные типы», в близкой же ему сфере он не находит настоящих сильных, «приподнятых» чувств, но не может отказаться от этих поисков — отсюда несколько пародийное изображение героев из своей среды.

Через год, в сентябре 1863 г., о «Рубке леса» вспомнила газета «Северная пчела» (19 сентября, № 247, с. 1071) в связи с только что вышедшей новой повестью Толстого «Казачьи». В статье «Русская критика и художественная этнография», подписанной инициалом А., говорилось о том, что повесть «Казачьи» напоминает «первые замечательные произведения Толстого», в том числе и «Рубку леса»: «тот же спокойный джентльменский рассказ, та же кристальная чистота и вместе здоровая, трезвая и скупая простота речи». Автор статьи считал, что «такие произведения, как “Казачьи”, “Рубка леса”, “Севастополь в августе месяце” и другие недавние явления художественной этнографии, в нашей литературе не умрут».

О «Рубке леса», наряду с другими военными рассказами, писал в 1868 г. журнал «Военный сборник» (№ 4, отд. II) в пространной статье «Военный роман» (без подписи). Автор статьи сопоставлял двух героев ранних рассказов Толстого, капитана Хлопова из «Набега» и капитана Тросенко из «Рубки леса», находя в них много общих черт, хотя каждый из них индивидуален и «очерчен» по-своему. Как и Хлопов, капитан Тросенко несуетлив и хладнокровен в самые трудные минуты; спокойное мужество — его органическое качество. Рядом с Тросенко критик замечал «пустую, постоянно занятую лишь тем, чтобы не уронить своего начальнического достоинства, фигуру майора Кирсанова», «скромную, тихую личность прапорщика, батальонного адъютанта», и «хвастливого капи-

¹ Григорьев употребляет это слово как антоним понятиям «страстный», «сильный духом», «блестящий» и т. п.

² Имелась в виду повесть «Детство».

тана генерального штаба Крафта». В статье отмечалось, что в своих рассказах «граф Толстой по преимуществу очерчивает личности офицеров, весьма редко затрогивая солдатские типы и вообще сцены из чисто солдатской жизни», и лишь в «Рубке леса» он «проводит перед читателем целый ряд артиллерийских солдат, разоблачая эти простые, бесхитростные натуры». «Очерк основных солдатских типов <...> отзывается стремлением к систематичности», и «все эти лица являются как живые», — писал критик, особенно выделяя «тип бомбардира Антонова», «который, несмотря на все очевидные его недостатки, невольно возбуждает к себе уважение». Даже «в самом загуле его» виделось «что-то действительно энергическое, даже до некоторой степени поэтическое». «Легко заметить, — признавал автор статьи, — что этот тип есть совершенное воспроизведение офицерского типа — удалых джигитов Кавказа и забубенных кутил гусарщины, только в более грубой форме. Подобные типы теперь становятся уже редкими, но вряд ли можно предполагать, чтобы они вовсе исчезли, не только в нашей, но и вообще во всех армиях» (с. 265–268).

В 80-е годы к рассказу Толстого обратились исследователи творчества писателя. Профессор Московского университета О.Ф.Миллер в лекциях по истории русской литературы, опубликованных в книге «Русские писатели после Гоголя» (СПб., 1886), анализируя раннее творчество Толстого, вслед за рассказом «Набег» рассматривал «Рубку леса», находя общие в этих произведениях черты «простоты и безыскусственности», характерные для русского солдата. О.Миллер поражался спокойствию, с которым смертельно раненный солдат делал «распоряжение насчет деньжонок, находящихся у него в кармане», и был уверен, что, когда «товарищи» умирающего «говорят о совершенно посторонних предметах», это «никак нельзя принимать за “бессердечие” с их стороны, напротив, это доказывает, что они “слишком сильно чувствуют”, но в виду предстоящего сражения боятся поддаться своему чувству. Люди другой среды в такое время эффектичают и даже с каким-то удовольствием говорят о войне, это не доказывает, конечно, что они не боятся смерти». Миллер считал, что они «рисуются» и хотят «выслужиться, составить себе карьеру» (с. 273).

В книге «Граф Л.Н.Толстой и критика его произведений, русская и иностранная», вышедшей несколькими изданиями в конце 80-х — 90-е годы, Ф.И.Булгаков в биографическом обзоре жизни и творчества Толстого уделил внимание «Рубке леса»: «Нисколько не идеализируя русского солдата, умея тонко различать настоящую моральную силу от поддельной, герой Толстого лицом к лицу становится и с простодушным солдат, своей величественностью совершенно убивающим напускное хладнокровие культурного человека, маскирующего свою трусость разными хитрыми фразами, и с стыдливостью простого человека перед собственным достоинством, и со стойкостью солдата, не падающего духом.

Живя честно и просто, этот солдат спокойно и ясно смотрит в глаза смерти». По мнению Булгакова, «ничтожными кажутся рядом с такой простотой все эти тяготящиеся службой Болховы, по преданиям едущие на Кавказ лишь за получением Анны и майорского чина, эти развращенные Гуськовы <...> эти Калугины <...> эти разочарованные Розенкранцы, сгорающие от тщеславия, от желания блеснуть прелестью риска» (изд. 3-е. СПб., 1899, с. 42–43). Критик уверен, что не только «при осаде

Севастополя могли быть наблюдаемы эти черты истинного героизма. Кавказские рассказы Толстого, обрисовывающие более скромную физиономию военных действий, полны фактами, по которым не трудно составить характеристику русского солдата. Недаром один из наиболее характерных рассказов («Рубка леса») написан в промежутке между «Севастополем в мае» и «Севастополем в августе» (там же, с. 43–44).

Рассматривая кавказские и севастьяпольские рассказы Толстого, Булгаков заключает, что именно в них «впервые русская литература узнала нравы и быт военного сословия, изображенные со всей правдой и с знанием дела, узнала интересы русского воина, его подвиги, достоинства и слабости. До появления этих рассказов наши писатели знакомились с военной жизнью на парадах или по книжкам. И никто из них не знал «натуры» военного человека. Перед правдивым изображением этой «натуры» у Толстого совершенно разрушились все фантастические понятия о военной жизни» (там же, с. 45–46).

Первые переводы «Рубки леса» появились в Европе и США в 1887 г. На английском языке в Нью-Йорке рассказ был напечатан в переводе Ф.Д. Милле в книге «The cutting of the forest.— Sebastopol» и в переводе Н.Х. Доула в книге «The invaders and other stories». Эта книга через год вышла и в Англии (London, 1888). В переводе И.Хэнгуд «Рубка леса» была опубликована в 1889 г. («The cutting of the forest.— Sebastopol». London), а в начале 1900-х годов свой перевод рассказа представили читателям Л. и Э. Моод в книге «Sevastopol and other military tales» (London, 1901; то же — 1903). Перевод Л. и Э. Моод позднее печатался в книгах «Sevastopol.— Two hussars» (London, 1905) и «The cossacks and other tales of the Caucasus» (London, 1910 — «The World's classics»).

Для английских и американских историков литературы ранние (кавказские) рассказы Толстого находились словно в тени больших его творений; эти рассказы помнили, называли в статьях и книгах о русском писателе, но не сосредоточивали на них внимание, лишь изредка обращаясь к ним. Американский литератор Эдвард Штайнер в книге «Толстой как человек» коснулся «Рубки леса», заметив, что в рассказе Толстой «не анализирует характер, а показывает нам человека через слово, которое он говорит, или дело, которое он делает» (Steiner E.A. Tolstoy the man. New York, 1904, p. 66–67). Желание смертельно раненного солдата Веленчука вернуть долг, по мнению автора книги, очень искренне. «В этом нет лицемерия, это сделано просто, естественно и резко контрастирует с поведением офицеров-аристократов, которые могут говорить на двух языках и не держат слова ни в одном» (р. 68). Читая военные рассказы, Штайнер убежден, что для Толстого «кровь и слезы у всех окрашены одинаково, неважно, под каким флагом они пролиты» (р. 69).

Одновременно с английскими переводами в 1887 г. вышел первый перевод «Рубки леса» на немецкий язык Г. Роскошного (в кн.: «Russische Soldatengeschichten und kleine Erzählungen». Leipzig). Через год рассказ появился в переводе Л.-А. Гауфа в книге «Der Gefangene im Kaukasus und andere russische Soldatengeschichten» (Berlin, 1888). В нескольких изданиях в разные годы публиковалась «Рубка леса» в переводе Р. Лёвенфельда. В 1891 и в 1897 гг.— в собраниях сочинений Л.Н. Толстого, издаваемых самим переводчиком (Bd. 3. Novellen und kleine Romane. Tl. 2. Berlin, 1891

и Neue Titelausg. Bd. 3. 1897), и в 1901 году в книгах «Novellen und kleine Romane» (Bd. 2. Leipzig, Jena) и «Sämtliche Werke» (Ser. 3. Bd. 5. Novellen. 3. 3 Aufl. Leipzig, Jena). В 1902 г. рассказ Толстого вышел еще в одном немецком переводе — К.Горицкого — и был напечатан в Дрездене в книге «Russisches Soldatenleben».

За два года до появления первого немецкого перевода к «Рубке леса» и другим военным рассказам обратился Ойген Цабель в очерках о русских писателях. В очерке «Graf Leo Tolstoj» он отмечал, что ранние «новеллы с высокореалистическим содержанием, в которых можно увидеть предтечу обоих больших романов <“Война и мир” и “Анна Каренина”>, имеют для характеристики Толстого значение, какое они представляют для человека в его отношении к природе и естественным условиям жизни. <...>

Его кавказские рассказы должно рассматривать как единое целое, ибо они представляют художественный талант писателя действительно в настоящем выражении. Толстой обладает тем же внутренним чувством природы, что и Тургенев. даже, может быть, оно еще непосредственнее, чем у его великого соперника». Понимая, что ранние рассказы Толстого — это произведения еще молодого писателя, а Тургенев — уже маститый, известный литератор, Цабель замечал: «Только нужно иметь в виду, что Тургенев во всех отношениях более крупный писатель, в высшей степени владеющий пером, чем Толстой, который инструмент своего писания, стиль еще не так отточил и усовершенствовал в школе культурных народов Запада» (Zabel E. Literarische Streifzüge durch Rußland. Berlin, 1885, S. 188–190).

О мастерстве Толстого-художника в «Рубке леса» Цабель упоминал и в своей книге о Толстом, переведенной в России в 1903 г., где подчеркивал «уменье Толстого метко характеризовать людей, выступающих в рассказе, двумя-тремя словами или тем, что он заставляет этих людей говорить». Особенно же привлекли внимание критика страницы рассказа, где «заходит речь о движении на стороне неприятеля, трещат ружейные выстрелы, со свистом и шипеньем проносятся и шлепаются ядра и когда терпение и сила каждого участника отряда ставятся на пробу», — и далее Цабель приводил фрагмент из тринадцатой главы «Рубки леса», в котором шла речь о «духе русского солдата» (Цабель Е. Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк. Киев, 1903, с. 48–49).

В начале 90-х годов о «Рубке леса» писал немецкий переводчик и издатель Толстого, первый его биограф Р.Лёвенфельд, отметивший, что «посылка дивизиона на рубку леса для Толстого только внешний повод для того, чтобы изобразить целый ряд самых разнообразных характеров». «Характер изображенных Толстым солдат развивается под влиянием продолжительной и тяжелой службы и особенностей борьбы с кочевыми горными племенами. Искусство в нескольких ясных, метких и полных тонкой наблюдательности слова охарактеризовать не только отдельных людей, но и целые общественные классы, так что они, дотоле совершенно нам чуждые, становятся близкими и понятными, уменье ни на минуту не упустить из виду связи, существующей между внешним миром, в изображении которого Толстой никогда не изменяет реальной правде, и душевным миром человека, — вот качества, доведенные уже и в первых произведениях нашего писателя до высокой степени совершенства». Лёвенфельд считал, что рассказы «Набег» и «Рубка леса» «проникнуты духом человека, в

глазах которого нравственное совершенствование составляет главную жизненную задачу, как для индивида, так и для целого общества. <...> Источник счастья и довольства там, где человек живет в тесном общении с природой. Представителей образованного общества мучит жажда блеска, почестей, богатства, добродетель же для них в одних случаях является предлогом, в других — средством, но никогда не бывает самостоятельной целью. Народ же, напротив, живет бессознательно хорошей, нравственной жизнью. Кто храбр, презирает смерть и поступает благородно без расчета на ордена, богатство и блеск, тем могут руководить только лучшие и чисто гуманные побуждения. Из таких-то хороших людей и состоит народ, и, если культурный человек поймет и узнает недостатки своего общества и пожелает нравственно возвыситься, он должен пойти в народ и у него учиться нравственности». По мнению Лёвенфельда, «эти хорошие качества народа с любовью изображены в кавказских рассказах. Как велик, например, солдат Веленчук, за минуту до смерти заботящийся об уплате мелкого долга, в сравнении с говорящим по-французски благородным офицером, вся храбрость которого обусловлена одним только расчетом на повышение и ордена. Как величественна молчаливая храбрость простых солдат в сравнении с искусственно-романтической храбростью молодых офицеров, разочарованных тем, что вместо приключений, так заманчиво описанных поэтами, на их долю выпадают одни только лишения боевой жизни». «Толстой восторгается храбростью русского солдата и ставит его в этом отношении гораздо выше солдат южных европейских племен. <...> До Толстого в русской литературе не было правдивого изображения русского солдата», — считал Лёвенфельд, разделяя точку зрения многих современников Толстого, первых читателей «Рубки леса». «Толстой подходит к солдату без предвзятых мнений и с сердцем, полным горячей любви к человечеству. Поэтому-то ему удалось и в однообразной массе усмотреть отдельных живых людей и связь между их основными природными, так сказать, свойствами и солдатской средой, поэтому-то он и рисует этот мир не как преудобренный патриот, а как свободный гражданин вселенной. Мощно, правдиво описав солдатскую жизнь и Кавказ, Толстой обогатил русскую литературу двумя ценными и совершенно оригинальными вкладками» (Лёвенфельд Р. Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание. Перевод с нем. В. Григоровича. СПб., 1896, с. 70–72).

К рассказам Толстого обращались не только литературные критики. Михаэль Вальтер, доктор юриспруденции (Швейцария) в своей книге «Толстой, его социально-экономические, государственно-теоретические и политические взгляды», изданной в Цюрихе в 1907 г., имея в виду, конечно, и «Рубку леса», писал: «При передаче своего впечатления Толстой здесь, однако, воздерживается от идеализации мужика и солдата из народа. В русской критике стало общим местом, что крестьянские типы Тургенева, Гончарова, солдаты Пушкина и Гоголя значительно менее жизненно правдивы, чем у Толстого. <...> Нет, от Толстого не ускользают малейшие недостатки народа, и он их не скрывает» (Walter Michael. Tolstoi nach seinen sozialökonomischen, staats-theoretischen und politischen Anschauungen. Zürich, 1907. S. 15).

Три раза печаталась «Рубка леса» во Франции. Впервые — в переводе И. Гальперина-Каминского в 1888 г. в книге «Au Caucase» (Paris), в

1890 г.— в книге «Paysans et soldats, scènes de la vie militaire et de la vie champêtre en Russie» (Paris) и в 1902 г.— в переводе Бинштока под редакцией и с комментариями П.И.Бирюкова в собрании сочинений Толстого (т. 3. Paris). В небольшой книжке французского литератора Эрнеста Дюпюи «Великие мастера русской литературы девятнадцатого века», изданной менее чем за десять лет четыре раза (4-е изд. в 1897 г.), упоминались ранние военные рассказы Толстого. Особенно привлекли Дюпюи «восхитительные сцены», где солдаты, забыв о трудностях военной жизни, «с упоением слушают наивные рассказы и волшебные сказки»,— без сомнения, критик имел в виду рассказы солдатика Чикина из «Рубки леса» (Dupuy Ernest. Les grands Maîtres de la Littérature Russe au dix-neuvième siècle (Nicolas Gogol — Ivan Tourguénef — Comte Léon Tolstoï). Paris, 1897, p. 233).

На чешском языке в переводе, подписанном инициалами J.L. <Лужницкий?>, рассказ увидел свет в книге сочинений Толстого «Spisy» (Sv. 2. Praha, 1889). Тогда же он вышел на голландском языке в книге «In der Kaukasus» (Almelo, 1889. Перевод F.G.J.Scheurleer'a), а через несколько лет — в 6-томном собрании «Новеллистических шедевров» Л.Н.Толстого («Kaukasische vertellingen <Кавказские повести>. Novellistische meesterwerken», III. Amersfoort, 1904). В Дании «Рубка леса» была переведена В.Герстенбергом и напечатана в двух книгах: «Købmandsliv i Kaukasus» (Kjøbenhavn, 1890) и «Fader og søn og andre fortællinger» (Kjøbenhavn, 1906). В 1891 г. рассказ появился в Швеции, в переводе В.Хедберга он вышел в книге «Från Kaukasus jämte flera berättelser» (Stockholm, 1891).

С. 51. ...в Большой Чечне.— Большая Чечня — горный район в северо-восточной части Кавказа, населенный чеченцами.

...пахло дымом, навозом, фитилем...— Фитиль — приспособление в виде долго тлеющего шнура для производства взрывов.

С. 52. ...запряженные передки...— Передки — двухколесная повозка, сцепляемая с лафетом и служащая для перевозки орудий.

...за взводного фейерверкера...— Фейерверкер — унтер-офицер в артиллерии.

...торбами, пыжовниками...— Пыжовник — приспособление для вытаскивания пыжа и самого заряда из орудия.

Взвод снялся с передков.— Сняться с передков — отцепить орудия от передков.

С. 54. ...составила ружья в козлы...— Составить ружья в козлы — установить ружья, винтовки наперекрест штыками вверх.

...распахнул шинель, надетую на нем в виде епанчи, на задней пуговице...— Складки на спине солдатской шинели схватывались на талии двумя небольшими клапанами, застегивавшимися сзади в виде хлястика на одну пуговицу. Епанча — тип накидки.

С. 55. ...мусатов табак...— Табак из магазинов мелочной торговли Д.С.Мусатова.

С. 56. ...и прикинув приклад...— Приклад (в портновском деле) — «всё, кроме верху: подкладка, пуговицы, снурки и пр.» (В.Даль).

...с каптенармусом и артельщиком...— Каптенармус — в армии должностное лицо из хозяйственной части, ведающее хранением и выдачей продовольствия, обмундирования и оружейного инвентаря. Артель-

щик — участник, товарищ по артели; хозяин, род десятника для присмотра за артельными работами.

...о пропаше партикулярной шинели...— Партикулярная шинель — штатская, гражданская шинель.

...на баклаге, сидел взводный...— Баклага — деревянное ведро, в котором смачивали банник.

Максимов был из однодворцев...— Однодворцы — одна из категорий государственных крестьян в России, владевших собственной землей или поселенных на казенных землях; происходили из низшего разряда служилых людей, владели ничтожным числом крестьян и селились, как правило, с ними одним двором. И однодворцы, и их крестьяне несли перед государством одни и те же повинности.

...в учебной бригаде получил класс...— Речь идет об учебно-артиллерийской бригаде, где готовили из рекрутов унтер-офицеров артиллерии.

С. 56–57. *...стрельбе с квадрантом...*— Квадрант — здесь: прибор для наводки артиллерийских орудий.

С. 57. *...что ватерпас...*— Ватерпас — простейший прибор для проверки горизонтальности и измерения небольших углов наклона — вертикальная стойка с основанием, к которой прикреплен отвес.

...тот самый бомбардир Антонов...— Бомбардир — солдат, обслуживавший артиллерийские орудия.

...еще в тридцать седьмом году...— В 1837 г. отряд генерала К.К.Фези занял Хунзах (столицу Аварии), Унцукуль и часть аула Тилитль, куда отошли отряды Шамиля, но из-за больших потерь и недостатка продовольствия русские войска оказались в тяжелом положении, и 3 июля 1837 г. Фези заключил с Шамилем перемирие. Это перемирие и отход войск явились фактически их поражением.

...до самого чистого понедельника...— Чистый понедельник — первый понедельник Великого поста.

Третий солдат, с серьгой в ухе...— У казаков был обычай: единственный или последний сын, оставшийся у родителей, носил в левом ухе серьгу, что было знаком для воинских начальников не употреблять его в рискованных операциях.

С. 58. *...ездовой Чикин...*— Ездовой — солдат, правящий лошадьми в артиллерийской упряжке, запряжке (орудия с запряженными в них лошадьми).

...сказки про хитрого солдата и английского милорда...— Имеются в виду народные сказки, героем которых был солдат, выходивший победителем из любого положения, и пользовавшаяся в народе огромной популярностью лубочная книжка «Повесть о приключении английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе <...> с присовокуплением к оной Истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезии» (1782) — книжка М.Комарова, переделка рукописной «гистории» об английском милорде Гереоне. Эта книжка представляет собой сказочный любовно-авантюрный роман о пламенной любви милорда к маркграфине, любви, преодолевшей все препятствия и увенчавшейся добропорядочным браком. «Повесть...» переиздавалась в России десятки раз в XVIII, XIX и даже в начале XX века (последнее издание вышло в 1918 г.). В рецензии на 9-е издание книжки (1839 г.) В.Г.Белинский писал: «Книжица украшена портретом англн-

ского милорда Георга: какая-то рожа в парике и костюме времен Петра Великого. Сверх того, к ней приложены *четыре* картинки: это уж даже и не рожи, а Бог знает что такое. Вот, например, на первой изображен под чем-то похожим на дерево какой-то болван с поднятыми кверху руками и растопыренными пальцами; подле него нарисована деревянная лошадка, а у ног две фигуры, столько же похожие на собак, сколько и на лягушек, а под картинкою подписано: «Милорд от страшной грозы кроется под дерево и простер руки, просит о утолении бури». Сличите эти картинки всех изданий — и вы ни в одной черточке не увидите разницы: они оттискиваются на тех же досках, которые были вырезаны еще для первого издания. Вот что называется бессмертием!...» (Белинский В.Г. Собр. соч.: В 9 т., М., 1977, т. 2, с. 452). Белинский считал, что читателю «смешон, нелеп, глуп «Милорд английской»» (там же, с. 450), а Н.А. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» мечтал о том времени на Руси, «когда мужик <...> не милорда глупого — Белинского и Гоголя с базара понесет» (*Некрасов*, т. 5, с. 35). Книжка состояла из трех частей. Формат — 8 д. л. 1-я часть — 105 стр.; 2-я — 68 стр.; 3-я — 128 стр.

...не играл в карты (даже в носки)... — Носки — простонародная картежная игра, в которой проигравшего бьют колодой *по носкам*, по носу.

С. 59. *...нафабранные черные усы...* — Усы, крашенные особой косметической краской — *фаброй*.

С. 60. *Есть такие тавлинцы...* — Тавлинцы — не этническое понятие. Словом «тавлинец» грузины и кумыки, а за ними и русские называли горское население Северного Дагестана, преимущественно аварцев. «Тавло» в переводе значит «гора».

...шапочка с красным верхом. — Форменный головной убор рекрута.

С. 61. *...все равно что китаец: шапку с него сними, она кровь пойдет.* — Версия, связанная с детскими воспоминаниями Толстого. 6 декабря 1908 г. Д.П. Маковицкий в своем дневнике записал: «Еще был разговор о восточных народах. Л.Н. говорил о том, что теперь с ними гораздо лучше ознакомились и что этому содействовала отчасти Японская война, а раньше о Востоке знали очень мало. Л.Н. вспомнил, как брат Николенька рассказывал, что китаец в такой шапочке, которую если снять с головы — кровь пойдет» (*ЛН*, т. 90, кн. 3, с. 271).

...выстрелы наших штуцеров... — Штуцер — ружье с нарезками в канале ствола, предшественник винтовок, заряжалось с дула.

Командир девятой егерской роты... — Егерская рота — особая стрелковая рота.

С. 62. *...коли сорок пять линий из единорога дать...* — Линия — старая русская мера длины, равная $\frac{1}{10}$ дюйма (примерно 2,5 мм). В дюймах и линиях исчислялись калибры орудий в русской артиллерии. 45 линий ≈ 4-дюймовое орудие. Единорог — старинное артиллерийское орудие, длинная гаубица (гранатная пушка) с отлитым на ней изображением единорога (клеймо царских оружейных заводов), мифологического животного в виде лошади с одним устремленным вперед рогом посреди лба. Изображения единорога встречались на гербах, монетах, старинных барельефах. В русской армии 4-дюймовые единороги употреблялись в полевой артиллерии (конной).

...граната была распушена, дослана... — То есть приготовлена для заряда и заряжена в орудие.

...командовал хобот вправо и влево...— Хобот — задняя часть станка лафета, которая при движении накладывается на шкворень передка, а при стрельбе находится на земле.

С. 66. ...с развевающимися флажками пик...— То есть с флажками на пиках (пика — колющее оружие, род копья).

...подход с банником к орудью...— Банник — щетка для чистки пушечного дула.

С. 68. Тут три монеты и полтинник...— Монета (монет) — серебряный рубль.

С. 69. ...построить на речке редут...— Редут — сомкнутое полевое фортификационное укрепление (в плане — прямоугольник или многоугольник), окруженное рвом и валом.

С. 70. ...пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора...— Орден Св. Анны (Анненский орден) был учрежден владетельным герцогом шлезвиг-гольштинским Карлом Фридрихом в 1736 г., в честь своей супруги цесаревны Анны Петровны (дочери Петра I) и причислен к русским орденам императором Павлом I. Орден Св. Анны имел 4 степени. Наше (на ленте) носили орден 2-й степени (золотой крест, покрытый красной финифтью, с изображением святой Анны в середине). С 1797 г. ордена 1-й и 2-й степени могли быть пожалованы с алмазными украшениями, означавшими «особенную степень награждения». Девиз ордена: «Amantibus justitiam, pietatem, fidem (Любящим правду, благочестие, верность)». Кавалеры ордена имели особое (для торжественных церемоний) орденское одеяние, и им были установлены ежегодные пенсии. Орден Св. Владимира (или: орден Св. равноапостольного князя Владимира) учрежден 22 сентября 1782 г. императрицей Екатериной II. Имел 4 степени. Девиз ордена: «Польза, честь и слава». Кавалерам ордена назначались ежегодные пенсии. С 1855 г. орденом Святого Владимира стала отмечаться выслуга лет в армии (до тех пор отмечавшаяся орденом Святого Георгия). Возможность получения ордена зависела от класса чина представленного к награде. Награждение орденом обычно сокращало срок выслуги следующего чина.

...утвердили Пассек, Слепцов и другие...— Генерал-майор Д.В.Пассек отличился в ряде крупных дел. Погиб во время экспедиции в Дарго летом 1845 г. Генерал-майор Н.П.Слепцов руководил военными действиями в Аварии; в 1845 г. был назначен командиром 1-го линейного Сунженского казачьего полка; основал станицы Троицкую, Сунженскую и др. Погиб 10 декабря 1851 г. в бою на реке Гехи.

С. 72. Мою золотую шапку смотрят...— При Екатерине II стало традицией награждение золотым холодным оружием с надписью «За храбрость» и с темляком из Георгиевской ленты. Награда эта была редкой и с 1807 г. официально приравнивалась к орденской, а награжденные золотым оружием вносились в общий орденский список.

С. 73. ...а помнишь, что Ермолов сказал...— Слова А.П.Ермолова, бывавшие в офицерской среде на Кавказе, Толстой приводит в письме Оленина, главного героя повести «Казачи» (гл. XXIII): «Недаром, говорят, Ермолов сказал: кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьется с кругу, либо женится на распутной женщине». Это высказывание Ермолова упомянуто и на страницах дневника, где 30 марта 1852 г. Толстой записал: «...потом поехал верхом к брату — у него компания, пьянст-

вующая. <...> Н<иколенька> насилу говорит и смотрит на меня глазами, которые говорят: я с тобой согласен, что это скверно и что я жалок; но мне это нравится. <...> Предсказание Ермолова сбывается на нем, к несчастью,— Ермолов забыл сказать: или с ума сойдет. Мне кажется, что я от скуки рехнусь». Возможно, помня эти слова Ермолова и пытаюсь объяснить их, Толстой записал в дневнике 6 января 1853 г.: «Все, особенно брат, пьют, и мне это очень неприятно. Война такое несправедливое и дурное дело, что те, которые воюют, стараются заглушить в себе голос совести».

Вели же, Болхов, шолфею дать.— Шалфей — травянистое растение или полукустарник; здесь имеется в виду настойка, т.е. водка, настоенная на шалфее.

С. 74. ...каждый день по два абазы...— Абаз — восточная серебряная монета стоимостью около 20 копеек.

С. 75. ...в сорок пятом году... ведь вы изволили быть там...— Летом 1845 г. под командованием М.С.Воронцова была предпринята экспедиция в чеченский аул Дарго.

...ночь с двенадцатого на тринадцатое...— С 12 на 13 июля 1845 г. (во время «сухарной» экспедиции) отряд, со всеми больными и многочисленными ранеными, выступил из Дарго вниз по реке Аксай. Горцы преследовали отряд, обстреливая его со всех сторон.

...пошли на завалы? — Завалы — преграды, препятствия из поваленных деревьев, толстых чинар, устроенные горцами. В некоторых местах, примыкая обоими концами к глубоким и крутым оврагам, завалы представляли непреодолимое препятствие (их невозможно было обойти) и войска должны были их разбирать, подвергаясь жестокому огню неприятеля. Выбить горцев из завалов при помощи ружейного огня было очень трудно, потому нередко при взятии завалов применялась штыковая атака.

С. 77. Кто не помнит случай при осаде Гергебиля...— Гергебиль — аул в Северном Дагестане (включал более 400 дворов), лежит в глубоком ущелье, в малодоступной лесистой местности. Осада Гергебиля была в июне 1847 и в июне 1848 гг.

С. 79. ...под Индейской горой...— Искаженное название Андийского хребта, отрога Главного Кавказского хребта.

А то что идти, когда от двух братьев! — От двух братьев, т.е. из так называемой «двойниковой» семьи, которая поставляла рекрута, а в хозяйстве оставался всего один работник. Такая семья, как правило, была бедной.

СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ

Впервые: «Современник», 1855, № 6, с. 333–348 (ценз. разр. 30 апреля 1855 г.). Подпись: Л.Н.Т.

Вошло в сборник «Военные рассказы графа Л.Н.Толстого». СПб., 1856, с. 141–174.

Рукописи не сохранились.

Печатается по изданию 1856 г. со следующими исправлениями:

С. 81, строка 5: с бухты несет холодом — вместо: с бухты не несет холодом (по С).

С. 81, строка 19: и т.п.— *вместо*: и т.д. (по С).

С. 82, строки 9–10: равномерные звуки ударов весел, звуки голосов — *вместо*: равномерные звуки голосов (по С).

С. 84, строка 22: через улицу — *вместо*: чрез улицу (по С).

С. 84, строка 23: ежели — *вместо*: если (по С).

С. 88, строки 15–16: один, молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому — *вместо*: один, с красным воротником, молодой и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому (по С).

С. 89, строки 40–41: погребями, землянками, платформами, на которых стоят — *вместо*: погребями, платформами, землянками, на которых стоят (по смыслу).

С. 89, строка 44: посередине площадки — *вместо*: по середине площади (по С).

С. 90, строка 1: везде, со всех сторон — *вместо*: Но везде, со всех сторон (по С).

С. 90, строки 16–17: землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека — *вместо*: землянки, в грязи которых, согнувшись, могут влезать только два человека (по 5 и 6 изданиям сочинений Л.Н.Толстого).

С. 90, строка 18: переобуваются — *вместо*: перебуваются (по С).

С. 91, строка 1: вспыхивают белые дымки — *вместо*: вспыхивают белые домики (по 7 изданию сочинений Л.Н.Толстого).

С. 91, строка 26: В самую абрауру попало — *вместо*: В самую амбрауру попало (по С).

С. 91, строка 27: вот он рассерчает — *вместо*: вот он рассерчает (по С).

С. 91, строки 31–32: брызги грязи и камни — *вместо*: брызги и камни (по С).

С. 92, строки 27–28: «Это вот каждый день — *вместо*: «Это каждый день (по С).

С. 92, строка 41: что называется духом защитников Севастополя — *вместо*: что называется духом защитников Севастополя (по С).

Первый севастопольский рассказ написан весной 1855 г. в Севастополе, куда Л.Н.Толстой, по его личной просьбе, был переведен осенью 1854 г. из Кишинева, где служил в штабе артиллерии Южной армии. «Я просился в Крым, отчасти для того, чтобы видеть эту войну, отчасти для того, чтобы вырваться из штаба Сержпутовского, который мне не нравился, а больше всего из патриотизма, который в то время, признаюсь, сильно нашел на меня», — писал Толстой брату С.Н.Толстому восемь месяцев спустя (письмо от 3 июля 1855 г.). 7 ноября 1854 г. он прибыл в Севастополь и в тот же день записал в дневнике, что «слухи» о тяжелом положении города, «мучившие» его «дорогой, оказались враньем»: «Взять Севастополь нет никакой возможности — в этом убежден, кажется, и неприятель, по моему мнению, он прикрывает отступление». Настроение Толстого в тот период ярко выразилось в первом письме из Крыма 20 ноября С.Н.Толстому. «Столько я переузнал, переиспытал, перечувствовал в этот год, что решительно не знаешь, с чего начать описывать, да и сумеешь ли описать, как хочется. <...> Теперь Силистрия старая песня, теперь

Севастополь, про который, я думаю, и вы читаете с замиранием сердца и в котором я был четыре дня тому назад,— писал Толстой из селения Эски-Орда, что в нескольких верстах от Симферополя.— Ну как тебе рассказать все, что я там видел и где я был и что делал, и что говорят пленные и раненые французы и англичане и *больно ли им, и очень ли больно им*, и какие герои наши моряки и наши солдаты, и какие герои наши враги, особенно англичане. Рассказывать это всё будем в Ясной Поляне или Пирогове; а про многое ты от меня же узнаешь в печати. Каким это образом, расскажу после, теперь же дам тебе понятие о том, в каком положении наши дела в Севастополе. Город осажден с одной стороны, с южной, на которой у нас не было никаких укреплений, когда неприятель подошел к нему. Теперь у нас на этой стороне больше 500 орудий огромного калибра и несколько рядов земляных укреплений, решительно неприступных. Я провел неделю в крепости и до последнего дня блудил, как в лесу, между этими лабиринтами батарей. Неприятель уже более трех недель подошел в одном месте на 80 сажен и нейдет вперед; при малейшем движении его вперед его засыпают градом снарядов. Дух в войсках свыше всякого описания. В времена Древней Греции не было столько героизма. Корнилов, объезжая войска, вместо: “здорово, ребята!” говорил: “нужно умирать, ребята, умрете?”, и войска кричали: “умрем, В<аше> п<ревосходительство>. Ура!” И это был не эффект, а на лице каждого видно было, что не шутя, а *взাপравду*, и уж 22000 исполнили это обещание.

Раненый солдат, почти умирающий, рассказывал мне, как они брали 24-го французскую батарею и их не подкрепили, он плакал навзрыд. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастион для солдат. Многие убиты и ранены. Священники с крестами ходят на бастионы и под огнем читают молитвы. В одной бригаде 24<-го>¹ было 160 человек, которые раненые не вышли из фронта. Чудное время! <...> Мне не удалось ни одного раза быть в деле, но я благодарю Бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время. <...> Ежели, как мне кажется, в России невыгодно смотрят на эту кампанию, то потомство поставит ее выше всех других <...>. Только наше войско может стоять и побеждать (мы еще победим, в этом я убежден) при таких условиях.— Надо видеть пленных французов и англичан <...>: это молодец к молодцу, именно морально и физически, *народ бравый*. Казаки говорят, что даже рубить жалко, и рядом с ними надо видеть нашего какого-нибудь егеря: маленький, шивый, сморщенный какой-то. <...> Писать не пишу, но зато *испытываю*, как меня дразнит тетенька», — признавался Толстой в заключение. В том же письме шла речь о военном журнале, который задумали издавать офицеры-артиллеристы и идеей которого был занят Толстой в это время.

Как предполагал Н.Н.Гусев, тогда же, в ноябре-декабре 1854 г., Толстой по свежим впечатлениям «набросал первую краткую редакцию очерка “Севастополь в декабре”», о чем «говорит не только самое содержание очерка, но и целый ряд деталей. Многие рассуждения автора о мужестве севастопольцев и о моральной силе русского народа почти буквально со-

¹ Речь идет об Инкерманском сражении 24 сентября 1854 г.

впадают с ноябрьскими записями дневника и с отдельными местами из письма к С.Н.Толстому от 20 ноября; заключительный пейзаж “Севастополя в декабре” (“Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч...”) очень напоминает набросок пейзажа в записи дневника от 7 декабря (“Когда я вышел на берег, солнце уже садилось...”). Можно думать также, что очерк “Севастополь в декабре” в его первоначальной редакции предназначался автором для задуманного военного журнала» (Гусев, I, с. 515).

Журнал «Военный листок» не был разрешен Николаем I. «На проект мой государь император всемилостивейше изволил разрешить печатать статьи наши в “Инвалиде”!» — с горьким сарказмом писал Толстой Некрасову 19 декабря 1854 г. Материалы, собранные для этого журнала, Толстой теперь надеялся «поместить» в «Современнике», он хотел «заняться отделкой новых вещей», для которых, как он писал, у него «матерьялов гибель», «матерьялов современного, военного содержания». В следующем письме редактору «Современника» 11 января 1855 г. Толстой подробнее рассказывал о замысле несостоявшегося журнала и о собранных для него материалах, сетовал на то, что в России «нет военной литературы, исключая официальной военной литературы, почему-то не пользующейся доверием публики» и не выражающей «направления» «военного общества». «Мы хотели,— писал Толстой,— основать “Листок”, по цене и по содержанию доступный всем сословиям военного общества, который бы, избегая всякого столкновения с существующими у нас военно-официальными журналами, служил бы только выражением духа войска». Толстой просил Некрасова дать в «Современнике» постоянное место военным материалам, которые он намеревался «доставлять» ежемесячно, потому что «по духу» своему они никак не годились для «Русского инвалида».

Некрасов приветствовал это намерение. «Пришлите нам Ваши *солдатские рассказы* — мы их напечатаем в “Современнике”, зачем Вам их совать в “Инвалид”? — 17 января 1855 г. отвечал редактор “Современника” на предложение Толстого.— Печатать их в нашем журнале *можно*, разумеется, если они пройдут гражданскую и военную цензуру. Да пишите побольше — нас всех очень интересует Ваш талант, которого у Вас много». Заканчивал Некрасов свое письмо просьбой: «Пожалуйста, пришлите нам Вашу повесть или рассказ» (Некрасов, т. 14, кн. 1, с. 199–200). Через несколько дней, 27 января, в другом письме Некрасов еще раз подтвердил Толстому, что готов напечатать военные материалы, обещанные «Современнику». «Письмо Ваше с предложением военных статей получил и спешу Вас уведомить, что не только готов, но и рад дать Вам полный простор в “Современнике” — вкусу и таланту Вашему верю больше, чем своему, а что касается до других соображений, то в настоящее время литературный журнал не может не желать такого рода материалов и не чаять себе от них пользы» (там же, с. 200–201).

Только 20 марта Толстой получил это письмо; он в тот же день отвечал Некрасову (письмо не сохранилось) и отметил в дневнике, что написал «ответ на полученное он него нынче» письмо с просьбой «присылать ему статьи военные». Но в это время Толстой со своей батареей находился на Бельбеке, да и кружок офицеров, задумавших военный журнал, видимо, уже распался. «Приходится писать мне одному. Напишу Севасто-

поль в различных фазах и идиллию офицерского быта», — решил Толстой в тот же день. Это первое упоминание о замысле будущих севастопольских рассказов. В 20-х числах марта Толстой приступил к работе над этим замыслом. Возможно, все было так, как представил это Н.Н.Гусев: «Он достал написанный им еще в декабре 1854 года набросок севастопольского очерка и занялся его переработкой» (Гусев, I, с. 536). Дневниковая запись 27 марта упоминает новое сочинение, над которым, видимо, писатель работал уже не первый день: «...дней пять я строчки не написал Юности, хотя написал, начал Севас<тополь> днем и ночью...». На следующий день работа продолжалась: «Утром написал страницы четыре Юности, но вечер, исключая нескольких слов С<евастополя>, ничего не сделал...».

30 марта с Бельбека, где стояла его батарея, Толстой квартирнером приехал в Севастополь, и уже здесь шла основная работа над рассказом. «Я живу в Севастополе, — запись в дневнике 2 апреля. — Потеря у нас уже до 5 т<ысяч>, но держимся мы не только хорошо, но так, что защита эта должна очевидно доказать неприятелю невозможность когда бы то ни было взять С<евастополь>. Написал вечером две стр<аницы> Севастополя». Параллельно с рассказом о Севастополе подвигалась работа над повестью «Юность», однако не каждый день удавалось выкроить время для писания.

В начале апреля Толстой был назначен на 4-й бастион — самый трудный и опасный участок обороны Севастополя. В дневнике в эти дни появились записи:

«11 апреля. 4-й бастион. Очень, очень мало написал в эти дни Юности и Севастополя, насморк и лихорадочное состояние были тому причиной. Кроме того меня злит — особенно теперь, когда я болен, — то, что никому в голову не придет, что из меня может выйти что-нибудь, кроме *saig à saïon* <пушечного мяса>, и самой бесполезной...».

«12 апреля. 4-й б<астион>. Писал С<евастополь> д<нем> и ночью и, кажется, недурно и надеюсь кончить его завтра. Какой славный дух у матросов! Как много выше они наших солдат! Солдатики мои тоже милы, и мне весело с ними».

«13 апреля. Тот же 4-й бастион, к<оторый> мне начинает очень нравиться, я пишу довольно много. Нынче окончил С<евастополь> д<нем> и н<очью> и немного написал Юности. Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с к<оторыми> живу, моряками и самым образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет».

Это настроение Толстого не могло не отразиться в севастопольском рассказе, первая редакция которого была завершена 13 апреля и, видимо, по содержанию заметно отличалась от окончательной.

На следующий день, 14 апреля, писатель планировал, помимо главы «Юности», «начать отделявать Севаст<ополь> и начать рассказ солдата о том, как его убило». Однако отделка рассказа шла трудно, в боевой обстановке, урывками, и через неделю, 21 апреля, Толстой признавался в дневнике: «Семь дней, в к<оторые> я решительно ничего не сделал, исключая двух перебеленных лист<ов> Сев<астополя> и проекта адреса». В тот же день он с горечью отметил: «Третьего дня у нас отбиты ложмен-ты против 5 бастиона, отбиты со срамом. Дух упадает ежедневно, и

мысль о возможности взятия Севастополя начинает проявляться во многом».

Работа над первым севастопольским рассказом, несмотря ни на что, продолжалась. «...В два дня на бастионе отделал только несколько листочков *Севаст<ополя>*», — записал Толстой 24 апреля. И в эти же дни в письме брату С.Н.Толстому объяснял свое долгое молчание: «Отчего тебе не пишу — Бог знает; отчасти есть причина, что не хочется и неприятно писать там, где не знаешь нынче, будешь ли жив завтра. <...> Мне очень хорошо здесь, я так спокоен, что пишу понемногу...».

Отделкой рассказа Толстой был занят почти две недели. За неимением рукописей можно только предполагать, в каком направлении шла работа. Из «Севастополя днем и ночью», т.е. из того, что первоначально было задумано как «Севастополь в различных фазах и идиллия офицерского быта», в процессе отделки рукописи все очевиднее вырисовывался Севастополь в одной «фазе» — Севастополь днем. Всего один день, проведенный в Севастополе, давал столько материала, что сама отделка рассказа, по-видимому, сводилась к более тщательной разработке первой части начатого сочинения: Толстой сосредоточился на «Севастополе днем», оставив на время мысли о «Севастополе ночью». Замысел «рассказа солдата о том, как его убило», мелькнувший в дневнике 14 апреля, больше нигде не упоминался, но в окончательном тексте первого севастопольского рассказа «старый исхудалый солдат» в госпитале рассказывал, как его ранило: не исключено, что именно в эту сцену трансформировался замысел рассказа «о том, как его убило».

К этим апрельским дням, возможно, относится рассказ сослуживца Толстого К.Н.Боборыкина о том, «как однажды он и его товарищ, пришед навестить Толстого на батарее в осажденном Севастополе, были изумлены приказом Толстого начать огонь против неприятеля, на который тот сейчас начал, конечно, отвечать. “Я хотел посмотреть, какие у вас будут лица, когда в нас полетят снаряды”, — объяснил им Толстой свой поступок». Этот рассказ записал Н.Н.Кашкин и включил его в свою книгу «Родословные разведки» (СПб., 1913, т. II, с. 557–558). Эпизод напоминает сцену из «Севастополя в декабре», когда на четвертом бастионе «морской офицер, из тшеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие», решил «пострелять немного».

Более определенно можно установить даты появления в тексте рассказа некоторых других сцен. В самом начале «Севастополя в декабре» рассказчик на ялике переправляется через бухту с Северной стороны собственно в Севастополь (т.е. из северной части в южную часть города, которая в сущности и называлась Севастополем), к Графской пристани. Кроме него в ялике — «старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами». Старик и мальчик обмениваются несколькими репликами; последняя реплика старика начинается короткой фразой: «Это *он* с новой батареей нынче палит» (*он* — неприятель). «Новую батарею» упоминал в своих «Записках» Н.В.Берг, участник обороны Севастополя: «19-го апреля явилась на высотах, за Волынским и Селенгинским редутом, как раз против штаба¹,

¹ Главный штаб Крымской армии находился на Северной стороне.

новая батарея и стала стрелять навесно по рынку, пристани и кораблям. Впоследствии мы узнали, что эту батарею называют “*Мария*”. <...> Эта батарея была совершенно особого устройства, каких мы до тех пор не видели. <...> Пение новых странных ядер <...> солдаты прозвали впоследствии “жеребец на водопой”, по их особенному свисту, похожему на ржание, и потому, что они чаще всего падали “в воду”» (Берг Н.В. Записки об осаде Севастополя. М., 1858. Т. 1, с. 109–110). Об этой «новой батарее» шла речь и в письме из Севастополя 29 апреля известного хирурга Н.И.Пирогова: «Когда 20 или 21 числа наши ложементы перед пятым бастионом были взяты <...>, то неприятель, заняв их, мигом выстроил батарею, воспользовавшись нашими же работами, перед носом четвертого бастиона». (Севастопольские письма Н.И.Пирогова (1854–1855). СПб., 1907, с. 132). В тексте «Севастополя в декабре» эта «новая батарея» никак не могла появиться ранее 19–20 апреля, т.е. на последнем этапе работы над рассказом; уже отделявая свое сочинение, Толстой всталил по меньшей мере два абзаца, связанные с этой батареей. Но при внимательном чтении обнаруживается, что, видимо, вставкой является весь разговор старого матроса и мальчика. Рассказчик прибывает в Севастополь как бы дважды: первый раз — в абзаце, предшествующем разговору в ялике, второй раз — в последнем абзаце разговора¹. Отдельный абзац: «Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникнуло в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...» — вдруг вторгается в сцену переправы через бухту, разбивая эту сцену, хотя рассказчик еще не в Севастополе, а лишь на пути к нему. В свою очередь разговор старика и мальчика тоже вдруг разрушает логическое сцепление приведенного выше абзаца и долженствовавшего следовать сразу за ним: «На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки...». Не исключено, что вставка была сделана непосредственно в наборной рукописи и наборщик не разобрал значок места этой вставки. Наборная же рукопись была закончена 25 апреля 1855 г.

Еще один фрагмент текста «Севастополя в декабре» можно условно датировать, рассматривая его в реально-историческом контексте. От Язовского редута к 4-му бастиону надо идти по «узкой траншее». «Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик...». Эта самая траншея появилась на пути к четвертому бастиону только в ночь с 20 на 21 апреля. Э.И.Тотлебен, руководитель военно-инженерных работ во время обороны Севастополя, в своем фундаментальном труде «Описание обороны г. Севастополя» приводит «Часть генерального плана г. Севастополя, с показанием осадных и оборонительных работ» (Тотлебен Э.И. Описание обороны г. Севастополя. СПб., 1872. Ч. 2. Отдел I), где эта траншея представлена в числе оборонительных работ, проведенных силами севастопольского гарнизона с 19 апреля. Так что на свое очередное дежурство 22 или 23 апреля Толстой мог идти на четвертый бастион по только что

¹ Впервые на это обращено внимание в работе: Ткачев А. Подпоручик севастопольский. Мистория войны.— Воин. 1995. №№ 9–12. 1996. №№ 1–6. *Здесь*: Воин. 1995. № 10, с. 43.

вырытой траншее, «которая и успела попасть в окончательный текст “Севастополя в декабре”» (Ткачев А. Указ. соч.— Воин. 1995. № 10, с. 42). Запись в дневнике Толстого 24 апреля о «нескольких листочках Севастополя» запечатлела дату включения фрагмента о траншее в текст рассказа: на этих «листочках» и появилась «траншея». Завтра уже будет подписана авторская дата окончания рассказа — «25 апреля 1855 года».

Первый севастьяпольский рассказ был с курьером отправлен в Петербург. В письме Некрасову 30 апреля Толстой выражал надежду, что «Современник» уже получил «Севастополь в декабре», и просил редактора поместить «статью» в июньской книжке журнала. Рассказ быстро и сравнительно благополучно миновал цензуру (цензурное разрешение шестого номера «Современника» последовало 30 апреля) и был отдан в набор. И.И. Панаев, редактировавший «Современник» в отсутствие Некрасова, сообщал Толстому 19 мая: «Я писал к Вам с месяц назад тому, адресуя мое письмо в штаб главнокомандующего. Не знаю, получили ли Вы его? После того я получил от Вас Ваш превосходный очерк “Севастополь в декабре”, который уже и напечатан в VI книжке “Современника” с небольшими цензурными пропусками. Редакция ничего не изменяет в Ваших статьях — и если они печатаются не совсем так, как присылаются, то это уже вина не наша, а цензуры. Умоляю Вас присылать в “Современник” статьи вроде присланной... Они будут читаться с жадностию. О продолжении такого рода статей я объявил уж в примечании к Вашей статье... <...> Мы все, интересующиеся сколько-нибудь русской литературой, молимся за Вас, да спасет Вас Бог! <...> Пожалуйста, Лев Николаевич, не забывайте русскую литературу и “Современник”, если в Севастополе можно теперь о чем-нибудь помнить» (*Переписка*, т. 1, с. 120–121). 31 мая Панаев еще раз известил Толстого, что «Севастополь в декабре» напечатан в шестой книжке «Современника», и вместе с письмом послал оттиск рассказа отдельной брошюрой. «Статья эта с жадностию прочлась здесь всеми,— писал Панаев,— от нее все в восторге — и между прочим *Плетнев*, который отдельный ее оттиск имел счастье представить государю императору на сих днях. Тысячу раз благодарю Вас за эту статью. Мы все здесь молимся, да хранит Вас Бог для чести и славы русской литературы!» (там же, с. 122).

Шестой номер «Современника» вышел из печати 1 июня 1855 г. Публикацию рассказа «Севастополь в декабре месяце» (с подписью Л.Н.Т.) редакция сопроводила небольшим примечанием: «Автор обещает ежемесячно присылать нам картины севастьяпольской жизни, в роде предлагаемой. Редакция “Современника” считает себя счастливою, что может доставлять своим читателям статьи, исполненные такого высокого современного интереса и притом написанные тем писателем, который возбудил к себе такое живейшее сочувствие и любопытство во всей читающей русской публике своими рассказами “Детство”, “Отрочество”, “Набер” и “Записки маркера”» («Современник», 1855, № 6, отд. 1, с. 333).

В 1856 г. «Севастополь в декабре месяце» был напечатан в сборнике «Военные рассказы графа Л.Н.Толстого». Текст рассказа для этого издания подвергся небольшой авторской правке: были даны уточнения, введены или заменены отдельные слова, выражения, возможно, снятые цензурой при первой публикации. Так, в «Современнике»: «баркас, на котором

навалены какие-то кули» — в книге Толстой добавил: «и неровно гребут неловкие солдаты»; в С: «Толпы солдат, матросов, женщин» — в ВР изменено: «толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин»; в С: «следы военного лагеря» — в ВР: «неприятные следы военного лагеря»; в С: «бутылкой так называемого “Бордо”» — в сборнике: «бутылкой кисло-го крымского вина, называемого “бордо”»; в С: «По остановкам в его рассказе» — в ВР: «Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе» и т.п. Снял Толстой в новом тексте слова о «невозможности взять Севастополь» — поражение крепости было уже свершившимся фактом. Определяя чувство любви к родине, «редко проявляющееся», автор добавил очень емкое и сильное: «стыдливое в русском». В самом конце рассказа Толстой отказался от патетических фраз: «Велико, Севастополь, твое значение в истории России! Ты первый служил выражением идеи единства и внутренней силы русского народа»¹.

Первый севастопольский рассказ перепечатывался чаще, чем другие военные рассказы. Уже 5 июня 1855 г. «Севастополь в декабре месяце» появился на страницах газеты «Русский инвалид» в разделе «Военный листок» (№ 122). Помещающая рассказ Л.Н.Т., газета ссылалась на публикацию «Современника», заметив при этом: «Редакция “Инвалида” считает долгом познакомить нашу военную публику с этою истинно превосходною статьею». Во всех последующих изданиях рассказ печатался по тексту сборника «Военные рассказы». Помимо собраний сочинений Л.Н.Толстого, куда «Севастополь в декабре месяце» входил непременно, при жизни автора он был помещен в нескольких сборниках. В 1860 г. рассказ вошел в «Сборник избранных мест из произведений современных русских писателей» (СПб.), где печатался непосредственно за стихотворением Н.А.Некрасова «Внимая ужасам войны...». Несколько раз «Севастополь в декабре» был напечатан в 70-е годы. В 1874 и 1878 (2-е изд.) гг. появилась книга «“Рассказы о Севастопольской обороне” графа Л.Н.Толстого», изданная Московским комитетом грамотности «для народного чтения», где рассказ дан в сокращении. В 1879 г. «Севастополь в декабре» был включен в книгу «Граф Лев Николаевич Толстой. Детство. Севастополь. Три смерти. <...>», вышедшую девятым томом в серии «Русская библиотека» (СПб.). Наряду с повестями и рассказами в этой книге были представлены отрывки из романов «Война и мир» и «Анна Каренина». В 80-е годы первый севастопольский рассказ дважды (в 1884 и 1890 гг.) открывал книгу «“Рассказы о Севастопольской обороне” гр. Л.Н.Толстого» (с рисунками Н.Н.Каразина), изданную Санкт-Петербургским комитетом грамотности тиражом 20 тысяч экземпляров каждое издание.

«Посредник» в 1886 г. предпринял издание небольшой книжки «по рассказам о севастопольской обороне Льва Толстого». За подготовку текста взялся знакомый и последователь Толстого Н.Л.Озмидов. 4 апреля 1886 г. В.Г.Чертков писал Толстому: «Посылаю Вам, дорогой Л.Н., сокращенные и измененные Озмидовым “Севастопольские рассказы”. Я их перечел в этом виде, и мне кажется, что они производят очень сильное

¹ Возможно, первоначально, в наборной рукописи, эти фразы звучали иначе (ср. дневниковую запись от 2 ноября 1854 г.: «Велика моральная сила русского народа...»), но были «отредактированы» Панаевым.

впечатление в желательную сторону. Мне также кажется, что Вам там много изменять не стоит <...>. В этих же очерках желательно было бы только немного связать отрывки и действующих лиц для того, чтобы новые лица не выступали бы неожиданно и без связи. Назвать бы следовало всю книжку “Осада Севастополя”. Если Вы немного измените или вставите, то, пожалуйста, сделайте это на особых листах для того, чтобы мы могли набело переписать на доставленном Вам экземпляре. В цензуру желательно представить в виде такого наклеенного экземпляра — легче пропустят...» (ГМТ). На это письмо Толстой ответил 11 апреля: «Севастопольские рассказы я до отхода из Москвы¹ не получал. На Святой сделаю, если нужно, такие изменения, какие придется, и так, чтобы вам не дать лишнего труда». Летом 1886 г. книжка «Осада Севастополя» вышла в С.-Петербурге. «Севастополь в декабре» здесь был напечатан в сокращенном варианте; на обеих обложках книжки рисунки художника М. Малышева. Через год «Осада Севастополя» была издана в Москве, а 15 мая 1889 г. Чертков сообщал Толстому: «...Ваша книжка наша “Осада Севастополя” запрещена» (ГМТ). Однако уже в начале 90-х годов книжка была пропущена цензурой и выходила в Москве в 1890, 1891, 1896, 1900, 1903 и 1906 гг., «одобренная для ученических библиотек, низших и средних учебных заведений».

В 1899 г. первый севастопольский рассказ появился отдельным изданием в серии «Солдатская библиотека» (Толстой Л. «Севастополь в декабре 1854 г.». СПб., изд. В.А.Березовского).

Сокращенный вариант «Севастополя в декабре» вошел в книгу «“Рассказы о Севастопольской обороне” гр. Л.Н.Толстого», изданную Н.С.Аскаرخановым в 1899 г. в Петербурге и в еще более нелепом виде повторенную в 1900 и 1902 гг. Текст Толстого здесь был дан «с приложением выдержек из сочинений “Севастопольская оборона” А.Погосского и “Оборона Севастополя” А.Зайончковского» и перемежался с текстом этих сочинений, прерываясь или подключаясь к ним зачастую без всякой логической связи.

В 1900 г. отрывок из «Севастополя в декабре» («Вы входите в большую залу ~ в крови, в страданиях, в смерти...») с небольшими купюрами был напечатан в «Книге для взрослых. Третий год обучения», составленной при участии Х.Д.Алчевской (М.).

В первое десятилетие XX века два раза, в 1904 и 1909 гг., «Севастополь в декабре» выходил в Москве в книге «Севастополь в декабре 1854, в мае и августе 1855 года (1854–1856 года)», изданной «Т-вом И.Н.Кушнерев и К^о», и в 1908 г. в сокращении рассказ был включен в книгу «После Гоголя» (Пособие и хрестоматия для старших классов средней школы и для самообразования. Ч. 2. Вып. 1. Лев Толстой. СПб.), составленную Г.Синюхаевым.

Выход в свет «Севастополя в декабре месяце» отметила столичная пресса. «Северная пчела» 3 июня 1855 г. сообщала: «1-го июня вышла и раздается гг. подписавшимся шестая книжка “Современника”». Среди материалов номера газета называла рассказ Л.Н.Т. «Севастополь в де-

¹ Вечером 4 апреля Толстой отправился пешком из Москвы в Ясную Поляну.

кабре месяце» (№ 120, с. 626). В тот же день Панаев писал Тургеневу: «Шестой номер вышел — первого числа. Номер недурен, кажется... “Севастополь” — прелесть. <...> Напиши свое мнение о книжке» (ЛН, т. 73, кн. 2, с. 108).

Появление рассказа в «Русском инвалиде» вызвало широкий резонанс. Эта акция газеты возмутила редакцию «Современника». «Панаев <...> хочет завести процесс с “Инвалидом” за перепечатание статьи Толстого “Севастополь”, — писал 7 июня И.С.Тургеневу Д.Я.Колбасин, — так что в провинции из “Инвалида” она будет раньше известна, чем из “Современника” и проч. и проч. Просто бедовый Иван Иванович...» (Тургенев и круг «Современника», с. 249). Панаев волновался не напрасно: «Современник» рассылался по России значительно медленнее, чем расходилась газета «Русский инвалид», да и тираж его был меньше. В середине июня Тургенев все еще не получал журнала: «...напишите мне, хороша ли статья Толстого — “Севастополь”, — просил он П.В.Анненкова 15 июня, — ибо книжка “Современника”, в которой она помещена, — раньше 8 или 10-го июля не будет. Бог их знает, как они распоряжаются!» (Тургенев. Письма, т. 3, с. 32). В тот же день Панаев в письме к Тургеневу советовал «обратить внимание на июньскую книжку» «Современника», где помещена «превосходная статья “Севастополь” Толстого». «Севастополь производит сильное впечатление», — писал он (ЛН, т. 73, кн. 2, с. 109). Так и не дождавшись шестой книжки журнала, Тургенев познакомился с новым рассказом Толстого в «Русском инвалиде»: «Я прочел “Севастополь” в “Инвалиде” (“Современника” еще нет) — и пришел в совершенный восторг, — сообщал он Панаеву 27 июня. — Дай Бог таких статей побольше!» (Тургенев. Письма, т. 3, с. 37).

В «Русском инвалиде» на Кавказе, в далекой станице Старогладковской, прочитал рассказ Толстого бывший его батарейный командир Н.П.Алексеев. 30 июня он написал Толстому в Севастополь: «Номер 122-й “Русского инвалида” завладел статьей “Севастополь в декабре 1854 года” автора Л.Н.Т. Получивши этот номер, я взглянул на подпись автора и сказал: “Здравия желаю Вашему сиятельству, душевно рад — Вы защитник Севастополя, дай Бог Вам отстоять его и истребить врагов отечества”. <...> Номер 122 “Инвалида” указал мне, куда к Вам писать, и спешу поздравить Вас с победами! Душа радуется, читая в “Инвалиде” о победах героев Севастополя, и невольно завидуешь им» (Письма с Кавказа Л.Н.Толстому. Махачкала, 1928, с. 3).

«Русский инвалид» дошел даже до Т.А.Ергольской. «Все с ума сходят от твоих сочинений! — писала она племяннику 3 июля. — Твое описание Севастополя в декабре месяце — великолепно; я прочла эту статью в “Русском инвалиде”. Мне не приходится хвалить тебя; что бы я ни сказала, показалось бы вульгарным в сравнении с оценкой, высказанной этой газетой, где говорится, что *хотим познакомить с истинно превосходной статьею*. И точно, невозможно ничего лучше этого написать. Я виделась недавно с Николенькой¹, — продолжала Т.А.Ергольская, — много говорила с ним об этом описании Севастополя; он тоже и все знакомые в восхищении от твоих сочинений; продолжай, милый Лева, заниматься литера-

¹ Н.Н.Толстой.

турой, ты уже себя очень прославил своими сочинениями, ты одарен удивительными способностями, употребляй их на пользу...» (*Юб.*, т. 59, с. 322–323).

«Все знакомые», о которых писала Т.А.Ергольская, скорее всего, тоже прочитали «Севастополь в декабре месяце» в «Русском инвалиде», так что именно эта газета стяжала «славу», предназначавшуюся «Современнику», чем и был так обеспокоен его редактор.

Помимо спора с «Русским инвалидом» Панаев предпринял еще один решительный шаг: «...Некрасова нет, а Панаев сделался просто деловая bestия! — еще 7 июня писал Тургеневу Д.Я.Колбасин, — <...> убедил Норова, весьма красноречивым письмом, позволить помещать в “Современнике” статьи военного содержания, т.е. описание военного быта, на что Пушкин <М.Н.Мусин-Пушкин> не соблаговолял...» (*Тургенев и круг «Современника»*, с. 249). Письмо министру народного просвещения А.С.Норову о разрешении печатать «статьи литературно-патриотического содержания, подобные статье “Севастополь в декабре”, уже напечатанной в шестом номере “Современника”», Панаев направил в последних числах мая в связи с тем, что цензура не пропустила присланную Толстым статью А.Д.Столыпина «Ночная вылазка в Севастополе» и письма сестер Крестовоздвиженской общины. К письму был приложен уже отпечатанный рассказ Л.Н.Т. «Севастополь в декабре». Панаев доказывал необходимость разрешения печатать военные статьи в литературных журналах, а не только в газетах «Русский инвалид» и «Северная пчела», «ибо патриотизм — чувство неотъемлемое ни у кого, присущее всем и не раздающееся как привилегия. Если литературные журналы будут вовсе лишены права <...> быть проводниками патриотических чувств, которыми живет и движется в сию минуту вся Россия, то <...> оставаться редактором литературного журнала будет постыдно» («Голос минувшего», 1917, № 11–12, с. 248–249).

Реакция министра последовала незамедлительно: 31 мая 1855 г. А.С.Норов обратился к председателю С.-Петербургского цензурного комитета М.Н.Мусину-Пушкину со следующими рекомендациями: «...Я нахожу возможным допускать в нем <“Современнике”> печатание и перепечатку статей, подобных вышеозначенным и разрешенной к напечатанию в шестом номере “Современника”, под заглавием “Севастополь в декабре месяце”, по рассмотрении их, в случае надобности, Военною цензурою. О чем покорнейше прошу Ваше превосходительство предложить С.-Петербургскому цензурному комитету к надлежащему исполнению» (там же, с. 249–250). Так рассказ «Севастополь в декабре месяце» помог сломать неприступную стену цензуры на пути в литературу сочинений о севастопольской кампании.

15 июня Толстой записал в дневнике, что «вчера был в Бахчисарае и получил письмо и статью от Панаева», посланные 31 мая из Петербурга: «Меня польстило, что ее читали государю».

Позднее многих интересовал факт чтения рассказа государем императором. Об этом в своих воспоминаниях о Толстом писал американский консул Ю.Скайлер, побывавший в Ясной Поляне в 1868 г. Там он узнал, что после чтения во дворце «Севастополя в декабре» император (Толстой считал, что Николай I, хотя это был Александр II, замечал Скайлер), «думая об умственной славе своей страны, приказал “следить за жизнью

этого молодого человека”», — приводил мемуарист выражение самого Толстого («Русская старина», 1890, № 9, с. 642).

В семье Толстых прочно закрепилось мнение о том, что именно Николай I читал «Севастополь в декабре». 18 июля 1905 г. Д.П.Маковицкий записал разговор Л.Н. и С.А.Толстых с П.И.Бирюковым:

«*Софья Андреевна*: Николай Павлович, прочитав “Севастополь в декабре”, послал фельдъегеря, чтобы Л<ьва> Н<иколаевича> оттуда отозвать.

Л.Н.: Нет, это так было. “Севастополь в декабре” был читан у императрицы¹, тетушки жили во дворце. Мне начальник артиллерии сказал, что <мой перевод состоялся> по приказанию государя. Я написал в декабре, и очень скоро появилось. Но, может быть, он в рукописи читал» (*ЛН*, т. 90, кн. 1, с. 347).

Работая над биографией Толстого, Бирюков еще раз вернулся к этому вопросу в конце 1905 г. В письме из Женевы 20 декабря он обращался к Толстому: «Хочется раз навсегда решить вопрос о том, читал ли Николай I Ваши “Севастопольские рассказы”; я склонен думать, что нет и вот почему...» — далее Бирюков приводил факты и доказательства, почему этого быть не могло (Николай I скончался 18 февраля 1855 г.; строки из письма И.И.Панаева — от 19 мая 1855 г.). Через два месяца Бирюков снова делился своими соображениями. «Я получил на днях письмо от Стасова, — писал он Толстому 18 февраля 1906 г., — он сообщает мне, что по Вашему указанию он справлялся в Библиотеке и нашел, что “Севастополь в декабре” напечатан в июньской книжке “Современника” 1855 года. Это подтверждает мое предположение. Если бы Вы отослали рассказ в редакцию в феврале, совершенно невероятно, чтобы редакция держала его под спудом четыре месяца. Если же Вы его отослали в апреле, как и пишет Панаев, то совершенно естественно, что он попал в первую июньскую книжку, которая набиралась в мае. Еще одно обстоятельство подтверждает это. Ведь вследствие чтения государем Вашего рассказа, Вы были переведены на Бельбек; в письме к Сергею Николаевичу, в котором Вы перечисляете события севастопольской жизни, Вы говорите о двух пребываниях на Бельбеке. 1) В январе очевидно этот перевод не мог быть следствием прочтения государем рассказа, так как он тогда еще только писался. 2) В мае. Этот перевод не мог быть сделан по приказу Николая, умершего в феврале. Если же предположить, что рассказ Ваш читал Александр II, то все выходит вполне сообразно: в апреле был послан рассказ. В начале мая он был набран и представлен в военную цензуру и был прочитан государем Александром II, который сейчас же и отдал приказ о Вашей командировке, что и было немедленно исполнено. О чтении Александром II “Севастополя в декабре” также Вас уведомляет Панаев.

Не разрешите ли Вы мне, после всего этого доказательства, утверждать, что рассказ “Севастополь в декабре” был прочитан государем Александром II, который и сделал немедленное распоряжение о переводе Вас в менее опасное место. Об Николае же я вовсе не буду упоминать» (*ГМТ*).

¹ Евг. Соловьев в книге «Л.Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность» (СПб., 1894) отметил: «Рассказывают, что императрица Александра Федоровна плакала, читая первый севастопольский очерк Толстого...» (с. 54–55).

«Севастополь в декабре» читали в императорской семье и несколько лет спустя. В Отделе редкой книги библиотеки Государственного музея Л.Н.Толстого сохранился сборник «Военных рассказов» с автографом 14-летнего цесаревича Александра Александровича, будущего императора Александра III: «Читал с удовольствием. Александр. Царское Село. 1 октября 1859 года», — надпись на форзаце книги.

Июньская почта приносила молодому писателю все новые и новые отзывы о его рассказе. 15 июня из Москвы Некрасов отправил Толстому гонорар (50 рублей серебром) за «последнюю статью» и писал: «Статья эта написана мастерски, интерес ее для русского общества не подлежит сомнению, — успех она имела огромный. Еще до выхода VI кн<ижки> “Современника” я имел ее здесь в корректуре и она была читана Грановским при мне в довольно большом обществе — впечатление произвела сильное. Пожалуйста, давайте нам побольше таких статей!» (Некрасов, т. 14, кн. 1, с. 203).

В конце июня до Толстого дошли сведения о том, что по приказу Александра II рассказ будет переведен на французский язык, а его как автора «Севастополя в декабре» пригласила для сотрудничества газета «Le Nord», официозная русская газета, издававшаяся в Брюсселе на французском языке. Это «польстило» самолюбию, и 29 июня отмечено в дневнике: «Действительно, я, кажется, начинаю приобретать репутацию в Петербурге. Сев<а>стополь> в дек<а>бре> государь приказал перевести по-французски». 1 июля 1855 г. рассказ в сокращении под заглавием «Une journée à Sébastopol» был опубликован в газете «Le Nord» (№ 7).

Похвалы «Севастополю в декабре» не иссякали. «Я испытываю в первый раз ощутительное искушение честолюбия, с статьей», — признался Толстой в записной книжке 4 июля. На следующий день газета «С.-Петербургские ведомости» (1855, № 145, с. 743) в фельетоне о русской журналистике (статья без подписи) коснулась нового рассказа Л.Н.Т., чье дарование «так высоко и оригинально». Обругав одну из бледных повестей, опубликованных в «Современнике», газета писала: «За скуку этой повести нас вознаградил десяток страниц г. Л.Н.Т. “Севастополь в декабре месяце”. Это картины севастопольской жизни, в высшей степени интересные». В тот же день, 5 июля, газета «Северная пчела» в «Библиографических известиях» (1855, № 145, с. 762) напечатала объявление о выходе июльской книжки «Современника». Представляя обновленный отдел внутренних известий, где отныне «Современник» «постоянно будет сообщать известия о подвигах наших воинов», издатели напоминали: «В шестом номере “Современника” в этом отделе мы поместили уже статью Л.Н.Т. “Севастополь в декабре месяце” — статью, по справедливости обратившую на себя внимание публики живостью, картинностью и благородным патриотизмом».

Неизвестно, дошли ли (и когда?) эти отзывы до Толстого, но того же 5 июля он записал в дневнике: «Теперь только настало для меня время истинных искушений тщеславия. Я много бы мог выиграть в жизни, ежели бы захотел писать не по убеждению». В это время шла работа над новым сочинением — будущим «Севастополем в мае».

Первым журналом, поместившим отзыв о севастопольском рассказе, были «Отечественные записки». Критик, не назвавший своего имени, счи-

тал «Севастополь в декабре месяце» «лучшей статьей в июньском номере «Современника»». Он увидел, что автор не ставил своей задачей поведать о «героических действиях наших войск», которые известны «из официальных донесений». Л.Н.Т. «выбрал для себя другую точку, с которой взглянул на эту удивительную историческую картину. Прежде всего он берет за руку читателя, который не бывал в Севастополе и не имеет понятия о жизни в осажденном городе, и ведет читателя из улицы в улицу, потом из траншеи в траншею и приводит на страшный бастион № 4-й. Он заставляет читателя испытывать, одно за другим, все чувства — от страха до гордости, и в то время, как эти чувства сменяются в читателе, он показывает ему бесстрашных защитников наших редутов, которые смеются, курят, заряжают пушки и наблюдают за неприятелем». По мнению рецензента, «эта-то противоположность и действует сильно на читателя. Нужно отдать справедливость г-ну Л.Н.Т., что во всем этом описании он выказал много такта и знания дела. Он не сказал ни одной восторженной фразы и заставил вас восторгаться; описание его не изобилует восклицательными знаками, и, однако ж, вы удивляетесь на каждом шагу, удивляетесь всем, начиная от матроса и солдата и кончая командующими генералами» («Отечественные записки», 1855, № 7, «Журналистика», с. 65).

В начале июля к «Севастополю в декабре» еще раз обратился И.С.Тургенев: теперь он прочитал рассказ в «Современнике». «Кстати, не правда ли, какая отличная вещь — “Севастополь” Толстого?» — писал он 10 июля из Спасского А.В.Дружинину и Д.В.Григоровичу (Тургенев. Письма, т. 3, с. 42). И в тот же день Н.А.Некрасову: «Какая превосходная вещь — его “Севастополь”!» (там же, с. 45). И Панаеву — снова о толстовском рассказе: «Статья Толстого о Севастополе — чудо! Я прослезился, читая ее, и кричал: ура! <...> Статья Толстого произвела здесь фурор всеобщий» (там же, с. 46–47). Тургенев долго оставался под впечатлением от первого севастопольского рассказа. Почти месяц спустя, 3 августа, он писал С.Т.Аксакову: «Читали ли Вы статью Толстого “Севастополь” в “Современнике”? Я читал ее за столом, кричал “ура!” и выпил бокал шампанского за его здоровье» (там же, с. 305). С.Т.Аксаков разделял восторг Тургенева и отвечал 11 августа из подмосковного Абрамцева: «Статью Толстого я прочел с восхищением и также мысленно кричал *ура* и сочинителю, и тому, что она напечатана» («Русское обозрение», 1894, № 11, с. 27). В те же дни впечатлением от нового рассказа Толстого делился с отцом И.С.Аксаков: «...прочел в “Современнике” Толстого “Севастополь в декабре месяце”, — писал он 25 августа. — Очень хорошая вещь, после которой хочется в Севастополь — и кажется, что не струсить и храбриться не станешь. Какой тонкий и в то же время теплый анализ в сочинениях этого Толстого» (И.С.Аксаков в его письмах. М., 1892, т. 3, с. 154).

А.Ф.Писемский 6 августа в письме Тургеневу, говоря о втором севастопольском рассказе Толстого, признавался, что первый ему нравился больше, «по отношению автора к действующим лицам рассказа». «Картина» первого севастопольского рассказа представлялась ему «превосходной» (ЛН, т. 73, кн. 2, с. 145).

«Севастополь в декабре» обсуждался в переписке А.В.Дружинина с М.А.Ливенцовым, офицером, служившим на Кавказе и печатавшим в петербургских журналах свои очерки о Кавказской войне. 23 июля Дружинин, покровительствовавший писателю-дилетанту Ливенцову, писал ему:

«Отыщите, любезнейший Михаил Алексеич, в “Современнике” за июнь статью Толстого, бывшего вашего кавказского Толстого, “Севастополь в декабре 1854”. Статью эту два раза читала государыня, государь читал ее сам, весь Петербург ее расхваливает, а я знаю, что Вы можете написать подобную вещь, и гораздо лучше. Зачем Вы дали опередить себя, зачем Вы не составили подобного же рода рассказа о ваших экспедициях с Бебутовым?» (*Летописи ГЛМ*, кн. 9, с. 172. Исправлено по автографу). 20 августа Ливенцов отвечал Дружинину: «Относительно Вашего совета заняться составлением бивачных сцен <...> мне вовсе не хочется спекулировать на эффективность статьями о современных событиях, выдираясь единственно на интересе, в них заключающемся... Впрочем, я уже думал об этом рода сочинении, и у меня кой-что начато, только совершенно не в том духе, как “Севастополь в декабре” — эта вещь мне даже не нравится и от автора “Детства” я ожидал больше. Вот еще доказательство, что успех таких вещей не зависит столько от художественности рассказа, сколько от современного интереса событий» (там же). Дружинин не мог принять точку зрения Ливенцова и, уже познакомившись со вторым сева-стопольским рассказом, 26 сентября писал об этом своему корреспонденту: «Я не совсем согласен с Вашим отзывом насчет статей Толстого о Севастополе. Мне они кажутся очень хороши и очень просты, фраз в них я не вижу, а некоторая экзальтация, Вами замеченная, становится понятна, если сообразить, что и предмет описывается не совсем обыкновенный. По отзывам людей, бывших в Севастополе, заметки Толстого очень верны» (там же). Спустя полтора года Ливенцов в письме Дружинину от 1 марта 1857 г. все же признал, что «даже и военные статьи графа Толстова» ему нравятся (там же).

Высоко оценили севастопольский рассказ сослуживцы Толстого. Один из них, А.Я.Фриде, 24 октября 1855 г. писал автору о его произведениях: «...хорош, очень хорош *Рассказ маркера, но Севастополь в декабре месяце* окончательно поразил меня: это верх изящества, этот рассказ неподражаем» (*ГМТ*). Без сомнения, мысли, настроение и даже стиль рассказа были близки Фриде, за несколько месяцев до появления «Севастополя в декабре» писавшему по возвращении из Севастополя Толстому (письмо не датировано): «...но во всяком случае я никогда не забуду тех минут, когда, переправясь на Южную сторону Севастополя, я очутился в кругу героев и чувствовал, что сам с ними возвысился духом! Не взять союзникам Севастополя! Не погрязнуть им благородное мужество людей, защищающих его! Это будет противуестественно, ибо докажет торжество тщеславия над истинным геройством, торжество хладнокровно обдуманного намерения унижить над желанием защитить то, что естественно дорого сердцу благородному!» (*ГМТ*).

Продолжали появляться рецензии в журналах и газетах. «Краткую, но замечательную статью г. Л.Н.Т.— “Севастополь в декабре месяце” — в июньской книжке “Современника”» отметила «Библиотека для чтения» (1855, № 8, отд. «Журналистика», с. 21). Ап.Григорьев в «Москвитяине» в «Обзрении наличных литературных деятелей» (1855, № 15–16, отд. «Журналистика», с. 203) писал, что «Севастополь в декабре месяце» «показал дарование молодого писателя в новом свете». «“Севастополь” — картина мастера, строго задуманная, выполненная столь же строго, с энергиею, сжатостью, простирающеюся до скупости в подробностях, про-

изведение истинно поэтическое и по замыслу, т.е. по отзыву на величавые события, и по художественной работе. В русской литературе есть одно только парное этому произведение, известная статья Жуковского “Александровская колонна” — такой же поэтический отзыв на великие воспоминания, как отзыв г. Л.Н.Т. на великие современные события. Кто чувствует, как мудроно спокойно, величаво и вместе просто, без преувеличений и пересолений, одним словом — художнически отозваться на великое, близкое сердцу, так чтобы это великое отразилось в картине во всей силе и во всей простоте величия, тот, конечно, поймет, читая небольшое произведение г. Л.Н.Т., что оно могло быть написано только истинным поэтом. В этом изображении все дышит суровой правдой — но в самой суровости колорита очевиден художественный прием. И с этих пор, конечно, все симпатии наши прикованы к прекрасному поэтическому дарованию...».

Спустя три месяца на статью Ап.Григорьева в «Москвитяине» откликнулась газета «С.-Петербургские ведомости». 12 ноября (1855, № 249) в фельетоне «Русская литература. (Журналистика)» безымянный рецензент не без язвительности замечал: «Не “Детство”, не “Отрочество”, не “Записки маркера”, а одна только картина “Севастополя в декабре месяце” (бесспорно превосходная и в высшей степени замечательная) располагает г. критика в пользу г. Л.Н.Т., и то чуть ли не потому только, что напоминает *парное* ей произведение, “*Александровскую колонну*” Жуковского» (с. 1321).

В декабрьском номере за 1855 г. «Отечественные записки» поместили статью С.С.Дудышкина «Рассказы г. Л.Н.Т. из военного быта и рассказы, записанные со слов очевидцев гг. Таторским и Кузнецовым и собранные г. Сокальским» (№ 12, отд. «Журналистика», с. 74–92), где критик упоминал «превосходную военную картину» «Севастополь в декабре месяце». «Без всяких рассуждений <...> в одной простой картине знаменитого 4-го бастиона сказано вам гораздо более, нежели можно сказать отвлеченными рассуждениями. Вглядитесь в физиономию простого солдата, вслушайтесь в его отрывистые фразы, и вы почувствуете, что он <г. Л.Н.Т.> постоянно преследует одну и ту же идею, только как художник выражает ее в картинах...».

Выход книги Толстого «Военные рассказы» стал поводом для новой статьи С.С.Дудышкина. Здесь критик говорил и о первом севастьяпольском рассказе, который ставил много выше «Севастополя в августе», полагая, что в последнем «нет действия», «происшествий», а «портреты действующих лиц, преимущественно солдат, были уже изображены автором в первом рассказе», где читатели «познакомились с тою хладнокровною стойкостью, с тем пренебрежением опасности, которая составляла силу защитников Севастополя» («Отечественные записки», 1856, № 11, отд. III, с. 11–18).

С появлением сборника «Военные рассказы» критики стали рассматривать «Севастополь в декабре» не как отдельное произведение, а как часть трилогии о Севастополе. «Более зрелым произведением¹ <...> являются три отдельные картины, изображающие великую севастьяпольскую

¹ По сравнению с кавказскими рассказами.

драму,— писал критик журнала “Военный сборник” (1868, № 4, отд. II) в статье “Военный роман” (статья без подписи); — это как бы главы героической эпопеи, представляющие защиту Севастополя в три наиболее замечательные эпохи...» (с. 268). В рассказе «Севастополь в декабре месяце» автор статьи прежде всего видел «это спокойствие, отсутствие суетливости, растерянности или энтузиазма, опять-таки прямое следствие чисто русского характера, в котором нет вовсе восторженности, напыщенности при исполнении какого-либо дела, как бы оно ни было важно» (с. 269).

Почти через два десятилетия профессор Московского университета О.Ф.Миллер в книге «Русские писатели после Гоголя» (1886), рассматривая севастопольские рассказы в целом, отмечал, что в «Севастополе в декабре» Толстой показывает картины осажденного города, сцены в зале Дворянского собрания «со всею силою ничем не прикрытого реализма», «без малейших прикрас и риторизма». По мнению О.Миллера, и «присущий человеку эгоизм», и страх отступают перед высокими побуждениями, которые делали народ русский героем севастопольской эпопеи, «именно народ, в лице своих простых людей и тех не простых, которые близки к народу духом» (с. 275).

Рассуждениям О.Миллера были созвучны мысли Евг.Соловьева в его биографической книге «Л.Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность» (СПб., 1894). Имея в виду в первую очередь «Севастополь в декабре месяце» и приводя из него большие фрагменты, исследователь отмечал, что «молчаливый героизм без эффектных фраз, без всякого тщеславного желания выставить себя и сосредоточить на себе внимание, и вместе с этим милое, нежное добродушие русского солдата, умеющего быть деликатным, как любящая женщина, полностью изображены Толстым в его севастопольских рассказах» (с. 56). Соловьев считал, что писатель «вдохновляется прежде всего этим», «что он любит (а не просто описывает) то, чем вдохновляется». «Толстой первый заглянул в душу старого дореформенного солдата и первый создал его тип или, вернее, целую галерею типов, теперь уже родных и близких каждому русскому читателю. В жизни, полной самоотречения, невыносимой тяготы и лишений, почти нечеловеческих, жизни без тени личного счастья, без семьи, без будущего, с вечным поднятым над головой обухом, с не уходящим ни на шаг призраком смерти — Толстой учуял что-то таинственное, прекрасное и чистое, как звезда на небе. И он склонился перед этим, и вера в народ утвердилась в его сердце раз на всю жизнь. Как ни менялось впоследствии мирозерцание Толстого, как ни глубоко погружался он в безнадежное отрицание — эта вера спасала его и вызывала после каждого падения к новой жизни, новой работе» (с. 56–57).

Рассказ «Севастополь в декабре» в начале XX века был представлен в нескольких изданиях (3, 4, 5, 6-м) учебника литературы В.Ф.Саводника «Очерки по истории русской литературы XIX века» (ч. II). В первых двух изданиях книги севастопольские рассказы только упоминались, но начиная с третьего издания (М., 1907) каждому из этих рассказов автор уделял внимание. В первом рассказе о севастопольской обороне Саводник видел «как бы краткий отчет о том *общем впечатлении*, какое производит на наблюдателя жизнь Севастополя во время осады». Здесь нет «подробностей» и «частностей»: Толстой «ограничивается лишь самыми общими, как будто беглыми чертами. Но в этих чертах прекрасно схвачен самый

“дух” защитников Севастополя, и оттого весь очерк производит такое живое впечатление. Рассказ Толстого проникнут чувством горячего патриотизма и твердой веры в нравственные силы русского народа». По мнению исследователя, «Толстой преклоняется перед героизмом русских солдат, в особенности потому, что этот героизм отличается такой полной простотой, отсутствием чего-либо напускного, эффектно-картинного. В этой простоте героизма он видит истинное величие, “молчаливое и бесхознательное”, доходящее до “стыдливости перед собственным достоинством”» (с. 176–177).

«Севастополь в декабре» много переводился на иностранные языки и еще при жизни Толстого издавался в Европе и США.

Первый (сокращенный) перевод на французский язык был сделан в июне 1855 г. и опубликован 1 июля того же года в газете «Le Nord». Через две недели этот же перевод перепечатала в приложении газета «Journal de Francfort» (1855, № 167). Толстой отметил в дневнике 29 июля 1855 г., что «читал свою статью в “Журнал de Francfort”».

Немногим более чем через год «Севастополь в декабре» в виде рассказа, чередующегося с большими цитатами, появился в журнале «Revue des deux Mondes» в статье французского журналиста и переводчика Анри Ипполита Делава «Литература и военная жизнь в России» (1856, 15 août). Делаво писал о глубоком реализме и человеческой простоте севастопольских рассказов Толстого, но опускал конец «Севастополя в декабре», где автор объясняет, почему невозможно взять Севастополь и поколебать силу духа его защитников. Вероятно, француз Делаво, поклонник русской литературы и вообще России, не смог здесь полностью отрешиться от патриотического чувства.

В дальнейшем «Севастополь в декабре месяце» публиковался на французском языке полностью и в сокращении в переводах М. Делина, Ж.-В. Бинштока, И. Д. Гальперина-Каминского. Рассказ печатался в собрании сочинений Толстого (т. 4. Paris, 1903), выходявшем под редакцией и с комментариями П. И. Бирюкова, а также входил в сборники «Севастопольских рассказов» Л. Толстого. Фрагмент «Севастополя в декабре» под названием «Le quatrieme bastion» был опубликован в 1887 г. в книге «Scènes de la vie russe» (Paris).

В 1876 г. газета «Dziennik Warszawski» напечатала первый перевод «Севастополя в декабре месяце» на польском языке (ЛН, т. 75, кн. 2, с. 253).

В середине 80-х годов рассказ появился в Скандинавии на датском, финском и шведском языках в изданиях «Севастопольских рассказов».

В 1886 г. первый севастопольский рассказ вышел на голландском и немецком языках. В Германии «Севастополь в декабре» печатался полностью и в сокращении (в переводах В.-П. Граффа, Г. Роскошного, Р. Лёвенфельда) около десяти раз как в составе собраний сочинений Толстого, так и в сборниках.

Рассматривая севастопольские рассказы, немецкий исследователь Р. Лёвенфельд считал, что здесь Толстой «предпочтение <...> отдает простым солдатам»: «По мнению Толстого, народ страдает из-за того, что мы не видим присущих ему крупных, тающихся в нем душевных сокровищ» (Лёвенфельд Р. Гр. Л. Н. Толстой, его жизнь, произведения и миросо-

зерцание. СПб., 1896, с. 103). Говоря о Толстом, участнике обороны Севастополя, о времени и состоянии, в котором был написан «Севастополь в декабре месяце», Лёвенфельд рассуждал: «Впрочем, кто знает? — быть может, именно благодаря тому нервному возбуждению, в котором находился автор, его произведение и является *chef d'oeuvre* искусства» (там же, с. 89). Известное пророчество Толстого в конце рассказа: «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...» — вызвало у Лёвенфельда цепь серьезных философских размышлений: «В этих словах сказался не только патриотизм Толстого, но и глубокое, скорбное убеждение, так как картина смерти в Севастополе выяснила ему, как ничтожна жизнь одного лица в сравнении с страданиями массы, в сравнении с вечными, всемирно-историческими идеями. Или, быть может, война эта плод ошибок народов? — задавал вопрос Лёвенфельд и отвечал: — Нет, народы не питают взаимной ненависти, и только заблуждения ошибающихся вождей заставляют людей, связанных общностью мирозерцания и религии, идти друг против друга» (там же, с. 101).

«Дрожащей от возбуждения рукой, — отмечал другой немецкий литератор, Е.Цабель, — написал Толстой во время осады великолепный рассказ “Севастополь в декабре”, который был принят с горячим одушевлением, как неопровержимое доказательство стойкости русских войск даже в несчастной войне» (Цабель Е. Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк. Перевод с нем. Владимира Григоровича. Киев, 1903, с. 12). Исследователь рассматривал севастьяпольские рассказы как «три группы воспоминаний», представляющих единую картину войны. «...Стоит только взять в руки рассказы Толстого, — писал он, — как сейчас же почувствуешь себя как бы перенесенным непосредственно в ту самую обстановку, в которой находился этот живописный город с желтыми, окутанными туманом, горами с одной стороны, с широкой, покрытой неприятельским флотом бухтой — с другой; как будто сам слышишь гул выстрелов, видишь белый дым над батареями, испытываешь ту крайнюю степень душевного возбуждения, которое переживалось защитниками Севастополя» (с. 57). Не называя отдельных рассказов, Цабель, цитируя или излагая их, воспроизводил ряд сцен из севастьяпольских рассказов, в том числе и сцену в зале, где лежат тяжело раненные, из «Севастополя в декабре». Слова старого солдата, с которым беседует рассказчик, о том, что «первое дело» *«не думать много»*, «все больше оттого, что думает человек», привлекли особое внимание критика. «Тут перед нами образ совсем в духе писателя — человек, который бодро принимается за дело, исполняет свои обязанности и не входит ни в какие рассуждения относительно их, который сам справляется с самыми крупными превратностями жизни, потому что никакие излишние рефлексии не ослабили в нем ни стремления к деятельности, ни способности мужественно переносить зло. Создать в себе подобное здоровое состояние и силу души — эта задача носилась перед Толстым, как высший идеал, уже в первый период его литературного творчества», — полагал Е.Цабель (с. 58).

На английском языке рассказ впервые был напечатан в 1887 г. (перевод с франц. Ф.Д.Милле) в Нью-Йорке и в 1888 г. в Лондоне. В переводах Ф.Милле, Л.Кендэл, И.Хэпгуд, Л.Винера он входил в собрания сочинений Толстого и в другие издания. В конце 90-х годов Эльмер Моод, гото-

вя к печати севастопольские рассказы, обратился к Толстому с письмом (письмо не сохранилось), в котором просил разрешить возникший у него вопрос по поводу некоторых фраз (эти фразы он приводил в письме): переводчик почувствовал, что здесь не обошлось без вмешательства цензуры. Толстой отвечал Э.Мооду 5 мая 1901 г.: «Что касается перевода “Севастополя”, то все выписанные Вами места или извращены или прибавлены редактором в видах цензуры и поэтому лучше выпустить их. В особенности же отвратительно последнее выписанное у Вас по-английски изречение, сочиненное редактором и еще тогда особенно бывшее мне неприятным» (*ГМТ*, микрофильм).

Вдогонку этому письму 21 мая того же года из Ясной Поляны Э.Мооду была отправлена открытка, в которой шла речь об одной фразе из «Севастополя в декабре»¹: «Сколько помнится, и эта фраза — очень неясная — есть произведение редактора или цензора,— писал Толстой.— Я сейчас перечел и ясно вижу, что все после слов: “простоты и упрямства” — есть прибавка цензора». Фразы из «Севастополя в декабре», авторство которых смущало Э.Моода², были следующие: 1) «...но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства»; 2) «Главное отрадное убеждение, которое вы вынесли, это — убеждение в невозможности поколебать где бы то ни было силу русского народа»; 3) «...другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого,— любовь к родине»; 4) «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...».

Текст «Севастополя в декабре» в английском переводе вышел без этих фраз. Однако, проанализировав исключенный Э.Моодом текст, приходится признать неправомочность такого исключения. Во-первых, потому, что сам Толстой никогда прежде не называл эти строки «прибавкой цензора» и, готовя в 1856 г. новый текст «Севастополя в декабре» для сборника «Военные рассказы», не только оставил их в тексте, но и внес в них очень характерные поправки.

Во-вторых, сопоставляя текст исключенных Э.Моодом фраз с дневником и письмами Толстого 1854–1855 гг., можно убедиться, что фразы эти принадлежат именно Толстому. Дневниковая запись 2 ноября 1854 г. отголоском прозвучит позднее почти в каждой из указанных исключенных Моодом строк: «Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившее-

¹ Видимо, ответ на еще одно письмо Э.Моода по поводу этой фразы.

² Полтора года спустя С.Л.Толстой обратился к Э.Мооду с просьбой: «В настоящее время готовится новое издание сочинений Л.Н., между тем рукопись его “Севастопольских рассказов” не сохранилась. Я знаю, что он послал Вам несколько исправлений текста этих рассказов, искаженного цензурой,— писал С.Л.Толстой 21 января 1903 г.— Не можете ли Вы сообщить мне (или моей матери) эти исправления. Если же нет, то не укажете ли Вы те места, которые были исправлены...» (*ГМТ*). На это письмо Моод ответил 22 января (н.с.?) 1903 г., сообщив те несколько фраз, о которых шла речь в его переписке с Л.Н.Толстым (*ГМТ*).

ся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства». По содержанию, стилю и лексике эта запись очень близка фразам, исключенным из «Севастополя в декабре».

Некоторые мысли и словосочетания в этих фразах почти полностью совпадают с отдельными строками наброска «Докладной записки кн. М.Д.Горчакову»¹: «Зародыш героического чувства готовности к смерти за дело христианства и чести отечества — лежит во всех нас. Дайте ему ход и проявление, и дух этот выразится поступками, достойными человека и русского». Толстой призывал каждого «принять клятвенное обещание, к которому в виде чувства долга таится в душе каждого».

В известном письме С.Н.Толстому от 20 ноября 1854 г. Толстой писал: «Неприятель почти не стреляет, и все убеждены, что он не возьмет города, и это действительно невозможно». Все эти совпадения не случайны, как не случайно и то, что Толстой, спустя 45 лет после выхода в свет сева­стопольских рассказов, совершенно иначе рассматривая понятия «патриотизм», «любовь к родине», «героическое» и т.п., к тому же плохо помня текст своих ранних сочинений, согласился с сомнениями Э.Моода и поспешил признать его правоту, отречьшись от когда-то им самим написанного в первом сева­стопольском рассказе².

• Севастопольские рассказы в переводе Л. и Э.Моод («Sevastopol and other military tales») вышли в 1901 г. в Лондоне в первом томе сочинений Л.Н.Толстого. К тексту, с согласия автора, была приложена карта обороны Севастополя. Эту книгу переводчики прислали в Ясную Поляну. 20 ноября 1901 г. по поручению Толстого отвечала О.К.Толстая, жена А.Л.Толстого: «...Пишу Вам вместо Льва Николаевича, который очень извиняется перед Вами, что до сих пор не ответил на Ваши два письма и присланную Вами изданную книгу “Севастополь” <...> Он просит передать Вам его большую благодарность за письма и “Севастополь”. Он находит, что и перевод, и издание превосходны и нельзя желать ничего лучшего. Действительно книга вышла прекрасная» (ГМТ, микрофильм). Сам Толстой заметил в письме Э.Мооду 23 декабря 1901 г.: «Я, кажется, уже писал Вам о том, как мне необыкновенно понравилось Ваше издание первого тома. Все превосходно: и издание, и примечания, и, главное, перевод и, еще главнее, добросовестность, с которой это все сделано». Для второго издания книги в 1903 г. Моод попросил Толстого написать предис-

¹ Этот набросок (заглавие по Юб., т. 4, с. 295), вероятно, и есть «проект адреса», о котором упомянул Толстой в дневнике 21 апреля 1855 г. рядом с «перебеленными листами» «Севастополя».

² По поводу фраз, исключенных Э.Моодом, с согласия Толстого, из текста «Севастополя в декабре», Н.Н.Гусев писал: «...мы можем вполне определенно утверждать, что места эти принадлежат самому Толстому, так как они тесно связаны с контекстом очерка и нисколько не противоречат общему тону». Исключение этих фрагментов из текста рассказа, по мнению Гусева, «ничем не может быть оправдано» (Гусев, I, с. 542).

словие или разрешить использовать предисловие, написанное Толстым в 1889 г. для книги А.И.Ершова «Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера», лишь несколько изменив его первые строки. Об этом Моод писал С.Л.Толстому 22 января (н.с.?) 1903 г.: «Если бы мы могли использовать “Вступление” Вашего отца к “Севастопольским воспоминаниям” Ершова,— одобрит ли Л.Н. следующее: изменить первые строчки этого “Вступления”, т.к. здесь мало кто знаком с книгой Ершова,— далее Моод предлагал вариант такого составленного им “Вступления”: — У меня нет времени и сил писать вступление к “Севастополю”, т.к. это вступление я писал более чем 12 лет назад для другой книги. Но оно не было напечатано, т.к. не прошло цензуру, и я был бы рад, если бы нам разрешили использовать исправленный перевод “Севастополя”, который скоро выйдет для английского читателя в популярном издании. Когда я писал это вступление, я заново пережил то, через что я прошел 30 лет тому назад: ужас войны и впечатления, которые она произвела, когда я участвовал в ней» (ГМТ).

Предложение Моода не было принято в Ясной Поляне. «Относительно предисловия, которое Вы просите моего отца подписать,— сообщал переводчику С.Л.Толстой 20 января 1903 г.,— к сожалению, я должен ответить Вам, что отец очень не любит возвращаться к своим старым сочинениям и поэтому ему было бы неприятно подписывать к ним предисловие» (ГМТ, микрофильм). Сам Толстой на предложение Э.Моода отвечал 16 февраля того же года (в Юб.— 28 января): «...не считаю нужным adopter предисловие Ершова к моим рассказам или написать от себя какое-либо предисловие. Если Вы находите это нужным, Вы сами от себя можете поставить предисловие к Ершову, сказав, что оно подходит и к моим рассказам...». Моод так и сделал. Книга: Leo Tolstoy. «Sevastopol and other Stories...» — в переводе Луизы и Эльмера Моод вышла в Лондоне в 1903 г. В качестве предисловия было напечатано предисловие Толстого к «Севастопольским воспоминаниям» Ершова.

Моод открыл книгу собственным введением («Introduction»), где сообщил некоторые факты из севастопольской жизни Толстого, коротко рассказал о том, как появилось и было запрещено цензурой предисловие Толстого к воспоминаниям Ершова и почему это предисловие он помещает в книге рассказов Толстого. Здесь же Моод охарактеризовал в целом севастопольские рассказы: «В этих рассказах композиционный центр смещен с внешних данных: имен, чисел, орудий, технического оснащения, побед и поражений, патриотических оправданий или осуждений, которые составляют обычные штампы военных писателей,— к нравственному состоянию описываемого характера или самого автора. Мы понимаем, что думали и чувствовали те люди, которые сражались с нашими отцами. Мы видим скрытые дружины их поступков и ту внутреннюю сущность войны, которая обычно скрывается за ее парадной внешней картиной.

Несмотря на тот факт, что эти рассказы, как и многие другие в русской литературе, пострадали от рук цензора, сила и искренность описаний остается такой, что за ними закрепилось прочное место в мировой литературе, и каждый, кто хочет понять, что такое война на самом деле, должен прочитать их. Они рассказывают настоящую правду о войне лучше, чем громоздкие летописи военных лет, избилующие именами, датами и техническими терминами» (р. III–IV).

Перевод Л. и Э. Моод несколько раз издавался в Англии и США.

На рубеже веков английские и американские русисты в работах о жизни и творчестве Толстого не раз обращались к севастопольским рассказам, анализируя их как целое. Однако некоторые рассуждения были явно ориентированы на «Севастополь в декабре». В 1898 г. английский литератор Г. Перрис в книге «Лев Толстой. Великий мужик» в главе о Севастополе писал: «Стержень всех сочинений Толстого — сам Толстой. Немного узнайте этого человека, и вы поймете, что наше смущение и несогласие вызваны фактом, который мы не приняли, даже если и пытались, — точкой зрения художника. Мы смотрели на незнакомый мир с неверной позиции и через неправильно сфокусированные очки». Перрис давал краткое представление о жизни в России, о Крымской войне и надеялся, что для читателей толстовских рассказов «станет понятным» «тот факт, что молодой солдат никогда не секунду не руководствуется лицемерными словами о патриотизме» (Perris G.H. Leo Tolstoy. The Grand Mujik. A Study in Personal Evolution. London, 1898, p. 53).

В биографической книге о Толстом Т. Ш. Ноулсон, рассматривая севастопольские рассказы, писал, несомненно имея в виду «Севастополь в декабре месяце»: «В Севастополе он <Толстой> описывает любовь к Родине, жившую в нем и в его друзьях-севастопольцах, с той силой и страстью, которой нельзя не верить» (Knowlson T. Sharper. Leo Tolstoy. A biographical and critical study. London; New York, 1904, p. 40).

В 1889 г. «Севастополь в декабре» вышел на венгерском и чешском, в 1892 г. — на испанском, в 1900 г. — на итальянском языках. В 1909 г. рассказ был опубликован в Румынии, а в 1910 г. — в Греции и Норвегии.

С. 81. ...над Сапун-горой... — Сапун-гора — возвышенность к юго-востоку от Севастополя (сейчас в черте города).

...глухо бьет восьмая стклянка. — Стклянка (устар.: стеклянка) (морск.) — полчаса времени, которое отбивают удары судового колокола. У моряков сутки делятся на вахты (по четыре часа каждая); восемь стклянок — конец очередной вахты, т.е. 4, 8 или 12 часов.

На Северной... — На Северной стороне. Большая Севастопольская бухта делит Севастополь на Северную и Южную стороны. Северная сторона — северный берег бухты, северная часть территории Севастополя.

...тяжелая маджара... — Маджара — крымская большая арба (повозка).

...мясо, туры, мука... — Туры (тур) — большие плетеные корзины, наполненные землей, использовавшиеся при строительстве укрытий от пуль и снарядов противника. Их готовили солдаты в окрестных лесах и перевозили к пристани.

На Графскую... — Графская пристань у северной оконечности Городской стороны Севастополя, у выхода Южной бухты в Большую Севастопольскую бухту. Видный памятник архитектуры (арх. Д. Уптон). Сооружена в 1846 г.

С. 82. ...линию бона... — Бон — плавучее ограждение из бревен, сетей, канатов, защищающих вход в бухту.

...прямо под Кистентина держите... — Кистентин — корабль «Великий князь Константин».

...над Южной бухтой... — Южная бухта — одна из трех больших, глу-

боку вдающихся в материк (2 км длины) бухт южного берега Большой Севастопольской бухты; хорошо защищена от всех ветров, превосходная естественная гавань, в которой помещался весь черноморский флот. Южная бухта разделяет южную часть Севастополя на Городскую сторону, лежащую к западу от этой бухты, и Корабельную — к востоку от нее.

...сбитень горячий...— Сбитень — горячий напиток с медом и пряностями.

С. 84. *Налево красивый дом с римскими цифрами на фронте...*— Имеется в виду здание Дворянского благородного собрания. Фронтон — завершение (обычно треугольное) фасада здания, ограниченное по бокам скатами крыши и карнизом у основания.

Посмотрите хоть на этого фуришатского солдата...— Фуришатский солдат — солдат из обозной части.

...в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде...— Экипажи затопленных русских кораблей переформировывались в сухопутные батальоны и продолжали сражаться на бастионах, батареях и в других укреплениях Севастополя.

...рабочих солдат, с носилками ожидающих...— По приказу начальника севастопольского гарнизона Д.Е.Остен-Сакена от 29 ноября (11 декабря) 1854 г. были сформированы особые команды носильщиков для доставления раненых на перевязочные пункты и для переноса умерших из госпиталя в часовню.

...на крыльце бывшего Собрания...— Речь идет о здании Дворянского благородного собрания.

...сходите на бастионы...— Бастион — пятиугольное оборонительное крепостное или полевое укрепление. По проекту строительства оборонных укреплений 1834–1837 гг. предполагалось возвести на высотах в южной части Севастополя восемь земляных бастионов (4 на Корабельной стороне и 4 на Городской), замкнутых со стороны города сводчатыми казармами и соединенных между собой стенами и бойницами. К началу войны ни один бастион не был доведен до проектного уровня, к строительству некоторых так и не приступили.

С. 85. *Да вот шестая неделя пошла...*— Здесь некоторое хронологическое несоответствие: 6-я неделя после первой бомбардировки (5 октября 1854 г.) — это середина ноября. Действие же рассказа Толстого происходит в декабре. Неточность можно объяснить или неправильным прочтением рукописи (8-я?) при наборе в журнале «Современник» (рукопись не сохранилась), или недели Толстой по ошибке считал от времени своего прибытия в Севастополь — 7 ноября 1854 г.

На пятом баксионе...— 5-й бастион находился на Городской стороне Севастополя.

...как первая бандировка была...— Первая бомбардировка Севастополя с суши и с моря союзными войсками 5 октября 1854 г.

...как великие князя говорили с ним...— Великие князя Николай Николаевич и Михаил Николаевич, сыновья императора Николая I, принимали участие в кампании 1854–1855 гг., прибыли в Севастополь 22 октября 1854 г.

...щиплет у себя на подушке корпию...— Щипать корпию — нащипывать из хлопчатобумажной ткани нитки, употреблявшиеся как перевязочный материал (вместо марли, ваты).

С. 86. *...пятого числа в ногу задело бомбой...*— 5 октября 1854 г. при первой бомбардировке Севастополя.

С. 87. *...отворенной церкви...*— В Севастополе в начале 50-х годов XIX в. было шесть православных церквей, кроме того церкви католическая и лютеранская, мечеть, синагога и караимская молельня.

...развешивающимися хоругвями...— Хоругвь — вертикально свисающее полотнище с изображением Христа или святых, укрепленное на длинном древке; хоругви носили во время крестных ходов и торжественных религиозных процессий.

...про дело двадцать четвертого...— 24 октября 1854 г. произошло кровопролитное Инкерманское сражение, в котором русская армия потеряла до 12 тысяч человек.

С. 88. *...бретерским настроением духа...*— От: бретер — скандалист, задира, дуэлянт.

...плохо оттого, что грязно.— Как отмечает Э.И.Тотлебен в своем фундаментальном труде «Описание обороны г. Севастополя», «во время летних жаров, которые часто бывают свыше 28° по Р., окрестности Севастополя выгорают и представляют мертвый вид; после же дождей и зимою почва сильно растворяется, в особенности в балках, чем весьма затрудняет всякое движение» (ч. 1, 1863, с. 80).

...лучшего комендора убило...— Комендор — матрос, специально подготовленный для стрельбы из корабельных орудий.

...в шести вылазках был.— Вылазка — выход части войск из осажденного укрепления для нападения на осаждающих, чтобы помешать работам неприятеля по строительству укреплений.

...один, молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек...— С красным воротником и с двумя звездочками на шинели — подпоручик пехотного полка; с черным воротником и без звездочек — капитан артиллерийских или инженерных войск либо капитан егерского полка.

...про Алминское дело...— Сражение на реке Альме (Алме) 8 сентября 1854 г., окончившееся поражением русских войск.

...на бастионы, именно на четвертый...— Бастион № 4, самый южный в линии обороны, находился на Бульварной высоте, против вершины Южной бухты.

...белобрысенький мичман...— Мичман — младший офицерский чин в русском флоте.

С. 89. *...команды солдат, пластунов...*— Пластуны — казаки особой пехотной команды или разведывательной части казачьих войск, передвигающиеся пластом, ползком.

...спустясь под маленький изволок...— Изволок — некрутой длинный подъем, пологий склон горы.

...не идти ли вам по траншее...— Траншея — длинный глубокий ров.

С. 90. *Это Язоновский редут...*— Язоновский редут — полевое укрепление позади 4-го бастиона. Назван по имени брига «Язон», команда которого принимала участие в его постройке и вооружении.

...увидите проводники мин...— Для предупреждения «минной войны» союзников против 4-го бастиона под руководством Э.И.Тотлебена была устроена целая контрминная система. Для уничтожения (подрыва) 4-го

бастиона, в случае занятия его неприятелем, были выкопаны канавки, в которых проложены гальванические проводники от пороховых погребов этого бастиона к католической церкви.

...под бруствером...— Бруствер — насыпь перед окопом или траншеей для удобства стрельбы и для укрытия от огня противника.

...этот белый каменистый вал...— Имеется в виду траншейный вал неприятеля, наведенный из местного материала — крепкого белого известняка.

С. 91. *...часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «Пу-у-шка!»...*— Чтобы не подвергать напрасно людей опасности, наверху выставляли часовых-сигнальщиков (остальные находились в укрытии, кто где мог). Сигнальщики назначались для предупреждения о неприятельских снарядах, падающих в бастион. Их выбирали из самых опытных матросов, могущих верно определить направление и место падения снаряда. Сигналы подавались громким и протяжным голосом, в условных выражениях, сложившихся на языке матросов.

Мортира...— Артиллерийское орудие с коротким стволом для навесной стрельбы, предназначавшееся, главным образом, для разрушения особо прочных оборонительных сооружений.

С. 92. *...в этом множестве траверсов...*— Траверс — поперечная насыпь в окопах, траншеях и ходах сообщения, защищающая от продольного ружейного и артиллерийского огня.

С. 93. *Из-за креста...*— Имеется в виду орденский крест, награда.

...когда в нем не было укреплений...— К началу военных действий (сентябрь 1854 г.) в Севастополе достаточно надежно была укреплена батареями береговая линия Большой Севастопольской бухты. Это позволяло надеяться, что неприятель не сможет прорваться на рейд. К тому же командование полагало, что если и произойдет высадка союзнического десанта, то это будут весьма незначительные силы, поэтому сухопутных укреплений в Севастополе было мало и они были чрезвычайно слабы и вовсе не рассчитаны на серьезное и длительное сопротивление. Ни один из бастионов еще не был достроен. Город с сухопутной стороны был только на одну треть своей окружности прикрыт каменной стеной, на остальных же двух третях — совершенно открыт и имел только несколько слабых батарей; между ними оставались большие промежутки, сквозь которые неприятель мог легко ворваться в город.

...когда этот герой, достойный Древней Греции,— Корнилов, объезжая войска, говорил...— Вице-адмирал В.А.Корнилов, со своим штабом объезжая оборонительную линию каждый день по крайней мере один раз, наблюдал лично за ходом инженерных работ, за строгим исполнением аванпостной службы, за порядком в размещении войск, а ночью, при малейшей тревоге или перестрелке, немедленно являлся на линию. Героическое поведение вице-адмирала в первую бомбардировку, его обращение к войскам, защищающим Севастополь, смертельное ранение его на Малаховом кургане сделали имя Корнилова легендарным. Толстой прибыл в Севастополь спустя месяц после смерти В.А.Корнилова, но и для него имя это стало священным, о чем свидетельствовало письмо его к С.Н.Толстому от 20 ноября 1854 г. Э.И.Тотлебен в книге «Описание обороны г. Севастополя» писал о Корнилове, передавая его слова, обращенные к защитникам Севастополя: «Корнилов, объезжая линию, говорил с войсками, обраща-

ясь к каждому батальону и стараясь воодушевить всех: “Ребята,— говорил он,— мы должны драться с неприятелем до последней крайности; мы должны скорее все здесь лечь, чем отступить. Заколите того, кто осмелится говорить об отступлении! Заколите и меня, если бы я приказал вам отступить”» (ч. 1, с. 244).

...играет полковая музыка на бульваре...— В Севастополе было два бульвара: Большой бульвар, на высоте по соседству с 4-м бастионом, и Малый бульвар, или бульвар Казарского, где был воздвигнут памятник Казарскому. Здесь имеется в виду Малый бульвар.

СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ

Впервые: «Современник», 1855, № 9, с. 5–30 (ценз. разр. 31 августа 1855 г.). Под заглавием: «Ночь весною 1855 года в Севастополе». Без подписи.

Вошло в сборник «Военные рассказы графа Л.Н.Толстого». СПб., 1856, с. 175–256. Под заглавием: «Севастополь в мае».

Сохранились: полный автограф (43 листа); неавторизованная корректура журнала «Современник» № 8 (5 форм); текст журнала «Современник» № 8, изъятый цензурой; текст главы 16, выправленный в 1907 г. для «Нового круга чтения».

Печатается по автографу с учетом позднейшей авторской правки (по корректуре, текстам журнала «Современник» № 8 и № 9 и сборнику «Военные рассказы»):

С. 94, строка 1: Севастополь в мае — *вместо:* Весенняя ночь 1855 года в Севастополе (по ВР).

С. 94, строка 14: на желтоватую изрытую землю — *вместо:* на черную изрытую землю (по кор., С8, С9, ВР).

С. 95, строка 19: солнце вышло — *вместо:* солнце взошло (по кор., С8, С9, ВР).

С. 95, строка 26: домиков, настроенных — *вместо:* домиков, нагорженных (по кор., С8, С9, ВР).

С. 95, строка 44: офицер, перешедший из кавалерии — *вместо:* перешедший из кавалерии (по ВР).

С. 96, строки 7–8: хватает газету и бежит с ней — *вместо:* хватает газету и бежит с ними (по ВР).

С. 96, строки 45–46: отраднo-розовом свете — *вместо:* отраднo-розовом цвете (по ВР).

С. 97, строка 18: И каково будет удивление — *вместо:* Каково будет удивление (по кор., С8, С9, ВР).

С. 97, строки 19–20: по узенькому переулочку — *вместо:* по узенькому переулку (по С8, С9, ВР).

С. 97, строки 21–22: Капитана я должен получить — *вместо:* Капитана же я должен получить (по С8, С9, ВР).

С. 97, строки 30–31: прежним пехотным штабс-капитаном — *вместо:* пехотным штабс-капитаном (по ВР).

С. 97, строка 42: ни одной не было старой, а замечательно, что все молодые — *вместо:* ни одной не было старой (по ВР).

- С. 98, строка 3:* капитана Сусликова — *вместо:* прапорщика Сусликова (по ВР).
- С. 98, строка 10:* было ему гулять — *вместо:* ему было гулять (по ВР).
- С. 98, строки 15–16:* чтобы капитаны Обжогов и Сусликов — *вместо:* чтобы капитан Обжогов и прапорщик Сусликов (по ВР).
- С. 98, строка 20:* ежели они вдруг мне не поклонятся — *вместо:* ежели вдруг он мне не поклонится (по кор., С8, ВР).
- С. 98, строки 23–24:* Слово аристократы (в смысле высшего, отборного круга, в каком бы то ни было сословии) — *вместо:* Слово аристократы (по ВР).
- С. 98, строка 25:* вовсе не должно было быть — *вместо:* не должно бы было быть (по ВР).
- С. 98, строка 43:* так принужденно смеется, хотя ничего нет смешного — *вместо:* так принужденно смеется (по кор., С8).
- С. 99, строка 1:* лениво-грустным, не своим голосом — *вместо:* лениво-грустным голосом (по кор., С8).
- С. 99, строки 11–24:* Тщеславие, тщеславие и тщеславие ~ Штабс-капитан два раза — *вместо:* Штабс-капитан Михайлов два раза (по кор., С8, ВР).
- С. 99, строка 30:* в эту кампанию из отставки — *вместо:* из отставки (по кор., С8, ВР).
- С. 99, строки 35–36:* из этих *ста двадцати двух* героев — *вместо:* из *ста двадцати двух* героев (по ВР).
- С. 100, строка 18:* Князь Гальцин — *вместо:* Гальцин (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 100, строка 31:* развратником — *вместо:* большим развратником (по ВР).
- С. 100, строка 37:* он принужден был — *вместо:* принужден был (по ВР).
- С. 100, строка 41:* свою мускулистую, честную руку — *вместо:* мускулистую руку, не раз коловшую французов (по кор., С8, ВР).
- С. 100, строки 42–43:* известному за не слишком хорошего человека, Праскухину — *вместо:* известному за не слишком хорошего человека Праскухина (по ВР).
- С. 100, строка 43:* Когда Праскухин — *вместо:* Но когда Праскухин (по кор., С8, ВР).
- С. 101, строка 5:* и про мрачные мысли — *вместо:* про мрачные мысли (по ВР).
- С. 101, строка 6:* на бастион — *вместо:* на бастион и, главное, про то, что в семь часов ему надо было быть дома (по ВР).
- С. 101, строки 13–14:* не огорчился подозрительно-высокомерным выражением — *вместо:* не огорчился подозрительно-высокомерному выражению (по ВР).
- С. 101, строка 34:* непременно убьют — *вместо:* а непременно убьют (по С9, ВР).
- С. 101, строка 38:* Владимира наверно — *вместо:* уж Владимира наверно (по ВР).
- С. 101, строка 42:* святой долг — *вместо:* долг (по ВР).
- С. 101, строки 43–44:* подобное предчувствие — *вместо:* это предчувствие (по ВР).

- С. 102, строка 3:* понятием долга — *вместо:* этим понятием долга (по ВР).
- С. 102, строка 15:* грубый слуга — *вместо:* грубый денщик-слуга (по кор., С8, ВР).
- С. 102, строка 24:* Молчи, болван! — *вместо:* Молчи, скотина! (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 102, строки 28–29:* Болван? болван? — повторял слуга. — И что ругаетесь болваном, сударь? — *вместо:* Скотина? скотина? — повторял слуга, — и что ругаетесь скотиной, сударь? (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 102, строка 35:* как говорил, «на свои деньги» — *вместо:* «на свои деньги» (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 102, строка 44:* и что она — *вместо:* а что она (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 102, строка 46:* ее домишко — *вместо:* ее домишко на слободке (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 103, строки 18–19:* выпил водки, закусил сыром, закурил папиросу — *вместо:* закурил папиросу (по кор., ВР).
- С. 103, строка 30:* князь Гальцин — *вместо:* Гальцин (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 103, строка 40:* особенно Калугин и князь Гальцин — *вместо:* особенно Калугин и Гальцин (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 104, строка 1:* веселыми — *вместо:* простодушными, веселыми (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 104, строка 10:* Потом князь Гальцин — *вместо:* Потом Гальцин (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 104, строки 14–15:* с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе — *вместо:* с чаем со сливками и на серебряном подносе (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 104, строки 24–25:* и не было бы удобств — *вместо:* и не было удобств (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 104, строка 40:* от генерала N — *вместо:* от генерала NN (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 104–105, строки 43–1:* не обращая на него больше внимания — *вместо:* и не обращая на него больше внимания (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 105, строка 15:* на вылазку — *вместо:* на первую вылазку (по кор., С8).
- С. 105, строка 26:* когда Праскухин и Нефердов — *вместо:* когда Праскухин и Пест (по С9, ВР).
- С. 105, строка 29:* Топот казачьих лошадей скоро стих — *вместо:* «Да, немножко», — прокричал юнкер, который не разобрал, что ему говорили, и топот казачьих лошадак скоро стих (по ВР).
- С. 105, строки 34–35:* он был только раз на четвертом бастионе — *вместо:* он был только на одном четвертом бастионе (по кор., С8, ВР).
- С. 106, строка 6:* не различишь звезды от бомбы — *вместо:* звезды не различишь от бомбы (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 106, строка 16:* да я тебя и не пушу — *вместо:* да и я тебя не пушу (по ВР).
- С. 106, строка 26:* Вон и «ура» — *вместо:* Вот и «ура» (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 106, строка 32:* подсказал ординарец-офицер — *вместо:* подсказал офицер (по кор., С8, С9).

- С. 106, строка 43:* Нет,— сердито отвечал офицер — *вместо:* Нет (по ВР).
- С. 107, строки 3–4:* он с Калугиным прошел к генералу, куда уже мы не последуем за ними — *вместо:* он прошел к генералу, куда уже мы не последуем за ним (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 107, строка 5:* на казачьей лошади — *вместо:* на казачьей лошадке (по кор., ВР).
- С. 107, строка 8:* чтобы передать туда — *вместо:* чтобы по приказанию генерала передать туда (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 107, строка 16:* редко-редко кое-где — *вместо:* редко-редко где (по кор., С8, С9).
- С. 107, строка 19:* Изредка слышались — *вместо:* Изредка слышался (по ВР).
- С. 107, строка 27:* перелетали с одной стороны на другую — *вместо:* перелетали из одной стороны на другую (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 107, строка 31:* это дальше — *вместо:* эта дальше (по кор., ВР).
- С. 107, строка 43:* подпоручика Угровича — *вместо:* поручика Угровича (по кор., С8, ВР).
- С. 108, строка 14:* а тут, ох горе-то, горе — *вместо:* а тут (по кор., С8, С9).
- С. 108, строка 20:* вышел в то время на крыльцо посмотреть на стрельбу — *вместо:* вышел в это время на крыльцо посмотреть на перепалку (по кор., С8).
- С. 110, строки 4–5:* и, нагнув ее, показал — *вместо:* и он, нагнув ее, показал (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 110, строки 27–28:* доктора подходили осматривать раненых — *вместо:* доктора осматривали раненых (по кор., С8, ВР).
- С. 110, строка 34:* горели свечи — *вместо:* горели четыре свечи (по кор., С8, ВР).
- С. 110, строка 42:* стоя на коленях — *вместо:* стоя на коленах (по кор., С8, ВР).
- С. 111, строка 38:* Но Калугин был самолюбив — *вместо:* Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив (по ВР).
- С. 112, строка 9:* показалось это очень хорошо — *вместо:* показалось это прекрасным (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 112, строки 34–35:* не пытался преодолеть — *вместо:* не покушался преодолеть (по кор., С8, ВР).
- С. 113, строки 7–8:* на него нашли затмение и этот глупый страх — *вместо:* на него нашло затмение и этот глупый страх (по ВР).
- С. 113, строка 9:* кровь хлынула в голову — *вместо:* кровь хлынула к голове (по ВР).
- С. 113, строка 9:* нужно было усилие над собою — *вместо:* нужно было взять на себя (по ВР).
- С. 113, строка 17:* В блиндаже сидели генерал N — *вместо:* В блиндаже сидел генерал (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 114, строка 25:* присоединился к своему полку — *вместо:* присоединился бы к своему полку (по ВР).
- С. 114, строка 31:* спросил Праскухин — *вместо:* спросил он (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 114, строки 32–33:* наткнувшись на солдат, которые в мешках носи-

- ли землю — *вместо*: наткнувшись на солдата, который в мешке на спине нес землю (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 114, строка 37: из своей ямки — *вместо*: из своей ямочки (по ВР).
- С. 114, строки 37–38: держа руку у козырька — *вместо*: руку к козырьку (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 115, строка 4: не без основания считавший — *вместо*: считавший (по С9, ВР).
- С. 115, строки 7–8: что его непременно убьют и что он уже не принадлежит этому миру — *вместо*: что ежели так много бомб и ядер пролетело, не задев его, отчего же теперь заденет? (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 115, строка 8: Несмотря на то — *вместо*: Несмотря на что (по ВР).
- С. 115, строки 11–12: командир другого батальона — *вместо*: командир батальона (по ВР).
- С. 115, строки 20–21: мгновенно освещали — *вместо*: освещали (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 115, строки 25–26: слышался стон раненого и крики — *вместо*: поражал стон раненого и крик (по кор., ВР).
- С. 115, строка 39: летит — *вместо*: еще летит (по ВР).
- С. 116, строка 12: больше дела не будет — *вместо*: больше не будет (по ВР).
- С. 116, строка 21: минут через двадцать — *вместо*: минут через пять (по кор., С8, ВР).
- С. 116, строка 25: сведения о деле — *вместо*: сведения (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 116, строка 31: как вел свою роту — *вместо*: как он вел всю роту (по ВР).
- С. 116, строки 32–33: и как, если бы не он, дело было бы проиграно — *вместо*: и что ежели бы не он, то ничего бы не было (по ВР).
- С. 116, строка 37: Хвастал он невольно — *вместо*: Хвастал невольно (по ВР).
- С. 117, строки 11–12: странно было подумать — *вместо*: странно подумать (по кор., С8, ВР).
- С. 117, строка 13: сказал что-то — *вместо*: сказал (по кор., С8, ВР).
- С. 117, строки 20–21: а штыками их, каналов — *вместо*: а штыками, и..... их м... (по ВР).
- С. 117, строки 21–22: и не отставать — *вместо*: и не отставать, и..... ваш м..... (по С8, ВР).
- С. 117, строка 30: раздался треск — *вместо*: раздался ужаснейший треск (по ВР).
- С. 117, строка 30: оглушивший всю роту — *вместо*: оглушил (по кор., С8, ВР).
- С. 117, строка 30: высоко — *вместо*: и высоко (по С8, ВР).
- С. 117, строка 35: сукин сын — *вместо*: сукин сын, и..... твою м.... (по кор.).
- С. 117, строка 41: решительно не помнил — *вместо*: он решительно не помнил (по ВР).
- С. 118, строка 4: «Ah, Dieu!» — *вместо*: «A moi, camarades! Ah, sacré b..... Ah, Dieu!» (по ВР).
- С. 118, строка 23: я и жив и цел — *вместо*: я — жив и цел (по ВР).

- С. 118, строка 35:* излишне было бы намекать — *вместо:* излишне бы было намекать (по кор., С8, ВР).
- С. 118, строка 37:* покойного ротмистра Праскухина — *вместо:* ротмистра Праскухина (по ВР).
- С. 118, строка 38:* что, бывало, считал за счастье — *вместо:* что считал за счастье (по кор., С8, ВР).
- С. 118, строки 40–42:* Одна из тех милых книг, которых развелось такая пропасть в последнее время и которые пользуются особенной популярностью почему-то между нашею молодежью — *в А нет* (по кор., С8).
- С. 119, строки 10–11:* нельзя определить ее направление — *вместо:* нельзя определить ее направления (по ВР).
- С. 119, строки 22–23:* Михайлов, около самых ног его, недвижимо лежал на земле — *вместо:* Михайлов, которому он должен 12 рублей с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижимо лежал на брюхе (по ВР).
- С. 120, строка 5:* глаза его поразил — *вместо:* его глаза поразил (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 120, строка 19:* напоминало ему — *вместо:* напоминало (по кор., С8, ВР).
- С. 120, строка 29:* не видел — *вместо:* ничего не видел (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 120, строка 34:* как Праскухин — *вместо:* как и Праскухин (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 120, строка 42:* а в нечет — *вместо:* в нечет (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 121, строка 22:* а третье — *вместо:* и третье (по кор.).
- С. 121, строка 22:* уйти скорей — *вместо:* уйти поскорей (по кор.).
- С. 121, строка 32:* я останусь — *вместо:* а останусь (по ВР).
- С. 121, строка 39:* в нерешимости — *вместо:* в нерешительности (по кор., С8, ВР).
- С. 122, строка 12:* как же это вы, Михаил Иванович — *вместо:* как же вы это, Михал Иванович (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 122, строка 22:* Это наш долг, Михайло Иванович — *вместо:* это наш долг (по кор., С8, С9).
- С. 122, строка 23:* Михайло Иванович не отвечал. — *в А нет* (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 122, строки 30–31:* так как он ни к кому именно не обращался, никто не вышел — *вместо:* никто не вышел (по кор., ВР).
- С. 122, строки 35–36:* напрасной опасности — *вместо:* напрасно (по ВР).
- С. 122, строка 43:* Праскухин — *вместо:* товарищ его (по ВР).
- С. 123, строка 1:* был уже под горой — *вместо:* уже был под горой (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 123, строка 10:* Сотни свежих окровавленных тел людей — *вместо:* Сотни свежих тел, окровавленных людей (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 123, строка 15:* стонали — *вместо:* стенали (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 123, строка 22:* выплывало — *вместо:* выплыло (по кор., С8, С9, ВР).
- С. 123, строка 27:* по нижним аллеям — *вместо:* по нижним дорожкам (по ВР).
- С. 123, строки 36–37:* не потерял очень близкого человека — *вместо:*

не потерял очень близкого человека (да и бывают ли в военном быту очень близкие люди?) (по ВР).

С. 125, строка 8: что будто — *вместо:* как будто бы (по кор., С8, ВР).

С. 125, строка 14: ничего умного — *вместо:* ничего очень умного (по кор., С8).

С. 125, строка 14: очень хотелось — *вместо:* ужасно хотелось (по кор., С8).

С. 125, строка 31: и которых — *вместо:* и о которых (по кор.).

С. 126, строки 23–24: не столько собственным произволом, сколько словами — *вместо:* не собственным произволом, но теми словами (по кор., С8, ВР).

С. 126, строки 31–32: в розовой рубашке и шинели внакидку — *вместо:* в розовой рубашке и шинелью внакидку (по кор., С8, С9).

С. 126, строки 34–35: расковыривает — *вместо:* и расковыривает (по кор., С8, С9, ВР).

С. 127, строки 3–4: et chez vous autres — *вместо:* et chez vous (по кор., С8, С9, ВР).

С. 127, строка 7: говорит солдат в розовой рубашке — *вместо:* говорит в розовой рубашке (по ВР).

С. 128, строка 16: Постояв — *вместо:* Постояв недвижно (по ВР).

С. 128, строка 23: мертвыми телами — *вместо:* смрадными телами (по ВР).

С. 128, строки 23–24: спускается — *вместо:* спускается с прозрачного неба (по кор., С8, С9, ВР).

С. 128, строка 28: с раскаянием не упадут — *вместо:* не упадут с раскаянием (по кор., С8, С9, ВР).

С. 128, строки 29–30: любовь к добру и к прекрасному — *вместо:* любовь к добру и прекрасному (по кор., С8, С9, ВР).

С. 128, строка 32: невинная кровь — *вместо:* честная, невинная кровь (по кор., ВР).

С. 128, строка 34: хотел сказать на этот раз — *вместо:* хотел сказать (по кор., ВР).

С. 130, строка 14: будет прекрасен, — правда — *вместо:* будет прекрасен, есть правда (по кор., ВР).

Польские фразы (конец VI главы) и их перевод, данный Л.Н.Толстым, печатаются по тексту корректуры, ставшей единственным полным источником этого фрагмента (в автографе реплики офицеров-поляков приведены в приблизительной русской транскрипции; в «Современнике» и в сборнике «Военные рассказы» эта сцена не появилась по цензурным условиям). Русские и французские слова, обозначенные в рукописи лишь первой буквой с точками: «во в...», «ces b...» — дополнены «во в<шах>», «ces b<êtes>».

«Севастополь в мае» Толстой написал в Севастополе летом 1855 г. Корни рассказа уходят в замысел, из которого в апреле вырос «Севастополь в декабре месяце». 20 марта 1855 г. в дневнике отмечено намерение «написать Севастополь в различных фазах и идиллию офицерского быта». Тогда же, в 20-х числах марта, Толстой начал рассказ «Севастополь днем и ночью» и работал над ним даже на 4-м бастионе, куда был переведен вместе со своей батареей в самом конце марта. 13 апреля за-

пись в дневнике: «Нынче окончил С<евавтополь> д<нем> и н<очью>...». Таким образом, можно считать, что в этот день была завершена самая ранняя редакция сочинения, где шла речь и о Севастополе ночью. Без всякого сомнения, текст этой ранней редакции был еще чрезвычайно далек от будущего «Севастополя в мае», хотя «идиллия офицерского быта», возможно, уже присутствовала в рассказе. Об этой «идиллии» Толстой писал из Севастополя в Ясную Поляну зимой и весной 1854–1855 гг., и отношение к этой стороне офицерской жизни в Севастополе было вполне определенным. Так, еще 20 ноября 1854 г. Толстой извещал брата С.Н.Толстого: «Я, слава Богу, здоров, живу весело и приятно с самых тех пор, как пришел из-за границы». О приятности своей севастопольской жизни в апреле–мае он рассказывал в письме Т.А.Ергольской 7 мая 1855 г.: «Я был на бастионе, но не так страшен черт, как его малюют, и уверяю вас, что бомбардировка не так ужасна, как ее описывают. Скажу, наоборот, лучшее время было то, которое я там провел. Теперь почти стихло, 4 дня я дежурю на бастионе, а затем я свободен на 12 дней, которые провожу очень приятно. У меня очень нарядная квартира, с фортепьяно, она выходит на бульвар, где каждый день гулянье, музыка; у меня много хороших знакомых <...> здесь живетя чересчур приятно». О том времени вспоминал Толстой в письме С.Н.Толстому 3 июля 1855 г.: «...весна и погода отличная; впечатлений и народа пропасть, все удобства жизни, и нас собрался прекрасный кружок порядочных людей, так что эти полтора месяца останутся одним из самых моих приятных воспоминаний». Эти строки из писем предвосхищали сцены в квартире Калугина в 5-й и 12-й главах «Севастополя в мае». Возможно, первые наброски этих сцен появились уже в ранней редакции «Севастополя днем и ночью», оконченной 13 апреля.

Трудно определенно сказать, что, помимо «идиллии офицерского быта», могло быть сюжетной основой «Севастополя ночью», но не исключено, что автор описывал одну из ночных вылазок: такие вылазки стали зимой и весной 1855 г. наиболее заметными событиями для защитников города, о чем говорилось в письме Н.Н.Толстому 3 февраля: «...вот уже три месяца, что *стражения* никакого нет, исключая продолжающейся осады. И та идет вяло. Ежедневно человек 15 потери, непрерывный штуцерный огонь в передовых траншеях, бросание бомб с той и другой стороны, взрывы мин, перебежчики и пленные <...>. Изредка ночные вылазки, в которых колются штыками и кусаются, вот и всё. Севастополь не может быть взят...». В ночь с 10 на 11 марта Толстой сам принимал участие в такой вылазке, что, возможно, явилось своеобразным творческим импульсом для рождения замысла «Севастополя днем и ночью». Этот сюжет войдет в 11-ю главу «Севастополя в мае», где участником вылазки стал юнкер барон Пест.

Более отчетливо и определенно след ранней редакции просматривается в самом начале второго севастопольского рассказа, в первой его фразе: «Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля...» (глава 1). Почему «шесть месяцев», если речь идет о мае 1855 г.? Ведь оборона Севастополя началась 13 сентября 1854 г. и продолжалась 349 дней, следовательно, в мае с начала обороны города прошло не шесть, а восемь месяцев. Конечно, эту хронологическую неточность можно попытаться объяс-

нить тем, что сам Толстой прибыл в Севастополь 7 ноября 1854 г. и отсюда начинается отсчет «месяцев». Можно предположить также, что автор опирается на читательское впечатление от его первого рассказа о Севастопольской обороне — «Севастополь в декабре месяце». Но и такое объяснение выглядит натяжкой, если учесть постоянное стремление Толстого «быть до малейших подробностей верным действительности». Шесть месяцев с начала обороны Севастополя — это середина марта 1855 г. 20 марта — первое упоминание в дневнике о замысле севастопольского сочинения; первые страницы и наброски будущих двух рассказов были написаны в двадцатых числах марта, как раз через шесть месяцев после начала Севастопольской обороны. Именно оттуда, из самых ранних набросков, перешла в текст «Севастополя в мае» эта фраза, открывающая рассказ; не измененная автором, она сохранилась и в печатных изданиях.

В процессе отделки первого севастопольского рассказа больше и увереннее разрастался «Севастополь днем» и писатель все свое внимание устремил на эту «фазу», временно отодвинув на задний план ночь в Севастополе.

Лишь два месяца спустя, отослав в «Современник» «Севастополь в декабре», а затем «Рубку леса», Толстой вернулся к неосуществленному замыслу «Севастополя ночью». В тот же день, 18 июня 1855 г., когда была отправлена в Петербург «Рубка леса», Толстой отметил в дневнике, что «вечером написал проспектус маленькой 10 мая» — так пока назвал автор свое новое сочинение. В записной книжке «н<a> з<автра>» было запланировано: «Описание дела 10 мая от 3-го лица. Смерть офицера и перемирья». Далее по дневниковым записям выстраивается хронология создания рассказа.

19 июня: «после обеда пописал немного 10 мая, но очень мало»

20 июня: «написал немного 10 мая».

21 июня: «после чаю написал много и с удовольствием».

22 июня: «Каково! В целый день ни в чем не могу упрекнуть себя. Писал много 10 мая и написал письмо Т<атьяне> А<лександровне>».

23 июня: «целый день писал. Окончил начерно и вечером лист набело переписал».

Рукопись, которую автор «окончил начерно», не сохранилась. Трудно представить, как она выглядела: был ли это полный текст рассказа или наброски отдельных сцен (как позднее в ранней рукописи «Севастополя в августе»), но так или иначе ее текст можно считать первой завершенной редакцией будущего «Севастополя в мае». Создана она всего за пять дней, с 19 по 23 июня. Разумеется, работая над этой редакцией, Толстой использовал не только составленный 18 июня «проспектус» (неизвестен), но и черновые наброски «Севастополя днем и ночью». «Лучше пишется, когда скоро», — отметил Толстой в дневнике в день окончания первой редакции и записал задание «н<a> з<автра>: Пересмотреть всю В<есеннюю> н<очь> с точки зрения цензуры и сделать изменения и variantes». Новое название «Весенняя ночь 1855 года в Севастополе», видимо, появилось в тот же день, 23 июня, когда автор начал переписывать набело.

24 июня Толстой сформулировал в дневнике новую «методу» в своих литературных занятиях, определившуюся для него в процессе отделки рассказа: «Беру себе за правило для писанья составлять программу, писать начерно и перебеливать, не отделявая окончательно каждого перио-

да. Сам судишь неверно, невыгодно, ежели часто читаешь, прелесть интереса новизны, неожиданности исчезает и часто вымарываешь то, что хорошо и кажется дурным от частого повторения. Главное же, что с этой методой есть увлечение в работе. Целый день работал и ни в чем не могу упрекнуть себя. Ура!» В тот же день эти мысли занесены в записную книжку: «Нужно переписывать свои сочинения, не перечитывая. При чтении терять прелесть интереса новизны, неожиданности».

Конечно, в процессе переписывания неизбежно появлялась какая-то попутная правка, но, судя по всему, до самых последних строк Толстой смотрел на эту рукопись как на наборную, намеревался послать ее в Петербург и потому завершил датой «1855 года 26 июня» и подписью «Граф Толстой»: этот рассказ должен был нарушить традицию и раскрыть читателям подлинное имя автора, подписывавшего прежде свои сочинения инициалами «Л.Н.» или «Л.Н.Т.» и поверившего наконец в собственные «талант и значение» в литературе.

Предполагая осложнения с цензурой, Толстой в нескольких местах под строкой давал более удобный вариант или разрешал редактору «выключить» то или иное выражение: например, в первой главе вместо: «политические вопросы между разумными представителями разумных созданий» — автор допускал вариант: «политические вопросы между разумными созданиями»; во второй главе вместо: «к игре на пятирублевый банк» — предлагался вариант: «к игре по $\frac{1}{4}$ копейки в старые карты»; в третьей главе вместо: «что он флигель-адъютант» — была предложена замена: «что он далеко ушел в почестях»; вместо определения «недалекие» по отношению к таким людям, как штабс-капитан Михайлов, в четвертой главе автор допускал эпитет «простодушные». В пятой главе Толстой позволял, как вариант, «выключить» слова о пехотных офицерах: «правда, по десяти дней (во в<шах>»), а в одиннадцатой к словам: «говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками», — давал вариант: «по-русски». Здесь же выразительное определение состояния ротного командира перед вылазкой: «всегда мертвецки» — допускалось заменить нейтральным: «всегда так». Всего было дано одиннадцать таких вариантов (из них три — «выключить»).

26 июня в записной книжке лаконичная запись: «Кончил». И в дневнике: «Кончил В<есеннюю> н<очь>, уж не так хорошо кажется, как прежде. Упрекать себя не могу ни в чем».

На следующий день Толстой был в Бахчисарае и читал Е.П.Ковалевскому «Весеннюю ночь», которой тот «остался очень доволен» и «очень хвалил», о чем есть записи в дневнике и записной книжке. Несколько дней о рассказе не было никаких упоминаний, но, видимо, в эти дни Толстой все же работал с рукописью, в которой была сделана существенная правка, особенно во второй половине автографа. Были изменены фамилии всех персонажей: фамилию Михайлов получил бывший Белугин, бывший Митюхин стал Праскухиным, Калугин был прежде Ковановым (Кавановым, Кохановым, Кахановым), вместо юнкера графа Рязанова появился юнкер барон Пест и т.д. Значительные коррективы внес автор в рассуждения об *аристократах* и *неаристократах*, в картину на перевязочном пункте в зале бывшего Дворянского собрания, в рассказ барона Песта о том, как он вел свою роту и заколол француза, в эпизоды смерти Праску-

хина и ранения Михайлова, в пейзаж «росистой цветущей долины» после сражения. Цифрами и чертами текст был разделен на главы.

После такой новой правки рукопись трудно уже было назвать белой — фактически она превратилась в рабочую, которую снова надо было переписать набело. Работа над рассказом продолжалась. 29 июня в записной книжке наряду с другими фактами Толстой отметил: «Н<a> з<аметку>: земля баст<ионов> желт<оватая>»¹. Это наблюдение непосредственно касалось текста «Севастополя в мае». В тот же день в дневнике помечено задание на завтра: «<...> 2) Исправить аристократов. 3) Черную землю». В самом начале рассказа «черная изрытая земля бастионов Севастополя» (так в сохранившемся автографе) при переписывании набело была изменена на «желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя», о чем свидетельствует корректура «Современника». С мыслями об «аристократах» связана и короткая заметка в записной книжке 2 июля: «Тщеславие есть характер<ная> черта нашего века. 1) Принимайте его, как должно<е>, 2) как болезнь, 3) и всегда бессознательно», — это не что иное, как маленький план-конспект рассуждения о тщеславии («Тщеславие, тщеславие, тщеславие ~ бесконечная повесть снобсов и тщеславия»), которое Толстой вставил в третью главу перебеленной рукописи, что также отразила корректура «Современника».

Своему произведению в новой рукописи автор дал иное название: «Севастополь в мае», — о чем говорит дневниковая запись 4 июля: «С утра пересматривал Сев<астополь> в мае. Тоже и после обеда отчасти и написал письмо Панаеву. Отсылаю завтра с Калошиным».

Письмо, датированное 4 июля, известно, хотя отправлено оно было, по всей видимости, неделю спустя, вместе с рукописью. Наборная рукопись не сохранилась, но из сопроводительного письма Панаеву можно ее представить. «Посылаю Вам Севастопольскую статью, — писал Толстой. — Хотя я убежден, что она без сравнения лучше первой, она не понравится, в этом я уверен. И даже боюсь, как бы ее совсем не пропустили. Насчет того, чтобы ее не изуродовали, как Вы сами увидите, я принял всевозможные предосторожности. Во всех местах, которые показались мне опасными, я сделал варианты с такого рода знаками (в) или скобками означил, что выключить в том случае, ежели не понравятся цензуре. Ежели же сверх того, что я отметил, стали бы вымарывать что-нибудь, решительно не печатайте. В противном случае это очень огорчит меня. Для заглавия я сделал вариант², потому что “Севастополь в мае” слишком явно указывает на дело 10 мая, а в “Совр<еменнике>” не позволено печатать о военных делах. *Напишецкого* я заменил *Гнилокишкиным* на тот случай, ежели цензура скажет, что офицер не может от флюса отказываться от службы; тогда это два различных офицера. Польскую фразу, ежели можно поместить, то с переводом в выноске, ежели нельзя, то русскую, которая под знаком (+). И еще ругательства русские и французские нельзя ли означить точками, хотя без начальных букв, ежели нельзя, но они необходимы.

Вообще надеюсь, что Вы будете так добры защитить сколько можно

¹ В Юб. эта запись не разобрана (т. 47, с. 171).

² Видимо, «Ночь весною 1855 года в Севастополе».

мой рассказ — зная лучше взгляд цензуры, вставьте уж вперед некоторые варианты, чтобы не рассердить ее, и какие-нибудь незначительные, непредвиденные изменения сделаете так, чтобы не пострадал смысл. Очень ожидая ответа Вашего на два письма моих и еще раз повторяя покорную просьбу покровительствовать и защитить этот последний рассказ, имею честь быть Ваш покорнейший слуга гр. Л.Толстой». В постскрипуме автор просил: «Номера подразделения и черточки, пожалуйста, также оставьте, как они у меня в рукописи».

18 июля Панаев писал Толстому: «Благодарю Вас несказанно, Лев Николаевич, за Ваш рассказ “Ночь весною в Севастополе”. Я сейчас получил его и прочел. Вы правы: рассказ этот несравненно лучше первого, но он меньше понравится, по той причине, что героем его — правда, а правда колет глаза, голой правды не любят, к правде без украшений не привыкли. Сделаю все, что могу, дабы защитить его от цензуры. Впечатление рассказа тяжело (ах, как мы не привыкли к правде!) — и надобно бы было кое-что прибавить в конце, что, дескать, все-таки Севастополь и русский народ и проч. для цензуры, хотя это было бы пошлово; но я кое-что посягнул и погладил, не портя сущности рассказа и предвидя за него борьбу с цензурою. Это было необходимо». Призывая Толстого и его сослуживцев присылать свои рассказы в «Современник», Панаев писал: «Буквы Л.Н.Т. ждут все в журнале с страшным нетерпением — это не комплимент — а та же голая правда, которая героем в Вашем рассказе, хотя эта правда не нуждается ни в малейшем украшении. Она приятна и голая» (*Переписка*, т. 1, с. 127).

В эти дни рассказ прошел набор, и корректура его под названием «Ночь весною 1855 года в Севастополе» 20 июля была направлена цензору В.Бекетову.

Корректура несколько отличается от сохранившейся преднаборной рукописи: она отразила последнюю авторскую правку, сделанную в наборной рукописи, а также и, может быть, в большей мере, редакторскую правку. Изменилось количество глав: их нумерация начиналась с повествования о капитане Михайлове (в окончательном тексте — гл. 2), а рассуждения автора, предвещающие сюжет, шли как своего рода вступление; причем в этих рассуждениях были сняты последние два абзаца («Мне часто приходила странная мысль ~ как у нас почему-то принято думать»), строки «Сколько звездочек надето ~ Владимиров» и вместо «суевверным страхом» напечатано просто «страхом». Далее из текста рассказа были изъяты два небольшие фрагмента: в гл. 15 («Напротив, Калугин и полковник ~ лишнюю звездочку или трезь жалованья») и в заключительном рассуждении автора («Но тяжелое раздумье одолевает меня. ~ Все хороши и все дурны») — а также отдельные строки и фразы (всего около двух десятков случаев), к примеру, «Ужасное слово *аристократ*»; «Чтоб доказать этим, что, хотя он и не *аристократ*, но все-таки ничуть не хуже их»; «Чтоб показать всем офицерам, что, несмотря на то, что он им шапку снимает, он все-таки *аристократ* и ему очень весело» (гл. 3); «Подлый народ!» (гл. 7); «Унтер-офицер, как будто не слыша, продолжал идти на своем месте» (гл. 13); некоторые строки, характеризующие офицеров: Нефердова («старый клубный московский холостяк ~ осуждающих все распоряжения начальства» — гл. 3), Михайлова («потому что ему совестно

было ~ молиться Богу» — гл. 4; «и несколько раз успевший перецеловать все образа, которые были на нем» — гл. 10; «шепнул ему какой-то голос ~ непременно награда»; «это поможет к представленью» — гл. 13), Гальцина («опять с своим высокомерным выражением» — гл. 15), Песта («ведь это ужасно весело говорить с французами» — гл. 15).

Кроме того были исключены из текста или заменены более нейтральными отдельными слова и фрагменты фраз: так в описании штабс-капитана Михайлова, лицо которого «изобличало тупость умственных способностей», появилось выражение лица, изобличавшее «простодушие» (гл. 2); от «этой гнусной страстишки» осталась лишь «эта страстишка» (гл. 3); слово «развратник» было заменено на «большой шалун» (гл. 3); «чувство, похожее на ужас», стало «чувством тяжелым» (гл. 4); «принужденные рыдания» денщика Никиты оказались просто «рыданиями» (гл. 4); вместо бранного слова «скотина» появилось респектабельное «господин» (гл. 10); «белые тряпки» были названы «белыми флагами» (гл. 16). Исчезли из текста упоминания о «вшах» (гл. 5), окрик князя Гальцина, замерший на полуслове: «Него...» (гл. 7), нецензурная брань, обозначенная в рукописи начальными буквами и точками (гл. 11). В корректуре появился ряд небольших дополнений, среди которых рассуждение о тщеславии — абзац «Тщеславие, тщеславие и тщеславие ~ бесконечная повесть снобсов и тщеславия» (гл. 3) — и подстрочное примечание о книге О.Бальзака «Splendeur et misères des courtisanes» («Одна из тех милых книг ~ между нашею молодежью» — гл. 12); заметна авторская стилистическая правка. К тексту рассказа добавлена и панаевская фраза «но отраднo думать, что не мы начали эту войну, что мы защищаем только родной кров, родную землю» (гл. 16).

Помимо этого, в корректуре польские фразы (гл. 6) были напечатаны польскими буквами, что являлось некоторой смелостью журнала, ибо, по свидетельству А.М.Скабичевского, «распоряжением 7 апреля 1853 г. было запрещено печатание русских статей латино-польскими буквами» (Скабичевский А.М. Очерки истории русской цензуры (1700–1863). СПб., 1892, с. 380). Когда появились эти буквы: уже в наборной рукописи или только в корректуре (т.е. по инициативе редакции) — определить невозможно, но не исключено, что латино-польскими буквами эти фразы написал в наборной рукописи сам Толстой¹. Завершалась корректура подписью «Л.Н.Т.» — так, видимо, была подписана наборная рукопись.

Внеся незначительные изменения и сокращения, цензор Бекетов подписал корректуру в печать вместе с другими материалами августовской

¹ Д.П.Маковицкий 1 марта 1906 г. записал в своем дневнике: «Я спросил Л.Н., занимался ли он когда-нибудь каким-либо из славянских языков, польским, может быть.

Л.Н.: Польским — нет, чешским немного.

И далее Маковицкий заметил: «Л.Н., кроме славянского (церковно-славянского) языка, знает немного малорусский и польский языки. В “Казаках”, “Двух стариках” есть малорусские фразы, в “За что?” — польские, которые Л.Н. сам написал по-польски. Для проверки я их посылал Бодуэну де Куртенэ. Л.Н. мог выучиться по-польски в армии. Интересно было бы знать, на каком языке беседовал Л.Н. с Лелевелем, на русском и на польском или на одном польском?» (ЛН, т. 90, кн. 2, с. 65).

книжки «Современника»: 31 июля дано цензурное разрешение номеру журнала.

Второй севастопольский рассказ Толстого 25 июля был прочитан в кружке литераторов в Петербурге, о чем на следующий день А.Ф.Писемский сообщал А.Н.Островскому: «Вчера вечером слушал я новый очерк Толстого „Июльская ночь в Севастополе“¹ (т.е. Штурм). Ужас овладевает, волосы становятся дыбом от одного только воображения того, что делается там. Статья написана до такой степени безжалостно-честно, что тяжело [даже] становится читать. Прочти ее непременно!» (А.Ф.Писемский. Материалы и исследования. Письма. М.—Л., 1936, с. 82). Через несколько дней, 6 августа, Писемский о толстовском рассказе писал Тургеневу: «На днях я слышал новый очерк Толстого из севастопольской жизни. Он мне понравился меньше того², по отношению автора к действующим лицам рассказа. Это какое-то озлобление: он всех выставляет и трусами, и хвастунами и как будто бы всем ставит в вину простое естественное чувство самосохранения... Общая же картина, как и там, превосходна, хотя и составляет повторение!» (ЛН, т. 73, кн. 2, с. 145). Мнение Писемского о рассказе Тургенев 9 августа сообщал Е.Я.Колбасину и просил сказать графине М.Н.Толстой, что «Писемский пишет <...> о новом севастопольском отрывке Льва Ник<олаевича> с большими похвалами» (Тургенев. Письма, т. 3, с. 54).

В начале августа Панаев с новым толстовским рассказом отправился в Москву, где в это время находился Некрасов. «Третьего дня приехал сюда Панаев и завтра опять уезжает, — писал А.В.Дружинину В.П.Боткин 6 августа.— Вторая статья Толстого о Севастополе — превосходна; но напечатается она с некоторыми изменениями» (Летописи ГЛМ, кн. 9, с. 37).

Получив от Панаева письмо с благодарностью за «Ночь весною в Севастополе» и обещаниями «защитить» рассказ от цензурных нападков, Толстой был смущен намерением редактора (который уже «кое-что посмягчил и сгладил») еще «кое-что прибавить в конце» рассказа. 26 июля в записной книжке намечено: «Написать <...> П<анаеву> <...>. Исправл<ения> С<евастополя> в м<ае> и напечат<ать>, когда я хочу». 8 августа Толстой отвечал редактору «Современника»: «Очень благодарю Вас за старание защитить „Ночь весною“ от цензуры, пожалуйста, вымарывайте, даже смягчайте, но ради Бога не прибавляйте ничего; это бы очень меня огорчило. Л.Н.Т. не имеет, могу Вас уверить, ни на волос авторского самолюбия, но ему бы хотелось оставаться верным всегда одному направлению и взгляду в литературе».

В первые дни августа восьмая книжка «Современника» была уже сверстана и отпечатана; текст рассказа, видимо, был выверен корректором по рукописи, так как вернулись на свои места некоторые утраченные при наборе характерные, толстовские, особенности словоупотребления, например: «которые с горячностью пожали ему руки» (гл. 3), «лежа в постеле» (гл. 12), «солдат в розовой рубашке и шинелью внакидку» (гл. 16). Но, по сравнению с корректурой, рассказ был напечатан с многочислен-

¹ Так ошибочно назвал Писемский «Ночь весною 1855 года в Севастополе».

² Имеется в виду «Севастополь в декабре месяце».

ными изменениями и сокращениями. Фамилии Гальцина и Непшитшетского печатались как Гальцын и Непшишетский. Были исключены несколько фрагментов (например, «и действительно, так как он ~ на своем месте» — гл. 14; «как будто потери вчерашнего дня ~ или треть жалования» — гл. 15; «Он очень сконфузился ~ как они сходились» — гл. 15). Устранены фразы и отдельные слова, которые, по мнению цензоров, могли принизить достоинства или опорочить русского офицера: так, к примеру, штабс-капитан Михайлов не мог «согнувшись» или «сгибаясь», или «почти ползком и дрожа от страха» пробираться по траншее и «с чувством тяжелым» думать о предстоящей ночи; лишним оказалось и его размышление «И зачем я пошел в военную службу ~ а теперь вот что!»; офицеры Нефердов и Праскухин тоже освобождались от «тяжелого чувства страха»; из характеристики князя Гальцина были изъяты строки: «содрогаясь при одной мысли ~ не могут послать туда ночью», «очень хорошо зная, однако, что Гальцин ни за что не пойдет туда» (гл. 5); из высказываний поручика Непшитшетского исчезли пассажи: «я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте» и «мерзавец!» (все это в отношении солдат) — гл. 7. Адъютанту Калугину нельзя было «чуть-чуть не ползком» идти по траншее или испытывать «этот глупый страх» (гл. 9), а юнкер барон Пест не мог «хвастать» — он лишь «прихвастнул»; Праскухин не «струсил», а «потревожился». Слова «испугался», «тяжелый», «страх», «робкий», «ужасный» и т.п. тоже почти все были заменены или исключены из текста. В финале рассказа был добавлен большой кусок текста: «Но не мы начали эту войну, не мы вызвали это страшное кровопролитие. Мы защищаем только родной кров, родную землю и будем защищать ее до последней капли крови.

Это чувство, превратившееся в несокрушимое убеждение, движет здесь всеми... В Севастополе так же, как и везде, проявляются различные человеческие недостатки и слабости в иных отдельных личностях: в каком-нибудь Калугине, Михайлове, Праскухине, ребенке Песте и других, потому что люди везде люди; но все эти защитники Севастополя в своей массе без преувеличения — герои. Слова Корнилова и Нахимова: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя!» — в сердце каждого — и у каждого в ответ на эти слова один крик от сердца: «Умрем!». Рассказ здесь подписан несколько иначе, чем все ранее печатавшиеся произведения Толстого: «Л.Н.Т-й».

Тем временем председатель С.-Петербургского цензурного комитета М.Н.Мусин-Пушкин потребовал представить лично ему севастопольскую статью. Ознакомившись с первой корректурой рассказа, цензор пришел в ярость. С карандашом в руках он прошелся по корректуре, вычеркнув целую главу (на перевязочном пункте), большие куски, отдельные фразы, строчки, делая на полях многочисленные отчеркивания, пометы NB и желчные замечания. «Можно ли дозволить печатать такое <1 нрзб> на наших храбрых офицеров?» — вопрошал карандаш Мусина-Пушкина на полях рядом с разговором офицеров на квартире у Калугина о том, что едва ли «люди в грязном белье» и «с неумытыми руками» могут быть храбры (гл. 5). «Вздор!» — заключил цензор рядом с рассуждениями Непшитшетского об «этом ужасном народе» (гл. 7). Около описания перевязочного пункта Мусин-Пушкин вывел: «Невероятно, к чему эта картина». Порой он восклицал: «И все это г. цензор пропустил!» — что относи-

лось к третьей форме (листу) корректуры. Читая четвертый лист, снова негодовал: «Как весь этот вздор <1 нрзб> г. цензор пропустил!» Расправившись с корректурой, председатель цензурного комитета начертил на обороте первого листа своим экстравагантным неразборчивым почерком: «Читал эту статью и удивлялся, что редакция решилась оную пред- ставить, а г. цензор дозволить к напечатанию.— Вся статья — насмешка над нашими храбрыми офицерами, храбрыми защитниками Севастополя. Запретить и оставить к<орректуру> при деле». На этом же листе чинов- ник комитета записал распоряжение председателя: «Статью эту “Ночь весной 1855 г. в Севастополе”, назначавшуюся для “Современника”, г. председатель приказал, 5 августа 1855 г., оставить при деле и не дозво- лять печатать» (РГИА, ф. 777, оп. 25, № 760).

Распоряжение Мусина-Пушкина заставило редакцию «Современни- ка» уже из готовой восьмой книжки журнала срочно изымать листы с рас- сказом Толстого, в результате чего в номере после 244 теперь шла сразу 286 страница¹. Все эти осложнения задержали выход в свет августовского «Современника». «Вы были правы в том, что говорили о политических известиях,— писал Некрасов Д.В.Григоровичу 18 августа: — по этому по- воду 8-я книжка “Современника” задержана до 18-го числа...» (Некрасов, т. 14, кн. 1, с. 212). В тот же день в письме Тургеневу Некрасов сокрушал- ся: «...“Современник” в плачевном положении <...> *Материалу нет!* Тол- стой прислал статью о Севастополе — но эта статья исполнена такой трезвой и глубокой правды, что нечего и думать ее печатать, да и на буду- щие его статьи об Сев<астополе> нельзя рассчитывать, хотя он и будет присылать их, ибо вряд ли он способен (т.е. наверное неспособен) изме- нить взгляд» (Некрасов, т. 14, кн. 1, с. 214).

Обо всем, что произошло с «Севастополем в мае», Панаев подробно рассказал Толстому в письме от 28 августа: «Милостивый государь граф Лев Николаевич. В письме моем к Вам, через Столыпина доставленном, я писал к Вам, что статья Ваша пропущена цензурой с незначительными из- менениями,— напоминал он,— и просил Вас не сердиться на меня за то, что надо было прибавить несколько слов в конце для смягчения выраже- ния... Статья “Ночь в Севастополе” была уже совсем отпечатана в числе 3000 экземпляров, как вдруг цензор потребовал ее из типографии, остано- вил выход № (августовская книжка явилась поэтому в Петербурге 18 ав- густа) и в отсутствие мое из Петербурга (я на несколько дней ездил в Мос- кву) представил ее на прочтение председателю цензурного комитета — известному Вам по Казани² Пушкину. Если Вы знаете Пушкина, Вы мо- жете отчасти вообразить, что последовало. Пушкин пришел в ярость, напал не только на цензора и на меня — за то, что я представляю в цензу- ру такие статьи, и собственноручно переделал ее. Я между тем вернулся в Петербург и, увидев эту переделку, пришел в ужас — и статью вовсе хотел не печатать,— но Пушкин в объяснении со мною сказал, что я обязан на-

¹ Страницы 245–285 с рассказом Л.Н.Т-го не исчезли бесследно, а, вероятно, разошлись по рукам. Один такой экземпляр хранится в ГМТ. Между страницами вклеены две рукописные вставки, видимо, скопированные с наборной рукописи.

² М.Н.Мусин-Пушкин по 1845 г. был попечителем Казанского учебного окру- га и Казанского университета.

печатать так, как она им переделана.— Делать было нечего — и статья Ваша изуродованная явится в сентябрьской книжке, но без букв Л.Н.Т., которые я уже не мог видеть под ней после этого... Но статья эта была так хороша, что даже после совершенного уничтожения ее колорита я давал ее читать Милютину, Краснокутскому и другим. Всем она нравится очень — и Милютин пишет мне, что грех, если я лишу читателей этой статьи и не напечатаю ее даже в таком виде.

Не вините же меня, во всяком случае, за то, что статья Ваша напечатана в таком виде.— Я вынужден был это сделать. Если Бог приведет нас когда-нибудь свидеться (чего я очень желаю), я объясню Вам эту историю яснее.— Теперь я скажу Вам два слова — о впечатлении, которое Ваш рассказ (“Ночь”) производит вообще в его первобытном виде на нас, на всех, которым я читал его... О цензуре уж тут речи нет...

Все находят этот рассказ действительно выше первого по тонкому и глубокому анализу внутренних движений и ощущений в людях, у которых беспрестанно смерть на носу; по той верности, с которою схвачены типы армейских офицеров, столкновения их с аристократами и взаимные их отношения друг к другу,— словом, все превосходно, все очерчено мастерски; но все до такой степени облито горечью и злостью, все так резко и ядовито, беспощадно и безотраднo, что в настоящую минуту, когда место действия рассказа — чуть не святиня, особенно для людей, которые в отдалении от этого места,— рассказ мог бы произвести даже весьма неприятное впечатление. <...>

Все это для Вас должно быть неприятно, но я не могу не утешить Вас несколькими строчками. Скорбя и терзаясь за искажения, которым подверглись Ваши статьи *только потому*, что мой цензор обратился к Пушкину,— я принял следующие меры в отношении к будущим Вашим статьям, за которые я буду драться до истощения сил, как у Вас в Севастополе... Я показывал все места, выкинутые Пушкиным из Ваших рассказов¹, князю Вяземскому² — товарищу министра просвещения — и самому министру, которые были приведены по поводу некоторых вымарок в совершенное удивление,— и теперь я буду представлять все Ваши рассказы министру и печатать с его разрешения. Норов — человек образованный и горячий. Он любит литературу... Не бойтесь же за следующие Ваши труды и не охлаждайтесь некоторыми цензурными неудачами, особенно с рассказом “Ночь”, — ободрял Панаев Толстого.— Ко всему этому я должен прибавить, что в цензуре вообще готовятся великие изменения — к облегчению» (*Переписка*, т. 1, с. 129–131).

Свое отношение к случившемуся высказал и Некрасов. «Я прибыл в Петербург в половине августа, на самые плачевные для “Современника” обстоятельства,— писал он 2 сентября Толстому.— Возмутительное без-

¹ Речь идет и о рассказе «Рубка леса».

² Возможно, познакомившись с рассказами Л.Н.Толстого, под впечатлением от них П.А.Вяземский, отвечая на поздравление в связи с его назначением товарищем министра народного просвещения, 11 августа 1855 г. писал М.П.Погодину: «Теперь не наша речь впереди, а речь пушек. Все наше просвещение — в зареве Севастопольском. Наши мужественные мученики сущие профессора наши на это время: они учат нас, как жить и умирать» (*РГБ*, Пог. / II; к. 7, ед. хр. 81, л. 22).

образе, в которое приведена Ваша статья, испортило во мне последнюю кровь. До сей поры не могу думать об этом без тоски и бешенства. Трудно Ваш, конечно, не пропадет... он всегда будет свидетельствовать о силе, сохранившей способность к такой глубокой и трезвой правде, среди обстоятельств, в которых не всякий бы сохранил ее. Не хочу говорить, как высоко я ставлю эту статью и вообще направление Вашего таланта и то, чем он вообще силен и нов. Это именно то, что нужно теперь русскому обществу: правда — правда, которой со смертью Гоголя так мало осталось в русской литературе. Вы правы, дорожа всего более этою стороною в Вашем даровании. Эта правда в том виде, в каком вносите Вы ее в нашу литературу, есть нечто у нас совершенно новое. Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, к которому пишу, и боюсь одного, чтобы время и гадость действительности, глухота и немота окружающего не сделала с Вами того, что с большою частью из нас: не убили в Вас энергии, без которой нет писателя, по крайней мере такого, какие теперь нужны России. Вы молоды; идут какие-то перемены, которые — будем надеяться — кончатся добром, и, может быть, Вам предстоит широкое поприще. Вы начинаете так, что заставляете самых осмотрительных людей заноситься в надеждах очень далеко. Однако я отвлекся от цели письма. Не буду Вас утешать тем, что и напечатанные обрывки Вашей статьи многие находят превосходными; для людей, знающих статью в настоящем виде,— это не более как набор слов без смысла и внутреннего значения. Но нечего делать! Скажу одно, что статья не была бы напечатана, если б это не было необходимо. Но имени Вашего под нею нет» (*Некрасов*, т. 14, кн. 1, с. 217–218).

13–14 августа севастопольский рассказ Толстого, «отредактированный» Мусиным-Пушкиным, благополучно прошел военную цензуру и получил одобрение. В «Реестре сочинениям и статьям, рассмотренным в Военно-цензурном комитете в 1855 году», рассказ записан (корректурa — 4 формы) под названием «Севастополь в мае месяце», рассматривал его военный цензор генерал-майор Стефан. «Севастополь в мае» проходил цензуру вместе с «Рубкой леса» (*РГВИА*, ф. 494, оп. 1, № 6, л. 378). 31 августа дано разрешение гражданской цензуры.

«Сентябрьская книжка будет очень хороша <...> — писал Панаев Тургеневу 2 сентября.— Августовская вышла здесь только 18 — задержанная ценсурю. Эту историю я тебе расскажу при свидании» (*Тургенев и круг «Современника»*, с. 43–44).

7 сентября газета «Северная пчела» напечатала объявление «Современника» о том, что вышла и раздается подписчикам девятая книжка журнала; представляя содержание номера, редакция в первой строке называла рассказ «Ночь весною 1855 года в Севастополе» (1855, № 195, с. 1030).

Этот рассказ открывал номер. Многое изменено здесь было до неузнаваемости. Из 16 глав рассказа в публикации «Современника» осталось 13: из первой главы была напечатана лишь первая ее половина, которая шла без номера, в виде небольшого вступления; от восьмой главы осталось всего несколько строк, и те были присоединены к предыдущей главе; глава 11, о «подвигах» юнкера барона Песта, вовсе была исключена, как полностью удалена из рассказа и сама фигура Песта. В остальных главах изъяты или переделаны большие фрагменты. Так, из текста третьей главы

исключен кусок «но первый был в верблюжьих штанах ~ повесть снобсов и тщеславия», а следующий большой абзац («Штабс-капитан два раза ~ слегка поклонился ему») заменен одной фразой: «Штабс-капитан подошел к одному кружку, который составляли четыре офицера: адъютант Калугин — знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцын, полковник Нефердов и ротмистр Праскухин». Далее в этой же главе был снят большой фрагмент с упоминанием «известно храброго морского офицера Сервягина» («Праскухин шел сзади ~ не обратил на Сервягина никакого внимания»), а текст последнего абзаца («про мрачные мысли, осаждавшие его ~ снял перед ним фуражку») превратился в три строки: «про близкое отправление на бастион, и, главное, про то, что в семь часов ему надо было быть дома. Но, вдруг вспомнив свою обязанность, он оставил приятное общество и немедленно отправился к себе». Следующие три главы подверглись меньшему искажению: в главе 4 исключен предпоследний абзац («А может быть, только ранят ~ сюда да осколком — конечно!»); в 5 главе — фрагмент разговора офицеров («Вот этого я не понимаю ~ хоть, правда, во в<шах>»), чуть далее — абзац «Калугин встал ~ которые висели перед ним» и часть разговора Калугина с князем Гальциным («содрогаясь при одной мысли ~ что не надо ходить? а?»); в шестой главе полностью был снят ее конец со словами поляков Непшитшетского и Жвядческого. Поручик Непшитшетский был исключен и из седьмой главы. Заметно пострадала глава 9, где исчезли короткий диалог Калугина с солдатами («Что вы здесь делаете ~ полковому командиру скажу») и бо́льшая часть эпизода, связанного с командиром батареи («Все-таки пойдемте посмотрим. ~ казался в десять раз храбрее капитана»). Два небольших куска (мысли Праскухина, Михайлова, Калугина) выпали из десятой главы: «Черт возьми! ~ летит прямо сюда, кажется» и «“А мне, настоящему, непременно ~ тут подожду”, — сказал он». Значительные изменения внесены в главу 12: изъяты строки о том, как Калугин рассказывал Гальцину «подробности дела» («передавая их — весьма естественно ~ не любит ходить на бастионы»); искоренены некоторые фразы (вместо: «Михайлов упал ~ зажмурился» — стало: «Михайлов и Праскухин прилегли к земле»; вместо: «Ужас — холодный ~ упал на колена» — «Современник» напечатал: «Он упал на колена!»); искажен самый момент умирания Праскухина — исключены строки: «В глазах его мелькали солдаты ~ давили его больше и больше». В тринадцатой главе исчезли сожаления Михайлова о том, что он «пошел в военную службу» («И зачем я пошел в военную службу ~ А теперь вот что!»), и его мысли о награде, если он, раненый, останется с ротой, а также воспоминания об эпизоде на перевязочном пункте («Михайлов остановился на минуту ~ подумал штабс-капитан»). В конце главы, после абзаца, где Михайлов «рысью побежал по траншее», чтобы справиться о Праскухине, была вставлена патетическая фраза: «И в эту ночь много совершилось подобных и, может быть, еще более великих и навсегда осужденных остаться безвестными подвигов!» — а чуть далее снято: «(осколком одной в эту ночь ~ это поможет к представленью». Сильному искажению подверглась 15 глава: в первой ее половине были изъяты фрагменты «как будто потери вчерашнего дела ~ звездочку или треть жалованья» и «Он очень сконфузился ~ в то время, как они сходились», а вторая половина главы фактически исключена. 16 глава была напечатана без большого куска в самом начале разго-

вора «молоденького офицера» с французами («Вот в кружке собравшихся ~ кажутся очень довольными и улыбаются») и без очень важного эпизода с «десятилетним мальчишкой, который <...> ходил по лощине <...> и набирал полевые голубые цветы». В конце этой главы, после слов: «не обнимутся, как братья? Нет!» — была вставлена панаевская фраза (см. с. 421).

Осенью 1856 г. под названием «Севастополь в мае» рассказ был напечатан в сборнике «Военные рассказы графа Л.Н.Толстого». Для этого издания текст рассказа автор переработал по сохранившимся у него рукописям, но с учетом печального опыта цензурных ограничений первой публикации и, конечно, новых условий весьма относительной свободы. Восстановив отдельные сцены, эпизоды и описания, Толстой не решился, однако, воспроизвести весь текст рассказа в его доцензурном виде. Поэтому так и не появилась в тексте 1856 г. вторая половина первой главы с рассуждениями о том, чтобы «выслать из каждой армии по одному солдату...» и что «одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания». Во второй главе не были включены в рассказ строки, характеризующие штабс-капитана Михайлова и «его прежний круг», а в третьей главе — рассуждение об аристократах. Из пятой главы выпали фрагменты разговора офицеров-«аристократов» в квартире у Калугина о пехотных офицерах. Не попал из рукописи в новый текст «Севастополя в мае» самый конец шестой главы — разговор поручика Непшитшетского и юнкера Жвадчского во время канонады. Почти ничего не осталось от разговора князя Гальцина и Непшитшетского с ранеными солдатами, идущими «с дела» (гл. 7). Из пятнадцатой главы выпали кусок, описывающий внутреннее состояние Михайлова при встрече с офицерами-«аристократами» «на другой день» после ночного дела, и самый конец главы — сцена уборки трупов. Вернув в рассказ юнкера барона Песта, Толстой заметно изменил его образ, подчеркнув разницу в положении между юнкером и офицерами; снял автор отдельные фразы, характеристики, определения, смягчил некоторые выражения и ситуации. Так, по сравнению с рукописью, исчезли из описания Михайлова «низкий лоб» и «стоптанные сапоги», определение «недалекий» и «чувство, похожее на ужас», «мыльный сыр» и «лиловатая» шинель. Калугин не «упал», а «прилег на землю», «робкий солдатик» стал просто «солдатиком» и т.д. Второй севастопольский рассказ в составе книги «Военные рассказы» в мае 1856 г. беспрепятственно прошел военную и гражданскую цензуру.

Вышедший сборник Толстой, видимо, тогда же, осенью 1856 г., внимательно прочитал и прямо в книге в текст «Севастополя в мае» внес две поправки: в конце рассказа вычеркнул сочиненную Панаевым фразу («Но отрадно думать, что не мы начали эту войну, что мы защищаем только родной край¹, родную землю») и к предыдущему предложению («Нет!») добавил союз «но». Такой исправленный автором экземпляр «Военных рассказов» хранится в Музее книги Российской государственной библиотеки. На титульном листе сборника — автограф Толстого: «Любезной и дорогой тетушке Пелагее Ильиничне от автора». Возможно, и в некото-

¹ Опечатка в «Военных рассказах»: в тексте корректуры и «Современника» — «родной кров».

рых других экземплярах книги «Военные рассказы», подаренных своим современникам, автор вычеркивал панаевскую фразу, особенно раздражавшую его в тексте «Севастополя в мае», о чем он писал Е.Ф.Коршу 12 мая 1858 г. в связи с намерением С.А.Рачинского переводить «Военные рассказы»: «Передайте ему <Рачинскому> от меня следующую просьбу. Он хотел переводить “Военные рассказы”». Я умоляю его не забыть, что на стр. 255, в рассказе “Севаст<ополь> в мае”, на лин<ии> 17, слова,— *по отряду думать, что не мы начали эту войну, что мы защищаем только родной край, родную землю,*— принадлежат г-ну Панаеву, а не мне, и что прошу их выкинуть. Эти слова в книжку попали, кажется, именно потому, что я в трех рукописях и корректурах вымарывал их и согласился бы всякий раз, как читаю их, лучше получить 100 палок, чем видеть их». Корш отвечал Толстому 18 мая того же года: «Я лично передал Ваше желание Рачинскому и оставил ему копию с фразы Ивана Ивановича, которой Вы так справедливо предпочитаете 100 палок. Вполне сочувствую Вам в этом предпочтении»¹ (Письма Толстого и к Толстому. М., 1928, с. 58).

Фраза, добавленная Панаевым, по невниманию Толстого к своим старым сочинениям, еще несколько раз печаталась в тексте «Севастополя в мае», и только в пятом издании сочинений (1886) рассказ впервые вышел без этой панаевской сентенции. О панаевской фразе и прочих искажениях «Севастополя в мае» Толстой помнил всю жизнь. Маковицкий записал разговор с П.И.Бирюковым 31 декабря 1904 г.: «Вечером П.И.Бирюков опять расспрашивал Л<ьва> Н<иколаевича> о некоторых фактах из его жизни.

— Некрасов писал Вам,— сказал П.И.Бирюков,— что один какой-то из Ваших “Севастопольских рассказов” был искажен цензурой до неузнаваемости.

— “Севастополь — май” был напечатан в искаженном виде,— сказал Л.Н.— Оригинал не знаю, есть ли. “Записки маркера” тоже были искажены цензурой.

— Чертков и Моод,— продолжал П.И.Бирюков,— раскопали, что там, в “Севастополе в мае”, были патриотические фразы, которые были вставлены туда Панаевым ради цензуры. Кто читал Вашу рукопись, говорили, что из нее остались только отдельные выражения.

— Да, это верно,— подтвердил Л.Н.

— Панаев ограниченный был человек,— сказал П.И.Бирюков.

— Да, ограниченный,— согласился Л.Н.» (ЛН, т. 90, кн. 1, с. 119).

«Севастополь в мае» печатался во всех собраниях сочинений Л.Н.Толстого; последнее полностью вышло при жизни писателя в 1903 г. Во втором томе этого издания напечатаны севастопольские рассказы. Как известно, Толстой не любил возвращаться к своим старым опубликованным сочинениям, но в этом томе он разрезал несколько страниц «Севастополя в мае» (с. 336–339, глава XVI) и на книжных страницах карандашом написал новую редакцию 16-й главы². В новом тексте было маленькое вступление и бросалось в глаза почти полное отсутствие фраз на

¹ Дальнейшая судьба перевода Рачинского неизвестна.

² Книга находится в Библиотеке Л.Н.Толстого в Ясной Поляне.

французском языке (осталось единственное высказывание француза): автор заменил их своим пересказом речи французов. Все повествование стало сжатым, лаконичным, более точным и простым; были сняты некоторые детали и определения, критические и эмоциональные оценки, значительно упрощено строение фраз: почти исчезли придаточные предложения и обособленные определения. Эта новая редакция главы о перемирии на войне, вероятно, предназначалась для «Нового круга чтения», над которым Толстой работал в середине 1900-х годов. 30 апреля 1907 г. он в дневнике «записал шесть тем рассказов для детей»; замысел пятой темы «Перемирие на войне», видимо, и был воплощен на страницах «Севастополя в мае» в издании 1903 г. Однако при жизни Толстого этот маленький рассказ о перемирии не публиковался, и в книге «На каждый день» (1909), выросшей из «Нового круга чтения», эта тема прозвучала лишь отголоском, почти дословно повторившись в книге «Путь жизни» (1910): «Не раз видел я под Севастополем, когда во время перемирия сходились солдаты русские и французские, как они, не понимая слов друг друга, все-таки дружески, братски улыбались, делая знаки, похлопывая друг друга по плечу или брюху. Насколько люди эти были выше тех людей, которые устраивали войны и во время войны прекращали перемирие и, внушая добрым людям, что они не братья, а враждебные члены разных народов, опять заставляли их убивать друг друга».

Полностью или в сокращении «Севастополь в мае» печатался в сборниках «Рассказы о Севастопольской обороне», «Осада Севастополя» и в хрестоматии «После Гоголя», изданной преподавателем Павловского военного училища Г.Синюхаевым в 1908 г. Отдельным изданием рассказ вышел единственный раз в 1899 г. в серии «Солдатская библиотека» (СПб.).

Основой сюжета второго севастопольского рассказа стали события в ночь с 10 на 11 мая в Севастополе и перемирие 12 мая 1855 г., свидетелем чего был Толстой; отсюда и первоначальное название сочинения: «10 мая». Реальны в рассказе не только главные события, но и отдельные эпизоды, характеры, описания, материалом для которых явились личные наблюдения и размышления писателя. В первые дни работы над рассказом, 19 июня, в записной книжке Толстой отметил: «Н<a> з<аметку>: Как бабы смотрят на падающие звезды». Из этой записи выросла сценка в шестой главе со старухой матроской и ее десятилетней дочерью. Здесь писатель использовал и более раннюю заметку в дневнике от 7 апреля: «Девочка — дочь матроски. Каждый день ходит на квартиру под ядра и бомбы».

Еще в 1852 г. в письме С.Н.Толстому 24 июня Толстой делился впечатлениями о Пятигорске и рассказывал, «как под музыку ходят по бульвару», как его сослуживец, офицер Н.И.Буюмский, «надел голубые панталоны с ужасно натянутыми штрипками, сапоги с огромными шпорами, эпoletы, обчистился и пошел под музыку ходить по бульвару», в надежде познакомиться «с семейными домами», «с аристократией». «Но, сколько мне известно, — замечал Толстой, — вместо ожидаемых знакомств <...> он в целый месяц познакомился только с тремя оборванными офицерами, которые обыграли его дотла...». Отдельные черты и детали ситуации, рассказанной в письме, нашли отражение в «Севастополе в мае» (фигура Михайлова и сцены на бульваре).

В рассуждениях автора об аристократах и тщеславии очевидно автобиографическое начало: дневниковые записи на Кавказе и в Крыму изобиловали размышлениями о «дурных страстях», которые Толстой хотел «уничтожить в себе», одна из этих «страстей» — тщеславие. Более полувека спустя, найдя однажды свое письмо из Севастополя к Т.А.Ергольской, Толстой вспомнил о том времени: «Я помню, что по-русски писать было что-то низкое. Аристократический круг выделялся: “Мы — что-то особенное”. И даже вопроса не было, почему я сижу здесь, а они там» (ЛН, т. 90, кн. 3, с. 380. Запись 4 апреля 1909 г.).

Автобиографический «след» просматривается и в описании ночной вылазки, участником которой стал юнкер барон Пест. Не исключено, что не только современный севастопольский опыт, но и воспоминания о первом своем участии в «деле» (еще на Кавказе), где, как определил сам Толстой, он «действовал нехорошо: бессознательно», стали отчасти материалом для изображения юнкера Песта в первой его вылазке. Эпизод вылазки, переданный через восприятие юнкера,— это в какой-то мере ирония автора по отношению к самому себе, к тому наивному волонтеру, каким он был четыре года назад, когда впервые участвовал в набеге.

Некоторые другие факты из своей жизни и собственные мысли передал Толстой персонажам рассказа. В дневниковой записи 11 апреля 1855 г. он признавался: «...меня злит <...> то, что никому в голову не придет, что из меня может выйти что-нибудь, кроме *chair à saupon* <пушечного мяса>, и самой бесполезной...». Та же мысль о «пушечном мясе», правда, в ином контексте, возникает в сознании офицера Калугина, когда он во время «дела» задерживается в блиндаже, рассуждая, что он «нужен не для одной *chair à saupon*» (гл. 10). Из круга чтения молодого Толстого перешли в круг чтения Калугина небольшая книжечка историй о Наполеоне, рассказанных французским писателем Марко де Сент-Илером («*Anecdotes du temps de Napoléon 1-er recueillies par Marco de Saint-Hilaire*». Paris, 1854), и роман О.Бальзака «*Splendeur et misères des courtisanes*» («Блеск и нищета куртизанок»). Мечты и грезы штабс-капитана Михайлова о том, как он становится генералом, сродни, безусловно автобиографическим, отроческим мечтам Николеньки Иртеньева в повести «Отрочество» (гл. XV) и воспоминаниям волонтера в преднаборной рукописи «Набега» о давно прошедшем времени, когда он, «один, расхаживая по комнате и размахивая руками, воображал себя героем, сразу убивающим бесчисленное множество людей и получающим за это чин генерала и бессмертную славу». Михайлову грезится «генерал» — «бессмертная слава» чуть позднее будет грезиться семнадцатилетнему Володе Козельцову, герою «Севастополя в августе 1855 года».

Из реальной севастопольской жизни взяты конкретные типы, отдельные черты и фамилии персонажей. Через много лет в разговоре с А.Мошиным Толстой признавался, что «часто пишет с натуры», и добавлял: «Прежде даже и фамилии героев писал в черновых работах настоящие, чтобы яснее представлять себе то лицо, с которого я писал. И переменил фамилии, уже заканчивая отделку рассказа» (Мошин Алексей. Ясная Поляна и Васильевка. СПб., 1904, с. 29). Так, в рукописи «Севастополя в мае» Толстой однажды оговорился, назвав будущего Михайлова «Броневским». До нас не дошли ранние черновики рассказа, и неизвестно, какую фамилию носил Михайлов, прежде чем под фамилией Белугин по-

явился в единственной сохранившейся рукописи. Возможно, какие-то качества севастопольского сослуживца Толстого штабс-капитана Е.А.Броневского отразились в облике штабс-капитана Михайлова.

К Евгению Алексеевичу Броневскому у Толстого было неизменно доброе отношение: в дневнике и в письмах не раз упоминалось это имя. 11 марта 1855 г. в дневнике запись: «Броневский один из милейших людей, которых я встречал когда-либо». 13 марта в письме к Т.А.Ергольской: «Я не встречал еще человека с таким горячим сердцем и благородством натуры». Подобная оценка Броневского звучала и в письме к С.Н.Толстому 3 июля: «В марте стало теплей, и приехал в батарею милый, отличный человек Броневский, я стал опоминаться...».

Севастопольское окружение Толстого представлено в рассказе довольно разнообразно. В эпизоде на перевязочном пункте упоминался раненый рядовой Севастьян Середа — реальный солдат Середа служил в одной батарее с Толстым. На 4-м бастионе в одно время с Толстым находился офицер П.В.Преснухин — явное созвучие слышится в фамилии Праскухин. Столь же прозрачна фамилия князя Гальцина, возможно, произведенная от фамилии севастопольского сослуживца и приятеля Толстого князя М.П.Голицына (Галицына). В единственной дневниковой записи декабря 1854 г. Толстой упоминал его при описании Севастополя: «...на Графской играла музыка и долетали звуки труб какого-то знакомого мотива, Голицын и еще какие-то господа, облокотясь на перила, стояли около набережной [и слушали]. Славно!». Н.Н. Гусев полагал, что «при известной манере Толстого давать своим героям фамилии, близкие по смыслу к фамилиям тех действительных лиц, которые служили для них прототипами», не исключено, что прототипом Калугина с его «блестящей храбростью» послужил «близкий знакомый Толстого Николай Яковлевич Ростовцев, которого Толстой впоследствии называл “одним из самых блестящих офицеров в Севастополе”» (Гусев, I, с. 566).

Более очевидно сходство со своим реальным прототипом другого персонажа — поручика Непштитского. В одной батарее с Толстым служил поляк поручик Ю.И.Одаховский. В дневнике 23 января 1855 г. даны характеристики новым сослуживцам по 3-й легкой батарее 11-й артиллерийской бригады, куда Толстой был переведен и прибыл в середине января. Среди прочих — «Одаховский», старший офицер, гнусный и подлый полячишка». Об этом новом окружении через полгода упоминалось в письме брату С.Н.Толстому (3 июля 1855 г.): «В январе опять была тасовка офицеров, и меня перевели в батарею, которая стояла лагерем в 20 в <ерстах> от Севастополя, на Бельбеке. Там j'ai fait la connaissance de la mègre de Кузьма <я узнал кузькину мать>, самый гадкий кружок полячишек в батарее...». Отношения с этими новыми сослуживцами складывались не просто. «И я связан и даже завишу от этих людей!» — с досадой писал Толстой в дневнике (23 января). Конфликты случались часто, что позднее в своих воспоминаниях отмечал и Одаховский: «В Севастополе начались у графа Толстого вечные столкновения с начальством¹. Это был

¹ Сам Ю.И.Одаховский в то время, по его словам, «был назначен старшим над <...> орудиями, офицерами и людьми (нижними чинами)» вместо капитана Филимонова, командира батареи, переведенного на Северную сторону.

человек, для которого много значило застегнуться на все пуговицы, застегнуть воротник мундира, человек, не признававший дисциплины и начальства. Всякое замечание старшего в чине вызывало со стороны Толстого немедленную дерзость или едкую, обидную шутку» (Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978, т. 1, с. 63). Толстой «с начальством вечно находился в оппозиции» (там же, с. 60). Плохо скрываемая антипатия к подпоручику Толстому сквозит в этих воспоминаниях: и «наружность Толстого была некрасивой» (с. 60), он «имел мало понятия о службе», «никуда не годился как командир отдельной части» (с. 63); «Толстой был бременем для батарейных командиров <...> его никуда нельзя было командировать. В траншеи его не назначали; в минном деле он не участвовал» (с. 64). В воспоминаниях Одаховского, записанных в 1898 г. А.В.Жиркевичем, много ошибок памяти, на что Толстой обратил внимание, читая рукопись. «Удивительно, как он мог все так забыть,— писал Толстой Жиркевичу 6 октября 1903 г.,— но еще удивительнее, что мог уверить себя, что было то, чего не было. Я отметил на полях его ошибки». Одной из ошибок, отмеченных Толстым, было утверждение Одаховского, что в Севастополе он «и граф Толстой очутились в резерве, то есть в бездействии» (с. 61). Но известно, что «в бездействии» был лишь Одаховский, а Толстой, как он сам заметил на полях рукописи воспоминаний, «ставил орудия на 4-й бастион и чередовался на нем с другими офицерами» (ГМТ), об этом говорят и дневники Толстого. «Бездействие» же поручика Одаховского, да и вся эта фигура, неприятная писателю, запечатлелись в образе поручика Непшитшетского в рассказе «Севастополь в мае»¹.

Только в середине сентября 1855 г. Толстой узнал о печальной судьбе своего рассказа. «Вчера получил известие, что *Ночь* изуродована и напечатана,— записал он в дневнике 17 сентября.— Я, кажется, сильно на примете у *сних*. За свои статьи. Желая, впрочем, чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей; но сладеньким уж я никак не могу быть, и тоже писать из пустого в порожнее — без мысли и, главное, без цели. Несмотря на первую минуту злобы, в которую я обещался не брать пера в руки, все-таки единственное, главное и преобладающее над всеми другими наклонностями и занятиями должна быть литература». И далее Толстой делал очень важный для себя и для своего будущего вывод: «Моя цель — литературная слава. Добро, которое я могу сделать своими сочинениями». Он даже хотел срочно проситься в отставку. Дневниковые записи этих дней настойчиво повторяли мысли о добре и о славе. «...Для меня нет середины, или блестящая, или жалкая будущность»,— писал Толстой 21 сентября и главной целью в жизни называл «добро ближнего», а целью «условной» — «славу литературную, основанную на пользе, добре ближнему». В это время писатель начинал работу над рассказом о последнем штурме Севастополя.

В эти же дни появились в печати первые отклики на рассказ «Ночь весною 1855 года в Севастополе». Газета «С.-Петербургские ведомости»

¹ Даже фамилию Непшитшетский можно перевести как Непришедший, Непошедший.

20 сентября (1855, № 204, с. 1069) в фельетоне о русской журналистике (статья без подписи) называла «Рубку леса» Л.Н.Т. и «Ночь весною 1855 года в Севастополе», неизвестного автора, «лучшими статьями» двух последних книжек «Современника». «Оба рассказа представляют живую картину военной жизни в Крыму и на Кавказе,— отмечал критик,— и написаны с одинаковым одушевлением, как будто одним и тем же лицом». Говоря о достоинствах кавказского рассказа Л.Н.Т. (живости, рельефности подробностей, мастерстве в изображении портретов, разговоров, смерти солдата, картин природы), он замечал, что «такими же достоинствами языка и яркостью изображений отличается и второй рассказ “Ночь в Севастополе”. Здесь картина становится только шире, грандиознее, здесь война принимает более важный характер, очерки — более темный колорит». С тяжелым чувством читал рецензент «описание упорной ночной атаки французов на наши ложементы и еще более упорной защиты их». «Эта бессонная ночь в осажденном городе, эти бомбы, загорающиеся, как звезды, на темном небе, канонада бастионов, трескотня ружейной пальбы, толпы раненых, приносимых и приводимых в город, ординарцы и адъютанты, скачущие от бастиона к бастиону с приказами, толки солдат, беседы офицеров — все это оставляет на душе сильное впечатление»,— признавался он. Высоко оценивая «прекрасно очерченные» фигуры офицеров и «трогательно рассказанную смерть одного из них, Праскухина», критик пересказывал и цитировал небольшой фрагмент из предсмертных мыслей Праскухина («Впрочем, может быть, не лопнет ~ убит на месте осколком в середине груди») и рассуждал: «Эту картину портят, к сожалению, несколько недосмотров. Праскухин не мог быть убит осколком в середине груди, если лежал на земле: не на спину же ложатся, опасаясь от бомбы; он не мог быть убит на месте, если пробежал несколько шагов и рассуждал сам с собою о том, не контужен ли он; наконец, если он тут же умер, кто рассказывал автору о том, что покойный думал о двенадцати рублях и даме в чепце с лиловыми лентами?»

В октябре о рассказе «Ночь весною 1855 года в Севастополе» заговорили журналы. Сам «Современник» в очередных «Заметках о журналах» несколько застенчиво напомнил об этой своей публикации, полагая, что читатели «прочли не без интереса “Ночь весною 1855 года в Севастополе”, рассказ, так просто, верно и картинно передающий до мельчайших подробностей жизнь в осажденном городе» (1855, № 10, отд. V, с. 185).

«Отечественные записки», рассматривая севастопольский рассказ наряду с «Рубкой леса» Л.Н.Т., сумели уловить в нем «жизнь, чувство, поэзию». Безымянный рецензент, излагая рассказ, особо заострил внимание на одной из последних сцен: «Рассказ оканчивается удивительною сценою разговора русских и неприятелей во время короткого перемирия, когда солдаты обеих наций убирают тела своих павших товарищей; но сцена эта, написанная, как мы уже сказали, превосходно, оставляет тяжелое, даже неприятное впечатление неуместной веселостью беседующих, вздорной болтовней французов, и мы предпочитаем ей следующую коротенькую картину рассвета над местом ночной битвы»,— заключал критик «Отечественных записок» и цитировал всю 14 главу рассказа («Сотни свежих окровавленных тел ~ прекрасное светило») (1855, № 10, «Журналистика», с. 108–110).

Бегло упомянула рассказ о Севастополе в статье без подписи «Биб-

лиотека для чтения» (1855, № 10, отд. VI, с. 37): «В “Современнике” мы прочли с некоторым интересом “Рубку лесу”, г. Л.Н.Т., и еще с большим интересом “Ночь весною в Севастополе”, как нам кажется, того же автора. К сожалению, последний рассказ состоит из отрывков».

В литературных кругах обеих столиц интерес к новому севастопольскому рассказу Толстого не остывал. П.Я.Чаадаев писал своему знакомому, сенатору А.Я.Булгакову: «А Вас прошу прочитать очаровательную статью в “Современнике” под названием “Ночь в Севастополе”. Вот это добротный патриотизм, из тех, что действительно делают честь стране, а не загоняют ее еще дальше в тупик, в котором она оказалась» (сентябрь 1855) (Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избранные письма в 2-х т., т. 2. М., 1991, с. 275). А.В.Дружинин в переписке с М.А.Ливенцовым, не соглашаясь с его оценкой первого севастопольского рассказа, полагал, что рассказы Толстого «очень хороши и очень просты», «фраз в них он не видел, а «некоторую экзальтацию», замеченную Ливенцовым, прощал, объясняя тем, «что и предмет описывается не совсем обыкновенный». «По отзывам людей, бывших в Севастополе, заметки Толстого очень верны», — писал Дружинин своему корреспонденту 26 сентября 1855 г. (*Летописи ГЛМ*, кн. 9, с. 172). 17 (29) октября Тургенев сообщал М.Н. и В.П.Толстым: «Я достал в целости статью Льва Николаевича — и уже велел списать ее для вас. Страшная вещь!» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 65).

Подводя итоги прошлогодних журнальных публикаций, пресса снова обратилась ко второму севастопольскому рассказу Толстого в начале 1856 г. «СПб. ведомости» 1 января в фельетоне «Петербургская летопись» (с. 2), рассуждая о севастопольской кампании, замечали, что «рассказы Л.Н.Т. <...> заслуживают внимания не только как летопись занимательных для каждого русского событий, но и как произведения литературные», имея в виду, конечно, оба севастопольские рассказа Толстого. 26 января Вл. Зотов в той же газете признавал, что последние месяцы прошедшего года, «без сомнения, порадовали каждого любителя литературы появлением произведений в роде севастопольских и кавказских очерков Л.Н.Т.» и называл Л.Н.Толстого¹, автора «Рубки леса» и «Ночи весною 1855 года в Севастополе», одним из лучших современных писателей, отличающихся «верностью, теплотою, рельефностью своих изображений, типическим созданием лиц и характеров» (1856, № 21, с. 111–114). Журнал «Пантеон» в февральском номере писал, что из двадцати трех повестей и рассказов, помещенных в «Современнике» в 1855 г., «шесть останутся в литературе». В числе этих произведений, «оставляющих самое полное и глубокое впечатление», был отмечен и рассказ «Ночь весною в Севастополе» (1856, т. XXV, кн. 2, «Петербургский вестник», с. 21).

В конце года с выходом сборника «Военные рассказы» в печати появились новые критические заметки о рассказах Толстого. В ноябрьском номере «Отечественных записок» за 1856 год в статье, которая так и называлась «“Военные рассказы” графа Толстого», С.С.Дудышкин едва коснулся «Севастополя в мае», разочарованно заметив, что вопреки ожи-

¹ «Современник» (1855, № 12, с. 1–12 — особой пагинации) в перечне произведений, опубликованных в журнале в 1855 г., упоминал «Ночь весною в Севастополе» как рассказ Л.Н.Толстого.

даниям критиков здесь Толстой снова «явился тем же психологом-наблюдателем, от которого не ускользает ни одна мелочь... Мелочь действительно не ускользнула, но общая картина исчезла, пропала; ее не было» (1856, № 11, отд. III, с. 11–18).

Глубокий анализ всего сборника появился в «Современнике». Пытаясь определить «отличительную физиономию» таланта Толстого, Н.Г.Чернышевский в статье «Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н.Толстого. Военные рассказы графа Л.Н.Толстого», помещенной в декабрьской книжке журнала, в своих рассуждениях во многом опирался на «Севастополь в мае». «Внимание графа Толстого,— писал критик,— более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексией о настоящем». Как полагал Чернышевский, своеобразие психологического анализа у Толстого заключается прежде всего в том, что его занимает более всего «сам психический процесс, его формы, его законы, диалектика души». «Полумечтательные, полурефлективные сцепления понятий и чувств, которые растут, движутся, изменяются» в произведениях Толстого, вовсе не похожи, по мнению Чернышевского, на размышления лермонтовского Печорина, которые «наблюдены вовсе не с той точки зрения, как различные минуты душевной жизни лиц, выводимых графом Толстым». Как пример автор статьи приводил большой фрагмент из рассказа «Севастополь в мае» — сцену смерти Праскухина («Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым ~ осколком в середину груди»): «Это изображение внутреннего монолога надобно, без преувеличения, назвать удивительным. Ни у кого другого из наших писателей не найдете вы психических сцен, подмеченных с этой точки зрения». Чернышевский считал, что «та сторона таланта графа Толстого, которая дает ему возможность уловлять эти психические монологи, составляет в его таланте особенную, только ему свойственную силу» и эта особенность позволяет ему «не ограничиваться изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс,— и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся одно другим с чрезвычайною быстротою и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым». В этом умении Толстого уловить и воспроизвести в своих сочинениях «таинственнейшие движения психической жизни» видел Чернышевский «совершенно оригинальную черту его таланта», благодаря которой «из всех замечательных русских писателей он один мастер на это дело» («Современник», 1856, № 12, отд. III, с. 53–64).

Особенность таланта Толстого, отмеченную Чернышевским в 1856 г., не раз в дальнейшем подчеркивали другие критики. В январе 1858 г. «Библиотека для чтения» в рецензии (без подписи) на книгу «Рассказов Н.Основского» напомнила читателям некоторые сцены из произведений Толстого, в том числе сцену смерти Праскухина из второго севастьяполь-

ского рассказа, где «изобразено положение человека, размышляющего в ожидании, когда разорвет бомбу, близ него упавшую». Рецензент упоминал о «мастерских подробностях, которыми талантливые писатели умеют оживлять даже избитые уже и пошлые предметы», что позволяет выразить «глубокие психологические черты» (№ 1, отд. VI, с. 40).

В статье «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой» Ап.Григорьев, говоря о глубококом толстовском анализе, замечал, что этот анализ, «останавливаясь перед всем, что ему не поддается», оказывается «беспощадным ко всему искусственному и сделанному, является ли оно в буржуазном штабс-капитане Михайлове, в кавказском ли герое à la Марлинский...» («Время», 1862, № 9, отд. II, с. 1–27).

В 1866 г. «Севастополя в мае» коснулся Н.Н.Страхов в статьях о Толстом, опубликованных журналом «Отечественные записки» (1866, № 12). «Глубочайшим мотивом» творчества писателя представлялась Страхову мысль, прозвучавшая в заключение второго севастопольского рассказа («Герой же мой повести ~ правда»). «Тут разом высказывается и то, что поэт ищет героя, ищет прекрасных явлений жизни, и то, что он приступает к жизни с требованиями неподкупной правды, и то, что в своем строгом искании он не находит героя, не находит прекрасной жизни. Ему остается одно — признать свое искание за прекрасную черту, свои требования за нормальное явление. Так он и сделал, восхваляя свою правдивость». В своих поисках, по мнению Страхова, писатель «за жизнь и красотой приходил на бастионы Севастополя во время его обороны», но, «по-видимому, он и тут не нашел героических черт», о чем свидетельствовало заключение «Севастополя в мае» с вопросами и рассуждениями о «выражении зла» и «выражении добра», о том, что «все хороши и все дурны» (с. 796).

Своеобразным «исследованием», в котором «современное общество» «получает более данных для ознакомления с самой действительностью войны, вернее может оценить все ужасы и бедствия ее» и, следовательно, «уменьшать эти бедствия», считал рассказ «Севастополь в мае» автор статьи «Военный роман» (статья без подписи), опубликованной в журнале «Военный сборник» в 1868 г. (№ 4, отд. II, с. 251–280). Критик внимательно всматривался в персонажей рассказа; прежде всего в его поле зрения оказывался Калугин, «тип личных адъютантов при начальниках войск». «Личность Калугина выдержана как нельзя лучше в течение всего рассказа; это образец в высшей степени самолюбивого, далеко не глупого, но по преимуществу ловкого на все штуки офицера, считающего себя необыкновенно важною особою по своему положению, полного самоуверенности и почти презрения к строевым офицерам. Говорит он в обществе как-то таинственно, желая тем показать, что знает все секреты высшего начальства; он не лишен храбрости, хотя крепко не любит ходить на бастионы; о делах с неприятелем судит лишь на столько, на сколько можно надеяться получить за дело награду». Характеристика Калугина завершалась эмоциональным выводом: «дай Бог, чтобы тип Калугиных пореже встречался в нашей армии».

«Простая, скромная натура» Михайлов, по мнению критика, «испорчен уже настолько, что чуждается своих товарищей, ходящих без перчаток, в верблюжьих штанах, в обношенной шинели и говорящих громко». Соглашаясь с замечанием Толстого, что «вообще тщеславие составляет

отличительную черту и особенную болезнь» века, автор видит, «как неуместно оно между такими людьми, которые, как защитники Севастополя, должны быть почти ежеминутно готовы к смерти». Зная, что дело всегда определяется «мелочными неуловимыми обстоятельствами», а вовсе не так, как на завтра будет изображено в реляциях, критик отдавал должное Толстому, сумевшему верно понять эту «беспорядочность дела» и уйти от «описания собственно самого дела»: здесь «представлены лишь эпизоды его и притом преимущественно в рассказах участников» — раненых, бывших в деле, ординарцев, «приезжающих с бастионов», «введен и хвастливый рассказ юнкера, немца Песта, который выставляет себя героем, между тем как в сущности он растерялся и в суматохе кого-то или что-то кольнул штыком». В рассказе «нет ничего лишнего, — продолжал автор статьи, — все имеет значение, все необходимо для полноты. Калугин, Михайлов, Праскухин, Гальцин, даже денщик Никита и матроска, хозяйка Михайлова, — все служат обстановкою и необходимым дополнением картины ночного дела». Все «изображено так живо, так естественно, что невольно увлекает и переносит на самый театр действий, как бы ставит самого читателя непосредственным зрителем событий». Толстой «неподражаем в изображении чисто боевых сцен, и в этом отношении как в нашей, так и в иностранных литературах у него нет соперников», — считал критик. В картине же «уборки тел» он видел «как бы протест автора против неестественности отношений, создаваемых войною». «Подобные протесты невольно возникают в душе каждого мыслящего человека, который видит в войне не одну славу <...>, но который способен изучить войну всесторонне, со всеми ее разнообразными проявлениями, со всеми ее тяжкими страданиями, с пролитой кровью», — делал вывод автор статьи, увидевший в «Севастополе в мае» правду войны.

О правде жизни в севастопольских рассказах Толстого почти два десятилетия спустя говорил в своих университетских лекциях и писал в книге «Русские писатели после Гоголя» профессор О.Ф.Миллер. «Показать жизнь, как она есть, поставить ее на настоящую почву, дать почувствовать, как даже и в такие великие исключительные минуты будничная жизнь продолжает течь своим обычным течением», — вот, по мнению Миллера, «задача этого произведения». Главное же, что увидел ученый в «Севастополе в мае», — это подчеркнутое противопоставление «между простыми людьми и культурными» в офицерской среде, между офицерами «аристократами» и «неаристократами». «Comme il faut'ность», по выражению Миллера, показанная в рассказе, обращает «такую войну, как Севастопольская, в почетное ремесло, которое открывает верный доступ к чинам и орденам. Вся та мелочность, которая присуща людям этого сорта, сохраняется и продолжает проявляться и здесь, в такое тяжелое и великое время», — писал автор книги. Он уверен, что выражение «всякий из нас маленький Наполеон» Толстой адресовал прежде всего своему классу, но никак не солдату: «солдат не таков, он совершенно иначе относится к войне». Но тем не менее, полагал Миллер, писатель «отказывается от того, чтобы признать героем этой повести народ русский» («Русские писатели после Гоголя». СПб., 1886. Ч. II, с. 274–277).

Некоторым позициям О.Миллера созвучны рассуждения барона Р.А.Дистерло, высказанные в его книге «Граф Л.Н.Толстой как художник и моралист» (СПб., 1887). Мысль, связывающая все военные рассказы

Толстого «единством содержания», «открывается нам из постоянного сопоставления, в одних и тех же положениях войны, культурного человека, члена цивилизованного, городского общества, и простого солдата, первобытного сына деревни» (с. 86). Анализируя в военных рассказах «ощущение страха» и храбрость «образованного человека» и «простого человека», Дистерло подчеркивал «глубокое различие в душевном строе культурного и простого человека, прекрасно отмеченное графом Толстым» (с. 87). Критик сравнивал храбрость адъютанта Калугина («Севастополь в мае») и спокойствие, бесстрашие простых солдат из третьего севастопольского рассказа: «Невероятным кажется, что это существа одной породы: до такой степени велика бездна, их разделяющая, до такой степени ничтожно сходство их отношений к одной и той же возможности смерти! Аффектированная храбрость Калугина, вызванная красивыми мечтами и тщеславным чувством, глубоко чужда душе этих солдат, точно так же, как их изумительное спокойствие и наивная покорность судьбе совершенно недоступны душе светского адъютанта» (с. 91).

Типу Калугина и «родственных ему по духу Гальциных, Праскухиных, Болховых, Розенкранцев, Михайловых» противопоставлен «тип душевной простоты и спокойствия», который «обнимает огромный солдатский мир, захватывая в него и многих, преимущественно армейских офицеров, вроде капитана Хлопова» (с. 91). По мнению критика, Толстой показывает, что такое различие, такую «бездну» между его героями проложила «цивилизация». «Это она создала Калугиных, Болховых, Розенкранцев и, оторвав их от естественности и правды, которая сохранилась еще в нашем народе, унесла на ту сторону бездны, где царит ложь и тщеславие. Мысль, приведшая автора к такому воззрению на жизнь, не укладывается ни в одну из ходячих доктрин; мысль эта несравненно глубже и радикальнее: она отправляется не от противоположения западной и славянской культур, не от предпочтения основ народной жизни,— она берет цивилизацию вообще и видит в ней какую-то роковую и колоссальную ошибку человечества, какое-то злое начало, нарушившее правду и гармонию природы» (с. 92).

Несколько усомнился в «правде» Толстого в «Севастополе в мае» К. Леонтьев на страницах своего «критического этюда» «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого», опубликованного в трех книжках «Русского вестника» в 1890 г. (№№ 6–8). Рассматривая Толстого как мастера «психического анализа болезненных и предсмертных состояний», «душевного анализа» героев, Леонтьев (врач по профессии, служивший военным врачом во время Крымской кампании) считал, что описание смерти Андрея Болконского «гораздо выше» описания «внезапной смерти офицера Праскухина под Севастополем» и смерти Ивана Ильича. В изображении смерти Праскухина и Ивана Ильича, по мнению Леонтьева, «гораздо меньше и поэзии, и правды, чем в изображении последних дней и минут князя Андрея» (№ 6, с. 271). Сопоставляя три картины смерти, Леонтьев признавал, что в этих изображениях смерти «превосходно и со всей возможной, доступной человеческому уму, точностью соблюдены все те оттенки и различия, из которых одни зависят от рода болезни или вообще поражения организма, а другие от характера самого умирающего и от идеалов, которыми он жил». Далее Леонтьев выстраивал свою систему доказательств относительной неправдоподобности описания смерти

Праскухина. «Праскухин ничем не болен, смерть его внезапная, в тревоге и смятении битвы. У него, конечно, есть постоянная *мысль* о смерти потому, что кругом его бьют людей, но нет никакой подготовки *чувств* к разлуке с жизнью. Праскухин к тому же вовсе не идеален ни в каком смысле, он и ни религиозен, ни православен по чувствам, как другой офицер Михайлов...». Михайлов «думает, что он убит, и восклицает мысленно: “Господи! прими дух мой!” Праскухин, напротив того, воображает, что он только контужен, и о Боге и душе своей вовсе не вспоминает».

Можно вообразить с приблизительной удачей смятение мыслей и чувств во время сражения у дюжинного человека <...>, — продолжал Леонтьев. — Но мы решительно не знаем, что *чувствует* и *думает* человек, переходя эту неуловимую черту, которая зовется смертью. Изобразить смену чувств и мыслей у раненого или контуженного человека — есть художественная смелость; изобразить же *посмертное* состояние души есть уже не смелость, а бессильная претензия — и больше ничего». Потому и полагал критик, что в смерти Андрея Болконского больше правды, чем в смерти Праскухина, где «гр. Толстой решительнее позволяет себе заглядывать за страшную и таинственную завесу, отделяющую жизнь земную от загробной, а в описании кн. Андрея он очень искусно избегает этого».

В смерти Ивана Ильича К. Леонтьев также уловил «*изворот* в художественном смысле несравненно умнее, глубже и тоньше, чем решительные уверения, что Праскухин ничего *не думал* и *не видел*». По мнению критика, в повести «Смерть Ивана Ильича» Толстой «постарался избежать своей прежней грубой решительности», и это понятно: ведь «между Севастопольскими очерками и смертью Ивана Ильича прошло для гр. Толстого *целых тридцать* лет умственной работы и разнородного житейского опыта». «Иван Ильич просто “умер” и только. Это лучше и с точки зрения научной точности. Мы не имеем никакого рационального права *утверждать*, что душа не бессмертна и что после того онемения, оцепенения и охлаждения *тела*, которое мы зовем смертью, душа тоже ничего не *чувствует*». И «в этом смысле полунаучной, или даже и совсем научной, точности *самая смерть* Ивана Ильича лучше, вернее смерти Праскухина. *Умер* и только». Как считал Леонтьев, смерть Ивана Ильича, его бред и полусознание лучше, чем «решительное и грубое определение *посмертного* состояния Праскухина» (№ 7, с. 234–236).

«Еще один *особый* род душевного анализа» в произведениях Толстого привлекал внимание К. Леонтьева, он называл его «анализом *подозрительности* или *излишнего подглядывания*». С этой точки зрения в «Севастополе в мае» ему бросалась в глаза «потребность разыскивать у всех людей и при всяком случае *тищеславие*». Критик не находил ничего предосудительного в этом свойстве человеческой природы. «Это опять те же *микроскопические* нервные волокна, которые рисовальщик изобразил в виде крупных, настоящих нервов и выставил их в неправильной перспективе на перед» (№ 8, с. 227). Такой анализ чуть позднее автор статьи называл «ломаным, ненужным, делающим из мухи слона».

«Да к тому же и то сказать, *почему гр. Толстой знал наверное* в 55 году, что чувствовали *разные* офицеры? — спрашивал Леонтьев. — Ведь это одно лишь подозрительное предположение ума еще незрелого и болезненным отрицанием 50-х годов в одну сторону сбитого. Наконец, <...> если гр. Толстой, смолоду и не устоявшись внутренно, *сам был таков*, — то мы

не обязаны верить, что он через это знал твердо, верно и душу всех других». Леонтьев упрекал Толстого в том, что писатель находил тщеславие «только у людей образованного класса. О самолюбии и тщеславии солдат и мужиков он везде молчит», хотя во многом «эти русские простолюдины еще самолюбивее и тщеславнее нас», — полагал Леонтьев (№ 7, с. 259–266). «Неужели гр. Толстой ничего этого не знает?» — задавал он вопрос, упрекая Толстого в «чрезмерном поклонении мужику, солдату армейскому и простому Максиму Максимычу» (№ 8, с. 215).

О «противоречии народного и интеллигентного духа», «поразившем Толстого» и отраженном в рассказе «Севастополь в мае», размышлял и один из первых биографов писателя Евг. Соловьев в книге «Л.Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность» (СПб., 1894). «Молчаливый героизм народа и тщеславная суетливость интеллигента никогда еще до той поры так резко не противопоставлялись друг другу», — писал он, полагая, что «впоследствии Толстой построил» на этом противопоставлении «свою эпопею “Война и мир”, но впервые оно было уже постигнуто им под стенами Севастополя. Интеллигент носится со своим я, не может ни на минуту отделаться от забот о нем. Это маленькое требовательное я суетится, беспокоится, страдает и радуется, смотря по тому, хорошо ли ему или дурно, тепло ему или холодно. Желание выставить себя с самой выгодной стороны, выдвинуться в первый ряд — это тщеславное суетливое желание ни на минуту не исчезает из интеллигентной души, и бесконечные интриги, разнузданная игра себялюбия — иногда совершенно невинная, детская, иногда скверная — потому что корыстолюбивая, постоянно происходит на почве молчаливого народного героизма. Идти на бастион значит идти почти на верную смерть, и вот по дороге туда культурный человек штабс-капитан Михайлов думает: “и каково будет удивление и радость Наташи” <...> и в мечтах своих ш.-к. Михайлов добрался уже до генеральского чина... Тот же штабс-капитан Михайлов на музыке в саду весь поглощен соображениями о том, как и с кем ему поздороваться, к кому подойти, с кем заговорить <...>». Эти «соображения» Михайлова Соловьев называл «ребячеством», которое «вызывает лишь улыбку, как вызывают улыбку и его ненужные мысли». Однако «можно не только улыбаться, а и задуматься, видя поразительное и странное сочетание культурной ярмарки тщеславия и эгоизма с молчаливым героизмом простого народа, — продолжал автор. — В культурном человеке слишком сильно чувство личности: это-то и портит все дело. Лишь в минуты нравственного прозрения спрашивает он себя: “что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и страданиями...” Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города опять приводит культурную душу в обычное состояние маленьких себялюбивых забот, опасений, мечтаний... Быть лучше, сильнее, красивее другого — вот нерв культурного бытия и в этом же его главное противоречие с народным духом». «Ярмарка тщеславия с одной стороны, молчаливый героизм с другой — ежеминутно были на глазах у графа Толстого под стенами Севастополя. Но по самой жизни своей, по практическим целям, он принадлежал еще ярмарке тщеславия и был глубоко огорчен, когда убедился, что не получит флигель-адъютантских аксельбантов», — делал вывод Соловьев.

И еще одно противоречие, увиденное Толстым и запечатленное во

втором севастопольском рассказе, отмечал автор книги: «Если в кавказских рассказах Толстого на первый план выступает противоречие между природой и человеком, миром одной и суетливостью и кровожадностью другого, то в севастопольских рассказах почва этих противоречий шире, разнообразнее и глубже». Соловьев приводил сцену разговора солдат во время перемирия («Вот пехотный бойкий солдат ~ и солдаты с видимым неудовольствием расходятся») и далее размышлял: «Не странно ли будет видеть потом, всего через несколько часов, этих добродушных людей, так весело разговаривающих друг с другом, с ожесточенными и освирепевшими лицами прокалывающих друг друга штыками. Вражды между ними нет никакой; если бы не странная стихийная сила, руководящая ими, они долго бы еще продолжали беседовать и смеяться, а потом вместе и дружно принялись бы за работу. Но “белые флаги спрятаны <...> снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятия”».

«Гете заметил как-то, — продолжал исследователь, — что истинный художник всегда ребенок. <...> В узком ущелье Валерика великий и наивный ребенок Лермонтов, видя перед собой окровавленные трупы так недавно еще веселых и полных жизни людей, спрашивает: “зачем?”; под стенами Севастополя тот же вопрос не дает ни минуты покоя другой великой наивной душе — душе Толстого. Он, как художник, не понимает и не может понять того, что как будто понимаем мы, что, пожалуй, сам он понимает, как офицер, как командир дивизиона, как защитник Севастополя, мечтающий о флигель-адъютантстве. Но художник “наивен”, его чуткое сердце не может успокоиться на тех объяснениях и ответах, на которых успокаивается обыденный смертный; цветущая долина, заваленная мертвыми телами, для него не просто поле сражения, где победили мы или французы, где было столько-то стычек, где столько-то убито, столько-то ранено; эта цветущая долина для него что-то страшное, таинственное, преступное, вызывающее один и тот же роковой вопрос: “зачем?”» (с. 57–60).

В 1902 г. отмечалось 50-летие творческой деятельности Толстого; в связи с этим вспомнили и о «Севастополе в мае». 31 августа газета «Русские ведомости» в статье «Пятидесятилетие литературной деятельности Л.Н.Толстого» (подпись: И), стремясь «найти ответ на вопрос, почему Толстой достиг такой небывалой для романиста славы», обращалась к заключительным строкам второго севастопольского рассказа («Герой моей повести ~ правда!»). «В течение всей литературной деятельности автора правда была предметом его энергических исканий», — отмечалось в статье (№ 240, с. 2). В тот же день, 31 августа, «Биржевые ведомости» (№ 236) поместили за подписью «А.И.» статью «Первое произведение графа Л.Н.Толстого», где шла речь и о цензурных препятствиях на пути молодого писателя. Автор статьи в качестве примера цензурных осложнений приводил рассказ «Севастополь в мае»: достаточно сравнить два текста этого рассказа (в «Современнике» и в собрании сочинений писателя), считал А.И., «чтобы увидеть первое огненное крещение Толстого».

В начале нового века В.Ф.Саводник в книге (учебнике литературы) «Очерки по истории русской литературы XIX века» (М., 1907 и последующие издания) писал, что Толстой, «изображая самоотвержение и героизм защитников Севастополя», «очень далек от какой-либо идеализации их», «он остается трезвым реалистом, для которого всего важнее жизненная

правда его изображения, полное соответствие с действительностью», что особенно ярко проявилось в рассказе «Севастополь в мае». «Здесь выведен целый ряд военных типов, изображенных немногими, но резкими чертами. Толстой показывает своих героев и в их будничной обстановке, и в “деле”, во время боя. Он обнаруживает скрытые черты их характера, тайные пружины их действий, их мелкие и крупные недостатки, каковы: честолюбие, тщеславие, притворство, хвастливость». Рассматривая «типы военных», Саводник увидел в Михайлове «храброго офицера, добросовестного служаку, с сильно развитым чувством долга, ради которого он готов подвергнуться смертельной опасности». «Но тот же Михайлов не чужд и мелочного тщеславия...» Тщеславием «заражены» и некоторые другие персонажи, например, Калугин: «в основе его холодной, блестящей храбрости лежит честолюбие, жажда отличий и наград, и Толстой показывает, как он из самолюбивой гордости так же подвергает свою жизнь опасности, как другие из патриотизма или чувства долга». Автор учебника подчеркивал, что персонажи Толстого представлены не «исключительно с героической стороны», а «со всех сторон», с их «человеческими слабостями, страстями и недостатками». «Оттого выведенные им лица лишаются части своей привлекательности, но зато изображение их отличается большой полнотой и верностью. Эта жизненная верность изображения является для Толстого высшею целью искусства» (с. 177–178).

Второй севастопольский рассказ переводился на многие европейские языки. Одна из ранних попыток перевода фрагмента «Севастополя в мае» на английский язык была предпринята немецкой писательницей Мальвидой Мейзенбуг¹ в конце 50-х годов. Выбор произведений Л.Толстого был сделан не без помощи А.И.Герцена, хотя именно он в марте-апреле 1858 г. предупреждал М.Мейзенбуг о трудностях, ожидающих ее при переводе толстовского рассказа: «Отрывок из Толстого чрезвычайно труден для перевода. Будьте осторожны» (*Герцен*, т. 26, с. 169–170). 28 (16) апреля 1858 г., видимо, уже познакомившись с переводом, Герцен в письме к переводчице сообщал свои замечания: «Маркел — мортира — слово, искаженное солдатами. Шедших... Преступление Чернецкого² и Вас самой. Как же не знать глагола идти? <...> Такие страницы не легко переводить, даже очень трудно. Другие произведения Толстого легче; жаль также, что это лишь отрывок. Вероятно, что весь характер правдоподобен и верно изображен», — добавлял Герцен (там же, с. 173). Перевод фрагмента из «Севастополя в мае» оказался для М.Мейзенбуг, видимо, не по силам и не был завершен.

В 1869 г. второй севастопольский рассказ был переведен на английский язык американским консулом в России Ю.Скайлером и опубликован в журнале «Hours at Home»³ (New York, 1869, т. 8, № 4 (февраль) и № 6

¹ Мальвида фон Мейзенбуг, воспитательница дочерей А.И.Герцена, подруга Р.Роллана.

² Польский эмигрант, работавший в типографии Герцена, плохо говоривший по-русски.

³ «Часы досуга» (два номера журнала, видимо, подаренные автору переводчиком, сохранились в личной библиотеке Л.Н.Толстого в Ясной Поляне).

(апрель). Дважды рассказ вышел в США в 1887 г. и в собрании сочинений Л.Н.Толстого в 1899 г. В Англии «Севастополь в мае» впервые появился почти на двадцать лет позднее, чем в США, в 1888 г. Отдельным изданием рассказ вышел в Лондоне в 1899 г. («New Order»).

Перевод рассказа был сделан Э.Моодом (изд. 1901 и 1903 гг.). Для работы переводчик использовал русский текст, опубликованный во втором томе собрания сочинений Толстого в 1897 г. В отличие от «Севастополя в декабре» из текста «Севастополя в мае» не было сделано никаких исключений, хотя П.И.Бирюков писал, что Моод спрашивал Толстого и об известной панаевской фразе в конце рассказа (Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 2. М., 1912, с. 278). Однако в письме Э.Моода к С.Л.Толстому, где он приводил фразы, вызвавшие у него сомнение, этой фразы нет. Ее и не могло быть, так как начиная с издания 1886 г. эта фраза в тексте рассказа не печаталась, а Моод работал по изданию 1897 г. Так что сведения, приведенное П.И.Бирюковым, не соответствует действительности.

В работах английских литераторов о Толстом на рубеже веков не раз упоминался «Севастополь в мае». Эдмунд Госс, обращая внимание на реализм рассказа, предполагал, что «чувства Михайлова, когда взорвалась бомба и он был ранен, могли быть испытаны и Толстым». Что касается смерти Праскухина, «назвать это реализмом в обычном смысле — значит лишить этот эпизод половины его ценности», т.е. увидеть в нем «своеобразное возвышенное занятие для воображения», тогда как здесь «очевидная способность к гипотетическому анализу, когда представляется случай для разоблачения честолюбия» (Tolstoi Lyof. Work while ye Have the Light. London, 1890. Introduction — без пагинации).

В книге «Лев Толстой. Великий мужик» Г.Перрис, отмечая в севастьяпольских рассказах «всеобщие признаки войны», приходил к заключению, что «философия истории Толстого, и особенно военной истории, есть философия правды. Это особая правда, однако в духе его времени и его страны, где героизм может проявляться только массово, потому что человек как человек не признан официально, а отдельный человек, если он не служит правящим интересам, недопустим. И эта точка зрения и всемирные гуманитарные интересы ясно выразились в этих рассказах. Но не в меньшей степени они стали достижением повествовательного искусства. Волнующие эффекты зависят здесь не от манеры писателя, его словарного запаса, драматургического мастерства, а от его авторской способности убеждать читателя, во-первых, в его абсолютной правдивости и, во-вторых, в значимости с первого взгляда незначительных эпизодов» (Perris G.H. Leo Tolstoy. The Grand Mujik. London, 1898, p. 54).

Спустя пять лет в очерке «Лев Толстой как писатель» Перрис, касаясь Крымской войны и участия в ней Толстого, писал, что «с того времени Толстой, стремящийся к совершенствованию, знал и говорил ненавистную правду о войне и бездумном псевдопатриотизме, который сталкивает народы в братоубийственной бойне. С того времени из его сознания был вычеркнут весь дешевый романтизм, рожденный преклонением перед дикой стороной человеческой природы. Описание этих величественных картин на полях сражений определило его положение как писателя в России и позднее на Западе оставило впечатление как от полотен Верещагина» (Chesterton G.K., Perris G.H. etc. Leo Tolstoy. London, 1903, p. 14).

Эльмер Моод, переводчик и издатель Толстого, в своей первой биографической книге о русском писателе сравнивал автора «Севастополя в мае», показавшего правду войны, с ребенком, героем сказки Андерсена, который первым сказал, что «король голый» (Maude A. The Life of Tolstoy. First fifty years. London, 1908, p. 134).

Т.Ноулсон увидел во втором севастьяпольском рассказе ростки будущего Толстого: «Это зарождающийся сегодняшней Толстой. Толстой, создавший “Царство Божие внутри вас” и “Патриотизм и правительство» — писал он в 1904 г. в книге «Лев Толстой» (Knowlson T. Sharper. Leo Tolstoy. A biographical and critical study. London; New York, 1904, p. 41).

Первый перевод «Севастополя в мае» на польский язык появился в газете «Dziennik Warszawski» в 1877 г. (ЛН, т. 75, кн. 2, с. 253).

В 80-е годы рассказ был опубликован в составе сборников военных и севастьяпольских рассказов Толстого в Скандинавии на датском (впервые в 1884 г.), финском (1886) и шведском (1886) языках. В 1886 г. он вышел в сборниках рассказов Толстого о Севастопольской обороне на голландском, немецком и французском языках.

Заключительные строки «Севастополя в мае» о правде произвели очень большое впечатление на молодого Р.Роллана. В книге своих студенческих дневников «Монастырь на улице Ульм» в записи 16 декабря 1887 г. он рассказал о своей первой реакции на эти строки: «...Миль, одолживший мне книгу, и Дальмейда со своим тупым верхоглядством явились <...>, что им кажется очень слабой страница, которой заканчивается рассказ “Севастополь в мае”: “Герой же моей повести <...> — правда”. — Она меня как обухом ударила, — сказал Дальмейда, превзойдя в резкости Миля. А я отношу эту страницу Толстого к тем, — продолжал Р.Роллан, — которые доставили мне наибольшее наслаждение. Я хорошо понимаю, что те, кто ее не любит, видят в этом слове “Правда” абстракцию на французский манер. В то время как для Толстого (как и для меня) Правда — это Бытие, самое Бытие, и провозглашение ее есть исповедание веры в буквальном смысле этого слова. Что бы там ни было, но из-за Толстого я около часа находился в сильном нервном волнении» (цит. по кн.: ЛН, т. 75, кн. 1, с. 71).

10 ноября 1902 г. в газете «Царицынский вестник» (№ 1413) появилась заметка «Лекция о Л.Н.Толстом в Париже». Перед спектаклем по роману «Воскресение» в театре «Одеон» была прочитана лекция о Толстом. Лектор А.Беранже рассказал об участии Толстого в севастьяпольской кампании и о севастьяпольских рассказах. «Обыкновенно романисты описывают ужасы войны понаслышке, Толстой же сам пережил и извездил их лично, и потому разница в описании получается огромная», — говорил он. Вслед за тем артист «Одеона» Кост читал описание смерти Праскухина.

В Германии одним из первых обратился к рассказу Толстого Ойген Цабель, в 1885 г. сначала в газете, а затем в книге опубликовавший очерк о творчестве русского писателя. Свои мысли о севастьяпольских рассказах он включил в биографическую книгу о Толстом, изданную в Берлине, Лейпциге и Вене в 1901 г. и переведенную в России в 1903 г. Цабель обращал особое внимание на достоверность изображенного: «Как художник, он <Толстой> стремится в своих рассказах прежде всего к правдивости.

Он выставляет русские войска в самом лучшем свете, как и в других повестях, где речь заходит о солдатах; но он отнюдь не хвастает их хорошими качествами и великими подвигами; у него нет героя, к прославлению которого клонилось бы все...», — и далее критик приводил заключительные слова «Севастополя в мае» («Где выражение зла ~ правда»). В отличие от других писателей, создавших романтические военные картины, Толстой, уверен Цабель, «рассказывает только то, что сам видел; но делает это с такою объективностью, что тут смело можно говорить о “Documents humains” Золя. Когда он говорит о раненых и их страданиях, о солдатах на бастионах, когда он воссоздает настроение каждого из присутствующих во время бомбардировки, то можно подумать, что все это совершается у читателя на глазах». Но Толстой «нигде не выдает своих личных ощущений и впечатлений. Он хочет быть настоящим художником. И только два-три момента выдают, как глубоко взволновано было его сердце состраданием при виде всех этих сцен, какие мысли и чувства возбуждала в нем лично эта ужасная действительность». Доказательством тому, по мнению критика, служат сцены перемирия и заключительный абзац главы 16 второго севастопольского рассказа («Да, на бастионе и на траншее ~ не обнимутся, как братья?»). Цабель приводил эти фрагменты и замечал: «Ясно видимые нити связывают эти описания военных сцен с картинами сражений, которые развертывает перед читателем автор в “Войне и мире”» (Цабель Е. Граф Лев Николаевич Толстой. Киев, 1903, с. 57–58).

В 1899 г. о севастопольских рассказах писал А.Эттлингер в биографическом очерке «Лев Толстой. Эскиз его жизни и творчества» (Ettlenger A. Leo Tolstoy. Eine Skizze seines Lebens und Wirkens. Berlin, 1899). Он находил, что в рассказах «манера» Толстого «обнаруживает некоторое родство с изображением битвы при Ватерлоо в романе Стендаля “Пармская обитель”, появившемся в 1839 г. Стендаль, как и Толстой, был офицером и, как и он, знал войну по собственному опыту, но Толстой — величайший мастер в художественном воспроизведении военной жизни» (S. 13). «Ученик Шеллинга и Гегеля», как считал Эттлингер, Толстой в заключение второго севастопольского рассказа сопоставляет «правду и красоту», но для него они имеют «не равную силу, как для этих философов. Толстой делает весь упор на “правду”. Он воодушевлен ею, как Золя, который недавно назвал ее единственной страстью своей жизни» (S. 14). Вместе с тем «теплая патриотическая идея пронизывает севастопольские очерки. Но уже здесь звучит тон, который будет иметь особое значение для дальнейшего развития Толстого. Глубокий скорбный тон в изображении страданий, которые несет с собой война. Возникает вопрос: как это возможно, что люди, христиане, которые исповедуют любовь и самоотречение, убивают друг друга?» (S. 14).

В «Истории русской литературы», изданной в 1905 г. берлинским профессором доктором А.Брюкнером в серии «Литературы Востока, представленные как отдельные явления» («Die Literaturen des Ostens in Einzeldarstellungen». Bd 2), в статье о Толстом, упоминавшей севастопольские рассказы, говорилось, без сомнения, о «Севастополе в мае»: «Как и в ранних рассказах, здесь повторяется противопоставление между народом, простыми солдатами, безропотно, без хвастовства, со степенью уверенным спокойствием исполняющими свою тяжелую обязанность, и ин-

теллигенцией, офицерами, их позерством, их театральным героизмом» (Brückner A. Geschichte der russischen Literatur. Leipzig, 1905, S. 344).

Близкая мысль по поводу севастопольского рассказа высказана в книге швейцарского юриста доктора М.Вальтера: «Человек высшего общества всегда думает только о собственной персоне, он не может оторваться от мыслей о своем личном благополучии; потому умирает он жалко и в позе, а не с гордым негибимым спокойствием» (Walter M. Tolstoi nach seinen sozialökonomischen, staatstheoretischen und politischen Anschauungen. Zürich, 1907, S. 15).

В 1889 г. «Севастополь в мае» был напечатан в сборнике севастопольских рассказов на венгерском и во втором томе «Сочинений» Толстого на чешском языках. Сокращенный перевод рассказа вышел в 1892 г. на испанском языке и полный перевод в 1900 г. на итальянском. На румынском языке «Севастополь в мае» вместе с другими севастопольскими рассказами появился в 1909 г. в составе сборника военных повестей; в 1910 г. рассказ в сокращении был опубликован на греческом и норвежском языках.

С. 94. ...на работах неприятеля...— Во время военных действий как защитники Севастополя, так и неприятельские войска, продолжали вести работы по строительству укреплений, оборонительных линий и сооружений.

С. ...рассматривает с вышки телеграфа...— Телеграф — семафорный телеграф. Для наблюдения за движением неприятельских судов вдоль морского берега на южном берегу Крыма была устроена линия семафорных телеграфов. Такой телеграф был сооружен и в самом Севастополе на Малаховом кургане.

...штурманский унтер-офицер...— То есть унтер-офицер, связанный с навигацией, с вождением судов.

...движущиеся по Зеленой горе...— Зеленая гора — круглая высота на южной стороне Большой Севастопольской бухты (в юго-восточной части Севастополя). Здесь находились английские войска, их батареи и укрепления.

С. 95. ...против одного представителя союзников...— Союзники — Франция, Великобритания, Турция и (с 1855 г.) Сардиния.

...на бульваре, около павильона...— Имеется в виду Малый бульвар.

...на Николаевскую казарму...— Оборонительная казарма береговой Николаевской батареи, находившейся на Южной стороне Севастополя, была расположена вдоль северо-западного берега мыса, отделяющего Артиллерийскую бухту от Южной.

...на левой стороне Морской улицы...— Большая Морская, одна из двух главных улиц Севастополя, выходила южным концом на Театральную, а северным — на Николаевскую площади. Довольно широкая и покрытая щебнем, она являлась (наряду с Екатерининской) главной артерией сообщения города и была, по свидетельству Э.И.Тотлебена, обстроена лучшими зданиями.

...опойковые сапоги...— Кожаные сапоги; опоек — кожа, выделанная из шкуры молодого теленка.

...или квартирмейстер полковой...— Квартирмейстер (квартирмейстер) — офицер, ведающий снабжением и расквартированием части.

С. 96. ...*приносят нам «Инвалид»*...— Имеется в виду газета «Русский инвалид».

...*отставной улан*...— Улан — в дореволюционной русской армии служащий в легкой кавалерии.

...*на эс в беседку*...— Эс — скамейка в виде латинской буквы S, на которой сидят, обернувшись друг к другу.

...*получит Георгиевский крест*...— Георгиевский крест — военный орден Святого великомученика и победоносца Георгия, учрежден в России в 1769 г. для награждения «отличных» военных подвигов и в поощрение в военном искусстве офицеров и генералов. Орден Святого Георгия имел 4 степени. Знаками ордена были белый эмалевый крест с изображением в центре святого Георгия на коне, лента из трех черных и двух оранжевых полос и четырехконечная (ромбовидная) вызолоченная звезда с изображением Георгия в центре и девизом («За службу и верность») вокруг. Первая степень Георгиевского ордена была наградой чрезвычайной, которую имели всего 25 человек. С 1849 г. имена георгиевских кавалеров отмечались на мраморных досках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

...*уж будто Наполеон пойман*...— Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт), французский император в 1852–1870 гг.

...*такая для нас р и с у р с*...— Ресурс (муж. род) — запас, средство, к которому обращаются в необходимом случае.

...*что наши заняли Евпаторию, так что французам нет уж сообщения с Балаклавой*...— Евпатория — уездный приморский город в Крыму в 50 км по морю на северо-запад от Севастополя — была занята 7 сентября 1854 г. небольшим десантным отрядом союзников и оставалась в их руках до конца войны. Балаклава — небольшой городок в нескольких верстах юго-восточнее Севастополя (в настоящее время один из районов Севастополя) — занята англичанами 24 сентября 1854 г.; здесь был устроен главный склад английского десантного корпуса. «Сообщение с Балаклавой» французов никак не могло зависеть от положения в Евпатории.

...*о самом штабс-капитане*...— Штабс-капитан — обер-офицерский чин в пехоте, артиллерии и инженерных войсках.

...*как он сердился и ремизился*...— Ремизиться — проигрывать в карты из-за ремиза, т.е. из-за недобора установленного числа взяток, и платить штраф за такой недобор.

...*составляли пульку по копейке*...— То есть игроки клали в кон (казну, ставку) по копейке. Пулька — партия преферанса, виста, бриджа и т.п.

С. 97. ...*у него были свои дрожки*...— Дрожки — легкий открытый ресорный экипаж на 1–2 человек.

...*играл в карты с штатским генералом*...— Штатский генерал — крупный чиновник гражданской службы, приравненный по чину в табели о рангах к военным генералам.

...*я должен получить по старому представлению*...— То есть по старому представлению к повышению в чин или к награде.

...*получить майора по линии*...— То есть получить очередное воинское звание (майора) и повышение по службе.

...*офицеры в старых шинелях*...— С первых дней своего царствования Александр II издал ряд указов (начиная с 14 марта 1855 г.) о перемене

обмундирования всех войск, о коренных изменениях покроя и цвета одежды чинов военного ведомства. Не всем офицерам было по карману в короткий срок приобрести новое обмундирование.

С. 98. ...*что он флигель-адъютант...*— Флигель-адъютант — в XIX в. почетное звание, присваивавшееся офицерам, состоящим в свите русских императоров.

...*подпоручик Зобов...*— Подпоручик — воинское звание (чин) младшего офицерского состава в русской армии.

...*сидит с штаб-офицером...*— Штаб-офицер — в дореволюционной русской армии общее название старших офицерских чинов (майора, подполковника, полковника).

С. 99. ...*с добродушным ординарцем...*— Ординарец — военный служащий, состоящий при командире или штабе для выполнения их поручений, главным образом для связи и передачи приказаний.

...*бесконечная повесть снобсов и тщеславия?*— Метафорическое упоминание произведений английского писателя У.Теккера «Ярмарка тщеславия» (1848) и «Книга снобсов» (1847). Толстой читал «Ярмарку тщеславия» в июне 1855 г. Возможно, имелся в виду и очерк А.Ф.Писемского «Фанфарон» с подзаголовком «Один из наших снобсов» («Современник», 1854, № 8). В подстрочном примечании к очерку говорилось, что под общим названием «Наши снобсы» автор «предполагает привести несколько биографических очерков» (с. 191).

...*старый клубный московский холостяк...*— В 40–50-х годах XIX в. в Москве были клубы: Английский, Дворянский, Купеческий и Немецкий, все очень посещаемые.

...и *ротмистр Праскухин...*— Ротмистр — офицерский чин в кавалерии, соответствующий чину капитана в пехоте.

С. 100. ...*встретились на Шварцовском редуте...*— Шварцовский редут — редут № 1 (Шварца), был расположен на Городской стороне Севастополя, на левом фланге первой оборонной линии; его строительство и вооружение к началу войны было закончено. Редут № 1 имел важное значение для обороны Севастополя с запада. Командовал редутом М.П.Шварц.

С. 101. ... *в первый раз провел в блиндаже...*— Блиндаж — полевое укрытие от снарядов. В конце декабря 1854 г. для предохранения гарнизона от навесного огня по всей оборонительной линии начали устраивать прочные блиндажи, для чего употребляли лес. Блиндажи высекались большей частью в скале и были расположены в наиболее безопасных местах.

...*окнами, залепленными бумагой...*— Стекла окон заклеивали крест-накрест полосками бумаги для предохранения их при бомбардировках.

...*два тульские пистолета...*— Пистолеты, сделанные на оружейном заводе в Туле.

...*идти с ротой в ложементы...*— Ложемент — стрелковый оружейный окоп. Севастопольские ложементы состояли из небольших отдельных участков траншей, закладываемых впереди оборонительной линии, на таком расстоянии от неприятеля, чтобы из них можно было тщательно следить за всеми ночными неприятельскими работами и ближайшим ружейным огнем препятствовать успеху этих работ. Для расположения ложементов избирались особенно выгодные места. Ложементы устраива-

лись из особых материалов и особыми рабочими так, чтобы были удобны для огнестрельного действия, могли бы сопротивляться артиллерийским выстрелам и, в случае занятия их неприятелем, не стали бы ему укрытиями от огня с нашей оборонительной линии. Ложементы располагались, как правило, в две линии в шахматном порядке.

...нельзя с прапорщиком роте идти...— Согласно приказу начальника севастопольского гарнизона Д.Е.Остен-Сакена, во время работ офицеры должны были находиться непременно при солдатах-рабочих, которых посылали на работы не командами, а целыми ротами, с тем чтобы сами ротные командиры могли быть при своих ротах.

...святой долг...— В Приказе генерал-адъютанта князя Меншикова, от 29 октября 1854 г., о монаршей благодарности чинам черноморского флота за оборону Севастополя говорилось: «Достоинным ответом нашим на все милости царя может быть только непоколебимое до конца исполнение нашего святого долга царю, вере и отечеству. Исполним же его!» Приказ этот предписано было «прочсть всем нижним чинам, во всех ротах, эскадронах и батареях». (Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя. Вып. IV. СПб., 1872, с. 286.)

С. 102. *...образок Митрофания...*— Митрофаний (святой Митрофан) — первый воронежский епископ, прославлял царя Петра I за намерение завести флот, за войну с турками, помогал ему и жертвовал на это свои сбережения. Известны слова Петра I после смерти и погребения Митрофания: «Не осталось у меня такого другого святого старца».

С. 103. *...с саперным офицером...*— Саперный офицер — офицер, служащий в инженерной, военно-строительной части.

...светящаяся трубка бомбы...— Во время осады Севастополя союзники для бомбардирования города использовали так называемые «ланкастерские» бомбы, эти железные бомбы имели ударную трубку.

С. 104. *...лейб-улан или конногвардеец?* — Лейб-улан — служащий в царской легкой кавалерии. Конногвардеец — солдат, офицер, служащий в конном лейб-гвардии полку.

...стал вторить...— То есть исполнять партию вторы (второго голоса).

С. 105. *И мой принципал на бастионе...*— Принципал — глава, начальник, хозяин.

...нагнувшись на луки казачьих седел...— Лука — выступающий изгиб переднего или заднего края седла.

...против нашего люнета...— Люнет — открытое с тыла полевое укрепление, состоявшее, как правило, из 1–2 фронтальных валов со рвом впереди и боковых валов. Применялось до начала XX в.

...перевирая фортификационные выражения...— Фортификация — наука о строительстве оборонительных сооружений, укреплений.

С. 109. *...а сикурсу не подают...*— Не дают подкрепления.

...а то всё а с и с т е н т ы...— Ассистент — помощник, помогающий.

С. 110. *Стуцер французской...*— То есть штуцер.

...пошел на перевязочный пункт.— Главный перевязочный пункт находился в здании Дворянского собрания. На Корабельной стороне перевязочный пункт был сначала в Александровских казармах, позже — на Павловской батарее. Во время пребывания в Севастополе Толстой, вероятно, не раз бывал на перевязочном пункте и в госпитале, хотя ни в дневнике,

ни в письмах не описывал этих своих впечатлений. Единственное беглое упоминание о таком посещении сохранилось в дневнике 11 апреля 1855 г., где Толстой признавался самому себе, что хочет «влюбиться в сестру милосердия, к <оторую> видел на перевязочном пункте». Из этой короткой записи можно заключить, что сцены на перевязочном пункте, интерьеры, запечатленные в первом и втором севастопольских рассказах, над общим замыслом которых («Севастополь днем и ночью») в то время работал Толстой, писались по свежим впечатлениям.

Большая, высокая темная зала...— Большая танцевальная зала в здании Дворянского собрания.

С. 111. *...дожидаясь поши перевязанных в госпиталь...*— С перевязочных пунктов раненых отправляли на Николаевскую батарею, где был устроен временный госпиталь на 600 человек, и на Северную сторону, где были два постоянные госпиталя. Ампутированные, особенно тяжелые, помещались в Инженерном доме, а гангренозные и безнадежные — в домах Гущина и Орловского, недалеко от Артиллерийской бухты. В Екатерининском дворце, у пристани, было устроено отделение для раненых офицеров.

С. 112. *Вспомнил про одного адъютанта, кажется, Наполеона ~ и умер на месте.*— Калугин вспомнил одну из 99 историй (анекдотов), составивших небольшую книжку «Истории времен Наполеона I, рассказанные Марко де Сент-Илером» («Anecdotes du temps de Napoléon 1-er recueillies par Marco de Saint-Hilaire». Paris, 1854), под названием «Высокое изречение» <«Un mot sublime»>. Здесь речь идет о случае, согласно легенде произошедшем в апреле 1809 г. при взятии Ратисбонна (совр. Регенсбург на берегу Дуная на юге Германии). Вспомнившийся Калугину фрагмент диалога Наполеона со смертельно раненым офицером штаба в книге звучит так:

«— Monsieur, vous êtes blessé? — interrompt l'Empereur.

— Non, sire, je suis tué! — répond l'héroïque soldat.

Et en prononçant ces derniers mots, il tombe mort» (p. 160).

<«— Вы ранены? — прервал его император.

— Нет, государь, я убит! — ответил доблестный воин.

И, произнеся эти последние слова, он упал замертво».>

С. 114. *...вылезали на банкеты...*— Банкет — небольшое возвышение, приступок у крепостного вала или у окон, устроенное для удобства стрельбы из ружей.

С. 117. *...стоял около какой-то стенки...*— Стенка — оборонительная стена, высотой 1–1,5 метра, толщиной 0,5–0,9 метра, соединявшая некоторые бастионы в одну линию обороны. Эти стены прикрывали лишь небольшую часть окружности города.

...бомба с элевационного станка...— Элевационный станок — орудийный станок, приспособленный для стрельбы под большими углами возвышения.

С. 118. *...читая «Splendeur et misères des courtisanes»...*— Роман О.Бальзака «Блеск и нищета куртизанок» (1838–1847).

С. 119. *...в аршине от него...*— Аршин — старая русская мера длины, равная 0,711 метра.

...чтобы непременно с хлороформом...— Хлороформ — бесцветная летучая жидкость с резким запахом, употреблялась для наркоза. В россий-

ской медицине применение наркоза при хирургических операциях впервые стало внедряться в практику хирургом академиком Н.И.Пироговым во время Крымской войны 1853–1856 гг. Пирогов находился в Крыму в первый свой приезд с ноября 1854 до конца мая 1855 г.

С. 123. *...это поможет к представленью...*— То есть для представления к награде.

...на ровном полу часовни мертвых в Севастополе...— Тела умерших переносили из госпиталя в часовню, где происходило отпевание перед погребением.

...егерская музыка играла на бульваре...— То есть играли музыканты егерского пехотного полка.

С. 124. *Потери только, потери ужасные...*— В ночном сражении с 10 на 11 мая русские войска потеряли 2600 человек убитыми.

С. 125. *...сел около памятника Казарского.*— А.И.Казарский — герой русско-турецкой войны 1828–1829 гг., капитан I ранга. Командир брига «Меркурий», выдержавшего бой с двумя турецкими линейными кораблями (1829). Памятник воздвигнут в 1834 г. На пьедестале надпись: «Казарскому. Потомству в пример». Автор памятника — архитектор А.Брюллов.

С. 126. *...деревянную желтую сигарочницу...*— Сигарочница — здесь: мундштук.

С. 127. *...говорит один зуав...*— Зуавы — французские колониальные войска, организованные в 30-е годы XIX в. в Северной Африке из местного коренного населения и добровольцев французов. Н.Берг в «Записках об осаде Севастополя» цитирует французский журнал «Voleur»: «Батальоны зуавов состояли первоначально из кабиллов, племени зуауа <...> Мало-помалу к зуавам стали прибавлять лучших солдат французской армии, усвоивших себе жизнь туземцев. Ныне в зуавских полках собраны самые разнообразные стихии. Большинство представителей приходится на долю Парижа. На роту (125 ч.) полагают: десять медицинских студентов, не кончивших курса; пять докторов прав, возлюбивших военное ремесло, десяток всякого сброда из Антуанского предместья, притона парижской сволочи; от восьми до двенадцати разжалованных унтер-офицеров; полдюжины разорившихся промышленников; остальные — блудные сыны всех восьмидесяти шести департаментов» (т. 1, с. 19).

...говорит другой черный...— Черный — зуав из африканцев.

...шитые полы зуава...— Имеется в виду своеобразная форма зуавов: распахнутая куртка из синего сукна, вышитая разноцветными шнурками.

...французский капрал...— Младший командир во французской армии.

...французский офицер с одним эполетом...— Эполет — погон особой формы, украшенный бахромой и тесьмой, шитой серебром или золотом. Один эполет носили младшие офицерские чины французской армии.

С. 128. *...и нанковых штанишках...*— Нанка — хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обычно желтого цвета.

...около кучки снесенных тел...— Во время перемирия специально назначенные рабочие сносили и складывали трупы погибших в одно место.

С. 130. *Кто злодей, кто герой ее?* — Мысли о «герое», возможно, навеяны романом У.Теккерея «Ярмарка тщеславия», который автор назвал «романом без героя» («A novel without a hero»).

...хотя и навший на брани за веру, престол и отечество...— Цитируется строка из молитвы при отпевании погибших.

СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА

Впервые: «Современник», 1856, № 1, с. 71–122 (ценз. разр. 31 декабря 1855 г.). Подпись: Граф Л.Толстой.

Вошло в сборник «Военные рассказы графа Л.Н.Толстого». СПб., 1856, с. 257–382.

Сохранились: автографы — запись солдатского разговора, фрагмент черновика, план и наборная рукопись (всего 41 л.), а также выправленная автором корректура журнала «Современник».

Печатается по корректуре журнала «Современник», 1856, № 1 с учетом позднейшей авторской правки в издании «Военных рассказов» и с исправлениями по автографу:

С. 132, строка 10: Навстречу — *вместо:* Навстречу ему (по ВР).

С. 132, строка 32: облокотившись — *вместо:* облокотясь (по А).

С. 132, строки 39–40: он, видимо, узнал своего офицера — *в кор. зач.* (по ВР).

С. 133, строки 9–10: живут так-то и делают то-то, потому что так живут и делают другие — *вместо:* живут так-то, потому что так живут другие (по ВР).

С. 133, строка 11: делали то же, что и он — *вместо:* делали то же самое (по ВР).

С. 133, строка 32: повозка — *вместо:* повозочка (по ВР).

С. 133, строка 34: нынче же — *вместо:* нынче вечером (по ВР).

С. 134, строка 14: с полдён — *вместо:* с полдня (по А).

С. 134, строки 22–23: не накладывая ее, расковырял пригорелый табак — *вместо:* не накладывая, расковырял прижженный табак (по А, ВР).

С. 135, строка 3: генералу Крамперу — *вместо:* генералу (по А).

С. 135, строки 6–7: и потерял уважение... — *вместо:* потерял уважение (по А, ВР).

С. 135, строка 15: как хотят, когда такие распоряжения — *вместо:* как хотят (по А).

С. 135, строка 23: Введено обозначение главы 4 (по А). Далее нумерация глав меняется соответственно.

С. 136, строки 12–13: не только не любил, но был возмущен против штабных — *вместо:* не любил «штабных» (по А).

С. 137, строки 11–12: ходил там в канцелярию — *вместо:* ходил там в канцелярию в одну (по ВР).

С. 137, строка 34: Так дадут так? — *вместо:* Так дадут там? (по А).

С. 137, строка 36: может быть, так дадут — *вместо:* может быть, там дадут (по А).

С. 137–140: Введена глава 6 (по А). Далее нумерация глав меняется соответственно.

С. 140, строка 27: Офицер, ехавший из П. — *вместо:* Офицер, ехавший из Петербурга (по А).

С. 140, строка 35: сказал он доктору — *вместо:* сказал он серебристым звучным голосом доктору (по ВР).

С. 141, строка 23: да уж я не хотел — *вместо:* да уж не хотел (по А).

С. 141, строка 42: потом привыкаешь — *вместо:* потом привыкнешь (по А).

- С. 142, строка 8:* распускающийся розан — *вместо:* распускающий розан (по А, ВР).
- С. 142, строка 9:* те же русые — *вместо:* тоже русые (по А).
- С. 142, строка 14:* открытее и светлее — *вместо:* открытые и светлые (по А, ВР).
- С. 142, строка 22:* так и смотрел на него — *вместо:* так и смотрели на него (по А, ВР).
- С. 142, строка 28:* даже надеялся, ежели можно, образовать его — *вместо:* даже хотел образовать его (по ВР).
- С. 143, строка 1:* под бомбы — *вместо:* в этот ад (по ВР).
- С. 143, строки 7–8:* смутился при одной мысли о близости ее — *вместо:* смутился одной мысли о близкой опасности (по ВР).
- С. 143, строки 10–11:* в положении провинившегося школьника, говорил о чем-то — *вместо:* говорил о чем-то (по ВР).
- С. 143, строка 21:* штабс-капитану, что ты там видел — *вместо:* штабс-капитану, который из П. едет (по ВР).
- С. 143, строка 43:* должен только восемь рублей — *вместо:* должен только восемь рублей офицеру из П. (по ВР).
- С. 144, строки 23–24:* вырастут к тому времени, — и он ушипнул себя за пушок, показавшийся у краев рта — *вместо:* вырастут к тому времени (по ВР).
- С. 144, строка 29:* и делает вид — *вместо:* и делает (по ВР).
- С. 145, строка 28:* открылись — *вместо:* открылась (по ВР).
- С. 146, строка 5:* стакан холодного чаю — *вместо:* стакан холодного чаю, с папиросной золой (по ВР).
- С. 146, строка 8:* пристальнее — *вместо:* попристальнее (по ВР).
- С. 146, строка 23:* бутылки под кроватью — *вместо:* бутылки портеру под кроватью (по ВР).
- С. 146, строки 38–39:* офицер, как будто пойманный на воровстве, весь покоробился — *вместо:* офицер покоробился (по А).
- С. 146, строка 42:* укладывавая деньги — *вместо:* упрятывая деньги (по ВР).
- С. 146, строка 43:* глядя — *вместо:* прямо глядя (по ВР).
- С. 147, строка 7:* простой, но гостеприимный и храбрый — *вместо:* простой, очень храбрый и гостеприимный (по ВР).
- С. 147, строка 18:* из палатки — *вместо:* из-за палатки (по А).
- С. 147., строка 24:* голосок — *вместо:* голосок, приятно картавя на буквах л и р (по ВР).
- С. 147, строка 29:* толкнув Володю, достал портер из-под лавки — *вместо:* из-под него, даже толкнув офицера, достал портер (по ВР).
- С. 147, строка 35:* Такой же скряга будет — *вместо:* Таким же будет (по А).
- С. 148, строка 9:* эта жизнь проклятая! — *вместо:* эта жизнь (по ВР).
- С. 148, строка 40:* называл — *вместо:* называет (по ВР).
- С. 148, строка 44:* подъехав к Михайловской батарее, вышли из повозки — *вместо:* подъехали к Михайловской батарее, выйдя из повозки (по А).
- С. 150, строки 1–2:* Огонь разорвавшейся около него бомбы — *вместо:* Огонь разорвавшей около него бомбы (по ВР).

- С. 150, строка 5:* какой-то человек — *вместо:* какой-то матрос (по А, ВР).
- С. 150, строка 6:* чинил что-то в понтоне — *вместо:* топором рубил что-то (по ВР).
- С. 150, строка 17:* а по пяти патронов — *вместо:* по пяти патронов (по А).
- С. 151, строки 23–24:* чепчика, руки в карманах передничка, шла подле старшей — *вместо:* чепчика, обкладывавшего ей лицо, шла, руки в карманах передничка, подле старшей (по ВР).
- С. 151, строка 30:* Проводите их — *вместо:* Гм! Проводите их (по ВР).
- С. 151, строка 31:* а сама подошла — *вместо:* И сама подошла (по А).
- С. 152, строка 15:* без всякого выражения удовольствия, вопросительно — *вместо:* вопросительно (по ВР).
- С. 152, строка 23:* решили идти вместе — *вместо:* решили идти (по А).
- С. 152, строки 25–26:* и, ничего не говоря об этом предмете, решили идти — *вместо:* и идти (по ВР).
- С. 152, строки 30–31:* *Слов:* Больше ничего не было сказано в это последнее прощанье между двумя братьями — *в кор. нет* (по ВР).
- С. 152, строка 38:* по левой стороне улицы — *вместо:* по левой стороне (по ВР).
- С. 152, строка 43:* сестра милосердия — *вместо:* сестра (по ВР).
- С. 153, строка 6:* жизни героя — *вместо:* героической жизни (по ВР).
- С. 153, строки 7–8:* не нарушал молчания — *вместо:* не нарушая молчания (по А).
- С. 153, строка 8:* через мост, ведущий на Корабельную — *вместо:* через малый Корабельный мост (по ВР).
- С. 153, строка 26:* блаородный чуаек — *вместо:* благородный чуаек (по А).
- С. 153, строка 27:* ваш-благородие офицер — *вместо:* ваше благородие, офицер (по А).
- С. 153, строка 30:* вздохнул — *вместо:* глубоко вздохнул (по ВР).
- С. 153, строки 31–32:* испуганно-сдержанным голосом — *вместо:* гробовым голосом (по ВР).
- С. 154, строка 1:* должен сполнять — *вместо:* должен сполнить (по А).
- С. 154, строка 1:* ведь повозку — *вместо:* ведь, главное, повозку (по ВР).
- С. 154, строка 20:* пошел по указанному направлению — *вместо:* подошел к нему (по ВР).
- С. 155, строка 3:* и приятными — *вместо:* и большими, приятными (по ВР).
- С. 155, строка 45:* принял его — *вместо:* принял его было (по ВР).
- С. 156, строки 1–2:* прибавил он, обращаясь к прапорщику — *вместо:* прибавил он (по ВР).
- С. 156, строка 13:* закрылся ею с головою — *вместо:* закрылся с головою (по ВР).
- С. 156, строки 14–15:* еще с детства был подвержен — *вместо:* еще был подвергнут (по ВР).
- С. 156, строки 25–26:* к тяжелому чувству — *вместо:* к тяжкому чувству (по А).
- С. 157, строка 2:* увидала — *вместо:* увидела (по А).

- С. 157, строка 5:* продолжавшегося гула — *вместо:* продолжавшегося треска, гула (по ВР).
- С. 157, строка 20:* аж через несеть — *вместо:* уж через несет (по А).
- С. 157, строки 20–22:* Слов: сказал солдат, прислушиваясь к звуку прошившегося ядра, ударившегося о сухую дорогу по той стороне улицы — *в кор. нет* (по ВР).
- С. 157, строка 26:* весною, когда он был в Севастополе — *вместо:* весною (по ВР).
- С. 157, строки 26–27:* почему-то было теперь — *вместо:* почему-то теперь (по ВР).
- С. 157, строки 34–35:* изредка на мгновение освещаемый — *вместо:* на мгновение освещаемый (по ВР).
- С. 157, строка 42:* просвечивал огонь — *вместо:* просвечивал свет (по ВР).
- С. 158, строка 6:* никогда не был — *вместо:* никогда не был прежде (по ВР).
- С. 158, строки 16–17:* этот полковник — *вместо:* этот (по ВР).
- С. 158, строки 24–26:* Слов: эта власть, основанная не столько на летах, на старшинстве службы, на военном достоинстве, сколько на богатстве полкового командира — *в кор. нет* (по А).
- С. 158, строки 29–32:* Слов: голландская рубашка уж торчит из-под драпового с широкими рукавами сюртука. Десятирублевая сигара в руке, на столе шестирублевый лафит — все это закупленное по невероятным ценам через квартирмейстра в Симферополе — *в кор. нет* (по А).
- С. 158, строки 35–36:* Слов: не забывай ~ проходят через руки, и — *в кор. нет* (по А).
- С. 159, строки 11–25:* Слов: Дисциплина ~ не предполагают ничего хорошего. — *в кор. нет* (по А).
- С. 160, строки 2–3:* Входя в блиндаж, Козельцов услышал следующее — *вместо:* входя в блиндажи, слышалось следующее (по ВР).
- С. 160, строка 9:* застегиваясь — *вместо:* застегивая (по ВР).
- С. 160, строки 35–36:* что в этих словах ничего не было хвастливого — *вместо:* что в них ничего нет хвастливого (по ВР).
- С. 160, строка 43:* составляя — *вместо:* составляли (по А).
- С. 161, строка 8:* сухими пальцами — *вместо:* красивыми пальцами (по ВР).
- С. 161, строка 9:* перстень с гербом — *вместо:* перстень (по ВР).
- С. 161, строка 11:* облокотившись — *вместо:* облокотясь (по А).
- С. 161, строка 19:* с огромным злым ртом — *вместо:* с огромным ртом (по А).
- С. 161, строки 19–20:* безусый офицер — *вместо:* офицер (по А).
- С. 162, строка 22:* Слова: Подлец! — *в кор. нет* (по А).
- С. 162, строка 25:* и умрет — *вместо:* умрет (по ВР).
- С. 162, строки 42–43:* и будто бы ученый — *вместо:* и ученый (по ВР).
- С. 163, строка 3:* говоривший хохлацким выговором — *вместо:* говоривший на о и хохлацким выговором (по ВР).
- С. 163, строка 10:* Черновицкий — *вместо:* Чернавицкий (по ВР).
- Далее везде так.*
- С. 163, строка 19:* неприятным — *вместо:* заученным (по ВР).

- С. 163, строка 24:* подавал водку — *вместо:* приказывал подать водку (по ВР).
- С. 164, строка 1:* покамест — *вместо:* покаместь (по А).
- С. 164, строка 11:* Слов: Вдребезги разбили станину. — *в кор. нет* (по ВР).
- С. 164, строки 13–14:* только что вышедшего — *вместо:* вышедшего (по ВР).
- С. 165, строка 5:* ему нет расчета отказать — *вместо:* у него нет расчета (по ВР).
- С. 165, строки 11–12:* засмеялся — *вместо:* заметил (по А).
- С. 165, строки 21–22:* будете брать доход — *вместо:* будете так же поступать (по А).
- С. 165, строки 22–23:* тоже будут остатки в карман класть — *вместо:* тоже (по А).
- С. 165, строки 29–30:* Слов: Дослужитесь до капитана, не то будете говорить — *в кор. нет* (по А).
- С. 165, строки 35–37:* то у вас ~ и от одних лошадей — *вместо:* то вы, если хорошо поведете дела, ну и ладно (по А).
- С. 165, строки 41–42:* Слов: на канцелярию — три — *в кор. нет* (по ВР).
- С. 165, строки 43–44:* а ремонтная цена пятьдесят, и требуют, — это четыре — *вместо:* это три (по А, ВР).
- С. 165, строка 44:* Вы должны, против положения — *вместо:* Вы должны (по А).
- С. 165, строка 45:* лишнее выходит — *вместо:* выйдет (по А).
- С. 166, строки 5–6:* сперва на двух, а потом на трехстах рублях — *вместо:* на двухстах рублях (по ВР).
- С. 166, строка 7:* в недели — *вместо:* в неделю (по А).
- С. 166, строка 18:* застегиваясь, капитану — *вместо:* застегиваясь (по А, ВР).
- С. 166, строка 28:* прибавил он, улыбаясь Володе — *вместо:* прибавил, улыбаясь, Володя (по А).
- С. 166, строка 31:* и старшего товарища между офицерами — *вместо:* старшего товарища (по ВР).
- С. 166, строка 32:* до спорщика — *вместо:* до прапорщика (по А).
- С. 166, строка 34:* робко подходили друг за другом пить водку — *вместо:* подходили друг за другом пить водку, придерживаясь стенки (по ВР).
- С. 166, строка 35:* большое уважение — *вместо:* уважение (по ВР).
- С. 166, строка 39:* жестяные и деревянные — *вместо:* деревянные (по ВР).
- С. 167, строка 1:* естественно — *вместо:* явственно (по ВР).
- С. 167, строка 6:* еще говорить — *вместо:* говорить (по ВР).
- С. 167, строка 11:* упала бомба — *вместо:* попала бомба (по ВР).
- С. 167, строка 21:* офицеры — *вместо:* офицеры невольню (по ВР).
- С. 167, строка 23:* достававшие — *вместо:* достававшие оттуда (по ВР).
- С. 167, строки 32–33:* Слов: а тут требуют еще — *в кор. нет* (по ВР).
- С. 168, строка 18:* таблицы — *вместо:* таблицу углов возвышения (по ВР).
- С. 168, строка 21:* еще его немного — *вместо:* еще его (по ВР).
- С. 168, строка 33:* Да и отчего ж — *вместо:* Да отчего ж (по ВР).

- С. 168, строка 34: И он смело — *вместо*: и вдруг он смело (по ВР).
- С. 168, строка 35: голоском — *вместо*: голосом (по А, ВР).
- С. 168, строка 36: свежий голос — *вместо*: тонкий голосок (по ВР).
- С. 168, строка 38: впереди солдат — *вместо*: вперед солдат (по А).
- С. 168, строка 41: Прим. Л. Н. Толстого: «Руководство для артиллерийских офицеров», изданное Безаком — *в кор. зач.* (по ВР).
- С. 169, строка 10: и трушу — *вместо*: и труша (по С, ВР).
- С. 169, строка 11: и даже некоторым восторгом — *вместо*: и восторгом (по ВР).
- С. 169, строка 13: чувство — *вместо*: чувство бесстрашия и самодовольства (по ВР).
- С. 169, строка 17: без сапог — *вместо*: без сапогов (по А).
- С. 169, строка 17: раскачивали — *вместо*: раскачивали его (по ВР).
- С. 169, строка 18: не везде успевали — *вместо*: не успевали (по ВР).
- С. 169, строка 24: Не буду — *вместо*: Не будем (по А).
- С. 169, строка 28: две разбитые мортирки — *вместо*: две мортирки без прицелов (по ВР).
- С. 169, строки 43–44: уже не выходил — *вместо*: не выходил (по ВР).
- С. 169, строка 45: некоторые закурили — *вместо*: закурили (по ВР).
- С. 170, строка 6: или Вланг — *вместо*: и Вланг (по А, ВР).
- С. 170, строка 32: Двадцать четвертого числа — *вместо*: Двадцать четвертого (по ВР).
- С. 170, строки 32–33: а то что ж дурно-то на говне убьет — *вместо*: а то что ж дурно-то даром убьет (по А).
- С. 170, строка 35: Слова: При этих словах Васина все засмеялись — *в кор. зач.* (по А).
- С. 171, строка 1: медлительный голос — *вместо*: медленный голос (по ВР).
- С. 171, строка 6: не боишься — *вместо*: боишься (по А).
- С. 171, строка 25: потому что ему — *вместо*: что ему (по ВР).
- С. 171, строка 26: к нам — *вместо*: нам (по ВР).
- С. 171, строка 27: и еще — *вместо*: еще (по ВР).
- С. 171, строки 44–45: за полу шинели — *вместо*: за полы шинели (по ВР).
- С. 172, строка 6: слышались — *вместо*: слышался (по ВР).
- С. 172, строка 20: в том же положении — *вместо*: в той же позе (по ВР).
- С. 172, строка 25: недвижно — *вместо*: недвижимо (по ВР).
- С. 173, строка 18: хрест — *вместо*: крест (по А).
- С. 173, строка 22: бисприменно по замиреньи исделают — *вместо*: безприменно по замиреньи сделают (по А).
- С. 173, строки 24–25: над самыми головами разговаривающих — *вместо*: над самыми головами (по ВР).
- С. 173, строка 28: Все засмеялись — *вместо*: И все засмеялись (по ВР).
- С. 173, строка 36: незаметно было — *вместо*: незаметно (по А, ВР).
- С. 173, строки 38–39: потерял несколько — *вместо*: потерял (по ВР).
- С. 173, строка 40: в чрезвычайном восторге — *вместо*: в совершенном восторге (по ВР).
- С. 173, строка 41: исполняет хорошо — *вместо*: исполняет (по А).
- С. 174, строка 2: как ни привык — *вместо*: как он ни привык (по ВР).

- С. 174, строка 2:* ко всем родам — *вместо:* ко всяким родам (по ВР).
- С. 174, строка 4:* видна была — *вместо:* видна (по ВР).
- С. 174, строка 5:* с разгоревшимися — *вместо:* с разгоревшимся (по А).
- С. 174, строка 19:* теплым блеском — *вместо:* темным блеском (по ВР).
- С. 174, строка 22:* колоннадой — *вместо:* колонной (по смыслу; см. с. 504).
- С. 175, строки 5–6:* лучше завтракать... нас ждут уж теперь... — *вместо:* вместе завтракать: уж теперь (по ВР).
- С. 175, строка 8:* глядя на Севастополь — *вместо:* глядевший на Севастополь (по ВР).
- С. 175, строка 25:* звуки соединились — *вместо:* звуки (по ВР).
- С. 175, строка 34:* французское — *вместо:* французское знамя (по ВР).
- С. 175, строка 38:* даже и зашитые в обшлаге золотые — *вместо:* даже золотые, зашитые в обшлаге (по ВР).
- С. 176, строка 4:* не веря еще — *вместо:* не веря (по А).
- С. 176, строка 5:* офицера — *вместо:* одного офицера (по ВР).
- С. 176, строка 6:* с таким бледным, испуганным лицом — *вместо:* с таким бледным лицом (по А).
- С. 176, строка 21:* сказал Козельцов — *вместо:* сказал он (по 12 изд. Сочинений).
- С. 176, строка 26:* Он выбежал — *вместо:* Когда они выбежали (по ВР).
- С. 176, строки 35–36:* Слов: убегая от него назад к своим траншеям — *вместо:* нет (по ВР).
- С. 176, строка 37:* все смешались в глазах Козельцова, и он — *вместо:* все смешались, Козельцов (по ВР).
- С. 177, строка 5:* и, вспомнив — *вместо:* вспомнив (по ВР).
- С. 177, строки 5–6:* на пятом бастионе — *вместо:* на пятом бастионе, он (по ВР).
- С. 177, строка 6:* самодовольства — *вместо:* самодовольствия (по А).
- С. 177, строки 9–10:* другого раненого офицера — *вместо:* раненого (по ВР).
- С. 177, строка 22:* по его щекам — *вместо:* по его щекам, и испытывая невыразимый восторг сознания того, что он сделал геройское дело (по ВР).
- С. 177, строка 40:* мортиры — *вместо:* мортирки (по ВР).
- С. 177, строки 40–41:* бежали прямо на него по чистому месту — *вместо:* бежали к бастиону по чистому полю (по ВР).
- С. 178, строка 14:* на бруствере были — *вместо:* были на бруствере (по ВР).
- С. 178, строки 14–15:* даже два француза, в десяти шагах от него, заклепывали пушку — *вместо:* и даже один, спустившись, заклепывал пушку (по ВР).
- С. 178, строка 16:* рядом с ним — *вместо:* подле него (по ВР).
- С. 178, строки 17–18:* и опущенными зрчками — *вместо:* опущенными зрчками (по А).
- С. 178, строка 19:* За мной! Пропали! — *вместо:* За мной! (по А).

С. 178, строка 42: с Николаевской батареи — *вместо*: в Николаевской батарее (по ВР).

С. 180, строка 1: дерзкие, далекие — *вместо*: дерзкие (по ВР).

С. 180, строка 2: на неприятельском флоте — *вместо*: на далеком неприятельском флоте (по ВР).

С. 180, строки 5–6: разрезаемых — *вместо*: разрезанных (по А).

С. 180, строка 7: слышны были командные слова — *вместо*: командные слова (по ВР).

С. 180, строка 22: амператор — *вместо*: император (по А).

С. 180–181, строки 28–41: Слов: По всей линии севастопольских бастионов ~ и грозился врагам. — *в кор. нет* (по ВР).

«Севастополь в августе 1855 года» был начат Толстым в Крыму, в действующей армии; первое упоминание в дневнике — 19 сентября 1855 г.: «Перешел в Керменчуг, стою у *секретного* — шпиона. Очень интересно <...> Пописал немного С*евастополь* в а*вгусте* <...> Мне нужно, во что бы то ни стало, приобрести славу». Рассказ назван как что-то уже определенное, находящееся в работе.

Среди материалов, относящихся к «Севастополю в августе», самый ранний автограф — набросок солдатского разговора, написанный, скорее всего, по горячим следам, под непосредственным впечатлением от услышанного. В начальных строках наброска Толстой давал примерный план того, о чем поведут разговор солдаты: «Разговор духовно-поэтический — о мертвецах — о 24-м — о политике — этнография и география — шуточный с Васинисл». До конца этот короткий план не выполнен. Толстой торопливо записал высказывания и реплики солдат, изредка прерывая их своими ремарками (поэтому по форме записи напоминали драматическое произведение). Эскиз еще далек от той сцены, которая из него выросла позднее, но будущий текст просматривается в автографе довольно отчетливо. Здесь появились персонажи будущей 24-й главы «Севастополя в августе»: «молодой и красивый солдат с немного жидовской физиономией», старый солдат, упоминается шутник Васин. В разговоре уже слышались темы, которые зазвучат в окончательном тексте: об отпуске и «замиренье», о том, что «месяц за год» скоро все отслужат, что «еще до вечера *чистая* выйдет». Солдатский разговор в этом наброске заметно обширнее тех нескольких строк, что вышли из него в рассказе: «солдатики» говорили о снах и полетах во сне, о том, что «душа летает», а «коли какие глупости, всё тела ведь»; говорили об арестантах, как кладут они погибших на вozy, чтобы переправить на Северную сторону, как «насмежаются» над солдатами; вспоминали «про 24-е». Последние реплики записаны отрывочно и наскоро, словно для памяти.

Набросок солдатской беседы носит явно документальный характер, он не датирован, в дневнике никаких сведений о нем нет: правда, с 26 августа по 2 сентября вообще нет дневниковых записей. Из содержания разговора можно заключить, что записан он не ранее 26 августа, поскольку речь идет о сильнейшей бомбардировке Севастополя 24 августа и ни разу не появилось слово «вчера». Но Толстой не мог услышать и записать солдатские толки 26 августа, потому что приехал в Севастополь в самый день штурма, утром 27 августа. Не мог он записать эти разговоры и на следующий день после штурма, 28 августа; хотя 28-го он еще оставался в

Севастополе, но после штурма разговоры наверняка были другие. Единственной возможной датой появления этой торопливой записи солдатского разговора с большой долей вероятности можно считать утро 27 августа, до начала штурма, т.е. до 12 часов. Начало штурма и могло помешать Толстому дописать разговор до конца. И вовсе не случайно в «Севастополе в августе» разговор «солдатиков» происходит именно в это утро перед штурмом. Запись солдатской беседы стала одним из первых подступов к будущему рассказу, замысел которого только начинал формироваться и контуры пока еще вырисовывались неясно.

Основным материалом для третьего севастопольского рассказа послужили события, связанные со штурмом Севастополя 27 августа 1855 г. Толстой оказался непосредственным очевидцем и участником происходящего во время штурма и отступления русской армии. 4 сентября 1855 г. он писал Т.А.Ергольской: «27-го в Севастополе произошло большое и главное дело. Я имел счастье или несчастье прибыть в город как раз в день штурма; так что я присутствовал при этом и даже принял некоторое участие, как волонтер. Не пугайтесь: я почти не подвергался никакой опасности. 28-е, день моего рождения, второй раз в моей жизни было для меня памятным и печальным днем: в первый раз, 18 лет тому назад, это была смерть тетушки Александры Ильиничны¹; теперь — потеря Севастополя. Я плакал, когда увидел город в огне и французские знамена на наших бастионах; и вообще во многих отношениях это был день очень печальный» (перевод с фр.).

Во время штурма Толстой, по поручению полковника П.Н.Глебова, командовал пятью батареями орудиями. Всей панорамы сражающегося города видеть он не мог, но на себе и своих «солдатиках» мог почувствовать одушевление и отчаяние, охватившие защитников Севастополя; собственными глазами видел он ту «несокрушимость» духа, с которой покидало пылающий город русское войско.

В первые дни после падения Севастополя, 1 и 2 сентября, подпоручик Л.Н.Толстой, выполняя поручение начальника штаба артиллерии генерала Н.А.Крыжановского, работал над составлением «Донесения о последней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войсками». Спустя тринадцать лет, заканчивая работу над «Войной и миром», в статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”» (1868) он вспоминал эти дни: «После потери Севастополя начальник артиллерии Крыжановский прислал мне донесения артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я составил из этих более чем 20-ти донесений — одно. Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необходимой военной лжи, из которой составляются описания. Я полагаю, что многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда эти донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том, как они, по приказанию начальства, писали то, чего не могли знать. Все, испытавшие войну, знают, как способны русские делать свое дело на войне и как мало способны к тому, чтобы его описывать с необходимой в этом деле хвастливой ложью. Все знают, что в наших армиях должность эту,

¹ Ошибка памяти: А.И.Остен-Сакен (урожд. Толстая) умерла 30 августа 1841 г.

составления реляций и донесений, исполняют большей частью наши ино-родцы».

Сведения, полученные из официальных рапортов, оказались противоречивыми и для автора «Донесения...» явно недостаточными, потому он решил воспользоваться и другими источниками. 3 сентября, закончив работу над документом и посылая его Крыжановскому, Толстой в сопроводительном письме признавался: «...несмотря на усердную двухдневную работу, то, что я сделал, кажется мне из рук вон плохим и недостаточным. Впрочем, сведения о бомбардировании очень недостаточны, особенно с левого фланга, а о ходе приступа часто противоречат друг другу. Мне много помогли рассказы очевидцев (полевых же артиллеристов), так что в описании хода приступа собственно на Малахов курган, мне кажется, что я не ошибаюсь».

«Рассказы очевидцев» помогли Толстому не только при составлении «Донесения...», а стали очень важным и серьезным подспорьем для формирования художественного замысла будущего «Севастополя в августе». Некоторые из этих «рассказов» Толстой надолго сохранил в памяти. 25 мая 1905 г. Д.П.Маковицкий записал в своей тетради: «Л<ев> Н<иколаевич> <...> обстоятельно рассказал, как он в Севастополе поехал к месту, где происходило сражение (отразили атаку французов). В палатке были трое его знакомых: Голицын, Урусов и... (третьего не запомнил). Приехал Ильинский. Увидев поваров, спросил пообедать. У него были медвежья, обросшие руки, и он был страшный силач. За обедом молчал. Когда мы вышли из палатки, увидели его в ближней яме, где прежде тоже палатка была, спавшим. Урусов сказал мне: “Знаешь, что он только что сделал? Взорвал подминированный мыс, чтобы не достался французам”. А на мысе лежало 500 самых тяжелораненых» (ЛН, т. 90, кн. 1, с. 295). О том же рассказывал Толстой в 1907 г. (записал А.Б.Гольденвейзер 10 июля): «Нынче Лев Николаевич вспоминал про Севастополь. Между прочим он рассказал: “Когда Малахов курган был взят и войска спешно переправлялись на Северную сторону,— тяжелораненых оставили на Павловском мыске, где была батарея. Это сильная батарея, с которой можно было обстрелять весь город. Когда сообразили, что нельзя ее так отдавать французам, то решили ее взорвать. Я был у Голицына, там еще Урусов сидел, и тут же крепко спал добродушный, здоровый офицер Ильин<ский>. Мне сказали, что он только что вернулся из опасного поручения — взорвать Павловский мысок. Мысок был взорван с батареей и со всеми ранеными, которых нельзя было увезти, а батарею отдать неприятелю нельзя было... Потом пытались отрицать это, но я знаю, что это было так”» (Гольденвейзер, с. 200). Этот факт отразился в нескольких строках третьего севастопольского рассказа: в финале его, говоря о настроении и чувствах защитников Севастополя, покидающих город, Толстой заметил: «Чувство самосохранения и желание выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненного солдата, лежащего между пьестами такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего Бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала <...>, и у матроса <...>, и у раненого офицера <...>, и у артиллериста <...>, и у флотских <...>».

В течение первой половины сентября работа над рассказом подвигалась, хотя никаких упоминаний о нем ни в дневнике, ни в письмах нет. 16 сентября Толстой получил письмо от Некрасова, в котором тот, возмущаясь «безобразием» цензуры в отношении второго севастопольского рассказа, давал очень высокую оценку творчеству и таланту молодого писателя, ставя его имя рядом с именем Гоголя. Реакция Толстого на следующий день выплеснулась на страницы уже две недели не открывавшегося дневника: ему казалось, что из-за своих рассказов он «сильно на примете у *сипих*», однако главное его желание, «чтобы всегда Россия имела таких нравственных писателей». Письмо Некрасова вызвало у Толстого и негодование, и новый прилив творческой энергии, он все больше и определеннее осознавал себя на поприще литературном. Мысль о «литературной славе» повторялась в эти дни в дневнике и 17, и 19 сентября, где впервые упомянут «Севастополь в августе», и 21 сентября, когда Толстой, формулируя свои жизненные цели, писал, что его «главная цель в жизни есть добро ближнего» и первая из целей «условных» — «слава литературная, основанная на пользе, добре ближнему». Для этой «славы» — задание на завтра: «Завтра <...> составляю план статьи и пишу ее (или «Юность»)....». Речь шла о плане нового севастопольского рассказа, о котором 23 сентября Толстой записал в дневнике: «Для 2) <т.е. для «славы литературной»> составил план С<евастополя> в ав<густе>».

В частично сохранившейся ранней рукописи план «Севастополя в августе» следует непосредственно за фрагментом черновой наброска двух заключительных эпизодов рассказа: следовательно, набросок написан до 22 сентября; он позволяет представить, в каком направлении развивался замысел Толстого. Один эпизод — последние мгновения жизни и гибель Володи. В отличие от окончательной редакции рассказа, в этой рукописи Володя погибает не на батарее, которой командовал и не оставил ее до последней минуты, а в блиндаже. Иначе представлена и сама гибель Володи: не мгновенная, незаметная, как в окончательном тексте, а мучительно-протяженная во времени. Володя понимает, что это конец, хочет броситься на «красного толстого зуава», «бросает в него шпагой», но мимо, хватается за нацеленный в него штык, но француз выдергивает штык из рук Володи и направляет ему в грудь. С криком: «Ах, за что?» — Володя бросался на штык. Даны некоторые мелкие детали и подробности: Володя успевал заметить, как «пот катит» «со лба из-под фески» француза и «слюня запеклась во рту». В плане этот эпизод был обозначен: «(33) Убийство в блиндаже».

Вторая сцена в этой черновой рукописи — конспект финала рассказа. Беглым взглядом окинув горящий Севастополь и Северную сторону, автор сосредоточивал свое внимание на юнкере М. (далее в плане в пунктах 39–40 литеры расшифровывалась: Мезенцов). Это будущий юнкер Вланг, в окончательном тексте сопровождавший Володю на батарею и бывший рядом с ним вплоть до момента его гибели, а потом переправляющийся на пароходе на Северную сторону. В конспекте финала юнкер Мезенцов уже на Северной, забрался в мину (неглубокий окоп). Его мысли о Володе и о Севастополе незаметно переходили в рассуждение о нашей непобедимости. В сохранившемся фрагменте раннего наброска не было характерных черточек юнкера, столь ярких в окончательном тексте, но некоторые особенности его поведения уже найдены: Мезенцов «достал

хлеб и ест — то, чего он еще не делал с утра»; вспомнив о Володе, он «заплачет ужасно». Мезенцов вспоминал о Володе, «что с ним было»: «Володя на штык ассассина!» — но в момент гибели в блиндаже Толстой показывал Володю один на один с французами, не упоминая Мезенцова. Очевидно, что в процессе работы над конспектом финала рассказа у автора уже возникла мысль сделать Мезенцова свидетелем последних мгновений жизни Володи.

Фамилия Мезенцов, видимо, была дана юнкеру не случайно. Н.В. Мезенцов — севастопольский сослуживец Толстого. «Мезенцов был мой знакомый, друг, пел тонким голосом...» — рассказывал Толстой спустя полвека (*ЛН*, т. 90, кн. 2, с. 154 — 3 июня 1906 г.). В конце жизни не раз вспоминал он Мезенцова. Маковицкий записал в тетради 5 марта 1905 г.: «Лев Николаевич» знал Мезенцова, был с ним на ты.

— Это был добродушнейший малый, — сказал Л.Н. — Был добр к друзьям, наверное, к прислуге, а по службе был строг...» (*ЛН*, т. 90, кн. 1, с. 201). Имя севастопольского товарища Мезенцова неизменно сопровождалось в памяти Толстого добрыми чувствами: «Я его очень любил, был милый человек, а занимал такое отвратительное, мерзкое место», — заметил он 15 марта 1910 г. (*ЛН*, т. 90, кн. 4, с. 199). Если принять во внимание уже тогда складывавшуюся манеру работы Толстого — писать с натуры, иногда и фамилии персонажам давать настоящие, чтобы яснее представлять те лица, с которых писал, — то не исключено, что некоторые черты характера и облика Н.В. Мезенцова были воплощены в фигуре юнкера Вланга. И не только доброта, добродушие, которые запомнились Толстому как характерные черты Мезенцова, но и свирепость Вланга, размахивающего хандшпугом, — это тоже, может быть, не осознанное, внесенное в образ Вланга только благодаря художественной интуиции Толстого, свойство натуры Мезенцова, будущего шефа жандармов.

Сохранившийся фрагмент черновика «Севастополя в августе» позволяет предположить, что одна из ранних рукописей сочинения представляла собой ряд эскизов если не всех, то по крайней мере самых важных, узловых сцен рассказа. На том же листе вслед за конспектом финальной сцены «Севастополя в августе» записан 41 пункт плана. В плане сравнительно мало поправок и фактически нет перестановок пунктов: видимо, содержание и композиция рассказа уже определились в творческом сознании Толстого.

План открывался характеристикой главного героя по фамилии Чернищев: в плане он так и назван — «герой». Это будущий Михаил Козельцов. Как и в окончательном тексте, «герой» сталкивался с «солдатами, прохожими и ранеными», затем попадал на «станцию», где слышал разговоры проезжающих, в том числе «корпусных» молодых офицеров. Отдельный пункт в плане — «Штабный». Видимо, автор намеревался уделить большее внимание штабному офицеру, чем получилось в окончательной редакции, где двое «штабных» фактически никак себя не проявляли, вызывая лишь скрытое раздражение Козельцова-старшего.

Далее развитие событий в плане во многом совпадает с окончательным сюжетом, лишь незначительно от него отступая. Так, в шестом пункте плана предполагался эпизод: «Женщина и скромный прорывающаяся». От этого замысла осталась в окончательном тексте лишь одна фраза: когда харчевница с миской щей вошла в комнату, «офицер, схавший из

П., даже подмигнул на нее молодому офицеру». Замысел, обозначенный в пункте 11 после сцены у обозного офицера: «Братья ссорятся. Мечты», — переместился в тексте ближе к началу (гл. 8–9). В соответствии с планом, Володю к месту его назначения сопровождал Никита (в окончательном тексте — Николаев) и первое, куда попадал Чернищев-младший, была казарма — только потом в плане следовало: «Батарейный командир» (пункт 20).

Несколько иначе строилась картина и на пятом бастионе. От полкового командира Чернищев-старший, по плану, направлялся сначала к офицерам в казарму, затем к солдатам своей роты. Пункт 21 был назван: «Буйство». Этот сюжет не получил воплощения в рассказе, так же как и следующий, названный в плане: «Тяжесть положения». В окончательном тексте Михаил Козельцов сразу от командира идет к «солдатикам» и только потом в «оборонительную казарму к товарищам-офицерам», где участвует в карточной игре и становится невольным свидетелем ссоры офицеров, своего рода офицерского «буйства». Причем Толстой, не желая долго задерживать внимание на этой сцене, обратился к читателю с небольшим авторским отступлением («Но опустим скорее завесу...»), где говорил о «тяжести положения», словно оправдывая этих людей, каждый из которых «весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно». Следующие девять пунктов плана (23–31) связаны с Володей и полностью соответствуют окончательной композиции этих глав. Правда, в плане обозначена деталь поведения Володи, которой нет в позднейшем тексте, — в пункте 28 «Солдатские толки» Толстой отмечал: «он поет». Петь в рассказе Володя не станет, но эта характеристическая черточка общей «даровитости» братьев Козельцовых перешла к Михаилу: представляя его читателю, автор говорил, что он «хорошо пел, играл на гитаре».

Несколько колебался Толстой по поводу двух следующих пунктов плана, где местом действия выбран телеграф. Этого эпизода нет в наборной рукописи: он появился в корректуре. Два моряка, наблюдающие с холма телеграфа за бомбардированием и штурмом Севастополя, не знакомы читателю и как бы со стороны смотрят на погибающий Севастополь; однако в раннем замысле, судя по плану, это должны были быть «зна<комые>» персонажи. Вполне возможно, что сцена эта была навеяна рассказом Н.Я.Ростовцева, о котором в своих «Записках» 17 сентября 1855 г. упоминал П.Н.Глебов: «Мило очень он <Ростовцев> рассказывал, как главнокомандующий 4-го августа сидел на камне на Телеграфической горе и как Коцебу, позади его, смотря в зрительную трубу, докладывал ему монотонным и апатичным голосом о движении наших колонн, о приближении их к высотам, о занятии ими некоторых частей этих высот, потом об отступлении, о поражении, о бегстве, — и все одним и тем же голосом, — словно маркер, считающий шары в лузах: <...> между тем как прогулка наших стоила нам много жертв» («Записки Порфирия Николаевича Глебова» — «Русская старина», 1905, март, с. 35).

Значительному пересмотру в рассказе были подвергнуты последние восемь пунктов плана — как по содержанию, так и композиционно. По плану вслед за эпизодом на телеграфе шел «Штурм на телеграфе», затем «Штурм на Корабельной» и «Убийство в блиндаже», т.е. сцена, частично

сохранившаяся в черновом наброске. И уже потом следовали «Штурм на 5 <бастионе>» и «Рана и восторг» Чернищева-старшего.

Только в 39 пункте плана появлялся персонаж под фамилией Мезенцов, тот, что в черновом наброске финала рассказа обозначен как «Юн<кер> М.». Видимо, автору показалась не вполне достаточной эпизодическая роль юнкера: Мезенцов предстал перед ним необходимым в ряде эпизодов, связанных с Володей. Вернувшись к моменту прибытия Володи на батарею, к пункту 23 «Батарейный кружок», Толстой, по тексту пунктов 23–29, размашистыми полупечатными буквами написал по диагонали: Мезенцов. В конце же рассказа, судя по плану, юнкеру должно было быть уделено больше внимания, чем получилось в окончательном тексте: автор намеревался показать его и в мине, и выходящим на вал, и «солдатски<е> тол<ки>» были связаны в плане с именем Мезенцова.

Завершался план 41-м пунктом «Несокрушимость». Но замысел эпического финала, на который настраивало это слово, при первом появлении рассказа в печати не был осуществлен и воплотился лишь во втором издании, в книге «Военные рассказы».

Составив план, Толстой записал задание на 24 сентября: «Завтра: <...> для 2) пишу Юн<ость> и С<евастополь> в а<вгусте>». Однако на следующий день он за рассказ не принимался. Планы на 25 сентября «писать С<евастополь> в а<вгусте>» тоже не состоялись. Военная жизнь вносила свои поправки: батарея, которой командовал Толстой, перемещалась на другую позицию. 26 сентября он отметил в дневнике: «Позиция у Фоциалы. Вторые сутки, как я здесь. <...> Ничего не исполнил, потому что не было бумаг». И снова наказ самому себе на завтра: «пишу два листа больших Юн<ости> или С<евастополя>». А на завтра, 27 сентября, «решительно не мог написать двух листов, но мог бы написать немного». Попытки заставить себя писать «Юность» и «Севастополь в августе» в конце сентября и в начале октября были тщетны; и даже строгий наказ 1 октября писать «С<евастополь> в а<вгусте> во что бы то ни стало» — не исполнен, а 2 октября короткое признание: «ничего» — и снова задание на завтра писать «Севастополь в августе». Это последние крымские упоминания третьего севастопольского рассказа.

Спустя пять дней после приезда Толстого в Петербург, 24 ноября 1855 г., Н.А. Некрасов писал В.П. Боткину о личном знакомстве с Толстым: «Что это за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать, что, являсь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! <...> Обещал засесть и написать для 1-го № «Современника» “Севастополь в августе”. Он рассказывает чудесные вещи» (*Некрасов*, т. 14, кн. 1, с. 234).

В Петербурге работа над рассказом пошла успешнее; и хотя пылающий Севастополь остался позади, еще свежи были впечатления от последнего штурма, память хранила события, лица, мысли, ощущения, все передуманное и пережитое в последние трагические часы обороны города. Все, лично пережитое Толстым, входило в художественный мир рассказа: своими взглядами, чувствами, переживаниями наделял автор близких ему персонажей. 3 июля 1855 г. Толстой писал брату С.Н. Толстому, что «просился в Крым», «чтобы видеть эту войну», а «больше всего из

патриотизма». Именно эти чувства переживают в «Севастополе в августе» молодые офицеры (среди них и Володя), едущие в Севастополь из Дворянского полка. Уже в глубокой старости 5 февраля 1905 г. Толстой в разговоре о сдаче Порт-Артура говорил: «Я сам был военным. В наше время этого не было бы. Умереть всем, но не сдать» (*ЛН*, т. 90, кн. 1, с. 163). А 28 января 1909 г., вспоминая себя в Севастополе, заметил, что «хотя имел самобытные мысли, но на войну смотрел, как на должное, гордился своим положением сражающегося» (*ЛН*, т. 90, кн. 3, с. 312). Подобной гордостью преисполнены и оба брата Козельцовы, сражающиеся и погибающие на бастионах Севастополя. Но наряду с чувством гордости каждый из братьев испытывал и другое чувство, скрытое глубоко внутри. На вопрос Володи, был ли брат «в схватке», Козельцов-старший отвечал: «Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя!» Сам же Володя, попав наконец в Севастополь, переживает отчаяние и ужас при виде всего, что совершалось вокруг. Это состояние было знакомо и Толстому. 6 ноября 1909 г. Маковицкий записал в своей тетради, что «Л.Н. <...> читал свои “Севастопольские рассказы”» и говорил о них. «На замечание чье-то, что он в то время не чувствовал ужас войны, Л.Н. сказал: “Как же не чувствовал? Тут умирают. Пошел в солдаты и должен был оправдать свое положение”» (*ЛН*, т. 90, кн. 4, с. 98).

Вспоминая о своих севастопольских впечатлениях, Толстой рассказывал, что «он не мог смотреть на раненых» (Танеев С.И. Дневники: В 3 кн. Кн. I. М., 1981, с. 107.— Запись 24 июня 1894 г.). Это состояние переживает и Володя, с «страдальческим выражением» смотрящий на раненых на перевязочном пункте. «Отрадное чувство», которое испытывает Володя при мысли о Боге и во время молитвы,— тоже чувство, пережитое самим Толстым, впервые столкнувшимся с войной на Кавказе: «Вчера я почти всю ночь не спал,— писал он в дневнике 12 июня 1851 г.,— написавши дневник, я стал молиться Богу. Сладость чувства, которое испытал я на молитве, передать невозможно. Я прочел молитвы, которые обыкновенно творю: Отче, Богородицу, Троицу, Милосердия Двери, воззвание к Ангелу хранителю и потом остался еще на молитве. Ежели определяю молитву просьбою или благодарностью, то я не молился. Я желал чего-то высокого и хорошего; но чего, я передать не могу, хотя и ясно сознавал, чего я желаю. Мне хотелось слиться с Существом всеобъемлющим. Я просил его простить преступления мои; но нет, я не просил этого, ибо я чувствовал, что ежели Оно дало мне эту блаженную минуту, то Оно простило меня. Я просил и вместе с тем чувствовал, что мне нечего просить, и что я не могу и не умею просить. Я благодарил, да, но не словами, не мыслями. Я в одном чувств<<ве>> соединял все, и мольбу, и благодарность. Чувство страха совершенно исчезло».

В третьем севастопольском рассказе именно Володя Козельцов стал персонажем, вобравшим в себя многое из личного опыта самого Толстого, и в этом смысле образ Козельцова-младшего можно считать автобиографическим. Так, в 22 главе, отправляясь на батарею и подходя к дождающимся его солдатам, Володя думает, сказать ли им «маленькую речь или просто сказать: “Здорово, ребята!” или ничего не сказать». То же смущение, видимо, испытал Толстой, когда 17 января 1854 г. записал в дневнике об «отступлениях» от своих правил: «Нерешительно подошел к солдатам». Из своей кавказской жизни взял писатель и сцену обеда у ба-

тарейного командира. М.А.Янжул, служивший на Кавказе в 20-й артиллерийской бригаде позднее Толстого, рассказывал о жизни и людях этой бригады: «К странностям Никиты Петровича <батареинного командира Н.П.Алексеева> нужно отнести и то еще, что он не мог спокойно видеть, когда офицеры пили водку, в особенности же, когда это делала молодежь. Между тем, по обычаю того доброго старого времени, все офицеры ежедневно обедали у батареинного командира. И тут Лев Николаевич нередко школьничал, делая вид, что он собирается пить водку. Тогда Никита Петрович серьезнейшим образом начинал убеждать его не делать этого и, по своему обыкновению, предлагал вместо водки конфеты» («Русская старина», 1900, № 2, с. 355). Так что слова: «Прапорщики не пьют», — обращенные к Володе, возможно, когда-то были обращены к самому Толстому. Володя становится свидетелем сцены, поразившей Толстого и среди других «фактов» отмеченной в дневнике 29 июня 1855 г.: «...мертвых раскачивали за ноги и за руки и бросали за бруствер». Это наблюдение Толстого появилось в рассказе в 22-й главе: Володя Козельцов «в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона», «наткнулся» на это «зрелище» и «с минуту остолбенел, увидав, как труп ударился на вершину бруствера и потом медленно скатился оттуда в канаву». И еще одна запись того же дня связана с Володей. «Покойный Тертюковский был, говорят, чисто русский хорошенький молодой офицерик. Стоя на батарее, похлопывая ногой и в ладони, кричал, бывало: 1-е, 2-е, 3-е...». Не только внешность Володи («этого хорошенького мальчика»), но и его манера командовать, детали пластики угадываются в этих скупых дневниковых строчках.

30 июня Толстой записал в дневнике: «...заехал к штабным, которые более и более мне становятся противны...». Это неприятие «штабных» тоже отразилось в рассказе: столь же не любил «штабных» Михаил Козельцов.

Несколькими днями ранее, 25 июня, в дневнике «в числе фактов» появился и такой: «Путешествие фин<ляндских> 186 стрелков, отправленных Ник<олаем> 4 января и прибывших в Крымскую армию 16 июня в числе 92 человек». Этот факт не нашел места в рассказе, но почти полгода мытарств на пути в Севастополь «офицера из П.» звучат отголоском той июньской дневниковой записи. Историю многомесячного ожидания офицером-добровольцем (который «подал еще в феврале в действующую армию») решения своей судьбы подсказало Толстому и письмо старшего брата. 21 августа 1855 г. Н.Н.Толстой писал из Покровского: «Я все лето провел в таком глупом положении, что ужас. Представь себе, я в феврале подал на службу на Кавказ, потому что в действующую армию в силу указа мне нельзя или, по крайней мере, трудно было поступить, а мне хотелось поступить поскорей, потому что ждать и не знать, когда и что, — это ужасное положение. А вышло, что я в этом положении нахожусь март, апрель, май, июнь, июль, август и могу еще пробыть Бог знает сколько времени. <...> Теперь, пока не выйдет мое определение, я решительно не только ни на что решиться не могу, но даже думать о своей судьбе разучился. Шутка ли, 6 месяцев ожидания, всякое терпение попнет!» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 185–186). Похожее состояние пережил и «офицер из П.», и «энтузиазм уже трудно бы было воскресить в нем».

В середине декабря работа над рассказом близилась к завершению, и в понедельник 19 декабря Толстой знакомил с ним в доме А.М.Тургенева некоторых петербургских литераторов: «Вечеру Толстой читал начало “Севастополя в августе”», — отметил Дружинин в дневнике 20 декабря (Дружинин А.В. Повести. Дневник. М., 1986, с. 365). Возможно, это чтение упоминал внук А.М.Тургенева А.С.Сомов в очерке жизни своего деда, предвещающем публикацию его «Записок»: «...в 1850 годах на квартире его <А.М.Тургенева> на Миллионной собирались молодые литераторы и читали свои произведения». Среди них он называл графа Л.Н.Толстого, читавшего «свои “Военные рассказы”» («Русская старина», 1885, № 9, с. 372–373). Новое чтение состоялось на квартире у Некрасова 27 декабря, в тот же день, когда Толстой закончил рассказ. Среди слушателей были братья А.М. и В.М.Жемчужниковы и Дружинин, записавший на следующий день в дневнике: «На вечере у Некрасова видел братьев Жемчужниковых и слышал еще частичку “Севастополя в августе”. Наш милейший баши-бузук Толстой есть талант первоклассный» (Дружинин А.В. Указ. соч., с. 366).

Сохранилась наборная рукопись третьего севастопольского рассказа; ее завершают авторская дата: 27 декабря. Петербург, — и подпись автора: Граф Л.Н.Толстой. Текст заканчивался разговором солдат о том, что будет еще расчет с неприятелем; не было в автографе и главы, где «два моряка» с Северной стороны смотрят на Севастополь («По сю сторону бухты ~ Не может быть!»), в окончательном тексте — глава 25. В творческой жизни Толстого это была первая наборная рукопись, над подготовкой которой к печати автор работал вместе с редактором. В автографе наряду с авторской правкой есть исправления и зачеркивания, последовавшие, без сомнения, в результате редакторских советов, указаний, предостережений: об этом свидетельствуют и многочисленные знаки О и Ц на полях, предупреждавшие о недопустимости или нежелательности (для цензуры) тех или иных мыслей, фраз, слов. Некоторые строки, фрагменты, отмеченные знаком О, автор переделывал или зачеркивал вовсе. Этот знак стоял и около 6-й главы (история офицера из П.): вся глава была отчеркнута карандашом на полях, а потом зачеркнута. Знаком Ц отмечены размышления Козельцова-старшего о власти полкового командира, авторское рассуждение о дисциплине и субординации, последняя реплика: «Подлец!» — во время ссоры игравших в карты офицеров — в рукописи карандашом редактора (а возможно, и самим автором по совету редактора) эти фрагменты были вычеркнуты, как и отдельные фразы, имена, определения. В нескольких случаях Толстой еще раз поправил рукопись уже после редакторской правки (например, разговор офицеров о доходах и расходах батареяного командира — глава 20). В конце рукописи рядом с подписью Толстого в скобках карандашом было дано пояснение редактора: (Л.Н.Т.).

Чтобы успеть к январской книжке «Современника» на 1856 год, Некрасов торопился с набором рассказа: рукопись Толстого была распределена между восьмью наборщиками (на полях карандашом написаны их фамилии) по несколько листов, а самые последние листы даже пришлось разрезать на части. О первой корректуре сведений нет, но расхождения в наборной рукописи и сохранившейся второй корректуре позволяют пред-

положить, что 28–29 декабря Толстой держал первую корректуру и внес некоторые поправки и дополнения: тогда появилась и 25 глава («По сторону бухты ~ Не может быть!») — взгляд на штурм Севастополя двух моряков с холма телеграфа. Видимо, на этом этапе по ошибке наборщика четвертая глава была присоединена к главе третьей: наборщик не разглядел цифру 4, в рукописи густо записанную текстом, добавленным к предыдущей главе, и далее нумерация глав была соответственно изменена. Все это перешло и во вторую корректуру, где, разумеется, отсутствовала глава 6 с историей «офицера из П.», были сняты рассуждения о власти и богатстве полкового командира, о дисциплине и субординации, заметно смягчены резкие формулировки в разговоре офицеров о доходах и расходах батареинного командира, убраны такие определения офицера, как «скряга» и т.п.

30 декабря автор работал со второй корректурой, внося многочисленные поправки¹, делая вставки нового текста, вычеркивая отдельные фразы. Большие изменения были сделаны в эпизодах ранения Михаила Козельцова и его смерти, взятия Малахова кургана и гибели Володи, в последней главе рассказа серьезной правке подверглась картина переправы через бухту. Как и в наборной рукописи, в корректуре еще не было нескольких заключительных абзацев «Севастополя в августе» («По всей линии севастопольских бастионов ~ грозился врагам»), которые появились лишь в сборнике «Военные рассказы». Подписана корректура полным именем автора: Граф Л.Н.Толстой.

31 декабря в записке Некрасову Толстой обещал: «Корректуру кончу завтра». Экземпляры второй корректуры были представлены редакцией «Современника» в Петербургский цензурный комитет и в военную цензуру. Общей цензурой рассказ был одобрен (цензор В.Бекетов): 31 декабря Петербургским цензурным комитетом дано цензурное разрешение для печатания в типографии. В военной цензуре рассказ задержался еще на несколько дней. В «Реестре сочинениям и статьям, рассмотренным в Военно-цензурном комитете в 1855 году», отмечено, что из редакции «Современника» 30 декабря поступил «Севастополь в августе 1855 года» (из 7 форм); рассматривал рассказ сам председатель комитета барон Н.В.Медем. Сочинение было одобрено военной цензурой и 8 января 1856 г. возвращено редакции (*РГВИА*, ф. 494, оп. 1, № 6, л. 414 об.– 415).

При формальном «одобрении» цензуры рассказ Толстого все же подвергся грубому вмешательству и искажению: были исключены не только отдельные негативные определения и характеристики всего, что касалось армии и офицерства, но исчезли из текста целые сцены, диалоги, рассуждения автора. В рассказе осталось 25 глав, но и из них были изъяты, например, описание штабных офицеров в главе 3 и рассказ Володи о том, почему он не попал в гвардию; значительно сокращена сцена в балагане у обозного офицера и снят разговор братьев, «когда они уже в сумерках вышли из балагана». Почти полностью исчезла глава 18, от которой остались три абзаца, и те были присоединены к предыдущей главе. Целиком был исключен спор о доходах и расходах батареинного командира. Стро-

¹ Несколько исправлений сделано не почерком Толстого (предположительно, рука И.С.Тургенева и Н.Г.Чернышевского — *Описание*, с. 47).

гий глаз цензора не прошел даже мимо, казалось бы, вполне невинных определений: так, «чрезвычайно бойкие, даже наглые» глаза Михаила Козельцова в «Современнике» превратились в просто «чрезвычайно бойкие глаза»; в корректуре: «две исхудалые руки» раненого — в журнальном тексте: «две руки»; в корректуре: «молодой губастый доктор» — в журнале: «молодой доктор» и т. п.

9 января 1856 г. первый номер «Современника» с рассказом «Севастополь в августе 1855 года» вышел из печати («Реестр вышедших из печати книг» (1856 г.) — РГИА, ф. 777, оп. 27, ед. хр. 288, л. 4 об.). Под рассказом впервые стояла полная подпись автора: Граф Л. Толстой.

Но и после выхода в свет цензура не оставила рассказ Толстого без внимания. Чиновник особых поручений надворный советник Н. Родзянко, приставленный следить за исполнением журналами цензурных правил, в рапорте министру народного просвещения А. С. Норову, давая отчет о просмотренном им январском номере «Современника» за 1856 г., доносил 23 февраля, что, хотя и не нашел цензурных отступлений в этой книжке журнала, «считает необходимым присовокупить» некоторые замечания. Далее, наряду со своими соображениями по поводу романа Тургенева «Рудин» и поэмы Некрасова «Саша», Родзянко сообщал замечания к рассказу Л. Н. Толстого «Севастополь в августе 1855 года»: «...на страницах 78, 82, 84, 87, 88 невыгодные намеки насчет военной службы, особенно же военных комиссионеров; на страницах 79, 81 выражения, несколько двухсмысленные в отношении нравственном». Норов спокойно отреагировал на рапорт чиновника: «Этот рассказ, вероятно, напечатан с одобрения Военной цензуры», — заметил он на полях по поводу «Севастополя в августе» (РГИА, ф. 772, оп. 1, ед. хр. 3491, л. 35).

12 января 1856 г. газеты «Русский инвалид» (№ 9, с. 38) и «Северная пчела» (№ 9, с. 50), 13 января «С.-Петербургские ведомости» (№ 10, с. 54) и 14 января «Московские ведомости» («Прибавление» к № 6, с. 47) оповестили читателей, что «вышла и раздается гг. подписавшимся первая книжка «Современника» на 1856 год», и среди опубликованных в ней произведений называли «Севастополь в августе 1855 года» графа Л. Н. Толстого (печатавшего первые свои повести «Детство», «Отрочество», «Севастополь в декабре месяце» и другие под литерами Л. Н. Т.). Через несколько дней «Русский инвалид» и «Московские ведомости» еще раз напомнили о новом рассказе Толстого.

В конце сентября 1856 г. «Севастополь в августе» вышел вторым изданием в сборнике «Военные рассказы графа Л. Н. Толстого». При подготовке текста для этой книги Толстой использовал рукопись рассказа, а также старую журнальную корректуру, но не правлений им прежде, а чистый экземпляр. Многое из того, что заметил и исправил автор в декабрьской корректуре, теперь было упущено из виду, что-то правилось заново и добавлялось. В книге появился новый финал рассказа: «По всей линии сева-стопольских бастионов ~ вздыхал и грозился врагам». Новые цензурные условия позволили автору включить в текст некоторые сцены и фрагменты, изъятые при публикации в «Современнике». Так в третьей главе появилось упоминание о «штабных»: «Вообще как истый фронтовой и хороший офицер, не любил он «штабных»»; вернулся на свое место строки о впечатлении Володи от обозного офицера («Володя был поражен ~ робко садясь на диван») и разговор братьев об этом офицере («Что, он хороший

человек ~ тысяч двенадцать вывез») в 10 главе; частично восстановлены размышления Михаила Козельцова о полковом командире в главе 16. В новом тексте «Севастополя в августе» почти полностью Толстой восстановил 18 главу (в издании 1856 г. она шла под номером XVI) и многое из разговора Володи с офицерами о расходах и доходах батареинного командира в главе 20. Но так и не была напечатана в рассказе 6 глава (история офицера из П.); по-прежнему по цензурным соображениям нельзя было полностью восстановить некоторые фрагменты, искаженные редактором и цензором еще в декабре 1855 г. в наборной рукописи и в корректуре. Над новым текстом «Севастополя в августе» Толстой работал в апреле–мае 1856 г. В дальнейшем во всех изданиях «Сочинений гр. Л.Н.Толстого» рассказ печатался без изменений: незначительные различия были вызваны не правкой автора, а невнимательностью наборщиков и корректоров.

Особое место среди всех изданий рассказа занимала публикация 1911 г. в двенадцатом собрании сочинений. Готовилось это издание С.А. и С.Л.Толстыми при жизни Толстого. «Севастополь в августе» сопровождало примечание под строкой: «Для настоящего издания исправлено и значительно дополнено по рукописи». Эту работу сделал С.Л.Толстой, сверяя печатные тексты с автографом, который еще в 1884 г. автор подарил Румянцевскому музею (Отчет МПРМ за 1883–1885 гг. М., 1886, с. 73). 14 мая 1909 г. Маковицкий записал в своем дневнике: «Приехал Сергей Львович, рассказал, что занимается сравнением «Севастопольских рассказов» печатных с рукописными, которые хранятся в Румянцевском музее. Многие пропущены цензурой, многие редактором пропущены или самовольно изменены. Рассказал интересные примеры: слово «генерал» заменено «начальником», подобно как в «Шинели» «директор департамента» — «значительным лицом» по цензурным соображениям.

— Какие были времена! — заметил Л.Н.» (*ЛН*, т. 90, кн. 3, с. 412–413).

К осени 1909 г. работа эта была в основном закончена. 28 октября О.К.Толстая писала сестре А.К.Чертковой из Ясной Поляны: «Сереза привез «Севастопольские рассказы» с поправками, которые он внес по старым рукописям, измененным цензурой, и Л.Н. удивительно живо вспоминал мельчайшие эпизоды» (*ГМТ*. РВГЧ). В конце лета 1910 г. С.А.Толстая держала корректуру тома с военными рассказами. «Какая красота многих мест из севастопольских рассказов! — отметила она в своем дневнике 22 августа. — Я очень восхищалась и наслаждалась, читая их! Да, это художник настоящий, гениальный — мой муж! И если б не Чертков и его влияние — науськивание на такие брошюры, как «Единое на потребу» и другие, — совсем другая была бы литература Льва Толстого за последние годы» (*Дневники С.А.Толстой*, т. 2, с. 185).

Помимо собраний сочинений Толстого «Севастополь в августе 1855 года» входил полностью или в сокращенном варианте во все сборники «Севастопольских рассказов» («Рассказов о Севастопольской обороне»). Неоднократно в адаптированном виде печатался рассказ в книжке «Посредника» «Осада Севастополя» (см. комментарий к рассказу «Севастополь в декабре месяце»). С большими сокращениями «Севастополь в августе» в 1896 г. был напечатан в хрестоматии «Русские писатели в выборе и обработке» (т. 2, Тифлис) и в 1908 г. в книге «После Гоголя», составленной Г.Синюхаевым. Отдельным изданием (в сокращении) рассказ

вышел в 1903 г. в Петербурге в серии «Солдатская библиотека» (изд. В.А.Березовского).

Первые отклики на «Севастополь в августе» появились в печати уже в конце января 1856 г. 24 января в «Литературном отделе» «Московских ведомостей» (№ 10, с. 40) промелькнуло короткое сообщение о том, что «в январской книжке «Современника» читатель найдет <...> «Севастополь в августе 1855 года», графа Л.Н.Толстого, которого повести «Детство» и «Отрочество» уже давно обратили на себя общее внимание». 28 января «Русский инвалид» (№ 23, с. 98) в фельетоне, подписанном литератами Я.Т.<Турунов>, обращал «внимание читателей на военные очерки графа Л.Н.Толстого под названием «Севастополь в августе 1855 года». Они дышат истиною,— писал рецензент.— Как верно переданы автором мысли, чувства и ощущения, волновавшие душу семнадцатилетнего артиллерийского прапорщика Володи, только что выпущенного из корпуса и приехавшего в Севастополь к кровавой развязке бессмертной обороны! Что перечувствовал юноша в первую ночь, проведенную им в осажденном городе!» «Настало 27-е августа, и Володя явил себя молодцом»,— продолжал Я.Т. и цитировал некоторые фрагменты рассказа. «Володя пал христолюбивым воином в самый критический момент штурма»,— заключал свои рассуждения о «Севастополе в августе» критик «Русского инвалида».

Современники Толстого очень высоко оценили новый севастьяпольский рассказ. «Этот офицеришка всех нас заклюет. Хоть бросай перо»,— воскликнул А.Ф.Писемский, прочитав «Севастополь в августе» (Кони А.Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1968, т. 6, с. 243).

Полвека спустя сам Толстой рассказывал: «Когда я жил в Петербурге после Севастополя, Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне. И тогда, я помню, меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах,— он был другом императрицы Марии Александровны в самом чистом смысле,— говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих «Севастопольских рассказов», особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно» (*Гольденвейзер*, с. 191–192).

3 февраля 1856 г. В.П.Боткин писал Некрасову из Москвы о произведениях, появившихся в январской книжке «Современника»: «*«Саша»* твоя — здесь всем очень понравилась, даже больше чем понравилась: об ней отзываются с восторгом. «*Рудин*» вообще не понравился. От Толстого статьи — все в восхищении» (Переписка Н.А.Некрасова: В 2 т. М., 1987, т. 1, с. 214).

Сам Некрасов был одним из первых критиков, посвятивших новому рассказу Толстого большой раздел в своей статье «Заметки о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года», опубликованной в февральском номере «Современника». «Новым блестящим дарованием», «на котором останавливаются теперь лучшие надежды русской литературы», называл Некрасов графа Л.Н.Толстого, чья «последняя повесть как своими достоинствами, так и недостатками окончательно убеждает, что автор наделен талантом необыкновенным». Недостатки рассказа Некрасов видел, «кроме некоторой небрежности изложения,— в отсутствии строгого плана, в ко-

тором частности сводились бы к общему и единому, представляя соразмерное, замкнутое целое». «Отсюда,— полагал критик,— некоторая неполнота впечатления», что исходит и из «самого названия повести, настраивающего читателя к ожиданию колоссальной картины разрушения осажденного города — картины, общее изображение которой не входило в план автора». Некрасов не сожалел об этом: «Как истинный художник, автор понял, что едва ли возможна такая картина: воображение читателя, настроенное целым годом страшной действительности, едва ли подчинилось бы самому широкому, мастерски набросанному изображению».

Далее от рассуждений о недостатках Некрасов переходил к определению достоинств «Севастополя в августе»: «Достоинства повести первоклассные: меткая, своеобразная наблюдательность, глубокое проникновение в сущность вещей и характеров, строгая, ни перед чем не отступающая правда, избыток мимолетных замечок, сверкающих умом и удивляющих зоркостью глаза, богатство поэзии, всегда свободной, вспыхивающей внезапно и всегда умеренно, и, наконец, сила — сила, всюду разлитая, присутствие которой слышится в каждой строке, в каждом небрежно оброненном слове,— вот достоинства повести». «В самой мысли провести ощущения последних дней Севастополя и показать их читателю сквозь призму молодой, благородной, младенчески прекрасной души, не успевшей еще засориться дрянью жизни», видел редактор «Современника» «тот поэтический такт, который дается только художникам». Некрасов верил, что «Володе Козельцову суждено долго жить в русской литературе, может быть, столько же, сколько суждено жить памяти о великих, печальных и грозных днях севастопольской осады. И сколько слез будет пролито и уже льется теперь над бедным Володею!» Рассуждения о юном герое Толстого переходили в статье в прямое обращение к читателям, матерям погибших героев: «Бедные, бедные старушки, затерянные в неведомых уголках обширной Руси, несчастные матери героев, погибших в славной обороне! вот как пали ваши милые дети,— по крайней мере, многие пали так,— и слава Богу, что воспоминание о дорогих потерях будет сливаться в вашем воображении с таким чистым, светлым, поэтическим представлением, как смерть Володи! Счастлив писатель, которому дано трогать такие струны в человеческом сердце!» Это обращение поэта живо перекликалось с его собственным стихотворением «Внимая ужасам войны...», опубликованным в том же втором номере «Современника»; существовало мнение, что эти стихи Некрасова были написаны под непосредственным впечатлением от рассказа «Севастополь в августе 1855 года». В заключение своего разбора Некрасов называл новое произведение Толстого, наряду с тургеневским «Рудиным», «самым живым литературным явлением настоящего времени» («Современник», 1856, № 2, отд. V, с. 203–205).

В феврале того же 1856 г. в обзоре первых книг журналов упомянула новый рассказ Л.Н.Толстого «Библиотека для чтения». Критик О.Колядин писал, что в «Севастополе в августе», «как и в прежних произведениях своих, обративших на себя всеобщее внимание, граф Толстой, свойствами таланта своего, вводит в новейшую литературу <...> новое начало — поэтического спокойствия в анализе, который, в севастопольских и кавказских очерках молодого автора, переходит уже в спокойное, разумное творчество» (№ 2, отд. VI, с. 75).

«Пантеон» в своей третьей книжке не обошел вниманием «"Севастополь в августе 1855 года", прекрасный рассказ графа Л.Толстого, хотя и не соответствующий своему заглавию и не дающий не только полного, но даже общего понятия о том, что происходило в Севастополе в этот страшный месяц» (1856, т. XXVI, кн. 3, «Петербургский вестник», с. 18).

Высокую оценку третьему севастопольскому рассказу Толстого дала газета «С.-Петербургские ведомости» (1856, № 52, 6 марта, с. 295). Критик газеты Вл. Зотова «первое место в двух первых книжках "Современника"» отдавал «новому рассказу графа Л.Н.Толстого "Севастополь в августе 1855 года"»: «Это один из тех рассказов, которые, сохранив для потомства характеристические стороны нынешней войны, в то же время останутся образцом литературных произведений по простоте и безыскусственности языка, по художественской обработке, по уменью автора возбуждать и приковывать к себе интерес читателя изображением происшествий и типов, по-видимому, весьма обыкновенных, но в сущности отличающих в писателе замечательное дарование выбирать и передавать такие типы и происшествия». Третий рассказ Толстого о Севастополе произвел на рецензента еще более сильное впечатление, нежели первый: «Не касаясь всей исторической, стратегической и официальной части осады, автор изображает внутренний, всedневный, закулисный быт защитников города, их чувства и положения. Он не прибегает ни к каким запутанным интригам или романтическим изобретениям в своем рассказе; лица, действующие в нем, не отличаются необыкновенными подвигами, изумительною храбростью,— они просто и спокойно исполняют то, что считают своим долгом, не рискуя из хвастовства жизнью, но и не жалея об ней, не думая о смерти, не заботясь об опасности, но и не фанфароня перед смертью и опасностью». Володя, по мнению Вл. Зотова, «занят только одною мыслью в страшный день приступа: он боится струсить». Говоря о «незатейливом, немногосложном содержании нового рассказа», критик полагал, что «рассказ этот замечателен не своим содержанием, а подробностями и типическими изображениями русских солдат и офицеров», что здесь «прекрасно обрисованы обозный офицер и комиссионер, командир пятого бастиона, юнкер Вланг, с своей добродушной физиономией, бессознательной храбростью и привязанностью к Володе Козельцову», что «типы солдат очерчены также художественски: Васин, Мельников, их разговоры и шутки — все это дышит истинною жизнью, неподдельною натурою».

Третий севастопольский рассказ Толстого обсуждался и в переписке современников. И.В.Киреевский, прочитав «Севастополь в августе», спрашивал свою тетку, известную детскую писательницу А.П.Зонтаг: «Как Вам нравится "Севастополь" Толстого (Л.Н.Т.)? Я от этого Толстого жду чего-нибудь необыкновенного. Ему, кажется, Бог дал самородного таланту больше всех наших писателей. Если только он не собьется школой Краевского и Никитенки, то будет выше всех Тургеневых и Писемских» (конец февраля — март 1856 г.; *РГБ*, ф. 99. Елагины, оп. 7, ед. хр. 42, л. 3 об.).

Летом, 19 июня, А.В.Дружинин писал на Кавказ М.А.Ливенцову о впечатлении от рассказа «Севастополь в августе 1855 года»: «Берите пример с Толстого и торопитесь — его военные рассказы имеют успех страш-

ный», — призывал он своего армейского корреспондента к «составлению очерков и сцен из прошлой кампании» (*Летописи ГЛМ*, кн. 9, с. 172).

В сентябре 1856 г. «Библиотека для чтения» напечатала статью Дружинина «"Метель". — "Два гусара". Повести графа Л.Н.Толстого», где автор давал объяснение небывалому успеху военных рассказов молодого писателя, литературная деятельность которого, как считал Дружинин, началась «так счастливо, правильно и разумно». «Полный, неоспоримый, завидный успех нового повествователя начался с его очерков Севастополя, при начале, в самом разгаре и при конце его знаменитой осады, — писал критик. — Тут уже каждое слово, каждая мастерская подробность, каждое замечание талантливого писателя, свидетеля великих сцен великой драмы, было оценено и встречено общею симпатиею. Вся читающая Россия восхищалась Севастополем в ноябре, Севастополем весною¹, Севастополем в августе месяце», потому что «видела в поэтических рассказах графа Толстого не одни любопытные факты, сообщаемые очевидцем, не одни восторженные рассказы о подвигах <...>. Всякий читатель, одаренный здравым смыслом, видел и знал», что в сражающемся Севастополе «находился настоящий русский военный писатель, одаренный зорким глазом, слогом истинного художника, писатель, готовый делиться с публикою историею всего им виденного и пережитого во время осады Севастополя».

Дружинин был уверен, что ни одна «из числа всех неприязненных держав» «не имела у себя хроникера осады, который мог бы соперничать» с Толстым. И французская литература, и даже «отличные корреспонденты» английских газет «гнались за красотой слога», «были фразерами, сами того не ведая». Рассказы же Толстого о Севастополе Дружинин считал «произведением несравненно высшим», поражающим «правдою и отсутствием фразы». В сравнении с «великолепными, поразительными» картинами корреспондента «Times» Росселя, с его «блистательнейшими пассажами», «во сколько раз вернее и трогательнее в заметках графа Толстого изображение Графской пристани, звездной ночи во время бомбардировки, перемирия для уборки тел, наконец, Володи Козельцова, семнадцатилетнего артиллерийского прапорщика, в первую ночь после приезда в Севастополь». Силу Толстого Дружинин видел не только в «картинности изображений», но в «мысли и поэзии» — в «мысли человека высоконравственного», в поэзии, которая «не может назваться театральною поэзиею». В противовес «дагерротипным очеркам» английского литератора, «воздержность» Толстого «может служить уроком всякому писателю, особенно начинающему. Изображая нам перемирие во время уборки трупов, он не станет изображать нам положений, в каких лежали жертвы недавнего боя, но он заставит читателя почувствовать то, что чувствовал сам во время сказанного зрелища». В отличие от английского корреспондента Толстой, по мнению Дружинина, «скуп на великолепные описания, ибо хорошо знает, что война кажется великолепным делом только для поверхностных зрителей, дилетантов». У Толстого же — «великолепие нравственное».

«Превосходства» Толстого «над многими хроникерами Крымской

¹ Имеются в виду «Севастополь в декабре месяце» и «Севастополь в мае».

кампании» Дружинин видел не только «в складе его дарования, преисполненного правды и разумности», но и в том, что он «человек военный», что «попал в Крым не в виде зрителя и живописца по приглашению, не в виде туриста, любящего сильные ощущения, даже не в виде литератора, явившегося на поле борьбы за новым вдохновением», а это — «русский офицер, начавший свою службу на Кавказе, много ночей спавший у костра, рядом с артиллерийскими солдатами, выдавший в свою жизнь военные дела и уже присмотревшийся к той картинности военного быта, которая всегда неотразимо поражает людей, не знакомых с жизнью воина. Для него русский солдат занимателен не в одних массах и не в одной полной парадной форме, так драгоценной английским корреспондентам: граф Толстой знает и любит солдата во всех видах и во всех случаях солдатской жизни. Для его ума, изошренного ранним наблюдением, известное число военных людей уже не представляется какою-то безразличною массою одинаково одетого народа, сходного между собой по нравам, как и по костюму. Все общее, случайное даже, давно уже отброшено нашим нравописателем военного быта; все типическое, оригинальное, самостоятельное, прямо вытекающее из характера русского человека, предназначенного на военную деятельность, дает пищу графу Толстому как поэту и как простому рассказчику». Этим и объяснял критик «завидную популярность» молодого писателя, чьими произведениями «горячо интересуются», читают «с жадностью», «с наслаждением», «зачитываются» современники, «и, может быть, недалеко <...> пора, когда они будут гордиться его дальнейшею деятельностью». Дружинин предрекал несомненный успех книге военных рассказов, которая скоро должна выйти в свет.

Подводя итог размышлениям о даровании Толстого, критик делал вывод, что «по независимости своего таланта, по разумности своего направления, по отвращению ко всякой фразе» Толстой — «один из бессознательных представителей той теории свободного творчества, которая одна кажется <...> истинною теориею всякого искусства. <...> Натурам, блистательно одаренным, писателям, исполненным истинно поэтическию чутья, понимание правды дается вместе с самим талантом». Дружинин признавался, что уже «по первым произведениям Л.Н.Т. в нем не трудно было распознать писателя вполне независимого», не желающего «увлекаться подражанием кому бы то ни было». «Веря в себя и в свое призвание, он отшатнулся от всех преходящих воззрений и пошел по той дороге, куда влекла его сила таланта». Дружинин уверен, что Толстой «навсегда останется независимым и свободным творцом своих произведений. <...> Он будет прям и искренен в проявлениях своей поэтической фантазии». «Независимость и литературная самостоятельность» Толстого, в творчестве которого «все твердо и свободно», «строго и соразмерно с своей целью», ведет его «в ту сторону, куда зовет его загадочная и талантливая сила, называемая вдохновением» (отд. VI, с. 1–9).

О впечатлении, которое производили на читателей один за другим появившиеся в печати севастопольские рассказы, вспоминала более полувека спустя Е.Ф.Юнге, троюродная сестра Толстого, дочь вице-президента Академии художеств Ф.П.Толстого, в доме которого на знаменитые «среды», художественные вечера собирался цвет петербургской творческой интеллигенции: «После войны приезжал в Петербург и явился к нам Л.Н.Толстой; он тогда был еще очень молод, но его произведения чита-

лись нарасхват; он уже стоял наряду с лучшими писателями, а наш кружок ставил его выше многих; в его “Детстве” и “Севастопольских рассказах” веяло чем-то совсем новым, но таким, что находило отголосок во многих сердцах» (Юнге Е.Ф. Воспоминания (1843–1860 гг.). М., изд. «Сфинкс». Историческая библиотека, т. X, 1914, с. 68). О том же отношении к произведениям молодого Толстого писал один из первых его биографов Евг. Соловьев, заметивший, что по возвращении после Крымской кампании в Петербург «среди аристократов литературы гр. Толстой был своим. Его “Севастопольские рассказы” были по заслугам оценены публикой <...>» (Соловьев Евг. Л.Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность. Биографический очерк. СПб., 1894, с. 61). В своей книге о Некрасове говорил об этом А.Н.Пыпин, вспоминая, что, когда Толстой приехал в Петербург, «его приняли с распростертыми объятиями». Трилогия и «вскоре затем “Севастопольские рассказы” поставили гр. Л.Н.Толстого в первом ряду русских писателей» (Пыпин А.Н. Н.А.Некрасов. СПб., 1905, с. 20).

Севастопольские рассказы, видимо, не прошли мимо внимания со сланных декабристов. Жадно следили они по газетам за «крымскими известиями», «бойней крымской» (из письма И.И.Пушина Г.С.Батенькову 13 сентября 1855 г.— Пушин И.И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1989, с. 316), храня «веру в судьбы России» (там же, с. 314). В «Русском инвалиде» они могли познакомиться с первым севавтопольским рассказом; доходил до Сибири и журнал «Современник» (см. письмо к Н.Д.Фонвизиной от 15–20 апреля 1856 г.— там же, с. 329). Так или иначе, Михаил Пушин весной 1857 г. в письме к брату И.И.Пушину как известное, читанное произведение упоминал севавтопольские рассказы, назвав графа Льва Толстого «милым сочинителем Севастопольских ночей» (*Летописи ГЛМ*, кн. 3, с. 278).

Замечательный успех своего третьего севавтопольского рассказа видел и сам Толстой. Через несколько лет, оглядываясь на то время, когда появился «Севастополь в августе», в романе «Декабристы» он писал, правда, с некоторой иронией: «...кто не жил в 56-м году в России, тот не знает, что такое жизнь. Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из деятелей того времени. Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне сочинение, приобретшее ему великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ружей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки прибыл в центр государства, в ракетное заведение, где и пожал лавры своих подвигов. Он видел восторг обеих столиц и всего народа и на себе испытал, как Россия умеет вознаграждать истинные заслуги. Сильные мира сего искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе и, для того чтоб узнать от него подробности войны, рассказывали ему свои чувствования».

Осенью 1856 г., когда вышли две первые книги Толстого, в Париже их с нетерпением ждал Тургенев, просил Д.Я.Колбасина: «Выслать мне вместе с экземпляром моих повестей “Отрочество” и “Детство” Толстого, его “Военные рассказы” и “Стихотворения” Некрасова — и тотчас написать мне, когда Вы все это вышлете?» (*Тургенев. Письма*, т. 3, с. 143). И, еще не

получив книгу, в письме к Л.Н.Толстому от 16/28 ноября 1856 г. словно подводил итог периоду «ученичества» своего младшего собрата по перу: «Мои вещи могли Вам нравиться — и, может быть, имели некоторое влияние на Вас — только до тех пор, пока Вы сами сделались самостоятельными. Теперь Вам меня изучать нечего, Вы видите только разность манеры, видите промахи и недомолвки: Вам остается изучать человека, свое сердце — и действительно великих писателей. А я писатель переходного времени — и гожусь только для людей, находящихся в переходном состоянии» (там же, с. 150).

Появление сборника «Военные рассказы» вызвало новые критические суждения и о «Севастополе в августе», но теперь его рассматривали как завершающую часть трилогии о севастопольской обороне. Одним из первых журналов, заговоривших о книге Л.Толстого, были «Отечественные записки», где в ноябрьском номере печаталась статья С.С.Дудышкина о «Военных рассказах» (1856, № 11, отд. 3 «Библиографическая хроника», с. 11–18). Критик откровенно признавался, что «Севастополь в августе» представлялся ему «слабее», «ниже предыдущего: “Севастополь в декабре”». По мнению Дудышкина, в военных рассказах, «несмотря на мастерство таланта, однообразие статей делалось поразительным и интерес исчезал...». «Севастополь в августе» «именно и слаб потому», что не было в нем «величавых размеров» военных действий, «драмы, разыгравшейся сильнее и сильнее, когда оба войска употребляли уже последние усилия и оба полководца истощали последние военные воображения», что не было в нем «картин, способных поразить воображение». «Слабость рассказа» рецензент объяснял «двумя причинами, одинаково важными, двумя ошибками, одинаково содействовавшими слабости картины». «Первую ошибку» Дудышкин видел в том, что «весь интерес обращен на молодого мальчика Володю Козельцова». «Мальчик этот — полнейшее, олицетворенное неведение и неопытность, как и следует быть человеку, не выдавшему жизни. Чувства, которые он испытывает, видя огонь, пули, бомбы и товарищей, привыкших к огню, пулям и бомбам, — чувства эти для нас не новы. Мы знаем их уже из прежних рассказов автора...». «Вторую ошибку» критик находил «в сущности самого таланта гр. Толстого, в рассказах которого нет действия, а есть картины и портреты». Толстой «явился тем же психологом-наблюдателем, от которого не ускользает ни одна мелочь...». За мелочами «общая картина исчезла, пропала, ее не было. Под Севастополем, как и в простом, обыденном набеге на горцев, автор вздумал снова приковать нас к своим наблюдениям над психологическими явлениями в душе юноши! Можно ли сделать подобный промах! Действие происходит громадное, а мы сидим с юношей в одном углу картины и смотрим не на общую картину приступа, сражения и отступления — нет, мы смотрим, как чувства испуга, гордости и отчаянной храбрости меняются в душе благородного юноши! Автору следовало бы назвать свой рассказ: “Прапорщик Володя Козельцов под Севастополем” <...> — получал Дудышкин, — и тогда Володя Козельцов был бы еще одним прекрасным портретом в числе нарисованных талантливою рукою автора; мы были бы им довольны, а теперь на него мы сердимся, зачем он отвлекает наше внимание от картины ужасной, потрясающей».

«Очевидно, — размышлял критик далее, — автор не совладел с этою картиною, в которой смешивались чувства личной храбрости и народной

гордости, которая волновала не одних юношей, но и престарелых вождей. Каждый испытывал свои особенные чувства: где же они? Где же этот мастерский взмах кисти, который двумя-тремя словами рисует то, на описание чего понадобились бы длинные страницы?» Образцом в этом отношении представлялись строки Пушкина из «Медного всадника», открывающие поэму. «Неужели вы думаете,— вопрошал Дудышкин,— что целый том истории объяснит лучше величие минуты, в которую Петр выбирал место для новой столицы? Вот это-то и называется истинный поэтический прием, дающий нам чувствовать немногими словами картины и события, на описание которых человек, не обладающий талантом, употребит напрасну целые томы. Такой прием, такой выбор минуты и места нужен был и для того решительного дня, когда наконец определено было оставить южную часть Севастополя». И не в масштабности картины видел критик главную «беду» автора, а в неумении «найти пункт, с которого творческая фантазия вдруг может обозреть картину и дать ее почувствовать трепещущему от изумления сердцу читателя. Здесь нужна не мелкая наблюдательность, здесь нужен взмах орлиный»,— резюмировал Дудышкин; он полагал, что Толстой после повести «Детство» «не сделал ни шага вперед на поприще искусства», но «силы в этом таланте <...> много».

Рецензия Дудышкина не прошла мимо внимания Толстого. 11 ноября он отметил в дневнике: «...прочел рецензию на “Севастополь” в а<вгусте>” и “М<етель>”, умно и дельно...».

27 ноября газета «Русский инвалид» (1856, № 259, с. 1101–1102) снова обратилась к творчеству Толстого, посвятив целый фельетон книге «Военные рассказы». Критик газеты Я.Т.<урунов>, возвращая читателей к своей январской статье, напоминал им о «Севастополе в августе» — «очерке великих дней, запечатленном такою осязательною истиною, переданном с таким одушевлением, что читатель сам переносится на место события». Рассматривая разные типы героев Толстого, рецензент вспоминал «Володу, молоденького офицера <...> приехавшего в Севастополь накануне великого события», и Михаила Козельцова, «уже обстрелянного служаку, который, оправившись от ран, вторично явился к своему посту, чтобы сложить голову в кровавом бою». «Так же ли удачно, как начал, будет продолжать автор “Военных рассказов” свое литературное поприще, покажет время,— замечал Я.Т.— То, что написано им до сих пор, свидетельствует, что военный быт, хорошо ему знакомый, есть его действительное призвание. Поле обширное и далеко еще не разрабатанное».

К военным рассказам Толстого вновь обратился А.В.Дружинин в статье, напечатанной в декабрьском номере «Библиотеки для чтения» (1856, № 12, отд. VI, с. 29–46, без подписи). «Знатоком поэзии военного быта» называл критик автора «Севастополя в августе». Он считал, что «последний очерк Севастополя вышел едва ли не лучше двух первых. После братьев Козельцовых, Вланга совестно вспомнить о военных типах, когда-то выводимых в нашей литературе. Перед *знанием дела* совершенно разрушились все фантастические понятия о военной жизни...». Но, что особенно важно было для Дружинина, в военных рассказах Толстого «знание дела всегда идет об руку с несомненной поэзией» (с. 34–38).

Не называя «Севастополь в августе», без сомнения, и этот рассказ

имел в виду Н.Г.Чернышевский в статье о военных рассказах Л.Н.Толстого, опубликованной в «Современнике» (1856, № 12, отд. III, с. 53–64). «Знание человеческого сердца» критик считал «основной силой» таланта Толстого. Но помимо этой «силы» в таланте графа Толстого Чернышевский видел и «другую силу, сообщающую его произведениям совершенно особенное достоинство своею чрезвычайно замечательной свежестью». Это — «чистота нравственного чувства». У Толстого, по мнению Чернышевского, «нравственное чувство не восстановлено только рефлексией и опытом жизни, оно никогда не колебалось, сохранилось во всей юношеской непосредственности и свежести», «во всей непорочности от чистой поры юности». «От этого качества», считал рецензент, «во многом зависит прелесть рассказов графа Толстого».

«Сын отечества», подводя итог журнальным публикациям за прошедший год, в «Очерке истории русской словесности в 1856 году» (статья вторая — 1857, № 4, с. 91) к «лучшим беллетристическим произведениям», вышедшим в «Современнике», относил «замечательные рассказы гр. Толстого» «Севастополь в августе 1855 года», «Метель» и «Два гусара». А «Русский художественный листок» (СПб., 1857, 1 декабря, № 34), посвящая отдельную страницу Толстому и публикуя его портрет, замечал, что «"Военные рассказы" его, писанные в Севастополе, вносили, так сказать, с пушечным ядром интерес в русскую литературу и имели большую вполне заслуженный успех».

«Севастополь в августе» и в целом все севастопольские рассказы Толстого со временем становились своеобразным эталоном военной литературы, в сравнении с которым определялось качество и ценность того или иного беллетристического или даже мемуарного сочинения о войне. В мае 1858 г. «Библиотека для чтения» опубликовала рецензию на книгу Н.Берга «Записки об осаде Севастополя» (отд. V, с. 18–26, без подписи), в которой только что вышедшее сочинение Берга рассматривалось словно сквозь призму севастопольских рассказов Толстого. Так, фигура маркизанта, в которой рецензент видел, «благодаря севастопольским очеркам графа Толстого (где выведен подобный тип)», «возмутительную пошлость», «в г. Берге возбуждает только добродушный и мягкий юмор», — отмечал автор статьи (с. 18). В картине осадной севастопольской жизни у Берга он обнаруживал «более любопытства и изумления, нежели уважения, участия и даже сострадания», и не видел «ни идеала, ни нравственного урока», словом, того, «чего так много в севастопольских очерках графа Толстого». И это потому, полагал рецензент, «что г. Толстой принял за основание внутреннюю, психологическую, человеческую сторону севастопольской жизни, и был публичный, военный за ее внешнюю форму, а г. Берг, напротив, не только избрал эту последнюю сторону главным предметом своего изложения <...>, но он принял ее также за существенную, черты же психологические, чисто человеческие за оттенок, за "аксессуар". От этого более, нежели от разницы таланта, происходит огромная разница нравственного влияния того и другого произведений, независимо от удовольствия, которое они могут доставить».

В обоих произведениях автор статьи отмечал «одинаковое стремление к верному и полному воспроизведению действительности», но в сравнении с «полными бесстрастно-воинственного, национального и эгоистического чувства» «Записками» Берга «"Очерки" г. Толстого одушевлены

чувством человечности». Из-за «бесстрастного и добродушного оптимизма» Берга все черты и явления у него «сливались»; у Толстого же «явления резко отделяются друг от друга, оцениваются, объясняются — возбуждают нравственную реакцию или нравственное сочувствие». У Берга — «коллективная, удалая и бессознательная жизнь казарм, артели, улицы»; у Толстого — «жизнь людей с их слабостями, недостатками, с нравственной борьбой (в которой есть свои победы и поражения), со всею игрою мелких страстей и благородных побуждений». «Словом, в “Записках” г. Берга,— делал вывод рецензент,— защитники Севастополя — добродушные, беспечные и бессмысленные дети, играющие порохом, а в “Очерках” г. Толстого они — взрослые люди, в которых есть еще много детского и благородные инстинкты которых не выкупают вкоренившихся в них с детства недостатков; но выкупаются ореолом непрерывных страданий, мучительной борьбы и самопожертвований, составляющих нравственное обязательство, нравственный урок для тех, кто пожинает плоды этой кровавой жатвы» (с. 25–26).

Столь же высокая оценка севастопольских рассказов прозвучала со страниц журнала «Русское слово» (1859, № 9, с. 18) в письме Р.Орбинского из Дрездена 15 июня 1859 г.: «Что, например, может быть безобразнее, бессмысленнее и нелепее тех романов и повестей, которые вышли из-под пера немецких беллетристов, по поводу Крымской войны,— писал корреспондент журнала.— У нас отразилась она почти в одном только собственном литературном произведении — в “Севастопольских очерках” графа Толстого; но это одно представляет бесконечно более цены, чем те чудовищные рассказы, для которых она послужила материалом в руках немецких, французских и английских писателей».

Пережив в середине 50-х годов бурный интерес читателей, критики, прессы, на рубеже 50–60-х годов севастопольские рассказы уже прочно заняли свое место в русской литературе, стали фактом отечественной культуры, своего рода «классикой». Ап. Григорьев, анализируя романы Загоскина, вспоминал сцены «смерти севастопольцев» в рассказах Толстого. Смерть «идеального добродетельного человека» в романе Загоскина «Рославлев», другие сцены и образы его, как писал Григорьев, «побледнели» в сравнении с изображением смерти севастопольцев у Толстого («Время», 1861, № 5, отд. II, с. 5).

Тогда же, в 1861 г., впервые упоминал севастопольские рассказы Толстого Ф.М.Достоевский. В «Ряде статей о русской литературе», обращаясь к «господам европейцам» и говоря об особенностях русского национального характера, он писал: «Вот вы, например, откуда-то взяли, что мы фанатики, то есть что нашего солдата у нас возбуждают фанатизмом. Господи Боже! Если б вы знали, как это смешно! Если есть на свете существо вполне не причастное никакому фанатизму, так это именно русский солдат. Те из нас, кто бывал и жывал с солдатами, знают это до точности. Если б вы знали, какие это милые, симпатичные, родные типы! О, если бы вам удалось прочесть хоть рассказы Толстого, там кое-что так верно, так симпатично схвачено! Да что! неужели Севастополь русские защищали из религиозного фанатизма? Я думаю, ваши храбрые зуавы хорошо познакомились с нашими солдатами и знают их. Много ли они от них видели ненависти?» (*Достоевский*, т. 18, с. 57).

Отрывки из военных рассказов Толстого наряду с фрагментами из

произведений других писателей в 1861 г. Н.Ф.Щербина включил в проект пятого отдела книги для народного чтения («Читальника»). Полемизируя с Щербиной по поводу «Читальника», Достоевский в статье «Книжность и грамотность» (статья 2-я) назвал этот пятый отдел «самым лучшим делом во всей книге, хотя бы по тому одному, что всех занимательнее» (*Достоевский*, т. 19, с. 41). Не давая оценки рассказам Толстого в этой статье, Достоевский вернулся к вопросу о чтении для народа в «Дневнике писателя» в 1876 г. (январь), но уже заметил: «...в нашей литературе совершенно нет никаких книг, понятных народу. Ни Пушкин, ни севастопольские рассказы, ни “Вечера на хуторе”, ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов даже особенно) непонятны совсем народу» (*Достоевский*, т. 22, с. 23).

Интерес литературной критики к творчеству Толстого в 1863 г. всколыхнула публикация в «Русском вестнике» повести «Казаки»: в некоторых статьях о новом произведении писателя упоминались и севастопольские рассказы. Мартовская книжка «Библиотеки для чтения» в разделе «Современная летопись» печатала пространную статью Е.Н.Эдельсона о «Казаках» (статья без названия), где автор отмечал «характер деятельности» Толстого «какой-то особенный, еще не подошедший под определения нашей критики». Потому и «произведения его кажутся как будто случайно зародившимися, как бы приготовлениями» на пути к определенной цели, «пробами таланта» в поисках подлинного призвания. Пророчеству Толстому «яркую деятельность», критик считал, что некоторые его сочинения «действительно порождены случайными обстоятельствами, например, записки о Севастополе» (с. 3).

19 сентября 1863 г. газета «Северная пчела» (№ 247, с. 1071) в статье «Русская критика и художественная этнография», подписанной литерой А., относила рассказ «Севастополь в августе» к «недавним явлениям художественной этнографии», которые «в нашей литературе не умрут». Н.Н.Страхов в одной из своих статей в 1866 г. писал, что Толстой рассказал о севастопольской обороне «если не вполне, то все же в некоторых чертах, достойных самого события» («Отчетственные записки», № 12, кн. 1, с. 530).

Появление в печати первых томов «Войны и мира» в конце 60-х годов привлекло новое внимание критики к севастопольским рассказам. В нескольких номерах журнала «Военный сборник» (1868) была опубликована большая статья под названием «Военный роман» (статья без подписи), где автор вспоминал «успех, какой имели севастопольские рассказы графа Л.Н.Толстого; с какою жадностью общество читало их именно потому, что рассказы эти знакомили с мелочами внутреннего быта distinguished севастопольских защитников. Конечно, то была эпоха совершенно исключительного настроения нашего общества», — замечал автор, полагая, что рассказы Толстого «гораздо более содействовали упрочению» в сознании читателей «надлежащей оценки героизма севастопольских защитников, чем официальные донесения» (№ 2, отд. II, с. 292).

Наряду с другими военными рассказами в статье подробно анализировался «Севастополь в августе 1855 года», значительное внимание уделялось главным персонажам рассказа, особенно Володе Козельцову, которого Толстой «чрезвычайно искусно выводит на сцену», «чтобы ярче выказать тогдашнее положение обороны». «Увлекающийся юноша вмес-

те с своим братом, опытным, понатертым уже служакою,— главные действующие лица, около которых сгруппирован весь рассказ и все другие выводимые автором личности»,— писал критик. Очевидно, что к Козельцову-младшему Толстой «относится с особенною любовью и сочувствием». Мечты семнадцатилетнего прапорщика «об отличиях, о том, как его все тотчас же заметят, как он станет каким-то небывалым героем», «рассеялись перед действительностью»: «прибыв в Севастополь с понятиями о войне, заимствованными из учебников, он думал увидеть здесь что-то стройное, красивое, эффектное, найти во всех полное героизма настроение», но «все его юношеские радужные мечты разом рушились; на сердце налегла невыносимая тяжесть...». И далее автор статьи пересказывал последние часы из жизни Володи Козельцова. В рассказе, по мнению критика, Толстой «с удивительной полнотою привязывает целый ряд картин, мастерски обрисовывающих положение Севастополя и его защитников в последние дни перед очищением Южной стороны. Ничто не забыто: рельефно выставлено и то общее утомление, и та безнадежность, которые невольно овладели всеми к этому времени <...> и та покойная, почти вошедшая в привычку, стойкость и храбрость, которые составляют неуязвимую славу севастопольцев. Положение города, укреплений, солдат, общества офицеров разных частей, начальников этих частей — все очерчено с такой полнотою, которой нельзя не удивляться.

Только с манерою рассказа, лично принадлежащей графу Толстому, только с его сжатом, но выразительным и определенным слогом можно было так ясно и полно изобразить столь обширную картину, не упустив в ней ничего из тех мелочей, которые незаметны для простого зрителя, но важны для общей характеристики. <...> Бесспорно, из всех военных рассказов графа Толстого это самый лучший: тут видна уже полнота богатого и своеобразного таланта, столь широко развившегося в последнем его капитальном произведении “Война и мир”».

Автор статьи находил, что в «Севастополе в августе» Толстой «не только повествователь, но и глубокий психолог, проникающий во все сокровенные тайники сердец описываемых им лиц», «самых простых, обыкновенных». В рассказе критик видел «так много хорошего, что затруднялся в выборе тех мест, на которые можно было бы указать преимущественно»: «Сколько поразительной картинности,— восклицал он,— сколько полноты чувства в изображении оставления нашими войсками южной стороны и перехода их на северную! Автор превосходно оценил и мастерски выразил те ощущения, которые волновали в эту минуту каждого, от генерала до последнего солдата». В заключение своих рассуждений о «Севастополе в августе» автор статьи «вместо всяких похвал таланту графа Толстого» приводел «в высшей степени поэтическое и поразительно верное описание последнего эпизода достопамятной обороны» — финал рассказа (№ 4, отд. II, с. 276–279).

В одной из своих первых статей о Толстом «Г<граф> Л.Толстой, как художник и мыслитель» (ст. 2-я), опубликованной в журнале «Отечественные записки» в 1872 г. (№ 9, отд. II «Современное обозрение»), уделил внимание военным рассказам, в том числе и севастопольским, А.М.Скабичевский. «В очерках севастопольской и кавказской войн,— писал он,— <...> рядом с напускною аффектациею мишурного героизма, под внешнею оболочкою которого скрывается часто самая не героическая тру-

ность, рядом с тщеславным хвастовством, с каким мнимые герои рассказывают о своих небывалых подвигах, искажая и преувеличивая дела, в которых они участвовали, вас поражает простое, непритворно-спокойное и в то же время серьезное отношение к своему делу нижних чинов. Не напрашиваясь на героизм и не помышляя о нем, последние являются в сущности перед вами истинными героями: от них зависит исход всякого сражения, они всегда находятся ближе к смерти, их более падает, и в то же время они спокойнее самых отчаянных храбрецов встречают смерть, и вместе с тем им не приходит и в голову хвастаться и тщеславиться своим мужеством» (с. 26–27). Скабичевский уверен, что, «составляя интеллигентную среду с иными слоями общества, гр. Л. Толстой в такой же мере чужд идеализации этих слоев, как чужд он идеализации интеллигентного слоя» (с. 26). В севастопольских рассказах критик видел «первое вполне реальное отношение искусства к военным действиям», которые «первые представляются во всей своей прозаичности, так, как они совершаются на самом деле, разоблаченные от того ореола бранных ужасов и героических аффектаций, в каком эти действия представляются в рассказах хвастливых очевидцев и в произведениях художников романтического периода нашей литературы. Чтобы понять, какой громадный шаг сделало в этом отношении искусство,— продолжал автор статьи,— следует рядом с очерками гр. Л. Толстого припомнить хотя бы описание Полтавской битвы Пушкина или Бородино Лермонтова... У гр. Толстого вы не найдете и следа таких ужасающих батальных картин, чтобы рука бойцов колотить устала и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел: Читая очерки гр. Толстого <...>, вы сразу чувствуете всю ходульность и риторичность вышеупомянутых картин Пушкина и Лермонтова...» (с. 27).

В разные годы к севастопольским рассказам обращались многие современники Толстого. Очень любил рассказы о Севастополе В.В. Стасов: «...я давно уже просто до страсти влюблен и в “Войну и мир”, и в “Севастополь” и т.д. и т.д.» — признавался он в письме Толстому 31 марта 1878 г. (Лев Толстой и В.В. Стасов. Переписка. 1878–1906. Л., 1929, с. 27). И через несколько дней, 12 апреля, почти то же писал об отношении И.Е. Репина к сочинениям Толстого: «...мы с Репиным просто до страсти любим и “Войну и мир”, и “Детство и отрочество”, и “Севастополь” <...> Даже я ему послал в 74 году все Ваши 8 томов в Париж, и он в то время только ими одними из всего русского объедался, как и я незадолго перед тем» (там же, с. 34). Спустя почти год, 8 февраля 1879 г., Стасов рассказывал в письме Толстому об отношении В.В. Верещагина к его севастопольским рассказам: «...Верещагин от Ваших вещей без ума и, рисуя теперь кистью громадные (не по размерам) картины из Плевны и Шипки, поминутно читает Ваш “Севастополь”, — которого я имел честь ему указать. “Казачков” и “Войну и мир” он прежде знал; но многое другое из Вашего у него ускользнуло вследствие его вечно бродячей жизни» (там же, с. 38). Толстого, видимо, заинтересовали работы Верещагина, и Стасов 4 марта того же года писал о нем в Ясную Поляну: «Лев Николаевич, Вам хочется знать про В.В. Верещагина <...> я крепко пристаивал к нему, чтоб он все оставил и писал скорее свою *русско-турецкую* войну (совершенный pendant к Вашему “Севастополю”), — и он, кажется, согласился. Тут будут удивительные вещи, в том числе и картины многих *безобразий* на войне и *целестей* высшего начальства и всякой поганой военной арис-

тократии,— все это рядом со всем чудесным, что делал сам русский народ, под видом солдат и офицеров,— одним словом, многое такое, что не могло появиться в печатном рассказе, как у Вас: чего бы ему не позволили выставить здесь, то он всегда может выставить в Париже и Лондоне» (там же, с. 41).

В 80-е годы севастопольские рассказы постепенно становились предметом исследования историков литературы. «Русская старина» в апрельской книжке 1880 г. поместила статью писателя А.П.Милюкова, «рассматривавшего» известную фотографию С.Л.Левицкого (1856 г.), где запечатлены писатели, печатавшиеся в те годы в «Современнике». «К портрету шести русских писателей» — так озаглавил автор свою статью, давая в ней шесть очерков жизни и творчества изображенных на фотографии литераторов. Среди них — Л.Н.Толстой. «Великой эпохой борьбы под стенами нашей современной Трои» назвал Милюков время, описываемое в севастопольских рассказах, к которому Толстой отнесся «без малейшей фальши, без всякого уклонения к идеализации», с «художественным беспристрастием». «Он смотрел на эту эпическую борьбу трезвым взглядом наблюдателя, одинаково чуждого и напускного патриотизма, и обличительной критики. В его военных рассказах та же действительность, как и в его анализе человеческого сердца: никого не возводит он на искусственный пьедестал и никого не унижает. С равным беспристрастием открывает он темную черту в человеке доблестном и находит струю доброго чувства в самом злодее». «Правду», о которой говорится во втором севастопольском рассказе, Милюков считал «идеалом» Толстого, стремясь к которому «художник снимает драпировку с самых славных дел и показывает людей без малейшего следа румян и пудры, чего не чуждаются иногда и самые правдивые таланты. При всем том это исключительное, можно сказать — напряженное стремление к правде не везде послужило к выгоде поэта: нервически боясь всего искусственного, он самую правдивость свою доводил иногда до некоторой искусственности» («Русская старина», 1880, апрель, с. 865).

С иной позиции смотрел на рассказы о Севастополе профессор О.Ф.Миллер: в своих университетских лекциях в 1882 г. и позднее в книге «Русские писатели после Гоголя» (ч. 2. СПб., 1886) он утверждал, что в этих рассказах «исторические события интересуют Толстого лишь настолько, насколько они соприкасаются с его обычной темой — проведением параллели между двумя мирами; <...> его занимает <...> что такое героизм русского офицера из среды интеллигентной и что такое героизм простого солдата?» (с. 274). Володя Козельцов явился для Миллера одним из тех толстовских типов, которые встречаются у писателя довольно часто. Юный офицер едет на войну «с обычным намерением отличиться»; его чувство одиночества и страха мало-помалу «сглаживается под влиянием сознания общей беды, общей опасности <...> он заражается общим настроением, и прежняя трусость заменяется какою-то припадочною храбростью» (с. 277). В персонажах третьего севастопольского рассказа ученый отмечал наряду с героическим началом и проявление «человеческих страстей» (например, азартная игра). Героизм же в них «является <...> только в виде искры, которая вспыхивает по временам, но как нечто постоянное и вечно живущее в человеке он не существует. Такой героизм есть создание воображения, дававшее немало пищи риторике, а

наш автор,— полагал Миллер,— риторики не признает, он признает лишь реализм, но тот, который относится к человеческой природе не односторонне, а видит в ней также и высокое, и прекрасное» (с. 278).

К концу века в России севастопольские рассказы продолжали жить в сознании читателей своей, уже, казалось, отдельной от их автора жизнью: перелом «миросозерцания» Толстого, его новая жизненная и творческая позиция отдалили от писателя некоторых его прежних почитателей, оставив, однако, в душах и памяти восхищение и любовь к его произведениям, в том числе и к рассказам о военном Севастополе. «Господи, до чего может договориться человек, возгордясь и самовознесясь до роли пророка <...>,— раздраженно писал известный военный историк А.Л.Зиссерман П.И.Бартеневу 21 марта 1892 г. по поводу публикации в газете «Московские ведомости» отрывков из статьи Толстого «О голоде».— Какой славы, какого еще венка, какого больше права на памятник нужно было автору бесподобных произведений — “Войны и мира”, “Анны Карениной”, “Казаков”, “Севастополя” и кавказских очерков...» (*Летописи ГЛМ*, кн. 12, т. 2, с. 167–168).

Столь же восторженная оценка севастопольских рассказов звучала в письме композитора А.К.Лядова к О.А.Корсакевич 25 июля 1893 г.: «Теперь снова упиваюсь Толстым (“Казаки”, “Детство”, “Отрочество” и “Юность”, “Севастопольские рассказы”). До чего божественно прекрасно!» (там же, с. 169). И почти те же чувства в письме художника М.В.Нестерова к своему ближайшему другу А.А.Турыгину 7 марта 1896 г.: «Перечитываю Толстого — “Севастопольские воспоминания” — эго прелесть какая — много простишь старику за них...» (Нестеров М.В. Письма. Л., 1988, с. 141).

В 1902 г. отмечалось 50-летие начала литературной деятельности Толстого; в ряде статей по этому поводу взгляды критиков и публицистов обратились и к ранним произведениям писателя. «Журнал для всех» напечатал большую статью В.Мирского «Л.Н.Толстой» (№ 11), где автор, опираясь на повесть «Казаки», доказывал, что идеи и мысли, высказанные в этой ранней повести, стали основой и сутью всего как раннего, так и «позднего» миросозерцания Толстого. Не были забыты в этой статье и севастопольские рассказы, в которых Мирский уловил отчасти то, что в большей мере ему виделось в «Казаках»: «Толстой уже как первое и самое важное выдвигает на сцену самого себя, свое гордое “я”. И это “я”, хотя одинокое, но могучее, полное необыкновенных сил, восстает против общепринятого, против того, что дает удовлетворение и счастье другим» (стлб. 1334).

В первое десятилетие XX века несколькими изданиями (первое — в 1906 г.) вышла книга В.Ф.Саводника «Очерки по истории русской литературы XIX-го века». Книга была допущена Ученым комитетом Министерства народного просвещения «к употреблению в качестве *руководства* в старших классах средних учебных заведений». Начиная с третьего издания 1907 г. автор учебника довольно подробно анализировал севастопольские рассказы, отмечал, что «непосредственность и полнота наблюдений» Толстого во время обороны Севастополя «придает его рассказам особенную ценность и увеличивает силу производимого ими впечатления» (с. 176). Говоря о «Севастополе в августе», Саводник находил, что здесь «главный интерес сосредоточивается на характеристике двух

братьев Козельцовых», старший из которых, Михаил, «несколько напоминает Володю из автобиографической трилогии. Это натура спокойная, уравновешенная, чуждая всякой раздвоенности и рефлексии, самобытная во всех своих проявлениях и потому совершенно независимая от мнения других, не подверженная влиянию с их стороны,— одна из тех простых и цельных натур, к которым Толстой всегда относился с большою симпатией (таков, например, в “Войне и мире” Николай Ростов). Володя Козельцов «обрисован столь же симпатичными чертами», это «наивный и чистосердечный юноша, с открытой благородной душою, полный светлой жизнерадостности и смутных, но радостных ожиданий, с богатым запасом любви к людям (в “Войне и мире” ему соответствует Петя Ростов)»,— считал Саводник (ч. II, с. 179). Далее он подчеркивал, что Толстой «картины войны» изображает «с таким же реализмом, с каким он рисует характеры своих героев», и «показывает нам войну не в виде красивого, блестящего зрелища», а «в крови, в страданиях, в смерти». Впечатление, производимое реалистическим «изображением войны у Толстого», в учебнике сравнивалось с впечатлением от «военных картин Верещагина». «Но Толстой не ограничивается одним правдивым, объективно-бесстрастным изображением: он вкладывает в него мысль и чувство, делает лирические отступления, показывающие его собственный взгляд на войну и отношение к ней. В его рассказах еще не развита, но ясно выражена мысль о непримиримом противоречии между войной и основными требованиями христианской морали и человеческой совести» (с. 179). В отличие от «официальных реляций, описаний войны и воспоминаний участников», признавал автор книги, писателю «удалось разрешить гораздо более трудную задачу: удалось изобразить самый дух защитников Севастополя, тот дух, благодаря которому севастопольская оборона только и получила то значение, которое она имеет в русской военной истории» (с. 176).

Размышляя о величии духа России и ее героев в эпоху Крымской войны, к рассказам Толстого о севастопольской обороне обращался историк Б.Б.Глинский в статье «Из истории революционного движения в России», опубликованной в первом номере журнала «Исторический вестник» в 1907 г. «В своих дивных севастопольских рассказах,— писал Глинский,— великий писатель земли русской дал нам картины проявления этого духа и выражения сил, а также ответил на существенный вопрос: кто же был героем тогдашней кровавой эпопеи, где безропотно и с полным сознанием своего долга перед родиной гибли войска и шел ко дну флот?» Ответ на этот вопрос историк находил в рассказах Толстого, где «героем был народ русский». «Дав в этих рассказах ряд портретов этого народа-героя, для которого Николай Павлович не находил в себе нравственной силы что-нибудь сделать, чтобы облегчить его крепостную участь,— отмечал Глинский,— гр. Л.Толстой нарисовал немало портретов тех тщеславных, пустых и трусливых сынов николаевского режима, которые командовали этим народом-героем и являлись вершителями его судеб» (с. 280–283).

Севастопольские рассказы в 1908 г. упоминал Д.Н.Овсяннико-Куликовский: в книге «Лев Николаевич Толстой. К 80-летию великого писателя. Очерк его деятельности, характеристика его гения и призвания» (СПб.) он писал, что наряду с другими своими произведениями в «Сева-

стополе» Толстой «отдал дань духу времени и отозвался на очередные, злободневные вопросы». Ученый видел и в этих рассказах «яркий отпечаток времени», где «отразились те “веяния” и настроения, которые были связаны с крушением дореформенных порядков и возвещали наступление эпохи реформ и прежде всего — величайшей из них — реформы 19 февраля 1861 г.» (с. 9).

Севастопольские рассказы, в том числе и «Севастополь в августе», при жизни Толстого были переведены на английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, немецкий, норвежский, польский, румынский, финский, французский, чешский, шведский, японский языки.

Первыми иностранными читателями «Севастополя в августе» стали французы: Анри Ипполит Делаво познакомил своих соотечественников с этим рассказом в 1856 г. в статье «Литература и военная жизнь в России. 1812.— Кавказ.— Крым», вышедшей в «Revue des deux Mondes». Как и рассказы «Набег» и «Севастополь в декабре», третий сева­стопольский рассказ Делаво давал в пересказе, цитируя большие фрагменты текста в собственном переводе. Тогда же, возможно, предполагая заняться переводом сочинений Толстого, первыми книгами молодого русского писателя заинтересовался известный французский писатель и переводчик Ксавье Мармье. П.А.Плетнев из Парижа в письме Я.К.Гроту 19 января 1857 г. просил «купить неотлагательно» и «немедленно» прислать для К.Мармье книги «Детство и Отрочество» и «Военные рассказы» (26 февраля он повторил эту просьбу). 20 марта Плетнев «книги для Мармье получил» и сообщал Гроту, что «Мармье очень благодарен» (Переписка Я.К.Грота с П.А.Плетневым. СПб., 1886, т. 3, с. 648–651). Однако в переводах К.Мармье рассказы так и не появились. Впервые все три сева­стопольские рассказа были изданы во Франции в 1886 г. в книге «Les cosaques.— Souvenirs de Sébastopol» (Paris) и в дальнейшем неоднократно печатались в переводах М.Делина, Ж.Бинштока, И.Гальперина-Каминского.

«Поразительными» назвал сева­стопольские рассказы известный французский литературный критик Мельхиор де Вогюз в статье «Граф Лев Толстой», вышедшей в «Revue des deux Mondes» 15 июля 1884 г. (vol. 64) и в русском переводе — в 1892 г. (Граф Л.Н.Толстой. Критические статьи Вогюз и Геннекена. М., 1892, с. 5). Вогюз считал, что «писатель выполняет двойное назначение зеркала, которое отражает свет и возвращает его в десять раз сильнее­шим, вспыхивающим и возжигающим пламя» (с. 5).

Его соотечественник, молодой Ромен Роллан, в книге своих студенческих дневников «Монастырь на улице Ульм» 2–10 апреля 1889 г. отмечал: «Я прохожу стаж преподавателя в лицее Людовика Великого <...>. Я пропагандирую русскую литературу. В конце занятий я читал Толстого ученикам. В третьем классе “Севастопольские рассказы”. Мы беседовали о Толстом: некоторые смутно знали, что это русский писатель, и лишь один Сьерри про «Детство» и «Отрочество». (Я читал их также из Огюстена Льева — о сражении при Гастингсе.) На уроках риторики, — продолжал Р.Роллан, — я прочел отрывки из “Холстомера”, “Войны и мира”, “Севастопольских рассказов”. На уроках философии — отрывки из “Обломо-

ва” Гончарова (и смерть Талейрана из Сент-Бева). Больше всего увлекли моих слушателей “Севастопольские рассказы”...» (цит. по кн.: «Лев Толстой и зарубежный мир». — ЛН, т. 75, кн. 1, с. 73).

В том же 1889 г. в Париже вышла статья французского литератора Эмиля Геннекена «Граф Л.Н.Толстой» (на русском языке в кн.: Граф Л.Н.Толстой. Критические статьи Вогюэ и Геннекена. М., 1892). Касаясь сева­стопольских рассказов, критик обращал внимание на то, что «у Толстого нет чистых описаний. Природа служит для него только театром для действий человека, ограниченного средою, где сменяются его впечатления, определяются желания, обуславливаются действия. Когда же в рассказе перестают господствовать вышеописанные сцены и он переходит к фактам, то описание совершенно исчезает и нельзя ясно уловить черты, разграничивающие отдельные и цельные сцены, из которых состоит повествование». По мнению автора статьи, «сцены эти, воспроизведенные с такою еще небывалою, поразительною точностью, с такою единственною в своем роде ясностью, приковывают к себе внимание читателя не ораторскими приемами, не стилем, которые в них отсутствуют, но наблюдательностью, образностью, выражениями, так близкими к действительности, как только это можно себе представить» (с. 92–93). Э.Геннекен считал, что «Рассказы о Севастопольской обороне» (как он их называл), так же как «Война и мир» и «Анна Каренина», «несмотря на богатство их содержания, не предназначены для изучения читателем эпохи, страны и людей, о которых в них говорится, и не в приумножении его познаний их главная цель. Настоящими причинами, побуждающими к чтению этих книг и не позволяющими до конца оторваться от них, являются возбуждаемые ими удивление, размышление, интерес, участие к судьбам действующих лиц, болезненная забота о волнующих их задачах, сочувствие к их ненависти и любви и, наконец, личность автора, сквозящая» в этих сочинениях «благодаря духу, в котором они задуманы, и выбору составных частей». «Конечную цель, которая руководит автором этих реалистических произведений, в которых так неуклонно и ясно воспроизведена действительность», критик видел в «желании заставить понять сущность человеческой жизни, описанную им с таким жаром и преданностью к делу, очертить несколько личностей, заставить одних полюбить, других возненавидеть, наконец, побудить всматриваться в эту жизнь во всех ее мельчайших проявлениях с тем скрытым волнением, какое испытывал автор при воплощении образов и мыслей, вначале неясно, в виде призраков, явившихся ему: эта конечная цель выполнена величественно» (с. 122–123).

Эрнест Дюпюи в книге «Великие мастера русской литературы девятнадцатого века» в очерке о Л.Н.Толстом, упоминая сборник «Военные рассказы», отмечал, что эти произведения уже были представлены в «Современнике», но очень пострадали от рук военной цензуры. «Эти подозрительные и недалекие критики были шокированы самыми художественными страницами», хотя, как считал Дюпюи, рассказы о Севастополе снова и снова демонстрируют «энергию сопротивления французскому нашествию» и в них «однообразие осады выглядит даже более жестоким, чем ее опасность». Толстой показывает «солдат в блиндаже, полностью поглощенных чтением», он тонко дает почувствовать, «как хорошо это для их морального состояния, для их дисциплины»: ведь книга — как от-

душина в военной мясорубке, потому «вызывает восторг русской публики», т.е. солдат (Dupuy E. *Les grands Maitres de la Littérature Russe au dix-neuvième siècle*. Paris, 1897, p. 233).

«Три маленькие шедевра» — так назвал севастопольские рассказы Казимир Валишевский, польско-французский писатель (поляк по происхождению), в книге «Русская литература», вышедшей несколькими изданиями в Париже в серии «Истории литератур». «Мастерство писателя здесь уже совершенно, картина проработана тщательнее в фактических деталях, скрупулезный анализ психологических мотивов в кровавой схватке достигает совершенства. Никто, ни до, ни после него <Толстого>, и даже сам Стендаль, на поле битвы не делал столь пронизательных наблюдений», «чтобы увидеть и показать, например, каким образом один и тот же человек, который в огне сражения производил впечатление героя, минутой позже может стать мелким себялюбцем». В картине Севастополя, воспроизведенной «с большой достоверностью», Валишевский видел, «однако, уже поровну фантазии и спорного мировоззрения» писателя, но, говоря о «современных русских», замечал, что это «их слава» (Waliszewski K. *Littérature Russe*. Paris, 1900, p. 365–366).

Польские читатели первый положительный отзыв о севастопольских рассказах прочли еще в 1858 г. в энциклопедическом справочнике «Księga Świata» (Варшава), перепечатавшем сведения о рассказах и их авторе из периодического сборника литографий В.Ф. Тимма «Русский художественный листок» (1857, № 34), и только в середине 70-х годов познакомились с самими произведениями: «Севастополь в августе» в отрывках был опубликован на польском языке в официальной правительственной газете «Dziennik Warszawski» в 1877 г. (*ЛН*, т. 75, кн. 2, с. 253).

В Англии сведения о севастопольских рассказах появились задолго до первых изданий на английском языке. Уильям Ролстон, английский писатель, литературный критик и переводчик, намереваясь познакомиться своих соотечественников с книгой Толстого «Война и мир», в 1878 г. писал в Ясную Поляну о том, что, «кажется, в Америке переведены “Военные рассказы”», но сам Ролстон к тому времени «никогда их на английском не видел» (*ЛН*, т. 75, кн. 1, с. 306). Тем не менее, представляя английским читателям «Войну и мир» в собственном пересказе в журнале «Nineteenth Century» (1879, апрель), он во вступлении коснулся севастопольских рассказов, «обративших на себя всеобщее внимание необыкновенно жизненным и правдивым воспроизведением сцен из житейя-бытья доблестных защитников Севастополя. Благодаря этим рассказам,— писал Ролстон,— тогдашнее общество получило до очевидности наглядное представление о событиях, совершившихся в осажденном городе, за перипетиями судьбы которого с надеждой и душевным трепетом следила вся Россия, о томительном однообразии осады, чередовавшемся с минутами сильного возбуждения и отчаянной храбрости людей, напрягавших все свои силы для дружного отпора сплотившимся врагам отечества». Далее Ролстон сообщал историю цензурных мытарств рассказов Толстого, вполне возможно, слышанную им от И.С.Тургенева, с которым он был «приятелем», Тургеневу же эту историю, конечно, поведал сам Панаев. «Как бы то ни было,— заключал переводчик свой рассказ о севастопольской трилогии Толстого,— но в конце концов труд автора, благополучно миновав подводные камни цензуры, нашел себе убежище в гавани попу-

лярности» (цит. по кн.: Булгаков Ф.И. Граф Л.Н.Толстой и критика его произведений, русская и иностранная. СПб.— М., 1886, ч. 2, с. 97–98).

С конца 80-х годов все три рассказа неоднократно издавались в Англии; первое издание появилось в Лондоне в 1888 г. в книге «The cossacks and other stories». Очень высоко оценил Толстой книгу Э.Моода (1901 и 1903 гг.— см. комментарий к «Севастополю в декабре месяце»). Севастопольские рассказы печатались и в собраниях сочинений писателя, вышедших в Англии в 1898 (изд. В.Г.Черткова) и в 1904 гг.

«Никогда ранее не было нарисовано более живописных картин войны,— писал о севастопольских рассказах английский критик, журналист Г.Перрис; — но если они сразу определили место их автора в интеллектуальных слоях его собственной страны, то гораздо более глубоко и всесторонне должны повлиять на народы, которые, чрезмерно восхваляя свои высокие достижения в образовании и самоуправлении, превратили Европу в огромный военный лагерь и распространили примеры ненависти и насилия на все концы земли» (Perris G.H. Leo Tolstoy. The Grand Mujik. London, 1898, p. 55).

В своей книге «Пророки XIX столетия (Томас Карлейль. Джон Рёскин. Лев Толстой)» упоминал севастопольские рассказы английский литератор М.Ольден-Уард (Alden Ward May. The Prophets of the XIX Century). Написанная в конце 90-х годов, эта книга в 1900 г. в переводе с английского И.С.Дурново была издана в Москве под названием, данным переводчиком,— «Три биографии». В 1903 г. в Одессе отдельной книжкой вышла глава о Лье Толстом в другом переводе и с иным заглавием: «Жизнь Л.Н.Толстого». Говоря об участии Толстого в севастопольской кампании, М.Ольден-Уард отмечал, что «картины грозной осады содержатся в трех изумительных очерках Толстого. Это близкое знакомство с ужасами войны,— считал автор,— несомненно, легло впоследствии в основание того отвращения к войне и военной славе, которое так настойчиво высказывается Толстым в его позднейших произведениях» (М., 1900, с. 105).

В США севастопольские рассказы впервые были изданы в переводе с французского Франка Д.Милле, с предисловием американского писателя Уильяма Дина Хоуэлса в книге «The cutting of the forest.— Sebastopol». (N. Y., 1887) и отдельной книгой «Sebastopol» (N. Y., 1887). Чтение сочинений Толстого, в том числе севастопольских рассказов, считал У.Д.Хоуэлс, «составляет целую эпоху в жизни каждого мыслящего читателя», потому что «книги Толстого всегда воспринимаются как сама правда жизни». По мнению Хоуэлса, севастопольские рассказы, как и крупнейший роман Толстого «Война и мир», пронизаны мыслью, «утверждающей силу и стойкость простых людей при всех потрясениях и несостоятельность так называемых героев» (ЛН, т. 75, кн. 1, с. 85–86).

Севастопольские рассказы, переведенные Ф.Д.Милле, высоко оценил Уолт Уитмен; его биограф и секретарь Гораций Тробель записал в своем дневнике 24 декабря 1888 г. мнение Уитмена о книге Толстого: «Уитмен считал, что Толстому не повезло с переводчиками, делая исключение для “Севастопольских рассказов”». Далее Тробель приводил слова Уитмена: «Стиль книги — четкий, ясный, книга чудесно правдива, кроме того, она поразила меня своей честностью, прямотой, реализмом». Сам У.Уитмен 25–26 декабря того же года писал Морису Буку: «Я читаю “Севастополь-

ские рассказы” Толстого, переведенные очень хорошо на английский язык Франком Милле с французского перевода. Я нашел рассказы очень увлекательными, острыми и сильными, с панегирическим предисловием У.Д.Хоуэлса» (цит. по: Алексеева Г.В. Л.Н.Толстой и У.Уитмен: ретроспектива типологических схождений и генетических контактов.— Толстовский сборник 2000. Материалы XXVI Международных Толстовских чтений. Тула, 2000. Ч. I, с. 340).

В 1888 г. рассказы о севастопольской кампании были переведены Изабеллой Хэпгуд, ранее переведившей трилогию «Детство», «Отрочество», «Юность». А.А.Толстая 15 марта 1888 г. из Петербурга писала в Ясную Поляну Т.Л.Толстой: «В начале зимы я познакомилась с американкой Harraud, с которой ты была в переписке. Мы с ней очень сошлись — это истая русофилка и, по-моему, с большим талантом переводчицы. Вчера мы провели утро за “Севастополем” папá. Она читала мне по-английски, а я следовала за ней по оригиналу и была поражена верностью и даже эстетичностью ее перевода. Думаю, что и папа был бы им доволен» (ГМТ). Переводы И.Хэпгуд были напечатаны как в собрании сочинений Толстого, издававшемся Н.Х.Доулом, так и отдельным изданием.

Севастопольские рассказы печатались во всех собраниях сочинений Л.Н.Толстого, выходивших в США в 1899, в 1899–1902 и в 1904 гг. В том же 1904 г. в книге «Толстой как человек» американский литератор Э.Штайнер по поводу рассказов о Севастополе заметил, что Толстой «открыл России истории солдатских страданий и необыкновенной солдатской храбрости» (Steiner E.A. Tolstoy the man. New York, 1904, p. 77).

В Дании в 1884 г. вышел сборник «Fortællinger og Skildringer fra Sebastopol»; он включал все три севастопольские рассказа в переводе В.Герстенберга. Двумя годами позднее «Севастополь в августе» в переводе на финский язык W.Groundstroem’a был напечатан в книге «Kuvaelmia Sevastopolin piirityksestä» (Helsingissä — Porvoo, 1886) вместе с другими севастопольскими рассказами. В том же году все три рассказа были впервые опубликованы в Швеции: «Skildringer från Sevastopols belägring» (Stockholm, 1886) — и в Голландии в книге «De Kozakken. Tafereelen uit het Beleg van Sebastopol» (переводчик — F. van Burchvliet; Amsterdam, 1886; второй и третий рассказы — в сокращении). На голландском языке рассказы о севастопольской обороне были напечатаны еще раз без имени переводчика в 1904 г. в 6-томном собрании «Новеллистических шедевров» Толстого («Sebastopol». Novellistische Meesterwerken. Amsterdam) и в 1908 г. в серии «Голубая библиотека», издававшейся «Обществом для хорошей и дешевой литературы» («Sebastopol». Amsterdam, Blauwe Bibliotheek, № 5–6): в этом издании в рассказе «Севастополь в декабре месяца» анонимный переводчик заменил форму обращения к читателю (2-е лицо множ. числа) на повествование от первого лица множественного числа.

О только что переведенных в Голландии севастопольских рассказах писал в 1886 г. литературный критик Фредерик Линцей (Frédéric Lyncée — псевдоним; наст. имя F.Lapidoth) в этюде «De Ontwikkelingsgeschiedenis van Tolstoï» («История развития Толстого»), напечатанном в журнале «Los en Vast». Упомянув личный опыт Толстого как защитника Севастополя, главное достоинство севастопольских сочинений критик видел в мастерстве описаний, интрига же, по его мнению, служит здесь

лишь связующей нитью между отдельными сценами. Эти рассказы «уже обнаруживают как все замечательные, так и менее положительные качества, которые впоследствии будут отличать большие романы Толстого». Автор этюда отмечал «стремление писателя быть правдивым в ущерб художественному эффекту», а также «чрезвычайно детальное описание» событий, сцен, ситуаций «при раздробленности, отсутствии большого целого, единого великолепного впечатления», своеобразную «ненависть к генерализации». Более чем через двадцать лет другой голландский критик, подписавшийся только инициалами R.L., во введении к изданию нового перевода севастопольских рассказов на голландский язык (1908) отмечал «сочувствие страданиям русского народа, восхищение Толстого его непоколебимой храбростью, великую скорбь о призраках, приводящих народы к войне, презрение к поведению, неестественному, но принятому и привычному,— словом, все основные принципы этики Толстого, которые обнаруживаются в его других произведениях и которые, когда писателем было 60 лет», слились «в системное видение мира» («Sebastopol». Amsterdam, 1908 — Blauwe Bibliotheek, № 5–6). (Сообщено Эриком де Хаардом.)

На немецком языке первое издание севастопольских рассказов вышло тоже в 1886 г. в переводе В.-П.Граффа в книге «Kleine Erzählungen und Kriegsbilder» (Berlin). В дальнейшем рассказы печатались в Германии в различных переводах и изданиях, а также входили в собрания сочинений Толстого, издаваемые Р.Лёвенфельдом (Bd. 3. Berlin, 1891; то же — 1897).

Первая оценка севастопольских рассказов в Германии прозвучала в середине 80-х годов в книге немецкого литератора Ойгена Цабеля «Очерки литературной России» (1885): «Описания из осады Севастополя (1854 и 1855 гг.) обнаруживают новую сторону таланта Толстого, живописность его, которая раскрывается широко в великолепных и ярких картинах лагерной жизни» (цит. по кн.: Булгаков Ф.И. Граф Л.Н.Толстой и критика его произведений, русская и иностранная. СПб., 1886, с. 79). О севастопольских рассказах через несколько лет Цабель писал и в своей книге о Л.Н.Толстом, которая была переведена на русский язык и в 1903 г. напечатана в Киеве (Цабель Е. Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк. Киев, 1903). Автор отмечал в рассказах Толстого «все богатство непосредственно виденного и пережитого» писателем, «высокохудожественные картины сцен, сопровождавших занятие Малахова кургана французами». «Тут нет никакой определенной фабулы, развитием которой служили бы эти рассказы», — размышлял критик, анализируя все три произведения как единое целое. «Одно поспешно брошенное слово раненого, ногу которого равнодушно осматривает врач в операционной зале, или умирающего, которому священник дает целовать крест, различные выражения душевного напряжения, ожидания, которые самый момент подсказывает в подобных положениях, дают живые и яркие характеристики. Все воспринято автором необыкновенно точно и естественно, горячо прочувствовано и человечно пережито, и воспроизведено без малейшего намека на фальшивый пафос», — считал Цабель. В самом же авторе севастопольских рассказов он «ценил последовательно солдата, писателя, человека: первого — за его мужественное настроение, второго — за его повествовательный талант, третьего — за его сердце». Критик замечал также, что в рассказах Толстого «русский язык проявляет всю силу своей пластичности: в самых звуках слов слышится то глухой

гул лагерной жизни, то гром выстрелов». Цабель обнаруживал в описаниях военных сцен и картин Севастополя заметные «нити», связывающие севастопольские рассказы с «Войной и миром»; то же наблюдал он в изображении смерти персонажей: «И при осаде Севастополя смерть настигает людей в самых разнообразных видах; и каждый по-своему склоняется перед ее всепобеждающей силой. Молодую жизнь Володи, жаждущего подвигов, прямо с радостью идущего навстречу опасности, потому что не знает ее еще, она скашивает одним взмахом, как косарь траву, так что от прекрасного, блестящего, смелого молодого человека остается одна только неподвижная, лежащая лицом к земле, куча человеческого мяса, в груди которой сидит осколок гранаты» (с. 57–58).

В изданном в 1899 г. очерке жизни и творчества Л.Н.Толстого его немецкий биограф А.Эттингер писал, что в севастопольских рассказах нашли отражение «и внешний мир с его быстро сменяющимися картинками, и тысяча тонких оттенков внутренней жизни во время военной акции, бесчисленные разнообразные смещения и степени героизма и трусости, хвастовства и подлинного презрения к смерти, великих ощущений и мелочных поступков, вспыхивающего героизма и наивного эгоизма». По мнению критика, три рассказа о севастопольской обороне — «это описания, которые в тонком различии настроений и в чрезвычайном обострении ситуации запечатлели главные моменты того времени. Они полностью свободны от традиционного взгляда на военную жизнь. Непосредственно, свежим глазом увидено все...» — и далее перечислялись некоторые сюжеты и образы севастопольской трилогии (Ettlinger A. Leo Tolstoj. Eine Skizze seines Lebens und Wirkens. Berlin, 1899, S. 13).

В 1889 г. «Севастополь в августе» в числе других севастопольских рассказов был впервые издан на чешском языке (перевод J.D.Lužnicky) и вошел во второй том сочинений Толстого (Praha). В этом же году с севастопольскими рассказами познакомились венгерские читатели в книге: «Szebasztopol 1854–1856» (Budapest); имя переводчика подписано только начальными буквами: K.Cs.

Первые испанские издания севастопольских рассказов появились в Мадриде в 1892 г. («El sitio de Sebastopol» и в книге «Lo que debe hacerse»), а в 1905 г. все три рассказа вошли во второй том собрания сочинений писателя.

В сборнике «Sebastopoli», изданном в Милане в 1900 г., впервые познакомились с севастопольскими рассказами Толстого итальянцы. На румынском языке рассказы были напечатаны в Бухаресте в 1909 г. в книге «Amintiri din Sevastopol. Scene din asediul de la 1854» (перевод N.Cadioschi); в 1910 г. «Севастополь в августе» завершал сборники, изданные в Греции («Entipossis tou Krimaïcou polemou») и в Норвегии («Sebastopols beleiring»). Kristiania.— Overs. av A.Kaaran).

В Японии в 1889 г. журнал «Мэдзамасисо» («Будильная трава»), № 11 напечатал статью «Толстой», в которой известный писатель, литературный критик, переводчик Мори Огай уделил внимание и севастопольским рассказам. Главную особенность изображения войны во всех трех рассказах автор статьи видел в том, что Толстой, в отличие от современных европейских писателей, описывает не развевающиеся знамена и звенящие трубы, не вообще «войско» или «сражение», а «кописывает каждого офицера и каждого солдата» (с. 31): ведь каждый из них — человек, чей-то

отец, сын, брат. По мнению критика, в изображении солдат и офицеров, в часы отдыха и в пылу боя, Толстой достигает совершенства и небывалого мастерства.

Близкая мысль высказана в книге о Толстом другого японского литератора — Токутоми Кэндзио (Рока); первое издание книги вышло в 1897 г., следующее в 1905 г. в издательстве «Минюся». Панорама Севастополя в декабре и зарисовки Севастополя в мае, жизнь офицеров и солдат, «чувство каждого человека» (с. 78), переданные через восприятие братьев Козельцовых в третьем севастопольском рассказе, картина которого постепенно становится все более страшной и жестокой, воспроизведены в рассказах оригинально и достоверно, что объясняется, как уверен автор книги, пребыванием самого Толстого, артиллерийского офицера, под огнем на бастионе в Севастополе.

На рубеже веков на японский язык перевел севастопольские рассказы Саганоя Омуро (псевд. Ядзаки Синсиро), один из самых ранних русистов в Японии. В статье о рассказах Толстого «Огни Севастополя», опубликованной в журнале «Тайё» («Солнце») в 1901 г. (№ 7), он находил основное достоинство и преимущество этих рассказов перед разного рода военными фактами и записками в живых наблюдениях и впечатлениях молодого артиллерийского офицера Толстого. Это, полагал О.Саганоя, много «занимательнее, чем факты. Потому что это своего рода суть фактов», особенно интересная, ибо здесь «ясно выражается русский характер во время войны» (с. 181). И хотя его смущал собственный, как ему казалось, плохой перевод и он боялся «потерять тонкость оригинала» (с. 181), интерес к сочинениям Толстого побудил писателя перевести севастопольские рассказы на японский язык. (Сообщила Янаги Томико.)

С. 131. ...по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой и Бахчисараем...— Главный путь из Симферополя в Севастополь через Бахчисарай шел на селение Дуванкой и далее по правому берегу реки Бельбек, протекающей севернее Большой Севастопольской бухты, параллельно ей, и впадающей в море. От бельбекской почтовой станции тракт разделялся на две ветви: одна вела на Северную сторону, другая спускалась к Севастополю. Бахчисарай — заштатный городок Таврической губернии в 32 км к северо-западу от Симферополя, бывшая резиденция крымских ханов. В Крымскую войну в Бахчисарае размещался госпиталь.

...в густой и жаркой пыли...— Дорога на Севастополь, по свидетельству Э.И.Тотлебена, «находилась почти в первобытном, естественном виде» (Тотлебен. Описание обороны г. Севастополя, т. I, с. 57).

Офицер был ранен 10 мая...— В ночь с 10 на 11 мая две французские дивизии захватили траншеи перед 5-м и 6-м бастионами на Городской стороне Севастополя. Защитники города понесли большие потери. Одно из первоначальных названий рассказа Толстого «Севастополь в мае» — «10 мая».

...на Инкермане...— Инкерман — местность к востоку от Севастополя (в настоящее время один из районов Севастополя), урочище при впадении речки Черной в Большую Севастопольскую бухту, с развалинами древней крепости и остатками пещерного города.

С. 132. ...слышно было, что бомбардирование идет ужасное. — 24–27 августа Севастополь подвергся разрушительной шестой бомбардировке.

...греческими волоптерами... — Во время Крымской войны был сформирован греческий батальон, сражавшийся на стороне России и отличившийся в ходе кампании. Он состоял из греков, поселенных в Балаклаве после присоединения Крыма к России (1783 г.).

...в поярковой шляпе... — Шляпа из поярка, то есть из шерсти первой стрижки ягненка.

...держался за грядки повозки... — Грядки в телеге — две продольные жерди, сверху и снизу, образующие боковые края кузова и соединенные с концов вязками.

С. 134. ...на Корабельную заступили наши... — Корабельная сторона — юго-восточная часть Севастополя, расположенная к югу от Большой Севастопольской бухты.

...смотритель, который перебраивался... — Смотритель — должностное лицо, выполняющее административно-хозяйственные обязанности по надзору, присмотру, охранению почтовой станции.

С. 135. ...на Малахов курган пойду... — Малахов курган — господствующая высота юго-восточнее Севастополя (в настоящее время в черте города). Во время Крымской войны — один из самых важных и опасных пунктов севастопольской оборонительной позиции.

...в новом стеганом архалуке... — Архалук — легкий кафтан из цветной шерстяной или шелковой ткани, собранный у талии.

...из женского капота... — Капот — домашняя женская распашная одежда широкого покроя.

С. 136. ...в Симферополе... — Симферополь — центральный город Таврической губернии (ныне центр Крыма). Средоточие всех крымских дорог.

С. 137. Мы теперь из Дворянского полка... — Дворянский полк — военно-учебное заведение (1807–1855) в Петербурге для юношей-дворян. В Дворянский полк принимались со стороны молодые люди в возрасте 13–15 лет и переводились «отличнейшие» кадеты из губернских кадетских корпусов. С 1851 г. прием в Дворянский полк со стороны был прекращен. В 1855 г. Дворянский полк переименован в Константиновский кадетский корпус (в память его основателя великого князя Константина Павловича).

...кофейник спиртовой... — Кофейник с нагревательным устройством по типу спиртовки.

...не получили подъемных денег? — Подъемные деньги выдавались для расходов на переезд к новому месту службы.

А свидетельство у вас есть?... — Свидетельство — здесь: официальный документ, удостоверяющий служебное поручение.

...сенатор один... — Сенатор — член Российского Правительствующего Сената.

С. 138. ...кроме прогонов от П... — Прогоны — плата за проезд на почтовых лошадях.

...одних курьерских подорожных вот сколько лежит... — Подорожная — проездное свидетельство, проездной документ.

...в которых есть кадетские корпуса... — Кадетский корпус — закры-

тое среднее военно-учебное заведение для подготовки сыновей дворян к офицерской службе.

...он по команде получил запрос...— То есть официальный запрос.

...не принадлежит ли он к масонским ложам...— Масонские ложи — отделения масонской организации, место собрания масонов, участников религиозно-мистического движения, масонства, возникшего в странах Европы в XVIII в. Масонство проповедовало нравственное самосовершенствование, «объединение людей на началах братства, любви, равенства и взаимопомощи». Русское масонство начала XIX в. было связано с декабристским движением на самом раннем его этапе. Масонские ложи были запрещены в России в 1822 г.

С. 140. *...разбирал кровать, погребец...*— Погребец — небольшой дорожный сундучок с едой и посудой.

С. 141. *...вышел не в гвардию...*— По окончании выпускных годичных экзаменов в Дворянском полку воспитательный комитет обсуждал успехи в науках и нравственные качества каждого из выпускников и определял право его на производство в тот или другой род службы. «Отличнейшие» могли поступать в гвардию (отборные, элитные войска) прапорщиками; затем следовали артиллеристы, за ними саперы, пионеры и т.д.

...неполные баллы в поведении...— То есть снижена оценка по поведению.

...только в механике двенадцать...— В Дворянском полку для оценки успехов воспитанников была принята двенадцатибалльная система (12 — высший балл).

...Тотлебен так в 2 года из подполковников в генералы.— Э.И.Тотлебен, русский военный инженер, генерал с 10 апреля 1855 г.

С. 142. *...у меня в нем кивер был...*— Кивер — высокий с плоским дном военный головной убор из твердой кожи.

...как я буду являться...— То есть как официально представляюсь начальству.

С. 145. *...сам Пелиссье...*— Э.Ж.-Ж. Пелиссье, маршал Франции (с 1855 г.), во время Крымской войны участвовал в осаде Севастополя, с января 1855 г. командовал 1-м корпусом, с мая 1855 г.— французской армией в Крыму и руководил последним штурмом Севастополя.

Горчаков придет...— М.Д.Горчаков, князь, русский генерал-от-артиллерии, в начале Крымской кампании командовал войсками на Дунае (1854). В 1855 — главнокомандующий войсками в Крыму.

...у нас две тысячи человек из полка вышло, всё на работах...— Для сооружения севастопольских укреплений во время осады выходило ежедневно на работы от 5 до 10 тысяч человек. «На работах» русские войска несли значительные потери.

...белые приморские батареи...— Береговые каменные батареи, построенные из местного известняка.

...водопроводы, доки...— Док — портовое сооружение для ремонта или постройки судов. Сухие доки (бетонированные бассейны) были расположены на Южной стороне и представляли собой самое замечательное и ценное сооружение в Севастополе. Постройка их, начатая при адмирале М.П.Лазареве в 1836 г., была окончена в 1852 г. Все сооружение состояло из обширного бассейна, пяти доков, трехкамерного шлюза, соединявшего бассейн с Корабельной бухтой, и матчевого бассейна. Большой бассейн

наполнялся водой, проведенной из Черной речки при помощи водопроводного канала, который был столь же замечателен и представлял собой произведение искусства. Протяженностью 19 верст, он местами был вырублен в скале, проходил по тоннелям, пробитым в утесах, а через овраги был перекинут по красивым акведукам (мостам с трубопроводами). Общая протяженность трех тоннелей была более 500 метров, а пяти акведуков — более 400 метров.

С. 146. ...огромную кипу ассигнаций...— Ассигнация — бумажный денежный знак в России (с 1769 по 1849 гг.). Здесь: видимо, государственные кредитные билеты, введенные в результате денежной реформы в 40-е годы.

...его большой приятель, комиссионер...— Комиссионер — чиновник, назначаемый для исполнения заготовительных (коммерческих) операций, снабженец.

...был налит портером...— Портер — темное английское пиво, сильно пенящееся и отличающееся значительным содержанием спирта.

С. 148. *Заведи-ка из «Лучии»*...— Опера итальянского композитора Г. Доницетти «Лючия ди Ламермур» (1835).

...указывая на коробочку с музыкой...— Коробочка с музыкой — музыкальная шкатулка с механическим заводом.

...к большому мосту через бухту...— Мост понтонный (плотовый), построенный к середине августа для связи Северной и Южной сторон города и в предвидении отступления армии из Севастополя. Проект моста, представленный генерал-лейтенантом Бухмейером, утвержден 23 июня (5 июля) 1855 г. Для постройки моста было избрано место между Михайловской и Николаевской батареями, там, где ширина бухты не превышала 900 метров. Работы производились под личным руководством генерала Бухмейера. 15 августа мост был освящен и открыт для сообщения.

...любимый царь...— В Дворянском полку намеренно формировали и культивировали восторженное поклонение царю и царствующим особам, обожание царя было естественным для воспитанников полка, будущих офицеров. Здесь речь идет о Николае I, русском императоре в 1825–1855 гг.

...которого он семь лет привык видеть...— В Дворянском полку будущие офицеры четыре года проходили общий курс обучения, затем два года (класса) — высший, или специальный, курс, причем выпуск в офицеры производился только из старшего класса. В 1852 г. был образован третий специальный класс, куда принимали «особенно отличных» из второго специального класса.

...который, прощаясь с ними...— Выпуск 1855 г., так называемый «усиленный», состоял не «по окончании лагерей» (Гольмдорф М.Г. Материалы для истории бывшего Дворянского полка — 1807–59 гг. СПб., 1882, с. 126), а, как исключение, перед лагерем; потому государь Николай I (скончался 18 февраля 1855 г.) успел проститься с выпускниками Дворянского полка 1855 г..

...называл их детьми своими...— Император и великие князья, не раз посещавшие Дворянский полк, обращаясь к воспитанникам, называли их своими «детьми». С 1850 г. каждый из выпускников-офицеров получал текст «Прощания с моими детьми военно-учебных заведений», написан-

ного незадолго до смерти (28 августа 1845 г.) великим князем Михаилом Павловичем. «Дети, отпуская вас на службу, я обращаюсь к вам не так, как ваш начальник, но как отец, вас душевно любящий, который следил за вами с юных ваших лет, который радовался вашим успехам, вашему постепенному развитию»,— так начиналось это «Прощание...» (Гольмдорф М.Г. Указ. соч., с. 132).

...подъехав к Михайловской батарее...— Михайловская батарея — береговая батарея, была расположена на Северной стороне, напротив Николаевской батареи, предназначалась для обороны входа в Южную бухту и для защиты сухого пути.

С. 149. Спускаясь на первый понтон...— Понтон — особого устройства плоскодонное судно, служащее опорой плавучего моста.

Когда он амунишные получил...— Амунические деньги выдавались военнослужащим на ремонт обмундирования.

С. 151. ...придерживаясь стейки Николаевской батарее...— Николаевская батарея — одна из самых мощных береговых батарей, была расположена на Южной стороне, вдоль северо-западного берега мыса, отделявшего Артиллерийскую бухту от Южной, имела три яруса оборонительных казематов.

...пришли к тому месту батарее, где образ.— Имеется в виду так называемый батарейный образ, икона, непременно бывшая на каждой батарее.

...пришли на перевязочный пункт.— Речь идет о госпитале в Николаевских казармах (на Николаевской батарее).

С. 152. А я-то вот и полный выслужил...— Полный пенсион, полагающийся инвалидам.

...Екатерининская улица...— Одна из двух главных улиц Севастополя. На этой улице жил Толстой, когда находился в Севастополе.

С. 154. ...в тесаке и шишели...— Тесак — рубящее и колющее холодное оружие с широким обоюдоострым прямым или кривым клинком (длиной 64–72 см) и крестообразной рукояткой, составлявшее вооружение нижних чинов пехоты, артиллерии и инженерных войск.

...висели крест и венгерская медаль...— Крест — солдатский Георгиевский крест. Венгерская медаль — награда, полученная в венгерскую кампанию 1848–1849 гг., когда русские войска численностью более 100 тысяч человек были направлены на помощь австрийскому императору для подавления восстания венгров против австрийского владычества.

...прапорщики Козельцов-второй...— В русской армии братья или однофамильцы официально имели порядковое определение.

С. 155. ...лошки очень вывернутые...— То есть развернутые под большим углом друг к другу, носки врозь.

...ящичным надо будет с завтрашнего дня еще по гарнцу прибавить...— Ящичные — лошади, впряженные в повозки с артиллерийскими снарядами в зарядных ящиках. Гарнец — мера сыпучих тел, употреблявшаяся в России до введения метрической системы мер, равная 3,28 литра.

А еще фуражир наш...— Фуражир — солдат, ведающий заготовкой, хранением и выдачей фуража, корма для лошадей.

С. 157. ...и Георгии на шею...— На шею носили знак (крест) ордена Святого Георгия 3-й степени.

...исключая Кущина дома (госпиталю)...— Имеется в виду дом Гущина,

где размещался госпиталь для гангренозных и безнадежных раненых; находился близ Малого бульвара, между Екатерининской и Большой Морской улицами.

С. 158. ...на столе *шестирублевый лафит*...— Лафит — сорт красного виноградного вина.

С. 159. ...*субординация* — *только приятна*... Субординация — система строгого служебного подчинения.

Рота была расположена по оборонительной стенке к шестому бастиону.— Оборонительная стенка — стена, соединяющая несколько бастионов в первую оборонительную линию.

С. 160. — *Мо-ли-тва после уче-ния*.— Первоначально было: «Страх... смерти врожденное чувство чело-веку», — такой строки не обнаружено ни в одной азбуке. Почти все азбуки середины XIX в. (просмотрено более 50 азбук) содержали «Молитву после учения».

...*бьет из-за шанцев*...— Шанцы — название полевых укреплений различного вида в России в XVII—XIX веках.

...*а в поле не выходит*.— То есть не выходит за пределы укреплений, на открытое пространство.

...*перешел в оборонительную казарму*...— Оборонительная казарма — казарма, одновременно выполняющая функцию укрепления, с бойницами и пр.; каменное одноэтажное здание, где помещались офицеры и часть оружейной прислуги.

С. 161. ...*метал банк*...— Метать банк — вскрывать карты при игре в банк (род азартной карточной игры), уплачивая проигранные суммы по карте, выпавшей направо, и получая выигрыш по карте, выпавшей налево.

...*понтитовал по полтиннику*...— Понтитовать — играть против банк-омета.

...*играл большой маркой*...— Марка — ставка в карточной игре.

...*дометал талию*...— То есть прометал всю колоду.

...*мы играли на чистые, а не на мелок*...— Играть на мелок — играть не на наличные деньги, а в долг, с записью (мелом) выигрыша и проигрыша.

С. 164. ...*что не так написали реляцию*.— Реляция — описание боевого подвига при представлении к награде.

...*покуда я не получу фуражных*...— Фуражные деньги, деньги на фураж, корм для лошади.

С. 165. ...*так зачем же они станут пользоваться?* — Этот диалог отражает ситуацию, происшедшую с самим Толстым во время его пребывания в Севастополе. По воспоминаниям Ю.И.Одаховского, «во время командования горною батареей» у Толстого «произошло первое серьезное столкновение с начальством. Дело в том, что, по обычаю того времени, батарея была доходной статьей и командиры батарей все остатки от фуража клали себе в карман. Толстой же, сделавшись командиром батареи, взял да и записал на приход весь остаток фуража по батарее. Прочие батарейные командиры, которых это било по карману и подводило в глазах начальства, подняли бунт: ранее никаких остатков никогда не бывало и их не должно было оставаться... Принялись за Толстого. Генерал Крыжановский вызвал его и сделал ему замечание. “Что же это Вы, граф, выдумали? — сказал он Толстому.— Правительство устроило так для Вашей же пользы. Вы ведь живете на жалованье. В случае недостачи по батарее

чем же Вы пополните? Вот для чего у каждого командира должны быть остатки... Вы всех подвели!" — "Не нахожу нужным оставлять эти остатки у себя! — резко ответил Толстой. — Это — не мои деньги, а казенные!"» Воспоминания Одаховского (в записи А.В.Жиркевича, 1898 г.) читал Л.Н.Толстой, по ходу делая пометы на полях. На странице около этого эпизода он отметил: «Справедливо» (ГМТ. Фонд Л.Н.Толстого)¹. Об этой характерной черте Толстого вспоминал и Н.А.Крылов, уже после Толстого служивший в 3-й легкой батарее 14-й артиллерийской бригады: «...он себя заявил выдающимся писателем и обличителем наживы из казны. Офицеры говорили, что батарейные командиры, которые вообще наживались от казенных лошадей, заметно стыдились его, как будто им жгли ладони остатки от овса и сена. Рассказывали, что он до такой степени был брезглив к казенным деньгам, что проповедовал офицерам возвращать в казну даже те остатки фуражных денег, когда офицерская лошадь не съест положенного ей по штату» (Крылов Н. Очерки из далекого прошлого. — «Вестник Европы», 1900, № 5, с. 145). Сам Толстой по поводу остатков казенных денег записал в дневнике 8 июля 1855 г.: «Насчет остатков от командования: частью я решительно беру их себе и ни с кем не говорю об этом. Ежели же спросят — скажу, что взял, и знаю, что честно». Но уже через четыре дня, 12 июля, запись иного рода: «И решил, что денег казенных у меня ничего не останется. Даже удивляюсь, как могла мне приходить мысль взять даже совершенно лишние. Я очень рад, что выдумал ящики, которые будут стоить целковых 100 с лишком».

...а ремонтная цена... — Стоимость ремонта, то есть новых строевых лошадей, которых покупали на конезаводах.

С. 166. ...и колдунов... — Колдуны — блюдо типа пельменей.

...речь шла об Инкерманском сражении... — Инкерманское сражение — см. комментарий к «Севастополю в декабре месяце».

С. 167. *Требуют офицера с прислугой*... — Прислуга — солдаты, обслуживающие орудия.

...быть на рогатке... — Рогатка — застава, ограждение на линии, соединяющей Малахов курган с 2-м бастионом.

С. 168. ...старые «Отечественные записки»... — В артиллерийских бригадах имелись библиотеки, на содержание которых делались вычеты из жалованья штаб- и обер-офицеров. В этих библиотеках дозволялось содержать книги по военному и инженерному искусству, по артиллерии и военной истории, по математике и истории, по географии и словесности и пр. Сверх того позволялось выписывать и журналы.

...прочсть сначала по «Руководству» о стрельбе из мортир и выписать тотчас же оттуда таблицы. — Речь идет о книге А.П.Безака «Руководство для артиллерийской службы». Издана по высочайшему повелению (СПб., 1853). Приведенные в книге таблицы для стрельбы из мортир вычислены по формулам баллистической теории.

...в тесаках без принадлежности... — То есть с тесаками обнаженными, без портупей: по указу от 28 мая 1850 г., когда артиллерийские роты

¹ В публикации Жиркевича («Исторический вестник», 1908, № 1) этот фрагмент и пометы Толстого приведены неточно.

выводились в строй, то нижние чины должны были иметь ружья на переязи за спиной, а в руках обнаженные тесаки.

С. 169. ...на Корниловской батарее...— Батарея (бастион) на Малаховом кургане, где вице-адмирал В.А.Корнилов был смертельно ранен ядром. В его память император Николай I повелел укрепления Малахова кургана именовать Корниловским бастионом.

...вместо такой стрельбы, которую он видел на Волковом поле...— Волково поле находилось в Александро-Невской части Петербурга, там размещались учебный полигон и Петербургское ракетное заведение (создано в 1826 г.). По возвращении из Севастополя Толстой был прикомандирован к этому заведению.

С. 170. ...другой — молодой, из кантонистов...— Кантонист — до середины XIX в. в России — солдатский сын, с самого рождения числившийся за солдатским ведомством и подготовляемый к военной службе в особой, низшей военной школе.

Бомбардиры и кавалеры сидели поближе...— Кавалер — здесь: солдат, награжденный за храбрость Георгиевским крестом.

...поместились покорные...— Покорные — один из типов солдат, о которых писал Толстой в рассказе «Рубка леса».

Двадцать четвертого числа так палили по крайности...— 24 августа 1855 г. началась шестая и самая сильная бомбардировка Севастополя из 807 орудий. Выпустив 150 тысяч снарядов (втрое больше, чем русские из 540 орудий), артиллерия союзников сравняла русские укрепления с землей. Потери русских составили 2–3 тысячи человек.

С. 171. ...как Кистентин, царев брат, с мериканским флотом идет к нам на выручку...— Имеется в виду Константин Николаевич, великий князь, брат Александра II. С 1855 г. управлял флотом и морским ведомством на правах министра.

С. 172. ...работающих на пороховом погребе.— Пороховые погреба и погребки закладывались на некоторых бастионах и батареях, но строительство их было очень трудным делом из-за скалистого грунта, который не позволял делать их углубленными: приходилось строить их большей частью над землей. Постройка погребов была гораздо более трудоемкой, чем постройка батарей. На Малаховом кургане, на склоне его, обращенном к 2-му бастиону, были сооружены два большие погреба. Прочность и надежность пороховых погребов были предметом особого внимания при строительстве севастопольских батарей и бастионов.

Это погребной...— Погребной — матрос, служащий при пороховом погребе.

С. 173. ...тут, значит, месяц за год ко всему считается — на то приказ был...— В награду за уже совершенные подвиги и в поощрение будущих император Николай I повелел каждый месяц службы в Севастополе считать за год.

...в Арша в е...— В Варшаве, столице Царства Польского.

...и коли не отставка, так в бессрочные выпустят...— Бессрочный или бессрочно-отпускной, то есть состоящий в отпуску от военной службы, но без определенного срока, а впрямь до призыва.

С. 174. По сю сторону бухты...— Имеется в виду Северная сторона.

...подъехавший к большой вехе...— Веха — значковый шест для указания направления, границы, расстояния при метании бомб.

...с своей недостроенной церковью, колоннадой...— В Севастополе было две недостроенных церкви; одна из них — храм Святого Владимира (место, где были погребены М.П.Лазарев и В.А.Корнилов, а позже В.И.Истомин и П.С.Нахимов), другая — Михайловская церковь. Колоннада — колоннада Графской пристани, построенная в 1846 г. по проекту арх. Д.Уптона (ныне памятник архитектуры).

...изящным строением библиотеки...— Морская библиотека, основанная адмиралом С.К.Грейгом и помещавшаяся в красивом здании, на самом возвышенном месте города (на Городской стороне), продолжала работать в течение всей осады Севастополя.

...живописными арками водопроводов...— Имеются в виду аркады акведуков водопроводного канала.

...второй бастион уж совсем не отвечает...— Второй бастион находился на Корабельной стороне, недалеко от Малахова кургана.

С. 176. *...прижавиющуюся к стенке...*— То есть к оборонительной стене.

Заняли Шварца...— То есть заняли Шварцовский люнет или, как называли его в официальных документах, люнет № 1 (Шварца). В апреле 1855 г. он был перестроен из редута с одноименным названием.

С. 177. *Стрелять картечью!* — Картечь — вид артиллерийских снарядов для поражения живой силы противника на близких расстояниях. Представляла собой снаряд со сферическими чугунными или свинцовыми пулями в металлическом корпусе или картонной упаковке.

С. 178. *...заклепывали пушку...*— То есть забивали наглухо отверстие запала.

...схватившего в руки хандшпуг...— Хандшпуг — рычаг для перемещения орудия и поднятия грузов.

...на второй оборонительной линии.— Первая оборонительная линия состояла из бастионов, вторая — из редутов, батарей, в том числе и батарей Малахова кургана.

Мост, наполненный народом...— Речь идет о понтонном мосте.

...на далеком мыску Александровской батареи...— Береговая Александровская батарея находилась на южном мысу при входе в Большую Севастопольскую бухту.

С. 180. *...наших утопающих кораблей...*— Чтобы корабли, остатки разгромленного русского флота, не достались неприятелю, был отдан приказ затопить их в Большой Севастопольской бухте.

...топали ногами на шаланде...— Шаланда — небольшая барка для погрузки и разгрузки крупнотоннажных судов на рейде, перевозки земли и т.п.

...свой значок на кургане поставил...— Значок — флаг, флажок.

...валялись исковерканные лафеты...— Лафет — станок артиллерийского орудия.

С. 181. *...на каменном полу Павловской набережной...*— На гранитных плитах Павловского мыса, набережной у Павловской батареи, где находился один из перевязочных пунктов.

...выбивших закладки в кораблях...— Закладки — специальные пробки в днище корабля.

МЕТЕЛЬ

Впервые: «Современник», 1856, № 3, с. 85–113 (ценз. разр. 29 февраля 1856 г.). Подпись: Граф Л. Толстой.

Рукописи не сохранились.

Печатается по тексту «Современника» со следующими исправлениями:

С. 183, строка 29: что было холодно — *вместо:* что было не холодно (по смыслу).

С. 185, строка 20: охотничий колокольчик — *вместо:* охотничий колокольчик (ср. определения на с. 184, строка 17 и на с. 185, строка 24).

С. 196: номер главы VII — вместо: VIII (опечатка); далее нумерация глав меняется соответственно.

На пути с Кавказа в Россию Толстой записал в дневнике 27 января 1854 г.: «Был в дороге. 24 в Белгородцевск<ой>, 100 <верст> от Черк<асска>, плутал целую ночь. И мне пришла мысль написать рассказ Метель». 2 февраля, уже в Ясной Поляне, появилась новая запись о дорожных впечатлениях: «Ровно две недели был в дороге. Поразительного случилось со мной только метель».

Два года спустя, вернувшись из Севастополя, Толстой обратился к замыслу, возникшему тогда в дороге. Непосредственная работа над рассказом была начата в Петербурге в конце января 1856 г. 2 февраля в дневнике запись — задание на следующий день: «Я в Петербурге. <...> Завтра привожу в порядок бумаги, пишу письма П<елагее> И<льичне> и старосте и набело метель, обедаю в шахмат<ном> клубе и все пишу еще метель...». Через день в дневнике Толстой отметил, что «утром писал немного».

Новый толстовский рассказ чрезвычайно обрадовал Некрасова, который ждал «Метель» в мартовский номер «Современника», о чем писал В.П.Боткину 7 февраля 1856 г.: «Вернулся Толстой и порадовал меня: уж он написал рассказ — и отдает его мне на 3-ью книжку. Это с его стороны так мило, что я и не ожидал» (Некрасов, т. 14, кн. 2, с. 8). 9 февраля газета «Северная пчела» (№ 32) опубликовала объявление И.И.Панасова и Н.А.Некрасова о выходе в свет второй книжки «Современника» за 1856 год; в этом объявлении сообщалось также, что «для следующих книжек “Современника” в редакцию поступили» новые произведения, среди которых «“Метель”, рассказ графа Л.Н.Толстого (Л.Н.Т.)». Та же информация появилась на страницах газет «Московские ведомости» («Прибавление к № 18» — 11 февраля) и «Русский инвалид» (№ 35, 12 февраля).

Работа над рассказом продолжалась всю первую декаду февраля; 11 февраля рассказ окончен (подписана авторская дата). «Окончил метель, ей очень довольны», — записал Толстой в дневнике 12 февраля. Очевидно, что речь идет о редакции «Современника».

В конце февраля князь П.А.Вяземский устроил у себя литературный вечер, пригласив Толстого. «Я передал графу Толстому приглашение Вашего сиятельства, — писал Вяземскому 24 февраля И.С.Тургенев, — и он просил меня сообщить Вам, что с удовольствием явится к Вам в субботу, в 10-м часу вечера. Я приду вместе с ним» (Тургенев. Письма, т. 3, с. 82). На следующий день в доме князя Вяземского Толстой читал «Метель».

Известный литератор, профессор Петербургского университета А.В.Никитенко в своем дневнике 29 февраля отметил, что «на днях был на двух литературных чтениях», в том числе и «у князя Вяземского, где читал свое произведение граф Толстой» (Никитенко А.В. Дневники : В 3 т. Л., 1955–1956, т. 1, с. 431). 27 февраля Тургенев сообщал С.Т.Аксакову о Толстом: «Он написал превосходный рассказ, под названием “Метель”. Вы увидите его в мартовской книжке “Современника”» (Тургенев. Письма, т. 3, с. 83). Сам Толстой много лет спустя вспоминал о чтении у князя Вяземского, о том, как «он стеснялся и читал плохо», что на другой день в ресторане у Дюссо, куда он зашел с приятелем бароном Ферзенем, услышал, как один офицер говорил, «что вчера было плохое чтение Толстого» («Толстой о литературе и искусстве. Записи П.А.Сергеенко» — ЛН, т. 37–38, с. 540 — запись от 13 января 1899 г.).

В эти последние февральские дни Толстой окончательно отделял рассказ. Отправляя рукопись Некрасову, он заметил в сопроводительной записке: «Кое-что я переделал, переписал и сократил, но признаюсь, еще переписывать бы не хотелось. Ежели не слишком дурно написано, особенно последний лист, то отдавайте в типографию. Я постараюсь зайти к вам утром». В самых последних числах февраля «Метель» среди других материалов «Современника» была рассмотрена в Петербургском цензурном комитете, и 29 февраля получено цензурное одобрение. 9 марта газета «Русский инвалид» (№ 55) напечатала объявление о выходе из печати третьего номера журнала «Современник»; перечисляя материалы, составившие номер, газета рядом с фамилией автора «Метели» Толстого в скобках напомнила знакомые читателям литеры «Л.Н.Т.». То же объявление 10 марта напечатали «Северная пчела» (№ 56) и «Прибавление к № 30 “Московских ведомостей”». Билет на выпуск из типографии третьей книжки «Современника» цензор В.Н.Бекетов подписал 10 марта 1856 г. («Ведомость о рассмотренных С.-Петербургским цензурным комитетом рукописях и печатных книгах в течение марта месяца 1856 г.» — РГИА, ф. 772, оп. 1, № 3808).

В рассказе «Метель» очевидно отразились впечатления и воспоминания Толстого о метели, в которую он попал 24 января 1854 г. Портреты и характеристики ямщиков тоже почерпнуты из памяти об этом «поразительном» случае. В грезах седока, безусловно, появляется Ясная Поляна: сад, пруд, березовая аллея, дворовый люд, отдельные черточки и штрихи портретов, даже имена (Федор Филиппыч, Яков Иванов) — всё это знакомые яснополянские места и люди. И в «доброй старой тетушке в шелковом платье» с «лиловым зонтиком с бахромой» узнаваема Татьяна Александровна Ергольская.

Гонорар за «Метель» должен был покрыть долг Толстого «Современнику» в 400 рублей. Однако из-за стесненных материальных обстоятельств Толстой просил Некрасова в записке 29–30 марта заплатить «деньги за “Метель” теперь, а чтоб долг 400 р. оставался до следующего писанья». Просьба Толстого была исполнена: на этой же записке неизвестной рукой написано: «За “Метель” заплачено. 30 марта произведен счет,— за Толстым осталось: 400 рублей ... 500: Итого к 1-му апреля за Толстым 900».

При жизни Толстого рассказ входил во все собрания сочинений писателя, отдельно же или в составе других сочинений почти не печатался.

В 1857 г. Некрасов готовил к изданию книжки «Для легкого чтения» и обратился к Толстому с предложением дать для этих сборников несколько произведений за вполне хорошую плату. «Еще имею к Вам следующее предложение, наперед оговариваясь, что если не найдете удобным или выгодным, то можете отказаться, нимало не огорчив меня,— писал издатель Толстому 27 июля 1857 г.— Дайте мне три Ваши повести — “Двух гусаров”, “Метель” и “Утро помещика” — для “Легкого чтения”, а я Вам дам тысячу франков. Уведомьте о Вашем решении поскорее — издание это остановилось за недостатком хороших материалов. Если не найдете удобным дать мне эти три повести на предложенном условии, то дайте хоть одну (небольшую, “Метель” или “Утро”, за 75 р. сер.) для VI книжки, которая уже печатается и которую мне хотелось бы скрасить» (Некрасов, т. 14, кн. 2, с. 85). Но в эту некрасовскую книжку «Метель» не попала. Не суждено было рассказу открыться и задуманное автором отдельное издание своих сочинений, которое он предлагал графу Г.А.Кушелеву-Безбородко в письме 26 марта 1859 г.: «Из печатанных в журналах моих сочинений есть большая половина не напечатанных отдельным изданием,— писал Толстой графу, перечисляя далее все произведения, вышедшие после “Севастополя в августе”, начиная с “Метели” и кончая рассказом “Три смерти”.— Предполагая, что перепечатка этих сочинений может мне принести что-нибудь, и зная, что Вы берете на себя издания некоторых русских авторов, я предлагаю Вашему сиятельству эти вещи, предоставляя Вам назначить время, форму и условия издания». Письмо осталось неотправленным, а издание неосуществленным.

Второй раз «Метель» вышла в свет в двухтомнике Л.Н.Толстого, изданном Ф.Стелловским. Толстой не готовил текст рассказа к этому изданию, но по инициативе издателя и по вине наборщиков в рассказе появились некоторые разночтения. В дальнейшем «Метель» печаталась по этому изданию, без правки автора.

Тогда же, в 1864 г., фрагмент рассказа был использован педагогом А.Н.Острогорским в его книге «На досуге. Этюды по естествознанию А.Острогорского» (СПб., вып. 1, 1864). В разделе «Четыре времени года» под заголовком «“Метель” (Л.Н.Толстого)» была напечатана большая часть пятой главы, начиная со слов: «Долго после этого мы ехали...». Текст Толстого сопровождался пояснениями Острогорского, откуда и куда дует холодный ветер и какой при этом бывает мороз.

Рассказ Толстого был тепло принят читающей публикой и писателями, хотя находили в нем и недостатки. С.Т.Аксаков уже через день после выхода в свет «Современника» писал Тургеневу: «Скажите, пожалуйста, графу Толстому, что “Метель” — превосходный рассказ. Я могу об этом судить лучше многих: не один раз испытал я ужас зимних буранов и однажды потому только остался жив, что попал на стог сена и в нем ночевал. Скажите ему, что подробностей слишком много, однообразие их несколько утомительно. Хотя я мало с ним знаком, но не боюсь сказать ему голую правду» («Русское обозрение», 1894, № 11, с. 583). В.П.Боткин сообщал Некрасову из Москвы 24 марта, что «Метель» «находят растянутой, но превосходной» (Переписка Н.А.Некрасова: В 2 т. М., 1987, т. 1, с. 217). Нравилась «Метель» А.Н.Островскому (Новский Л. Воспомина-

ния об А.Н.Островском — «Русские ведомости», 1887, 18 мая, № 134, с. 3).

Сам Толстой в письме 25 марта спрашивал брата С.Н.Толстого: «Как понравилась тебе “Метель”? Я ей недоволен — серьезно. А теперь писать многое хочется, но решительно некогда в этом проклятом Петербурге». Мнение сестры тоже было важно Толстому: «Как ты нашла “Метель”? — писал он М.Н.Толстой 14 апреля 1856 г. — Боюсь, что она тебе не понравилась, и ждал и жду твоего суда. Хотел ее тебе посвятить, да не стоило».

Прочитав «Метель», А.В.Сухова-Кобылин, только что закончивший и теперь готовивший к печати комедию «Свадьба Кречинского», записал в своем дневнике 31 марта: «Получил “Современник”. “Метель” Толстого — превосходная вещь. Художественная живость типов. Меня разобрало, — пришлось еще пробежать комедию...» (ЛН, т. 51–52, кн. 2, с. 519).

Первые оценки журнальной критики появились уже в марте. Безымянный рецензент журнала «Пантеон», давая краткий обзор первых книг литературных журналов за 1856 год, назвал «Метель» «хорошенькой картинкой, но без всякой мысли и содержания» («Пантеон», 1856, т. XXVI, кн. 3, «Петербургский вестник», с. 18). Более обстоятельный, но столь же нелестный отзыв о новом рассказе Толстого опубликовала газета «Санкт-Петербургские ведомости» (1856, 1 апреля, № 75, с. 424). Рецензент газеты Вл.Зотов, представляя третий номер «Современника», сообщал, что в мартовской книжке журнала «встречаются несколько имен, любимых публикою», однако знакомство с этим номером породило в его душе «тяжелое чувство несбывшегося ожидания». Рассматривая произведения «гр. Л.Н.Толстого (Л.Н.Т.)» и Д.В.Григоровича, критик отмечал, что опубликованные в этой книжке их вещи «принадлежат к далеко не лучшим и напоминают даровитых писателей только некоторыми подробностями, а не общим впечатлением их труда». «Так рассказ графа Л.Н.Толстого “Метель” заключает в себе превосходные картины зимней вьюги и двенадцатичасовой поездки ночью по снежным пустыням Земли Войска Донского, но картины эти не оживлены никакою мыслью, никаким содержанием; даже портреты ямщиков, главных действующих лиц этого рассказа, как-то неясны и оставляют сбивчивое впечатление». «Лучшим эпизодом рассказа» рецензент считал «сон автора», в котором все «рассказано чрезвычайно живо, рельефно, как обыкновенно рассказывает гр. Толстой; но от недостатка содержания даже эти двадцать страниц с небольшим кажутся длинными». «Еще неудовлетворительнее и незанимательнее» представлялась рецензенту повесть Григоровича «Пахарь».

Высоко оценил «Метель» А.И.Герцен. «Получил новые журналы русские — много интересного, — писал он М.К.Рейхель 18 (6) июня 1856 г. — Маленький рассказ гр. Толстого (“Метель”) — чудо, вообще движение огромное» (Герцен, т. 26, с. 11).

В сентябре 1856 г. журнал «Библиотека для чтения» опубликовал рецензию А.В.Дружинина «“Метель”. — “Два гусара”. Повести графа Л.Н.Толстого» (№ 9, отд. V, с. 1–30, без подписи). Статью открывал тезис, что Толстой «счастливо, правильно и разумно» начал свою деятельность литератора. «В самой литературной карьере графа Толстого, в порядке его произведений, в приеме, им сделанном», Дружинин видел «правильное, многообещающее развитие, необходимое всякому сильному таланту». И «известность, начавшаяся так разумно, с каждым годом уве-

личивалась в самой правильной постепенности». Дружинин говорил о «независимости и литературной самостоятельности» Толстого, о «несокрушимой стойкости направления» его творчества, в котором все твердо и свободно, «все строго и соразмерно с своей целью, все стороны мира равны перед поэтическим взглядом писателя». «У него одна вещь беспрестанно дополняет другую, вяжется с общей массой повестей».

Переходя к «подробной оценке» рассказа «Метель», Дружинин сразу определил, что эта «вещь полна тонкой, почти неуловимой поэзии». «В «Метели» даровитый автор создает целую фантастическую картину из предмета, о котором прозаичный человек не способен сказать десяти слов к ряду». «Там — русская проза под пером художника по временам достигает тех пределов, к которым и хороший стих не всегда подходит»; «автор раскрывает перед нами область неуловимых личных ощущений, испытанных им в данный момент его дорожной жизни». Дружинин видел, что «Метель» — одно из «прямых последствий тех разнообразных задатков, которыми так богаты первые произведения графа Толстого». «Обладая в одно время и поэтическим инстинктом, и твердым взглядом на жизнь, и даром могучего анализа, и самобытной силой фантазии, наш автор,— писал рецензент,— будет постоянно дарить своих читателей творениями самого многостороннего значения, творениями, из которых, как мы надеемся, каждое будет представлять собою новую степень полного обладания своим завидным талантом».

Дружинин понимал, что в рассказе «Метель» Толстой поставил перед собой задачу, которая «принадлежит к числу труднейших задач искусства». «Вещи вроде «Метели», но от начала до конца проникнутые поэзией самых тяжелых моментов человеческого существования, до сих пор удавались у нас лишь Пушкину и Гоголю»,— писал автор рецензии, наряду с этими писателями упоминая Тургенева и Фета. «Но ни Фет, ни Тургенев не давали своим вещам того размера, который придан «Метели». Их прекрасные опыты выигрывали от своей краткости, ибо в вещах, преисполненных тонкого поэтического интереса, одна страница, не достигающая цели, предположенной автором, есть пятно на всем произведении». В связи с этим Дружинин упоминал пушкинское стихотворение «Бесы», которое «потеряло бы половину своей изумительной прелести, если б в нем было хотя два стиха без поэзии». «С прозой, вроде «Метели», ее автор должен обращаться как с стихотворением»,— считал критик. Автора рассказа Дружинин прямо называл «поэтом» и полагал, что «всякое истинное и сильное впечатление поэта имеет право быть переданным, ибо в основании его всегда лежит целый мир поэтических ощущений, тем более неуловимых и тонких, чем предмет их немногосложнее». Толстой ведет рассказ «мастерски. Зорко подмечает он все мельчайшие поэтические подробности внешнего и внутреннего мира, с бесконечной правдой рисует он нам картину за картиною и местами, как, например, в описании своего тревожного сна, возвышается до поэзии поистине изумительной. Начало вьюги, описание обоза, сон, наконец, рассвет и прибытие на станцию — все это способно привести в сумасшедший восторг всякого читателя, чующего поэзию».

Вместе с тем Дружинин видел и слабые моменты в «Метели», когда автор «выказывает свое собственное утомление», когда появляются «подробности ненужные и места, не обработанные достаточно». «Цель не до-

стигнута с одного разу,— писал критик,— тогда как по сущности задачи без этого нельзя было обойтись. С той минуты, как читатель находит первую длинноту в “Метели”,— все произведение уже становится замечательным эпизодом, но никак не окончанным созданием». Дружинин смотрит на него «как на этюд даровитого писателя», но «не может им не наслаждаться» и, хотя не видит «стройности», отмечает, что в рассказе «есть жизнь, есть слог, есть то редкое слияние могучего анализа с тонкой поэзией, которое само по себе, без всяких посторонних примесей, ставит графа Толстого прямо в ряды первоклассных русских писателей».

В «Метели» Дружинин не находил «ни одного выражения “для красоты слога”». А если автор рассказа и «ошибается», то это лишь из-за «обилия подробностей». «Его собственные впечатления не смутны и не сбивчивы, но часто чересчур избыточны, во вред общему ходу рассказа. Описание лошадей с их спинами, физиономиями, кисточками на сбрее, колокольчиками, изображении извозчиков со всеми частями их наряда совершенно верны, но местами излишни», потому что Толстой «не сделал надлежащего *выбора* из своих впечатлений». А именно «*выбор* поэтический», по Дружинину, есть «последняя ступень» «художественного совершенства».

На рецензию Дружинина отозвался журнал «Сын отечества», упомянув ее в обзоре публикаций сентябрьской книжки «Библиотеки для чтения» и напомнив читателям о «повестях графа Л.Н.Толстого “Метель” и “Два гусара”, с таким удовольствием прочитанных многими в “Современнике” нынешнего года» («Сын отечества», 1856, 16 сентября, № 24, с. 262).

В отличие от Дружинина критик «Отечественных записок» С.С.Дудышкин не увидел подлинной поэзии в рассказе «Метель». В № 11 за 1856 год журнал поместил его статью о двух первых только что вышедших сборниках Л.Н.Толстого (с. 11–18). Здесь Дудышкин не преминул поговорить и о «Метели», заметив, что в рассказе «автор до того пристрастился к мелкой наблюдательности, что забыл о существовании главного художественного правила, по которому отделка мелочей есть дело второстепенное». Анализируя военные рассказы и пытаясь разобраться, чего же «недостает в таланте гр. Толстого», критик предлагал взглянуть пристальнее на «другую его прекрасную картину» — рассказ «Метель». Противопоставляя «Метель» стихотворению Пушкина «Бесы», он писал, что поэт не выдвигает «на первый план свою личность» и «наблюдениями над картиной» не «старается опозитизировать ее», тогда как Толстой «не забывает путешественника и его личности ни на минуту, он на ней старается сосредоточить интерес, как в картине “Севастополь в августе” старался соединить его на Володе Козельцове. Отсюда картина имеет совершенно особый характер. Путешественник наблюдает все мелочи; видит, которая ресница у ямщика побелена, которое ухо занесено снегом у лошади, чрезвычайно тонко анализирует свою собственную дремоту и свой собственный переход от наблюдений ко сну». Критик считал, что в «Метели» «подмечено превосходно» «самое начало возникновения сновидений» и «сон необыкновенно хорош». Однако, любуясь всей этой картиной, Дудышкин ощущал какую-то тесноту, «точно надел узкое платье, точно фантазия привязана к какому-то довольно мелкому предмету и оттого она не может разгуляться на просторе». Виною этому «та мелкая наблю-

дательность, которая может, наконец, произвести картину, но картина эта не всегда будет одно и то же значить, что поэзия. <...> Поэзия выше картинности, выше картин, особенно если в этих картинах играет главную роль одна фантазия автора, основанная на личном его чувстве, на ощущениях, до него лично касающихся, когда из-под этих ощущений не проглядывает нечто более общее, принадлежащее целому народу, а не одному лицу».

Далее Дудышкин рассуждал о взаимоотношениях «поэзии» и «истины» и задавал вопрос: «Что в самом деле несправедливого, неистинного в картине гр. Толстого?» И отвечал: «Строгость отделки доведена у него здесь до последних пределов: нет черты, которая не была бы взята прямо из жизни, из наблюдений необыкновенно верных и тонких, а между тем, все эти черты, вся эта наблюдательность, как они холодны кажутся, когда сравнишь их с широкой картиной, нарисованной Пушкиным, от которой в одно и то же время и воображение далеко улетает, и сердце бьется шибко, и ум говорит вам: это истина, неподдельная, непреувеличенная!» «Такая наблюдательность над частями, которой недостает широкого взгляда на целое,— продолжал Дудышкин,— такие картины, которыми невольно любуешься, но которые неглубоко черпают содержание жизни, составляют главный недостаток произведений гр. Толстого. Эта наблюдательность, всегда меткая, не всегда порождает поэзию. Для поэзии нужно чувство шире, многообъемлющее. Поэтому в произведениях разбираемого нами автора тонко обрисованные характеры стоят как-то уединенно».

Толстой, прочитав критику Дудышкина, отметил в дневнике 11 ноября 1856 г.: «умно и дельно».

В декабрьском номере «Современника» за 1856 год была опубликована статья Н.Г. Чернышевского о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах» Толстого (№ 12, отд. III, с. 53–64), где критик обращал внимание на удивительное мастерство молодого писателя в «изображении внутреннего монолога». «...Та сторона таланта графа Толстого, которая дает ему возможность уловлять эти психические монологи,— писал Чернышевский,— составляет в его таланте особенную, только ему свойственную силу». «Метель», отмечал критик, «вся состоит из ряда подобных внутренних сцен» (с. 57). И в этом же номере в «Заметках о журналах» (№ 12, отд. V) среди замечательных и «даже блестящих явлений» уходящего 1856 года Чернышевский наряду с «Севастополем в августе 1855 года» и повестью «Два гусара» называл «“Метель” графа Толстого» (с. 297).

Представляя журнал «Современник» за истекший год, в начале 1857 г. «Сын отечества» в «Очерке истории русской словесности в 1856 году» называл «лучшие беллетристические произведения», опубликованные в этом журнале: небольшой список открывали все три «замечательные» произведения Толстого, увидевшие свет на страницах «Современника», среди них была упомянута и «Метель» («Сын отечества», 1857, № 4, с. 91).

О рассказе «Метель» критики не забывали и впоследствии. Д.И. Писарев, рассматривая рассказ Толстого «Три смерти», не мог в своей статье не коснуться «Метели». Говоря о «личной, характеристической особенности» Толстого-писателя, он отмечал, что «никто далее его <Толстого> не простирает анализа, никто так глубоко не заглядывает в душу человека, никто с таким упорным вниманием, с такой неумолимой последова-

тельностью не разбирает самых сокровенных побуждений, самых мимолетных и, по-видимому, случайных движений души. Как развивается и постепенно формируется в уме человека мысль, через какие видоизменения она проходит, как кипит в груди чувство, как играет воображение, увлекающее человека из мира действительности в мир фантазии, как, в самом разгаре мечтаний, грубо и материально напоминает о себе действительность и какое первое впечатление производит на человека это грубое столкновение между двумя разнородными мирами,— вот мотивы, которые с особенной любовью и с блестящим успехом разрабатывает Толстой». Приводя в качестве примеров некоторые моменты из произведений Толстого, первым в этом ряду критик называл «описание сна и пробуждения в “Метели”» («Рассвет», 1859, № 12, отд. II «Библиография», с. 63–64).

Мимоходом упомянул «Метель» и Ап. Григорьев во второй статье о сочинениях Толстого, самокритично названной «Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой» («Время», 1862, № 9, отд. II, с. 1–27). Для Григорьева этот рассказ — «художественный этюд, свидетельствующий о необыкновенной силе и особенности таланта» Толстого, «но имеющий <...> характер чисто внешний». Критик пытался определить своеобразие мастерства Толстого в раскрытии психического процесса и видел его прежде всего в «анализе необыкновенно новом и смелом, анализе таких душевных движений, которых никто еще не анализировал»: «Особенность его в том, что он роется глубже всех других», «руководимый своим необычайным анализом». Ап. Григорьев отчетливо запомнил, казалось бы, несущественную, мимолетную деталь в VI главе «Метели»: «Мудрено ли, что при огромном таланте анализ изощрился до того, что в “Метели” способен влезть в существо воробья, который “приворился, что клюнул”».

Иного рода «этюды» увидел в «Метели» Е.Н. Эдельсон, в 1863 г. опубликовавший в «Библиотеке для чтения» большую статью о только что вышедшей повести «Казачи» (№ 3, раздел «Современная летопись»). «Приготовлениями к какой-то определенной и яркой деятельности, пробами таланта, еще не определившего своего настоящего призвания», казались критику некоторые ранние сочинения Толстого, явившие собой «как бы этюды, не имея глубокого внутреннего содержания, какова “Метель”» (с. 3).

В журнале «Отечественные записки», № 11–12 за 1863 год, безымянный рецензент, представляя читателям книгу рассказов Николая Успенского и стараясь защитить автора от обвинений в «бесцельной наблюдательности», в изображении «одних внешних черт», ссылаясь на рассказ «Метель»: «Но ведь и “Метель”, гр. Толстого, тоже внешняя картинка, однако же она постоит за себя» (с. 116).

Мастерство Толстого в рассказе «Метель» очень высоко ценил В.В. Стасов. Об этом он писал из Петербурга автору 20 января 1882 г. Восхищаясь «внутренними монологами», или, как их называл Стасов, «этими разговорами — solo, с самим собою», в только что вышедшем рассказе «Чем люди живы», критик писал: «Почти у всех разговор действующего лица с самим собою является чем-то искусственным, условным и невероятным по форме. У вас же — это одна из высших ваших сил по правде и истинности. Разговоры solo, с самим собою, неправильное и капризное

течение мыслей у человека являлись у вас *chef d'oeuvre*'ами всегда...», — и далее в числе других произведений Стасов называл рассказ «Метель» (Лев Толстой и В.В.Стасов. Переписка. 1878–1906. Л., 1929, с. 61).

Почти каждый, кто писал о раннем творчестве Толстого, обращался и к рассказу «Метель». О.Миллер в книге «Русские писатели после Гоголя» (Ч. 2. СПб., 1886) отмечал, что в этом рассказе мы «непосредственно с народом знакомимся». Известные черточки народного характера видел он в том, что рассказчик с ямщиком «пристали к другим путникам не потому, чтобы рассчитывали вслед за ними выбраться на настоящую дорогу, а в силу того, что, как говорит русская пословица, *“на людях и смерть красна”*». «Нерисующееся присутствие духа» в этих «людях не культурных, работников разного рода» обнаруживал О.Миллер. Как в кавказских рассказах «солдаты стараются ободрить себя различными рассказами о вещах совершенно посторонних, так и тут сбившиеся с пути извозчики <...> занимают себя рассказыванием сказок». А то, что «ямщик, выбившись совершенно из сил», передает барина в другую повозку, т.е. «сдаст его на руки другим», расценивалось как чувство долга «даже в эту минуту общей опасности» (с. 279). «В высшей степени художественным» представлялся автору книги «удивительный сон, прямо переносящий нашего путешественника из зимы в лето: то утопание в снегу, которое, может быть, предстоит ему наяву, во сне принимает образ утопания в реке». «Но главный интерес рассказа» ученый видел «в характеристике народа, так же мало рисующегося и мало думающего о себе в минуту какой бы то ни было опасности, как и во время похода или осады» (с. 280).

По-своему взглянул на «Метель» журналист, писатель Ф.И.Булгаков. В его книге «Граф Толстой и критика его произведений, русская и иностранная» (СПб., 1886) основное внимание уделено не художественной стороне рассказа, а безысходности самой ситуации, в которой оказался путник. «Драматичностью отличается и положение героя рассказа “Метель”, — писал Булгаков. — Тут нет смерти; тут поэтически воспроизведены тяжкие минуты человеческого существования: страх гибели при полной беспомощности и ни для кого неведомой, среди снежной пустыни. И картина метели, когда кругом все бело, светло, снежно и неподвижно, когда не видно ни столба, ни жилья, ничего живого, когда коченеют постепенно все члены, подкрадывается усыпляющая смерть, возбуждает целую вереницу ощущений. Описание тревожного сна возвышается до изумительной поэзии. Драматизм в положении путника заключается в самом его психическом состоянии, которое вызвано изнурением от холода, от нескончаемо-длинной дороги и мыслью о неизвестности конца». Булгакову слышался и социальный мотив рассказа; находя «различие между человеком культурным и простым тружеником», он обращался к фигурам ямщиков: «Русскому человеку нередко приходится быть в таком трагическом положении в зимнее время, и кому, как ямщикам в “Метели”, испытывать это не в новинку, тем привычна трагичность подобного положения, и в них оно не возбуждает ни страха, ни фантастических опасений. Они покоряются всем неприятностям этого положения и поддерживают в себе бодрость настроения добродушной иронией» (с. 60).

В 1891 г. вышла книга литературно-критических очерков поэта С.А.Андреевского «Литературные чтения», где в очерке о Л.Н.Толстом автор касался и рассказа «Метель». Зоркость поэта-художника позволила

Андреевскому увидеть в «Метели» то, мимо чего скользил обычно поверхностный взгляд критиков: «Там, где у другого останется в памяти лишь тусклое сплошное пятно без оттенков, у Толстого остается пестрый, многоцветный спектр. Так, у него есть рассказ “Метель”, содержание которого состоит только в том, что целую ночь мело и путник с ямщиком чуть не заблудились, но эта мутная ночь, этот падающий снег и ничего более — дали Толстому обширный материал: чуть заметные перемены в температуре воздуха, освещении неба и направлении ветра, все переходы возрастающего обсыпания снегом ямщика, лошадей и дороги, все движения колеблющегося, падающего и крутящегося снега,— все это воспроизведено с такою полнотою правды, что “Метель” нисколько не скучна, потому что это повторение самой жизни...» (Андреевский С. Литературные чтения. СПб., 1891, с. 259–260).

В год 75-летнего юбилея Толстого, в 1903 г., в Петербурге вышел альбом «Гр. Лев Толстой. Великий писатель земли русской в портретах, гравюрах, живописи, скульптуре, карикатурах и т.д.» (сост. П.Н.Краснов и Л.М.Вольф). В этом альбоме было отведено место и рассказу «Метель»: составители опубликовали страницу рукописи Толстого под названием «Вечерние повести. М.Главитина. Мятель 12 февраля 18..¹ года», сопроводив ее подписью: «Автограф начала рассказа “Мятель” гр. Л.Н.Толстого» (с. 21). Однако это была ошибка: опубликованный автограф не имел отношения к названному рассказу, а являлся рукописью более позднего незавершенного сочинения². Воспроизводя автограф другого произведения, авторы здесь же давали краткую характеристику рассказу «Метель», отмечая, что «описание езды отличается особенной пластичностью». «В свое время,— сообщалось в альбоме,— эта повесть прошла незамеченною, как и большинство произведений гр. Л.Н.Толстого этого периода, когда литература наша была занята вопросами современными — гр. Л.Н.Толстой затрагивал вопросы, имеющие общий, постоянный характер» (с. 21).

В Европе первыми познакомились с рассказом французы: 26 мая 1870 г. газета «Русские ведомости» (№ 110) сообщала о печатании в Брюсселе на французском языке сборника избранных повестей русских писателей-беллетристов. В первый выпуск этого сборника был включен и рассказ «Метель». Через шестнадцать лет второй раз на французском языке он появился в книге избранных произведений Толстого в переводе И.Д.Гальперина-Каминского («Polikouchka». Paris, 1886). Как указывалось в книге, перевод был сделан с разрешения автора. Второе и третье издания этой книги вышли в 1896 г. Еще раз во Франции «Метель» была напечатана в собрании сочинений Толстого в 1903 г. (Т. 5. Paris). Для этого издания рассказ перевел французский литератор, переводчик Ж.-В.Биншток, а редактировал и комментировал текст П.И.Бирюков.

Отдельной книжечкой «Метель» вышла на словацком языке в 1883 г. («Metel. Poviedka». Turč. Sv. Martin, Izak, 1883 — в серии «Románová

¹ В рук.: 18[69] [79] 00

² В Юб. опубликовано под заглавием «Вечерние повести М.Главитина» (т. 90, с. 115–117).

biblioteca») в переводе Й.Шкультеты. Через год это издание было повторено.

Первый английский перевод рассказа был опубликован в книге «My husband and I and other stories» (London, 1887 — Vizetelly's Russian stories). Тогда же, в 1887 г., «Метель» дважды вышла в США: отдельным изданием в переводе Н.Х.Доула («The snow-storm», New-York) и в том же переводе в составе книги «The invaders and other stories» (New York). Эта книга через год была напечатана и в Англии (London, 1888). Новый перевод «Метели», сделанный К.Гарнетт, был издан в Англии в 1902 г. в книге «The death of Ivan Ilyitch and other stories» (London). В 1904 г. рассказ появился сразу в трех изданиях в переводе Л.С.Винера: в Англии и США в собраниях сочинений Толстого (vol. 3. London; vol. 2. Boston) и в книге «A Moscow acquaintance» (Boston). Тогда же в Нью-Йорке вышла большая книга о Толстом Эдварда Штайнера, где была упомянута «Метель»: критик замечал, что «чувство природы — одно из толстовских художественных качеств», которое проявилось в рассказе, но во всей своей полноте оно раскроется в «Войне и мире» (Steiner Edward A. Tolstoy the man. New York, 1904, p. 98). Через год в Англии рассказ был опубликован (переводчики: С. Garnett и С. Hogarth) в книге «Master and man, and other parables and tales» (London, 1905). Эта книга вторым изданием вышла в 1910 г. в Англии и тогда же была напечатана в США (New York). В последний год жизни Толстого на английском языке вышел еще один перевод «Метели» в книге «More tales from Tolstoy» (London, 1910. Transl. by R.N. Bain).

Одновременно с первым англоязычным изданием в 1887 г. появился в печати первый немецкий перевод «Метели», сделанный Г.Роскошным (в книге «Russische Soldatengeschichten und kleine Erzählungen». Leipzig). Через год «Метель» была дважды издана в Берлине: в книге «Zwei Erzählungen» (Berlin, 1888) и в книге рассказов Толстого в переводе Л.-А.Гауфа «Der Schneesturm» (Berlin, Steinitz, 1888). В 1890 г. рассказ Толстого вошел в сборник «Realistische Novellen von L.Tolstoj und W.Korolenko» в переводе А.Шольца (изд. Фишера). Все следующие издания «Метели» на немецком языке при жизни Толстого выходили в переводе Р.Лёвенфельда. В 1891, 1897, 1901, 1910 гг. рассказ был представлен в собраниях сочинений Толстого и других книгах, изданных самим переводчиком в Берлине, Лейпциге, Йене.

«Метель» стала известна в Германии раньше, чем была переведена на немецкий язык. Уже в книге очерков о русских писателях немецкого литератора Ойгена Цабеля, изданной в 1885 г. (Zabel E. Literarische Streifzüge durch Rußland. Berlin, 1885), в очерке о Л.Н.Толстом шла речь и о рассказе «Метель». Более подробно критик анализировал рассказ в книге о Толстом (Zabel E. L.N.Tolstoi. Leipzig, Berlin, Wien, 1901), переведенной и изданной в России (Цабель Е. Граф Лев Николаевич Толстой. Киев, 1903. Перевод В.Григоровича). «Блестяще написанным очерком» представлялась «Метель» Цабелю; он отмечал, что «картина природы, которую развертывает перед нами Толстой, <...> отличается очаровательной игрой красок». «И все-таки не природа, — с какой бы силой ни проявляла она себя, — составляет конечную цель этого рассказа, а характеристика людей, которым угрожает это сильное явление природы», — полагал Цабель и прежде всего обращал внимание на «типы кучеров-ямщиков, ори-

гинального, характерного для России класса людей, у которых как-то странно перемешиваются одно с другим добродушие и лукавство и наблюдение которых, благодаря порядочной дозе то природного ума и находчивости, то замкнутости и строптивого своенравия, всегда представляет значительный интерес». В числе «представителей этого класса» критик видел и «подвижных почтовых ямщиков», и «неповоротливых обозных возчиков», и «кучера рассказчика, тяжелого, угрюмого человека», и «насмешливого, ловкого ямщика, который и приводит к благополучному концу это опасное путешествие». Рассуждения о «Метели» в книге Цабеля близки по форме к аналитическому пересказу; особенно старательно пересказывал автор сон путника, замечая при этом, что «так перепутываются действительность и фантастическое одно с другим». «Ночное путешествие под непрерывный вой метели» представлялось Цабелю «тяжелым кошмаром, который исчезает только утром, когда путники добрались до первого попавшегося кабака и крепким напитком оживили свои ооченелые члены. Пассажир оказывается беспомощным перед бушующей стихией, а простой человек и здесь неизменно сохраняет свое превосходство. Подобную же тему Толстой разработал позднее в «Хозяине и работнике»: богатый крестьянин и лошадь замерзают во время вьюги, а работник остается в живых» (с. 66–68).

В один год с первыми английским и немецким изданиями «Метель» в 1887 г. была напечатана в Швеции в книге «*Bilder ur ryska samhällslivet*» (Stockholm), а через год вышла на датском языке в переводе В. Герстенберга («*Udvalgte fortællinger*». Kjøbenhavn, 1888). В 1889 г. рассказ появился на чешском языке, в переводе Я. Яначека он был опубликован в книге «*Spisy*» (Sv. 2. Praha). Один раз «Метель» была издана в Испании, в книге «*El ahorcado*» (Madrid, 1892.— *Colección de libros escogidos*), и дважды на голландском языке: в 1904 и в 1908 гг. («*De sneeuwstorm*». Amersfoort, 1904.— *Novellistische meesterwerken*. 6.; и под тем же заглавием изд.: Amsterdam, 1908.— *Blauwe bibliotheek* № 9).

С. 183. ...уже очевидно целиком...— Целик — место без дорог, целина. ...обратные с той станции поехали...— Обратные — ямщицкие лошади, возвращающиеся со станции назначения домой, порожняком. Обратными называли и ямщиков.

С. 184. Звук этой терции и дребезжащей квинты...— Терция — третья ступень диатонической гаммы. Квинта — тончайшая, самая высокая струна у некоторых смычковых инструментов.

С. 186. ...взлез по шлее на одну из лошадей...— Шлея — часть конской упряжи, состоит из продольного ободового и поперечных ремней.

Мы тоже езжали с рядою...— Ряда — извоз, обозный промысел.

С. 188. ...сделав себе из армяка...— Армяк — крестьянский кафтан из толстого сукна.

С. 190. ...и вальком, изредка постукивающим о лубок саней.— Здесь: валёк — толстая палка у передка экипажа, к которой прикреплялись постромки пристяжной лошади.

С. 192. ...удары валька по мокрому белью...— Здесь: валёк — плоский деревянный брусок с рукояткой для выколачивания белья при полоскании.

...держась за посконную юбку...— Посконный, то есть из поскони — домотканого холста из волокна тонкой конопли.

С. 194. *Показываются комола, облитые водой.*— Комола — палки, к которым прикрепляются концы невода (бредня).

...употребить арнику...— Арника — лекарственное растение.

С. 197. *...спускала постромки...*— Постромка — ремень (веревка), соединяющий валёк с хомутом при дышловой запряжке или у пристяжной.

С. 202. *Целовальник, должно быть...*— Целовальник — торговец («сиделец») в винной лавке, кабатчик.

...с полуштофом в руке...— Полуштоф — старая русская мера водки, бутылка, равная $\frac{1}{20}$ ведра.

НЕОКОНЧЕННОЕ

ЗАПИСКИ О КАВКАЗЕ. ПОЕЗДКА В МАМАКАЙ-ЮРТ

Впервые: *Юб.*, т. 3, с. 215–217.
Сохранился автограф (4 л.).
Печатается по автографу.

Осенью 1852 г. Толстой задумал писать небольшие произведения о Кавказе. Только что в «Современнике» напечатано «Детство», почти закончен, но на время оставлен «Набег», а в дневнике 13 октября появилась запись: «Хочу писать к<авказские> о<черки> для образования слога и денег». 19 октября новый замысел представлен на страницах дневника более конкретно и развернуто: готова «программа» «очерков Кавказа» и, хотя работу над ними Толстой связывал с ожидаемым письмом от Некрасова, основные сюжеты уже определены (см. выше с. 287–288), среди них — «Поездка в Мамакай-Юрт», входящая в первый раздел, названный «Нравы народа».

26 ноября, получив долгожданное письмо, где редактор «Современника» разъяснял вопрос о гонораре за первую публикацию и предлагал молодому писателю «50 р<ублей> сер<ебром> за лист» его будущих сочинений, Толстой «хочет, не отлагая, писать рассказы о К<авказе>». «Начал сегодня»,— отмечено в дневнике. Здесь же появилось тревожное сомнение: «Я слишком самолюбив, чтобы написать дурно, а написать еще хорошую вещь едва ли меня хватит». На следующий день в дневнике запись: «Нейдет кавказский рассказ».

Написав ответ Некрасову с обещанием прислать в «Современник» первое, «что почтет достойным напечатания», Толстой решил «не торопясь приняться за что-нибудь». Но работа над начатым сочинением не подвигалась. «Пробовал писать, нейдет»,— отмечена в дневнике 28 ноября последняя попытка продолжить очерк о поездке в Мамакай-Юрт. Далее для себя Толстой объяснял, почему «нейдет»: «Видно, прошло время для меня переливать из пустого в порожнее. Писать без цели и надежды на пользу решительно не могу». Очерк остался незаконченным, больше к работе над ним Толстой не возвращался. В декабре 1852 г. Некрасову был отправлен другой рассказ — «Набег».

Автограф на четырех листах небольшого формата — единственная рукопись сочинения. Исправлений не много (см. вторую серию наст. изд.), в частности в заглавии: первоначальное название очерка — «Записки о Кавказе». Несколько раз Толстой изменял фразы, где описывал «то чув-

ство, которое испытывал при чтении» Марлинского и кавказских сочинений Лермонтова, или предупреждал читателя, что «от многих <...> звучных слов и поэтических образов» должно будет отказаться при чтении его рассказов. Трудно оказалось определить «пространство, занимаемое Чечней по ту сторону Терской линии». Первоначальный вариант этого фрагмента фразы («[место] [то] пространство [за Т<ерской>] по ту сторону Терской линии, из кот<орого> изгнанные подданные Шамиля и в котором в крепостях [или] и аулах живут одни мирные горцы или русские солдаты») был заменен более лаконичным: «пространство, из которого изгнаны подданные Шамиля по ту сторону Терской линии», — и только третий вариант окончательно остался в тексте рукописи.

Место действия, указанное в незавершенном сочинении, — Старый Юрт и его окрестности, где находились «воды Старого Юрта», — Большая Чечня, «за Тереком». Старый Юрт — «один из самых больших и богатых мирных аулов», как писал Толстой. В лагере близ Старого Юрта прожил Толстой со старшим братом несколько недель летом 1851 г., едва очутившись на Кавказе. Это было его первое знакомство собственно с Кавказом, с Чечней, с горцами, их обычаями и нравами. Вот почему замысел о «поездке в Мамакай-Юрт» вошел в общий большой замысел рассказать о «нравах народа». Сама «поездка» состоялась, видимо, 5 июля, о чем есть упоминание в дневнике 4 июля 1851 г. Записи в дневнике после 4 июля надолго прервались и возобновились лишь 10 августа, по возвращении в станицу Старогладковскую.

Что произошло во время поездки в Мамакай-Юрт, столь запомнившееся Толстому? В каком из аулов с этим названием был он? ¹ «Тетеньке» Т.А.Ергольской в Ясную Поляну Толстой писал 22 июня о лагере под Старым Юртом и о своих первых впечатлениях: «Едва приехав, Николенька получил приказ ехать в *Староюртовское укрепление для прикрытия больных в Горячеводском лагере*. Недавно открылись горячие и минеральные источники различных качеств, целебные, говорят, для простудных болезней, для ран и, в особенности, для болезней... Говорят даже, что эти воды лучше Пятигорских. Николенька уехал через неделю после своего приезда, я поехал вслед за ним, и вот уже почти три недели, как мы здесь, живем в палатке, но, так как погода прекрасная и я понемногу привыкаю к этим условиям, — мне хорошо. Здесь чудесные виды, начиная с той местности, где самые источники: огромная гора камней, громоздящихся друг на друга; иные, оторвавшись, составляют как бы гроты, другие висят на большой высоте, пересекаемые потоками горячей воды, которые с шумом срываются в иных местах и застилают, особенно по утрам, верхнюю часть горы белым паром, непрерывно поднимающимся от этой кипящей воды. Вода до такой степени горяча, что яйца свариваются (*вкрутую*) в три минуты. В овраге на главном потоке стоят три мельницы одна над другой. Они строятся здесь совсем особенным образом и очень живописны. Весь день татарки приходят стирать белье выше и ниже мельниц. Нужно вам сказать, что стирают они ногами. Точно копошащийся

¹ В Большой Чечне по крайней мере два аула носили название Мамакай-Юрт: один (ближе к Старому Юрту) — несколькими верстами северо-западнее крепости Грозной, второй — чуть южнее этой крепости.

муравейник. Женщины в большинстве красивы и хорошо сложены. Восточный их наряд прелестен, хотя и беден. Живописные группы женщин и дикая красота местности — поистине очаровательная картина, и я часто часами люблюсь ею. А сверху горы вид в другом роде и еще прекраснее; боюсь, однако, наскучить вам своими описаниями. Я рад, что я на водах и пользуюсь ими. <...> Офицеры здесь в том же роде, как те, о которых я вам говорил; их много. Я знаком со всеми, и наши отношения тоже такие, какие я вам описывал».

Судя по сохранившемуся наброску, Толстой намеревался дать описание того, что произвело на него особое впечатление, как в лагере, так и за его пределами, и нельзя исключить, что впечатления, сообщенные в письме тетке летом 1851 г., появились бы в тексте «Записок...». Но Толстой увлекся описанием лагерной жизни, описанием «дам», офицерских и не офицерских жен; сатира, которая не давала ему покоя в работе с рассказом «Набег», в новом сочинении звучала так же откровенно, и очерк остался незавершенным. Не только сатирический тон «Записок о Кавказе» определил их судьбу: то, что выходило из-под пера автора, никак не соответствовало самому замыслу показать «нравы народа», т.е. горцев, чеченцев, населяющих эти места.

«Записки о Кавказе» тесно связаны с рассказом «Набег». Более двух месяцев, с мая по июль, Толстой усердно трудился над своим первым кавказским рассказом, но в конце июля работа над будущим «Набегом» остановилась и только спустя четыре месяца была возобновлена. В это время, в перерыве между двумя этапами создания «Набега», Толстой и посвятил три дня увлекшему его было замыслу очерка о поездке в Мамак-Юрт. Довольно отчетливо вырисовываются черты сходства некоторых описаний в «Набеге» и в начатом кавказском очерке: следы «цивилизации» в описании дам, жен военных, в очерке и обитательниц крепости — в рассказе; спор с Марлинским и Лермонтовым в очерке — и портрет Розенкранца в третьей главе «Набега», где Толстой заметил, что этот молодой офицер — один из «удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову». То, что в «Записках о Кавказе» осталось для автора воспоминанием «детства или первой юности», становится характерической чертой Розенкранца в «Набеге».

Еще более очевидны переклички «Записок о Кавказе» с отдельными моментами «Рубки леса», в частности, с рассуждениями ротного командира Болхова о том, почему он служит на Кавказе и что такое для него этот Кавказ: свои мысли о Кавказе, высказанные в незаконченном очерке, Толстой вложил в уста офицера Болхова в шестой главе «Рубки леса».

С. 207. ...на водах Старого Юрта... — Старый Юрт (ныне: Толстой-Юрт) — большой чеченский аул недалеко от Грозного; в самом Старом Юрте и его окрестностях есть несколько целебных минеральных источников. Толстой не раз бывал в Старом Юрте.

С. 208. ...с водами Баден-Бадена или Емса... — Баден-Баден — курорт на юге Германии в горах Шварцвальд. Эмс — Бад-Эмс (Bad-Ems) — курорт в Германии (земля Рейнланд-Пфальц).

...по ту сторону Терской линии... — Терская линия — цепь казачьих станиц по реке Терек, отделявшая земли терского казачества от территории, населенной в основном чеченцами.

СВЯТОЧНАЯ НОЧЬ

Впервые: Л.Н.Толстой. Незданные рассказы и пьесы. Под ред. С.П.Мельгунова, Т.И.Полнера, А.М.Хирьякова. Предисл. Т.И.Полнера. Париж, изд. Т-ва «Н.П.Карбасниковъ», 1926, с. 37–75. Под названием: Как гибнет любовь (по копиям, сделанным в Москве с оригиналов, принадлежавших «Задруге», «Товариществом по распространению и изучению творений Л.Н.Толстого»). По автографу: *Юб.*, т. 3, с. 241–265.

Рукописный фонд составляет 50 л.

Печатается по автографу.

Замысел рассказа «Святочная ночь» впервые упомянут в дневнике 12 января 1853 г. «Задумал — очерк: Бал и бордель», — записал Толстой, находясь в крепости Грозной. С 1 января дивизион, в котором служил Толстой, был в походе, и на некоторое время командующий левым флангом Кавказской армии князь А.И.Барятинский приказал войскам оставаться в Грозной. Лагерная военная жизнь текла однообразно и праздно. Толстому «совестно так жить», и он даже среди этой «безалаберной жизни» (дневник, 20 января) пробовал как-то сосредоточиться на новом замысле, хотя получалось это с трудом. «Писал немного», — отметил он в дневнике 17 января. А дальше пытался объяснить, почему не идет задуманное сочинение: «Странно, что, задумав вещь, я долго не могу писать. Или это так случается?» Объяснения никакого не получилось, а работа шла по-прежнему вяло. «Писал немного, но так неаккуратно, неосновательно и мало, что ни на что не похоже», — запись в дневнике 21 января. И снова попытка найти причины такого нерабочего состояния: «Умственные способности до того притупляются от этой бесцельной и беспорядочной жизни и общества людей, которые не хотят и не могут понимать ничего немного серьезного, или благородного», — в отчаянии записал Толстой в тот же день.

В конце января батареиня № 4 батарея выступила из Грозной, лагерная жизнь сменилась боевой походной обстановкой. Толстой принимал участие в нескольких военных операциях и только в конце марта возвратился в станицу Старогладковскую. Поход расстроил его налаженную, сосредоточенную на литературных занятиях жизнь, но задуманный рассказ не был забыт. 17 апреля в дневнике запись: «Встал рано, хотел писать, но поленился, да и начатый рассказ не увлекает меня. В нем нет лица благородного, которое бы я любил; однако мыслей больше». В тот же день в письме к брату С.Н.Толстому: «Писать нового ничего не писал, потому что все это время был в походе; да и как-то охоты не было. Теперь опять принимаюсь». На следующий день работа пошла более успешно — 18 апреля в дневнике Толстой отметил: «Встал рано <...> писал не дурно. План рассказа только теперь начинает обозначаться с ясностью. Кажется, что рассказ может быть хорош, ежели сумею искусно обойти грубую сторону его». Возможно, именно в этот день был составлен план «Святочной ночи», который имел два варианта и предполагал в рассказе 11–12 глав. «От непривычки работать» Толстому все же нелегко было втянуться в систематические литературные занятия: житейские будничные соблазны отвлекали недавно вернувшегося из похода молодого офицера. Но работа над рассказом продолжалась и к 25 апреля Толстой за-

кончил первую черновую его редакцию, о чем свидетельствует запись в дневнике: «Окончил начерно С<вяточную> н<очь>. Примусь за корректуру». Он снова сетует, что «очень отвык от работы», но тем не менее одо из «теперешних желаний», чтобы начатый рассказ «удался».

От первой окончательной редакции «Святочной ночи» сохранилось всего три фрагмента; один из них, самый большой по объему, финал рассказа (начиная с середины главы IX «Веселье»), включающий моменты, «грубую сторону» которых Толстому удалось-таки «искусно обойти», перейдет в следующую редакцию.

В первой редакции главный герой восемнадцатилетний Alexandre, князь, иногда назван лишь инициалом К., что можно прочитать как первую букву фамилии (например, К<орнаков>) или как К<нязь>; будущий князь Корнаков здесь значился как «Н.Н.», толстый генерал Н.Н.Долгов представлен просто как «толстый генерал» и в возгласе старой цыганки дано его имя: «Мих. Ник». Аталов поименован в этой редакции «гвардеец», а графиня Шёффинг первоначально носила имя Nathalie. Присоединив последний фрагмент первой редакции рассказа к тексту, написанному позднее, Толстой не исправил имена персонажей (разночтения сохранены и в наст. изд.).

Еще один фрагмент, оставшийся от первой редакции,— сцена, рисующая графиню Шёффинг дома и ее отношения с мужем, что впоследствии представлено в главе VII под названием «А она могла бы быть счастлива». В целом характер этой сцены соответствовал более поздней редакции, однако здесь в мечтах графини Nathalie пока не было объяснения, чем же этот «милый мальчик» «так мало похож на всех окружавших ее», не было столь резко обозначенной грани между мечтами Nathalie и «действительностью», «неестественной сферой, называемой светом», в которой она вынуждена жить. В диалоге графини с мужем звучали только реплики собеседников (без авторского комментария), речь шла лишь о выигрыше графа и о возможности теперь «выкупить подмосковную». В этом разговоре никак не были выявлены характеры персонажей и отношения между супругами. В первой редакции финал сцены не содержал нравовучения, а показывал плачущую утром графиню и давал короткое объяснение ее чувствам.

Третий фрагмент, дошедший из первой редакции,— отрывок, по содержанию соответствующий большей части главы VIII «Знакомство со всеми уважаемым баринном». Правда, здесь нет характеристики «толстого генерала», будущего Н.Н.Долгова, действие происходило не в Новотроицком трактире, а «на бале за ужином»; композиционно материал главы организован несколько иначе, чем в следующей редакции, нет авторского отступления о «мыслях и чувствах влюбленного», но есть рассуждения о том, как скоро «делаются» «знакомства на бале за ужином».

26 апреля Толстой продолжил работать над рассказом, но написанное ему не нравилось: «Почти целый день, исключая игры в бары, провел над бумагой; но ничего почти не написал и что написал, то дурно». То же настроение отразилось в дневнике и на следующий день, 27 апреля: «Встал рано, писал мало <...>. Кунаки помешали писать после обеда. Вечером писал немного. Рассказ будет плох». Спустя два дня: «Написал очень мало, а был в духе. Нет привычки работать». Работа шла трудно и без увлечения. 1 мая Толстой утром «писал немного», но признался в дневни-

ке: «Пишу только с тем, чтобы кончить начатое». Вечером снова продолжал писать. Видимо, и в последующие дни автор трудился над своим сочинением. В дневниковой записи за четыре дня, «4, 5, 6, 7 мая», отмечено: «Нынче писал довольно много, изменил, сократил кое-что и придал окончательную форму рассказу». Так, по всей вероятности, Толстой определил процесс соединения вновь написанного с тем последним куском первой редакции, который перешел в новый текст рассказа. Эта вторая редакция, самая полная из сохранившихся черновиков, первоначально названная «Святочная ночь», получила новое заглавие — «Как гибнет любовь». Главный герой рассказа — Сережа Ивин (очевидная перекличка с повестью «Детство»). Текст второй редакции, за исключением первых двух и частично третьей глав, вошел в сводный текст рассказа в настоящем издании.

В середине мая 1853 г. Толстой все еще не оставлял мысли о «Святочной ночи». Получив в письмах Некрасова, а также С.Н. и М.Н. Толстых «льстящие самолюбию» отзывы о рассказе «Набег», он с новой энергией пытался взяться за работу над неоконченным сочинением. «Р<асказ> Свят<очная> Н<очь> совершенно обдумал,— записал он в дневнике 15 мая.— Хочу приняться и вступить опять в колею порядочной жизни — чтение, писание, порядок и воздержание». Вероятно, в эти дни автор начал переписывать рассказ, окончательно отделяя его: было возвращено название «Святочная ночь», внесена стилистическая правка, появились некоторые новые мысли и подробности, отсутствовавшие во второй редакции рассказа. Более циничными стали рассуждения князя Корнакова; Сережа уже окончил курс в Училище и «приехал в Москву к своей матери» — этого не было ранее (во второй редакции в главе «Мечты» упоминалась «покойная матушка»). Не было в предыдущей редакции авторского рассуждения о московском свете и укоризненных замечаний по поводу Сережиного «тщеславия молодости». Заметно отличалось описание отношений мужа и жены Шёффинг в конце 2-й главы: теперь менее подробно были даны история замужества графини Шёффинг, характеристика ее мужа и взаимоотношений супругов. В третьей главе значительно изменена картина бала, представленная прежде только в восприятии князя Корнакова. Сама же глава не доведена даже до середины — работа оборвалась (сводный текст незавершенной «Святочной ночи», таким образом, формируется из первых двух с половиной глав третьей, последней, редакции и соответствующего дальнейшего текста второй редакции, составленной самим Толстым из текста собственно второй редакции и последних глав первой редакции рассказа).

В дневнике после некоторого перерыва запись 22 мая 1853 г.: «Я очень опустился. Бросил рассказ и пишу Отрочество с такой же охотой, как писал Детство». Полностью переключившись на повесть «Отрочество», работа над которой шла параллельно с «Набегом» и со «Святочной ночью», Толстой расстался с незавершенным рассказом. Мысли же, факты и образы, появившиеся в «Святочной ночи», нашли себе место в других произведениях. В сентябре того же 1853 г. в рассказе «Записки маркера» Толстой использовал историю падения невинного юноши: Нелюдов, как и герой «Святочной ночи», чрезвычайно болезненно переживает этот эпизод в своей жизни. Спустя годы к подобной ситуации Толстой обратился, работая над «Войной и миром»: в черновиках первого

тома книги Николай Ростов, находясь в армии, близ Ольмюца, едет с Денисовым в город, где «наступает та решительная минута, о которой он думал, колебаясь, тысячу тысяч раз». «Слезами стыда и раскаяния о своем падении, навеки отделившем его от Сони», плакал Николай после всего случившегося (*Юб.*, т. 13, с. 497, 499 — варианты к I тому «Войны и мира», № 69 — рук. № 85. Т. I, ч. 3, гл. III, IV).

Ситуация, описанная в «Святочной ночи», носит отчасти автобиографический характер (см. об этом: *Гусев*, I, с. 168–169; комментарий к рассказу «Записки маркера» в наст. томе), хотя сама фигура Сережи Ивина, как и ранее в повести «Детство», видимо, была навеяна воспоминаниями о приятеле детства Александре Мусине-Пушкине и отдельные характеристические черты его отразились в облике героя рассказа. Некоторые черты Зинаиды Молоствовой воплотились в образе графини Шёфинг: «Умный, открытый, веселый и влюбленный» взгляд З. Молоствовой, упоминавшийся в июньском дневнике 1851 г., взгляд девушки, о котором с такой любовью написаны строки в стихотворении «Давно позабыл я о счастье...», наивность и милая простота графини Шёфинг — все эти детали представляются звеньями одной цепи, связующей в творческом сознании Толстого художественный образ и его прототип. Недавнее замужество З. Молоствовой (июнь 1852 г.) отозвалось и в судьбе графини Шёфинг: «(еще не прошло года, как он женился)», — писал Толстой в черновой редакции о графе Шёфинге. И хотя, как признавался сам Толстой, его «мало встревожило», что «Зинаида выходит за Тиле», нотки ревности заметно звучали в описании фигуры мужа графини Шёфинг, воображение рисовало несчастную ее судьбу, слезы, рыдания и мечты об «этом милом мальчике, так мало похожем на всех окружавших ее».

Автобиографическое начало присутствует и в описании «положения молодого человека в московском свете» (в дневнике Толстого в июне 1850 г. были начаты «Записки» именно об этом), и в описании Сережи Ивина на балу, и в отношении его к графине Шёфинг, в его сильном и свежем чувстве любви. Душевное состояние, переживаемое Сережей, видимо, испытал сам Толстой по отношению к Зинаиде Молоствовой. Последний раз он танцевал с ней на балу в ночь на 10 мая 1851 г., в Казани, по пути на Кавказ. Чувство это отразилось на страницах дневника молодого Толстого (июнь 1851 г.) и в стихотворении «Давно позабыл я о счастье...», написанном за две недели до замысла «Святочной ночи». Подобное состояние души влюбленного юноши переживают в молодости и Нехлюдов из романа «Воскресение», и Иван Васильевич, герой рассказа «После бала», написанного в 1903 г., через 50 лет после «Святочной ночи». Очевидны прямые сюжетные параллели между этими рассказами: изображение бала, сердце, полное любви, — и горький финал после бала. Совпадают даже отдельные детали и образы: веточка из букета графини Шёфинг, спрятанная Сережей в перчатку, — и перышко из веера Вареньки Б., спрятанное в перчатку Иваном Васильевичем; чувство любви, испытываемое Сережей, «разливалось на всех и на всё» — герой «После бала» «обнимал в то время весь мир своей любовью».

Не лишены автобиографического элемента сцены у цыган, где отразилось увлечение молодого Толстого цыганами, цыганской музыкой и песнями. В этих сценах — и дань раннему неосуществленному замыслу напи-

сать повесть из цыганского быта, и прообраз цыганских сцен в пьесе «Живой труп».

В рассуждениях о цыганской и немецкой музыке упоминается некий Р., «немец по музыкальному направлению и происхождению». Это, видимо, немец Рудольф, неплохой пианист и композитор, отчаянный кутила и прожигатель жизни, с которым Толстой в 1849 г. познакомился у своих московских друзей Перфильевых и которого привез на некоторое время в Ясную Поляну. Этот Рудольф послужил впоследствии одним из прототипов музыканта Альберта в одноименном рассказе.

В «Святочной ночи» появляется целый ряд лиц, второстепенных, даже третьестепенных, словно мелькающих, представляющих сценический антураж; их прообразы, живые модели вряд ли были интересны Толстому, и в рассказе от них остались лишь неопределенные размытые силуэты, сведенные в совокупный портрет: «вечные недоросли, молодые по летам, но состарившиеся на московском паркете,— Негичев, Губков, Тамарин». В этой характеристике довольно отчетливо просматриваются реальные имена (фамилии) знакомых Толстого по московскому свету: Бегичев, Зубков, Самарин. Уже в первых своих произведениях писатель, давая персонажу имя или фамилию, старался, чтобы звучали они «не фальшивыми для уха», о чем позднее писал, заканчивая работу над «Войной и миром», в статье «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”». «Знакомыми русскому уху» представляются и фамилии Корнаков (от: Горчаков), Ивин — возможно, от названия имения Ивицы, принадлежавшего друзьям Толстого Иславиным.

Особый интерес и особенную неприязнь в рассказе вызывает «отставной генерал» Н.Н. Долгов, которому Толстой дал настолько уничтожающую характеристику, что трудно поверить в ее вымышленное происхождение. Очевидно близкое знакомство автора с человеком, который послужил прототипом Долгова; причем для Толстого фигура эта была определенно негативной, средоточием всех и всяческих пороков. По всей вероятности, какие-то серьезные столкновения стали тому причиной. Знакомство с этим человеком могло относиться к довоенной жизни Толстого и, скорее всего, к периоду его московской жизни, когда двадцатилетний Толстой, подобно герою в «Святочной ночи», делал первые шаги в московском свете и завязывал первые светские знакомства. Упомянутые выше имена Бегичева и Зубкова в переписке Толстого с братьями встречаются исключительно в связи с посылкой денег и уплатой долгов. С.Н. Толстой обеспокоенно спрашивал брата: «Зачем ты велишь посылать деньги князю Бегичеву, не играешь ли ты опять в карты, ради Бога не играй» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 134–135). Сама фамилия отставного генерала Долгова наводит на мысль, что и эта фигура может быть связана с каким-то московским долгом молодого Толстого. С.Н. Толстому 13 февраля 1849 г. младший брат писал из Петербурга, ожидая присылки денег: «Деньги мне нужны не для житья моего здесь, но для уплаты долгов в Москве и здесь, которых с орловским проклятым долгом оказалось 1200 р. сер.». «Орловский проклятый долг» упоминался и в письме В.С. Перфильева Л.Н. Толстому 3 апреля 1849 г.: «Из твоих должников беспокоит меня Орлов, которого я привел немножко в себя тем, что дал ему 15 руб. серебром, для примеру посылаю тебе его записку под № 1227; на следующей почте, ежели хочешь, и остальные 1226, с тем,

чтобы ты заплатил за посылку» (*Юб.*, т. 59, с. 37). О проигрыше Орлову писал брату С.Н.Толстой 9 марта 1849 г.: «Живи же себе в Петербурге, служи, это будет еще лучше, но одно страшно мне, как бы тебя не поддели бы там в картишки; старик Перфильев говорит, что насчет этого Петербург очень опасен. Смотри же, там станут с тобой играть не Орловы и Ивановские, а действительно так называемые порядочные люди. Я этого ужасно для тебя боюсь. С твоим презрением к деньгам ты, пожалуй, там проиграешь что-нибудь значительное» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 43). Видимо, этот Орлов и стал прототипом Н.Н.Долгова в рассказе «Святочная ночь», а фамилия его как раз и образована от слова «долг», воспоминание о котором было тяжело и мучительно.

Автобиографические черты в рассказе проступают и в мечтах Сережи (глава «Мечты»): деревня Семеновское, где он родился и провел детство, березовая аллея, прямые липовые темные аллеи, пруд и в саду любимое место покойной матушки — все это знакомые места в Ясной Поляне (прешпект, парк Клины, пруды, любимая беседка матери).

С. 209. ...*январских ночей святок*...— Святки — праздничные дни, промежутки времени от Рождества до Крещения.

...*вниз по Кузнецкому мосту*...— Кузнецкий мост — улица в центре Москвы.

...*засаленный будочник*...— Будочник — в XIX в. в российских городах полицейский, наблюдавший за порядком на улицах и находившийся в будке.

С. 210. ...*куаферское искусство*...— Парикмахерское искусство.

...*в помадных руках*...— То есть руки в мази для умягчения волос.

...*без малейшей аффектации*...— Аффектация — преувеличенность в изъяснении чувств, искусственность в жестах, манерах, выпренность речи.

С. 212. ...*на перекладных*...— То есть в повозке с лошадьми, сменяемыми на почтовых станциях.

...*ни накладки*...— Накладка — полупарик, паричок, накладываемый на лысину.

...*к милому дебардёру*...— Дебардёр — (от *фр. débordier* — выходить из берегов, выдаваться) раскованная, вольных нравов.

С. 213. ...*попасть в скучную партию* — *по полтине*...— То есть играть в карты с маленькой ставкой, коном.

С. 215. ...*с простой зеленой куафюркой на голове*...— Куафюра — украшение на голове.

С. 216. ...*барон со стеклушкой*...— То есть с моноклем, круглым оптическим стеклом для одного глаза, употребляемым вместо очков.

С. 217. ...*вечные недоросли*...— Недорослями в XVIII в. официально называли молодых дворян, не достигших совершеннолетия и не поступивших еще на государственную службу.

С. 224. ...*чем все ум, красота, кандидатство*...— Кандидат — младшая ученая степень, присваивавшаяся в дореволюционной России после окончания учебного заведения с отличием; бакалавр.

С. 226. *Отпханьте, чавалы!* — То есть отоприте, откройте дверь. Чавалы (чавалэ) — традиционное обращение к цыганскому хору.

С. 228. ...казакины, шаровары в сапоги...— Казакин — полукафтан на крючках со стоячим воротником и со сборками сзади.

С. 229. ...ну ладно, ладно, сабаньте...— Сабанить — сильно дуть, орать.

...для публики, которая собирается в пассаже...— Пассаж — крытая галерея с рядом магазинов по обеим сторонам, соединяющая две улицы.

...каждый лазарони понимает арию Доницетти и Россини...— (от итал. lazzaróne — нищий, босяк, бездельник), то есть каждый итальянец, любой, понимает оперную музыку.

...в «Оскольдовой могиле» и «Жизни за царя»...— Оперы А.Н.Верстовского (1835) и М.И.Глинки (1836).

...русских абонеров...— Абонер (от фр. abonner — абонировать) — здесь: абонент.

С. 230. Я писал порядочно, он очень хорошо...— То есть записывал мелодию графическими знаками.

...мы нашли ходы квинтами...— Квинта — пятая ступень гаммы, а также интервал между первой и пятой степенями.

...что-то вроде фуги...— Фуга — одна из основных музыкальных форм многоголосного стиля, построена на принципе повторения мелодии, прозвучавшей в каком-либо голосе, другими голосами в точном или неточном воспроизведении, в иных разнообразных вариантах.

С. 231. ...история дамы камелий...— В воображении героя проходит история о «благородной и страдающей куртизанке», рассказанная французским писателем А.Дюма-сыном в популярном романе «Дама с камелиями» (1848).

ХАРАКТЕРЫ И ЛИЦА

Впервые: Юб., т. 4, с. 377–380.

Сохранился автограф (4 л.).

Печатается по автографу.

«Характеры и лица» — общее название замысла, возникшего у Толстого в феврале 1855 г. Во второй половине января Толстой был переведен на новое место службы в легкую № 3 батарею 11-й артиллерийской бригады, которая стояла в нескольких верстах от Севастополя в гористой местности на реке Бельбек. Трудности службы (зима, холодная землянка, отсутствие элементарных бытовых удобств) усугублялись тем, что в батарее не было книг, и еще более тем, что круг батарейных офицеров пришелся не по душе Толстому. Летом, 3 июля 1855 г., в письме брату С.Н.Толстому он вспоминал о том времени: «Ни одной книги, ни одного человека, с которым бы можно поговорить». Еще более жесткие характеристики в январском дневнике: о командире батареи капитане В.С.Филимонове Толстой писал, что это «самое сальное создание, которое можно себе представить», о старшем офицере Ю.И.Одаховском — «гнусный и подлый полячишка», «остальные офицеры под их влиянием и без направления». Более всего возмущало молодого подпоручика, что он связан с этими людьми и даже зависит от них.

Условия службы на батарее мало способствовали литературным заня-

тиям. В январе–феврале Толстой почти ничего не писал, хотя 8 февраля в дневнике задание: «Завтра непременно писать и много». Неделю спустя в дневнике 15–16 февраля появилась первая запись о литературной работе: «Начал писать *Характеры*, и кажется, что эта мысль очень хороша, и как мысль и как практика». Это единственная дневниковая запись, относящаяся к «Характерам и лицам». Замысел предполагал, по всей вероятности, ряд характеристик, но написан был всего один очерк «Командир части — хороший человек».

Очерк, с точки зрения содержания, — вполне законченное произведение, хотя не совсем отделанное. В облике капитана Белоногова узнаваемы черты батареиноного командира капитана Филимонова. В очерке Толстой сравнивает Белоногова с Андреем Ильиным (или Андреем Ильичом). Андрей Ильич Соболев — вольноотпущенный крестьянин, сначала был приказчиком, а затем управляющим имением Ясная Поляна. Он не раз упоминается в дневнике и в переписке Толстого в связи с материальными и хозяйственными проблемами яснополянской жизни, а также в повестях «Утро помещика», «Казачи», в «Воспоминаниях».

Замысел «Характеры и лица» не получил дальнейшего воплощения. Автограф на четырех листах небольшого формата — единственная рукопись.

При первой публикации очерк ошибочно был отнесен к материалам «Романа русского помещика», видимо, потому, что на обложке, в которую была вложена рукопись, надпись неизвестной рукой: «№ 15. Характеры и лица и кой-что к роману Р.П.».

С. 235. ...о царском смотре... — Царские смотры не раз устраивались в Южной армии по случаю приезда великих князей.

Он считает обязанностью брать с лошадей и едва ли удерживается от пользования с людей... — Присваивает часть денег, предназначенных на фураж и уход за лошадьми, а также для нужд подчиненных офицеров и солдат.

...всписать 300... — То есть наказать, выпороть, дать 300 розог.

ДЯДЕНЬКА ЖДАНОВ И КАВАЛЕР ЧЕРНОВ

Впервые: *Юб.*, т. 3, с. 271–273.

Сохранился автограф (2 л.).

Печатается по автографу.

Единственная рукопись рассказа «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» представляет собой двойной лист большого формата, согнутый пополам по горизонтали и вертикали. Запись текста условно делит страницы вертикально пополам — манера, обычная для Толстого на самой ранней стадии работы над сочинением (чистая правая половина страницы оставалась для исправлений, вставок). Текст записан на трех страницах (третья — до середины). Первая страница заполнена как слева (текст зачеркнут), так и справа: здесь соседствуют две редакции начала сочинения. И в той, и в другой редакции остались те же герои и обстоятельства, место и время действия (1828 год, Кавказ).

Ни в дневнике, ни в письмах Толстого не сохранилось сведений о работе над произведением, названным первоначально «Дяденька Жданов», а затем, в процессе писания, «Дяденька Жданов и кавалер Чернов». Рукопись его была вложена вместе с другими материалами в белую бумажную обложку с надписью на наклейке, сделанной неизвестной рукой в архивохранилище Румянцевского музея: «№ XXVIII. Бумаги относительно журнала». Это единственный факт, который дал повод считать, что «Дяденьку Жданова...» Толстой начал писать осенью 1854 г. для задуманного офицерами-артиллеристами журнала «Военный листок»¹.

При тщательном исследовании всех обстоятельств открывается, однако, несколько иная картина, позволяющая назвать более позднюю дату создания этого произведения.

Вместе с «Дяденькой Ждановым...» в белой бумажной обложке находилось сочинение К.Боборыкина «Находчивость и презрение к смерти русского солдата», Н.Ростовцева «Песни Журжинского отряда», неизвестных авторов «Молдавия и Валахия», «Слава и честь, благосостояние, независимость и целость России...», «Взоры России устремлены на Севастополь» и др., а также рукописи небольшого рассказа Толстого «Как умирают русские солдаты» (действительно предназначенного для журнала), причем и копия этого рассказа под названием «Тревога», писанная осенью 1856 г. (следовательно, материалы сюда складывались или могли быть доложены позднее осени 1854 г.). Все сочинения, за исключением «Дяденьки Жданова...», — законченные произведения. И главное: по своему критическому настрою «Дяденька Жданов...» никак не согласуется с общим пафосом остальных сочинений.

Папки с рукописями разного времени формировались при передаче в 1887 г. бумаг в архивохранилище Румянцевского музея в Москве². Делом этим занималась С.А.Толстая. В дневнике 25 августа 1887 г. она записала: «Весь день отбирала и разбирала рукописи Левочки, хочу свезти их в Румянцевский музей на хранение. Мучительно разбирать путаницу, которую, наверное, ни разобрать, ни наполнить нельзя» (*Дневники С.А.Толстой*, т. 1, с. 123). Известны случаи обнаружения рукописей того или иного сочинения Толстого (и особенно из ранних произведений) среди материалов, вовсе к нему не относящихся³.

Предположение, что «Дяденьку Жданова...» Толстой начал писать для журнала «Военный листок», т.е. в октябре (между 5 и 23) 1854 г., становится весьма зыбким. Изучение связанных с историей журнала документов делает эту версию вовсе безосновательной.

¹ Комментарий Юб. признавал, что «точной датировке отрывков не поддается» (т. 3, с. 335) и вовсе не называл дату появления этого сочинения. В *Описании* датируется концом (октябрь) 1854 г. Н.Н.Гусев временем работы над «Дяденькой Ждановым...» считал октябрь-ноябрь 1854 г. (*Летопись*, 1, с. 82).

² В настоящее время находятся в ГМТ.

³ В Юб. незавершенное произведение «Характеры и лица» было напечатано в составе материалов к «Роману русского помещика» (т. 4, с. 377–380), так как находилось в папке с рукописями этого произведения. План и фрагмент черновой рукописи «Севастополя в августе 1855 года» и вовсе был найден уже в наше время: он оказался среди старых каталогов Румянцевского музея, заложенный во 2-м томе «Catalogue des Livres de la Bibliothèque de S.E. Le Chancelier de L'Empire».

В «Докладной записке <...> М.Д.Горчакову о желании издавать журнал «Военный листок» от 23 октября 1854 г.» авторы ее, в том числе и «подпоручик Л.Н.Толстой», писали: «Недостаток средств распространения сведений о современных военных событиях часто порождает между войсками ложные и зловердные толки.

Блестящие подвиги храбрости и преданности престолу и отечеству, которыми так богато русское воинство и которые так сильно возбуждают каждого русского примером и соревнованием, по недостатку тех же сведений для большинства войска остаются в неизвестности». Далее говорилось о недостатке в войсках «полезного чтения» и сведений по «специальным предметам военного искусства». «Сознавая сии потребности войска и с единственной целью по мере сил быть полезным царю и отечеству,— продолжали офицеры,— мы с помощью всех русских просвещенных офицеров предположили при Главной квартире Южной армии основать журнал под заглавием «Военный листок»». Затем они обращались «с просьбой исходатайствовать высочайшего государя императора соизволения: 1) На издание <...>; 2) На представление сему журналу права <...> печатать военные события, а равно и частные подвиги, совершающиеся в кругу расположения войск Южной армии, одновременно с донесениями государю императору <...>». Едва ли обличительные строки «Дяденьки Жданова...» могли быть созвучны благим намерениям задуманного издания. В «Проекте» журнала с первоначальным названием «Солдатский вестник» определялась цель этого издания: «1) Распространение между воинами правил военных добродетелей, преданности престолу и отечеству и святого исполнения воинских обязанностей. 2) Распространение между офицерами и нижними чинами положительных сведений о современных военных событиях, неведение которых часто порождает в войсках ложные и зловердные толки, и распространение сведений о подвигах храбрости и доблестных поступках отдельных отрядов и лиц на всех театрах настоящей войны». Журнал собирался также писать «о специальных предметах военного искусства» и «о достоинстве военных сочинений». Кроме того, одним из пунктов цели издания было «доставление занимательного, доступного и понятного чтения всем чинам войска», а также «улучшение поэзии солдата» (имелись в виду солдатские песни и т.п.) (см. Поликарпов В.Д. Военный журнал Л.Н.Толстого.— Яснополянский сборник. 1960. Тула, 1960, с. 212–214).

Ни одному пункту названной цели не соответствовало начатое Толстым сочинение о тяжелой доле солдата-рекрута.

Трудно представить, что практически одновременно Толстой писал рассказ «Как умирают русские солдаты», заканчивающийся очень искренним восхищением «моральной силой» народа («Велики судьбы славянского народа! Недаром дана ему эта спокойная сила души, эта великая простота и бессознательность силы!..»), и мрачную историю «дяденьки Жданова». Состояние, в котором находился Толстой в Кишиневе, готовя первый, «пробный», номер журнала, заявленного как издание, долженствующее отражать «блестящие подвиги храбрости и преданности престолу и отечеству», никак не соответствовало тому горькому содержанию, которое появилось в наброске «Дяденька Жданов...». Осень 1854 г. для Толстого — время наивысшего подъема патриотизма, веры в «великую моральную силу русского народа». Штабной офицер Дунайской армии,

он «просился» в Севастополь и тяжело переживал проигранное Инкерманское сражение. И даже это «ужасное убийство», «дело предательское, возмутительное», не поколебало в нем уверенности в силе России: «Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней,— записал Толстой в дневнике 2 ноября 1854 г.— Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства». Однако всего через три дня, 5 ноября, в дневнике появилась запись, где впервые звучали горечь и обеспокоенность: «Видел франц<узских> и англиц<ких> пленных, но не успел разговориться с ними. Один вид и походка этих людей почему-то [убедили меня в том] внушили в меня грустное убеждение, что они гораздо выше стоят нашего войска. Впрочем, для сравнения у меня были фурштаты, провожавшие их».

Первые дни в Севастополе были для Толстого временем воодушевления и гордости тем, что увидел он в осажденном городе (см. комментарий к рассказу «Севастополь в декабре месяце»). В письме от 20 ноября брату С.Н.Толстому подробный рассказ об этом и о замысле «издавать военный журнал с целью поддерживать хороший дух в войске, журнал дешевый (по 3 р.) и популярный, чтобы его читали солдаты». «В журнале будут помещаться описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах,— писал Толстой.— Подвиги храбрости, биографии и некрологи хороших людей и преимущественно из темных; военные рассказы, солдатские песни, популярные статьи об инженерном, артиллерийском искусстве и т.д. Штука эта мне очень нравится: во-первых, я люблю эти занятия, а во-вторых, надеюсь, что журнал будет полезный и не совсем скверный». С такими мыслями и в таком настроении вряд ли могла быть начата столь горькая история солдатской службы «дяденьки Жданова».

Восторг и гордость русским войском вскоре сменились у Толстого возмущением и негодованием. В дневнике 23 ноября он записал, что «больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть или совершенно преобразоваться. Все идет на выворот <...> Грустное положение и войска, и государства <...> У нас бессмысленные учения о носках и хватках, бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища убивают внимание, последнюю искру гордости...». Видимо, тогда же у Толстого появилась мысль серьезно обдумать и описать состояние русской армии, хотя мысль эта в творческом сознании писателя еще не оформилась в замысел сочинения о несчастной доле солдата-рекрута.

11 января 1855 г., рассказывая в письме Н.А.Некрасову о неудаче «журнала, который предполагалось издавать при армии», и намереваясь прислать в «Современник» материалы, «набравшиеся <...> для военного журнала», Толстой добавлял: «Я бы ежемесячно взялся доставлять от 2 до 5 и более печатных статей военного содержания литературного достоинства никак не ниже статей, печатаемых в вашем журнале (я смело говорю это — ибо статьи эти будут принадлежать не мне), и направления такого,

что они не доставят вам никакого затруднения в отношении цензуры. <...> Ежели ответ ваш будет благоприятен, то на 1-й месяц пришло я вам «Письмо о сестрах милосердия», «Воспоминания о осаде Силистрии», «Письмо солдата из Севастополя». Среди названных статей нет ни одного материала из составивших позднее содержание белой бумажной обложки, переданной в Румянцевский музей. Намерение «доставлять» в «Современник» статьи, которые не вызовут «никакого затруднения в отношении цензуры», также говорит о том, что среди намеченных материалов не было «Дяденьки Жданова...», откровенно обличительного произведения, сама идея которого не могла не вызвать опасений «в отношении цензуры».

Переведенный в середине января на другое место службы (позиция на реке Бельбек), Толстой все яснее различал «ужасы и мерзости, которые делаются на театре войны», о чем писал брату Н.Н.Толстому 3 февраля 1855 г. (письмо сохранилось не полностью: часть текста утрачена. Н.Н.Толстой цитирует эти слова в ответном письме от 18 февраля 1855 г.— *Переписка с сестрой и братьями*, с. 181).

В середине февраля было начато резко критическое сочинение «Характеры и лица» (см. с. 233 и 527). Возможно, в русле этого замысла возник интерес к «характерам и лицам» солдат — «дяденьки Жданова» и «кавалера Чернова», — оставшимся в памяти со времен Кавказа.

В те же февральские дни Толстой начал еще одно произведение — проект о реформировании армии: 20 февраля 1855 г., через два дня после внезапной смерти Николая I, этот проект впервые упоминался в дневнике, а 1 марта в дневнике запись: «18 февраля скончался государь, и нынче мы принимали присягу новому императору». Сам торжественный акт присяги вызвал серьезные и глубокие раздумья о судьбе отечества. «Великие перемены ожидают Россию, — продолжал Толстой свои размышления в дневнике. — Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России». «По долгу присяги, а еще более по чувству человека» Толстой не может молчать о зле, которое, как он видит, «открыто совершается» перед ним и «влечет за собой гибель миллионов людей — гибель силы, достоинства и чести отечества», — таким признанием начинался текст первой редакции проекта о реформировании армии¹, над которым Толстой начал работать на следующий день. 4 марта в дневнике он отметил: «2, 3, 4 марта. В эти дни я два раза по несколько часов писал свой проект о реформировании армии. Подвигается туго, но я не оставляю этой мысли». «Зло», о котором не мог молчать Толстой, по его мнению, «дошло до последних пределов» и «грозит гибелью отечества», — вот почему он «решился» взяться за перо. «Зло это есть разврат, пороки и упадок духа русского войска», уверен Толстой. В России, считает он, «нет войска», а «есть толпы угнетенных рабов, повинующихся вора, угнетающим наемникам и грабителям, и в этой толпе нет ни преданности к царю, ни любви к отечеству <...>, ни ры-

¹ В *Юб.* заглавие дано редактором — «Записка об отрицательных сторонах русского солдата и офицера» (т. 4). Н.Н.Гусев считал, что при публикации должно быть принято название, данное этому сочинению самим Толстым в дневнике: «проект о реформировании армии» (*Гусев*, I, с. 528).

царской чести и отваги, есть, с одной стороны, дух терпения и подавленного ропота, с другой — дух угнетения и лихоимства». Причину «сих печальных явлений» Толстой видел в «нравственном растлении войска».

В первой редакции проекта речь шла в основном о солдатах, причем об «армейских»: «которых знаю», — подчеркивал автор. В солдатской массе Толстой выделял солдат «трех родов»: «угнетенных, угнетающих и отчаянных» — и, давая развернутые характеристики каждому роду, в итоге делал вывод: «Угнетенный страдает, терпит и ждет конца. Угнетающий улучшает свой быт в солдатской сфере, в которой он освоился. Отчаянный презирает все и наслаждается». Говоря о «скудности содержания», «главном пороке» русского войска, причину его Толстой видел в «злоупотребленном доверии правительства к начальникам частей». Солдат же, «не получая необходимого, или чахнет и уничтожает<ся> от лишений, или считает себя принужденным и правым делать беззакония. Солдат крадет, грабит, обманывает без малейшего укора совести; дух молодчества русского солдата состоит в пороке».

Вторая редакция проекта о переформировании армии, в частности характеристика солдат, существенно отличалась от его первой редакции, и прежде всего более лаконичным рассуждением о трех родах солдат и менее резкими, даже оскорбительными в первой редакции, определениями и формулировками: самоцензура заставляла автора искать более лояльные выражения, но общий обличительный пафос проекта оставался прежним. Вторая редакция, как и первая, не была завершена, и желание «беспристрастно написать настоящую жалкую моральную картину» русского войска осталось неисполненным.

В те дни, когда писался проект о переформировании армии (конец февраля — начало марта 1855 г.), Толстой получил письмо из Никольского, датированное 18 февраля 1855 г., где Н.Н.Толстой, разделяя возмущение брата армейскими мерзостями, рассуждал, чего «сто́ят» русской деревне и самим помещикам «эти подвиги, которые так глупо и пошло описывают в газетах. С тех пор как я в отставке, — писал Николай Толстой, — я уже поставил 8 рекрутов. Сегодня назначил еще 4-х, да через месяц надобно поставить 8-х в милицию. Не знаю, что лучше видеть, как умирает солдат в деле или как провожают *гожих*, как у нас их называют. Бедный наш добрый русский мужик!

И когда поймешь, что никак не можешь облегчить его участи, то делается как-то гадко и досадно за себя. Что такое помещики — *ce sont les boucs d'expiations* <это козлы отпущения>, на которых падают слезы и проклятия народа, а за что? За здорово живешь!» (*Переписка с сестрой и братьями*, с. 181). Этим размышлением о рекрутах заканчивалось письмо старшего брата, находившегося (временно) в отставке, но до того семь лет прослужившего на Кавказе.

Проект, как признавался сам Толстой, «подвигался туго»; возможно, и потому, что в творческом сознании писателя уже зрела мысль о художественном воплощении «настоящей жалкой моральной картины» русского войска; побудительным толчком этой мысли могло стать и письмо Н.Н.Толстого о рекрутах. Художественная форма была привычнее, нежели обращение с «проектом» к государю императору, давала больше простора высказать все прямо и честно. Сам факт попытки Толстого, уже достаточно выученного цензурой, выплеснуть в «проекте», адресованном

новому царю, или в художественном произведении накопившиеся негодование и возмущение тем, что совершается вокруг, стал возможен именно в первые дни после смерти Николая I, дни, породившие иллюзии и надежды на то, что кончилось время «молчания»; и вместе с первым вздохом облегчения вырвались у Толстого первое «не могу молчать!» и первые страницы нового художественного сочинения, писанные без оглядки на цензуру.

Замысел рассказа о солдатской судьбе мог быть особенно близок Толстому и потому, что уже полтора года с переменным увлечением и успехом шла работа над «Рубкой леса», где «солдатики» были главными персонажами и где автор хотел показать различные типы русских солдат, служивших на Кавказе. «Характеры» и «лица» солдатские, материал, накопленный для «Рубки леса», как нельзя лучше подходили и для нового замысла. Совершенно очевидно, что Жданов в «Рубке леса» и в «Дяденьке Жданове...» — одно и то же лицо. Время, о котором шла речь и в том, и в другом произведении, тоже одно: Жданов уже «дяденька». В «Рубке леса», однако, Толстой не намеревался дать историю солдатской жизни Жданова. Новый замысел открывал возможность внимательнее взглянуть в судьбу и душу «солдатика», на примере этой судьбы показать «настоящую жалкую моральную картину» русского войска.

В сохранившемся фрагменте начала «Дяденьки Жданова...» (автограф писан точно на такой же бумаге, и вторая редакция «проекта») — два главных персонажа, два рекрута, «пригнанных» на кавказскую линию в 1828 г. Один из них, Жданов, по классификации Толстого в «проекте», принадлежал к роду солдат «угнетенных». Весь облик Жданова, его поведение словно иллюстрировали характеристику, данную Толстым этому роду солдат в проекте о реформировании армии. «Единственное наслаждение его есть забвение — вино, — писал автор в первой редакции «проекта», — и три раза в год, получая жалованье 70 к. — эту горькую насмешку над его нищетой, — он приходит в это состояние, несмотря ни на какие угрозы, — *проздравляет*, т.е. пропивает жалованье». «Он <Жданов> не мог поить товарищей, — вторило «проекту» новое сочинение, — но так же, как и они, старался отуманиться вином и весельем. Веселье его, однако, было как-то неловко и жалко. Раз его напоили, и он тоже пошел плясать на цыпочках по-солдатски, но вдруг расплакался, бросился на шею к Чернову и <начал> приговаривать такую дичь, что всем смешно стало. На другой день он поставил косуху и опять плакал».

В «проекте» Толстой писал о том, как бьют «угнетенного» и за что бьют. В наброске начала художественного сочинения Жданову битья много было. Его били на ученье, били на работе, били в казармах. «Угнетенный солдат морщится и ожидает удара, когда при нем кто-нибудь поднимает руку; он боится каждого своего слова и поступка: каждый солдат, годом старше его, имеет право и истязает его» — это о солдате в «проекте». «...У рекрутов начальников много: каждый солдат годом старше его мыкает им, куда и как угодно», — это уже о Жданове; и о нем же: «Когда старший солдат подходил к нему, он снимал шапку, вытягивался в струнку и готов был со всех ног броситься, куда бы ни приказали ему, и, ежели солдат поднимал руку, чтоб почесать в затылке, он уже ожидал, что его будут бить, жмурился и морщился». Сравнительно некоторые положения, лексику и стиль первой и второй редакций

«проекта» с текстом «Дяденьки Жданова...», можно наглядно убедиться в том, что между этими двумя произведениями существует самая тесная связь, и увидеть, как постепенно оформлялась и оттачивалась нужная Толстому мысль.

I редакция «проекта»:

«Угнетенные — люди, сроднившиеся с мыслью, что они рождены для страдания, что одно качество, возможное и полезное для него, есть терпение, что в общественном быту нет существа ниже и несчастнее его».

II редакция «проекта»:

«Угнетенный солдат убежден и сроднился с мыслью, что в общественном быту нет существа ниже и несчастнее его, что единственная обязанность его есть страдание и терпение».

«Дяденька Жданов и кавалер Чернов»:

Он <Жданов> вообразил, что он очень дурен и что ему нужно стараться быть лучшим, и начал стараться. Он сделался усердным — до глупости, но положение его от этого становилось еще хуже. <...> Одно оставалось — терпеть. И он терпел не только безропотно, но с убеждением, что одна обязанность его терпеть и терпеть».

Еще пример. I редакция «проекта»:

<«Угнетенного» солдата> «бьют за то, что он смел заметить, как офицер крадет у него, за то, что на нем вши,— и за то, что он чешется, и за то, что он не чешется, и за то, что у него есть лишние штаны; его бьют и гнетут всегда и за все, потому что он — угнетенный, и потому что власть имеют над ним бывшие угнетенные — самые жестокие угнетающие».

II редакция «проекта»:

«Он знает, что его бьют не за то, что он виноват, а для поддержания духа угнетения...».

«Дяденька Жданов и кавалер Чернов»:

«<...> Его били — он терпел. Его били не затем, чтобы он делал лучше, но затем, что он солдат, а солдата нужно бить. Выгоняли его на работу, он шел и работал, и его били, его били опять не затем, чтобы он больше или лучше работал, но затем, что так нужно. Он понимал это».

Сопоставление текста «Дяденьки Жданова...» с обеими редакциями проекта о переформировании армии доказывает, что художественный текст чрезвычайно близок тексту «проекта» и, скорее всего, создавался на основе уже определившихся в нем мыслей и формулировок, многие из которых почти дословно перенесены в «Дяденьку Жданова...».

Таким образом, учитывая все имеющиеся на сегодняшний день факты, можно с большой долей уверенности заключить, что неоконченное произведение Толстого «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» появилось в марте 1855 г., непосредственно вслед за так и не завершенным проектом о переформировании армии, а рукопись с началом рассказа оказалась среди материалов военного журнала случайно.

По автографу «Дяденьки Жданова...» можно определить, что текст сочинения написан в три приема. В первой редакции повествование шло от третьего лица, не было рассказчика юнкера и его отношения к героям рассказа. И Жданов, и Чернов представлены более описательно, внешне; неизвестно их происхождение; нет некоторых характерных черт (например, что Чернов «пил водку и угацивал товарищей»). Иначе, чем во второй редакции, даны портреты: Чернов здесь «с русыми усами и ловкими

самоуверенными движениями» и нет пока его «бойких, разбежавшихся глаз». Нет в первой редакции и «больших круглых голубых глаз и белого стриженного затылка» Жданова — это пока просто «белоголовый парень», а упоминание о «больших голубых глазах» зачеркнуто автором. В первой редакции есть детали, которые исчезнут впоследствии: Жданов вечно своим складным ножиком строгал какую-нибудь палочку. Эта деталь, однако, останется в «Рубке леса».

Первоначальный замысел предполагал рассказ о незатейливой и тяжелой жизни Жданова «в солдатстве»; Жданов должен был стать основным героем этой истории, о чем говорило первое заглавие начатого сочинения: «Дяденька Жданов». Но в процессе писания Толстой изменил главное направление рассказа: понадобилась сюжетная линия и для второго персонажа, своеобразного антипода Жданова, — Чернова. Не случайно и сопоставление: Жданов — «дяденька», Чернов — «кавалер». Имя Чернова также упоминалось в «Рубке леса», причем дважды: в связи с кражей сукна на шинель фельдфебелю, и это — денщик-пьяница; в рассказе Толстой причислял Чернова к «отчаянным развратным» солдатам. Возможно, сюжет нового сочинения о Жданове и Чернове должен был опираться на какой-то неприглядный поступок «кавалера». Тем более, что сама фигура Чернова не была вызвана писательским воображением, а взята из живой солдатской жизни: в батарее служил некий Черных, о котором есть запись в дневнике Толстого. Это замечание к «Запискам фейерверкера» (будущей «Рубке леса»): «Только бы фолейтору возжи держать», — сказал Черных перед кабаком, продавая краденую шубу». Факт этот, видимо, прочно врезался в память Толстому, да и сам тип «отчаянного» солдата, увиденный еще на Кавказе, теперь, в Севастополе, стал предметом для размышления. Даже в проекте о реформировании армии прозвучал отголоском случай с «краденой шубой»: говоря об «угнетающих солдатах», Толстой уверен, что этот солдат «не украдет тулупа у товарища, но украдет порцию водки». Для «отчаянного» же солдата «нет ничего невозможного, ничего святого; он украдет у товарища, ограбит церковь, убежит с поля <боя?>, перебежит к врагу, убьет начальника и никогда не раскается». Какой из этих сюжетов мог выбрать Толстой для начатого рассказа о «кавалере Чернове»? «Отчаянного солдата» во второй редакции проекта Толстой характеризовал как существо «неверующее, порочное и развратное». «Отчаянный презирает все и наслаждается в пороке».

Упомянув тип «отчаянного развратного» солдата в «Рубке леса», Толстой не показал, однако, ни одного такого солдата, хотя обозначил это «подразделение» типа «отчаянных», считая его «ужасно дурным». И далее, говоря об этом «подразделении», замечал, что, «к чести русского войска», «отчаянные развратные» «встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским». Возможно, именно в таком направлении должен был развиваться сюжет начатого произведения о Жданове и Чернове. Главные черты характера «отчаянного развратного» Толстой определяет в «Рубке леса»: «Неверие и какое-то удалство в пороке». Сам же Чернов как действующее лицо в «Рубке леса» не появляется.

Дяденька Жданову в «Рубке леса» отведено много места — это один из главных персонажей. Неизвестно, как сложился бы образ Жданова в

этом рассказе, если бы Толстой написал историю его солдатства в отдельном сочинении. Но история солдатской жизни Жданова как самостоятельное произведение не состоялась, хотя эта фигура привлекала особое внимание Толстого. Солдат Жданов служил с ним в одной батарее, и писатель в своих сочинениях использовал настоящую его фамилию. В дневнике 6 января 1854 г., в один день с записью о воре Черных, появилась очень теплая запись о Жданове, о том, что он «дает бедным рекрутам деньги и рубашки», о помощи Жданова фейерверкеру Рубину, когда тот был рекрутом; обращение «солдати́ков» к Жданову — «*дядинька*» — особенно понравилось: Толстой его даже подчеркнул в своем дневнике, а потом взял в заглавие начатой истории.

Сочинение не было доведено до конца, полагал Н.Н.Гусев, потому что слишком тяжелой и горькой оказывалась история солдата и никакая цензура этого не пропустила бы в печать (*Гусев, I, с. 504*). И еще, что могло остановить Толстого в работе над «Дяденькой Ждановым...», — это новые литературные замыслы (в двадцатых числах марта 1855 г. уже был начат первый севастопольский рассказ) и новые впечатления от общения с солдатами в Севастополе, на 4-м бастионе. Здесь, на самом опасном участке обороны города, Толстой особенно близко сошелся с «солдатыками», увидел нравственную силу и стойкость русских воинов, и мысли о «жалкой моральной картине» русской армии заслонились новыми картинками и оценками.

ОТРЫВОК ИЗ ДНЕВНИКА ШТАБС-КАПИТАНА А. ПЕХОТНОГО Л.Л. ПОЛКА

Впервые: *Юб.*, т. 4, с. 296.
Сохранился автограф (1 л.).
Печатается по автографу.

Замысел дневника офицера, участника Севастопольской кампании, возник в период окончательной отдели «Севастополя в мае». 6 июля 1855 г. Толстой записал в дневнике: «М<ысли>: Писать дневник офицера в Севастополе — различные стороны, фазы и моменты военной жизни. И печатать его в какой-нибудь газете. Я думаю остановиться на этой мысли, хотя главное мое занятие должно быть Юность и Молодость, но это для денег, практики слога и разнообразия». На следующий день, 7 июля: «Прекрасные были мысли касательно Дн<евника> Оф<ицера>». 16 июля снова в дневнике упоминалось задуманное сочинение, но мысль о нем уже не так горяча, как прежде: «Хочу написать Дн<евник> офиц<ера>». Намерение писать офицерский дневник пока так и оставалось в планах Толстого: ни в дневниковых записях, ни в письмах нет ни одного упоминания о непосредственной работе над новым произведением.

Лишь спустя четыре месяца, в первые же дни по возвращении из Севастополя в Петербург, Толстой в дневнике говорил не просто о замысле дневника офицера, а 21 ноября 1855 г. давал себе задание на следующий день: «Завтра пишу Юность и отрывок из дневника». «Отрывок из дневника» упомянут здесь очевидно как уже начатое сочинение. Следовательно, «Отрывок из дневника штабс-капитана А. пехотного Л.Л. полка»

написан между 16 июля и 21 ноября 1855 г. Содержание же «Отрывка» позволяет предположить, что произведение было начато до падения Севастополя, т.е. до дня последнего штурма 27 августа. Одна из «новостей», упоминающаяся в «Отрывке», «что великий князь Константин идет с американским флотом нам на выручку», позднее перейдет в солдатский разговор в «Севастополе в августе 1855 года» (гл. 23). Что касается заглавия сочинения, то, как считал В.И.Срезневский, «обозначение в заглавии Л.Л. полка намеренно неверное, так как в Крымской армии не было ни одного полка, в названии которого находились обе эти буквы» (*Юб.*, т. 4, с. 417).

С. 238. *...великий князь приедет сюда...*— Великий князь Константин Николаевич.

...Наполеон убит...— Наполеон III, французский император в 1852–1870 гг.

...Виктория приняла личное начальство над войском...— Виктория, королева Великобритании с 1837 г.

СТИХОТВОРЕНИЯ

К ЗАПАДНЕ

Впервые: *Юб.*, т. 1, с. 298.
Печатается по автографу.

Отправив 26 декабря 1852 г. рукопись рассказа «Набег» в Петербург Некрасову, Толстой на следующий день, 27 декабря, записал в дневнике: «Ездил верхом и, приехавши, читал и писал стихи. Идет довольно легко».

Сохранился единственный автограф стихотворения на отдельном листе тетрадного формата; лист вложен в качестве первого листа в самодельную сшитую тетрадь, на обложке которой — белая наклейка с надписью неизвестной рукой: «Стихи». На первой странице этой тетради — автограф стихотворения «Давно позабыл я о счастье...», датированный автором: «30 декабря 1852». На основании дневниковой записи Толстого и даты написания стихотворения «Давно позабыл я о счастье...» стихи «К западне» можно условно датировать 27–30 декабря 1852 г.

В рукописи совсем немного исправлений. В дневнике Толстой заметил, что писание стихов ему «будет очень полезно, для образования слога».

<«ДАВНО ПОЗАБЫЛ Я О СЧАСТЬИ...»>

Впервые: *Юб.*, т. 1, с. 299.
Печатается по автографу.

Стихи написаны 30 декабря 1852 г., за день до выступления в поход дивизиона, в котором служил Толстой. Об этом сочинении короткая запись в дневнике: «Вечером написал стишков 30 порядочно». Стихотворение открывает самодельную сшитую тетрадь с надписью «Стихи»; подписаны дата и место создания произведения: «30 декабря 1852. Старогладковская»; однако слово «стишки» говорит о сдержанном отношении Толстого к этому своему стихотворному опыту.

По содержанию стихотворение напоминает дневниковую запись и несомненно имеет автобиографическую основу, некоторые строки перекликаются с мыслями на страницах дневника 1851–1852 годов. Судя по всему, эти стихи — грустное воспоминание о прошедшем юношеском увлечении Зинаидой Модестовной Молоствовой, с которой последний

раз Толстой виделся в Казани, по пути на Кавказ, в середине мая 1851 г. Толстой был «так опьянен Зинаидой», что тогда же в мае, покинув Казань, как признавался 26 мая в письме сестре М.Н.Толстой, «возымел смелость написать стихи:

Лишь подъехавши к Сызрану¹,
Я ощупал свою рану и т.д.».

Видимо, в первые дни пребывания на Кавказе были написаны и другие стихи в письме казанскому знакомому «молодому прокурору, право-веду» А.С.Оголину, близкому семье Молоствовых:

«Господин
Оголин!
Поспешите,
Напишите
Про всех вас
На Кавказ,
И здорова ль
Молостова?
Одолжите
Льва Толстова» (*Юб.*, т. 59, с. 101).

Эти несколько ироничные стихотворные строчки сохранились в памяти родственников З.М.Молостковой (см. об этом: *Гусев, I*, с. 292–295).

Получив письмо от Оголина, Толстой 22 июня отвечал ему из Старого Юрта, и все о том же: «Нет, только один Сызран действовал на меня стихотворно. Сколько ни старался, не мог здесь склеить и двух стихов. Впрочем, и требовать нельзя. Я имею привычку начинать с рифмы к собственному имени. Прошу найти рифму “Старый юрт”, Старогладковка, и т.д. <...> Зачем вам было нарушать мое спокойствие, зачем писали вы мне не про дядюшку, не про галстук, а про “некоторых” <так условно между собой Толстой и Оголин называли Зинаиду Молосткову — ср. в первой рукописи задуманного романа, названной в комментарии 1-го тома настоящего издания «Четыре эпохи развития», «условленный язык» Володи и его товарища З., с. 330>. А впрочем, нет, ваше письмо и именно то место, где вы мне говорите о некоторых, доставило мне большое удовольствие.

Вы шутите, а я, читая ваше письмо, бледнел и краснел, мне хотелось и смеяться и плакать. Как я ясно представил себе всю милую сторону Казани; хотя маленькая сторона, но очень миленькая». Через несколько строк — опять о «некоторых»: «Александр Степанович², приподымается будто за шляпой, подходит к некоторым. Некоторые смотрят на него таким добрым, открытым, умным, ласкательным взглядом, как будто говорят: “Говорите, я вас люблю слушать”». Узнав из письма, что о нем помнят в Казани, Толстой надеется, что «может еще быть счастливым». Молоствовы, видимо, на лето уехали из города, и «в Казани скучно», как писал Оголин. «Верю и соболезную,— откликается Толстой.— Завидуйте те-

¹ Сызрань — уездный город в Симбирской губернии.

² А.С.Оголин, адресат Толстого.

перь мне; вы имеете полное право; когда же воротятся, о, как я буду вам завидовать». И далее, коротко, в одной фразе, рассказав о своей жизни в Чечне: «Нашел-таки я ощущения. Но поверите ли, какое главное ощущение? Жалею о том, что скоро уехал из Казани; хотя и стараюсь утешать себя мыслью, что и без того бы они уехали, что все приедается и что не надо собой роскошничать. Грустно». Завершалось письмо снова мыслью о З.Молоствовой: «...ежели не найдете неприличным, лучше скажите Зинаиде Молостковой, que je me rappelle à son souvenir <что я прошу вспомнить обо мне>».

О своем «чистом, высоком» чувстве Толстой писал в дневнике 8 июня 1851 г. Эта запись по содержанию очень близка к стихам «Давно позабыл я о счастья...»: «Я видал прежде Зинаиду институточкой, она мне нравилась; но я мало знал ее (фу! какая грубая вещь слово! — как площадно, глупо выходят переданные чувства). Я жил в Казани неделю. Ежели бы у меня спросили, зачем я жил в Казани, что мне было приятно, отчего я был так счастлив? Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это-то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее. Как морально легко мне было в это время. Я не чувствовал этой тяжести всех мелочных страстей, которая портит все наслаждения жизни. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла. Все порывы души чисты, возвышенны в своем начале. Действительность уничтожает невинность и прелесть всех порывов. Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу. Но, может быть, ты сомневаешься, что я тебя люблю, Зинаида, прости меня, ежели это так, я виновен, одним словом мог бы я тебя уверить.

Неужели никогда я не увижу ее? Неужели узнаю когда-нибудь, что она вышла замуж за какого-нибудь Бекетова? Или, что еще жалче, увижу ее в чепце веселенькой и с тем же умным, открытым, веселым и влюбленным взглядом. Я не оставляю своих планов, чтобы ехать жениться на ней, я не довольно убежден, что она может составить мое счастье; но все-таки я влюблен. Иначе что же эти отрадные воспоминания, которые оживляют меня, что этот взгляд, в который я всегда смотрю, когда только я вижу, чувствую что-нибудь прекрасное». И далее в той же записи: «Теперь Бог знает, что меня ждет. Предаюсь в волю его. Я сам не знаю, что нужно для моего счастья и что такое счастье. Помнишь Архирейский сад, Зинаида, боковую дорожку. На языке висело у меня признание, и у тебя тоже. Мое дело было начать; но, знаешь, отчего, мне кажется, я ничего не сказал. Я был так счастлив, что мне нечего было желать, я боялся испортить свое... не свое, а наше счастье. Лучшие воспоминания в жизни останутся навсегда это милое время».

В автобиографических записях для книги П.И.Бирюкова¹ уже спустя более полувека, в 1904 г., Толстой вспоминал, что в Казани испытал к З.Молоствовой «поэтическое чувство влюбления, которое он, как всегда, по своей застенчивости, не решился выразить и которое он увез с собой

¹ В Юб.— «Вставки и замечания к рукописи “Биографии Л.Н.Толстого”, составленной П.И.Бирюковым» (т. 34, с. 394–400).

на Кавказ». А чуть ранее, в письме Бирюкову 27 ноября 1903 г., отвечая на вопрос о своих «любвях», упомянул и Зинаиду Молоствову, заметив: «Любовь эта была в моем воображении. Она едва ли знала что-нибудь про это».

Н.Н.Гусев полагал, что воспоминания о З.Молостовой Толстой «хранил в первые месяцы своей кавказской жизни», а в 1852 г., «по-видимому, она уже не занимала никакого места в его сердце», и приводил запись в дневнике Толстого от 22 июня 1852 г.: «Зинаида выходит за Тиле. Мне досадно, и еще более то, что это мало встревожило меня» (Гусев, I, с. 323). Однако «картины былого» «следила» память Толстого. В черновой редакции стихотворения есть строки о взгляде любимой девушки:

«Дитя так невольно сказала
Всю душу во взгляде одном,
Что слов бы никак недостало
Сказать то, что сказано в нем».

В первоначальном тексте стихотворения Толстой писал и о своем «сладостном трепете счастья», и о готовом в душе, но не произнесенном «слове любви и участия», и вообще о словах, которые «так ничтожны в сравненье с Божественным чувством любви». То же возвышенное, светлое чувство и ощущение счастья переживает Сережа Ивин, герой незавершенного рассказа «Святочная ночь» (январь–май 1853 г.). И «простодушно-любопытный взгляд» графини Шёффинг, который так поразил Сережу и «доставил столько наслаждения», и «совершенно детское личико, дышащее кротостью и веселием», и «очарование простоты», «милой наивной простоты», и не раз явившееся сравнение с ребенком (одна из глав рассказа первоначально в плане называлась «Два ребенка», т.е. Сережа Ивин и графиня Шёффинг) — все роднит «Святочную ночь» со строками стихотворения, навеянного еще не остывшими воспоминаниями Толстого о «Божественном чувстве любви» к Зинаиде Молостовой.

Поэтическое чувство влюбленности, пережитое Толстым в молодости и отразившееся в строках стихотворения «Давно позабыл я о счастья...», восторг и «опьянение» этим чувством на какое-то мгновение захватили и Андрея Болконского в «Войне и мире», когда он на балу предложил Наташе тур вальса, «обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко от него, вино ее прелести ударило ему в голову» («Война и мир», т. 2, ч. 3, гл. XVI).

О чистой, безгрешной минуте любви напишет Толстой и в романе «Воскресение». В главе XV первой части книги Нехлюдов, «сидя у окна в комнате присяжных», вспоминает, как в «ночь Светло-Христово Воскресения» при виде Катюши ощутил в себе это великое и чистое чувство любви: «В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь Светло-Христово Воскресения. Когда он теперь вспоминал Катюшу, <...> эта минута застилала все другие».

В рассказе «После бала» (1903) главная его героиня Варенька Б., танцующая на балу, отчасти напоминает З.Молостovou, а Иван Васильевич, от имени которого ведется рассказ, уже стариком вспоминает, как был молод и влюблен, «без вина был пьян любовью» к Вареньке.

<<КОГДА ЖЕ, КОГДА НАКОНЕЦ ПЕРЕСТАНУ...>>

Впервые: Бирюков П.И. Лев Николаевич Толстой. Биография. М., «Посредник», 1906, т. I, с. 246.

Печатается по автографу.

Два четверостишия без названия Толстой записал в своем дневнике 20 ноября 1854 г. Мысли, высказанные в этих стихах, не раз появлялись в дневниковых записях. Еще 29 марта 1852 г. Толстой размышлял на страницах дневника: «С некоторого времени меня сильно начинает мучать раскаяние в утрате лучших годов жизни. И это с тех пор, как я начал чувствовать, что я бы мог сделать что-нибудь хорошее. Меня мучит мелочность моей жизни — я чувствую, что это потому, что я сам мелочен; а все-таки имею силу презирать и себя, и свою жизнь». 28 августа того же года снова запись в дневнике: «Мне 24 года, а я еще ничего не сделал. Я чувствую, что недаром вот уже восемь лет, что я борюсь с сомнением и страстями. Но на что я назначен? Это откроет будущность». Далее дневниковые строки периодически говорят то о «чувстве чрезвычайно грустном и тяжелом — сожалении о пропащей без пользы и наслаждения молодости» (16 апреля 1853 г.), то содержат признания: «...живу здесь и убиваю лучшие года своей жизни. Глупо!» (15 мая 1853 г.); «тяжело и грустно, как всегда бывает, когда недоволен собою» (23 июня 1853 г.). 8 июля Толстой «недоволен своей бесцельной, беспорядочной жизнью», а 10 сентября записал, что «жизнь с постоянным раскаянием — мука!». Эти настроения отразились в рассказе «Записки маркера», написанном в середине сентября 1853 г. 27 декабря о подобном состоянии Толстой рассказывал в письме к Т.А.Ергольской: «С некоторого времени я очень грустен и не могу в себе этого преодолеть: без друзей, без занятий, без интереса ко всему, что меня окружает, лучшие годы моей жизни уходят бесплодно, для себя и для других; мое положение, может быть, сносное для иных, становится для меня с моей чувствительностью все более и более тягостным...».

Между тем как раз в эти годы на Кавказе произошло рождение Толстого-писателя: к ноябрю 1854 г. уже были напечатаны «Детство», «Набег», «Отрочество»; в работе находились многие другие сочинения. Творческий труд в это время, как и позднее, отмечен необычайной взыскательностью: многократные переделки, переписывание — известная судьба всех произведений. Но суд над собой и своей деятельностью — необходимое условие творчества.

Переведенный в начале 1854 г. в Дунайскую армию, Толстой значительно реже испытывал душевные муки. Записи в дневнике ведутся с большими перерывами, но тем не менее иногда вдруг Толстой ужасается, до какой степени он «испортился». «Ежели пройдет три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя. Помогите мне, Господи», — запись 15 июня 1854 г.

В начале ноября Толстой был переведен в Севастополь и, прожив там чуть более недели, 15 ноября прибыл на позицию в татарскую деревню Эски-Орда, что в нескольких верстах от Симферополя. Настроение его в то время наиболее ярко отразилось в большом письме брату С.Н.Толсто-

му: здесь шла речь о положении Севастополя, о духе войска, звучала уверенность в победе, восхищение мужеством русских солдат. Письмо написано 20 ноября в Эски-Орда. В тот же день Толстой отправился в Симферополь, где и появились два грустные четверостишия «Когда же, когда наконец перестану...» — единственная запись, с пометой «Симферополь», сделанная в дневнике 20 ноября. Резкую перемену настроения объясняет дневниковая запись 23 ноября, рассказывающая о том, что увидел и понял Толстой, когда «из Севастополя ехал на позицию»: «Все идет на выворот...» А завершает эту запись горькое признание: «В Симферополе я проиграл последние деньги в карты...».

Более полувека спустя, в 1906 г., стихи были опубликованы П.И.Бирюковым в первом томе «Биографии» Л.Н.Толстого. В 1908 г. за три дня до 80-летнего юбилея Толстого напечатала эти стихи газета «Биржевые ведомости»: в подборке, озаглавленной «Накануне праздника русской мысли (к 80-летию Л.Н.Толстого)», была помещена небольшая заметка без подписи «Писал ли когда Л.Н. стихи?». «...Было время, когда и Л.Н., подобно Гоголю, Салтыкову и Тургеневу, пробовал свои силы в стихе,— писал автор заметки.— Едва ли не единственным сохранившимся для нас лирическим стихотворением его является восьмистишие, относящееся ко времени пребывания Толстого на Кавказе¹. Вот эти строки, дающие довольно бледную и со стороны стиха не вполне выдержанную каплю задумчивой лирики Лермонтова»,— далее приведены эти два четверостишия из ноябрьского дневника 1854 г. и стихи, обращенные к А.А.Фету («Как стыдно луку перед розой...»). Публикацию стихотворных строк автор заметки сопровождал выдержкой из письма Толстого С.В.Гаврилову от 14 января 1908 г.: «Я вообще считаю, что слово, служащее выражением мысли, истины, проявления духа, есть такое важное дело, что пришивать к нему соображения о размере, ритме и рифме и жертвовать для них ясностью и простотой есть кощунство и такой же неразумный поступок, каким был бы поступок пахаря, к<отор>ый, идя за плугом, выделял бы танцевальные па, нарушая этим прямоту и правильность борозды.

Стихотворство есть, на мой взгляд, даже когда оно хорошее, очень глупое суеверие. Когда же оно еще плохое и бессодержательное, как у теперешних стихотворцев,— самое праздное, бесполезное и смешное занятие».

<«КАК ЧЕТВЕРТОГО ЧИСЛА...»>

Впервые: альманах «Полярная звезда» на 1857. Кн. третья. Лондон, с. 286–287. Без подписи (в заглавии и в комментарии именуется «песней русских солдат»).

Печатается по тексту в кн.: Бирюков П.И. Лев Николаевич Толстой. Биография. М., «Посредник», 1906, т. I, с. 258–259 — со следующими исправлениями:

¹ Ошибка газеты.

С. 242, строки 36–42:

«Нет, уж пусть идут». (bis).

Генерал же Ушаков,
Тот уж вовсе не таков,
Все чего-то ждал! (bis).

Долго ждал он, дожидался,
Пока с духом он собрался

Речку перейти (bis) — *вместо*: «Нет, уж пусть идут». (bis). (По списку Н.С.Милошевича.) Это исправление требует пояснения. Сравнивая два авторизованных списка, правленных Толстым в один и тот же год, но в разное время, можно заключить, что, исправляя текст песни для первого тома «Биографии», составленной П.И.Бирюковым, Толстой забыл вставить два куплета о генерале Ушакове, хотя в списке Милошевича оставил и согласился с ними. Но надлежит сделать одну небольшую поправку в начальной строке первого включенного куплета: «Енарал же Ушаков» на «Генерал же Ушаков» — именно так это слово звучит в других куплетах песни. Место включенных в текст двух куплетов определено по спискам Милошевича, Глебова, Добролюбова, РГБ, Сысоева, Тихонравова, Успенского, а также по реальной хронологии событий.

С. 242, строка 44: Да резервы не поспели — *вместо*: Да лезерты не поспели (поправка П.И.Бирюкова, сообщенная В.И.Срезневскому, — Юб., т. 4, с. 420, а также ср. куплет 12, строка 2).

С. 242, строка 58: А Белевцев-генерал — *вместо*: Тетеревкин-генерал (по спискам Аносова, Мансурова, Одного из участников, Добролюбова, Менькова, «Полярной звезды», РГБ, Семейского, Сысоева, Тихонравова, Успенского, Шереметева, а также в соответствии с исторической правдой: в действительности факт, происшедший с генералом Белевцевым).

Песню «Как четвертого числа...» Л.Н.Толстой сочинил по горячим следам кровопролитного сражения, произошедшего 4 августа 1855 г. на Черной речке, под Севастополем. Он сам был участником этого дела и в тот же день, 4 августа, писал из Севастополя Т.А.Ергольской в Ясную Поляну: «Сегодня, 4 числа, было большое сражение. Я там был, но мало участвовал. Я жив и здоров, но в душевном отношении никогда себя хуже не чувствовал, сражение было проиграно. Ужасный день: лучшие наши генералы и офицеры почти все ранены или убиты». На следующий день короткая запись в дневнике: «3 и 4 был в походе и в неудачном, ужасном деле...». Об этом же сражении писал Толстой из Бахчисарая брату С.Н.Толстому 7 августа: «...я все-таки пишу тебе несколько строк, чтобы успокоить за себя по случаю сражения 4-го, в котором я был и остался цел; — впрочем, я ничего не делал, потому что моей горной артиллерии не пришлось стрелять». И.И.Панаеву 8 августа Толстой сообщал, что, может быть, напишет рассказ о «бывшем деле». Рассказ о 4 августа Толстой не написал, а запечатлел это сражение в сочинении иного рода.

11 сентября 1855 г. подполковник П.Н.Глебов отметил в своих записках: «Говорят, сложена новая песенка на 4-е августа. Между прочим, в ней барон Вревский оченно просит князя — взять горы, чтобы не было с французом ссоры, князь посылает Липранди, а он говорит: “Атанде, я не

пойду: для этого ума не надо, пошлите генерала Реада, а я посмотрю». И в таком роде написана вся песня» («Записки Порфирия Николаевича Глебова» — «Русская старина», 1905, март, с. 525). 13 сентября Глебов в записках вспомнил о графе Толстом: «4-го августа примкнул он ко мне, но я не мог употребить его пистолетиков в дело, так как занимал позицию батарейными орудиями <...> Говорят про него также, будто он, от нечего делать, и песенки пописывает, и будто бы на 4-е августа песенка его сочинения» (там же, с. 528–529).

О самом «сочинении» песни существует несколько версий; одна из них, наиболее вероятная, приведена в работах немецкого писателя Р.Лёвенфельда «Гр. Л.Н.Толстой. Его жизнь, произведения и мирозерцание» и «Разговоры о Толстом и с Толстым». Лёвенфельд дважды посетил Ясную Поляну, беседовал с Толстым, и сам Толстой поведал ему историю появления песни, которую «несколько дней спустя» после сражения 4 августа «распевали» «севастопольские воины». В песне «осмеивалось поведение начальников,— пишет Р.Лёвенфельд,— и шепотом (громко говорить об этом, конечно, боялись) передавали друг другу, что автор песни — Лев Николаевич Толстой. И действительно, эту песню-сатиру написал Толстой. Идея песни возникла в лагере. Батарейные офицеры сидели все вместе у костра и задумали петь круговую песню. Каждый по очереди должен был сочинить строфу. Но дело как-то не шло на лад; то, что приходило в голову, не стоило удерживать в памяти. На следующий день Толстой принес товарищам свое стихотворение. Песня была восторженно принята товарищами Толстого, и через несколько дней ее распевала вся севастопольская армия» (Лёвенфельд Р. Гр. Л.Н.Толстой. Его жизнь, произведения и мирозерцание. Перевод с нем. С.Шклявера. СПб., изд. Б.Вольфа, 1896, с. 91–92)¹.

Иную версию сочинения песни предложил анонимный автор, назвавшийся «одним из участников в составлении “Севастопольской песни”». Его воспоминания вместе с текстом песни были опубликованы в феврале 1884 г. в журнале «Русская старина» (с. 455–457). «Граф Л.Н.Толстой был действительно одним из участников в составлении этой песни, но не автором всех куплетов, в нее вошедших. Таким образом не совсем справедливо приписывать ему все это остроумное произведение», — замечал рассказчик и «в видах исторической правды» сообщал читателям «историю происхождения этой песни как очевидец»: «Во время Крымской войны часто, почти ежедневно, по вечерам собирались у начальника штаба артиллерии, Крыжановского, чины его штаба и некоторые другие офицеры <...>. Обыкновенно подполковник Балюзек садился за фортепиано, про-

¹ Рассказ самого Толстого о том, как была сочинена песня, Лёвенфельд воспроизвел в книге «Разговоры о Толстом и с Толстым» (1891): «В нашем разговоре мы дошли до одного юмористического стихотворения, написанного графом под стенами Севастополя.

— Да, автор ее <песни> я, — подтвердил граф <...>. — Она написана мною в Севастополе после штурма 4-го августа. Мы все лежали вокруг костра, и кто-то предложил затянуть круговую песню. Каждый офицер должен был экспромтом придумать по одной строчке куплета, но это не удалось. На другой день я прочел товарищам свою песню и, немного спустя, ее распевал весь лагерь» (перевод А.В.Перельгиной, цит. по: «Звезда», 1978, № 8, с. 118).

чие становились кругом и куплеты импровизировались. Каждый вносил свою мысль и слово. Граф Л.Н.Толстой также вносил свое, но не всё. Поэтому можно сказать, что эта импровизация было дело общее, выражавшее настроение военных кружков». «Очевидец» перечислял фамилии «участников в составлении» песни; это «чины штаба артиллерии: подполковник Балюзек <...>, капитан Ал.Як.Фриде <...>, штабс-капитан¹ граф Лев Николаевич Толстой, поручик Вл.Лугинин, поручик Шубин, шт<абс>-капитан Сержпутовский, поручик Шклярский; из посторонних штабу лиц бывали по вечерам у г. Крыжановского Ольвиопольского уланского полка Н.Ф.Козлянинов 2, Белорусского гусарского полка Н.С.Мусин-Пушкин». Достоверность этого сообщения вызывает некоторое сомнение, так как один из упоминаемых авторов песни, поручик В.Ф.Лугинин, позднее профессор Московского университета, в 1894 г. рассказал эпизод, связанный с песней, которую сам он назвал «толстовской» (рассказ Лугинина был записан А.В.Цингером). «Уже к концу осады» Севастополя Лугинин, тогда «молоденький офицерик», прибыл с донесением к командиру полка. Командир оказался в палатке у графа Л.Н.Толстого. «Иду туда,— вспоминал рассказчик,— и застаю компанию совершенно пьяных офицеров, все хором поют толстовскую солдатскую песню про четвертое августа, а сам Толстой, тоже пьяный, дирижирует и запекает, присочиняя новые совершенно непечатные куплеты» (Цингер А.В. Мелочи о Толстом.— ГМТ, фонд Н.Н.Гусева, с. 10–11).

Есть и еще одна версия сочинения песни, записанная в 1898 г. А.В.Жиркевичем со слов севастопольского сослуживца Толстого, Ю.И.Одаховского, который считал Толстого автором ряда стихотворений и сатирических песен, ходивших в военной среде. «Начальство знало о том, что шутовские солдатские песни (в которых были высмеяны все генералы) пишет Толстой, но не трогало его»,— вспоминал Одаховский. О песне про 4-е число воспоминания скупые: «Стихотворение “Как 20-го числа² нас нелегкая несла горы занимать” гр. Толстой сочинил в Севастополе, принес нам и затем раз пять, при мне, читал его всем присутствовавшим». На неточность первой строки песни обратил внимание сам Толстой, когда просматривал эту запись, привезенную Жиркевичем в Ясную Поляну: слова «20-го числа» подчеркнуты и рядом стоит вопросительный знак. На полях воспоминаний — заметки, опровергающие ряд фактов, изложенных Одаховским. По поводу своего стихотворства Толстой на полях отметил: «Стихотворений никаких, кроме песни “Как 4-го ч<исла>”, не сочинял» (ГМТ, фонд Л.Н.Толстого, № 2557, с. 425).

Противоречивые сведения об авторстве песни встречаются в нескольких источниках. Т.А.Кузминская вспоминала слова, сказанные Толстым после веселого домашнего исполнения: «Многое из этой песни сложено и пето солдатами, не я один автор ее» (Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986, с. 68).

Несогласие мемуаристов в вопросе об авторской принадлежности песни вызвало в 1904 г. дискуссию на страницах газеты «Новое время». 26 апреля (№ 10110) в статье «По обычаю предков» К.А.Скальковский,

¹ Допущена неточность: в то время Л.Н.Толстой был подпоручиком.

² Ошибка Одаховского.

рассуждая о неудачах русской армии в войне с японцами, упомянул вскользь Крымскую кампанию и песню «Как восьмого сентября...», назвав ее песней П.Менькова. Эта неосторожная фраза вызвала резкий протест у читателей газеты. 15 мая (№ 10129) П.Д.Драганов высказал свои соображения о происхождении этой и других севастопольских песен, считая их автором графа Л.Н.Толстого. На следующий день газета «Новое время» (№ 10130) опубликовала еще одну заметку К.Скальковского «Севастопольские песни», где публицист оправдывался в своей позиции, ссылаясь на авторитет издателя «Записок» П.К.Менькова.

Однако в большинстве источников приводятся достоверные факты, подтверждающие принадлежность песни «Как четвертого числа...» именно Толстому. Это прежде всего высказывания самого писателя, считавшего песню своим произведением, а также свидетельства людей, близких ему, в чьих воспоминаниях песня называлась без всяких сомнений произведением Толстого. Это и «Биография» П.И.Бирюкова, и «Воспоминания о графе Л.Н.Толстом» С.А.Берса, шурина Толстого (обе книги еще в рукописи просматривал сам Толстой), и «Воспоминания» В.И.Алексеева, домашнего учителя детей Толстых, и «Очерки былого» С.Л.Толстого, где старший сын писателя рассказывал: «В 1855 году, находясь в осажденном Севастополе, Лев Николаевич сочинил сатирическую песню, в которой осмеял нераспорядительность начальства, приведшую к поражению в сражении при Черной речке. Офицеры и, вероятно, солдаты распевали эту песню на мелодию одной цыганской песни: “Я цыганка молодая, цыганка не простая, знаю ворожить”» (Толстой С.Л. Очерки былого. Тула, 1975, с. 377). К.Скальковский сам в статье «Севастопольские песни» приводил свидетельство князя Д.Д.Оболенского, познакомившегося с Л.Н.Толстым в конце 1850-х годов, «вскоре после Крымской кампании, когда севастопольская песня очень была в моде и всюду напевалась». Песня «была положена на музыку одним общим нашим знакомым,— вспоминал Оболенский.— Мне не раз приходилось говорить про эту песню с самим Львом Николаевичем Толстым, и он *никогда не отрицал, что именно он автор севастопольской песни...*». Оболенский полагал, что Толстой «не спешил себя выставлять автором песни, столь многих огорчившей», так как «многие деятели той эпохи были еще сравнительно недавно живы и были довольно зло осмеяны» (Скальковский К. За год. СПб., 1905, с. 300).

Толстовской считали песню многие современники. Именем Толстого подписаны некоторые сохранившиеся ее списки (Краевского, Семевского, Успенского). Т.Г.Шевченко, живший в конце 50-х годов в Петербурге, в дневнике прямо называл Толстого «автором солдатской севастопольской песни» (запись 8 апреля 1858 г.— Шевченко Т.Г. Дневник. М., 1954, с. 269–270). Находившийся в 1855 г. в Крыму Д.И.Менделеев в письме в Москву упоминал «веселого батарейного командира Льва Николаевича Толстого: и песни писал веселые, и начальства не боялся» (цит. по: Надинский Л.Н. Л.Н.Толстой в Крыму. Симферополь, 1948, с. 57–58). О принадлежности песни (даже двух) Л.Н.Толстому знал Н.А.Некрасов (косвенно говорится об этом в «Воспоминаниях Григорьева», опубликованных В.Евгеньевым-Максимовым в кн.: «Звенья». М., 1934, т. 3–4, с. 655). Севастопольскую песню цитировал в своих воспоминаниях Л.М.Жемчужников, объединяя куплет этой песни с песней «Как восьмого сентября...», и называл это сочинение «песней графа Л.Н.Толстого», ко-

тору он вместе с севастопольскими офицерами распевал в Севастополе. «Песня графа Л. Толстого нравилась всем, вызывала смех, негодование и тяжелое чувство беспомощности» (Жемчужников Л. М. Мои воспоминания из прошлого. Л., 1971, с. 190).

Интересное свидетельство оставил в своих воспоминаниях американский консул в России Юджин Скайлер, посетивший Толстого в Ясной Поляне в 1868 г. По поводу сражения на речке Черной и сложной об этом песни Скайлер писал: «Это сражение, которое было так несчастно для России, было последствием ряда ошибок, начавшихся с того, что представитель военного министерства, барон *Вревский*, требовал подобного рода военных действий, совершенно забыв, что военные топографы должны были нанести на карты известные рытвины и овраги, что доказало бы их важность, — так буквально понял американец, видимо, строки песни о «топографáх» и куплет «Чисто вписано в бумаги...». — Прения военного совета и происшедшее в сражении было очень хорошо обрисовано в сатирической песне, которая служит прекрасною иллюстрацию народного духа русских, способных шутить и смеяться в самые трудные моменты, что и поддерживает их дух. Песня эта была очень популярна в Крыму и в короткое время распространена в рукописи по всей России. Голос армии приписывал ее Льву Толстому, но, конечно, в этом нельзя было сознаться» («Граф Лев Николаевич Толстой. Воспоминания Евгения Скайлера». Перев. и сообщ. А. Ф. Г. — «Русская старина», 1890, т. 67, № 9, с. 642).

В журнале «Исторический архив» (1907, № 1) была опубликована статья известного историка Б. Б. Глинского «Из истории революционного движения в России»; вспоминая о величии народного духа во время Крымской войны, автор обращался к севастопольским рассказам, в которых выведен ряд офицерских портретов, олицетворяющих николаевский режим. Глинский полагал, что «наиболее сильно» Толстой «представил всех этих господ в приписываемых его перу двух севастопольских военных песнях, где поставил точки над их именами и вывел их напоказ всей России». «Автор, так высоко вознесший простой народ в своих рассказах, — писал Глинский, — метко и правдиво очертил в стихах изнанку севастопольской драмы, с указанием ее главного виновника и исполнителей его высочайшей воли» (с. 280–283).

Несомненное авторство Л. Н. Толстого подтверждается и в письмах его к М. Н. Милошевич, и в дневниковых записях о неприятных моментах, пережитых в связи с этим произведением. Песня, сочиненная по следам сражения, скорее всего, в первой половине августа 1855 г., очень быстро распространилась в действующей армии, о чем свидетельствовали участники севастопольской кампании Глебов, Аносов, артиллерийский офицер Б., писавший в 1856 г. в своих «заметках» о севастопольской обороне, что «в Крыму песня графа Л. Н. Толстого получила громкую известность» («Русская старина», 1875, № 12, с. 566). Это вызвало недовольство властей. Спустя десятилетия, в начале 90-х годов в разговоре с Р. Лёвенфельдом Толстой вспоминал: «Эта песня была даже роковой в моей жизни. Я имел счастье¹ сделаться флигель-адъютантом великого князя Михаила

¹ В нем. оригинале: Ehrgeiz — честолюбие (Löwenfeld R. Gespräche über und mit Tolstoj. Berlin, 1891, S. 49).

Николаевича и был тогда в большом фаворе у начальства¹. Далее Толстой рассказал, как его вызвали к великому князю: «Я был страшно польщен этим и думал, что уже достиг высшей цели моего честолюбия. Великий князь объявил мне, что я должен отказаться от моей должности, потому что все узнали, что именно я автор песни, где осмеивались действия князя Горчакова и других начальников. Теперь я об этом не жалею, но тогда я чувствовал себя крайне несчастным...» («Звезда», 1978, № 8, с. 118). О том же рассказывал Толстой и французскому писателю Полю Деруледу: «Этой песне я много обязан: если бы не она, моя вся жизнь пошла бы иначе. Меня хотели послать адъютантом к государю, но между тем вышло как-то наружу, что это я написал, ну и неловко было назначить» (*ЛН*, т. 75, кн. 1, с. 538).

Об этой ситуации есть упоминания в дневнике. 7 ноября 1856 г. Толстой записал: «Приехал, б<ыл> у Констант<инова>, он славный, в<еликий> к<нязь> знает про песню. Ездил объясняться с Екимихом молодцом...». А.А.Якимих — помощник начальника штаба генерал-фельдцеймекстера (т.е. вел. кн. Михаила Николаевича); как и Толстой, он участвовал в сражении при речке Черной. Об этом объяснении через три дня, 10 ноября, Толстой писал брату С.Н.Толстому: «...но, главное, Константинов объявил мне, только что я приехал, что вел. князь Михаил, узнав, что я, будто бы, сочинил песню, недоволен особенно тем, что, будто бы, я учил ее солдат. Это грустно, я объяснялся по этому случаю с нач<альником> штаба». 5 декабря 1856 г., сообщая С.Н.Толстому о новости, которую узнал на днях, «что государь читал вслух своей жене» повесть «Детство» и плакал, Толстой признавался: «Кроме того, что это мне лестно, я рад, что это исправляет ту клевету, которую на меня выпустили доброжелатели и довели до величеств и высочеств, что я, сочинив Севастопольскую песню, ходил по полкам и учил солдат ее петь. Эта штука в прошлое царствование пахла крепостью, да и теперь, может быть, я записан в 3-е Отделение и меня не пустят за границу». За границу Толстого «пустили», однако его репутация при дворе, видимо, пошатнулась. Почти через пять лет, летом 1862 г., в Ясной Поляне был произведен обыск, непосредственно с сочинением песни не связанный. Но, отвечая на возмущенное письмо Толстого и советуя, как теперь поступить, А.А.Толстая, двоюродная тетка, фрейлина императорского двора, прямо связывала случившееся с этой песней: «...насколько мне известно,— писала она из Либавы 18 августа 1862 г.,— мнение о вас осталось плохое, благодаря той несчастной песенке, и очень может быть, что как раз ей вы обязаны всей этой гнусной несправедливостью» (Переписка Л.Н.Толстого с гр. А.А.Толстой. СПб., 1911, с. 172).

Взгляд на севастопольскую песню как на главное препятствие в военной карьере Толстого оказался устойчив: его приводят и один из первых биографов Евг. Соловьев в книге «Л.Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность» (СПб., 1894, с. 54), и даже «Энциклопедический словарь» (изд. Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, СПб., т. XXXIII, 1901, с. 451), где С.А.Венгеров писал: «Окруженный блеском известности и пользуясь

¹ Толстой считал, что этому способствовал понравившийся государю рассказ «Севастополь в декабре месяце».

репутацию очень храброго офицера, Толстой имел все шансы на карьеру, но сам себе “испортил” ее. Едва ли не единственный раз в жизни <...> он побаловался стихами: написал сатирическую песенку, на манер солдатских, по поводу несчастного дела 4 августа 1855 г., когда генерал Ряд, неправильно поняв приказание главнокомандующего, неблагоразумно атаковал Федюхинские высоты. Песенка (“Как четвертого числа нас нелегкая несла горы забирать” и т.д.), задевавшая целый ряд важных генералов, имела огромный успех и, конечно, повредила автору).

На протяжении всей жизни, и вскоре по возвращении с войны, и в глубокой старости, Толстой не раз вспоминал свою песню. Т.А.Кузминская, описывая один из визитов Толстого в семью Берсов (26 мая 1856 г.), отмечала, что из всех рассказов и разговоров о войне она, десятилетняя девочка, больше всего запомнила, «как зашла речь о песне “Как 8-го сентября...”¹» и как все просили гостя напеть ее, но «Лев Николаевич отказывался. Конечно, ему казалось дико сесть за рояль и запеть. Мы все чувствовали, что это надо было обставить как-нибудь иначе. Дядя Костя <К.А.Иславин> сел за рояль и наиграл ригурнель этой песни. Мотив был всем нам известен. Дядя Костя так играл, что трудно было молчать.

— Спойте с Таней,— сказал папá,— она поет и вам подтянет. Таня, подойди, пой вместе со Львом Николаевичем.

— Мотив я знаю, а слов не знаю,— сказала я.

— Ничего, мы тебя научим,— говорил дядя Костя,— становись.— Он сказал мне два первых куплета.— Я буду тебе подсказывать дальше.

— Ну давайте петь вместе,— смеясь обратился ко мне Лев Николаевич. Он сел возле дяди Кости и начал почти говорком. Пропев с ним два куплета, я отстала и с интересом слушала его, а Лев Николаевич с одушевлением продолжал уже один; дядя Костя своим аккомпанементом прямо подносил ему песню. Я взглянула на отца. Веселая, довольная улыбка не сходила с лица его. Да и всех нас развеселила эта песня.

— Как остроумно, лихо, ладно сложена эта песня,— говорил отец.— Я знавал этого Остен-Сакена. Так это он “акафисты читал”, как этот куплет-то? — говорил отец, смеясь.

“Остен-Сакен, генерал, все акафисты читал Богорóдице!” — продекламировал дядя Костя. И тут стали перебирать все слова песни» (Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986, с. 67–68).

По воспоминаниям Н.А.Тучковой-Огаревой, у Герцена в Лондоне (март 1861 г.) Толстой, когда был в хорошем настроении, «пел, аккомпанируя себе на фортепиано, солдатские песни, сочиненные им в Крыму во время войны:

“Как восьмого сентября²
Нас нелегкая несла
Горы занимать...” —

и другие подобные песни. Слушая его,— писала она,— мы много смеялись, но, в сущности, было тяжело слушать о всем, что делалось тогда в Крыму,— как бездарным генералам вручалась так легкомысленно участь

¹ Имеется в виду песня «Как четвертого числа...».

² Автор мемуаров первую строку ошибочно взяла из другой севастопольской песни.

многих тысяч солдат, как невообразимое воровство достигло высших пределов. Воровали даже корпию и продавали ее врагам, а наши солдаты терпеливо умирали» (Тучкова-Огарева Н.А. Воспоминания. М., 1959, с. 179).

Об исполнении песни вспоминал С.Л.Толстой: «Лев Николаевич не раз игрывал аккомпанемент к этому напеву или он и еще кто-нибудь играли вдвоем, в четыре руки, мелодию вместе с аккомпанементом. Обычно песня игралась в d-dug» (Толстовский ежегодник 1912 г. М., 1912, с. 299).

Весной 1889 г. Н.С.Лесков, готовя к печати свой небольшой рассказ «Фигура», обратился к Толстому с просьбой помочь «выправить и дополнить» живыми чертами облик Сакена, который у него «вышел бесхарактерен и бледен»: «Не могу ли я попросить Вас послонить этот ломоть Вашей рукою и из Вашей солонки? Не укажете ли в корректуре: где и что уместно припустить для вкуса и ясности о Сакене, которого Вы, я думаю, знали и помните» (*Переписка*, т. 2, с. 220–221). Толстой выполнил просьбу Лескова, но, к сожалению, его письмо с характеристикой генерала Д.Е.Остен-Сакена, посланное из Ясной Поляны в середине мая 1889 г., не сохранилось. В рассказе «Фигура» упоминается «Ерофеич, что и теперь еще все акафисты читает», — прямая цитата из севастопольской песни звучала в устах героя как намек на эту песню, которая была у всех на слуху. Возможно, именно этой строкой из песни «посолил» Толстой лесковского Сакена в майском письме 1889 г.

В 1904 г., в связи с работой Бирюкова над «Биографией», газетной полемикой вокруг вопроса об авторстве песен, Толстой памятью возвращался к событиям полувековой давности. Д.П.Маковицкий 17 января 1905 г. записал в своей тетради, что Толстой, слушая какого-то мужика, «сердечно улыбнулся при этом, как на днях, когда рассказывал Бирюкову о “Севастопольской песне” (“Как четвертого числа”), — и далее Маковицкий привел коротенький эпизод, рассказанный Толстым. — Шел он раз с каким-то капитаном, и тот говорил ему про автора песни (конечно, не зная того, что автор ее стоит перед ним): “Как он это ловко подобрал, сукин сын!”» (*ЛН*, т. 90, кн. I, с. 138).

Песня распространялась различными способами: ее заучивали наизусть, и тогда она неизменно приобретала фольклорные черты; она ходила в списках в Крыму и по всей России. На сегодняшний день этих списков (опубликованных и неопубликованных) найдено более двух десятков, многие из них далеко не полные, в некоторых объединены куплеты толстовской песни с куплетами других севастопольских песен. Такая ошибка появилась даже в единственном автографе двух куплетов песни, написанных Толстым в альбоме Т.А.Берс в 1861 г., где первый куплет начинается строкой «Как восьмого сентября...», а вторым идет восьмой куплет песни (*ГМТ*).

Самыми важными материалами для определения основного источника текста песни представляются полные¹ списки: в настоящее время обна-

¹ Полным списком условно называем список песни, имеющий не менее 18 куплетов.

ружено шестнадцать таких списков. Они записаны как во время Крымской кампании, так и позднее. Все списки имеют большее или меньшее количество разночтений. Списков, не опубликованных при жизни Толстого,— девять; из них наиболее интересен список Н.С.Милошевича, участника севастопольской кампании, переписанный, вероятно, еще в Крыму.

Со списком Милошевича Толстой был знаком. В конце января 1904 г. он получил из Петербурга письмо от дочери своего севастопольского сослуживца М.Н.Милошевич, где она сообщала, что в «записках о Севастопольской обороне» своего покойного отца Н.С.Милошевича «нашла переписанные его рукой стихи и озаглавленные: “Солдатские песни, сочинения графа Л.Н.Толстого, распевавшиеся в Крымской армии”». К письму были приложены «копии этих стихов¹, известных в некоторой части публики, как полагала Милошевич, «более по рукописным спискам, довольно редким в наше время». М.Н.Милошевич задавала Толстому вопросы, действительно ли это его стихи и нет ли в них «искажений против подлинника». «Не разрешите ли Вы мне напечатать их при записках моего отца или отдельно с неизбежными, конечно, в этом случае, в силу цензурных условий, пропусками?» — спрашивала автор письма (ГМТ).

Толстой 19 февраля 1904 г. отвечал: «На 1-й вопрос: действительно ли солдатские песни, кот<орые> вы присылаете, сочинены мною? отвечаю, что песни эти точно сочинены мною.

На 2-й вопрос: нет ли в них неверностей против оригинала, отвечаю, что песни эти, сколько мне помнится, никогда не были мною написаны, а заучивались со слов и изменялись и добавлялись». По просьбе Милошевич Толстой просмотрел и исправил присланные списки песен. Таким образом появился авторизованный текст песни «Как четвертого числа...».

В апреле 1904 г. в газете «Новое время» началась дискуссия по поводу принадлежности севастопольских песен Толстому. И в Петербург к М.Н.Милошевич 18 мая было отправлено из Ясной Поляны еще одно письмо, дополняющее и уточняющее предыдущее: «Возникшая в “Нов<ом> вр<емени>» полемика о том, кому принадлежит авторство севастопольских песен,— писал Толстой,— заставила меня вспомнить и прочесть мой ответ вам² по этому же вопросу.

Я отвечал вам, что обе песни принадлежат мне, теперь же статья “Нов<ого> вр<емени>» напомнила мне, что первая песня сочинена не мною одним, а что в сочинении ее принимали участие несколько человек. Сообщая об этом вам, присовокупляю еще несколько поправок, исключений не моего, и прибавлений пропущенного во второй песне, сочиненной мною одним...». В черновом варианте письма Толстой признавался: «Я так мало приписываю значения этим песням, что, отвечая вам, признал обе песни своими, тогда как, для того чтобы быть точным, я бы должен бы<л> упомянуть, что в первой песне принимали участие товари<щи>».

Желание М.Н.Милошевич поместить севастопольские песни в книгу записок отца не осуществилось, и 30 мая 1904 г. она сообщала Толстому: «Теперь я намереваюсь печатать песни отдельным изданием и непременно

¹ Списки двух песен: «Как 8-го сентября...» и «Как 4-го числа...».

² Копию письма в копировальной книге.

но с благотворительной целью...». Цензурные условия во время русско-японской войны 1904 г. заставляли ее «выждать более благоприятный момент»: «когда наши дела на войне поправятся и первые неудачи забудутся,— писала Милошевич,— я приступлю к изданию севастопольских песен даже и с значительными пропусками, если иначе нельзя будет сделать...» (ГМТ).

Однако при жизни Толстого список Милошевича так и не был опубликован, и только годы спустя, 25 ноября 1923 г., в петроградском еженедельнике «Зори» (№ 3) был напечатан текст севастопольской песни «Как четвертого числа...» по списку, возможно, правленному и возвращенному Толстым в 1904 г. М.Н.Милошевич. Этот список, безусловно, один из важнейших источников текста севастопольской песни. Но самого подлинника списка нет в распоряжении исследователей, и потому возникают вопросы: во-первых, можно ли гарантировать, что М.Н.Милошевич в «Зорях» опубликовала именно тот текст, который авторизовал Толстой, и во-вторых, насколько точно при печатании был воспроизведен текст списка-оригинала? Вот почему текст списка Милошевича должен быть непременно учтен при определении текста песни, но все же не может стать основным его источником.

В середине 50-х годов севастопольская песня появилась в Петербурге. Предположительно 1855–1856 гг. можно датировать список, сохранившийся в архиве известного литератора А.А.Краевского, редактора и издателя журнала «Отечественные записки». Написанный писарским почерком, текст песни подписан карандашом рукой самого А.А.Краевского: «Граф Л.Толстой» (РНБ, ф. 391, Краевский; ед. хр. 64. Толстой Лев Николаевич. Солдатская песня на голос: «За горами, за долами»; л. 1–2). В списке Краевского 19 трехстиший: пропущены второй куплет про генерала Ушакова и куплет о генерале Белевцеве; несколько сбивчив порядок строф, есть некоторые разночтения в сравнении с основным текстом.

Н.А.Добролюбов 23 января 1856 г. писал в своем дневнике: «Несмотря на официальные уверения, не многие верят нашим подвигам в Крыму, особенно, где замешаются стратегические соображения наших военачальников. Между самими солдатами вот какие песни ходят...» — и далее Добролюбов приводил две песни, заметив при этом, что в Петербурге они «имеют большой успех. Их читают и списывают. Мне случалось встречать офицеров,— писал автор дневника,— которые знают их наизусть...» (Добролюбов Н.А. Полн. собр. соч., М., 1939, т. 6, с. 418–420). Список Добролюбова насчитывает 18 куплетов; пропущены три куплета: «Долго думали, гадали...», «Мартенау умолял...», «Наше войско небольшое...». На своих местах остались первые пять и последний куплеты: остальные идут не по порядку. Почти во всех куплетах есть менее или более значительные расхождения с основным текстом песни.

В «Сборнике рукописных прозаических и поэтических произведений» (ч. I) 1856 г. известного писателя, общественного деятеля, будущего издателя «Русской старины» М.И.Семевского севастопольская песня значилась как произведение Льва Толстого (ИРЛИ, ф. 274, Архив М.И.Семевского, оп. 1, № 437, л. 96–97). В списке 18 куплетов: нет трехстишия «Выезжали князя-графы...» и двух куплетов о генерале Ушакове. Заканчивается список девятнадцатым куплетом, присочиненным другим автором, на что указывает сам Семевский.

В архиве журнала «Русская старина» сохранилось письмо от 28 марта 1884 г. некоего Мансурова Александра Порфирьевича (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 1522), где автор давал сравнительный анализ публикации песни в февральском номере журнала за 1884 год и собственного списка. Мансуров не прислал этот список, но добросовестно сообщил все разночтения. В списке Мансурова «песнь эта озаглавлена: «На Черную речку — 4 августа 1855 года. Солдатская песня»». Имя автора не указано, а в конце текста подписано: «Общество артиллеристов». После заключительного толстовского куплета в списке шли «еще два куплета, не вполне удобные для напечатания,— писал Мансуров,— даже и в настоящее время, и наконец последний:

Если бы старый царь узнал,
Кто сию песню написал,—
Далеко б послал!».

Еще один список был прислан в журнал «Русская старина» Дмитрием Ивановичем Успенским из Москвы, где песня также бывала в списках (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 2837; письмо без даты, но, вероятнее всего, отправлено не ранее 1884 г.). Успенский, сообщая и текст песни «Как восьмого сентября...», дал общее заглавие своим спискам: «Две песни Л.Н.Толстого», заметив, что в песнях «размер стихов напоминает собою севастопольскую матросскую песню про Синопский бой:

Турки наши лиходеи,
Христианских душ злодеи
За морем живут».

В списке Успенского после заключительного «...кто туда водил» было еще два куплета, досочиненные кем-то, видимо, после 15 августа 1855 г., т.е. по окончании строительства понтонного моста через Большую Севастопольскую бухту.

В отделе рукописей Российской государственной библиотеки имеется три полных списка песни. Все они без подписи; условно можно их датировать второй половиной 50-х годов. Один из них, хранящийся в фонде академика Н.С.Тихонравова (РГБ, ф. 298/IV, Н.С.Тихонравов, картон № 2, ед. хр. 54, л. 1–2), имеет 20 куплетов и озаглавлен: «На 4-е августа». В списке пропущено восьмое трехстишие («Выезжали князя-графы...») и есть разночтения в сравнении с основным текстом. Среди материалов графа Б.С.Шереметева находится список, сделанный его рукой (несколько куплетов — неизвестной рукой), под названием «Солдатская песня» (РГБ, ф. 817, Шереметевы, картон № 2, ед. хр. 13, л. 3–4). Здесь 20 строф (нет второй строфы про генерала Ушакова), много разночтений, отчасти нарушен порядок куплетов. В первых четырех — существенные исправления карандашом. Почти полностью схож со списком Д.Успенского третий московский список из РГБ, озаглавленный «4-е августа» (РГБ, ф. 218, Собрание отдела рукописей, картон № 1099, ед. хр. 2. Сатирические песни Крымской войны 1853–1856 гг., л. 1 об.–2). Как и в списке Успенского, здесь пропущен второй куплет про генерала Ушакова; завершают текст песни, как и у Успенского, два трехстишия о «енерале» Бухмейере, строящем мосты, и «дежурном енерале, что уж с ним поворовал», — строки, не относящиеся к сражению на р. Черной и сочиненные позднее.

Все рукописные списки, в отличие от опубликованных, сохранили полностью или частично вторую строку последнего куплета с острым словцом по поводу тех, «кто туда водил».

Сохранился также список севастопольской песни на французском языке (*РГАЛИ*, ф. 508, оп. 5, ед. хр. 11): «Chanson des soldats de Sebastopol». Нет ни даты, ни имени автора, ни сведений о переводчике. Можно предположить, что перевод был сделан П.И.Бирюковым в 1904 г. для французского издания первого тома «Биографии Льва Николаевича Толстого»: единственная поправка на полях сделана по-русски; почерк идентичен почерку Бирюкова; текст написан на бланке редакции издававшегося в Женеве русского ежемесячного журнала «Вольная мысль» («Pensée libre»), где в начале 1900-х годов сотрудничал П.И.Бирюков. Не исключено, что перевод этот готовился и для публикации в журнале.

Семь списков песни были опубликованы при жизни Толстого. Во всех публикациях вторая строка последнего (21-го или 19-го в разных списках) куплета, с крепким ругательством во многих рукописных вариантах, при печатании была заменена строкой точек.

Впервые песня была напечатана в 1857 г. в альманахе «Полярная звезда» (кн. третья, с. 283–285), издававшемся в Лондоне А.И.Герценом и Н.П.Огаревым. Под общим заглавием «Две песни крымских солдат» «Полярная звезда» предлагала читателям севастопольские песни «Как восьмого сентября...» и «Как четвертого числа...». Имя автора указано не было, но дано небольшое примечание от редакции: «Эти две песни списаны со слов солдат. Они не произведения какого-нибудь особого автора, и в их складе нетрудно узнать выражение чисто народного юмора». В тексте песни 23 куплета, два последние присочинены явно позднее. Писатель Н.А.Мельгунов, прочитав в «Полярной звезде» севастопольские песни, благодарил издателей «за стихи», как он назвал эти сочинения, и писал Герцену из Парижа 28 марта 1857 г.: «Но с чего ж ты взял, что они сложены солдатами? Напротив, их сложили грамотеи-офицеры, между прочим и граф Толстой, который теперь здесь. Ему даже за это чуть не досталось в Петербурге. Правда, что песенки сложены так, что, говоря, все солдаты их знали наизусть и, разумеется, кое-что и от себя приладили» (*ЛН*, т. 62, кн. 2, с. 353). Сведения эти, видимо, не стали для Герцена откровением, и умолчание имени автора было намеренным, что не сразу уловил Мельгунов. В следующем письме 3 апреля 1857 г. он признавал свою непроницательность: «О песенках мне потом растолковали. Что ж прикажешь делать? Я страх как туп на отгадыванье хитростей, ребусов и пр.» (там же, с. 356).

Через год, в 1858 г., песня из «Полярной звезды» была перепечатана в небольшом сборнике «Собрание стихотворений Пушкина, Рылеева, Лермонтова и других лучших авторов». (На обложке: «Русская библиотека, т. 1».) Книжка вышла в Лейпциге в издательстве В.Гергарда. Сборник открывался одой А.С.Пушкина «Вольность», а завершался песней «крымских солдат» «4 августа» (с. 269–272).

В 1863 г. вышел маленький сборник «Свободные русские песни». Местом издания значился Кронштадт, хотя на самом деле издана книга, видимо, в Европе. В песеннике помещены песни декабристов, послание Пушкина декабристам «Во глубине сибирских руд...», песня «4 августа» — на голос:

«Бонапарту не до пляски,
Растерял свои подвязки
И кричит пардон...» (с. 55–59).

Имя автора не указано, текст печатался по публикации в «Полярной звезде». В предисловии к сборнику издатели сообщали, что «имели в виду соединить в нем песни наиболее знакомые, наиболее любимые и чаще других раздающиеся в русских свободных кружках». Издатели называли этот сборник «первым на Руси свободным песенником», в котором «песни не все одинакового достоинства в литературном отношении, но во всех них более или менее слышится один и тот же мотив наболевшего русского сердца». Песенник был обращен ко «всем друзьям русской свободы». Отсюда песню перепечатали в сборнике «Лютня. Собрание свободных русских песен и стихотворений» (Лейпциг, 1869, с. 29–32), под заглавием «4 августа», где она помещена среди произведений Рылеева, Кюхельбекера, Огарева, Некрасова и других русских поэтов; автором песни назван А.А.Бестужев.

В России небольшой фрагмент песни впервые был опубликован в 1872 г. в журнале «Русская старина» (№ 4, с. 682). Н.П.Барсуков, публикуя письмо генерала П.П.Липранди периода Крымской кампании, во вступительном комментарии объяснял, о каком генерале идет речь, и в качестве общеизвестного факта приводил строки о Липранди из двух севастопольских песен (считая их одной), в том числе два куплета из песни «Как четвертого числа...», «приписываемой Л.Н.Толстому», которую называл «шуткой-сатирой над действиями наших генералов в Крымской кампании».

Полная публикация песни появилась в России только в феврале 1875 г. в журнале «Русская старина» (с. 441). Песне предшествовал псалом о Севастополе, и произведения шли под общим заглавием: «Псалом и песня о Севастополе». В коротком редакционном предисловии говорилось о «шутке-песенке, сложившейся еще бок о бок со смертью и разрушением на бастионах того же Севастополя в 1855 г.: эта песенка известна всей России, облетела ее во множестве списков, да едва ли ни была ли уже и напечатана; кто ее автор — мы не знаем, да это и неважно, но любопытно, что в ней высказалась прямо народная черта русского человека — его способность в самые тяжкие минуты шутить, смеяться». Текст песни из 19 куплетов печатался по списку, «сообщенному известным писателем и ученым М.И.Венюковым». К песне давалось примечание М.И.Венюкова, где он рассказывал, что в 1854–1856 гг., находясь «в Академии Генерального Штаба для слушания военных наук», получил из Крыма, «с театра военных действий», от своего прежнего товарища по батарее, офицера 14-й артиллерийской бригады Ив.Вас.Аносова, список песни. «Об авторе этой остроумной шутки-песни, — вспоминал Венюков, — Аносов мне писал, что общий голос армии приписывает ее нашему талантливому писателю графу Льву Николаевичу Толстому (гр. Л.Н.Толстой, если не ошибаюсь, действительно служил в 14-й бригаде — прим. М.Венюкова); “но ты понимаешь, — писал Аносов, — что об этом предмете говорить с точностью невозможно, хотя бы для того, чтобы не наделать беды Толстому, если сочинитель действительно он”». В тексте песни наряду с неизвестными различениями отсутствовали два куплета о генерале Ушакове.

Вслед за списком Аносова через месяц в той же «Русской старине»

(с. 653) был напечатан еще один список, принадлежавший С.П.Сысоеву, под заглавием «Песня о сражении при Федюхиных горах». В тексте 21 куплет, в двадцатом куплете генерал Остен-Сакен назван «NN енарал».

В февральском номере 1884 г. «Русская старина» опубликовала новый список, сообщенный анонимным автором, который представлялся как «один из участников в составлении “Севастопольской песни”». Тексту предшествовал комментарий мемуарного характера, где автор пояснил, что решил опубликовать «Севастопольские куплеты», потому что, на его взгляд, они «имеют уже только историческое значение, обрисовывая настроение умов сева­стопольцев, с горечью и присущим русским людям юмором видевших неумелость некоторых из своих вождей», а также «потому, что “Русская старина”, изд. 1875 г., в которой они были впервые напечатаны, давно уже составляет полную библиографическую редкость». В публикации 1884 г. 19 куплетов: нет двух куплетов об Ушакове.

В нескольких изданиях полностью или частично песня о сражении на Черной речке была опубликована в 90-е годы. В книге Евг. Соловьева «Л.Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность» (1894) 14 куплетов перепечатаны из «Русской старины» 1884 г. В 1896 г. песня появилась в книге немецкого писателя Рафаила Лёвенфельда «Гр. Л.Н.Толстой. Его жизнь, произведения и мирозерцание»; текст ее, без всякого сомнения, полученный в Ясной Поляне в 1890 г., напечатан не полностью — следы цензурного вмешательства (куплеты «Выезжали князя-графы ~ А я посмотрю» заменила строка точек; нет куплета «Мартенау умолял...», двух куплетов про Ушакова и куплета про Белевцева; в трехстишии об Остен-Сакене вместо строки: «Богородице» — многоточие; последние две строки песни тоже означены многоточием). Напечатанные же куплеты полностью совпадали со списком Аносова. Почти в том же виде песня вышла во втором и третьем русских изданиях книги Р.Лёвенфельда (СПб., 1897, с. 105–106; СПб., 1904, с. 97–98 — здесь был добавлен куплет «Выезжали князя-графы...» и третья строка куплета про Остен-Сакена, названного в книгах Лёвенфельда «NN генерал»). Этот же текст перепечатала газета «Биржевые ведомости» в одном из номеров, посвященных семидесятилетнему юбилею Толстого (1898, 8 (20) сентября). В обширной «биографической справке» о творчестве писателя, составленной по книгам Евг. Соловьева и Р.Лёвенфельда, рассказывалось об истории возникновения этого сочинения.

В 1898 г. песня появилась в книге «Записки Петра Кононовича Менькова» (СПб., т. I, с. 460–462) под заглавием «4 августа». В коротком редакционном вступлении сообщалось, что «песнь крымских солдат, касающаяся сражения на Черной речке», приложена к запискам Менькова, имя автора не упомянуто и потому издатели «склонны считать таковым П.К.Менькова или целый кружок лиц главной квартиры князя Горчакова». В тексте 21 куплет, налицо значительные разночтения. Вместо третьей строки второго и второй строки последнего куплетов — ряды точек. Имя «Плац-Бек» обозначено как «П... Б...».

Четыре куплета песни привел в своей книге «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории...» (СПб., 1904) Владимир Соловьев: в «Разговоре третьем» генерал, один из пяти собеседников, вспоминал строки из сева­стопольской песни, называя ее солдатской (с. 126).

Еще одно появление песни при жизни Толстого — снова в журнале «Русская старина», № 3 за 1905 год (с. 542–543) в «Записках Порфирия

Николаевича Глебова», участника сражения на Черной речке. В его списке 19 куплетов: нет второго трехстишия про Ушакова и куплета про Белевцева. Значительные разночтения, несколько иной порядок строф. Из заключительного куплета приведена только первая строка — далее два ряда точек. Текст списка П.Н.Глебова почти полностью совпадает с текстом рукописного списка А.А.Краевского.

Год спустя севастопольская песня была напечатана в «Биографии» Л.Н.Толстого, составленной П.И.Бирюковым (с. 258–259). Еще в 1904 г., готовя первый том «Биографии», Бирюков, за отсутствием авторского варианта, обратился к тексту песни, опубликованному в 1875 г. в журнале «Русская старина» (т. XII, № 2, с. 441–443) по списку участника обороны Севастополя И.В.Аносова. В то же время он узнал, что «одна дама» (М.Н.Милошевич) прислала две песни Толстому, и через Черткова получил копию ответа Толстого Милошевич. На просьбу Бирюкова прислать ему в Женеву текст песни Толстой отвечал: «Я пришлю вам то, что мне прислала дама». 31 мая Бирюков напомнил об этом, и 10 июня Толстой еще раз обещал прислать песни. Однако и в конце июля биограф все еще не получал обещанного текста.

Тем временем рукопись первого тома «Биографии» уже была доставлена в Ясную Поляну; Толстой внимательно прочитал ее, исправил, в том числе и севастопольскую песню, и отослал Бирюкову в Швейцарию. 6 ноября 1904 г. Бирюков написал в Ясную Поляну: «На днях я отправляюсь повидаться с Чертковым, чтобы переговорить с ним об издании первого тома биографии, который я закончил, приняв во внимание все сделанные вами поправки и дополнения» (ГМТ).

В итоге в список Аносова было внесено 12 поправок, три из которых совпадают с текстом списка «дамы» и, возможно, по этому списку сделаны Бирюковым¹. Остальные же исправления свидетельствуют о том, что текст списка Аносова был авторизован Толстым². Этот авторизованный текст севастопольской песни (условно назовем его «Толстовский список») и был опубликован в первом томе «Биографии» в 1906 г. Именно этот список принят в настоящем издании за основной источник текста севастопольской песни «Как четвертого числа...».

В «Биографии» была напечатана и песня «Как восьмого сентября...». «Если вспомнить те обстоятельства, при которых слагались эти песни,— писал Бирюков,— все эти ужасы смерти, стоны раненых, кровь, пожары, убийства, наполнявшие собою атмосферу Севастополя, невольно приходишь в удивление перед той силой духа, которая оставляла место для добродушных шуток над самим собой под постоянной угрозой страданий и смерти» (с. 263).

В 1907 г. обе песни по тексту «Биографии» перепечатал петербургский «Иллюстрированный еженедельник» (№ 32) в номере, посвященном 55-летию литературной деятельности Л.Н.Толстого.

¹ В примечании к списку Аносова Бирюков отметил: «Кроме того, мы исправили этот текст еще по списку, доставленному нам Львом Николаевичем» (с. 257). Вероятно, это и был список «дамы».

² Одно исправление было сделано, видимо, в устной беседе с Бирюковым, о чем он сообщил В.И.Срезневскому (Юб., т. 4, с. 420).

Три издания выдержала при жизни Толстого своеобразная публикация песни «Как четвертого числа...» в Германии. В 1892 г. в Берлине вышла книга Р.Лёвенфельда о Толстом (Löwenfeld R. Leo N.Tolstoj, sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung), где рядом с немецким переводом дан русский текст в немецкой транскрипции (S. 78–80). Впервые же Лёвенфельд напечатал песню в книге «Gespräche über und mit Tolstoj» (Berlin, 1891); спустя десять лет вышло третье издание книги (Leipzig, 1901). Таким образом, за десять лет (1891–1901) в Германии на немецком языке в книгах Р.Лёвенфельда севастопольская песня Толстого печаталась шесть раз.

Немецкий литературный критик А.Эттлингер в своей небольшой книжке о Толстом заметил по поводу севастопольской песни: «Из севастопольского времени происходит единственное известное стихотворение Толстого, сатира на поражение, причиной которому стал недостаток благоразумных генералов. Это легко набросанные строфы в народном стиле, рожденные моментом и на него рассчитанные» (Ettlinger A. Leo Tolstoj. Eine Skizze seines Lebens und Wirkens. Berlin, 1899, S. 13).

На английском языке 17 куплетов песни были опубликованы в 1904 г. в книге Эдварда Штайнера «Толстой как человек» (Steiner E.A. Tolstoy the man. N.Y., 1904, p. 78–80). Автор признавался, что перевел эти строки, потому что они характеризуют Толстого, хотя «это простые созвучия и не очень высокого качества» (p. 78). Полный перевод, сделанный Луизой Моод, был напечатан через четыре года в Англии в книге Э.Моода «Жизнь Толстого» (Maude A. The Life of Tolstoy. First fifty years. London, 1908).

В 1906 г. (немного раньше, чем в России) первый том «Биографии» Л.Н.Толстого, составленной П.И.Бирюковым, появился на немецком, английском, французском (перевел Ж.-В.Биншток), норвежском (перевел Е.Норденштрём), чешском (перевел Ян Ваня) языках. В английском и французском изданиях текст песни сопровождала нотная запись ее мелодии.

Литературная судьба севастопольской песни — это не только многочисленные и разнообразные ее публикации. Песня Толстого не раз служила основой для создания злободневных фольклорных произведений. Осенью 1855 г. в севастопольской армии появилась песня, приписываемая П.Менькову:

«А как первого числа
Ожидали в фоц-Сала
Батюшку-царя!

Коцебу просил Толстова
Написать хотя два слова
На этот предмет!» («Записки П.К.Менькова», с. 425).

Последний куплет говорил о популярности Толстого как сочинителя севастопольской песни.

В 1861 г. в студенческой среде родилась песня о том, как 12 ноября полиция пресекла выступления студентов Московского университета, протестовавших против новых университетских правил. Песня начиналась словами:

«Как двенадцатого числа
Нас нелегкая несла
Просьбу подавать...»

Казанские студенты и гимназисты в 1862 г. сложили песню:

«Как двадцатого числа
Нас нелегкая несла
Песни распевать...»

В песне тоже шла речь о столкновении молодежи с полицией.

Спустя почти три десятилетия, в 1901 г., в Петербурге была распространена листовка с песней о разгоне 4 марта демонстрации у Казанского собора:

«Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Смуту унимать...»

Так начиналась песня, сочиненная студентами Петербургского университета от имени простых солдат, принимавших участие в этой полицейской акции. Эта студенческая песня стала в начале 1900-х годов довольно популярной и среди рабочих. (Фрагменты песен приводятся по статье А.М.Новиковой «Севастопольские песни Л.Н.Толстого» — Ученые записки Московского областного педагогического института им. Крупской, т. 122. Русская литература. Вып. 8. М., 1963, с. 3–47.)

Песню Л.Н.Толстого часто цитировали и упоминали писатели, публицисты, ученые и политики.

Сражение на речке Черной состоялось 4 августа 1855 г. Главной задачей, поставленной военным командованием, было овладеть Федюхиными высотами, высотами Телеграфной и Гасфортовой и Сапун-горою, занимаемыми союзными неприятельскими войсками с 13 мая.

Пассивность и нерешительность главнокомандующего Крымской армией князя М.Д.Горчакова давно вызывали недовольство и раздражение Петербурга. С миссией побудить Горчакова к активным наступательным действиям из столицы в Севастополь в середине июня 1855 г. прибыл генерал барон П.А.Вревский. Едва ознакомившись на месте с положением дел, генерал Вревский стал настаивать на необходимости предпринять решительные действия, о чем он в письмах доносил военному министру князю В.А.Долгорукову. М.Д.Горчаков медлил с принятием решения, понимая, что наступление не может быть удачным ввиду реального положения вещей, так как у армии недостаточно сил для этого. «Было бы просто сумасшествием начать наступление против превосходного в числе неприятеля, главные силы которого занимают, кроме того, недоступные позиции», — писал он военному министру 5 июля 1855 г. (цит. по кн.: Богданович М.И. Восточная война 1853–1856 годов. СПб., 1877, т. IV, с. 2). Однако сам государь император предложил Горчакову собрать военный совет для решения вопроса о наступательных действиях русской армии. 28 июля военный совет состоялся, на нем помимо князя М.Д.Горчакова присутствовали высшие чины Крымской армии: генерал-адъютанты граф Д.Е.Остен-Сакен и П.Е.Коцебу, генерал-лейтенанты А.О.Сержпутовский, П.П.Липранди, А.Е.Бухмейер, С.П.Бутурлин, С.А.Хрулев, Н.И.Ушаков, К.Р.Семякин. На совет прибыли также генерал-адъютант барон

П.А.Вревский, начальники штабов генерал-майоры Н.А.Крыжановский, князь В.И.Васильчиков и другие генералы. Видя неготовность некоторых членов военного совета принять столь важное решение, Горчаков потребовал от них представить на следующий день их мнение в письменной форме. В результате большинство военачальников высказалось за наступление русских войск со стороны речки Черной.

Был разработан и выверен план наступления. Еще до рассвета главнокомандующий князь Горчаков в сопровождении ближайшего окружения прибыл на свой наблюдательный пункт, который находился на склоне Мекензиевой горы рядом с новым редутом (в песне: большой редут). По плану командования, наступление на высоты Телеграфную и Федюхины должно было начаться с двух флангов, которыми командовали генералы Липранди и Реад. В диспозиции было сказано, что войска должны быть на месте к четырем часам по полудни. Генерал Липранди атакует Телеграфную гору, а генерал Реад в это время открывает артиллерийский огонь по Федюхиным высотам, давая тем самым возможность удержаться атакующим на Телеграфной горе. Обоим начальникам флангов, Реаду и Липранди, Горчаков предписывал начинать атаку только по особому его приказанию.

Сражение начал корпус генерала Липранди. Телеграфная высота была взята довольно скоро, и Горчаков отдал распоряжение атаковать Гасфортову гору. Резерв пехоты должен был поддержать атаку Липранди. Атака на Гасфортову гору началась, как вдруг генерал Реад неожиданно повел свои войска на взятие Федюхиных высот. Сильный ружейный огонь сопровождался громким «ура!». Войска Реада направились к мосту через речку Черную, заняли предместное укрепление, перешли через мост, а кто и вброд, по шею погружаясь в воду, и начали взбираться на занятые неприятелем довольно крутые склоны средней горы. Позднее выяснилось, что генерал Реад, опасаясь пропустить удобный момент для атаки, без специального приказа, едва слышав стрельбу в стороне Липранди, начал артиллерийский обстрел Федюхиных высот, и, когда адъютант главнокомандующего передал ему приказ «время начинать», что и значило начинать канонаду, генерал воспринял это как сигнал к началу атаки. «Я не могу ждать: я имею приказание от князя», — со всей решительностью заявил Реад в ответ на доводы его окружения о том, что войска еще не заняли позицию и не подошли резервные части.

Первыми были посланы в атаку три полка 12-й пехотной дивизии под начальством генерал-майора Мартенау. Его неожиданное нападение на Федюхины высоты должен был поддержать генерал Ушаков со своей 7-й пехотной дивизией. Но и здесь случилась неувязка: получив от генерала Реада приказ «начинать», Ушаков не понял, что конкретно он должен предпринять, и послал адъютанта к Реаду с просьбой разъяснить приказание. Так и не получив внятного распоряжения, генерал Ушаков двинул свои войска через речку вброд, так как мосты навести не успели, перешел Черную речку и атаковал Федюхины высоты с западной стороны, где французам из ложементов было удобно в упор стрелять в наших солдат. Положение усугубилось еще и тем, что не смогли переправить через речку артиллерию и она осталась на том берегу. Французы тем временем успели получить подкрепление, и успешно была начата атака дивизии генерала Мартенау захлебнулась.

Узнав о случившемся, Горчаков, не имея достаточного количества ре-

зервных войск для ведения атак одновременно на Федюхиных высотах и на Гасфортовой горе, отменил атаку на Гасфортову гору и направил подкрепления войскам генерала Реада. Но спасти положение дивизий правого фланга было уже невозможно: подкрепления вовремя не успели; французы, опомнившись от неожиданной атаки, подкрепленные свежими резервными войсками, отбросили и разгромили атакующих. Результатом всей этой неразберихи были огромные потери среди офицерского и рядового состава русской армии. Убиты были генерал Реад, барон Вревский и многие другие офицеры и генералы. После гибели генерала Реада Горчаков, видя бедственное положение войск правого фланга, поручил генералу Белевцеву по возможности собрать в беспорядке отступающие, разгромленные полки. Белевцев прискакал на поле сражения к отступающим остаткам наших войск. Приблизившись к кучке солдат, в руках у которых он увидел полковое знамя, генерал высоко поднял это знамя и, крича: «Ребята, вы не знаете меня, но знаете это знамя!» (с. 374) — собрал вокруг себя остатки полка, и отступление было остановлено (по кн.: Дубровин Н.Ф. История Крымской войны и обороны Севастополя: В 3 т. СПб., 1900, т. 3, с. 344–381).

В день сражения на речке Черной наши войска потеряли около восьми тысяч человек.

Л.Н.Толстой участвовал в сражении в корпусе генерала Липранди. «За отличную храбрость и мужество, оказанные в деле 4 августа у Черной речки» 26 марта 1856 г., уже находясь в Петербурге, Толстой был произведен в поручики (*Летопись*, с. 111).

С. 241. ...*Горы отбирать*...— Имеются в виду высоты в окрестностях Севастополя в районе Черной речки: Телеграфная, Гасфортова, Федюхины высоты и Сапун-гора.

Барон Вревский-генерал...— Вревский Павел Александрович — барон, генерал-адъютант, убит во время сражения на р. Черной ядром в голову. Толстой был знаком с Вревским. 18 июня 1855 г. он в дневнике записал: «Получил от В.Перфильева письмо через Вревского, к<оторый>, верно, хочет познакомиться со мною». 27 июня в дневнике снова о Вревском: «Хорош Вревской! Он, говорят, пьяница». 30 июня знакомство состоялось; в дневнике Толстой заметил: «Вревской, у которого был уже нынче, 30 июня, кажется, пустой человек».

...*Даже Плац-Бек*...— Искаженное произношение фамилии генерал-полцимейстера главного штаба Южной армии А.П.Плац-бек-Кокума.

...«*Ступай, Липранди*»...— Липранди Павел Петрович — генерал-от-инфантерии, участник кампании 1813–1814 гг. (был в 17 сражениях), турецкой (1828–1829) и польской (1830–1831) войн. В 1853–1854 гг. командовал особым отрядом в Валахии. В Крымской кампании особо отличился в сражении под Балаклавой 13 октября 1854 г. Имел большой военный опыт и прекрасное военное образование. Заботился о солдатах и пользовался популярностью в армии. 26 ноября 1854 г. Толстой записал в дневнике: «Липранди назначен командующим войск в Севастополе¹. Слава

¹ П.П.Липранди был назначен командующим 6-м пехотным корпусом.

Богу! Исключая успехов, которые он имел в этой кампании, он любим и популярен, не е<.....> матерью, а распорядительностью и умом».

...Ты пошли туда Реада...— Реад Николай Андреевич — генерал-адъютант, командир третьего пехотного корпуса русской армии. Участвовал во многих сражениях в 1812–1814 гг.; в 1854 г. временно управлял Кавказом. В Крымской армии был человеком новым, хотя имел репутацию воина «храбрости несомненной» (оценка Д.А.Столыпина — в журнале: «Русский архив», 1874, кн. I, с. 1364).

...И повел нас прямо к мосту...— Речь идет о так называемом Трактирном мосте (до конца 1854 г. на правом берегу реки Черной существовал трактир помещицы Резильотти).

С. 242. *Мартенау умолял...*— Мартенау (Мартинау) Карл-Мауриц Алексеевич — в 1855 г. генерал-майор, начальник штаба 4-го пехотного корпуса, позднее начальник 12-й пехотной дивизии. Участвовал в кампаниях 1828–1829 гг., 1831 г., 1849 г. и 1853–1854 гг. За 4-е августа награжден золотой саблей с бриллиантами.

Генерал же Ушаков...— Ушаков Александр Клеоникович — генерал-лейтенант, начальник 7-й пехотной дивизии. В составе севастопольского гарнизона находился с 23 июля по 3 августа. За 4-е августа награжден золотой шпагой с бриллиантами и с надписью «За храбрость». Участвовал во многих военных кампаниях.

На Федюхины высоты...— Федюхины высоты — три отдельные возвышенности у левого берега речки Черной, разделенные между собой седловинами.

Ждали — выйдет с гарнизона нам на выручку колонна, подали сигнал...— Одновременно с наступлением со стороны речки Черной командованием предполагалось осуществить вылазку из Севастополя, со стороны Корабельной, силами севастопольского гарнизона. Но, видя безнадежность положения, Горчаков отказался от этого замысла, чтобы сохранить силы севастопольцев: сигнала на выступление колонны от князя не последовало. Толстой, сочиняя песню, еще не знал всех обстоятельств случившегося, так как сам во время сражения находился на левом фланге в войсках под командованием генерала Липранди.

...Сакен-генерал...— Барон Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич, генерал-адъютант, 28 ноября 1854 г. назначен начальником севастопольского гарнизона. На пасху в 1855 г. ему пожалован графский титул. Участвовал в войнах с Наполеоном и в других военных кампаниях. После Крымской войны был членом Государственного совета.

...Всё акафисты читал...— В данной ситуации незаслуженный упрек Д.Е.Остен-Сакену, который не слышал сигнала не потому, что «акафисты читал», а потому, что Горчаков не подал этого сигнала. Известная набожность Остен-Сакена нередко становилась предметом скрытой или даже явной насмешки офицеров. Акафист — в христианском богослужении церковное хвалебное песнопение, исполняемое всеми присутствующими стоя.

А Белевцев-генерал...— Белевцев Дмитрий Николаевич — генерал-майор, начальник Курского ополчения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

САНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ФРАНЦИЮ И ИТАЛИЮ

Впервые: *Юб.*, т. 1, с. 249–278.
Печатается по автографу.

Книгу английского писателя Лоренса Стерна «A sentimental journey through France and Italy» (1768) Толстой начал переводить в марте 1851 г. Это было уже не первое знакомство с произведением. Впервые «Сентиментальное путешествие» Толстой прочитал в юном возрасте: в составленном позднее списке книг, которые произвели на него большое впечатление в юности (с 14 до 20 лет), книга Л.Стерна названа во второй строке, а «степень впечатления» определена как «очень» большое». С чтением «Сентиментального путешествия» отчасти связано и пробуждение мыслей о собственном литературном творчестве. С.А.Толстая в «Материалах к биографии Л.Н.Толстого и сведениях о семействе Толстых» писала 24 октября 1876 г., разумеется, со слов самого Толстого: «В первый раз, живши в Москве¹, ему пришло в голову описать что-нибудь. Прочитав “Voyage Sentimental” par Sterne, он, взволнованный и увлеченный этим чтением, сидел раз у окна, задумавшись, и смотрел на все происходящее на улице. “Вот ходит будочник, кто он такой, какая его жизнь; а вот карета проехала — кто там и куда едет, и о чем думает, и кто живет в этом доме, какая внутренняя жизнь их... Как интересно бы было все это описать, какую можно бы было из этого сочинить интересную книгу”» (Л.Н.Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978, т. 1, с. 36).

К «Сентиментальному путешествию» Стерна молодой Толстой обратился и в связи с тем, что ему была «необходима гимнастика для развития всех способностей», в особенности «гимнастика памяти», чему, по его мнению, может помочь изучение английского языка. В Ясной Поляне 24 марта 1851 г. в числе прочих заданий на следующий день он записал: «С 12 до 1 английский язык». И далее: «Переводить что-нибудь с иностранного языка на русский для развития памяти и слога». 2 июня, уже в Старогладковской, Толстой в дневнике цитировал Стерна по-французски. И в эти же дни началась систематическая работа над переводом:

¹ Речь идет о зиме 1850–51 г.

11 июня в дневнике определен распорядок следующего дня, где четыре часа отведено «переводу с английского». Задание на завтра «переводить» отмечено в дневнике и 3 июля. Работа над переводом шла на фоне собственного художественного творчества: Толстой писал повесть «Детство», и перевод позволял несколько со стороны и критически взглянуть на то, что выходит из-под собственного пера. 10 августа в дневнике признание: «Я замечаю, что у меня дурная привычка к отступлению; и именно, что это привычка, а не обильность мыслей, как я прежде думал, часто мешают мне писать и заставляют меня встать от письменного стола и задуматься совсем о другом, чем то, что я писал. Пагубная привычка. Несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего любимого писателя Стерна, отступления тяжелы даже и у него».

Толстой продолжал переводить книгу Стерна в сентябре (дневниковая запись 20 марта 1852 г.). На несколько месяцев дневник прерывается, и трудно определить, как подвигался перевод с сентября 1851 по конец марта 1852 г. Но 21 марта снова в дневнике появились записи о переводе «Сентиментального путешествия»: «переводил до обеда»; «порядок занятий», принятый Толстым в это время, предполагал каждое утро заниматься переводом.

22 марта: «продолжал переводить».

24 марта: «переводил до 11 часов».

8 апреля: «утром перевел одну главу Стерна».

Переводил 12 и 13 апреля, а 14 апреля, находясь в Кизляре, записал в дневнике: «Читал Стерна. Восхитительно». И далее приводит цитату по-английски: «If nature has so wove<n>his web of Kindeness, that some threads of love and desire are entangled in the piece — must the whole piece be rent in drawing them out» «Если природа так сплела свою паутину доброты, что некоторые нити любви и некоторые нити вожделения вплетены в один и тот же кусок, следует ли разрушать весь кусок, выдергивая эти нити».

Этой записью упоминания в дневнике о переводе «Сентиментального путешествия» кончаются. Но выписанное рассуждение Стерна из главы «Победа» Толстой позднее поставил эпиграфом к черновой редакции главы «Девичья» в повести «Отрочество» — см. т. 1 (19) наст. изд., с. 346. Художественный образ «паутины любви» появился и в дневнике в известной записи 12 мая 1856 г.: «Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни — это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало, и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального». Почти так же рассуждает герой повести «Казачи» Оленин на страницах своего дневника, используя стерновский образ «паутины любви» («Казачи», гл. XXVIII).

Перевод книги Стерна не был завершен, остановившись примерно на трети произведения. В дальнейшем Толстой не раз вспоминал об этой своей работе, говоря о том, что «лучший способ изучить какой-нибудь язык — это читать какую-нибудь известную книгу; <...> потом заняться грамматическим анализом некоторых предложений, затем прочитать еще раз. Он изучил таким образом английский, италийский и в 45 лет греческий», — записал в своем дневнике композитор С.И.Танеев 9 июля 1894 г. в Ясной Поляне (Танеев С.И. Дневники. Кн. I. 1894–1898. М., 1981, с. 101). Подобные рекомендации давал Толстой и другим своим знакомым.

Значительно более серьезной виделась Толстому роль «Сентиментального путешествия» в его творческой жизни. Помогая П.И.Бирюкову готовить первый том «Биографии» и вспоминая о работе над повестью «Детство», Толстой заметил: «...во время писания этого я был далеко не самостоятелен в формах выражения, а находился под влиянием сильно подействовавших на меня тогда двух писателей: Stern'a (его "Sentimental journey") и Töpffer'a "Bibliothèque de mon oncle" <Тёпфера "Библиотека моего дядюшки">». Следы влияния книги Стерна в большей или меньшей степени присутствуют и в ранних рассказах Толстого «Набег», «Рубка леса».

В библиотеке яснополянского дома сохранился томик «Сентиментального путешествия» Л.Стерна (*A Sentimental Journey through France and Italy*. By Laurence Sterne. Paris, 1835. 178 p.). Возможно, именно с этого экземпляра делался перевод.

Эту небольшую книжку читал Толстой и в глубокой старости, что отметил в своих записках Д.П.Маковицкий 9 ноября 1909 г.: «<Л.Н.> прочел что-то о Лоренсе Стерне и спросил: "А у нас есть что-нибудь его?" В библиотеке нашлось его "A Sentimental Journey through France and Italy" старого издания. Я ее принес. Л.Н. взял ее в кабинет и через некоторое время пришел с ней в руке и прочел несколько строк о Париже и дал Софье Александровне¹ прочесть. Софья Андреевна вспомнила, что Л.Н. переводил эту книгу молодым человеком, но никогда не печатал.

Л.Н.: Стерн — это самобытный (остроумный)» (*ЛН*, т. 90, кн. 4, с. 95).

Через полтора месяца, 25 декабря 1909 г., Толстой снова «принес старое издание Лоренса Стерна "A Sentimental Journey through France and Italy". Л.Н. перелистывал книгу, что-то в ней искал, и потом дал прочесть вслух. *Л.Н.:* "Я, когда мне было 15 лет², переводил это. Удивительно, до чего это смешно!" *Софья Андреевна:* "Рукопись перевода сохранилась в Музее³". Ольге Константиновне⁴ она стала читать по-английски: "Что же, это английская, а не французская книга? Я думала, ты перевел ее с французского. Ты знал тогда по-английски?" *Л.Н.:* "Я тогда на этом самом учился по-английски"» (*ЛН*, т. 90, кн. 4, с. 142). В дневнике своем в тот же день Толстой отметил: «Странное чувство. Испытываю нечто особенное, новое, сложное, которое хочется выразить. И скорее художественное, образное. Читал "Sentimental Journey". Напоминает юность и художественные требования. Сейчас вечер. На душе хорошо».

¹ Софья Александровна Стахович.

² Ошибка памяти: Толстой переводил «Сентиментальное путешествие» в возрасте 23–24 лет. В 15 лет, видимо, состоялось первое знакомство с книгой (в Казани).

³ В Румянцевском музее в Москве.

⁴ О.К.Толстая-Дитерихс, жена А.Л.Толстого.

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л.Н.ТОЛСТОГО

- «Альберт» — 339, 525
 «Анна Каренина» — 376, 390, 487, 490
 «Венгерка» (замысел) — 352
 «Вечерние повести М.Главитина» — 514
 «Военные рассказы» — 277, 281–283, 292, 297–302, 311, 312, 337, 348, 361, 362, 372, 382, 389, 395, 398, 402, 409, 415, 428, 429, 435, 436, 453, 466, 469–471, 478–481, 489–491, 511
 «Война и мир» — 292, 305, 306, 315–317, 327, 376, 390, 439–441, 446, 461, 483–485, 487–492, 495, 515, 523–525, 542
 «Воскресение» — 327, 445, 524, 542
 «Воспоминания» — 528
 Вставки и замечания к рукописи «Биографии Л.Н.Толстого», составленной П.И.Бирюковым — 541
 «Давно позабыл я о счастье...» — 239–240, 524, 539–542
 «Два гусара» — 311, 338, 360, 481, 507, 510, 511
 «Два старика» — 421
 «Декабристы» — 478
 «Детство» («История моего детства») — 279, 280, 284, 285, 287, 288, 291, 297, 298, 308–310, 328, 340, 373, 389, 390, 397, 398, 471, 473, 478, 480, 485, 487, 489, 493, 511, 518, 523, 524, 543, 550, 566, 567
 «Детство и отрочество» — 298, 300, 302, 337, 436, 489
 Докладная записка кн. М.Д.Горчакову — 403
 Донесение о последней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войсками — 461, 462
 «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» — 236–237, 279, 528–537
 «Единое на потребу» — 472
 «Живой труп» — 525
 «За что?» — 421
 «Записки» (1850) — 524
 «Записки маркера» («Рассказ маркера», «Самоубийца», «Дневник маркера», «Маркер») — 30–46, 279, 281, 324–344, 350, 351, 389, 397, 398, 429, 523, 524, 543
 «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт» — 207–208, 279, 280, 288, 350, 518–520
 «Из записок князя Д.Нехлюдова. Люцерн» — 339–342
 «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» («Пропащий человек») — 340–342, 346, 348, 352, 374
 «История моего детства». См. «Детство»
 «Исповедь» — 343
 «К западне» — 239, 539
 «Казак» («Беглец», «Казачья поэма») — 279, 298, 302, 319, 320, 339, 350, 352, 373, 381, 421, 483, 485, 487, 512, 528, 566
 «Как стыдно луку перед розой...» — 544
 «Как умирают русские солдаты» («Тревога») — 47–50, 279, 280, 345–348, 356, 529, 530
 «Как четвертого числа...» («На Черную речку — 4 августа 1855 года», «На 4-е августа», «Песня о сражении при Федюхиных горах», «Севастопольская песня», «Севастопольские куплеты», «Солдатская песня») — 241–242, 280, 281, 544–564
 «Когда же, когда наконец перестану...» — 240, 543–544
 «Метель» — 182–204, 280, 318, 476, 480, 481, 505–517
 «Молодость» (замысел) — 537
 «На каждый день» — 409, 430
 «Набег» («Описание войны», «Письмо с Кавказа», «Рассказ Балты», «Рассказ волонтера») — 7–29, 279–281, 283–323, 328, 346, 369, 373, 374, 376, 389, 431, 439, 489, 518, 520, 523, 539, 543, 567
 «Несколько слов по поводу книги “Война и мир”» — 461, 525
 «Новый круг чтения». См. «На каждый день»
 «О голоде» — 487
 «Отрочество» — 279, 280, 289, 298, 326, 328, 329, 334, 350, 351, 354, 389, 398, 431, 471, 473, 478, 485, 487, 489, 493, 511, 523, 543, 566
 «Отрывок из дневника штабс-капита-

- на А. пехотного Л.Л. полка» — 238, 280, 537–538
- «Очерки Кавказа» («кавказские очерки») — 287, 288, 518
- «Патриотизм и правительство» — 445
- Перевод «Сентиментального путешествия по Франции и Италии» Л.Стерна — 244–274, 279, 280, 282, 565–567
- «Перемирие на войне» — 430
- Полное собрание сочинений: В 20 т. М., 1912–1913. Под ред. и с примеч. П.И.Бирюкова — 281, 444
- Полное собрание сочинений: В 90 т. (Юбилейное издание). М.–Л., 1928–1958 — 278, 282, 299, 300, 333, 345, 357, 393, 403, 404, 419, 514, 518, 521, 524, 527–529, 532, 537–539, 541, 559, 565
- Полное собрание художественных произведений (Приложение к журналу «Огонек» за 1928 год): В 12 т. М.–Л., 1928 — 281
- «После бала» — 524
- «Предисловие к “Севастопольским воспоминаниям артиллерийского офицера” А.И.Ершова» — 404
- «Проект о реформировании армии» — 357, 532–536
- «Путь жизни» — 430
- «Разжалованный». См. «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный»
- «Роман русского помещика» — 279, 289, 293, 350, 351, 353, 528, 529
- «Рубка леса» («Дневник кавказского офицера», «Записки кавказского офицера», «Записки фейерверкера», «Записки юнкера», «Рассказ юнкера») — 51–80, 279, 281, 289, 297, 299, 306, 310, 312, 314, 318, 320, 336, 346, 348–382, 417, 425, 434, 435, 439, 503, 520, 534–536, 567
- «Святочная ночь» («Бал и бордель», «Как гибнет любовь») — 209–232, 279, 327, 521–527, 542
- «Севастополь в августе 1855 года» — 131–181, 281, 282, 299, 311, 373, 375, 391, 398, 417, 431, 453–504, 507, 510, 511, 529, 538
- «Севастополь в декабре месяце» («Une journée à Sébastopol») — 81–93, 280, 281, 299, 310, 350, 382–409, 415, 417, 422, 444, 471, 472, 476, 479, 489, 492, 493, 531, 550
- «Севастополь в мае» («Весенняя ночь», «Весенняя ночь 1855 года в Севастополе», «10 мая», «Ночь», «Ночь весною в Севастополе», «Ночь весною 1855 года в Севастополе») — 94–130, 281, 282, 299, 300, 336, 360, 361, 366–369, 371, 374, 375, 391, 395, 409–452, 476, 537
- «Севастополь днем и ночью» — 386, 387, 415, 416, 451
- «Севастопольские рассказы» («Севастополь», «Севастопольские очерки», «Очерки», «Севастопольские воспоминания», «Севастопольские ночи», «Записки о Севастополе», «Рассказы о Севастопольской обороне») — 298, 362, 390, 391, 467, 472, 473, 477, 478, 482, 483, 485, 487–491, 493–495
- «Смерть Ивана Ильича» — 439, 440
- Собрание сочинений: В 20 т. М., 1960–1965 — 282
- Сочинения: В 2 ч. СПб., 1864 — 314, 339, 507
- Сочинения: В 8 ч. 3-е изд. М., 1873 — 485
- Сочинения: В 11 ч. 5-е изд. М., 1886 — 444
- Сочинения: В 12 ч. 6-е изд. М., 1886 — 362
- Сочинения: В 12 ч. 7-е изд. М., 1887 — 362
- Сочинения: В 13 ч. 8-е изд. М., 1889 — 362
- Сочинения: В 13 ч. 9-е изд. М., 1893 — 302
- Сочинения: В 14 ч. 10-е изд. М., 1897 — 444
- Сочинения: В 13 ч. 11-е изд. М., 1903 — 429, 430
- Сочинения: В 20 ч. 12-е изд. М., 1911 — 333, 402, 472
- «Три смерти» — 319, 390, 507, 511
- «Утро помещика» — 339, 341, 342, 507, 528
- «Хаджи-Мурат» — 348
- «Характеры и лица» — 233–235, 279, 527–528
- «Хозяин и работник» — 317, 516
- «Холстомер» — 489
- «Царство Божие внутри вас» — 445
- «Чем люди живы» — 512
- «Четыре эпохи развития» — 540
- «Юность» — 279, 298, 346, 350, 386, 463, 466, 487, 493, 537

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

- А.*, рецензент газеты «Северная пчела» — 373, 483
«Русская критика и художественная этнография» — 373, 483
- А.И.*, автор статьи в газете «Биржевые ведомости» — 442
«Первое произведение графа Л.Н.Толстого» — 442
- А.Ф.Г. См. Гамбурген Андрей Федорович*
Абрамцево, подмосковная усадьба Аксаковых — 396
Авария — 379, 381
Австрия — 158
Азия (Средняя Азия) — 73, 320, 322
Академия генерального штаба — 557
Академия художеств, в Петербурге — 477
Акса́й, река на Северном Кавказе — 382
Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), литератор, сын С.Т.Аксакова — 396
Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860), литератор, сын С.Т.Аксакова — 312
Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), писатель — 396, 506, 507
Александр II Николаевич (1818–1881), российский император в 1855–1881 гг. — 238, 393–395, 448, 503
Александр III Александрович (1845–1894), российский император в 1881–1894 гг. — 395
Александра Федоровна (1798–1860), жена императора Николая I — 394
Александровская батарея, в Севастополе — 178, 504
Александровские казармы, в Севастополе — 450
Алексеев Василий Иванович (1848–1919), домашний учитель детей Толстого — 548
«Воспоминания» — 548
Алексеев Никита Петрович, командир батареи, в которой Толстой служил на Кавказе — 306, 354, 364, 392, 468
Алексеева Галина Васильевна, литературовед — 493
Алмазов Борис Николаевич (1827–1876), литератор, критик — 338
Алминское дело, сражение на реке Алме (Альме) 8 сентября 1854 г. — 88, 407
Алчевская Христина Даниловна (1841–1920), педагог, литератор — 303, 391
Альма (Алма), река в Крыму — 407
Англия (Великобритания) — 244, 318, 342, 343, 375, 405, 444, 447, 492, 515, 560
Андийские высоты (Андийский хребет) — 79, 353, 382
Андреевский Сергей Аркадьевич (1847/48–1918), поэт, литературный критик — 513–514
«Литературные чтения» — 513–514
Андропов (Антропов) Николай Петрович (?), сослуживец Толстого в Дунайской армии — 355
Аничков мост, в Петербурге — 298
Анна Петровна (1708–1728), цесаревна, дочь Петра I — 381
Анненков Павел Васильевич (1813–1887), мемуарист, литературный критик — 309, 334, 392
Аносов Иван Васильевич, офицер 14-й артиллерийской бригады в Севастополе — 545, 549, 557–559
Антуанское предместье, пригород Парижа — 452
Анчмир, гора на Кавказе — 353
Аргун, река на Северном Кавказе — 48, 348
Артиллерийская бухта, в Севастополе — 447, 451, 500
Архирейский сад, городской сад на окраине Казани — 541
Аскарханов Н.С., издатель (Петербург) — 391
Аустерлицкая битва, 1805 г., в Моравии — 286
Б., артиллерийский офицер — 549
Баден-Баден, курорт в Германии — 208, 520

- Байрон* (Вугон) Джордж Нозл Гордон (1788–1824) — 319
- Балаклава* (Balaclava), городок близ Севастополя (в наст. время в черте города) — 96, 126, 448, 497, 563
- Балта*. См. Исаев Балта
- Бальзак* (Balzac) Оноре де (1799–1850) — 421, 431, 451
«Splendeur et misères des courtisanes» («Блеск и нищета куртизанок») — 118, 431, 451
- Балюзек* Лев Федорович (1822–1879), офицер, сослуживец Толстого в Севастополе — 546, 547
- Барсуков* Николай Платонович (1838–1906), археограф, издатель, историк литературы — 557
- Бартенев* Петр Иванович (1829–1912), литератор, издатель, археограф — 487
- Барятинский* Александр Иванович, князь (1815–1879), генерал, в 1856–1862 гг. главнокомандующий войсками и наместник на Кавказе — 303, 304, 363, 521
- Батеньков* Гавриил Степанович (1793–1863), поэт, декабрист — 478
- Бахчисарай*, город в Крыму — 131, 393, 418, 496, 545
- Бebutov* Василий Осипович, князь (1791–1858), генерал, в период Крымской войны командовал Кавказским корпусом — 397
- Бегичев*, князь, вероятно, московский знакомый Толстого, в начале 1850-х годов служил на Кавказе — 525
- Безак* Александр Павлович (1800/01–1868), генерал-от-артиллерии; во время Крымской войны управлял артиллерийским департаментом — 168, 458, 502
«Руководство для артиллерийской службы» — 168, 169, 458, 502
- Бекетов* Александр Николаевич, символический помещик — 541
- Бекетов* Владимир Николаевич (1809–1883), цензор «Современника» — 300, 330, 420, 421, 470, 506
- Белевцев* Дмитрий Николаевич (1800–1883), генерал, участник Крымской кампании — 242, 545, 554, 558, 559, 563, 564
- Белинский* Виссарион Григорьевич (1811–1848) — 379, 380
- Белгородцевская*, донская станица — 505
- Бельбек*, река в Крыму — 144, 358, 385, 386, 394, 432, 496, 527, 532
- Бельгия* — 323
- Беранже* А., лектор в Париже — 445
- Берг* Николай Васильевич («Н.В.Б.») (1823–1884), литератор, историк, художник — 368, 387, 388, 452, 481, 482
«Записки об осаде Севастополя» — 452, 481, 482
- Березовский* В.А., издатель серии «Солдатская библиотека» (СПб.) — 391, 473
- «Березушка»*, солдатская (рекрутская) песня — 80, 364–365
- Берлин* — 264, 320, 342, 445, 515, 560
- Берс* Андрей Евстафьевич (1808–1868), тесть Л.Н.Толстого, врач придворного ведомства — 551
- Берс* Степан Андреевич (1855–1910), шурин Толстого — 548
«Воспоминания о графе Л.Н.Толстом» — 548
- Берс* Т.А. См. Кузминская Т.А.
- Берсы* — 551
- Бестужев* Александр Александрович (псевд. Марлинский, 1797–1837), писатель, поэт, декабрист — 13, 207, 310, 311, 313, 317, 322, 368, 372, 437, 519, 520, 526, 557
«Мулла-Нур» — 13, 310
- «Библиотека для чтения»*, журнал; издавался в Петербурге в 1834–1865 гг. — 312, 334–338, 346, 348, 367, 369–372, 397, 434–436, 474, 476, 480, 481, 483, 508, 510, 512
- Биниток* (Bienstock) Ж.-В. (Владимир Львович, 1868–1933), переводчик — 318, 343, 378, 400, 489, 514, 560
- «Биржевые ведомости»*, газета, выходила в Петербурге в 1880–1917 гг. — 442, 544, 558
- Бирюков* Павел Иванович (1860–1931), друг и биограф Толстого — 281, 298, 318, 337, 343, 363, 378, 394, 400, 429, 444, 514, 541–545, 548, 552, 556, 559, 560, 567
«Лев Николаевич Толстой. Биография» — 543–545, 548, 552, 559, 567

- Блюхер** Гебхард Леберехт, князь (1742–1819), прусский генерал, командовал прусской армией в сражении при Ватерлоо — 383
- Боборыкин** Константин Николаевич (1829–1904), приятель и сослуживец Толстого в Крыму — 310, 387, 529
- Богданович** Модест Иванович (1805–1882), военный историк, генерал-лейтенант, профессор — 561
«Восточная война» — 561
- «**Богородица**», православная молитва — 467
- Бодуэн де Куртэнэ** Иван Александрович (1845–1929), русский и польский языковед — 421
- Болхов**, уездный город Орловской губернии — 366
- Большая Севастопольская бухта** — 81, 148, 149, 174, 405, 406, 408, 447, 496, 497, 504, 555
- Большая Чечня** (Чечня) — 48, 51, 74, 208, 307, 321, 363, 378, 519, 541
- Большой бульвар**, в Севастополе — 409
- Большой Кремлевский дворец**, в Москве — 448
- «**Бонапарту не до пляски...**», солдатская песня — 557
- Бородинская битва** (26 августа 1812 г.) — 286
- Боткин** Василий Петрович (1812–1869), литератор, близкий знакомый Толстого — 422, 473, 505, 507
- Брокгауза и Ефрона Энциклопедический словарь** — 550
- Броневский** Евгений Алексеевич (1826–1868), офицер, севастопольский сослуживец Толстого — 432
- Брюкнер** (Brückner) А., немецкий литератор — 446–447
«История русской литературы» — 446–447
- Брюллов** Александр Павлович (1798–1877), архитектор — 452
- Брюссель** — 317, 395, 514
- Брюссельский журнал**. См. «Le Nord»
«**Будильная трава**». См. «Мэдзамасисо»
- Бумеский** Николай Иванович, офицер, сослуживец Толстого на Кавказе — 286, 306, 307, 366, 430
- Бук** Морис, адресат У. Уитмена — 492
- Булгаков** Александр Яковлевич (1781–1863), сенатор, московский почт-директор — 435
- Булгаков** Федор Ильич (1852–1908), журналист, писатель — 319, 374, 492, 494, 513
«Граф Л.Н.Толстой и критика его произведений, русская и иностранная» — 374, 375, 492, 513
- Бурнашева** Нина Ильдаровна, литературовед — 282
- Бутков** Владимир Петрович (1814–1881), цензор (Кавказский цензурный комитет), статс-секретарь — 360
- Бутурлин** Сергей Петрович (ум. в 1873 г.), генерал-от-инфантерии, участник Крымской кампании — 561
- Бухарест**, главный город Валахии — 495
- Бухмейер** Александр Ефимович (1802–1860), генерал-лейтенант, участник обороны Севастополя — 499, 555, 561
- Валахия**, область на юге Румынии — 563
- Валерик**, река на Кавказе — 442
- Валишевский** (Waliszewski) Казимир (1849–1935), польско-французский писатель — 491
- Вальтер** (Walter) Михаэль, швейцарский юрист — 377, 447
- «**Ванька-Танька**» («Васька-Танька»), цыганская песня — 229
- Ваня Ян**, переводчик — 560
- Варшава** («Аршава») — 173, 503
- Васильчиков** Виктор Илларионович, князь (1820–1878), генерал, в 1854–1855 гг. начальник штаба гарнизона Севастополя — 562
- Васин**, солдат в Севастополе — 460
- Ватерлоо**, населенный пункт в Бельгии, южнее Брюсселя, где 18 июня 1815 г. произошла битва — 26, 323, 446
- «**Великий князь Константин**» («Кистентин»), корабль — 82, 405
- Веллингтон** Артур Уэлсли (1769–1852), английский фельдмаршал, командовал англо-голландской армией при Ватерлоо — 323
- Вена** — 445
- Венгеров** Семен Афанасьевич (1855–

- 1920), историк русской литературы, библиограф — 550
- Венков** Михаил Иванович (1832–1901), публицист, мемуарист — 557
- Вердеревский** Евграф Алексеевич (1825–не ранее 1867), литератор — 371
«Плен у Шамиля» — 371
- Верецагин** Василий Васильевич (1842–1904), художник-баталист — 444, 485, 488
- Верстовский** Алексей Николаевич (1799–1862), композитор, театральная деятель — 527
«Аскольдова могила» («Оскольдова могила»), либретто М.Н.Загоскина — 229, 527
- Весин** Сергей Павлович (р. в 1841 г.), историк литературы, педагог — 317
«Былое. Из русской жизни и литературы 40–60-х годов» — 317
- «*Вестник Европы*», журнал; выходил в Петербурге в 1866–1918 гг. — 502
- Виктория** (1819–1901), королева Великобритании с 1837 г. — 238, 538
- Винер** (Wiener) Лев Соломонович (1862–1939), англ. переводчик, издатель, филолог — 343, 401, 515
- Винница**, уездный город в Малороссии — 98
- «*Виток витры*», украинская народная песня — 17
- Вогуэ** (Vogué) Эжен Мельхиор де, виконт (1848–1910), франц. писатель, историк литературы — 489
- Воейков** Александр Сергеевич (р. в 1801 г.), крапивенский помещик, опекун малолетних Толстых — 306
- Воейков** Петр Александрович (1828–1894), сын А.С.Воейкова, опекуна Толстых — 306
- Военно-цензурный комитет** — 299, 300, 360, 393, 426, 470
- «*Военный листок*» («Солдатский вестник»), задуманный военный журнал — 345–347, 356, 364, 385, 529, 530
- «*Военный сборник*», ежемесячный журнал; выходил в Петербурге в 1858–1911 гг. — 314–373, 399, 437, 483
- «*Воззвание к Ангелу-хранителю*», православная молитва — 467
- «*Воин*», журнал; изд. под разными названиями в Москве с 1918 г. — 388, 389
- Волково поле**, учебный военный полигон в Петербурге — 169, 503
- Волконская** Луиза Ивановна (урожд. Груззон, 1825–1890), жена троюродного брата Толстого А.А.Волконского — 355
- Волконские**, предки Толстого по материнской линии — 327
- Вольнский редут**, в Севастополе — 387
- «*Вольная мысль*» («Pensée libre»), ежемесячный журнал; изд. в Женеве — 556
- Воронцов** Михаил Семенович, светлейший князь (1782–1856), в 1844–1854 гг. наместник на Кавказе — 288, 321, 382
- Восток** — 380
- Вревский** Павел Александрович, барон (1808–1855), генерал-адъютант — 241, 545, 549, 561–563
- «*Время*», журнал; выходил в Петербурге в 1861–1863 гг. — 312, 338, 372, 437, 482, 512
- Вяземский** Петр Андреевич, князь (1792–1878), поэт, литературный критик, товарищ министра народного просвещения — 361, 425, 505
- Гаврилов** Сергей Васильевич, знакомый и корреспондент Толстого, крестьянин с. Шиловка Симбирской губ. — 544
- Гальперин-Каминский** (Halpérine-Kaminsky) Илья Данилович (1858–1936), переводчик — 318, 343, 378, 400, 489, 514
- Галюгаевская** («Галюгай»), казачья станица — 354
- Гамбурген** Андрей Федорович (А.Ф.Г., 1821–1899), дипломат, переводчик — 549
- Гарнетт** (Garnett) Констанция (1862–1946), англ. филолог, переводчик — 318, 515
- Гасфортова высота** (гора), возвышенность под Севастополем — 561–563
- Гауф** (Hauff) Л.-А., переводчик и корреспондент Толстого — 319, 375, 515
- Гащень**, река на Северном Кавказе — 364
- Гегель** (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), немецкий философ — 446

- Геннекен* (Henneken) Эмиль, франц. литературный критик — 489, 490
- Георгиевский крест*, орден Св. Георгия — 96, 97, 113, 157, 170, 173, 448, 500, 503
- Гергард В.*, издатель в Лейпциге (Германия) — 556
- Гергебиль*, аул в Северном Дагестане — 77, 382
- Германия* — 319, 342, 400, 445, 451, 494, 520, 560
- Герстенберг* Вильгельм, переводчик — 319, 378, 493, 516
- Герцен* Александр Иванович (1812–1870), писатель, общественный деятель — 277, 443, 508, 556
- Гершензон* Михаил Осипович (1869–1925), литератор — 330, 333
- Гехи*, река на Северном Кавказе — 381
- Гете* (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749–1832) — 355, 442
- Гиер*, город во Франции — 317
- Главное управление цензуры* — 330
- Главный Кавказский хребет* — 382
- Глебов* Порфирий Николаевич (1810–1866), полковник, сослуживец Толстого в Севастополе — 461, 465, 545, 546, 549, 558–559
«Записки...» — 558–559
- Глинка* Михаил Иванович (1804–1857), композитор — 527
«Жизнь за царя» (либретто Е.Ф.Розена) — 229, 527
- Глинский* Борис Борисович (1860–1917), историк, журналист — 488, 549
«Из истории революционного движения в России» — 488, 549
- Глушков*, сослуживец Толстого на Кавказе — 292
- Гоголь* Николай Васильевич (1809–1852) — 312, 317, 337, 377, 380, 426, 463, 509, 544
«Вечера на хуторе близ Диканьки» — 483
«Невский проспект» — 337
«Шинель» — 472
- Голицын* Михаил Павлович, князь (1822–1868), севастопольский сослуживец и приятель Толстого — 432, 462
- Голландия* — 493
- Головин* Константин Федорович (1843–1913), писатель, публицист, критик — 316, 317, 341, 342
«Русский роман и русское общество» — 316, 341
- «Голос минувшего», журнал, изд. в Москве в 1913–1923 гг. — 393
- Гольденвейзер* Александр Борисович (1875–1961), друг Толстого, пианист — 277
«Вблизи Толстого» — 277, 363, 462, 473
- Гольмдорф* М.Г., историограф Дворянского полка — 499, 500
«Материалы для истории бывшего Дворянского полка» — 499, 500
- Гомер* — 99
- Гончаров* Иван Александрович (1812–1891), писатель — 371, 377, 490
«Обломов» — 489
- Горицкий* (Goritzky) Карл, переводчик — 319, 376
- Городская сторона*, в Севастополе — 405, 496, 504
- Горчаков* Михаил Дмитриевич, князь (1793–1861), генерал-от-артиллерии, главнокомандующий русской армии в Крыму в феврале–декабре 1855 г.; троюродный дядя Толстого — 145, 238, 241, 345, 498, 550, 558, 561–564
- Горячие Воды*. См. Старый Юрт
- Госс* (Gosse) Эдмунд, америк. литературный критик — 444
- Государственный музей Л.Н.Толстого* (ГМТ), в Москве — 277, 300, 302, 345, 367, 391, 394, 395, 397, 402, 404, 424, 433, 472, 493, 502, 547, 552, 554, 559
- Государственный совет*, высший совещательный орган Российской империи в 1810–1917 гг. — 564
- Грановский* Тимофей Николаевич (1813–1855), историк, общественный деятель, профессор Московского университета — 395
«Граф Лев Толстой. Великий писатель земли русской в портретах, гравюрах, живописи, скульптуре, карикатурах и т.д.» (сост. П.Н.Краснов и Л.М.Вольф) — 514
- Графская пристань* («колоннада»), в Севастополе — 81, 82, 155, 174, 387, 405, 432, 476, 504

- Графф* (Graff) Вильгельм Пауль (1845–1904), нем. писатель, драматург, переводчик — 342, 400, 494
- Грейг* Самуил Карлович (1735/36–1788), русский адмирал, основатель Морской библиотеки в Севастополе — 504
- Греция* — 405, 495
- Григорович* Владимир, переводчик — 401, 515
- Григорович* Дмитрий Васильевич (1822–1900), писатель — 309, 319, 369, 371, 396, 424, 508
«Пахарь» — 508
«Рыбаки» — 309
- Григорьев* Аполлон Александрович (1822–1864), литературный критик, поэт — 312, 313, 335, 336, 338, 372, 373, 397, 398, 437, 482, 512
«Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л.Толстой и его сочинения» — 312, 338, 372, 437, 512
- Грозная*, крепость на Северном Кавказе — 303, 364, 519, 520
- Грот* Яков Карлович (1812–1893), русский филолог — 489
- Гусев* Николай Николаевич (1882–1967), секретарь Толстого в 1907–1909 гг., биограф, литературовед — 277, 291, 292, 295, 306, 327, 337, 358, 359, 363, 364, 366, 384–386, 403, 432, 529, 532, 537, 540, 542, 547
«Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого» — 277, 529, 563
«Материалы к биографии Льва Николаевича Толстого» (кн. 1, 2) — 277, 291, 292, 295, 306, 327, 337, 358, 359, 363, 364, 366, 384–386, 403, 432, 532, 537, 540, 542
- Гуцин* (дом Гуцина, «Кущина дома»), в Севастополе — 157, 451, 500
- Давыдов* Алексей Иванович, петербургский издатель и книгопродавец — 298–300, 302, 331, 333
- Даль* Владимир Иванович (1801–1872), писатель, лексикограф — 372, 378
- Дальмейда*, знакомый Р.Роллана — 445
- Данилевский* Григорий Петрович (псевд. ZZ, 1829–1890), писатель — 368, 369
- Дания* — 378, 493
- Дарго* («Дарги»), чеченский аул — 7, 79, 80, 298, 321, 381, 382
«Две девицы», цыганская песня — 229
- Дворянский полк*, военное учебное заведение в Петербурге — 137, 148, 467, 497–499
- Делаво* (Delaveau) Анри Ипполит (ум. в 1862 г.), франц. журналист, переводчик — 317, 400, 489
«Литература и военная жизнь в России» — 317, 400, 489
- Делин* (Délines) Мишель, переводчик — 400, 489
- Державин* Гаврила Романович (1743–1816), поэт — 317
- Дерулед* (Deroulède) Поль (1846–1914), франц. писатель, общественный и политический деятель — 550
- Джеми* («история семейства Джеми»), чеченец — 284, 291
- Дистерло* Роман Александрович, барон (1859 — после 1910), писатель — 341, 438, 439
«Граф Л.Н.Толстой как художник и моралист» — 341, 438
- «Для легкого чтения», серия книг, издававшаяся Н.А.Некрасовым в 1850-е годы — 281, 302, 324, 331–333, 336, 507
- Добролюбов* Николай Александрович (1836–1861), литературный критик, поэт — 545, 554
«Докладная записка <...> М.Д.Горчакову о желании издавать журнал “Военный листок” от 23 октября 1854 г.» — 530
- Долгоруков* Василий Андреевич, князь (1804–1868), во время Крымской кампании военный министр — 561
- Доницетти* Газтано (1797–1848), итальянский композитор — 229, 499, 527
«Лючия ди Ламермур» — 15, 148, 322, 499
- Достоевский* Федор Михайлович (1821–1881) — 277, 482, 483
«Дневник писателя» — 483
«Книжность и грамотность» — 483
«Ряд статей о русской литературе» — 482
- Доул* (Dole) Натан Хаскелл (1852–1935),

- литератор, переводчик, издатель — 318, 342, 493, 515
- Драганов* Петр Данилович, библиограф, в Астрахани — 548
- Древняя Греция* — 93, 384, 408
- Дрезден*, город в Германии — 319, 376, 482
- Дружинин* Александр Васильевич (1824–1864), писатель, редактор журнала «Библиотека для чтения» (с 1856 г.) — 302, 312, 336, 338, 346, 372, 396, 397, 422, 435, 469, 476, 477, 480, 508–510 «Метель». — «Два гусара». Повести графа Л.Н.Толстого — 476, 508–510 «Полинька Сакс» — 336
- Дубровин* Николай Федорович (1837–1904), генерал-лейтенант, военный историк — 563 «История Крымской войны и обороны Севастополя» — 563
- Дуванкой* («Дуванка»), селение в Крыму на реке Бельбек — 131, 133, 140, 144, 496
- Дудышкин* Степан Семенович (1820/21–1866), литературный критик, журналист — 310, 311, 369, 370, 398, 435, 479, 510, 511 «Рассказы г. Л.Н.Т. из военного быта и рассказы, записанные со слов очевидцев г. Таторским и Кузнецовым и собранные г. Сокальским» — 310, 311, 369, 398 «Военные рассказы» графа Толстого — 435, 479
- Дунай*, река в Европе — 451, 498
- Дунайская армия* — 310, 329, 345, 354, 355, 530, 543
- Дурново* Иван Сергеевич (1845–1911?), литератор, публицист, корреспондент и посетитель Толстого — 492
- Дюма* Александр (сын) (1824–1895), франц. писатель — 527 «Дама с камелиями» — 231, 527
- Дюпюи* (Дюриу) Эрнест, франц. литератор — 378, 490 «Великие мастера русской литературы девятнадцатого века» — 378, 490
- Дюссо*, владелец ресторана на Большой Морской в Петербурге — 506
- Евгеньев-Максимов* Владислав Евгеньевич (1883–1955), литературовед — 548
- Евпатория*, уездный город Таврической губ. — 96, 448
- Екатерина II* Алексеевна (1729–1796), российская императрица в 1762–1796 гг. — 381
- Екатерининский дворец*, в Севастополе — 451
- Екатерининская улица*, в Севастополе — 152, 447, 500, 501
- Елагины*, дворянский род — 475
- Ергольская* Татьяна Александровна (1792–1874), троюродная тетка и воспитательница Толстого — 279, 304, 306, 308, 309, 345, 353, 392, 393, 416, 417, 431, 432, 461, 506, 543, 545
- Ермолов* Алексей Петрович (1777–1861), генерал, участник войн с Наполеоном; в 1816–1827 гг. командующий Кавказского корпуса и главнокомандующий в Грузии во время Кавказской войны — 73, 381, 382
- Ерофеич*. См. Остен-Сакен Д.Е.
- Ершов* Андрей Иванович (1834–1907), участник обороны Севастополя — 404 «Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера» — 404
- Жданов*, солдат в 4-й батарее батареи, сослуживец Толстого на Кавказе — 353, 364, 537
- Жемчужников* Алексей Михайлович (1821–1908), поэт — 469
- Жемчужников* Владимир Михайлович (1830–1884) — 469
- Жемчужников* Лев Михайлович (1828–1912), художник — 548, 549 «Мои воспоминания из прошлого» — 549
- Жемчужниковы*, братья А.М., В.М. и Л.М. — 469
- Женева*, город в Швейцарии — 394, 556, 559
- Жиркевич* Александр Владимирович (1857–1927), военный юрист, литератор, знакомый Толстого — 433, 502
- Жуковский* Василий Андреевич (1783–1852), поэт — 317, 398 «Александровская колонна» — 398

- «Журнал для всех»*, выходил в Петербурге в 1896–1906 гг.— 487
- Загоскин** Михаил Николаевич (1789–1852), писатель — 482
«Рославлев» — 482
- «Задруга»*, издательство; основано в 1911 г. в Москве, с 1922 г.— за границей — 345, 521
- Зайончковский** Андрей Медардович (1862–1926), военный историк — 391
«Оборона Севастополя» — 391
- Запад* — 444
- Захаров**, рекрут, служивший в батарее вместе с Толстым на Кавказе — 353, 364
- «Звезда»*, журнал, изд. в Ленинграде (С.-Петербурге) с 1924 г.— 546, 550
- «Звенья»*, сборник документов и материалов по истории литературы, искусства и общественной мысли в России 19 в.; изд. Гос. Лит. музеем в 1932–1936 гг. и в 1950–1951 гг.— 548
- Зеленая гора*, в Севастополе — 94, 447
- Земля Войска Донского*, в 1786–1870 гг. официальное название территории, населенной донскими казаками — 182, 508
- Зиссерман** Арнольд Львович (1824–1897), участник Кавказской войны — 306, 307, 487
«Двадцать пять лет на Кавказе» — 306, 307
- Золя** (Zola) Эмиль (1840–1902), франц. писатель — 446
«Documents humains» — 446
- Зонтаг** Анна Петровна (урожд. Юшкова, 1786–1864), детская писательница — 475
- «Зорчи»*, еженедельник, изд. в Петрограде в 20-е годы XX в.— 554
- Зотов** Владимир Рафаилович (1821–1896), писатель, журналист — 336, 371, 435, 475, 508
- Зубков** Владимир Васильевич (р. в 1828 г.), знакомый Толстого — 525
- Иванов** Яков, яснополянский крестьянин — 506
- Ивицы*, имение Иславиных — 525
- «Иллюстрированный еженедельник»*, иллюстрированное приложение к газете «Столичная почта»; изд. в Петербурге в 1907–1908 гг.— 559
- Ильинский** Дмитрий Васильевич, офицер, севастопольский сослуживец Толстого — 462
- Инкерман**, урочище к востоку от Севастополя — 131, 174, 496
- Инкерманское сражение* (24 октября 1854 г.) — 166, 384, 407, 502, 531
- Институт русской литературы** (Пушкинский Дом) (ИРЛИ), в Санкт-Петербурге — 277, 554, 555
- Исаакиевский собор*, кафедральный собор в Петербурге — 235
- Исаакиевская площадь*, в Петербурге — 344
- Исаев** Балта, мирной чеченец, приятель Толстого — 284
- Иславин** Константин Александрович («дядя Костя») (1827–1903), приятель Толстого, дядя С.А.Толстой — 551
- Иславины**, семья деда С.А.Толстой А.М.Исленьева, а также братья В.А., М.А. и К.А. Иславины (сыновья А.М.Исленьева) — 525
- Испания* — 321, 516
- Истомин** Владимир Иванович (1809–1855), контр-адмирал, руководил обороной Малахова кургана, убит в бою — 504
- Истомин Д.**, сост. сборника «Русские писатели. Книга для чтения в семье и школе» — 303, 363
- «Исторический архив»*, научный журнал; изд. Институтом истории АН СССР в Москве в 1955–1962 гг.— 549
- «Исторический вестник»*, ежемесячный журнал; выходил в Петербурге в 1880–1917 гг.— 488, 502
- Италия* — 229
- Йена**, город в Германии — 515
- Кавказ** («Капказ») — 7, 9, 12, 13, 20, 47, 60, 63, 64, 66, 70, 72, 73, 77, 207, 208, 236, 279, 284, 285, 288, 291, 296, 303, 306–310, 315, 319–322, 327, 329, 340, 345, 350–352, 354, 361, 364, 366–369, 371, 374, 381, 392, 396, 431, 434, 467,

- 468, 475, 477, 505, 518–520, 524, 528, 532–534, 536, 540, 542–544, 564
- Кавказская война* (1817–1864), война за присоединение Северного Кавказа к России — 317, 396
- Кавказская армия* — 521
- Казанский собор*, кафедральный собор в Петербурге на Невском проспекте, построен в 1801–1811 гг. (арх. А.Н.Воронихин) — 561
- Казанский университет* — 424
- Казанский учебный округ* — 424
- Казарский Александр Иванович* (1797–1833), герой русско-турецкой войны 1828–1829 гг. — 125, 409, 452
- Казбек* («Кизбек»), вершина в центральной части Большого Кавказа — 61, 316
- «*Как двадцатого числа...*», песня казанских студентов и гимназистов — 561
- «*Как двенадцатого числа...*», песня студентов Московского университета — 561
- «*Как четвертого числа...*», песня, сочиненная студентами Петербургского университета — 561
- Калафат*, укрепление близ турецкой крепости Виддин (Румыния); в начале января 1854 г. — средоточие военных действий наших войск на Дунае — 354
- Калошин Валентин Павлович* (183? — убит 27 августа 1855 г.), близкий знакомый Толстого в Севастополе, офицер — 419
- Калуга* — 64
- Камбронн Пьер Жак Этьен* (1770–1842), генерал в армии Наполеона I — 323
- Каразин Николай Николаевич* (1842–1908), художник, академик живописи — 390
- Карамзин Николай Михайлович* (1766–1826), писатель, историк — 352
- Карл Фридрих* (1700–1739), владетельный герцог гольштинский, учредил орден Св. Анны — 381
- Кашкин Николай Николаевич* (1869–1909), историк, археолог — 310, 387
- «*Родословные разведки*» — 310, 387
- Кендэл* (Kendall) Л.Е., переводчик — 401
- Керменчик* («Керменчуг»), селение в Крыму, недалеко от Бахчисарая — 460
- Киев* — 319
- Кизляр*, город в Дагестане — 566
- Киреевский Иван Васильевич* (1806–1856), критик, публицист — 475
- Кирсанов*, уездный город Тамбовской губ. — 366
- Китай* — 73
- Кишинев*, главный город Бессарабии — 345, 367, 383, 530
- Климент* (Climent) О., переводчик — 321
- Клины*, парк в Ясной Поляне — 526
- Ковалевский Егор Петрович* (1809 или 1811–1868), знакомый Толстого, писатель, путешественник; во время Крымской кампании состоял в штабе М.Д.Горчакова — 418
- Козельск*, уездный город близ Оптиной пустыни (ныне в Калужской области) — 327
- Козлянинов Николай Федорович*, офицер Ольвиопольского уланского полка, севастопольский сослуживец Толстого — 547
- Колбасин Дмитрий Яковлевич* (1827–1890), издатель, служащий конторы «Современника» — 300, 302, 392, 393, 478
- Колбасин Елисей Яковлевич* (1831–1885), библиограф, рецензент, сотрудник «Современника», брат Д.Я.Колбасина — 302, 336, 337, 422
- Кольцов Алексей Васильевич* (1809–1842), поэт — 483
- Колыдин О.*, лит. сотрудник журнала «Библиотека для чтения» — 371, 474
- Комаров Матвей* (1730-е?–1812), автор лубочных изданий — 379
- «*Повесть о приключении английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Луизе...*» — 58, 365, 379–380
- Кони Анатолий Федорович* (1844–1927), юрист, общественный деятель, знакомый Толстого — 473
- Константин Николаевич* («царев брат»), великий князь (1827–1892), сын Николая I, в 1853–1881 гг. руководил Морским министерством — 171, 238, 503, 538

- Константин Павлович*, великий князь (1779–1831), брат Николая I, участник походов А.В.Суворова и Отечественной войны 1812 г.— 497
- Константинов* Константин Иванович (1817 или 1819–1871), начальник Петербургского ракетного заведения, где служил Толстой, вернувшись из Севастополя; ученый в области артиллерии и ракетной техники — 550
- Константиновский кадетский корпус*. См. Дворянский полк
- Корабельная бухта*, в Севастополе — 498
- Корабельная сторона*, восточная часть Южной стороны Севастополя — 134, 151–153, 406, 450, 455, 497, 504, 564
- Корнилов* Владимир Алексеевич (1806–1854), вице-адмирал; с 1851 г. фактически командовал Черноморским флотом; один из руководителей обороны Севастополя — 82, 93, 384, 408, 423, 503, 504
- Корниловская батарея* (Корниловский бастион), на Малаховом кургане в Севастополе, место смертельного ранения В.А.Корнилова — 169, 175, 468, 503
- Корсакевич* Ольга Афанасьевна, попечительница детского приюта в Либаве — 487
- Корш* Евгений Федорович (1810/11–1897), журналист, критик, переводчик, издатель — 300, 429
- Кост*, артист театра «Одеон» в Париже — 445
- Коцебу* Павел Евстафьевич (1801–1884), генерал-адъютант, начальник штаба Южной армии — 465, 560, 561
- Краевский* Андрей Александрович (1810–1889), журналист, издатель, редактор — 475, 548, 554, 559
- Краснокутский* Николай Александрович (1818–1891), в 1852–1856 гг. адъютант великого князя Николая Николаевича — 425
- Крестовоздвиженская община сестер милосердия* в С.-Петербурге, основана в 1854 г. для ухода за ранеными на поле сражения; во время Крымской войны во главе общины был Н.И.Пирогов — 393
- Крещение*, православный церковный праздник, отмечается 6 (19) января — 526
- Кронштадт*, порт и крепость недалеко от Петербурга — 556
- Крыжановский* Николай Андреевич (1818–1888), генерал, начальник штаба артиллерии в Севастополе — 461, 462, 501, 546, 547, 562
- Крылов* Александр Лукич (1798–1853), цензор, профессор Петербургского университета — 297
- Крылов* Н.А., мемуарист — 502
- «Очерки из далекого прошлого» — 502
- Крым* (Крымский полуостров, Таврическая губерния) — 279, 367, 383, 431, 434, 447, 448, 452, 460, 466, 477, 496–498, 548, 549, 551–554, 557
- Крымская армия* — 357, 468, 538, 561, 564
- Крымская война* (Крымская кампания, Восточная война — 1853–1856), первоначально русско-турецкая; с февраля 1854 г.— против Турции, Великобритании, Франции и (с 1855 г.) Сардинии — 317, 405, 452, 476–478, 482, 488, 496–498, 546, 548, 549, 553, 555, 557, 563, 564
- Кузминская* Татьяна Андреевна (урожд. Берс, 1846–1925), свояченица Толстого, сестра С.А.Толстой — 547, 551
- «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» — 547, 551, 552
- Кузнецкий мост*, улица в центре Москвы — 209, 526
- Курицкий полк* — 306
- Куриское укрепление* — 364
- Курское ополчение* — 564
- Кутузов* Михаил Илларионович (1745–1813), светлейший князь Смоленский, полководец, генерал-фельдмаршал; в Отечественную войну 1812 г. главнокомандующий русской армии — 306, 321
- Кушелев-Безбородко* Григорий Александрович, граф (1831–1876), издатель — 507
- «Кущин дом». См. Гущин
- Кюхельбекер* Вильгельм Карлович (1797–1846), поэт, декабрист, друг А.С.Пушкина — 557

- Лазарев* Михаил Петрович (1788–1851), флотоводец, с 1833 г. главнокомандующий русского Черноморского флота — 498, 504
- Лёвенфельд* (Löwenfeld) Рафаил (1854–1910), немецкий писатель, театральный деятель, переводчик, издатель, биограф Толстого — 319, 320, 342, 375–377, 400, 401, 494, 515, 546, 549, 558, 560
«Граф Лев Толстой, его жизнь, произведения и мирозерцание» — 377, 400, 401, 546, 558, 560
«Разговоры о Толстом и с Толстым» — 546
- Левицкий* Сергей Львович (1819–1898), фотограф — 486
- Лейпциг*, город в Германии — 445, 515, 556
- Лелевель* Иоахим (1786–1861), идеолог польского освободительного движения, историк — 421
- Леонтьев* Константин Николаевич (1831–1891), писатель, критик, публицист, участник Крымской кампании, военный врач — 439–441
«Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л.Н.Толстого» — 439–441
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814–1841) — 13, 207, 292, 310–313, 316, 317, 319, 320, 322, 323, 355, 436, 442, 485, 519, 520, 544, 556
«Бородино» — 485
«Валерик» — 292, 316, 442
«Герой нашего времени» — 13, 310, 313, 320, 322, 323, 355, 436, 441
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» («сказка про Калашникова») — 483
- Лесков* Николай Семенович (1831–1895), писатель — 552
«Фигура» — 552
- «Летописи Государственного Литературного музея»* («Летописи ГЛМ») — 277, 363, 364, 397, 422, 435, 476, 478, 487
- Либава*, город, порт в Прибалтийском крае (совр. Лиепая) — 550
- Ливенцов* Михаил Алексеевич (1825–1896), офицер, писатель — 396, 397, 435, 475
- Линсей* (Lynsée) Фредерик (наст. имя Lapidoth F.), голланд. критик — 493
- Лион*, город во Франции — 244
- Липатова* Ольга Валерьевна, переводчик — 318
- Липранди* Павел Петрович (1796–1864), генерал, участник ряда военных походов и войн; во время Крымской войны отличился в сражении при Балаклаве — 241, 545, 557, 561–563
- «Литературное наследство»*, неперIODические сборники АН СССР (позднее РАН), выходящие с 1931 г. в Москве; публикуются неизданные материалы по истории русской литературы и культуры — 278, 294, 306, 308, 337, 359, 360, 380, 392, 394, 421, 429, 431, 462, 464, 467, 472, 490–492, 506, 508, 550, 552, 556, 567
- Лондон* — 318, 401, 403, 404, 444, 486, 492, 544, 551, 556
- Лугинин* Владимир Федорович (1834–1911), офицер, сослуживец Толстого в Севастополе — 547
- Лужницкий* (Lužnický J.D.; J.L.?), переводчик — 378, 495
- Лядов* Анатолий Константинович (1855–1914), композитор, дирижер — 487
- Мадрид* — 495
- Майортунский лес*, в Чечне — 364
- Маковицкий* Душан Петрович (1866–1921), друг, единомышленник, домашний врач Толстого — 294, 297, 306, 308, 360, 380, 394, 421, 429, 462, 467, 472, 552, 567
«Яснополянские записки» — 294, 306, 308, 360, 380, 394, 421, 429, 462, 467, 472, 552, 567
- Малахов курган*, господствующая высота к юго-востоку от Севастополя (ныне в черте города) — 135, 168, 169, 174, 175, 177, 180, 408, 447, 462, 470, 494, 497, 502–504
- Малая Воротынка*, деревня — 327
- Малый бульвар*, в Севастополе — 93, 95–98, 123, 409, 447, 501
- Мальшев* М., художник-иллюстратор — 391

- Мамадыши* («Мамадыши»), уездный город Казанской губ. — 98
- Мамакай-Юрт*, чеченский аул близ крепости Грозной — 207, 518, 520
- Мансуров Александр Порфирьевич*, корреспондент «Русской старины» — 545, 555
- «*Мария*», батарея в Севастополе — 388
- Мария Александровна* (Максимилиана Вильгельмина Августа Софья Мария, 1824–1880), жена императора Александра II — 473
- Марлинский Александр Александрович*. См. Бестужев А.А.
- Марье Ксавье* (1809–1892), франц. писатель, переводчик — 489
- Мартенау* (Мартинау) Карл-Мауриц Алексеевич, русский генерал, участник обороны Севастополя — 242, 554, 562, 564
- Мартынов Иван*, солдат — 365
- Масленица* (Масленая неделя), у православных христиан восьмая неделя до Пасхи — 40, 42, 57
- Медем Николай Васильевич*, барон (1796–1870), генерал-от-артиллерии, военный теоретик, профессор Военной академии, председатель Военно-цензурного комитета — 299, 470
- Мезенцов Николай Владимирович* (1827–1878), приятель и севастопольский сослуживец Толстого; с 1864 г. начальник штаба корпуса жандармов, с 1876 г. шеф жандармов — 463, 464
- Мейсенбург* (Meysenbug) Мальвида Амалия фон (1816–1903), нем. и англ. литератор, переводчик — 443
- Мекензиева гора*, возвышенность в Севастополе — 562
- Мельгунов Николай Александрович* (1804–1867), писатель, музыкальный критик, сотрудник «Современника» — 556
- Мельгунов Сергей Петрович* (1879/80–1956), журналист, историк, публицист — 345, 521
- Менделеев Дмитрий Иванович* (1834–1907), ученый, химик — 548
- Меншиков Александр Сергеевич*, князь (1787–1869), адмирал, до 1855 г. командовал русской армией в Крыму — 450
- Меньков Петр Кононович* (1814–1875), генерал-лейтенант; военный писатель, редактор «Русского инвалида» и «Военного сборника» — 545, 548, 558, 560
- «А как первого числа...» — 560
- «*Записки*» — 548, 558
- Милан*, город в Италии — 495
- Милле* (Millet) Франк Дэвис де (1846–1912), переводчик — 375, 401, 492, 493
- Миллер Орест Федорович* (1833–1889), филолог, профессор Московского университета — 315, 340, 341, 374, 399, 438, 486, 513
- «Русские писатели после Гоголя» — 315, 340, 374, 399, 438, 486, 513
- Миллионная*, улица в Петербурге — 469
- «*Милосердия двери*», православная молитва — 467
- Милошевич Мария Николаевна* (ум. в 1924 г.), дочь Н.С.Милошевича — 549, 553, 554, 559
- Милошевич Николай Степанович* (1828–1901), офицер, сослуживец Толстого в Севастополе — 545, 553, 554
- Миль* (Mille) Жорж (до 1864–1888), друг Р.Роллана — 445
- Милоков Александр Петрович* (1817–1897), литератор — 486
- Милютин Владимир Алексеевич* (1826–1855), профессор Петербургского университета, печатался в «Современнике» — 425
- Мишин Кузьма Минич* (ум. в 1616 г.), народный герой, нижегородский мещанин, возглавил борьбу русского народа против польских интервентов в 1612 г. — 313
- «*Минюся*», издательство в Японии — 496
- Мирский В.* См. Соловьев Евгений Андреевич
- Митрофан* (святой Митрофан) (1623–1703) — 102, 122, 450
- Михаил Николаевич*, великий князь (1832–1909), сын императора Николая I — 85, 406, 549–550
- Михаил Павлович*, великий князь (1798–1848), брат Николая I; главнокомандующий гвардейского и гренадерско-

- го корпусов; с 1819 г. управлял артиллерийским ведомством, где произвел ряд преобразований — 235, 500
- Михайловская батарея*, на Северной стороне Большой Севастопольской бухты — 148
- Михайловская церковь*, в Севастополе — 504
- Михайловский-Данилевский* Александр Иванович (1789 или 1790–1848), военный историк — 8, 285, 321
- «Описание Отечественной войны 1812 года» — 8, 285, 321
- «Описание войны 1813 года» — 8, 286
- Мичик*, река на Северном Кавказе — 364
- Мишель*, полковник наполеоновской армии — 323
- Мищенков*, сослуживец Толстого на Кавказе — 65
- Моисей*, библейский персонаж — 321
- Мойка*, река в Петербурге — 344
- «*Молитва после учения*» — 160, 501
- «*Молодость*», русская народная песня — 229
- Молоствова* Зинаида Модестовна (в замужестве Тиле, 1828–1897), подруга М.Н.Толстой по казанскому Родионовскому институту; казанская знакомая Толстого — 524, 539–542
- Молостовы*, в Казани — 540
- Моод* (Maude) Луиза Яковлевна (урожд. Шанкс), переводчик; жена Э.Моода — 375, 403–405
- Моод* Эльмер (Maude Almer, 1858–1938), переводчик, издатель, биограф Толстого — 318, 375, 401–405, 429, 444, 445, 492, 560
- «Жизнь Толстого» — 318, 445, 560
- Мори* Огай (1862–1922), японский писатель, литературовед — 495
- Морская библиотека*, в Севастополе — 174, 504
- Морская улица* (Большая Морская улица), в Севастополе — 95, 150, 447, 501
- Москва* — 70, 133, 137, 142, 213, 228, 303, 308, 345, 359, 391, 395, 448, 473, 521, 523, 526, 529, 555, 565, 567
- «*Москвитянин*», журнал; изд. в 1841–1856 гг. М.П.Погодиным — 335, 368, 369, 397, 398
- «*Московские ведомости*» («Ведомости»), газета; изд. Московского университета в 1756–1917 гг. — 308, 471, 473, 505, 506
- Московский комитет грамотности* — 390
- Московский университет* — 547, 560
- Мошин* Алексей Николаевич (1870–1928), писатель, знакомый Толстого — 431
- «Ясная Поляна и Васильевка» — 431
- Мункер* (Muncker) Франц, профессор Мюнхенского университета — 320
- Мусатов* Дмитрий Степанович, владелец магазинов мелочной торговли в Петербурге и др. — 378
- Мусин-Пушкин* Александр Иванович (1827–1903), дальний родственник и приятель детства Толстого — 524
- Мусин-Пушкин* Михаил Николаевич (1795–1862), председатель С.-Петербургского цензурного комитета — 330, 360, 393, 423, 424–426
- Мусин-Пушкин* Н.С., офицер Белорусского гусарского полка, сослуживец Толстого в Севастополе — 547
- «*Мэдзамасисо*» («Будильная трава»), японский журнал — 495
- Надинский* Л.Н., литературовед — 548
- «Л.Н.Толстой в Крыму» — 548
- Наит*, город и порт во Франции — 323
- Наполеон I* Бонапарт (1769–1821), франц. император в 1804–1814 гг. и в марте-июне 1815 г. — 65, 112, 124, 323, 451, 564
- Наполеон III* (Луи Наполеон Бонапарт, 1808–1873), франц. император в 1852–1870 гг.; племянник Наполеона I — 96, 238, 448, 538
- «*Научное слово*», ежемесячный журнал, изд. в Москве в 1903–1905 гг. — 330, 333
- Нахимов* Павел Степанович (1802–1855), вице-адмирал, флотоводец; в 1854–1855 гг. руководил обороной Севастополя — 423, 504
- «*Не одна <во поле дороженька>*», русская народная песня — 229
- Невский проспект* («Невский»), главная улица в Петербурге — 239, 298

- «Неделя»*, еженедельная газета; выходила в Петербурге в 1878–1886 гг. — 341
- Некрасов Николай Алексеевич* (1821–1877/78) — 278, 287, 288, 293–297, 302, 309, 326, 328–331, 334, 356, 357, 359, 360, 367, 368, 380, 385, 389, 390, 393, 395, 396, 422, 424, 425, 463, 466, 469–471, 473, 474, 478, 505–507, 518, 523, 531, 539, 548, 557
- «Внимая ужасам войны...» — 390, 474
- «Заметки о журналах за сентябрь 1855 года» — 367
- «Заметки о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года» — 473
- «Кому на Руси жить хорошо» — 380
- «Саша» — 471, 473
- Нестеров Михаил Васильевич* (1862–1942), художник — 487
- Нижний Новгород* — 338
- Никитенко Александр Васильевич* (1805–1877), литератор, профессор Петербургского университета — 475, 506
- «Дневники» — 506
- Николаев, город-порт в Херсонской губ.* — 238
- Николаевская, казачья станица* — 354
- Николаевская батарея*, в Севастополе — 151, 152, 178, 181, 447, 451, 460, 499, 500
- Николаевская казарма* (Николаевские казармы), на Николаевской батарее — 95, 149, 168, 176, 500
- Николаевская площадь*, в Севастополе — 447
- Николай*, слуга С.Н.Толстого — 308
- Николай I Павлович* (1796–1855), российский император в 1826–1855 гг. — 148, 291, 345, 385, 393, 394, 406, 468, 488, 499, 503, 532, 534
- Николай Николаевич*, великий князь (1831–1891), сын императора Николая I — 85, 406
- Николай Павлович*. См. Николай I
- Никольское-Вяземское*, имение Н.Н.Толстого в Тульской губ. — 533
- Новикова Анна Михайловна* (1901–1992), литературовед — 561
- «Севастопольские песни Л.Н.Толстого» — 561
- «Новое время»*, газета; изд. в Петербурге в 1868–1917 гг. — 548, 553
- Новочеркасск* («Черкасск»), губернский город на юге России — 182, 505
- Новский Л.*, мемуарист — 507
- «Воспоминания об Островском» — 507–508
- Норвегия* — 405, 495
- Норденштрём* (Nordenström) Е., переводчик — 560
- Норов Авраам Сергеевич* (1795–1869), писатель, историк, библиофил; в 1854–1859 гг. министр народного просвещения; участник Бородинского сражения в 1812 г. — 330, 331, 393, 425, 471
- Ноулсон* (Knowlson) Томас Шарпер, америк. литератор, критик — 405, 445
- «Лев Толстой» — 405, 445
- «Ночка»*, русская народная песня — 228
- Нью-Йорк* — 375, 401, 515
- Оболенский Дмитрий Дмитриевич* (р. в 1844 г.), тульский помещик, знакомый Толстого — 548
- Овсянко-Куликовский Дмитрий Николаевич* (1853–1920), литературовед, историк литературы, языковед — 488
- «Лев Николаевич Толстой. К 80-летию великого писателя. Очерк его деятельности, характеристика его гения и призвания» — 488
- Огарев Николай Платонович* (1813–1877), литератор, друг и соратник А.И.Герцена — 323, 556, 557
- Оголин Александр Павлович*, офицер, сослуживец Толстого на Кавказе — 366
- Оголин Александр Степанович* (1821–1911), казанский приятель Толстого, губернский прокурор — 540
- Одаховский Юлиан Игнатьевич* (1823–1904?), старший офицер батареи, в которой Толстой служил в Севастополе — 432, 433, 501, 502, 527, 547
- «Воспоминания...» — 432, 433, 547
- «Одеон»*, театр в Париже — 445
- Одесса*, во время Крымской войны уездный город Херсонской губ., административный центр Новороссийского края — 137, 322, 499
- «Один из участников»* (псевд.), офицер, сослуживец Толстого в Севастополе — 545, 546

- Озмидов Николай Лукич* (1844–1908), единомышленник Толстого — 390
- Оливье (Olivier) А.*, переводчик — 318, 343
- Олифер* (ум. в 1854 г.), офицер, сослуживец Толстого на Кавказе — 306, 328
- Олхин*, офицер, сослуживец Толстого по Дунайской армии — 355
- Ольден-Уард (Alden Ward) Мэй*, англ. литератор — 492
- «Три биографии» («Пророки XIX столетия», «Жизнь Л.Н.Толстого») — 492
- Ольмоц* (совр. Оломоуц), город в Моравии — 524
- Омар-Дебир*, наиб Шамиля — 288
- «Описание рукописей художественных произведений Л.Н.Толстого» — 278, 284, 286, 470, 529
- Оптина пустынь*, мужской монастырь близ г. Козельска; основан в 14 в. — 327
- Орбинский Роберт Васильевич* (1834–1892), педагог, писатель — 482
- Орел*, губернский город — 208
- Орлов*, знакомый Толстого, партнер в карточной игре — 525–526
- Орловская губерния* — 366
- Орловский* (в Севастополе) — 451
- Остен-Сакен* Александра Ильинична (урожд. Толстая, 1797–1841), тетка и опекунша (с 1837 г.) малолетних Толстых, сестра Н.И.Толстого — 461
- Остен-Сакен* («Сакен-генерал») Дмитрий Ерофеевич (1789/90–1881), генерал-адъютант, участник многих войн и военных кампаний; с ноября 1854 г. начальник севастопольского гарнизона — 242, 406, 450, 551, 561, 564
- Островский Александр Николаевич* (1823–1886), драматург — 422, 507–508
- Острогорский Алексей Николаевич* (1840–1917), педагог, писатель — 507
- «Отечественные записки», журнал, изд. в Петербурге в 1818–1884 гг. — 168, 310, 311, 334, 335, 368, 369, 395, 396, 398, 434, 435, 437, 479, 483, 484, 502, 510, 512, 554
- «Отче наш», православная молитва — 78, 467
- Павел I Петрович* (1754–1801), российский император с 1796 г. — 381
- Павлова*, переводчик — 317
- Павловская батарея*, на Корабельной стороне в Севастополе — 450, 504
- Павловская набережная*, на Корабельной стороне в Севастополе — 181, 462, 504
- Павловский мысок*, образуемый при слиянии Корабельной и Большой Севастопольской бухты — 462, 504
- Панаев Иван Иванович* (1812–1862), беллетрист, редактор журнала «Современник» — 300, 302, 330, 358–360, 389, 390, 392–394, 419, 420, 424, 426, 428, 429, 491, 505, 545
- «Пантеон», журнал, под этим названием выходил в Петербурге в 1852–1856 гг. — 309, 336, 371, 435, 475, 508
- Париж* — 445, 452, 478, 485, 486, 489, 490, 567
- Пассек* Диомид Васильевич (1808–1845), генерал-майор, отличился в ряде крупных дел на Кавказе — 70, 381
- Пелисье* («Пелиссье») Эмабль Жан Жак (1794–1864), маршал Франции (с 1855 г.) — 145, 498
- Перекоп*, уездный город Таврической губ. — 138
- Перелыгина А.В.*, переводчик — 546
- Перрис Г. (Perris, 1866–1920)*, англ. литератор — 343, 405, 444, 492
- «Лев Толстой. Великий мужик» — 405, 444, 492
- Перфильев Василий Степанович* («Васенька») (1826–1890), приятель Толстого, сын С.В.Перфильева — 563
- Перфильев Степан Васильевич* (1796–1878), знакомый Толстого, участник Отечественной войны 1812 г.; в 1836–1874 гг. жандармский генерал в Москве — 526
- Петербург* (Санкт-Петербург, Péttersbourg) — 39, 96, 99, 103, 104, 119, 137, 141, 142, 148, 152, 166, 181, 285, 293, 294, 298, 302, 304, 322, 327–329, 331, 337, 344–346, 358, 359, 362, 367, 389, 391, 393, 395, 397, 417, 422, 424, 425, 466, 469, 473, 477, 478, 493, 497, 499, 503, 505, 508, 512, 514, 537, 539, 553, 554, 561, 563
- Петербургский университет* — 506, 561

- Петербургский цензурный комитет*. См. Санкт-Петербургский цензурный комитет
- Петр I Великий* (1672–1725), российский император в 1689–1725 гг.— 146, 380, 381, 450
- Пирогов Николай Иванович* (1810–1881), хирург, академик, участник обороны Севастополя — 388, 452
- Пирогово*, имение брата Толстого С.Н.Толстого в Тульской губернии, в 35 км от Ясной Поляны — 308, 384
- Писарев Дмитрий Иванович* (1840–1868), литературный критик, публицист — 511
«Три смерти». Рассказ графа Л.Н.Толстого — 511–512
- Писемский Алексей Феофилактович* (1820/21–1881), писатель — 336, 369, 371, 396, 422, 449, 473, 475
«Фанфарон» («Один из наших снобсов») — 449
«Винувата ли она?» — 336
- Пистолькорс Александр Васильевич* (ум. в 1879 г.), офицер, сослуживец Толстого на Кавказе — 307
- Платон* (428 или 427–348 или 347 гг. до н.э.), древнегреческий философ, писатель, ученик Сократа — 8, 321
«Лахес» — 321
«Протагор» — 321
- Плац-бек-Кокум* («Плац-Бекок»), Андрей Петрович, генерал-полицеймейстер главного штаба Южной армии — 241, 558, 563
- Плевна* (Плевен), город в Болгарии — 485
- Плетнев Петр Александрович* (1792–1865/66), литератор, ректор Петербургского университета; друг и издатель А.С.Пушкина — 389, 489
- Погодин Михаил Петрович* (1800–1875), историк, журналист — 425
- Погосский Александр Фомич* (1816–1874), писатель, историк, журналист — 391
«Севастопольская оборона» — 391
- Покровское*, имение М.Н. и В.П.Толстых в Черном уезде Тульской губ.— 328, 468
- Поликарпов В.Д.*, литературовед — 530
- Полнер Тихон Иванович* (р. в 1864 г.), литературовед, журналист — 345, 521
- Польша* (Царство Польское) — 305, 503
«Полярная звезда», альманах А.И.Герцена и Н.П.Огарева; изд. в 1855–1862 гг. и в 1868 г. в Лондоне, затем в Женеве. Назван в память одноименного альманаха декабристов — 544, 545, 556, 557
- Порт-Артур*, город и порт в Китае (Льюшунь); героическая оборона Порт-Артура — во время русско-японской войны в 1904 г.— 467
- «*Посредник*», просветительское издательство (1884–1935 гг.) в Петербурге, с 1892 г.— в Москве; основано по инициативе Толстого — 390, 472, 543, 544
- Преснухин П.В.*, офицер, сослуживец Толстого на 4-м бастионе в Севастополе — 432
- «*Прости*», русская народная песня — 229
- Пруссия* — 158
- Пушкин Александр Сергеевич* (1799–1837) — 317, 319, 320, 342, 355, 377, 480, 483, 485, 509–511, 556
«Бесы» — 510
«Во глубине сибирских руд...» — 556
«Вольность» — 556
«Капитанская дочка» — 310
«Медный всадник» — 480
«Повести Белкина» — 313
«Полтава» («описание Полтавской битвы») — 485
- Пушкин Иван Иванович* (1798–1859), декабрист, друг А.С.Пушкина — 478
«Записки о Пушкине» — 478
- Пушкин Михаил Иванович* (1800–1869), знакомый Толстого, брат И.И.Пушкина — 478
- Пытин Александр Николаевич* (1833–1904), литературовед — 478
- Пятигорск*, уездный город Ставропольской губ.— 208, 284, 308, 324, 430
- Пятковский Александр Яковлевич* (1840–1904), публицист, критик — 314
- Разин Степан Тимофеевич* (ок. 1630–1671), донской казак, предводитель крестьянского восстания в России в 1670–1671 гг.— 313
- «*Рассвет*», журнал, изд. в 1859–1862 гг. в Петербурге — 512

- Рачинский* Сергей Александрович (1833–1902), знакомый Толстого, ботаник, профессор Московского университета — 429
- Ратисбонн* (Регенсбург), город в Германии — 451
- Реад* Николай Андреевич (1793–1855), генерал, участник обороны Севастополя — 241, 546, 551, 562–564
- Резильотти*, помещица, владелица трактира под Севастополем — 564
- Рейхель* Мария Каспаровна (1823–1916), друг и соратник А.И.Герцена; переправляла корреспонденцию из России для Вольной русской типографии — 508
- Рёль* (Röhl) Г., переводчик — 342
- Репин* Илья Ефимович (1844–1930), художник — 485
- Родзянко* Н.В., чиновник особых поручений при Главном управлении цензуры — 330, 331, 361, 471
- Рождество*, один из главных христианских праздников, отмечался 25 декабря — 39, 186, 526
- Роллан* (Rolland) Ромен (1866–1944), франц. писатель — 443, 445, 489
«Монастырь на улице Ульм» — 445, 489
- Ролстон* (Ralston) Уильям Шедден (1828–1889), англ. писатель, литературный критик, переводчик — 491
- Роскошный* (Roskoschny) Германн, переводчик — 319, 342, 375, 400, 515
- Россель*, корреспондент англ. газеты «The Times» во время Крымской войны — 476
- Российская государственная библиотека* (РГБ), в Москве — 277, 365, 425, 428, 545, 555
- Российская национальная библиотека* (РНБ), в Петербурге — 277, 394, 554
- Российский государственный архив литературы и искусства* (РГАЛИ), в Москве — 277, 298, 361, 556
- Российский государственный военно-исторический архив* (РГВИА), в Москве — 277, 299, 360, 361, 426, 470
- Российский государственный исторический архив* (РГИА), в Санкт-Петербурге — 277, 299, 300, 302, 331, 424, 471, 506
- Российский Правительствующий Сенат* — 497
- Россини* Джоаккино (1792–1868), итал. композитор — 229, 527
- Россия* (Русь) — 54, 63, 64, 70, 72, 73, 75, 88, 93, 98, 106, 229, 234, 235, 280, 289, 296, 306, 320, 322, 330, 344, 359, 379, 384, 385, 390, 392, 393, 400–403, 405, 433, 443–445, 448, 474, 478, 487, 488, 491, 497–500, 503, 505, 515, 516, 526, 532, 549, 552, 557, 560
- Ростислав*. См. Толстой Феофил Матвеевич
- Ростовцев* Николай Яковлевич (1831–1892), офицер, приятель, сослуживец Толстого в Дунайской армии и Севастополе — 345, 465, 529
«Письмо к редактору» — 345
«Песни Журжинского отряда» — 345, 529
- Ртищева* Прасковья Михайловна (ум. в 1748 г.), прапрабабка Толстого — 327
- Рубин*, фейерверкер, сослуживец Толстого на Кавказе — 353, 364, 537
- Рудольф*, музыкант — 525
- Ружмон*, франц. журналист, корреспондент газеты «L'Indépendant» — 323
- Румыния* — 405
- Румянцевский музей*, коллекция книг и рукописей, собранная Николаем Петровичем Румянцевым (1754–1826), впоследствии ставшая в Москве крупнейшей публичной библиотекой — 472, 529, 532
- Русанов* Гавриил Андреевич (1846–1907), знакомый Толстого, помещик Воронежской губ. — 363
«Русская беседа», журнал, изд. в Москве в 1856–1860 гг. — 312, 338
«Русская библиотека», книжная серия — 390, 556
«Русская старина», ежемесячный журнал, выходил в Петербурге в 1870–1918 гг. — 394, 465, 468, 469, 486, 546, 549, 554, 555, 557, 559
«Русские ведомости», газета, изд. в Москве в 1863–1918 гг. — 317, 442, 508, 514
«Русский архив», ежемесячный журнал,

- выходил в Москве в 1863–1917 гг.— 564
- «Русский вестник», журнал; изд. в Москве в 1856–1887 гг. М.Н.Катковым — 439, 483
- «Русский инвалид» («Инвалид»), военная газета (1813–1917); с 1816 г. изд. ежедневно; выходила в Петербурге — 96, 97, 311, 336, 356, 372, 385
- «Русский художественный листок» (1851–1862), периодический сборник литографий с коротким объяснительным текстом — 481
- «Русское обозрение», журнал, изд. в Москве в 1890–1898, 1901, 1903 гг.— 396, 507
- «Русское слово», ежемесячный журнал, выходил в Петербурге в 1859–1866 гг.— 338, 482
- Русско-японская война, 1904–1905 гг.— 380
- Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), поэт, декабрист — 556, 557
- Саводник Владимир Федорович (1874–1940), историк литературы — 399, 442, 443, 487, 488
- «Очерки по истории русской литературы XIX века» — 399, 442, 487
- Саганоя Омуро (псевд. Ядзаки Синсиро, 1863–1947), японский писатель, переводчик — 496
- «Огни Севастополя» — 496
- Саксония — 291
- Салты, аул в Среднем Дагестане — 288
- Салтыков Михаил Евграфович (Н.Щедрин, 1826–1889), писатель — 312, 544, «Губернские очерки» — 312
- Самарин, московский знакомый молодого Толстого — 525
- «Санкт-Петербургские ведомости», газета (1727–1917), изд. при Петербургской Академии наук — 309, 333, 335, 336, 367, 369, 371, 395, 398, 433, 435, 471, 475, 508
- Санкт-Петербургский комитет грамотности — 390
- Санкт-Петербургский цензурный комитет — 299, 300, 330, 393, 423, 470, 506
- Санкт-Петербургское ракетное заведение (создано в 1826 г.), производило ракеты для Кавказской армии и Морского ведомства. Согласно приказу № 435 от 27 декабря 1855 г. инспектора всей артиллерии Л.Н.Толстой был прикомандирован к этому заведению по возвращении из Севастополя — 503
- Сапун-гора, возвышенность в Севастополе — 81, 123, 405, 561, 563
- Саранск, в XIX в. уездный город Пензенской губ.— 84
- Саратов, губернский город, порт на Волге — 98, 208
- Саратовская губерния — 236
- Сардиния — 447
- Светло-Христово Воскресение (Пасха), главный праздник православных христиан, отмечается весной — 542
- «Свободные русские песни», сборник — 556
- «Святая Анна» (Анненский орден) — 70, 73, 94, 97, 381
- Святая, первая неделя после праздника Пасхи, пасхальная неделя — 391
- Святки — 209, 526
- Святого Владимира храм, в Севастополе — 504
- «Святой Владимир» («Владимир»), орден — 70, 73, 94, 101, 381, 410, 420
- Севастополь — 81, 85, 92–95, 98, 123, 131–133, 136–145, 148, 150, 156, 157, 163, 167, 171, 173–175, 179–181, 279, 280, 289, 299, 310, 318, 343, 346, 357, 358, 375, 382–388, 392, 396–403, 405–409, 415–417, 419, 420, 422–424, 430–433, 435, 438, 439, 441, 442, 447–451, 453, 456, 460–463, 465, 468–470, 473–476, 478–482, 484, 486–488, 490, 491, 493–501, 503–505, 527, 531, 536, 537, 543–549, 557, 559, 561, 563, 564
- «Северная пчела», петербургская газета (1825–1864) — 330, 338, 359, 361, 372, 373, 391, 393, 395, 426, 471, 483, 505, 506
- Северная сторона («Северная», «Северное укрепление»), северный берег Большой Севастопольской бухты, северная часть территории Севастополя — 81, 84, 131, 133, 145, 148–150, 152, 174, 178, 181, 405, 432, 451, 460, 463, 469, 496, 499, 500, 503

- Северный Кавказ* — 322, 348
- Северный Дагестан* — 380, 382
- Селезнев* Дмитрий Степанович (1807–188?), тульский помещик — 327
- Селенгинский редут*, в Севастополе — 387
- Семевский* Михаил Иванович (1837–1892), историк, журналист, основатель журнала «Русская старина» — 545, 548, 554
«Сборник рукописных прозаических и поэтических произведений» — 554
- Семякин* Константин Романович (1802–1867), генерал, участник обороны Севастополя — 561
- Сенковский* Осип Иванович (1800–1858), литератор — 369
- Сент-Бёв* (Sainte-Beuve) Шарль Огюстен (1804–1869), франц. писатель — 489
- Сент-Илер* (Saint-Hilaire) Марко де, франц. писатель — 431, 451
«Истории времен Наполеона I, рассказанные Марко де Сент-Илером» — 431, 451
- Сергеенко* Петр Алексеевич (1854–1930), литератор, знакомый Толстого — 337, 506
- Середа* С<евастьян?>, солдат в Севастополе — 432
- Серзпутовский* Адам Осипович (ум. в 1860 г.), генерал-лейтенант, начальник артиллерии Южной армии — 383, 547, 561
- Сехин* Епифан Петрович («Япишка», «Епишка»), старый гребенской казак в станице Старогладковской, приятель Толстого — 288, 351
- Сибирь* — 478
- Силистрия*, турецкая крепость и порт на Дунае — 383
- Симферополь*, центральный город Таврической губ.— 136, 137, 158, 161, 238, 240, 329, 345, 384, 496, 497, 543, 544
- Синий мост*, в Петербурге мост через реку Мойку — 32, 344
- Синопский бой*, во время Восточной войны сражение в Синопской бухте (на северном побережье Турции) 18 ноября 1853 г.: русская эскадра П.С.Нахимова уничтожила турецкую эскадру Осман-паши — 555
- Синюхаев* Георгий Титович, литератор, педагог — 391, 430, 472
- Скабичевский* Александр Михайлович (1838–1910), критик, историк литературы, историограф русской цензуры — 339–341, 421, 484, 485
«Граф Л.Толстой как художник и мыслитель» — 339, 484
«История новейшей русской литературы. 1843–1903» — 340
«Очерки истории русской цензуры (1700–1863)» — 421
- Скайлер* (Schuyler) Юджин (Евгений) (1840–1890), америк. дипломат, писатель, переводчик — 318, 393, 443, 549
- Скальковский* Константин Аполлонович (1843–1906), литератор — 547, 548
«По обычаю предков» — 547
«Севастопольские песни» — 548
- Скандинавия* — 400, 445
- Скобелев* Иван Никитич (1782–1849), военный писатель — 372
- Слепцов* Николай Павлович (1815–1851), генерал, участник войны на Кавказе — 70, 381
«Слышишь, <разумеешь...>», народная песня — 229
- Смоллетт* (Smollett) Тобайас Джордж (1721–1771), англ. писатель — 264
«История Англии» — 264
- Соболев* Андрей Ильич, вольноотпущенный яснополянский крестьянин; затем приказчик и управляющий Ясной Поляны — 528
«Современник», ежемесячный журнал, выходил в Петербурге в 1847–1866 гг.— 83, 278, 279, 281–283, 285, 287, 288, 290, 292, 295–299, 308–311, 314, 324, 328–337, 339, 346, 348, 357–362, 366, 367, 369, 371, 382, 385, 389–397, 406, 409, 415, 417, 419, 420, 422, 424–426, 428, 434–436, 442, 449, 453, 466, 469–471, 473–475, 478, 481, 486, 490, 505–508, 511, 518, 531, 532
- Соединенные Штаты Америки* (США) — 318, 342, 343, 375, 400, 405, 444, 492, 493, 515
- Сокальский* Николай Петрович (1831–1871), литератор — 320, 372
- Сократ* (ок. 470/469–399 гг. до н.э.), древнегреческий философ — 321

- Соловьев Владимир Сергеевич* (1853–1900), литератор, философ — 558
- Соловьев Евгений Андреевич* (псевд. В.Мирский, 1867–1905), критик, историк литературы, биограф Толстого — 315, 316, 394, 399, 441, 442, 478, 550, 558 «Л.Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность» — 315, 316, 394, 399, 441, 442, 478, 550, 558
- Сомов А.С.*, мемуарист, внук А.М.Тургенева — 469
- Сороки* — 165
- Спасское-Лутовиново* (Спасское), имение И.С.Тургенева — 309, 396
- Спевак*, строевой ефрейтор, сослуживец Толстого на Кавказе — 353, 364
- Средний Дагестан* — 288
- Срезневский Всеволод Измаилович* (1867–1934), историк литературы — 282, 538, 545, 559
- Ставропольская губерния* — 64
- Старогладковская*, казачья станица на Кавказе, в которой жил Толстой с июня 1851 по январь 1854 г.— 240, 289, 297, 304, 306, 392, 519, 521, 540, 565
- Старчевский Адальберт Войтех Викентьевич* (1818–1901), публицист, издатель, редактор журналов — 369
- Старый Юрт* (Горячие Воды, Толстой-Юрт), большой чеченский аул — 207, 208, 303, 307, 519, 520, 540
- Стасов Владимир Васильевич* (1824–1906), художественный и музыкальный критик, знакомый Толстого — 394, 485, 512
- Стахович Софья Александровна* (1862–1942), близкая знакомая Толстых — 567
- Стелловский Федор Тимофеевич* (1826–1875), издатель, владелец типографии в Петербурге — 314, 339
- Стендаль* (Stendhal) (наст. имя Анри Мари Бейль, 1783–1842), франц. писатель — 446, 491 «Пармская обитель» — 446
- Стерн* (Sterne) Лоренс (1713–1768), англ. писатель — 271, 279, 280, 282, 565–567 «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» — 565–567
- Стефан*, военный цензор, генерал-майор — 360, 426
- Стожары*, в созвездии Тельца — 21, 323
- Столыпин Аркадий Дмитриевич* (1821–1899), офицер, приятель и сослуживец Толстого в Севастополе — 393 «Ночная вылазка в Севастополе» — 393, 424
- Столыпин Дмитрий Аркадьевич* (1818–1893), двоюродный брат А.Д. Столыпина; с апреля 1855 г. в Севастополе ординарец начальника штаба 3 корпуса; печатался в журнале «Русский архив» — 564
- Страхов Николай Николаевич* (1828–1896), близкий знакомый Толстого с 1871 г., публицист, философ, критик — 302, 313, 362, 437, 483
- Сулимовский Михаил Иванович*, офицер, сослуживец Толстого на Кавказе — 293, 294, 304, 307, 366
- Сунжа*, река на Северном Кавказе — 348
- Сунженская станица*, на Кавказе — 381
- Сухово-Кобылин Александр Васильевич* (1817–1903), писатель — 508 «Свадьба Кречинского» — 508
- Сызрань* — 540
- «Сын отечества»*, журнал (1856–1861), изд. в Петербурге — 333, 372, 481, 510, 511
- Сысоев С.П.*, корреспондент «Русской старины» — 545, 558
- «Тайё»* («Солнце»), японский журнал — 496
- Талейран* (Talleyrand) Шарль Морис (1754–1838), франц. дипломат и государственный деятель — 490
- Тамбов* — 72
- Тамбовская губерния* — 366
- Танеев Сергей Иванович* (1856–1915), композитор, пианист, близкий знакомый Толстых — 467, 566 «Дневники» — 467, 566
- Теккерей* (Thackeray) Уильям Мейкпис (1811–1863/64), англ. писатель — 449 «Книга снобов» — 449 «Ярмарка тщеславия» — 449, 452
- Телеграфная* (Телеграфическая) гора, возвышенность в Севастополе — 561, 563

- Тёпфер* (Töppfer) Родольф (1799–1846), швейцарский писатель — 567
- Терек*, река на Кавказе — 208, 348, 519, 520
- Терская линия*, цепь казачьих станиц по реке Терек — 519, 520
- Тертюковский*, офицер артиллерии, участник обороны Севастополя — 468
- Тетеревников* («Тетерёвкин») Николай Кузьмич (1805–1874), генерал-майор, участник Севастопольской кампании — 545
- Тиле* Николай Васильевич (ум. в 1893 г.), в начале 1850-х годов состоял чиновником особых поручений при казанском губернаторе — 524
- Тилиль*, чеченский аул — 379
- Тимм* Василий Федорович (Вильгельм Фридрих, 1820–1895), живописец, график, издатель альманаха «Русский художественный листок» — 491
- Тифлис* (совр. Тбилиси) — 77, 326
- Тифлисская губерния* — 64
- Тихонравов* Николай Саввич (1832–1893), литературовед, археограф, профессор Московского университета — 545, 555
- Ткачев* Александр Владимирович, писатель, историк — 388, 389
«Подпоручик севастопольский. Мистерия войны» — 388, 389
- Товарищество «И. Н. Кушнерев и К^о»*, издательство в Москве — 391
- Товарищество «Н. П. Карбасниковъ»*, издательство в Париже — 345, 521
- Товарищество по распространению и изучению творений Л. Н. Толстого* — 345, 521
- Токутоми Рока* (наст. имя Кэндзиро, 1868–1927), японский писатель — 496
- Толстая* Александра Андреевна (1817–1904), двоюродная тетка Толстого, фрейлина императорского двора — 493, 550
- Толстая* Александра Львовна (1884–1979), младшая дочь Толстого — 308
- Толстая* Мария Николаевна (урожд. Волконская, 1790–1830), мать Толстого — 327
- Толстая* Мария Николаевна (1830–1912), сестра Толстого — 309, 317, 328, 329, 367, 422, 435, 508, 523, 540
- Толстая* Ольга Константиновна (урожд. Дитерихс, 1872–1951), первая жена А. Л. Толстого — 403, 472, 567
- Толстая* Софья Андреевна (урожд. Берс, 1844–1919), жена Толстого — 277, 294, 302, 303, 327, 333, 362, 394, 472, 529 565, 567
«Дневники» — 277, 303, 472, 529
- Толстая* Татьяна Львовна (1864–1950), старшая дочь Толстого — 493
«Толстовский ежегодник» — 552
- Толстой* Андрей Львович, граф (1877–1916), сын Толстого — 403, 567
- Толстой* Валерьян Петрович, граф (1813–1865), муж М. Н. Толстой, сестры Толстого — 328, 329, 435
- Толстой* Дмитрий Николаевич, граф (1827–1856), брат Толстого — 308
- Толстой* Илья Андреевич, граф (1813–1860), двоюродный дядя Толстого — 303
- Толстой* Николай Николаевич, граф (1823–1860), старший брат Толстого, офицер, писатель — 303, 304, 306, 307–309, 328, 329, 363, 382, 392, 416, 468, 532, 533
- Толстой* Сергей Львович, граф (1863–1947), старший сын Толстого — 294–296, 308, 333, 402, 404, 444, 472, 552
«Очерки былого» — 548
- Толстой* Сергей Николаевич, граф (1826–1904), брат Толстого — 289, 290, 297, 298, 303, 307–309, 328, 329, 345, 355, 383, 385, 387, 394, 403, 408, 416, 430, 432, 466, 508, 521, 523, 525–527, 531, 543, 545, 550
- Толстой* Федор Петрович, граф (1783–1873), двоюродный дядя Толстого, художник-медалер, скульптор, вице-президент Академии художеств — 477
- Толстой* Феофил Матвеевич, граф (псевд. Ростислав, 1810–1881), композитор, писатель — 338, 372
«О критическом воззрении новой редакции “Библиотеки для чтения” (Письмо к Н. И. Гречу)» — 338, 372
- Толстые* — 327, 394
- Тотлебен* Эдуард Иванович (1818–1884), военный инженер, руководил инженерными работами при обороне Сева-

- стополя в 1854–1855 гг. — 141, 388, 407, 408, 447, 496, 498
 «Описание обороны г. Севастополя» — 388, 407, 408, 496, 498
- Трактирный мост*, через речку Черную под Севастополем — 564
- Тробель* (Traubel) Гораций (1858–1919), америк. издатель, писатель, секретарь У. Уитмена — 492
- «Троица», православная молитва — 467
- Троицкая*, казачья станица — 381
- Троя* — 486
- Тула* — 84, 308, 366
- Тульская губерния* — 366, 367
- Тургенев Александр Михайлович* (1772–1862/63), хороший знакомый Толстого, участник военной кампании 1812–1814 гг., мемуарист — 469
- Тургенев Иван Сергеевич* (1818–1883) — 278, 299, 302, 309, 329, 330, 332, 334, 336, 342, 351, 358–361, 366, 367, 369, 371, 376, 377, 392, 393, 396, 422, 424, 426, 435, 466, 470, 471, 475, 478, 491, 505–507, 509, 544
- «Записки охотника» («Гамлет Шигровского уезда») — 351, 360
- «Месяц в деревне» — 336
- «Постоялый двор» — 336
- «Рудин» — 471, 473, 474
- «Тургенев и круг "Современника"» — 278, 302, 330, 392, 393, 426
- Турунов Яков Николаевич* (1811–1873), рецензент газеты «Русский инвалид» — 311, 336, 372, 473, 480
- Турция* — 148
- Турыгин Александр Андреевич* (1860–1934), художник, в 1923–1931 гг. архивариус Русского музея, друг М. В. Нестерова — 487
- Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна* (1829–1913/14), жена Н. П. Огарева, с 1857 г. жена А. И. Герцена — 551, 552
- «Воспоминания» — 551–552
- Тьер* (Thiers) Адольф (1797–1877), франц. историк, политический и общественный деятель — 323
- «История консульства и империи» — 323
- Тьерри* (Thierry) Огюстен (1795–1856), франц. историк — 489
- Тютчев Федор Иванович* (1803–1873), поэт — 473
- Уитмен* (Whitman) Уолт (1819–1892), америк. поэт — 492, 493
- Уиццукуль*, аул в Дагестане — 379
- Уиттон Джон*, архитектор, автор архитектурного оформления Графской пристани в Севастополе (1846) — 405
- Урусов Сергей Семенович*, князь (1827–1897), друг и севастопольский сослуживец Толстого — 462
- Успенский Дмитрий Иванович* — 545, 548, 555
- Успенский Николай Васильевич* (1837–1889), писатель — 512
- «Утренний свет», журнал, издавался Н. И. Новиковым в Петербурге в 1777–1780 гг. (предисловие к журналу принадлежит Новикову) — 352
- «Утро», литературный сборник — 338
- Ушаков Александр Клеоникович* (1803–1877), генерал-лейтенант, начальник 7-й пехотной дивизии; участник сражения на р. Черной — 242, 545, 554, 555, 557–559, 562, 564
- Ушаков Николай Иванович* (ум. в 1861 г.), генерал, участник обороны Севастополя — 561
- Федор Филиппыч*, управляющий в Ясной Поляне — 506
- Федюхинские высоты*, («Федюхины»), возвышенность близ Севастополя — 242, 551, 561–563
- Фези Карп Карпович* (1797–1848), русский генерал, участник Кавказской войны — 379
- Ферзен Герман Егорович*, барон, приятель Толстого, петербургский чиновник — 506
- Фет Афанасий Афанасьевич* (Шеншин, 1820–1892), поэт — 509, 544
- Филимонов Василий Семенович* (ум. в 1891 г.), офицер, командир батареи, в которой Толстой служил в Севастополе — 366, 433, 527, 528
- Фонвизина Наталья Дмитриевна* (урожд. Апухтина, 1805–1869), жена декабриста М. А. Фонвизина, последовала за

- мужем в Сибирь; с 1857 г. жена декабриста И.И.Пушина — 478
- Фоциала* (Фоти-Сала), селение близ Бахчисарая на р. Бельбек — 466
- Франция* — 244, 318, 321, 343, 377, 447, 489, 498, 514
- Фриде* Александр Яковлевич (1822?–1894), офицер, севастопольский сослуживец Толстого — 367, 397, 547
- Фридрих II Великий* (1712–1786), король прусский в 1740–1786 гг. — 65
- Хаард* Эрик де, голланд. литературовед — 494
- Хасав-Юрт* — 303
- Хилковский* <Петр Алексеевич?> (погиб в 1854 г.), капитан 4-й батареейной батареи, сослуживец Толстого на Кавказе — 293, 304, 366
- Хедберг* В. (Hedberg W.), переводчик — 321, 378
- Хирьяков* Александр Модестович (1863–1946), публицист, критик — 345
- Хорив*, библейская гора — 321
- Хоулс* (Howells) Уильям Дин (1837–1920), америк. литератор, издатель — 492, 493
- Христос* — 407
- Хрулев* Степан Александрович (1807–1870), генерал, участник Крымской кампании — 561
- Хубарские высоты*, горы на Кавказе — 353
- Хум* (Home) Джон (1722–1808), англ. поэт и драматург — 265
- Хунзах*, в Аварии — 379
- Хэлгуд Изабелла* (Hargood, 1850–1928), переводчик, журналист, писательница — 318, 375, 401, 493
- Цабель* (Zabel) Ойген (Евгений) (1851–1924), нем. литератор — 319, 320, 342, 376, 401, 445, 446, 494, 515, 516
- «Очерки литературной России» — 319, 376, 494, 515
- «Граф Лев Николаевич Толстой. Литературно-биографический очерк» — 319, 376, 401, 446, 494, 515
- «Царицынский вестник», газета — 445
- Царское Село*, загородная резиденция русских царей под Петербургом — 395
- Цингер* Александр Васильевич (1870–1934), знакомый Толстого, физик, профессор Московского университета — 547
- «Мелочи о Толстом» — 547
- Цюрих*, город в Швейцарии — 377
- Чаадаев* Петр Яковлевич (1794–1856), философ, публицист — 435
- «Часы досуга» («Hours at Home»), журнал, изд. в Нью-Йорке — 443
- Чахгири*, русская крепость на Кавказе — 47
- Чекатовский*, офицер, сослуживец Толстого на Кавказе — 353
- Черкасск*. См. Новочеркасск
- Черная*, река в Крыму — 499, 545, 548–550, 555, 558, 559, 561–564
- Чернецкий* Людвиг (1828–1872), сотрудник в типографии А.И.Герцена — 443
- Черных*, солдат батареи, в которой Толстой служил на Кавказе — 353, 536
- Чернышевский* Николай Гаврилович (1828–1889) — 279, 337, 338, 436, 470, 481, 511
- «Детство и Отрочество. Сочинение графа Л.Н.Толстого. Военные рассказы графа Л.Н.Толстого» — 436, 481, 511
- Чертков* Владимир Григорьевич (1854–1936), друг и издатель Толстого — 429, 472, 492, 559
- Черткова* Анна Константиновна (урожд. Дитерихс, 1859–1927), жена В.Г.Черткова — 472
- Честертон* (Chesteron) Гилберт Кит (1874–1936), англ. писатель — 343, 444
- Чикин*, сослуживец Толстого на Кавказе — 364
- «Читальник», книга для народного чтения — 483
- Шамиль* (1799–1871), имам Дагестана и Чечни — 14, 20, 21, 48, 288, 308, 321, 379, 519
- Шарп*, хирург — 264
- Шварц* Михаил Павлович (1826–1896), морской офицер, герой Крымской

- войны, в Севастополе командовал редутом — 449
- Шварцовский редут*, в Севастополе — 100, 176, 449, 504
- Швейцария* — 377, 559
- Швеция* — 378, 493, 516
- Шевченко* Тарас Григорьевич (1814–1861), украинский поэт — 338, 548
«Дневник» — 338, 548
- Шекспир* Уильям (1564–1616) — 99, 264
«Отелло» — 264
- Шеллинг* (Schelling) Фридрих Вильгельм (1775–1854), нем. философ — 446
- Шереметев* Борис Сергеевич, граф — 545, 555
- Шипка*, перевал в горах Болгарии — 485
- Шкляр С.*, переводчик — 546
- Шклярский* Михаил Валентинович (1826–1891), офицер, сослуживец Толстого в Севастополе — 547
- Шкультеты* (Škultéty) Йозеф (1853–1948), словацкий литератор — 515
- Шмидт* Мария Александровна (1844–1911), друг и единомышленник Толстого — 327
- Шольц А.*, переводчик — 515
- Штайнер* (Steiner) Эдвард, америк. литератор — 318, 343, 375, 493, 515, 550
«Толстой как человек» — 318, 343, 375, 493, 515, 550
- Штраус* Иоганн (отец) (1804–1849), австр. композитор — 323
«Auroga-Walzer» — 17, 323
- Штраус* Иоганн (сын) (1825–1899), австр. композитор — 322
«Annen-Polka», «Auroga-Polka», «Hermann-Polka», «Elisen-Polka», «Ella-Polka», «Marie Taglioni-Polka» — 322
- Шубин*, офицер, сослуживец Толстого в Севастополе — 547
- Щебальский* Петр Карлович (1810–1886), историограф российской цензуры — 330
«Исторические сведения о цензуре в России» — 330
- Щедринская*, казачья станица — 354
- Щербина* Николай Федорович (1821–1869), поэт, переводчик — 483
- Эдельсон* Евгений Николаевич (1824–1868), литератор — 483, 512
- Эмс* (Бад-Эмс), в Германии — 520
- Эски-Орда*, селение в Крыму — 329, 345, 357, 384, 543, 544
- Эттлиндер* (Ettlinger) А., нем. литератор, биограф Толстого — 320, 446, 495, 560
«Лев Толстой. Эскиз его жизни и творчества» — 320, 446, 495, 560
- Южная армия* — 383, 528, 530, 563
- Южная бухта*, в Севастополе — 82, 405–407, 447, 500
- Южная сторона*, в Севастополе — 397, 405, 447, 484, 498–500
- Юм* (Hume) Дэвид (1711–1776), англ. историк — 265
- Юнге* Екатерина Федоровна (урожд. Толстая, 1843–1913), троюродная сестра Толстого, друг семьи Толстых, художница — 477, 478
«Воспоминания» — 478
- Юшкова* Пелагея Ильинична (урожд. Толстая, 1801–1875), тетка и опекуна малолетних Толстых (с 1841 г.), сестра Н.И.Толстого — 428, 505
- «*Я цыганка молодая...*», цыганская песня — 548
- Ядзак* Синсиро. См. Саганоя Омуро
- «*Язон*», бриг — 407
- Язоновский редут* — 90, 388, 407
- Якимак* Алексей Абрамович («Екимак») (1805–1866), помощник начальника штаба генерал-фельдцейхмейстера — 550
- Янаги* Томико, япон. литературовед — 496
- Яначек* Ярослав (1878–1964), переводчик, последователь Толстого, друг Д.П.Маковицкого — 516
- Янжул* Михаил Алексеевич, военный историк — 468
- Япония* — 73, 495, 496
- Ясная Поляна* — 288, 300, 302, 304, 328, 329, 331, 346, 354, 360, 384, 391, 393, 402–404, 416, 429, 443, 472, 485, 491, 493, 506, 519, 525, 526, 528, 545–547, 549, 550, 552, 553, 558, 559, 565–567
«*Яснополянский сборник*» — 530

- Bain R.N.*, переводчик — 515
Burchvliet F. van, переводчик — 493
Cadioschi N., переводчик — 495
«*Dziennik Warszawski*», польская газета — 400, 445, 491
E. V., переводчик — 343
Groundstroem W., переводчик — 493
Hogarth C.J., переводчик — 318, 515
«*L'Indépendant*», франц. газета — 323
«*Journal de Francfort*», франц. газета — 400
K. Cs., переводчик — 495
Kaaran A., переводчик — 495
«*Księga Świata*», польск. энциклопедический справочник — 491
Leitão J., переводчик — 321
«*Los en Vast*», голланд. журнал — 493
«*National Zeitung*», немецкая газета — 319
«*Nineteenth Century*», англ. журнал — 491
«*Le Nord*», русская газета; изд. в Брюсселе на франц. языке — 395, 400
O. Ž., переводчик — 321
Ostoła de Sochinsky G. de, переводчик — 318
R. L., голланд. критик — 494
«*La Revue des deux Mondes*», франц. журнал, изд. в Париже с 1829 г. — 317, 400, 489
Scheurleer F.G.J., переводчик — 321, 378
Sinding H., переводчик — 343
«*The Times*», англ. газета — 476
«*Voleur*», франц. журнал — 452
Z.Z. См. Данилевский Григорий Петрович

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Л.Н.Толстой. Москва. Фотография с дагерротипа. 1854 г.

«Набег». Страница ранней редакции. Автограф.....	19
Страница рукописи «Набега». Автограф.....	27
«Записки маркера». Страница автографа.....	43
Письмо Л.Н.Толстого Н.А.Некрасову. 17 сент. 1853 г. Автограф.	45
«Рубка леса». Вариант начала. Автограф.....	53
«Севастополь в декабре месяце». Страница журнала «Современник», 1855, № 6.....	83
Заключительные страницы рассказа «Севастополь в мае».	
Автограф.....	129
«Севастополь в августе 1855 года». Страница наборной рукописи. Автограф.....	139
«Севастополь в августе 1855 года». Фрагмент корректуры.....	179
«Святочная ночь». Вариант начала. Автограф.....	211
Запись в альбоме Т.А.Берс. Автограф.....	243
Титульный лист сборника «Военные рассказы».....	301
Проект обложки журнала «Военный листок». 1854 г.....	347

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1852–1856 гг.

Набег (Рассказ волонтера).....	7*	283
Записки маркера (Рассказ).....	30	324
Как умирают русские солдаты.....	47	345
Рубка леса (Рассказ юнкера).....	51	348
Севастополь в декабре месяце.....	81	382
Севастополь в мае.....	94	409
Севастополь в августе 1855 года.....	131	453
Метель.....	182	505

НЕОКОНЧЕННОЕ

Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт.....	207	518
Святочная ночь.....	209	521
Характеры и лица.....	233	527
Дяденька Жданов и кавалер Чернов.....	236	528
Отрывок из дневника штабс-капитана А. пехотного Л.Л.полка.....	238	537

Стихотворения

К западне.....	239	539
<«Давно позабыл я о счастье...»>.....	239	539
<«Когда же, когда наконец перестану...»>.....	240	543
<«Как четвертого числа...»>.....	241	544

Приложение

Сантиментальное путешествие через Францию и Италию.....	244	565
--	-----	-----

* В первом столбце указана страница текста, во втором — комментариев.

КОММЕНТАРИИ

Условные сокращения.....	277
Произведения 1852–1856 гг.	283
Неоконченное	518
Стихотворения	539
Приложение.....	565
Указатель произведений Л.Н.Толстого	568
Указатель имен и названий	570
Список иллюстраций.....	595

Печатается по решению
Научно-издательского совета
Российской академии наук

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В СТА ТОМАХ**

**Художественные произведения
в восемнадцати томах**

**Том второй
1853–1863**

Зав. редакцией А.И. Кучинская
Редактор издательства Е.В. Белова
Художник В.Ю. Яковлев
Художественный редактор Т.В. Болотина
Оригинал-макет изготовлен в ИМЛИ РАН
Т.А. Заикой

ЛР № 020297 от 23.06.1997

Подписано к печати 11.02.2002

Формат 60 × 90^{1/16}. Гарнитура Таймс

Печать офсетная

Усл.печ.л. 37,6. Усл.кр.-отт. 38,6. Уч.-изд.л. 41,8

Тираж 1500 экз. Тип зак. 5614

Издательство "Наука"

117997 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул. 90

E-mail: secret@naukaran.ru

Internet: www.naukaran.ru

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП "Типография "Наука"
121099, Москва, Шубинский пер., 6

ISBN 5-02-022757-9



9 785020 227576

